

3 руб.

ДМИТРИЙ НАГИШКИН
СОЗВЕЗДИЕ СРЕЛЪЦА

ДМИТРИЙ НАГИШКИН

СОЗВЕЗДИЕ СРЕЛЪЦА



ДМИТРИЙ НАГИШКИН

СОЗВЕЗДИЕ
СТРЕЛЬЦА

РОМАН

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84 P7

H 16

H $\frac{4702010200-1378}{080(02)-87}$ 1378—87

Текст печатается по изданию: Д. Нагишкин.
Созвездие Стрельца.—М.: Советский писатель, 1967.

ВОТ ЭТИ ЛЮДИ!

1

Вот эти люди!

Не надо ехать за тридевять земель для того, чтобы увидеть их. Они живут рядом со мной и встречаются то и дело — то на улице, то в магазине, то в кино, то на берегу реки, куда тянет людей после рабочего дня.

Они походят на тысячи других таких же. И вы не остановите на них своего взгляда, если я вам не покажу — вот они, эти люди!

Вот идет по улице невысокая женщина, одетая так, как одеваются все женщины с очень малым достатком, которые каждую вещь приобретают лишь после долгих совещаний со своим кошельком — выдержит ли он эту трату? Она зябко передергивает плечами и оправляет измятые манжеты своего пальто. Это пальто могло бы удостоиться медали за выслугу лет или выйти на пенсию, но вещам не дают медалей, как бы честно они ни служили людям, а выйти они могут только в тряпье, оставив у своих владельцев лишь чувство недовольства тем, что служили недостаточно долго... Женщина и немолода и некрасива. Может статься, будь ее заработок побольше, а жизнь подешевле, она выглядела бы моложе своих лет, и тогда ваш взгляд задержался бы на ее фигуре — она почти девичья! — или на ее лице, на котором и теперь заметны следы если не красоты, то былого задора, а теперь вы смотрите мимо, на других, кто позаметнее.

Навстречу ей шагает подросток. Он громко топает слишком большими для его ног сапогами с кирзовым верхом и кожмитовой подошвой. Что такое кирза и что такое кожмит? Подросток точно не знает этого. Но очевидно, это что-то очень хорошее, так как тот, у кого были куплены эти сапоги, долго стучал по подошве согнутым указательным пальцем правой руки, отчего подошва издавала глухой, неприятный звук, и многозначительно говорил: «Видал? Чистый кожмит! Чистый!» Потом он долго мял тусклые, жидкие, пупыристые верха сапог и опять говорил с восхищением: «Видал? Кирза! Чистая кирза! Будь уверен!» И поднимал

вверх грязный палец с желтым, пропитанным табачной дрянью большим ногтем... На подростке нет ни одной вещи по росту. Портные не тратили на него свое драгоценное время, занятые другими заказчиками. Все на нем торчит и топырится. Не только одежда, но и уши, слишком большие для его маленькой головы, отчего он странно похож на насторожившегося щенка. Он то и дело шмыгает носом, но во всей его фигуре написано такое достоинство, а во взоре небольших остреньких глаз и вздернутом коротком носике такая независимость, что вы невольно уступите ему дорогу. Чуть-чуть, а уступите.

Вот идет немолодой мужчина с усталым взглядом серо-голубых глаз и следами какой-то тяжелой болезни, обматывавшей темными кругами эти глаза. Он идет не шибко и время от времени приостанавливается, чтобы как-нибудь унять неприятные хрипы в груди. Одет он, как говорят, прилично — на нем хорошее пальто с серым барашковым воротником, ношенная, но красивая шляпа. Под мышками он тащит книги и, кажется, стопку ученических тетрадей, завернутых в газету. Он здороваётся с той женщиной, на которую я обратил ваше внимание. Но в этом приветствии ни с той, ни с другой стороны не заметно особой теплоты — обычное «здравствуйте!», которое ни к чему не обязывает здоровающихся...

Вот в толпе показывается молодая, очень хорошенькая девушка в милицейской форме — она быстро и легко ступает по этой земле, словно летит. Кто в двадцать один не ходил так же, словно на крыльях, не чуя под собой ног, едва касаясь земли, тот уже никогда не обретет этой походки! Девушку эту невольно хочется сравнить с ласточкой, когда та взмывает вверх и вы слышите нежный свист ее крыльев и испытываете желание, вот так же легко оттолкнувшись от земли, взлететь вверх. Девушка догоняет подростка и дружески касается его плеча рукой. Он оглядывается, розовеет и что-то хмуро бормочет. Нет, он не сердится, что можно было бы подумать, увидев его сдвинутые брови! Просто он смущается, но не хочет показать, что эта встреча ему приятна. Все подростки делают так. Почему? — это особый вопрос. У нас нет времени для того, чтобы искать на него ответ...

Из-за угла выходит, — нет, не выходит, а как-то выворачивается рыжеватый мужчина в дорогом пальто, стоящем на нем коробом, в хромовых сапогах, в мерлушковой шапке, с лицом, налитым жаркой, душной кровью, и плотной фигурой, в которой наиболее приметной частью является живот. Я никогда не видел лабазников и уже не увижу их, но этот мужчина почему-то вызывает у меня представление о лабазнике. Он невольно умеряет шаг, увидев первый женщину, и начинает глядеть в сторону. Не глядит на него и женщина. Они делают вид, что не знают друг друга. Но это не так. Они

были знакомы, да раззнакомились и поэтому не хотят встречаться взглядами и проходят мимо, подчеркнуто не замечая друг друга...

Зато какой улыбкой вдруг озаряется лицо этой женщины, когда она видит подростка в кирзовых сапогах. Она ускоряет шаг. Она кивает головой. Она легонько помахивает рукой. Подросток же хмурится еще больше — ему, мужчине, не пристало как-то отвечать на все эти знаки внимания. Он только громче топает своими великолепными сапогами. А вообще-то ему очень хочется заулыбаться — так, как могут только мальчишки, во весь рот. «Ну вот еще, выдумала!» — бормочет он себе под нос. «Какой ты серьезный!» — говорит ему девушка-ласточка, улыбаясь.

Вот эти люди, о которых мне хочется рассказать.

Среди них нет знаменитых, прославленных людей, таких, о ком знает каждый. Они ничем не выделяются из толпы. Говоря про них, обычно употребляют выражение «простые люди». Но это вовсе не значит, что они просты, что чувства их несложны, что переживания их неинтересны и что с ними не случается ничего примечательного. Малоприметное для сотен других людей событие, которое важно только для этого человека, «одного из малых сих», как называет их Библия, — для них самих, в их глазах, вызывает чувства большие и сильные. Надо только увидеть их.

2

Как жаль, что вы не бывали в этом городе!

Скоро ему исполнится, как говорят, сто лет. Но те, кто живет в нем давно или родился здесь, утверждают, что теперь он совсем не похож на тот, каким был еще недавно.

Был же он и маленьким и плохоньким. Деревянные дома, отгородившиеся друг от друга высокими заборами, лепились поближе к реке, а станция железной дороги и не видна была с тех улиц, что шли по склонам трех холмов, обращенных своими торцами на реку.

Среди толпы приземистых домов, недружелюбно поглядывавших друг на друга через грязные улицы, одиноко возвышались самые приметные здания — универсальный магазин фирмы «Кунст и Альберс», кафедральный собор на лысой площади, губернаторский дом с огромным садом, который по праздникам на два часа открывался для гулянья горожан и откуда виден был величественный памятник Муравьеву-Амурскому со свитком бумаги в одной руке и другой рукой, положенной на шпагу. Общественное собрание, куда не всякому члену городского общества был открыт доступ, красные кирпичные казармы, которые, как солдаты на параде, вы-

строились особняком на одном из холмов, Арсенал с вечно дымящейся трубой и, наконец, городская дума, похожая на боярский терем, где на почетных местах сидели потомственные почетные граждане — Плюснин и Чердымов...

Конечно, если в этом городе был губернаторский дом и жил сам губернатор, то это значит, что город был губернским. И потому его жители смотрели на остальных обитателей этого края, земель которого хватило бы с избытком на полдесятка европейских государств, как на троглодитов. Вероятно, петербуржцы не с таким презрением глядели на жителей этого города, очень далекого от столицы, чем последние на население всей округи.

Город и после установления советской власти остался административным центром края. И по-прежнему отовсюду из огромного края именно сюда ехали все те, кто ожидал от начальства каких-нибудь решений. И по-прежнему тут было много всяких начальников — больших и маленьких, толстых и тонких, сердитых и добрых, плохих и хороших, молодых и старых. Недаром какой-то острослов сказал про город: «Три горы, две дыры — сорок тысяч портфелей!» Под горами разумелись те холмы, на которых расположился чиновный и торговый город, под дырами понимались две лоцины между холмами, на дне которых протекали мутные лужи, собиравшие в себя всю городскую грязь, но в ливни превращавшиеся в бурные потоки, что-то вроде Терека, который вместе с грязью мог унести в реку и зазевавшихся ребят, увлеченных пусканием корабликов, и неосторожную скотину, которая только в тридцатых годах перестала разгуливать по городским улицам, и нетрезвых горожан и мог смыть начисто те дома, что стояли в опасной близости к потокам, но почему-то так и не смывались, а, наоборот, приносили немалые доходы Плюснину и Чердымову — своим владельцам, которые, исчезнув после революции, яко воск пред лицом огня, надолго оставили свои имена этим лужам... Что же касается сорока тысяч портфелей, то это было большим преувеличением, хотя каждому и бросалось в глаза немалое количество людей, таскавших свое официальное обзаведение в портфелях. Но это объясняется тем, что край велик и в городе было много служащих.

Небольшой этот город имел широченные улицы. Ширина холмов, на которые опирался город, была такова, что по две улицы на каждом гребне холмов разместиться не могло, одна же получалась неимоверно широкой. Впрочем, это было не так уж плохо! Когда город стал вдруг с удивительной быстротой разрастаться, как все города в советское время, и один за другим стали, как грибы после дождя, подниматься вверх большие каменные дома — широкие улицы оказались как нельзя более кстати. Не пришлось сносить хорошие здания и переиначивать улицы.

Сломан был только кафедральный собор. Зачем? Это вопрос особый. Сейчас никто бы не стал этого делать... Когда вскрыли склеп, находившийся в соборе, то обнаружили в нем гроб с останками предпоследнего наместника края — барона Корфа, схороненного в полной парадной форме, со всеми регалиями. Весь город сбежался глядеть на барона. Хотя со времени его погребения прошел не один десяток лет, барон выглядел превосходно. Нафабранные усы его торчали, как у кота. Прямые жесткие волосы, несколько отросшие, сохраняли идеальный пробор. Густые брови на смуглом лице таили начальственную строгость, и полные губы были чуть-чуть надуты, словно барон хотел заметить: «Фуй! что здесь за сборище, господа? Попрошу разойтись!»

Присутствующие ахнули, увидев барона, во всем своем блеске пережившего революционные потрясения. Любители старины с восхищением сказали: «Вот как было раньше-то, а!» Верующие поняли появление барона в таком виде как некое знамение чего-то кому-то.

Но тут барон удивил всех, кто присутствовал с разными чувствами при его открытии, — он, так и не выразив своего отношения к тому факту, что был нарушен его загробный покой, стал превращаться в прах, и скоро от его чиновного и военного великолепия не осталось ничего, кроме нескольких пучков жестких волос, пломбированных зубов, потускневших сразу пуговиц да каблучков от штиблет, поставленных на добротных гвоздях!

В таком виде барон занимал значительно меньше места, и задача перенесения его праха в другое место, на обыкновенное кладбище, уже не составила каких-либо трудностей. Один образованный человек, случившийся при этом и некогда знавший барона лично, сказал философски по-латыни: «Ванитас ванитатум эт омниа ванитас!» — и еще, немного помолчав: «Сик транзит глория мунди!» Но так как не все жители города знали латынь, то он тотчас же перевел сказанное, что обозначало: «Суэта суэт и всяческая суэта!» и «Так проходит слава земная!» Это было далеко не самое плохое, что можно было сказать по этому поводу, тем более по-латыни.

О бароне не пожалел никто, даже те, кто в его сверкающем великолепии увидели некое знамение, так как, видя, сколь быстро барон пришел в полную негодность, еще раз горько осознали тщету своих надежд на крушение советской власти. Что же касается собора, то его в общем-то разрушили зря, но кирпичи, взятые при этом, пошли на строительство Дома Красной Армии, хотя для этой цели проще было изготовить новые кирпичи. Дом Красной Армии получился красивым, уютным и очень полюбился жителям города. Кое-кто еще некоторое время припоминал с кривой улыбкою, откуда взялись кирпичи, из которых он был сложен, но время шло, и вскоре эти намеки перестали понимать, и злопыхатели за-

молчали. А по прошествии нескольких лет все забыли о соборе, и если кто-нибудь говорил молодежи, указывая на то место: «А вот здесь стоял собор! Софийский!», то молодежь, присвистнув в знак вежливого удивления, спрашивала в ответ: «Собор? А что это? Софийский! Чудно-то как!» Здание Дома Красной Армии окружили садом, в нем обосновался армейский драматический театр, к нему делались разные пристройки, и постепенно он накрыл собою и бывший губернаторский дом, так что и эта память о прошлом исчезла из глаз, а потом и из воспоминаний людей. Сад открыли для всех граждан, поставили аттракционов и гипсовых истуканов, которые, не украсив собою сада, навсегда уничтожили всю его тихую прелесть...

Сейчас город так велик, что улицы, протянувшиеся от взлобков холмов у реки извилистой линией, добежали до станции железной дороги, с маху перевалили через пути и пошли себе дальше вытягиваться и вытягиваться. Домам не хватало места, людям — жилья. И вот уже по другую сторону железнодорожного полотна вырос целый город, и вокзал теперь оказался чуть не в центре, как ни далек был он от старого города.

Трубы заводов виднелись теперь тут и там. Арсенал был уже не одиноким представителем промышленности — неподалеку от него вырос нефтеперерабатывающий завод, а там авторемонтный, потом судоремонтный. И в городском Совете решили, что новые заводы надо строить подальше от городской черты, так как дымная гарь все плотнее стала застилать чистый воздух над городом и в безветренные дни оседать на жилые кварталы, а это было очень нехорошо для здоровья. Портфели теперь терялись среди рабочих сумок. И, стараясь вернуть городу былую славу солнечного, на улицах все высаживали и высаживали деревья, и как ни съедали их беспощадно козы и как ни обдирали их мальчишки, веселая зелень тополей пронизала весь город, от улицы к улице, от площади к площади — теперь их было уже три! — и оделись улицы в асфальт, и весенние ливни уже не размывали больше желтую глину, на которой стоял город, и приезжие, командировочные или транзитные, уже стали называть город чистеньким. Видимо, для городов это такая же высокая похвала, как и для маленьких детей... А про три горы и две дыры стали забывать даже и старожилы, с тех пор как снесли в середине города деревянную пожарную каланчу, а на ее месте вырос большой светлый домина, в котором разместилось управление железной дороги. Впрочем, и старожилов из-за естественной убыли стало куда меньше, и старожилом называли теперь каждого, кто хоть немного застал город в его прежнем виде.

Когда-то было здесь сорок тысяч жителей, — из них двести сорок попов, четыре тысячи чиновников всех классов,

пятьсот купцов, триста воров и шестьсот нищих, — а теперь население его медленно, но неуклонно приближалось к миллиону. Купцы исчезли, попов, воров и нищих стало куда меньше, а чиновниками стали называть людей лишь тогда, когда хотели обругать...

Если с вокзала виду на город еще мешают плохонькие, неказистые домишки возле станции, то он очень понравится вам, когда вы попадете на одну из площадей. Самая большая, она вмещает двести тысяч человек, самая маленькая — пятьдесят, то есть все население старого города, вместе с попами и нищими, губернатором, купцами и девицами легкого поведения, и то им было бы очень просторно на этой маленькой площади.

Растут на площадях кудрявенькие липки, разбиты цветники, с которых никто не осмеливается рвать гладиолусы, лютики, пионы или гвоздику, бьют вверх высокие фонтаны, с широких чаш которых мелодично журча, вода стекает в бассейны, что доставляет удовольствие не только детям, которые стаями, словно воробьи, оглушительно крича, носятся по площади, но и взрослым, которые, не веля детям шуметь, делают вид, что они сами никогда так не бегали и не кричали, как их дети.

На площадях стоят памятники: Ильичу — на одной и героям гражданской войны — на другой. Очень пригодился бы теперь и памятник Муравьеву-Амурскому, автору Айгунского трактата, о котором одним известным писателем написаны толстые и хорошие книги. Да какой-то ретивый градоначальник, по молодости не успевший проявить себя в борьбе с живыми генералами в годы гражданской войны, не зная толком истории и простодушно полагая, что всякий царский генерал есть палач трудового народа, распорядился скovyрнуть генерал-губернатора с его высокого пьедестала, откуда виден он был с реки на двадцать километров, и отвезти его в Арсенал. Там переплавили и генерала, и трактат, утвердивший власть России на этих берегах, и шпагу, ни разу не вынутую Муравьевым-Амурским. Из полученного таким образом металла изготовили какие-то важные и нужные в быту предметы, вроде оконных задвижек или вилок. А памятник-то был работы известного русского ваятеля Опекушина. Впрочем, и это имя ничего не могло бы сказать тому градоначальнику, который, смолоду став на руководящие посты, уже не имел времени для того, чтобы учиться. Что сделано, то сделано! Но пьедестал скovyрнуть было труднее — фундамент его уходил в почву метров на пять и был опущен на гранитное основание скалы, но — без генерала! — он уже не представлял собою классовой угрозы, и вокруг пьедестала был устроен очень миленький павильон для продажи прохладительных напитков.

Сейчас это большой город, и он играет видную роль в промышленности и хозяйственной жизни страны по ту сторону Урала. И станки и машины с маркой заводов, расположенных в этом городе или вблизи его, широко известны.

Но я не хочу рассказывать об этом городе — это и долго и утомительно. Лучше всего вам самому побывать здесь, если вы захотите получше узнать наш город. Я буду говорить лишь об одной улице в этом городе, об одном доме на этой улице и об одной семье в этом доме, в которой есть человек, родившийся под знаком Марса в созвездии Стрельца.

Однако надо же знать хотя бы немного то место, где живет наш герой. На этих площадях он бегал вместе с другими ребятами, мимо этих зданий ходил не раз, а может быть, и заглядывал в их окна. Это, конечно, нехорошо, и воспитанные люди так не делают, но я тоже люблю заглядывать в чужие окна, и иногда кусок чужой жизни, увиденный через эту непрочную стеклянную стенку, отделяющую людей друг от друга, западает в сердце надолго, как запало мне в сердце то, что я увидел однажды в окно полуподвала... Дым этих заводов проносился над его головой, и трубы их говорили ему о настоящей жизни. Все, о чем я говорил до сих пор, имеет прямое отношение к родившемуся в созвездии Стрельца.

Вот почему я и начал с города, с его описания. Вы ведь тоже хорошо знаете свой город, и ваша память хранит о нем столько же бесполезных, сколько и забавных сведений, нужных или ненужных, но составляющих физиономию, лицо этого города в вашей памяти и вашем сердце.

3

Если у вас нет никакого неотложного дела, пройдите со мною от Центральной площади к Комсомольской. Не сердитесь на меня! В вашем родном городе я буду ходить с вами, сколько вы захотите, — по всем улицам и площадям, как-нибудь памятным вам, от дерева к дереву в парках, где когда-то вы произносили слова любви еще непослушными губами, и от скамейки к скамейке в аллеях, где вы будете искать инициалы, вырезанные вами, и я даже не замечу того, что иногда начальные буквы имени вашей любимой не совпадут с теми, которыми мы только что любовались: жизнь не такая простая вещь, как думают некоторые...

По правую и левую руку от вас идут улицы, каждая из которых что-то говорит сердцу жителя города.

Смежных улиц Пушкина и Гоголя не надо бы и называть, — по установившемуся у нас обычаю они есть в каждом городе, едва-едва вылез он из младенческих пеленок. За ними идет улица имени Шеронова — это имя партизана, заму-

ченного белогвардейцами в годы гражданской войны. Потом вы увидите улицу Волочаевскую, названную так в честь боев под Волочаевкой в 1922 году, после чего белогвардейцы и их иноземные покровители покатались к морю и уже не могли остановиться под ударами Пятой Красной Армии, которую называют также и Народно-Революционной Армией Дальневосточной Республики и которой командовал В. К. Блюхер. Они уже не могли остановиться и выкатились прочь с русской земли.

Вам хорошо знакомо имя Железного Феликса. У нас есть улица его имени. А вслед за ней идет улица имени Запарина. Это имя командира Красной Армии, истерзанного белокитайцами во время событий на Китайско-Восточной железной дороге.

Подумать только, какие события произошли за эти годы! А рядом с нами шагают и шагают люди, которые и не знают ничего о тех, кто дал свои имена этим улицам. Грустно, конечно, что река времени смывает многое, как смоем когда-то память и о нас с вами. Хорошо, если вы оставите свое имя какой-нибудь улице! Она честно будет носить его долго-долго, не в пример друзьям, которые готовы забыть вас, если вы исчезли из виду... Впрочем, об этом не стоит думать. Будет то, что должно быть!

Вот улица имени замечательного советского полководца Михаила Васильевича Фрунзе. Мне он почему-то представляется таким, каким изобразил его художник Бродский, — в белой рубашке, туго подпоясанной желтым военным ремнем, в полотняной фуражке, светлая тень от козырька которой падает на его простое, мужественное, хорошее лицо с голубыми, ясными-ясными глазами. Он выпрямился, всматриваясь во что-то за вашей спиной и не видя вас, а мимо него проходят войска в той приятной дымке, которой художники так ловко умеют прикрывать неприятности трудного похода, когда пыль и грязь покрывают солдата с головы до пят и белая соль выступает на защитной гимнастерке. В этой картине Фрунзе весь напоен светом и исполнен силы и уверенности в победе...

Вот улица имени Калинина — она названа его именем в честь приезда Всероссийского старосты на Дальний Восток, а раньше она называлась Поповской. За ней идет улица Истомина — это имя председателя крайисполкома, умершего за своим рабочим столом. Дальше идут улицы Комсомольская, Тургенева, Шевченко. В нашем городе любят литературу и писателей. Есть улица, названная именем поэта, который пришел в этот город в молодые годы в пестрядинных белых штанах и с томиком стихотворений Пушкина под мышкой. Он провел здесь свои зрелые годы и полюбился людям так, как может полюбиться только поэт, — на всю жизнь. Он был очень хороший поэт.

За этими улицами начинается крутой спуск к реке — какой реке! — уже здесь она достигает ширины в два с половиною километра, а до моря ей бежать еще больше шестисот километров...

Тут стоит знаменитый утес. Рассказывают, что некогда казак Хабаров высаживался здесь со своего коча, чтобы окинуть взглядом, какой край привел он под руку белого царя. Правда, историки утверждают, что Ерофей Павлович высадился гораздо дальше, выше, на слиянии двух рек, где и заложил острожок на зиму. А кто из них может доказать, что не захотелось казаку Хабарову, плывя мимо этого гордого утеса, подняться на него и именно отсюда, с этой высоты, в туманной дымке увидеть двуречье, где потом он построил городок! Очень вероятно, что так и было, как говорят. Кто говорит? Все... На этом утесе стоял Муравьев-Амурский, глядя на потоку Казакевича, за которой начинается Китай. На этом утесе атаман Калмыков расстрелял музыкантов, которые отказались играть «Боже, царя храни!» и играли «Интернационал»... Мимо этого утеса бьет такая волна, что даже канонерские лодки и речные крейсера с их мощными машинами проходят еле-еле...

Улица Фрунзе в одну сторону очень длинна, — идя по ней, можно пересечь чуть не весь город и выйти к судоремонтному заводу, — а в другую сторону ограничена одним кварталом, который утыкается в Чердымовку — одну из тех дыр, что составляли сомнительную славу старого города. Зато этот отрезок улицы хорош: машинам по нему ходить некуда и дорога предоставлена ребятам, которые творят на ней, что хотят, и играют здесь с утра до позднего вечера и зимой и летом.

Вот мы и дошли до нужного места.

Налево есть большой двор. Высокие березы вперемежку с тополями растут в этом дворе, а за деревьями стоят дома — одноэтажный и двухэтажный. За последним прячется еще один дом — маленький, деревянный, но с улицы его не видно. Два окна справа, на втором этаже, куда ведет широкая, уютная лестница с навесом и резными столбиками, чисто вымыты и занавешены тюлевыми шторами. Комната угловая, и на вторую сторону выходят еще два окна. В комнате всегда светло, но она самая холодная в доме, натопить ее — трудная задача. Но свету в ней, свету! — всегда как в праздник. А летом, когда раскрыты все окна, в комнате и помина нет духоты, от которой изнывают все остальные жильцы дома в жаркие дни, каких так много в этом солнечном городе.

В этой комнате живут Лунины.

До переезда сюда Лунины жили в полуподвальном помещении в самом скверном районе города, где электричество зажигалось лишь поздней ночью и гасло ранним утром. И жильцы пользовались керосиновыми лампами — совсем как в деревне, которую Генка помнил очень смутно, как во сне: то ли было, то ли не было?

Отец Генки, Николай Иванович Лунин, был ломовым возчиком на пивном заводе. Какой-то недостаток в строении его левой руки освобождал его от военной службы в первые годы войны, но в январе сорок пятого и он получил повестку о мобилизации.

Накануне его ухода в армию Лунины «гуляли».

Генка вспоминает эту гулянку — к ним собрались знакомые, пили, потом принялись петь, и весь подвал сотрясался от усилий певцов, каждый из которых старался перекричать других. Шумно и бестолково металась люди по комнате: кто-то кого-то обнимал, кто-то с кем-то поругался, кто-то плакал в углу. Потом тот, кто поверял другому какие-то свои душевные невзгоды, подрался со своим поверенным, их долго разнимали и мирили, причем миротворцы сами чуть не передрались. Потом опять пели. И так всю ночь. Генка глазел-глазел на все это, а потом, приткнувшись на постель, уснул.

А наутро отца уже не было дома.

Генка спросил у матери:

— Мам! А папка где?

Мать, простоволосая, с синими кругами под глазами, какая-то вся несчастная, возясь с уборкой комнаты, невероятно замусоренной, сказала:

— Далеко теперь наш папка, сынок. На фронт забрали.

Она помолчала и скорее себе самой, чем сыну, раздумчиво сказала:

— С третьей группой тоже всех позабрали. И Мосейку-грузчика, и Петра Григорьевича, и товарища Коренева из бухгалтерии. А какие с них солдаты! Так, сырость одна! Только прозвание одно, что мужики, вроде папки нашего: комар чихнет — и нету!

Генка с удивлением и недовольством посмотрел вопросительно на мать. Ему не понравилось то, как мать отозвалась об отце. До сих пор Генка не задумывался над тем, каков отец, он всегда казался сыну великаном. Но тут он припомнил, что рядом с тем же Мосейкой-грузчиком отец как-то сразу уменьшался в размерах. Но Генке было неприятно это воспоминание, и он нахмурился. Ему захотелось сказать какое-нибудь слово в защиту отца, но тут мать сморщила свой маленький нос, свела невидные брови, ее белесые глаза по-

краснели, и слезы потекли по ее щекам. И Генка пожалел мать.

— Ты чего плачешь? — спросил он. — Обидел кто тебя, да?

Тут мать совсем разрыдалась:

— Убьют теперь нашего папку! Ой, головушка моя несчастная! Ой, детки мои малые, сиротинушки!

Она подошла к кровати Зойки, которая родилась незадолго до ухода Николая Ивановича на фронт. Зойка пускала пузыри и издавала какие-то смешные звуки — агукала. Мать наклонилась над нею. Увидев мать, Зойка засучила голыми ножками и, тараща светлые синеватые глазки, заулыбалась. От нее далеки еще были заботы и несчастья взрослых. Ее мало касалось то, что отца, может быть, убьют немцы, и то, что мать оставалась теперь единственной опорой семьи, и то, что совсем не просто прокормить троих на те деньги, которые должна теперь заработать мать.

— Ну, ты, сиротка! — сказала мать и чмокнула губами, забавляя дочку.

Зойка взвизгнула тоненько и засмеялась взахлеб. Мать принялась тормошить ее, потом вытащила подгузнички, сняла мокрую распашонку, надела сухую, а Зойка все смеялась и смеялась. Глядя на нее, заулыбалась и мать, и скоро слезы ее высохли.

— Ах ты моя красавица! — сказала она дочке. — Ах ты моя хорошая! Ты моя пригожая, да? Да моя красивая, да? И Зойка отвечала на каждый ее возглас своим «агу-у!». Луниной пришлось искать работу...

Но хотя рабочие руки нужны были везде — фронт с каждым месяцем отрывал все больше людей, — хорошее место было найти нелегко. Сначала Лунина устроилась ночной сторожикой в один магазин, потом мыла бутылки на заводе фруктовых вод, потом была официанткой в военной столовой, потом кассиром на катке. Но, на ее несчастье, магазин передали военной базе, и Лунину сократили. Долго мыть бутылки она не могла — у нее почему-то стали опухать ноги. Военная столовая была расположена очень далеко, и Лунина не выдержала длинной дороги, на которую у нее ежедневно уходило два-три часа. А на катке она промерзала до полусмерти и все недомогала — пришлось бросить и эту работу.

Подавленная необходимостью опять искать место, Лунина как-то вдруг упала духом. Приходя домой, она подолгу сидела не раздеваясь, в мужнином, некрасивом, да теплом ватнике, опустив руки, не в силах приняться за домашние дела. А Генка в ее отсутствие хозяйничал так, что она иной раз только руками разводила, удивляясь тому, что может натворить один мальчишка, предоставленный самому себе.

— Боже ты мой! — говорила она, видя полный беспорядок в комнате, зареванную Зойку и грязного Генку с мокрым

носом. — Да хоть бы ты посидел, как другие дети, тихо, спокойно! Что за шкода! Что за шкода! Руки бы тебе пообрывать за такие дела! Мучитель ты мой...

«Мучитель» сопел, шмыгал носом и отмалчивался, чувствуя свою вину. Он не мог рассказать матери, как тоскливо ему сидеть взаперти целыми днями, как часто он ревел вместе с Зойкой, не в силах ничего сделать для нее, как нетерпеливо ждал прихода матери и как горько ему вместо ласкового слова матери, по которому он скучал, слышать эти заслуженные упреки. От жалости к самому себе он вдруг начинал плакать, и тогда мать, нахмурясь, замолкала, сказав напоследок:

— Ну, будет тебе! Довольно! Разве мужики плачут?..

Мать разводила огонь в печи. Варила картошку. По комнате разливалось тепло, слышался запах варева, бульканье воды в чайнике. Золотые блики от огня в печи, видного через дырочки в дверцах, плясали по полу, словно гоняясь друг за другом. И вдруг забывались все неприятности дня и материнская несправедливость, и Генка принимался рассказывать нехитрые свои новости: Зойка плакала и маралась; во двор, к соседям, приходила машина с дровами; верхние жильцы опять ссорились и опять кололи дрова в комнате, а у Луиных сыпалась с потолка известка; он обрезал себе палец, а Пашка с Машкой с чужого двора дразнились через окно — Пашка показывал кулаки и фиги, а Машка справляла малую нужду и забрызгала опять все окно. Мать и слушала и не слушала его, занимаясь починкой его истрепанных штанов и часто задумываясь.

Наевшись, Генка клевал носом, но никак не хотел ложиться спать и через полусонные какие-то видения, уже завладевавшие им, все вспоминал что-нибудь, о чем следовало рассказать матери. Раздвигая слипающиеся веки, он сказал:

— Дядька какой-то приходил. В шубе. В окно заглядывал, Машке погрозил пальцем. Тебя спрашивал...

— Какой дядька? Ты спишь, Генка!

— Не, я не сплю! — зевал Генка во весь рот. — Приходил, говорю. Сказал, что еще зайдет.

— Знакомый кто-нибудь?

— Не... чужой...

Мать пожала плечами. Кому она, со своими ребятами, нужна! И кто вспомнит о ней, когда за последние полгода она раззнакомилась со всеми — не до знакомых ей в этой беготне; на работу — с мыслью о том, что за опоздание могут отдать под суд, и с работы — в тревоге: не случилось ли чего с детьми? Она сердито нахмурилась, и невеселые мысли вновь и вновь накатывали на нее. Что делать? От Николая Ивановича никаких вестей, денег — кот наплакал, опять надо продавать что-то, а что? Надо куда-то устраиваться, брать первую попавшуюся работу, хотя бы для того, чтобы получить рабо-

чую хлебную карточку, — на четыреста граммов хлеба не разживешься! И она опять глядела на ребят, которых уже сморил сон. Сколько горяхватишь, пока поднимешь их на ноги! А поднимать надо... Разве виноваты они в том, что появились на свет божий!

Печка прогорала. Остывающий чайник сипел с перерывами, точно раздумывая, стоит ли этим заниматься, и наконец умолк. Остывала вода, которой Лунина собиралась мыть посуду, а она все не могла приняться за дело, в каком-то оцепенении сидя за столом и пряча руки под старенький пуховый платок, потеряв счет минутам, которые отсчитывали ходики на стене...

5

В дверь постучали.

Лунина не сразу сообразила, что стучат к ней. И лишь после того, как стук повторился, она не оборачиваясь крикнула:

— Да! Открыто!

Незнакомый человек вошел и прикрыл за собой дверь. Лунина, насторожась, поглядела на него. Вошедший протянул ей руку и сказал:

— Я из городского Совета. Депутат. Мы проводим обследование семей солдат. Во всех остальных квартирах я уже побывал, а вас все никак не могу застать дома, так что уж извините за позднее посещение.

Депутат и в самом деле приходил несколько раз днем, и Генка не соврал матери. Но он мог только через окно спросить Генку: «Молодой человек! Где твоя мама?» — на что Генка отвечал храбро: «На работу ушла!», после чего почему-то забоялся, спрятался за кровать и уже не мог сказать, где работа матери и когда она вернется домой.

Лунина нехотя рассматривала депутата. На нем было хорошее пальто с барашковым воротником, коричневая темная шляпа и красивые, крепкие ботинки. В руках он держал туго набитый портфель и что-то еще, завернутое в бумагу.

— Дома сидеть некогда, работаем! — сказала она неприязненно, прикидывая, сколько могут стоить эти добротные ботинки, и не зная, на что ей этот депутат. Лицо посетителя было смутно знакомо Луниной — где-то она видела этого человека, и она стала думать, где они встречались, с раздражением добавив: — Ну что ж, обследуйте!.. Как видите, живем — что на себя, то и под себя. Вот так.

Депутат и сам видел, что Луниной живет нехорошо. Когда он приходил в первый раз, то видел в окно пузатый комод у стены, а сейчас вместо комода было только темное

пятно невыцветшей краски на полу, там, где стоял комод. Нетрудно было сообразить, куда он исчез! Туда же пошли и тюлевые занавески, так как теперь окна прикрывали желтоватые бязевые тряпочки.

Зойка закричала во сне, заворочалась и открыла глаза. Мать поспешно сказала:

— Сейчас, доченька! Сейчас...

— Где вы работаете, товарищ Лунина? — спросил депутат.

— С этими наработаешь! — сердито сказала мать, злясь на ненужные вопросы и зряшное посещение. — Ни в ясли, ни в детский сад не устроишь. Везде блат да блат нужен, а то жди очереди я не знаю сколько! Остаются дома... Пока на работе стоишь, все сердце кровью обольется: что там с нами — сгорели, покалечились, побились, померли?!

Зойка заплакала. Мать закричала на нее с сердцем:

— Да замолчи ты!

В ответ на этот окрик Зойка принялась реветь по-настоящему, в голос. Лунина взяла ее на руки и стала успокаивать, продолжая говорить:

— От мужика два месяца ни слова. Только и известно, что отправили с маршевой ротой... Охо-хо!

Слушая голос матери, Зойка замолчала и только вытягивала губы трубочкой, требовательно пыхтя и морща маленький лобик.

Смущенный депутат сказал:

— Вы сами понимаете, что возможности наши ограничены, но я постараюсь помочь вам. Скажите, что для вас самое главное сейчас?

— Мужа с фронта вернуть живым! — с рывка ответила Лунина.

Депутат покраснел.

— Вы знаете, товарищ Лунина, — сказал он тихо, — что это не в моей власти... Военные действия развиваются сейчас в нашу пользу. Уже виден конец войны. Будет и на нашей улице праздник... Но я вижу, что в этом помещении, например, вам с детьми положительно нельзя жить. Так? — Он покосился на темные потеки с потолка в углу. — Работу вам тоже надо какую-то. Так? И очевидно, такую, чтобы вы могли отдать детей в какое-нибудь детское учреждение. Так? Я думаю, что я и в городском Совете и в военкомате найду поддержку в этом вопросе...

— А! — с досадою сказала Лунина. — Я у них и пособие-то не могу выхлопотать, как пойдешь, так целый день и пропал, — много нас, солдаток-то!

— Не сердитесь! — сказал депутат так же тихо. — У них сейчас объем работы очень большой — в армии миллионы людей. Не отчаивайтесь, не в пустыне живем. Я понимаю ваше положение, но думаю, что терять надежду не стоит. Буду

рад помочь вам, чем смогу! — Он взглянул на часы и торопливо сказал: — Ой, как поздно! Мне еще тетради проверять! Ну, мы с вами еще увидимся, а пока я пожелаю вам всего доброго. Извините еще раз!

— Пока! — сказала Лунина. — Двери посильнее закрывайте, не лето! — Она прислушалась к шагам депутата, поднимавшегося по лестничке на улицу, и добавила с непередаваемым выражением: — Ходют... А чего?!

6

Между тем Луниной не стоило сердиться на депутата.

Потому ли, что он был человеком слова и считал, что лучше ничего не обещать, чем обещать, да не сделать, потому ли, что его тронуло бедственное положение Луниных, может быть, потому, что оба эти соображения слились в одно и настоятельно требовали действия, — наутро депутат пошел к председателю городского Совета.

Немолодая секретарша, сидевшая в приемной, сказала:

— Иван Николаевич один. Готовится к совещанию. Если вы ненадолго, то проходите. Только не говорите, что я пустила. Через час у него заседание, на целый день затянется — сложный вопрос...

— Заругается! — сказал депутат, улыбаясь.

Он хорошо знал секретаршу — ее дочь училась в той школе, где он преподавал литературу. Секретарша часто помогала ему попадать к председателю горсовета в удобное время, угадывая, когда можно пустить его с какой-нибудь просьбой к Ивану Николаевичу, а когда лучше и не ходить, чтобы не нарваться на заведомый отказ, как бы ни была важна просьба. Председатель тоже живой человек, подверженный смене настроений, которые складывались иной раз так, что ему куда легче было отказать, чем удовлетворить просьбу. Конечно, это нехорошо, государственный человек должен быть всегда объективным, всегда служить народу. Но... Иногда и у Ивана Николаевича, человека скорее доброго, чем злого, и скорее отзывчивого, чем черствого, человека умного и сильного, «не хватало нервов», как он говорил, и он становился сухим и раздражительным. Я никогда не был председателем городского Совета — у нас это стало пожизненной профессией немногих людей, хотя очень трудно представить себе такую профессию, но думаю, что у него уйма всяких дел, от которых прежде времени облысеешь или поседеешь...

Сегодня у Ивана Николаевича было с утра хорошее настроение, и момент был удачный. Депутат разделся. Секретарша сказала:

— Чур меня не выдавать, товарищ Вихров! И недолго!

Вихров кивнул и вошел в кабинет.

Иван Николаевич поднял голову от бумаг, которыми был завален весь его стол, и очень удивленно посмотрел на Вихрова. «Ох, Марья Васильевна, Марья Васильевна! — подумал он о добросердечной секретарше. — Ну и взгрею же я тебя по первое число! Ох и взгрею!» Марье Васильевне было велено никого не пускать и телефонных разговоров не позволять. Он невольно взглянул на часы, на стол с бумагами — не выгонять же человека, если он уже вошел! — и вот пятнадцать минут, считай, пропали... С натянутой приветливостью он спросил Вихрова:

— Товарищ Вихров! Ты петушиное слово, что ли, знаешь, что перед тобою закрытые двери открываются?

Вихров смущенно сказал:

— Дверь была открыта. А в приемной — никого, я и вошел.

Краска бросилась в его лицо от этой невольной лжи.

Иван Николаевич прищурился и отвел понимающие глаза в сторону, сказав:

— Ну, если в приемной никого нет, тогда твое счастье и моя вина: не научил работников на своем месте находиться. Сказывай, с каким делом. Но давай уговоримся так: раз-два — и все! В темпе! Вот так!

Он слушал Вихрова в привычной позе внимательного слушателя, которую усвоил раз и навсегда, — чуть подавшись вперед, положив руки на стол и сложив пальцы замком. Это помогало сохранять видимость внимания, — стоило ему разжать пальцы, как они принимались что-то переключать на столе, вертеть карандаши, листать бумаги, выдавали его чувства или равнодушие к посетителю, а это было нехорошо, так как Иван Николаевич считал, что каждый человек имеет право на внимание со стороны выборного лица, и не раз повторял слова, сказанные на предвыборном митинге в Москве: «Депутат — слуга народа!» Он не ожидал услышать от Вихрова что-нибудь новое и не услышал ничего нового, но позы своей не изменил: мало ли что — пусть заранее известно, о чем пойдет речь, пусть все это уже давно надоело, а выслушать надо... Не напрасно Иван Николаевич слыл человеком отзывчивым среди тех, у кого от его решения что-то зависело, — далеко не все начальники умеют слушать...

Он слушал и не слушал, мысли его текли своей чередой. Вот депутат пошел на обследование — боже мой, сколько этих обследований и как они раздражают тех, кто подвергается этим обследованиям! Каждая постоянная комиссия производит обследования по своей линии, и ни один председатель комиссии не поинтересуется спросить другого, не бывали ли уже его депутаты в таких-то домах, а если бывали, то что же сделали, а если не сделали, то почему. Обследуют и обманывают себя, думая, что это и есть настоящая работа.

Одни заваливают исполком материалами этих обследований, и, по совести сказать, нет никакой возможности перевернуть всю эту писанину, а тем более — оперативно решать вопросы, которые этими обследованиями и обследователями поднимаются; другие — как этот учитель! — кидаются сами пробивать административные преграды, для того чтобы помочь кому-то одному из тысяч!

Ивану Николаевичу приходит в голову мысль: «Вот бы депутатов исполкома нового созыва да запречь в штатную работу исполкома, чтобы они отвечали за каждодневную работу его каждый на своем участке! Интересно, что бы из этого получилось?» Он с раздражением думает о бухгалтере городского Совета, который не считает нужным часто бриться и ходит обросший рыжими волосами, словно дикарь, — его включают в избирательные списки не потому, что он известен в городе и пользуется уважением избирателей, а потому, что он работает в бухгалтерии исполкома уже десятый год. Хорошо бы на его место поставить депутата — бухгалтера авторемонтного завода, который славится среди городского актива как великолепный хозяин. Но Иван Николаевич тут же обрывает себя: «Чего захотел! Да попробуй я его взять, так директор до Председателя Совета Министров дойдет!»

Вихров горячо рассказывает о положении семьи одного солдата по фамилии Лунин. Положение у нее действительно плохое, но Иван Николаевич чуть морщится: «Ну, расписал! Ну, плохо — так и скажи, что плохо, а то прямо словно роман пишет!» Он отмечает, что прошло уже десять минут из тех, что он отвел Вихрову. Он разжимает пальцы, чтобы показать депутату на часы, но останавливает себя: Вихров искренне взволнован, чуть задыхается, щеки его горят. Пусть уж заканчивает!

Ах, депутат, депутат! Из этого города на фронт ушло пятьдесят тысяч человек. Большинство — семейные. Половина из них были единственными кормильцами. У доброй трети остались ребята. Только малая часть из них обеспечена на зиму овощами, теплой одеждой и топливом. Овощи остались в селе, теплая одежда идет на фронт, для солдат, топливо надо вывозить из леса или вязать в шахтах, а рабочих рук не хватает. Женщины, подростки и мужчины, освобожденные от воинской обязанности, используются на всех тяжелых работах: расчистке железнодорожных путей, разгрузке транспортов, пришедших с острова, да так и не разгруженных... Вот этот депутат тоже отработал свои сорок восемь часов в затоне, где с осени стояли баржи с соленой рыбой, а потом полтора месяца болел: ему категорически запрещено подвергаться чрезмерному охлаждению, а там ветер со всех сторон, как бешеный...

Не так все это просто, товарищ депутат! Не так просто! В городе не хватает угля и дров — сегодня отдано распоряже-

ние прекратить отопление всех учреждений в городе, кроме больниц, яслей, детских садов и школ, до тех пор, пока не будут расчищены заносы на магистральных путях... Иван Николаевич невольно выпрямляется и откидывается в кресле, по привычке придвигаясь поближе к радиатору за спиной. Но что это такое? От радиатора идет ощутимое тепло. Вот свинство! Все-таки кто-то позаботился о том, чтобы и в эти аварийные дни отцы города получили свою порцию тепла! Хорош примерчик! Горсовет заставляет всех мерзнуть, а сам сидит в тепле. Иван Николаевич сдвигает брови и думает сердито: «Ох, я же тебя на бюро пропесочу!» — это про своего заместителя, который отвечает за экономию топлива, и вдруг замечает, что Вихров уже давно замолк и выжидательно, с некоторым недоумением глядит на него. «А, черт! Как неловко получилось!» — спохватывается Иван Николаевич и по привычке солидно говорит Вихрову:

— Ну что ж! Давайте суммировать.

— Как? — спрашивает Вихров. — Суммировать? Что же тут суммировать? В этом подвале дальше они жить не могут, это ясно как божий день. Это раз! На работу надо устраивать куда-то — это два! Поверьте, Иван Николаевич, я не стал бы вас беспокоить, если бы положение этой семьи было хоть на йоту легче... Можете представить, до какого отчаяния дошла мать, если она от меня требует вернуть мужа живым с фронта! Это ведь не так просто...

— Кто это говорит так?

— Лунина.

— Какая Лунина?

— Та Лунина, о которой я вам рассказываю, Иван Николаевич! — кротко говорит Вихров, готовый «суммировать» опять с самого начала свою повесть о Луниной.

— Ах, да! — замечает Иван Николаевич и задумывается. — Лунина... Лунина... А, собственно, почему вы хотите, чтобы я занимался ее положением, товарищ Вихров? Есть у нас женсовет, есть у нас Красный Крест — это сейчас их основное дело! Есть военкоматы! Есть, наконец, постоянные комиссии! Пусть они и занимаются. Ведь поймите же, что устройство одной семьи не разрешает положения других. Дайте нам три дня сроку — завезем в город топливо, дадим на пайки кету, разгрузка барж уже подходит к концу, подбросим ремонтные материалы, в пути тес, гвозди, строительный брус, стекло и так далее. Легче будет не одной Луниной! Понимаете...

Но Вихров тем же тихим, упрямым голосом говорит:

— Если мы поможем ей сейчас, меньше будет семей, нуждающихся в срочной помощи! — говорит он и улыбается. — А потом — я занимаюсь Луниной как член постоянно действующей комиссии исполкома. Вы можете ею не зани-

маться, но я прошу, по долгу депутата, сделать то, на что у меня нет силы!

— Ну, например? — осторожно спрашивает Иван Николаевич, досадуя на упрямого Вихрова, и думает: «Вот уперся! Видно, хохол! Впрочем, если бы он был с Украины, то был бы Вихро, Вихорко, а не Вихров!»

— Ну, дать ей другую квартиру, то есть комнату!

— А откуда я возьму ей комнату? — вспыхив, говорит Иван Николаевич. — Что у меня, в жилетном кармане комнаты-то? Треть жилого фонда в городе принадлежит теперь армии, а с КЭЧ надо разговаривать, гороху наевшись. Я могу даже позвонить начальнику КЭЧ. Увидите, что он мне скажет! — Иван Николаевич, разгорячась, хватается телефонную трубку.

— Вам-то он хоть что-нибудь да скажет. А со мной просто не будет разговаривать! — отвечает Вихров.

Он все более волнуется, и ему становится нехорошо. Дыхание его учащается, становится сиплым, и какие-то свистящие звуки возникают в его груди. Ему хочется расстегнуть воротник, хотя он понимает, что это уже не поможет, — начался очередной приступ астмы. Губы его синеют. Он наклоняет голову и смотрит на Ивана Николаевича исподлобья — в этой позе ему легче дышать, хотя его позу и нельзя назвать вежливой.

Но разговор председателя городского Совета с начальником КЭЧ кончается довольно быстро. Желая доказать свое бессилие, Иван Николаевич кричит в трубку каким-то страшно будничным голосом, от которого, как кажется Вихрову, тому, кто взял трубку на другом конце провода, ясным станет, как мало заинтересован Иван Николаевич в предмете разговора:

— Алё!.. Здорово, здорово... Это я тебя беспокою!.. Да... По пустякам не стал бы. Да... Можешь считать, что я у тебя в долгу буду, если сделаешь!.. Что, не буду? А ты откуда знаешь?.. Никогда не бываю? Ну, это тебе так кажется... А ты как? Трудно? Ну, этим меня не удивишь — мне тоже каждый день трудно! — Вдруг лицо его оживает, он поднимает вверх брови и кивает в сторону Вихрова: мол, послушай! — и продолжает заинтересованно: — Ну, посмотри, посмотри! У вас каждый божий день передвижения. Вот сейчас в Бикин отправляются. Как откуда знаю? Я, брат, по должности обязан все знать! — Он заслоняет переговорную трубку ладонью и говорит Вихрову: — А ты чего скорчился? Плохо? Эх ты, депутат... Обожди немного. Сейчас он поищет что-то! — И живо говорит в трубку: — Да, да! Я слушаю... Что? Где, где, ты говоришь? — Он с каким-то особым выражением вдруг смотрит на Вихрова, в глазах его появляется усмешка. Кажется, то, что говорит ему начальник КЭЧ, неожиданно его раз-

веселило.— Да, да! — говорит он в трубку.— По-моему, это даже хорошо будет!.. Ладно. Ладно... Спасибо! Ну, жму руку!

Он взглядывает на часы, на Вихрова, на бумаги и яростно машет рукой:

— Ну, будь здоров, товарищ дорогой! Я уже опаздываю! Будет квартира твоей Луниной! Считаю, что добился этого! Хотя, знаешь, все это смахивает на частную благотворительность, а не на организованную помощь семьям воинов. Вот так!

У Вихрова начинается удушливый кашель. Он молча пожимает протянутую ему руку Ивана Николаевича и, сгорбившись, стараясь не особенно громко кашлять, выходит из кабинета.

Председатель, сморщась, смотрит на спину Вихрова, который сразу становится как-то меньше ростом. Сам он ничем не болел, и здоровью его завидует весь городской актив. То, что происходит с Вихровым, ужасает его, и он панически думает: «Ну, не дай бог, ежели меня когда-нибудь так же скрутит!»

— Марья Васильевна! — кричит он в приемную.

Секретарша входит. Иван Николаевич, не поднимая глаз на нее, что-то черкая в своих бумагах, говорит ей:

— Передайте Петрову, председателю комиссии, чтобы он совесть имел. Видали, какой Вихров красавчик вышел! По-сылают тяжелобольных на разные обследования! Мало у него там других товарищей, что ли? Человек еле на ногах держится, а его... Да, вот еще что! Включите в повестку заседания вопрос о нарушении заместителем председателя исполкома постановления о режиме расходования топлива! — Иван Николаевич кладет обе руки на радиатор и с наслаждением потирает горячие ладони.— Ох, черти, как нажарили!

Он забывает взгреть Марью Васильевну по первое число.

...Конечно, это походит на частную благотворительность, конечно, это не решение проблемы, но еще одна семья устроена.

Глава вторая

ПОД ЗНАКОМ МАРСА

1

Под знаком Марса рождаются разные люди, и далеко не все они становятся военными, хотя планета эта и считается покровительницей военных. Правда, все это выдумки астро-

логов, но жизнь очень сложная штука, и иной раз оказывается, что родиться под знаком Марса что-нибудь да значит. А Генка вскоре узнал, что он родился под знаком Марса, и это странным образом было связано с появлением Вихрова у Луниных.

Через два дня после его посещения к Луниным пришли два военных — офицеры из военкомата, старший лейтенант и капитан. Без стука открыв дверь, они в один голос спросили, окутавшись клубами пара, который вместе с ними ворвался в комнату с морозным воздухом:

— Лунина здесь проживает?

— Здесь, здесь! — ответила Лунина.

— Закройте дверь, товарищ старший лейтенант! — сказал капитан. Он огляделся и добавил скучным голосом: — Вот зашли посмотреть, как вы живете. Письма от мужа получаете?

— А чего смотреть! — отозвалась Лунина сумрачно. — Все тут как на ладони... От мужика три месяца ничего!

Она оглядела офицеров. Старший был немолод, форма сидела на нем мешковато, серебряные погоны были мяты и лезли куда-то на спину, ремень застегнут лишь для виду, вовсе не перетягивая талию, шинель солдатского покроя великовата. Как видно, капитан недавно был взят из запаса, и военная форма не пристала ему. А старший лейтенант, кадровый, весь сиял и хрустел; щегольски скроенная шинелька выглядела на нем нарядной, новенькие ремни поскрипывали на нем при каждом движении, сапоги светились зеркальным блеском, серая меховая шапка была посажена на голову чуть набекрень, пуговицы сверкали, как маленькие солнца. Весь он был ладный, подтянутый, крепенький, с веселым взглядом карих глаз и ясной улыбкой на молодом лице. При взгляде на него Лунина даже повеселела немного — до чего же хорош парень! — и невольно поправила растрепавшиеся волосы и сказала виновато:

— Извините, товарищи, у меня не прибрано...

— Ничего. Не в гости же! — сказал капитан, озираясь по сторонам.

А старший лейтенант прикоснулся к своей шапке двумя пальцами и вежливо сказал:

— Извините, что побеспокоили. Служба...

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказала мать.

Офицеры еще раз огляделись, посмотрели друг на друга, пожалы плечами. Старший лейтенант вполголоса заметил:

— Мне кажется, товарищ капитан, здесь все ясно.

Тем же скучным голосом капитан, пожевав губами, согласился:

— Я думаю, что наша КЭЧ может пойти навстречу в этом вопросе. Тем более что сам Иван Николаевич лично просил. А наше с вами дело — приказ выполнить. — Он посто-

ял еще немного, заложив палец за ремень, подумал и несколько бодрее сказал: — Да, может пойти навстречу! Может!

Ему попался Генка, который глазел на офицеров, разиня рот. Он кивнул Генке головой:

— Эй, боец! Вытри нос-то, а то вожжи по полу, наступишь!

Это была шутка, и капитан рассмеялся. Затем, найдя, что он достаточно хорошо и ясно поговорил с людьми, капитан пошел к двери, надвинул потуже шапку на глаза. Генка захлопнул рот и полез в карман за платком. Капитан открыл входную дверь. Морозный воздух опять радостно повалил в комнату. Уже с порога старший лейтенант крикнул Луниной:

— Зайдите в военкомат, пособие вам оформили!

— Спасибо! — ответила Лунина.

Она хотела было выйти вслед за офицерами, но раздумала: «Чего ради-то?» Настроение ее улучшилось. «Ишь ты, все же беспокоятся!» — невольно подумала она и сказала Генке:

— Платка у тебя нету, что ли? От людей совестно — такой большой, а все на кулак да на кулак мотаешь... Ох, горе ты мое!

Но восклицание ее прозвучало вовсе не печально, и Генка почувствовал, что мать как-то разом воспрянула: неплохо, конечно, что кто-то беспокоится о них, что кому-то есть до них дело!

А дело этим не кончилось, словно там, наверху, в каких-то кругах, которые вершили все дела в городе, только и было заботы, что о Луниной. В тот же день мать получила сто рублей пособия, которые, как услышал Генка, на дороге не валялись, а пришлись как нельзя кстати, так как заработанные деньги пришли у матери к концу... И к вечеру того же дня к Луниным зашла девушка, тоже незнакомая и тоже депутат.

2.

Миленькая, скромная, с полудетским взглядом больших темных глаз, но с упрямым, выпуклым лбом и твердой складочкой возле пухлых губ, придававшей всему ее юному лицу выражение решительности, она была одета просто, но тепло — в бобриковое полупальто, теплые резиновые полусапожки и большой пуховый оренбургский платок. Она сразу понравилась Луниной, едва та взглянула на девушку. Она оказалась разговорчивей, чем прежние посетители, да и держалась не так официально, как лицо, что-то обязанное сделать и перед кем-то отвечать за это дело.

Войдя, она простодушно сказала:

— Ой, как вы нехорошо живете, товарищ Лунина! С потолка-то течет! А коридор-то у вас совсем холодный!

— Течет! Холодный! — в тон ей отозвалась Лунина, которая вовсе не обиделась на восклицание девушки, хотя, скажи это же самое кто-нибудь другой, например капитан со скучным голосом, она нахмурилась бы и осталась бы недовольной тем, что кто-то подчеркивает недостатки ее жилья: неприятно выслушивать замечания людей о том, что самого тебя бесит не первый день... Девушка же была такая хорошая; она так по-домашнему размотала свой платок и повесила его на спинку стула, так по-свойски села, не ожидая приглашения, словно бывала тут каждый день.

Увидевши Зойку, которая повернулась к незнакомому человеку и, уставившись на девушку, потащила в рот свою ногу, посетительница сказала:

— Что, курносая? Ножку свою хочешь съесть? Не надо! Вот ты скоро на новую квартиру поедешь! Хочешь на новую квартиру? Хочешь, да?

Зойка, заулыбавшись, ответила неожиданной гостье своим неизменным «агу-у». Тут Лунина невольно назвала девушку на «ты»:

— Ну, депутатка, что хорошего скажешь?

И девушка улыбнулась:

— Много хорошего скажу! Пособие вы уже получили?.. Хорошо!.. Ах, уже истратили? Тоже хорошо, — значит, на пользу пошло. Теперь дальше: товарищ Вихров, депутат, который приходил к вам, — учитель, кашляет сильно, помните? — поднял в горсовете шум. А он такой, что уж если за что возьмется, так не отцепится. Короче говоря, вам надо зайти в горжилотдел и получить ордер на новую квартиру. Вот так! По-моему, это тоже хорошо!

— Ну, это смотря какая квартира! — боясь верить своим ушам, осторожно сказала Лунина.

— А как вас зовут? — спросила девушка.

— Фрося! — ответила мать.

— Ну, так вот, тетя Фрося! Квартира в центре, большая, светлая комната на втором этаже. Во дворе садик. Всего три дома. Просторный двор, ребятишкам будет приволье! Ну просто прелесть! Сейчас там живет один майор, но его переводят куда-то, и КЭЧ согласилась, что ордер на их площадь выпишут на ваше имя, — это уж с ними Вихров договорился. Военные к вам приходили!.. Ну вот, значит, все в порядке и с этой стороны...

Тетя Фрося невольно сказала, словно все это зависело от девушки:

— Ах ты моя милая...

Но девушка, не слушая ее, продолжала:

— Меня зовут Даша Нечаева. Я работаю на Арсенале, знаете? Строгальщицей. Но это не важно. А дело вот в чем — Иван Николаевич просил меня поговорить кое с кем насчет вашей работы. Вы прежде работали кассиром? Так

вот, в центральной сберкассе место кассира есть. Они согласны принять вас на это место. Конечно, работать кассиром в сберкассе — это совсем не то, что на катке, но мы договорились так: они зачислят вас в штат и сразу же предоставят отпуск на две недели, чтобы вы могли посещать курсы работников сберкасс, а то нельзя же без всякой подготовки идти туда — там всякие особенные условия, определенная система, которую надо знать, сберкасса же! Ну как вы к этому относитесь?

Вопрос был совершенно лишним. Лунина не знала, верить ли своим ушам, — настолько все это было хорошо. В тот момент, когда ей казалось, что наступает конец и ей придется бороться за каждый кусок хлеба, биться как рыбе об лед, теряя силы и надежды на хотя бы сносное существование, — кто-то где-то устроил всю ее жизнь так, как если бы заботился о своих близких. От волнения, охватившего ее, Лунина не могла вымолвить ни слова. Неверно поняв ее, Даша Нечаева сказала торопливо:

— Да, самое-то главное я и забыла вам сообщить! Квартира ваша в двух шагах от сберкассы. У них лучшие в городе детские ясли! С местами у них, правда, туговато, но мы почти договорились. Все будет хорошо, не волнуйтесь...

Только тут Лунина поняла все по-настоящему. «Ах, господи! А я и не приветила девушку-то никак!» — мелькнула у нее беспокойная мысль. Она кинулась к плите, приложила руку к чайнику, — хорошо, что он еще не остыл. Увидев ее жест, Генка сказал:

— Мам! Я чаю хочу...

Мать махнула на него рукою и сказал депутатке:

— Дашенька, милая! Да как вы обрадовали меня!

— Ну и хорошо! — ответила Даша.

— Попей с нами чайку! — пригласила ее Лунина. — Угощать, по правде, и нечем, да хоть горяченьким побаловаться, на дворе мороз! — Она подбросила в печку дров, из тех, что подсушивались возле печи на завтра, и они затрещали и застреляли маленькими огоньками, сразу занявшись пламенем, и веселые отсветы через решетку дверцы заиграли на полу и на стенах, перемигиваясь и перебегая с места на место.

Даша не стала отказываться, поняв, что ее отказ обидел бы Лунину. Она скинула свое полупальто. Под ним оказалась полотняная рабочая куртка, надетая на синий, в обтяжку, джемпер. Даша поправила волосы, потом, вспомнив что-то, стала шарить в кармане полупальто и вытащила оттуда какой-то измятый сверток.

— У нас сегодня леденцы давали! — сказала она весело. — Угощайтесь! Я ведь одинокая, беречь не для кого.

— Что же это так? — невольно спросила Лунина.

— Папа и братишка на фронте, — ответила просто Даша и после паузы добавила: — Братишка-то еще пишет, а папа

без вести пропавший, с первого года, как пошел.— Она приметно вздохнула и пожалала плечами.— Как у всех, тетя Фрося!

Развернув свой сверточек, она высыпала из него в сахарницу, стоявшую на столе, блестящие слипшиеся леденцы. От одного вида их у Генки потекли слюнки — так долго он не видел ничего подобного. Он жадными глазами уставился на леденцы, боясь сморгнуть, и звучно сглотнул слюну.

— Бери, бери! — показала ему Даша на леденцы.

Генку не надо было спрашивать, хотя мать и посмотрела при этих словах Даши на сына очень выразительно. «Бери, да не налетай!» — говорил этот взгляд, и Генка неодобрительно подумал: «А вот и не твой!» — однако выпустил из руки уже зажатый им третий леденец.

...Они долго пили чай, растягивая удовольствие.

Даша с наслаждением, дуя на блюдечко и причмокивая своими красивыми губами, пила чашку за чашкой. Генка уже задремывал на стуле, но не мог оторваться от леденцов. Он то и дело закрывал глаза, не в силах справиться со сном, накатывавшим на него мягкой волною, но тотчас же испуганно раскрывал их пошире, а леденцы по-прежнему тускло блестя из сахарницы. «Унесет с собой!» — с жалостью подумал Генка, но тут же клюнул носом. Зойка уже давно уснула и мирно посапывала мокрым носиком. Даша тоже как-то сникла после третьей чашки, и только теперь Фрося увидела, что девушка сильно утомлена — мелкие морщинки вокруг ее глаз стали резче, глаза утратили свой задорный блеск и движения ее становились все более медленными, она все чаще подпирала голову рукой, оставаясь несколько мгновений в этом положении.

— Ты что это, девонька моя? — обеспокоенно спросила Лунина.

Даша ответила, что она работала в ночной смене, но так как у нее были депутатские поручения, то она решила сначала выполнить их, а потом уже идти спать в общежитие, да так целый день и прокрутилась, не сомкнув глаз.

— А почему же в общежитие-то? — удивилась тетя Фрося.

Борясь со сном, по-детски протирая слипавшиеся глаза, Даша сказала, что после ухода отца и брата на фронт отдала свою квартиру какой-то многодетной семье, а потом, поступив на завод, перешла в общежитие, чтобы не тратить время на дорогу...

— Что же это ты! — укоризненно сказала тетя Фрося. — Мужики-то с фронта вернутся и не похвалят за это! — Тетя Фрося тотчас же прикусила язык, вспомнив то, что сказала Даша раньше о брате и отце, но подумала про себя: «Отдать квартиру не штука, а вот попробуй получи ее!» — и от души посочувствовала Даше заранее.

Но девушка, не обратив внимания на восклицание Фроси, сказала:

— Ну много ли мне надо! Я целый день на производстве, да потом комсомольские, депутатские поручения, домой я только поспать забегаю... Подружки у меня в общежитии хорошие. Дружно живем...

Она стала собираться. Надела свое полупальто, закутала голову в платок. Уже у двери она сладко потянулась всем своим молодым телом, так, что у нее что-то где-то хрустнуло. Она рассмеялась.

— Ох, старость не радость! Ну, спасибо, тетя Фрося, за привет, за ласку! Леденцы оставьте ребятам! — поспешно сказала она, увидев, что Лунина потянулась к сахарнице с явным желанием вернуть несъеденные леденцы Даше. — И никаких разговоров. Да, вот что я еще хочу вам посоветовать: не откладывайте дело в долгий ящик, завтра же сходите в горжилотдел и в сберкассу. Если надо чем-нибудь помочь, я буду в исполкоме и жилотделе часов в двенадцать!

И она ушла, улыбнувшись дружески Луниной.

Мать сказала Генке, который уснул возле леденцов:

— Вот так! Слава богу, кажется, теперь у нас все будет хорошо. Только бы не сглазить, упаси бог.

Она легонько сплюнула трижды, чтобы закрепить это заклинание.

3

Но, как видно, ни один недобрый человек не поглядел на Лунину дурным глазом в эти дни, потому что все шло как по писаному.

Ордер выписали ей в горжилотделе без всяких проволочек. Правда, пожилая женщина, которая занималась этим, щуря глаза на небогатый наряд тети Фроси, спросила:

— Где вы служите?

— Работала на пивзаводе, — ответила Лунина.

— А теперь?

— Пока нигде не работаю! — с недовольной миной сказала Лунина, которой не понравились и эти вопросы и сама женщина. Она почувствовала, что эта дама не совсем рада тому, что вот она, Лунина, получает хорошую комнату, которую она уже считала своей и, еще ни разу не быв в ней, по рассказу Даши, так ясно представила себе — с большими окнами, чистую, светлую, теплую, обозначающую какой-то сдвиг в судьбе ее семьи.

— До вас в этой квартире один майор жил, — сказала дама, что-то черкая в ордере.

— Ну и что? — с вызовом спросила Лунина.

— Так. Ничего! — равнодушно сказала дама и посмотрела в зеркало. Тем же тоном она заметила: — А рядом с вами учитель живет, депутат наш!

— Ну и что? — уже совсем сердито спросила Лунина опять.

— Да ничего! Просто я говорю вам, кто там жил и кто живет!

Но Луниной опять показалось, что женщине не нравится то, что работница пивзавода будет жить рядом с учителем в комнате, которую прежде занимал майор. «А что мне, в подвале век жить, что ли?» — сердито подумала она и как-то испугалась: не хотят ли уж у нее отнять эту неожиданно обретенную комнату? Она промолчала, чтобы не портить себе настроение, — не стоило тратить силы на эти пустяки.

— А Ивана Николаевича вы знаете? — спросила опять женщина, ставя печать на ордер и прикладывая пресс-папье.

— А кто это?

Но женщина, не ответив, протянула Луниной ордер и вдруг пожала Луниной руку.

— Ну, поздравляю вас с новосельем! — услышала Лунина напоследок.

«А она баба ничего!» — подумала тетя Фрося про ту, которая выписывала ей ордер. Теперь, когда ордер на новую комнату был в ее руках, все страхи ее показались ей смешными и женщина в горжилотделе даже симпатичной. «Поди, тоже кто-нибудь на фронте у нее! — подумала тетя Фрося и попеяла себе: — Чего это я на нее набросилась? Человек немолодой, усталый! Что ей в самом деле, целоваться, что ли, со мною!»

Но страх опять охватил ее, когда она переступила порог сберкассы. А ну как тут ничего не удастся? Куда теперь ей идти?..

Однако и тут ее встретили хорошо.

Заведующий, невысокий, пожилой человек с большими залысинами, близорукими глазами, короткими щетинистыми усами, придававшими его лицу несвойственное ему выражение строгости, протирая квадратные очки, едва только увидел ее фамилию на заявлении, сказал:

— А-а! Так это вы и есть Лунина? Ну что ж, будемте знакомы: Павлов Петр Петрович, ваш начальник! — Он кивнул ей головой, потом ткнул рукой в какие-то бумаги и добавил: — Все по поводу вас: и курсы, и ясли, и детсад — целая канцелярия. Дашутка тут из-за вас все вверх дном перевернула. До сих пор в ушах звон стоит!

— Дашутка? — спросила Лунина.

— Да. Дашенька Нечаева. Отец ее был у нас начальником отдела госкредита, пока не ушел в армию. А дочка служила у нас кассиром. Как только отец ушел в армию, она тоже просилась на фронт, медсестрой. Ну, ее не взяли. Тогда

она пошла на завод. Тоже из патриотических побуждений, как вы сами понимаете. Депутатка. По этой линии она тут все в два счета устроила... Решение есть по всем вопросам, вам только надо будет заявление написать в местком!

Павлов очень внимательно поглядел на Лунину, на ее острый носик, на впалые щеки, на мужнины сапоги, в которых она щеголяла. За толстыми стеклами очков тете Фросе не были видны его глаза, а на лице начальника не отразилось ничего при этом взгляде. Так Лунина и не поняла, как отнесся к ней ее будущий шеф.

— Ну, жду вас в ближайшие дни! — сказал Павлов. — А пока до свиданья!

Тетя Фрося вышла от него как на крыльях, подумав только, что ходить сюда на работу в ватнике будет неудобно. Хорошо, что она еще не успела продать свое пальто. Ну и чудеса — и квартира, и работа, и дети устроены...

Чудеса же между тем продолжались.

Когда Лунина шла домой, она, еще не доходя до дома, на углу квартала, увидела взъерошенного Генку. Он был в шубейке, накинутой на плечи, в шапке, сбитой на сторону.

У матери екнуло сердце. Она кинулась к Генке, едва заметила, что он высматривает кого-то на улице, вертя головой по сторонам. «Ах, батюшки! Случилось что-то!» — сказала она себе, и ей сразу стало жарко, кровь хлынула ей в лицо, и воротник ватника стал тотчас же тесен. Она побежала к Генке, а он, увидев ее, тоже полетел навстречу ей, вскидывая тощие ноги в сбитых ботинках.

— Ну что там такое?! — закричала Лунина Генке, готовая к самому худшему и не зная, что думать.

— Ой, мамка! Давай скорее! — отвечал Генка, блестя возбужденно глазами и шмыгая торопливо носом, который всегда был у него не в порядке. — Грузовик пришел! Военный! Говорят: «Где матка-то? Переезжать надо!» С машиной старший лейтенант и два солдата! Лейтенант сердится, говорит: «Машину задерживать нельзя!»

Теперь они вместе бежали к дому. Ничего не понимая, мать все переспрашивала Генку:

— Откуда машина? Какой лейтенант?

А Генка досадливо морщился и отвечал на бегу:

— Вот беспонятная! Ну лейтенант, который к нам приходил! На квартиру переезжать! Сказано ведь!

И верно, во дворе дома, где жили Лунины, стояла грузовая машина. Возле нее дымили махоркой два солдата в ладных полушубках и меховых шапках-ушанках. Щеголеватый лейтенант — теперь тетя Фрося узнала его! — присел на крыло машины, нетерпеливо поглядывая на часы. Увидев Лунину, он сказал:

— Ну, еще пятнадцать минут — и мы уехали бы без вас! Мы подаем машину майору, который жил в комнате, что да-

ют вам. Так я подумал: где вы будете искать транспорт для переезда? — за один заход можно и вас перебросить и майору машину подать. Так?

— Ой, да как же это так? — всплеснула руками тетя Фрося. — Мне ведь собраться надо, ничего не уложено. Ордер-то я только что получила...

Несколько озадаченный, лейтенант в замешательстве глядел на Лунину, которая не могла отдышаться, на Генку, который с обожанием тарачил на него глаза, на солдат, которые притаптывали сигарки, вминая их в снег, и ожидали приказаний.

— Н-да! — протянул лейтенант. — Признаться, я не подумал над этим, не учел, что это будет так сложно...

Растерянная, тетя Фрося не знала, что и сказать ему. Но тут один солдат, самый старший по годам, сказал вдруг весело:

— Да мы подмогнем, тетенька! Давайте ведите в хату, побачим, що до чо́го!

Как назло, обрванная Зойка была мокрая. И Фрося от порога кинулась к ней перепеленывать и уже решила, что ничего в этот раз с переездом не выйдет, и прикидывала про себя, у кого же можно будет достать машину, — может быть, директор пивзавода по старой памяти выручит. Но солдат — пожилой, рыжеватый, кряжистый, видимо, очень хозяйственный человек, не привыкший теряться где-либо, махнув на нее рукою, принялся складывать пожитки Луниных по своему усмотрению, в узлы и корыта. И когда Лунина успокоила наконец дочку, ей оставалось только собрать постель Зойки, а все остальное уже вынесено было из горницы и погружено на машину. Довольный исходом дела, лейтенант усаживался в кабину и виновато сказал Луниной:

— В кузове ехать не могу, товарищ Лунина: нарвешься на коменданта — хлопот не оберешься. Так что вам придется ехать наверху!

Солдаты, сидя на ее стульях в кузове, помогли Луниной влезть.

— Давай, давай, тетенька! — сказал младший. — Веселее будет!

Машина тронулась, гулко гукнул сигнал.

Лунина без сожаления рассталась со свим подвалом. Правда, со страхом она подумала: «Эх! Присесть бы надо было перед отъездом-то! Пути не будет!» Но сразу же она забыла о своем суеверном страхе: какие страхи, когда вдруг, словно по молитве, так круто меняется ее жизнь! Без сожаления окинула она взглядом немногих жильцов, что выскочили на мороз посмотреть, куда собралась Луниха, и переговаривавшихся меж собою. Никто не махнул ей рукой, не пожелал счастливого пути — не потому, что люди эти плохо относились к Луниной и ее выводку, но потому просто, что никто

толком не сообразил, что Лунина уезжает, быть может навсегда, из этого дома. Кто-то молвил с завистливой улыбкой: «Видно, квартиру получила!» Кто-то отозвался несердито: «А что ей, век в подвале жить?» Кто-то заметил: «Двумя огольцами меньше в нашем дворе!» А кто-то отшутился на это замечание: «Ну, свято место не бывает пусто! Вы же сами, бабы, народите!» Тут все жильцы поехали набок, оттого что машина круто свернула на дорогу. Лунина, которой стало неловко потому, что она даже не простилась с соседями, помахала рукой оставшимся, но они уже теснились на узкой лестничке, уходя в дом, и лишь древняя бабка, которая шла из магазина с пайкой хлеба, увидев машущую руку, ответно махнула, даже и не разобрав, кто и кому машет... Осталась позади какая-то часть жизни Луниной и ее детей, связанная годами с этим подвалом, с рождением детей, с мужем, со ссорами и с тем небольшим хорошим, что видела она от мужа, с нехватками и радостями, которые посещали и этот подвал, потому что в нем жили люди, такие же, как и все! И Луниной немного взгрустнулось о прошлом, и в душе ее затеплились какие-то смутные, неосознанные надежды на лучшее, что невольно соединяла она с этим переездом.

Нет, не простое это дело — новая квартира! Другой дом, другая улица, другие знакомые — как-то ко всему этому привыкнешь? С кем сойдешься, с кем не поладишь? Уже одно то, что из подвала Лунина переезжала на второй этаж, возбуждало в ней радость. Шутка ли!..

4

И вот машина въехала в новый двор.

Водитель подогнал ее к самому крыльцу двухэтажного каменного дома, лихо развернулся, выскочил сам и открыл борта. Солдаты спрыгнули на землю и козырнули — на крыльце с выражением досады на красивом смуглом лице с томными карими глазами, в синей форме летчика стоял майор. Лицо его, однако, смягчилось, когда он увидел Лунину с детьми. Старший лейтенант виноватым тоном доложил майору, почему в машине, которую он ожидал, оказалась целая семья.

— Ну и правильно! — сказал майор. — Отчего ж не сделать, если можно сделать! У меня жинка тоже только-только управилась... Маня! — крикнул он в открытую дверь. — Машина пришла, собирайся!.. Товарищи солдаты, наверх, направо первая дверь, — забирайте все, что упаковано!

Солдаты принялись стаскивать вещи майора — чемоданы, столики, тумбочки, стулья, кровати — и таскали наверх пожитки Луниной. Тетя Фрося на этот раз и совсем растеря-

лась, держала в руках уснувшую Зойку и провожала взглядами свои вещи, которые одна за другой исчезали за дверью. Оробевший Генка жался к матери, не сводя глаз с майора. Когда все вещи майора были погружены в машину, скарб Луниной был уже в ее новой квартире.

— Ну,— сказал майор, протягивая руку тете Фросе,— счастливо оставаться. Будьте здоровы, живите богато! — и он улыбнулся.

В это время с крыльца сошла его жена с простым, некрасивым лицом, на котором были хороши только добрые, ясные, лучистые карие глаза, блеска которых не могли испортить и коричневые пятна, покрывавшие ее скулы и лоб. «Тяжелая! — тотчас же отметила про себя Лунина. — Почитай, последний месяц дохаживает!» И внимательным взором оглядела жену майора — та и верно была на сносях. Фрося с готовностью протянула ей руку. Та приняла помощь и тотчас же крепко пожала руку Фросе, то ли здороваясь, то ли прощаясь, и приветливо сказала:

— Печка натоплена. Сегодня вам будет тепло. Сарайчик наш заперт. Вот вам ключ! Там есть еще немного дровишек, топите, пока есть! — Она протянула тете Фросе маленький ключик, чмокнула губами Зойку, которая открыла глаза, и сказала Генке: — А ты чего такой сердитый, гражданин?

Генка скрылся за спиной матери от ответа.

Майор с женою уселись в кабине, потеснив водителя. Старший лейтенант с солдатами влезли в кузов. Шофер махнул рукой Луниной на прощание. Машина загудела и, фырча мотором, выкатилась со двора.

А тетя Фрося, тотчас же забыв этих людей, с Зойкой на руках и с Генкой у подола, стала подниматься в свою новую квартиру — вверх направо первая дверь.

По сравнению с тесным и сырым полуподвалом, в котором жили Лунины несколько лет, это был настоящий дворец, а не комната. Высокая, светлая! Четыре окна с двух сторон лили в нее ясный дневной свет. Солнце клонилось уже к закату, и два окна с западной стороны бросали красноватые отблески на стены, выбеленные известью. Зойка, почувствовав что-то непривычное — в их подвал никогда не заглядывало солнце, — широко открыла глаза и стала озираться, но тотчас же зажмурилась от яркого света, сморщила нос и чихнула.

— На здоровье! — сказала ей мать. Потом оглянулась на Генку и вдруг неожиданно назвала так, как никогда еще не называла: — Ну, сынок! Давай устраиваться на новом месте! Нравится тебе здесь?

Еще бы Генке не нравилось тут! Он с радостным удивлением подходил то к одному, то к другому окну и смотрел на широкий двор, тихую улицу за забором, березовый садик, со-

седние дома... Березовый садик особенно понравился ему. «Ох, рогаточку я себе сделаю!» — сказал он сам себе.

Тетя Фрося испытывала некоторую неловкость оттого, что ее соседом по квартире будет тот самый депутат Вихров, который был тронут ее положением, и принял это ее положение близко к сердцу, и затеял всю эту историю с переселением. «Поди, не думал, что в его доме мне комнату дадут!» — подумала тетя Фрося хмуро. Кто знает, как сложатся их отношения... Не так уж приятно ежедневно видеться с человеком, который сделал тебе добро. Тетя Фрося заранее чувствовала неудобство своего положения — она словно попала в какую-то зависимость от Вихрова. Да кроме того, на старой квартире были все свои люди — рабочие пивзавода, рабочие ремстройконторы, никто из них не был друг у друга в долгу, хотя по-соседски часто одалживались друг у друга. С ними можно и выпить и поругаться по-свойски, в зависимости от обстоятельств. Но и совместная гулянка никого ни к чему не обязывала, и брань ни у кого на восточном входе не висла — сегодня разругались, а завтра как ни в чем не бывало: «Тетенька Фрося, позычьте соли! Завтра отдам!» — или что-нибудь в этом же роде. А тут... Кто его знает, какой он, этот учитель, дома-то? Какая у него хозяйка? Поди, будут нос воротить...

Все в мире относительно. Подвал не дворец, а тетя Фрося со своими детьми жила в нем сама хозяйка. Новая же ее комната словно врезалась в квартиру учителя. Три комнаты этажа занимал Вихров, и это сразу настораживало тетю Фросю — начальник он, что ли, какой, ишь разместился! Через прихожую, напротив дверей в комнату Луниной, была дверь в его детскую, а за большой дверью, выходившей в общую прихожую, располагались другие две комнаты, одна из которых — спальня — была смежной. И тетя Фрося невольно сморщилась — чихни, крикни, все слышно! Да что сделаешь, выбирать не из чего. Значит, надо привыкать к чужим людям. Она сердито сказала Генке:

— Не ори! Не кричи! Не фулигань! Мы тут не одни, понял?

И она поспешно вытолкала Генку на крыльцо, чтобы не мешал, и принялась утрясаться.

Но, едва она стала мыть пол, в дверь постучались.

На пороге показалась стройная молодая женщина с каштановыми волосами, коротко подстриженными, с глазами, которые казались карими, а на самом деле были серыми, с очень милым лицом. Тетя Фрося с завистью отметила ее красивый шерстяной жакетик, обтягивавший ее талию и обрисовывавший грудь. «Вихрова жинка!» — сказала она себе, поднимаясь с пола, который мыла с голиком, — хорошо, что не выбросила перед переездом! Она стала посередине комнаты, с подоткнутым подолом, закатанными по локоть рукавами, босая, в грязной луже, подтекавшей к дверям...

— Здравствуйте, соседка! — сказала Вихрова и тотчас же извинилась: — Ох, не ко времени я вошла! Ну, да по-соседски не страшно! Устраиваетесь? Тут вам будет хорошо!

— Спасибо на добром слове! — сказала тетя Фрося. — Здравствуйте.

— Меня зовут Галина Ивановна! — сказала соседка.

Тетя Фрося назвала себя.

Взгляд соседки упал на Зойкину кровать. От тети Фроси не укрылось то, что тень прошла по ясному лицу соседки. Почувствовав ее недовольство, тетя Фрося сказала поспешно:

— Да она уже большая. От груди отлучила давно уже. И такая тихая-тихая, вы и не услышите ее! Кроме того, я буду относить ее в ясли — уже договорились.

Галине Ивановне стало неудобно, что Лунина поняла ее мысли.

— Что вы, что вы! — сказала она. — У нас тоже дети. Как может ваша малышка обеспокоить нас? Мы в своей половине и не услышим ее. Муж занимается в столовой, там у него письменный стол стоит.

— Она спокойная! — упрямо сказала тетя Фрося.

— Ничего, если когда-нибудь и побеспокоит! — улыбнулась Вихрова. — У каждого свое! Я вот боюсь, что муж мой будет мешать вам своим кашлем. Он тяжело болен и иногда неделями лежит. Сейчас-то он молодец, а вот долго ли проходит так-то, кто его знает...

— Она спокойная! — сказала тетя Фрося, а про себя подумала: «Вот еще не было печали, так чахоточный под боком оказался! Будет теперь мне мороки... Охо-хо! Вы, значит, нам кашлять, а мы вам плакать!»

— Ну, извините, что помешала! — сказала Вихрова. — Я только что с базара пришла, слышу — тут у нас новые жильцы шевелятся...

— Она спокойная! — сказал тетя Фрося опять.

Галина Ивановна улыбнулась своей милой улыбкой и вышла, прикрыв дверь поплотнее. И тетя Фрося не могла не увидеть, что сложена соседка хорошо, и ноги, и плечи, и спина — все было у нее хорошо! Но именно это и не позволило тете Фросе принять протянутую руку Галины Ивановны. Она принялась скрести и без того чистый пол голиком, гоня им лужи воды к порогу, а мысли ее возвращались к Вихровой. Видно, хорошо ей живется, видно, черной работы не делала! Постояла бы у цинковых корыт на пивзаводе, постучала бы ногами в плохих обутках на катке, потаскала бы на вытянутых руках подносы, так и улыбаться бы забыла. И мужик ее, видно, любит, — а как такую не любить! — оттого и легка походка, оттого и послушно тело, оттого и улыбка сама набегает. И детей, видно, сама не кормит — грудь-то так и торчит, будто у девчонки! Тетя Фрося взглянула в зеркало, приспособленное на стенке, между двумя окнами. Оттуда

глянула не нее простенькая физиономия — нос чуть побольше воробьиного, усыпанный веснушками, несмотря на зиму, светлые глаза навькат, раскрасневшиеся красными пятнами щеки, оттопыренные губы, крупные зубы, серебряные маленькие сережки в ушах, дешевые бусы на худой шее. «Тыфу на тебя! — подумала тетя Фрося. — Интеллиген-ция! Извините, что помешала!» — с сердцем повторила она последнюю фразу Галины Ивановны и решила почему-то, что Вихрова будет мешать ей на каждом шагу, ко всему привязываться...

5

А Зойку словно подменили на новой квартире. Она спала и спала, как сурок, пока не захочет есть. Правда, она целыми днями была теперь в детских яслях, где, как видно, и кормили ее и занимались с ней совершенно достаточно. Теперь Лунина видела свою дочь только рано утром, когда поднималась, да вечером, после работы, когда приносила ее из яслей. Сытая девочка прибавляла в весе и почти не капризничала дома.

Генку приняли в группу продленного дня в школе, которая находилась буквально в двух шагах от дома. Директор школы называл всю эту группу безотцовщиной, так как в ней были собраны ребята, которым не с кем было готовить уроки. Но как бы их ни называли, ребята и учились и домашние задания выполняли в школе, приходя домой с чистой совестью и готовыми уроками.

Только по воскресеньям тетя Фрося видела своих детей целый день. Но этот день был ей не в тягость, и она даже получала удовольствие от возможности побыть с ними. Это было какое-то новое ощущение — в прежней квартире ребята были у нее на глазах, поминутно требовали внимания, шалили, делали что-то не так и не тогда, когда надо было.

Курсы, на которые ее послали учиться, оказались делом не весьма трудным, тем более что у кассира обязанностей было куда меньше, чем у контролера, хотя кассир и должен был знать все обязанности контролера, чтобы быть в состоянии заменить его в любое время. Однако начальник Луниной, заметив, с каким страхом и напряжением тетя Фрося одолевает науку, уговорился, чтобы Лунину пока не нагружали полностью. «Привыкнет, осмотрится, — говорил он, блестя своими выпуклыми очками, — а тогда уж и нагрузим как полагается».

На новом месте — за чистым делом, в тепле! — Лунина совсем по-другому стала глядеть на жизнь, и хотя война еще продолжалась и вовсе не легко было сводить концы с концами и по-прежнему все необходимое можно было купить

лишь после утомительного, выматывающего душу и нервы стояния в длинных очередях, на душе у нее посветлело как-то. По-прежнему у нее было двое растущих детей, которые то и дело напоминали о себе — то тем, что их надо было накормить, то тем, что им надо было что-то купить. Но теперь у нее было больше свободного времени и появились небольшие, но свои деньги. Свои! Этих денег было больше, чем приносил Николай Иванович в дни получки. «Ай да я!» — сказала себе как-то Фрося. И в этом коротком восклицании уместилось многое. В очень тяжелых, трудных условиях она вдруг вырвалась из нужды; лишившись кормильца, ее семья не захирела, не погибла, а поднялась на какую-то новую ступень; и хорошая комната, и приличное жалование, и устройство ребят — все это пришло к Фросе без Николая Ивановича, который прежде должен был заниматься этим, а занимался плохо или не занимался, и потому у них не было никакой надежды когда-нибудь выбраться из своего полуподвала. Как же было Фросе не похвалить себя! Она спохватилась и, чтобы не сильно заноситься, тотчас же сказала себе иронически: «Сам себя не похвалишь — как оплеванный сидишь!» Вот добилась же всего!

И она чувствовала себя и умнее и сильнее мужа, который много раз говорил ей важно, когда она о чем-то напоминала ему: «И без тебя есть кому подумать! Вон Генке лучше нос утри!» Николай Иванович считал ее уделом пеленки, стирку, кухню, детей, — ведь и женился он для того, чтобы в доме была «баба». Невольно Фрося думала теперь о Николае Ивановиче как-то не так, как прежде, невольно в ее отношении к нему появилась критическая нотка, и она как-то вдруг увидела его очень уж простым, как бы сколоченным из необструганных досок. Все для него было просто: начальники — гады ползучие, они никогда не сделают так, как ему, Николаю Ивановичу, надо; женщины — «бабы», если они могут иногда как-то Николая Ивановича ублажить, доставить какое-то удовольствие, то вообще-то они существуют затем, чтобы готовить обед, стирать белье, растить детей, следить за тем, чтобы в доме было чисто, чтобы муж вовремя был накормлен и напоен; товарищи — хорошие ребята, но «им пальца в рот не клади, продадут!». Работа — ее делать надо, но она не волк, в лес не убежит! В отношении работы у Николая Ивановича было еще одно мудрое правило: «От работы кони дохнут!» Выпивка — Николай Иванович хоть и не пьянствовал, как другие, но и не отказывался: «Пьян, да умен — два угодя в нем», — приговаривал он не раз. А что касается жизненного устройства, учебы, роста, квалификации, материального достатка — то и тут у Николая Ивановича находился простой ответ. «Значит, не планида!» — говорил он, когда кто-то другой чего-то добивался и Фрося упрекала мужа в том, что они живут так, словно у них нет ни-че-го впереди,

ничего не было позади. Кто и когда вколотил в Николая Ивановича всю эту мудрость, сковывавшую его по рукам и по ногам и не дававшую ему сделать хоть какое-то усилие в жизни, — кто знает! Он всегда был таким, каким знала его Фрося...

Всегда таким. Может быть, фронт переменял его?..

Но, подумав о фронте, Фрося невольно думала о том самом худшем, что могло произойти с солдатом. Что с ним, с этим рыжеватым солдатом ниже среднего роста, без особых примет? От Лунина не было никаких известий. Фрося послала запрос на полевую почту — командиру части, не раз ходила в военкомат, но ничего не добились. Солдат Лунин как в воду канул. А начальники его были, видно, заняты другими делами — фронт все дальше катился на запад, Гитлеру явно приходил капут, но война шла по-прежнему — неумолимо жестокая. Дни сменялись днями, недели текли одна за другой, а вестей от мужа не было, а жизнь шла, предъявляя свои требования, и получалось, что Фросе приходилось самой налаживать жизнь. Без мужа! Острое беспокойство за Лунина, которое она испытывала не потому, что любила Николая Ивановича — какая там любовь, ему нужна была «баба», ей нужен был муж, опора в жизни, потому они и поженились! — а только потому, что он был отец ее детей, это беспокойство стало притупляться, заслоняться ежедневными заботами, которые поглощали все ее внимание. «А что делать?» — спрашивала себя Фрося. Из каждой семьи кто-нибудь ушел на фронт, и она не хуже и не лучше других. К этому спасительному заключению, снимавшему с ее души лишние переживания, Фрося пришла после долгих раздумий.

Первое время, по привычке, она еще равнялась на вкусы и желания Николая Ивановича. «Вот, скажет, хорошо!» — появилась у нее мысль, когда они переселились на новую квартиру. «Не похвалит меня Николай Иваныч!» — сказала она себе однажды, когда стала приходиться с работы в шесть часов вечера и лишь тогда принималась за уборку и разные домашние дела, что затягивалось иногда до поздней ночи: ведь прежде к приходу мужа все дома у нее было в порядке, а если она задерживалась и чего-то не успевала сделать вовремя, то муж хмурился, показывал ей кулак и говорил: «Ты у меня смотри!» И хотя он ее не бил, Фрося побаивалась его. «Что-то Николай Иваныч скажет? — подумала она, когда впервые заняла свое рабочее место в сберегательной кассе, и невольно с чувством превосходства добавила: — Показал бы он теперь мне кулак!» И вдруг почувствовала, что кулак Николая Ивановича уже не страшит ее. Сначала, сделав это открытие, она даже испугалась этого — как же так?! — словно сделала что-то нехорошее, чему-то изменила, от чего-то отказалась, нарушила что-то, что имело силу закона, а потом вдруг поняла, что прежние мерки уже не действуют в ее теперешней жизни, они устарели, и что ни вкусы, ни желания, ни взгляды Николая Ивановича не могут теперь быть для нее законом...

Но на место одного страха — перед Николаем Ивановичем — пришли другие, и не раз ей приходилось на новой работе чувствовать, как сжималось ее сердце, пока не пришла привычка, успокоившая эти страхи.

Сначала ее испугал вид денежного шкафа с секретным замком за ее спиной — упаси бог, если кто-нибудь что-то тут наделает! Еще больший страх охватил ее, когда она увидела пачки кредитных билетов, которые лежали в сейфе, — а ну как там их совсем не столько, сколько указано в ведомости, а ну как недостает там одной-двух сотенных бумажек (то ли в банке обсчитались, то ли один-два билета из пачки вынули)? — ведь их тут столько... Никогда в жизни не приходилось ей видеть столько денег разом. Вечернюю выручку на катке и сравнить нельзя было с теми деньгами, которые оплетенные голубыми банковскими бандеролями, хранились тут затем, чтобы она своими руками выдала их тем, кто ожидает своей очереди у кассы. Эти пачки первые дни даже снились ей в кошмарах, — все казалось, что чья-то, непременно грязная, рука тянется к ним и разрывает эти хрустящие бандероли, и сотенные и полусотенные билеты так и сыплются на пол, так и сыплются. Она вскакивала на постели, объятая страхом, вся в холодном поту. Даже опечатав сейф в присутствии контролера, она долго не была уверена в том, что подсчитано все верно, и, распечатывая сейф по утрам, все придирчиво осматривала и осматривала пачки денег: а вдруг нехватка?

Испугалась она также и тогда, до дрожи в ногах, когда впервые выдала какому-то вкладчику сразу пять тысяч рублей наличными. Такие деньги! Тетя Фрося несколько раз пересчитывала купюры, смачивая пальцы слюнями и мусоля купюры, забыв о вертушке с водой, для этой надобности стоявшей у нее на столе. Каждый раз у нее выходило то меньше, то больше пяти тысяч. Она вспотела и совсем растерялась. Клиент, которому надоело это, сказал сердито:

— Таблицу умножения надо знать! В трех соснах заблудилась, кассир! Хватит вам мусолить деньги-то, давайте их сюда! — он протянул нетерпеливо руку в окошечко, взял деньги, как-то очень быстро, привычно пересчитал кредитные билеты и сказал: — Все правильно! В вашей работе, товарищ, волноваться нельзя!

Эти пять тысяч запомнились ей навсегда. Позже случилось ей выдавать и бóльшие суммы, но эта выдача крепко задела ей в голову. Потрясена она была и тем еще, что вкладчик сунул пачки денег во внутренний карман пальто так, словно это были пять — десять рублей. Да будь эти деньги у Фроси, она бы надрожалась и получая их и неся домой — как

бы не украли, не отобрали! А этот вышел как ни в чем не бывало, как видно привыкнув к деньгам...

Когда она села впервые на свое место, ей все казалось, что на нее смотрят как-то особенно — куда, мол, ты забралась? — и действительно, она часто ловила на себе взгляды посетителей сберегательной кассы, толпившихся в операционном зале (слово-то какое, а!) в ожидании своей очереди. Лишь позже убедилась она, что взгляды эти случайны, что в них не отражается никакой мысли и что клиенты — ах, как это слово нравилось Фросе! — глядят на нее так же, как глядят на эти стеклянные перегородки, на входную дверь, пушечными хлопками сопровождавшую каждого посетителя, на высокие столики с набором ученических вставочек вокруг тощих колонн операционного зала. Они даже не видели ее, занятые своими мыслями, которые витали где-то вдали от Фроси и ее высокого положения.

Не сразу она привыкла к своему месту — за стеклянной перегородкой, на небольшом возвышении. Жизнь — сложная вещь, и перемены в ней воспринимаются человеком часто с опаской: а правда ли произошла эта перемена, особенно перемена к лучшему, а не помстилось ли это, а не занял ли кто-то другой мое место? Много дней входила Фрося в сберегательную кассу и прежде всего кидала тревожный взгляд на стеклянную табличку над своим окошечком: висит ли там надпись, которая словно завораживала ее, — «Кассир Е. Р. Лунина»? Смешно сказать, но свои фамилию и имя Фрося видела только в паспорте. Младшие называли ее до сих пор тетей Фросей, муж, когда был ею недоволен, — Евфросиньей, сверстники — Романовной. Ее имя, отчество, фамилия всегда существовали отдельно. А тут — словно помирившись! — соединились вместе на стеклянной табличке. «Е. Р.» — это было ее полное имя, Евфросинья Романовна. Так называл ее директор и сотрудники, пока она не познакомилась с ними поближе.

Евфросинья Романовна с гордостью сидела на своем высоком стуле и через окошечко в стеклянной же стенке, отделявшей рабочее место кассира от рабочего места контролера, принимала денежные документы — сберегательные книжки, сертификаты, аккредитивы, чеки. Она смотрела, на месте ли подпись контролера, сверяла сумму выдачи или взноса с суммой остатка, выдавала или принимала деньги, ставила свою подпись на документе и возвращала его контролеру или клиенту.

Сначала она подписывалась старательно «Лунина» и делала робкий, дрожащий хвостик после «а». Но даже ее короткая фамилия не вмещалась на отведенном для нее месте, так оно было мало, и ей вернули несколько документов. Тогда она научилась вместо подписи ставить судорожную закорючку

ку сразу после буквы «Л». Закорючка эта не походила на ее фамилию, но не походила и на закорючки контролера.

Не думайте, что это пустяки! Если любое дело, любые обязанности разложить на составные части, на те мелочи, из которых складывается это дело, эти обязанности, Фросина закорючка вдруг перестает быть мелочью. Ведь такой же мелочью была способность быстро отсчитать деньги, набрать нужную сумму из таких банкнотов, чтобы и клиенту было удобно и чтобы в кассе не оставалось денежного «мусора» — рублей, трешек, сосчитанные кредитки разложить по достоинству, сложить в пачки, обернуть накрест бандеролью и заклеить так, чтобы недобрая рука не смогла бы вынуть из пачки одного билета, не измяв, не порвав бандероли. По отдельности все это были мелочи, а в сумме они составляли деловые качества кассира. Для Фроси постижение этих мелочей было чистой мукой! А эта мука тем была горше, что Фрося смертельно боялась обсчитаться.

Потом Фрося привыкла и к виду денег, и к шумному залу, и к случайным взглядам, и к тому, что клиенты всегда нервничают, всегда торопятся, будто на пожар. Привыкла она и к тому, что все они получают деньги по-разному. Одни не хотят, чтобы кто-нибудь видел, сколько они получают, — и, не поднимая головы, торопливо совали деньги поглубже и понезаметнее. Другие гордились тем, что у них есть деньги, — они отходили от кассы с деньгами в руках и рассовывали их по карманам, по пути к выходу. Третьи, не отходя от окошечка и задерживая прочих, придирчиво и долго пересчитывали полученное, заранее уверенные в том, что кассир обязательно обсчитал их. Четвертые, не желая выказывать недоверие, брали деньги пачкой, как подала Фрося, и лишь отойдя, иногда даже на улицу, у окна сберегательной кассы все-таки считали... Пятые обязательно говорили «Спасибо! Благодарю вас!», словно Фрося одалживала им свои деньги. Но большинство подходили к окошечку молча, молча же брали выданное и отходили, будто и не увидев того, кто сидел за этим окошечком и берег их деньги, не удостоив ни улыбкой, ни взглядом!

И все клиенты смотрели на ее руки, которыми она набирала и отсчитывала кредитки и мелочь, со странным выражением заглядывали в открытый денежный ящик или на пачки банкнотов на ее рабочем столе — сколько там? И это было неприятно: чего пялить глаза на чужое?

Когда Генка впервые увидел свою мать за стеклянной стенкой, восседающей на высоком стуле, он даже оробел, почувствовав невыразимое почтение к ней. Вот это да! Она выкрикивала какие-то номера, люди подходили к ее окошечку и отходили от него с деньгами.

Он, открыв рот, глядел на мать. Сколько у нее денег-то!..

— Ты что здесь делаешь? — вдруг спросил Генку мужчина в старенькой шинели, меховой шапке, которая сползала ему на глаза в сетке мелких морщин, в поношенных пимах с га-лошами из красной резины и с револьвером в потрепанной кобуре на боку.

— А я к мамке! — простодушно сказал Генка.

— А как ее фамилие? — строго спросил мужчина с ре-вольвером.

— Лунина! — отвечал Генка, косясь на кобуру.

— Не знаю такую! — сказал мужчина сердито. — Давай иди отседа! Все вы к мамке, а потом у клиента, глядь, и бу-мажника нету! Давай, давай отседа! — повторил он и схватил Генку за плечо.

— Да вон она! Мамка-то! — не менее сердито закричал Генка, вырываясь из его цепких рук и указывая грязным паль-цем на окошечко, за которым, не видя его, сидела мать. И тут же закричал на весь зал: — Мамка-а!

Услышав его, Лунина поднялась со своего стула и выгля-нула в зал. Встретившись с ее взглядом, Генка рванулся из рук охранника и побежал к окошечку.

— Это мой, мой! — успокоительно сказала охраннику Лунина.

— Ну, твой — так твой! — буркнул сторож, тотчас же сбавив тон, и, отвернувшись, добавил в свои сивые усы: — А я гляжу, чего тут вертится, чего высматривает! За ними глаз да глаз нужон, чуть отвёрнесся — и готово, пожалуйста бриться!..

— Чего ты? — встревоженно спросила мать Генку.

— Да нас сегодня из школы раньше отпустили, — слава богу, учительница заболела! А дома никого. Вот и зашел!..

— Не совестно тебе? — спросила мать. — Учительница за-болела — так уже «слава богу», да? — Она протянула ему клю-чи от комнаты. — Вот, возьми! Хочешь — сейчас иди, хо-чешь — меня обожди! Я скоро...

— Я обожду! — сказал Генка, утирая нос.

Контролерша, с которой Луниной приходилось дежу-рить не первый раз, молодая красивая Зина, перегнулась че-рез барьер, отделявший рабочие места сотрудников от зала, и спросила Лунину:

— С кем ты там разговариваешь?

— Да сынишка пришел. Вот ключи ему дала. Пускай до-мой шагает.

Зина сказала, насмешливо щуря свои горячие карие глаза:

— Ух ты, какой большой! И не видать!

Она рассматривала Генку, сморщив лоб и нос. Светлые волосы окружали ее лицо золотым сиянием. Она чуть отто-пырила свои полные, красные губы и почти сомкнула накра-шенные реснички, будто разглядывая что-то очень уж ма-

ленькое. Генка рассердился: он и в самом деле был ростом невелик; крупным ему не в кого было уродиться — мать худенькая, невысокая, отец тоже всегда терпел добродушные или злые замечания по поводу того, что был чуть повыше матери. Уж как-то так повелось, что рослые люди обязательно подшучивают над теми, кто не вырос, подобно им, с коломенскую версту, а те очень чувствительны к этим насмешкам. Как ни мал был Генка, а уже и он натерпелся много и от взрослых и от сверстников — на старой квартире его дразнили Комариком, Комаришкой, Комаренком. Генка не любил этих шуток. Он сердито ответил контролерше:

— Мал, да удал! — точно так же, как отвечал отец, и насутился так же, как отец, наклонив голову и рассматривая красивую контролершу исподлобья.

— Ишь ты какой! — рассмеялась Зина и обернулась к Фросе: — Да он у тебя парнишка заковыристый! «Мал, да удал!» — повторила она восклицание Генки и опять рассмеялась.

— Да уж какой есть! — смущенно отозвалась Фрося, понявшая чувства Генки, но не знавшая, как отнестись к шутке Зины. Принять ее — значило принять ее и на свой счет, а Фрося была самолюбива; отринуть — не рассердится ли Зина? — а Фрося инстинктивно старалась ладить со всеми сотрудниками, ведь ей тут работать!

А Зина, веселыми глазами разглядывая нахохлившегося Генку, одобрительно сказала:

— Правильно делаешь, воробышек! Ничего, что мал, — отбивайся от всех вот так же! Молодец, храбрец, удалец! Тебя как зовут-то?

— Генка! — ответила за сына Лунина.

— Храбрый! — усаживаясь на свое место, повторила Зина одобрительно и вдруг спросила Фросю: — Он у тебя не во вторник родился?

Генка и верно родился во вторник. Лунина озадаченно поглядела на Зину.

— А что?

— Под знаком Марса, значит! — ответила Зина загадочными словами и покачала головой. — Ох, хлебнешь ты с ним горюшка, хотя, может быть, из него толк и выйдет!

— Под чем, под чем родился? — недоверчиво спросила Фрося, подозревая какой-то подвох в словах подруги.

Второй контролер, тоже молодая девушка, сказала сухо:

— Толк выйдет, бестолочь останется! Ой, Зинка, Зинка, дурная твоя голова! Опять предсказаниями занимаешься? Хочешь, чтобы опять на собрании пропесочили? Вот неуспокоенная твоя душа! Ведь глупости говоришь, и сама знаешь, что глупости...

Зина, оглянувшись по сторонам, сказала тихо:

— А ты, Валечка, молчи громче! Потом опять скажешь: «И знать ничего не знаю и ведать не ведаю!» Я уж тебя изучила — ты всегда в сторонке останешься...

Валя хотела что-то ответить Зине, но раздумала и только осуждающе покачала головой. Тут зазвенел звонок. Охранник закрыл входную дверь. С улицы в сберегательную кассу никого больше не пускали, операционный зал быстро пустел. Сторож в старенькой шинели стал у дверей и поодиночке выпускал клиентов. Какой-то гражданин показывал ему через стекло сберегательную книжку и упрасивал впустить, всем своим видом изображая, как ему необходимо именно сегодня получить деньги. А сторож прижимал дверь ногой в своем уродливом облачении и привычно говорил: «Сказано — сберкасса закрыта! Ну, сказано же! Уже и кассы сняли, понимаешь? Завтра приходите! Деньги целее будут. С утрачка приходи, коли надо, понимаешь! Вот так!»

Работа кончилась. Впереди у Луниной был свободный день — она работала полторы смены и заступала на дежурство через день. Она кивнула Генке:

— Иди, сыночек! Поставь чайник на плитку! Я приду через полчаса!

Сторож выпустил Генку, и дверь гулко закрылась за ним.

7

Когда сейфы были опечатаны и сотрудники стали выходить через служебный ход, Лунина спросила у Зины, где та живет. Оказалось, им по пути.

— Пошли вместе! — сказала Зина охотно и взяла Фросю под руку, как старую приятельницу.

Фросю даже бросило в краску такое внимание. Она обрадовалась — ведь до сих пор на новом месте ей не с кем было и поговорить. Не так просто — сойтись с новыми людьми. Тем более что еще недавно любого из этих людей Фрося назвала бы любимым словечком Николая Ивановича «интеллигенция», вкладывавшего в это слово очень оскорбительный смысл: «интеллигенция», значит, сидит у Николая Ивановича на шее и держит «ручки в брючки», а он — Николай Иванович — ишачит, мантулит, вкалывает, то есть трудится. Но вот теперь Фрося делает то же, что делала эта «интеллигенция», и эта «интеллигенция» — ее товарищи, с ними ей жить и работать. Именно работать — Фрося сама видит, что ей не приходится сидеть «ручки в брючки». После полуторасменной работы у нее ломит спину, болит поясница и голова — как котел, словно она целый день ишачила, как Николай Иванович...

Они с Зиной вместе выходят на улицу.

— А вас никто не ждет? — спрашивает Фрося, оглядываясь.

Зина небрежно отмахивается:

— А ну их всех подальше! Если и ждут — не умрут!

Она уверенным движением красивой руки провела по выбившимся волосам, поправила свою шерстяную косынку и опять взяла Фросю под руку — пошли скорее!

Она очень нравится Луниной. Фрося уже знает, что мужа Зины убили на фронте в первый год войны, но что она не вышла больше замуж, хотядыхателей у нее было достаточно — у подъезда сберегательной кассы ее часто поджидали мужчины, то военные, то хорошо одетые штатские. Фрося не раз видела, как клиенты нарочно задерживались у окошечка Зины, не сводя с нее глаз, хотя Зина немногих удостаивала ответным взглядом своих карих очей. Остроязыкая, веселая, всегда готовая отозваться шуткой на шутку, любительница перемывать косточки приятельницам, она всегда была одета и чисто и красиво, — было ли то умение одеваться или ей просто все было к лицу? Фрося не могла в этом разобраться, но рядом с Зиной и она казалась себе и молодой, и красивой, и хорошо одетой, и она почувствовала какой-то задор, как видно не навсегда оставивший ее за время замужества. В тон Зине она сказала храбро:

— Вот уж что верно, то верно: подождут — не умрут!

С Зиной Фросе легко — она и благодарна Зине за то, что та первая так просто протянула ей руку дружбы, и почему-то не чувствует никакой тягостной зависимости от Зины. Со старыми знакомыми Фрося раззнакомилась: шутка сказать — после работы идти к кому-нибудь из старых знакомых, за семь верст киселя хлебать. Если иной раз и приходила ей мысль повидаться с теми людьми, с которыми она сжилась за годы соседства, то одно то, что ей надо идти из-за этого на другой конец города, умеряло это желание, и оно появлялось все реже и реже. Хорошо бы подружиться с Зиной по-настоящему! Фросю всегда тянуло к улыбочивым, легким людям, а Зина тужить и не хотела и не умела.

— Вы что это насчет Генки-то говорили? — осторожно спросила она, ревниво подмечая взгляды, которыми провожали Зину встречные, и поправляла косынку свою тем же движением, каким это делала Зина.

Зина, повернув к Луниной разругавшееся от мороза лицо, доверительно сказала:

— Ой, ты знаешь, это — такое дело!

Зина назвала Фросю на «ты», но и сама не заметила этого, она быстро сходилась с людьми и так же быстро их забывала, а у Фроси радостно екнуло сердце: «Вот хорошая девка-то! Пожалуй, будет хорошей подружкой», она легонько прижала к себе локоть Зины в знак благодарности и дружеского внимания. Зина продолжала:

— Это — такое дело, такое дело! Валька шибко сознательная, ничего она не понимает. А у меня есть книга, где про все, про все сказано — что с кем будет, у кого какой характер, разные приметы и все, все! Так интересно. Я на чердаке у нас нашла. Видно, от старых буржуев еще осталось — дом наш конфискованный. Там и предсказание судьбы и гадания все. Так интересно!..

У Фроси даже сердце заныло: ох, кабы знать, что будет! Невольно покраснев, она спросила у Зины:

— А посмотреть можно? Книгу-то?

Зина с готовностью отозвалась:

— Да я принесу ее тебе, если хочешь. Ты где живешь?

Фросе надо было сворачивать на свою улицу. С угла ее дом был виден. Она показала его Зине и с опаской и с надеждой предложила:

— Приходи, Зиночка, чай пить! Ты сегодня чем-нибудь занята?

— Свободная, наверное, — ответила Зина. — Думала с одним в кино пойти — есть у меня ухажер! — да он позвонил, что на работе задержится, ну и все разладилось. Разве что кто-нибудь на огонек заглянет... Я, пожалуй, приду и книгу принесу.

Они расстались.

Лунина поспешно зашла в ясли, взяла Зойку и чуть не бегом полетела домой, чтобы успеть что-то приготовить к приходу Зины. Но Зина пришла раньше, и они с Генкой, сидя на полу, задумчиво глядели на полыхающий в печи огонь. Красивое лицо Зины было затуманено какими-то невеселыми мыслями. Но, услышав шаги Фроси, она тотчас же оживилась, и лицо ее приняло обычное улыбочивое выражение, она громко сказала:

— Ну вот и все наши в сборе!

Фросе было неловко, она стала извиняться, но Зина прервала ее:

— Ну что ты! Я и сама хотела прийти попозже, к ночи, да заявился ко мне один чай пить! А я его видеть не хочу, говорю — мне на собрание надо! Вот и убежала...

— Тот? — тоном наперсницы, знающей секреты Зины, спросила Фрося.

Но Зина небрежно махнула рукой:

— Нет. Другой... А ну их всех!..

Зойка, сытая и довольная всем на свете, уснула тотчас же, едва мать уложила ее в кровать. Генка, шмыгая носом, сел за уроки. Фрося с Зиной устроились на другом конце стола.

Они прихлебывали чай с сахаринном, оставлявшим неприятное ощущение сухости во рту, но дело было не в

чае — им надо было поговорить. Фросе уже нестерпимо было это одиночество на новой квартире, а Зина, как видно, не находила друзей в сберегательной кассе. Они невольно разговорились по душам о том, что их больше всего занимало, что наболело. С малознакомым человеком разговаривать легче — он ведь не знает тебя и не остановит в самый неподходящий момент замечанием, что ты уже говорил об этом, он не знает твоей жизни, ты не знаешь его жизни, и все, что говорится, и ново и интересно, раскрывает что-то неизведанное, вводит в область доселе неведомую, а ведь всегда любопытно узнать то, чего до сих пор не знал, и всегда тянет рассказать о себе. Ведь повесть о своей жизни — увлекательнее всех других повестей. Сходство или несходство с чужой судьбой заставляет часто по-новому взглянуть и на свою. «Ой, и у меня так же было!» — говорила Зина, делая большие глаза, и чувства ее вдвое ближе становились Фросе. «А у меня совсем по-другому!» — говорила Фрося и чувствовала особенности своей судьбы — худой или хорошей, кто знает! — и все происходившее с ней прежде вдруг исполнялось особого смысла.

Несмотря на разицу в годах — Зина была моложе Луниной на пять лет, — что-то сближало их, и они находили много общего в своих мыслях и переживаниях.

Правда, Зина потеряла своего мужа почти три года назад, а Фрося не имела известий от Николая Ивановича всего три месяца, но они хорошо понимали друг друга. Горе, которое пережила Зина, делало ее старше своих лет. А Лунина, мало читавшая и почти ничего не видевшая в своей жизни, во многом была наивна, как девушка, хотя и прожила с мужем почти десять лет. Так получилось, что они выглядели ровесницами, подругами, едва разговорились. Была, конечно, разница в их отношении друг к другу, но, может быть, они ее и не чувствовали. Зина говорила о себе со щедростью красивой женщины, избалованной вниманием, а Фрося — как на исповеди, вся замирая, не скрывая своей радости оттого, что у нее появилась настоящая подружка, и заранее готовая для этой подружки сделать все. И они разговаривали и разговаривали, не замечая, как идет время.

Глядя на красивое лицо Зины, на ее горячие, темные, ласковые глаза, на нежную кожу, не подурневшую за годы военных нехваток, которые сушили женщин больше возраста, на кудри ее, разлетавшиеся вокруг головы при каждом движении Зины, на ее шею — без единой морщинки, с нежной, милой впадинкой возле ушей и над ключицей, на упругую грудь, не нуждавшуюся в лифчике, на розовые маленькие уши ее, Фрося подумала невольно с завистью: «Ох, и любят же ее мужчины!»

— Красивая ты, Зина! — сказала она с невольным вздохом, которого не смогла сдержать. — Принцесса!

Зина усмехнулась и тем же движением, которое так нравилось Фросе, закинула волосы за ушко и легонько пожала плечами: мол, я-то тут при чем?

А Фрося спросила вполголоса:

— А чего ты замуж не выходишь? Поди, есть кандидаты-то?! Трудно же одной-то... Ну, покрасуешься, покрасуешься сколько-то годов, а дом все же нужен... Неужели за три года никто по сердцу не пришелся? Разборчивая ты, что ли, очень?

Краска бросилась в лицо Зины. Она сказала, понизив голос, в котором слышалась какая-то хрипотца, словно ей перехватило горло:

— Ну, разборчивая или не разборчивая... а Мишка у меня был такой, что второго не найти! — Она закрыла глаза и словно задохнулась, ноздри ее раздулись, и рот полуоткрылся, словно для поцелуя. Она как-то вся переменялась. «Ну, баба!» — с восхищением подумала Фрося, любуясь Зиной. А лицо у Зины было такое, что Фросе тоже кинулась кровь в голову: вот оно, самое главное — Зина признается ей в том тайном, что можно доверить только близкому человеку. Фрося еще преданнее посмотрела на Зину, придвинулась поближе. Не открывая глаз, Зина сказала каким-то низким, душным голосом: — Когда я с Мишкой бывала, так, знаешь, все на свете забывала, переставала что-либо видеть или воображать! Кажется, только дух перевела, а уже ночь пролетела. Такой, такой Мишка... На работе сидишь, а в голове одно — скорей бы домой, к Мишке. За окошечком сижу, денежные документы в руках держу, а «а» от «б» отличить не могу — в глазах ласки наши да любованье наше и ничего другого!.. Так он меня разжег, что скажи он мне: «Умри, Зина, сейчас», — я бы умерла возле него! Мне надо ведомость заполнить, а я сижу и вывожу карандашом: «Миша, Мишка, Мишенька!..» Иной раз, бывало, за голову схвачусь: что же это такое? Девчонки — на обед, а я — к Мишке, не пила бы, не ела, а с ним целовалась!..

Она даже застонала, говоря это. Зажмурила глаза и встряхнула головой, будто прогоняя воспоминания.

Фросе никогда в жизни не приходилось испытывать того, о чем говорила Зина. Николай Иванович, по общему признанию, был мужик хороший, но Фрося отдыхала, когда его не было дома, и не ощущала скуки без него. Бывали и у нее моменты, когда она бежала за Николаем Ивановичем, но совсем по другой причине — в дни получки, из опасения, что он со своими приятелями, которые все были не дураки выпить, закатится в какую-нибудь закусную и переполовинит свою заработную плату.

— Любовь! — с завистью сказала Фрося. — Это, знаешь, у вас любовь была!

— Не знаю! — еще тише ответила Зина. — Я без него жить не могла... В армию взяли — чуть с ума не сошла! По ночам подушки грызла — от тоски, от злости, от желания, не знаю еще от чего...

Фрося даже перестала дышать — так потрясло ее признание Зины.

— Я на фронт хотела идти, медсестрой! — сказала Зина и по-детски закрыла свое лицо сложенными горсточкой ладонями. — Уже и на курсы ходила. Хотела в одну часть с ним попасть. А меня не отпустили — говорят, что и у нас тут скоро начнется: у японцев с Гитлером союз, так мы все ждали, что они на нас нападут... Люди, мол, и тут нужны. Я бы убежала просто, да смутили меня, что есть такой закон — мужа с женой в одну часть не назначать. Я пока раздумывала, а тут похоронную принесли...

Голос Зины прервался, она сглотнула слезы и лишь после долгого молчания добавила:

— Первый, знаешь, на немцев поднялся, когда наших к земле прижали. Роту, знаешь, в атаку поднял. Везде первый, знаешь...

Зина умолкла. Фрося сочувственно положила ей руку на плечо.

Чужим голосом Зина сказала:

— А я вот одна осталась. Чуть с ума не сошла...

8

Как ни тихо разговаривали женщины, Генка, для виду уткнувшись в книгу, следил за разговором, напрягая слух. Его занимают разные мысли. Многого он не понимает, но многое заставляет работать его головешку. «Интересно, как выглядела бы тетя Зина сумасшедшая? Наверное, на людей кидалась бы, нечесаная, страшная, с длинными ногтями, оскаленными зубами! Интересно, как она подушки-то грызла, — пух, поди, по всей комнате летел! На фронт хотела идти. Ишь какая! Храбрая! — Мысли Генки принимают иное направление: — А как там, на фронте-то?! Папка, поди, сейчас где-нибудь в снегу ползет по-пластунски: в одной руке автомат, в другой — огромные ножницы, чтобы резать проволочные заграждения». Такую фотографию Генка видел в журнале «Фронтная иллюстрация» и с тех пор представлял себе отца только таким: в глазах его напряжение, он всматривается в темноту своими небольшими светлыми глазами, белый маскировочный халат его сливается со снегом, но снег ясно виден на его теплой серой шапке и на косматых, густых бровях. «Холодно, поди, на снегу-то...»

Мысли Генки то уходят в сторону от разговора матери с Зиной, то вновь возвращаются к нему. Они разговаривают теперь почти шепотом. Зина ни на что не обращает внимания. А мать время от времени взглядывает то на Зойку, то на сына, почти не видя его. Но Зойка, во-первых, спит, а во-вторых, все равно ничего не понимает еще. Генка же, едва мать делает движение, начинает шелестеть страницами и морщит лоб, словно очень занят уроками, которые даются ему с трудом, а сам весь превратился в слух. До него то и дело долетают фразы, сказанные с чувством, громче, чем хотелось бы женщинам. Кто научил Генку притворяться так? Любопытство — ведь ребят всегда привлекает жизнь взрослых — и страх, что если взрослые заметят это любопытство, то ему уже не удастся проникнуть в их скрытую для него жизнь. Но Генка не может не прислушиваться, — достаточно посмотреть на мать, чтобы уже не оторваться от этого разговора: щеки ее горят, губы пересохли, и она время от времени облизывает их кончиком языка, глаза блестят, она возбуждена этим разговором так, как редко с ней случается, и она очень часто оглядывается на зеркало на стене, все время охорашиваясь и стараясь откинуть свои волосы так, как делает это Зина. Но у Зины — прекрасные, густые волосы с медным отливом, они лежат на ее голове тяжелыми волнами, послушно принимая любое положение, а у матери редкие светлые волосы, к тому же совсем прямые, они лежат жидкими прядями, и движение это Фросе не удастся. «Надо бы завить волосы!» — думает Фрося, опять и опять откидывая их за ухо, как это делает Зина.

Фрося отвечает откровенностью на откровенность, и Генка слышит кое-что, что повергает его в недоумение.

— Ну, мой совсем не такой! — говорит мать об отце. — Я за него замуж вышла — совсем-совсем ничего такого не знала, не ведала. Так только, в книжках читала, что бывает смертельная, знаешь, любовь, ласки всякие, счастье... А легли мы с ним — только одна неприятность, а не то чтобы... Какая там ласка! Я от него и слова доброго не слышала. «Прибери! Дай! Вынеси! Куда смотришь? Помолчи, чего ты понимаешь! Чурка с глазами!» — вот и весь разговор. Получит, чего хотел, — отвернется и захрапит, а я рожай! — Мать обернулась на Генку, но, кажется, даже и не увидела его — такие у нее были густые глаза...

Генка старательно шевелит губами: «Возвышенностью называется...» — и припоминает, что отец действительно был неразговорчив, не только с матерью, но и с ребятами. Прорывало его только после полочки. И тогда он принимался говорить — много и бестолково, и из его слов выходило, что никто и ничего и ни в чем не смыслит больше, чем он, Николай Иванович Лунин. Он все бы по-настоящему сделал, наладил, всем бы по-хозяйски распорядился, да вот судьба у него

незавидно сложилась или, как он говорил загадочно и мрачно, «не планида ему!». Эта проклятая планида определила ему быть грузчиком, возчиком, ломовиком — и все! А поэтому не бывать Николаю Ивановичу ни директором, ни начальником. А уж он бы показал, как надо руководить, как надо начальствовать. «Мне бы образование, Фроська! — говорил он в таких случаях. — Я бы, знаешь, показал выходку! У меня голова во!» И он кулаком, небольшим, но крепким, показывал, какая у него хорошая голова. Мать отстранялась от этого доказательства и боязливо и угодливо отвечала: «Да уж, это верно, Николай Иваныч! Это верно! Да ты бы лег в постель-то да поспал бы!» И Лунин успокаивался, клал свои крепкие кулаки под свою умную голову и засыпал, как младенец, едва закрывал свои воспаленные глаза, которые наливались густой кровью, стоило ему чуть выпить. Ну и хорошо... У соседей в день полочки тоже разговаривали всякие разговоры, а потом ссорились, и, бывало, неслись оттуда женские крики, визг детей и грубая брань. Но у Луниных так не случалось — отец никогда не бил мать, разве только иногда подносил кулак к ее лицу и говорил тихо: «Видала? То-то!» Это надо было понимать так, что и Лунин мог бы поучить свою жену, как учили жен соседи, да только ему, Николаю Ивановичу, неохота шум поднимать... «А когда папка приедет обратно? Хоть бы письмо написал, что ли...»

Генка начинает клевать носом. Строчки расплываются перед его глазами. Он засыпает над учебниками и уже ничего не слышит. Засыпает даже его любопытство, которое только и заставляло его бодрствовать в этот поздний час.

Мать и тетя Зина все говорят, обрадовавшись: одна — терпеливому слушателю, вторая — новому знакомому. Спohватившись, Зина вытаскивает из своей кожаной сумочки затрепанную, без начала и без конца, книгу с вырванными листками и замусоленными уголками, которая кажется странной в ее красивых руках с длинными, розовыми ногтями.

Печь давно протопилась. Но только сейчас Фрося замечает это и кидается закрыть трубу, сразу же возвращаясь к столу и к собеседнице.

Зина читает вслух — взахлёб, по-детски поспешно, с шумом втягивая воздух и чуть причмокивая губами. Фрося блестящими глазами смотрит то на Зину, то на книгу. Ей не приходилось много читать — разве только в девушках! Николай Иванович, который, выпивши, жаловался на недостаток грамоты, не терпел книг в доме. Если ему случалось застать жену за чтением какой-нибудь книги, так редко попадавшей к ним в дом, он говорил угрюмо: «Нечего больше делать, да? Шибко образованная стала, да?» И тогда Фрося поспешно отбрасывала от себя книгу и говорила: «Да я и не читаю, а просто так!»

Книга, принесенная Зиной, повергает Фросю в изумление. Она кажется Фросе совершенно удивительной. Вот, оказывается, какие на свете бывают книги!

Зина видит произведенное впечатление и очень довольна им.

Она читает о снах и их туманном значении, Фрося слушает раскрыв рот. Хотя ей жаль, что разговор, так взволновавший ее, уже окончен, а ей еще многое хотелось бы узнать не только о Зине, но о той жизни, которая прошла мимо Фроси, она широко раскрывает глаза, поднимает брови и всем своим видом выражает внимание, доверие и благодарность Зине. Ох и книгу же принесла Зина!

Голого во сне видеть — к болезни, выстрел во сне слышать — к известию, нечистоты — к деньгам, золото видеть — к слезам, драться во сне — значит, кто-то к тебе стремится, «бьется» кровь — к встрече с близким человеком, зубы выпадают — к неприятности. «Ах ты господи!» — Фрося только руками всплескивает и быстренько примеряется: что она видела во сне вчера и прошедшей ночью? Кажется, ничего неприятного! От напряженного внимания и от тепла, волнами идущего от печи, — майорша не обманула Фросю, квартира теплая, а дрова, оставленные старыми жильцами, еще не вышли — сухие, лиственничные дрова! — капельки пота выступают на носу у Фроси. Она покачивает головой, улыбается. Смотрите-ка! — все в жизни и в сновидениях исполнено таинственного значения, какие-то силы, добрые или злые, подсказывают человеку приближение удачи или неудачи, заботятся о нем или противостоят ему!

Ах, и приметы тут же! Кошка дорогу перебежит — к неудаче, и чтобы ее избежать, надо в свою очередь перейти кошке дорогу! Трубочиста встретить — к счастью. Попа — к неприятности, чтобы избежать ее — надо в кармане сложить кукиш! С дороги домой вернуться — пути не будет! Звезда падает — к исполнению желаний, если успеешь его высказать, пока звезда еще видна. Воз сена повстречался — надо сказать: «Чур, счастье мое не дележка!» — и ухватить с воза клочок сена, тогда обязательно случится с тобой что-нибудь хорошее.

Выходит, только не зевай! Примета не советует — и ты можешь избежать неприятностей. Примета подсказывает что-то — делай так, и все будет хорошо! Если хочешь, чтобы день прошел благополучно, то, вставая с постели, стань сначала на правую ногу, но станешь надевать обувь, обязательно надень ботинок сначала на левую ногу. Ах, значит, можно отворотить от себя несчастье, значит, можно бороться со своей «судьбой»?!

Хотя Фрося мало читала, в ней живет глубокое уважение и доверие к печатному слову. То, что все эти приметы напечатаны в книге, заставляет ее вдвое больше верить в них, в эти приметы. И Фрося задним числом поспешно вспоминает,

соблюдала ли она приметы. Ах, чего только можно было избежать, если бы она точно знала, что надо сделать, чтобы предотвратить влияние той или иной злой приметы!.. Она все покачивает своей растрепавшейся, несмотря на все ее ухищрения, головой и приговаривает: «Ах, вот как! Вот как!»

9

Но книга повергает Фросю в еще большее удивление, когда Зина, тоже раскрасневшаяся и довольная вниманием и удивлением Фроси, многообещающе кивает головой, и перелистывает несколько страниц, и начинает читать дальше, чувствуя, что открывает Фросе целый мир неизведанного...

Оказывается, на судьбу человека влияют планеты, звезды, и вдруг в слове «планета» Фрося узнает излюбленное слово своего мужа «планида» — то самое, что мешало ему всю жизнь стать начальником, что незримо, но властно удерживало его оставаться ломовым возчиком и мерзнуть на холоде и жариться на солнцепеке, вместо того чтобы сидеть в кабинете на плюшевом кресле, как директор пивзавода... Оказывается, каждый день находится под знаком определенной планеты, каждому месяцу соответствует свой знак зодиака — определенное созвездие, и они, соединяясь, диктуют свою волю, определяют, как сложится судьба человека. Так вот почему Зина спросила, в какой день родился Генка! Этот день находился под знаком Марса. В каком же месяце родился ее сын? В мае — под знаком Стрельца, в его созвездии...

В немом изумлении Фрося глядит в окно. На темно-синем небе прерывисто блистают далекие звезды. Они мерцают, переливаются синими, голубыми, желтыми, красными огоньками — в невероятном отдалении от Фроси, и странные излучения их воздействуют на ее жизнь, и на нее, которой стул в сберегательной кассе кажется невероятным возвышением, и на сопливого Генку, которого от земли не видать, и на Зину, которая, усмехаясь, многозначительно щурит глаза и говорит, что она родилась под знаком Венеры и потому ей нет отбоя от мужчин. Тут Фрося, уже не глядя на Генку, спрашивает у Зины звонким полусшепотом:

— А у тебя, Зиночка, много кавалеров?

— А ты как думаешь? — вместо ответа задает ей вопрос Зина, как-то особенно красиво склоняя голову и поглядывая в зеркало.

Опять Фрося ревниво отмечает, как красивы движения Зины и как она одета — со вкусом, к лицу. И это не только потому, что она молода и хорошо сложена, но и потому, что она умеет одеваться и что у нее много хороших вещей. Невольно Фрося, не останавливаясь на этой мысли, думает

о том, что Зина ненамного больше, чем сама Фрося, получает денег, а нарядов у нее много, хотя не заметно, чтобы она очень уж берегла свои вещи, — вот и сейчас ее дорогой шарфик упал со спинки стула на сиденье и весь измялся. Фрося осторожно вытаскивает его и, бережно расправив, вешает на спинку стула.

— Просто ухаживают или... как ты с ними-то? — уже забывая о Генке, полунамеком спрашивает Фрося.

Зина принужденно смеется и отвечает полуответом:

— А ты как думаешь... разве без этого проживешь?..

Генка стряхивает с себя сонную одурь и настораживает уши, но мать, заметив, что Генка забыл про свои уроки и что время позднее, спохватывается.

— Сынок! Спать пора! — говорит она.

— Я не хочу! — хнычет Генка, ожидающий дальнейших откровений в этом разговоре, и нехотя собирает свои тетрадки и книги со стола.

Зина с улыбкой говорит:

— А ну, посмотрим, что ему судьба сулит!

Она перелистывает затрепанную книгу. Теперь и Генка заглядывает в нее. Он видит круг, в круге — семиконечную звезду с надписью «Священная фигура влияния планет на дни недели». Ишь ты... священная...

— Понедельник — Луна! — говорит Зина каким-то певучим голосом. — Среда — Меркурий, пятница — Венера. Я родилась в пятницу... Воскресенье — Солнце, вторник — Марс, четверг — Юпитер, суббота — Сатурн. Вот видишь, ты родился под влиянием Марса, в мае — значит под созвездием Стрельца, понимаешь?

Генка кивает согласно головой, как кивает головой и мать.

Оба донельзя растерянные, они слышат дальше, что Марс господствует над железом, что он сушит и сжигает все, что он имеет цвет огня, что он влияет на войны и тюрьмы, на ненависть и браки, что родившийся под знаком Марса обладает горячим темпераментом и военными наклонностями. Вот это здорово! Генка слушает это как сказку о самом себе, мать — с суеверным ужасом и с некоторой радостью. «Ох, быть бы Генке офицером! — И она тотчас же примеряет прочитанное к сыну: — Горячий темперамент — что это такое? Военные наклонности?» В ребячьих играх ему достается больше всех, и ей не приходилось слышать, чтобы кто-то жаловался на Генку, что он кого-то побивает.

Зина прочитала не все, что относится к Генке. Она несколько смущена, — ей чуточку неловко от того, что попадает ей на глаза и что относится к тому же Марсу, — чувствуя себя как бы ответственной за то, что выговаривают ее губы и язык.

— Ну, уж тут понаписано! — говорит она недовольно и хочет пробросить страничку.

— Читай, читай уж до конца! — возбужденно говорит Фрося. — Читай, коли начала!

И Зина читает:

— «Марс отмечает военных, артиллеристов...»

— Вот это хорошо! — вставляет Генка.

— «Убийц, медиков, циркульников, мясников, золотых дел мастеров, поваров, булочников и все ре-мес-ла, совершаемые с помощью огня! — Зина переводит дыхание и, сама пугаясь прочитанного, продолжает: — Люди, управляемые Марсом, суровы и жестокосердны, неумолимы, не поддаются никаким убеждениям...»

Фрося даже бледнеет. «Это, пожалуй, слишком! Убийц и еще хуже — циркульников... Да что это такое, в самом деле? Пришла как добрая, а наговорила чего-то...»

— «Они упрямы, сварливы, дерзки, смелы, буйны, привыкли обманывать, обжоры, — продолжает Зина список позорных действий и способностей людей, управляемых Марсом, — в состоянии переваривать много мяса, сильны, крепки, властны, не имеют привязанности к своим друзьям, занимаются работами с раскаленным железом и огнем. Марс производит обыкновенно бешеных, крикливых, развратных, самодовольных и гневных людей». Ну, все! — с облегчением заканчивает Зина и замолкает.

Фрося настороженно глядит на нее, на книгу, на Генку: нечего сказать, хорошую судьбу ему предсказали! В душе ее назревает возмущение. Но тут Зина, которая уже и сама не рада тому, что прочитала о родившихся под знаком Марса, говорит успокоительно:

— Ну конечно, все это написано не об одном человеке. Уж если он станет военным, то не булочником, правда? А военный должен быть, и сильным, и крепким, и властным, да? Он должен быть твердым и суровым, да?.. Кем ты хочешь быть, Геночка? — вдруг спрашивает она.

Станный вопрос! Не кузнецом, не поваром, конечно, и Генка, щуря слипающиеся глаза, ухватывается за самое стойкое из всего, что так щедро и неразборчиво сулит ему судьба и звезды, и твердо отвечает:

— Артиллеристом.

Тут и Фрося и Зина, отбрасывая в прочитанном то, что пугает их не на шутку, оставляют в его судьбе только то, что кажется им и желанным и достойным. И вот Генка предстает перед ними настоящим богатырем артиллеристом: черный околыш и погоны с красным кантом, желтые ремни перепоясывают его и приятно поскрипывают при каждом движении, на петлях — скрещенные пушечки, и из-под стального шлема задорно выбиваются волосы — настоящий бог войны.

Это ничего, что сейчас Генка заморыш, что он мал ростом, худ, белес и охотно плачет! Счастье, что в школе дают бесплатные завтраки, а то он и ног не потащил бы. Он разозлится, окрепнет, подрастет! Ему ведь и лет-то по-настоящему кот наплакал, впереди — вся жизнь. Они еще увидят, каким молодцом он станет. Это не шутка — родиться под знаком Марса!

Но сейчас молодцу все же приходится лечь спать.

Он сопротивляется, шмыгает носом, прибедняется, хнычет, но засыпает, едва голова его касается подушки.

Зина вытаскивает из своей сумочки конфеты. Фрося даже ахает, увидя их цветастые обертки; это хорошие шоколадные конфеты, такие, которые довольно дорого стоили и до войны, а во время войны стали только воспоминанием. Удивление Фроси так велико, что Зина вынуждена кое-что объяснить.

— Это мне один дурень принес! — сказала она, шелестя оберткой и пододвигая фунтик с конфетами ближе к Фросе. — Из пайка! Военным дают.

— Жених? — спрашивает Фрося.

Зина морщится.

— Капитан. Из военкомата. Думает на дурнйчку взять. Как маленькую, конфетами приваживает. Бывает, весь паек тащит! Думает, я сразу расту. Не нравится мне он! — лениво добавляет Зина. — Ни рыба ни мясо. Одно слово — интендант! А конфеты хорошие. Бери!

Фрося осторожно берет одну и хихикает:

— Ни рыба ни мясо, значит?

Зина зло говорит:

— А ну их всех к черту!.. Разве они понимают женщин?! — Помолчав, она предлагает: — Ну, давай посмотрим, что тебя ждет!

Фрося давно томится желанием проникнуть в сокровенные тайны того, что уготовано ей недобрым ее покровителем Сатурном, про которого Зина отзывается как-то загадочно. «Сырая планета!» — бросает она замечание, и у Фроси невольно щемит сердце. «Вот рождаются же люди под другими планетами! — думает Фрося, с завистью глядя на возбужденное лицо Зины с нежным пушком на щеках и темными волосиками над ее полными, крепкими, розовыми губами. — Ох, целоваться-то, наверное, умеет!» — говорит Фрося про себя и даже холодеет вдруг от какого-то странного ощущения, которое возникает у нее при мысли о поцелуе. Ей хочется узнать и про себя, но она не торопит Зину. Пусть почитает про свою ветреную покровительницу, красавицу Венеру. Это до жути интересно — заглянуть в чужое будущее, но Фросю волнует и ее настоящее, а красивой Зине есть что рассказать, Фрося чувствует это.

А в окна давно уже смотрится темная-темная ночь...

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

1

Вчера, сегодня, завтра...

Так обозначаем мы прошедшее, настоящее, будущее — то, что было, то, что есть, и то, что будет. Вчерашний день никто не в силах вернуть — он навсегда уходит в прошлое. Сегодняшний принадлежит нам, и его нет только у того, кто более не живет. Завтрашний настанет лишь только после того, как истечет сегодня, и никто не в силах ускорить его приход. Вчерашний день уже не наш, завтрашний еще не наш, но сегодняшний — в нашей власти, похож он или не похож на другие дни; сегодня мы можем оценить то, что сделали вчера, а может быть, и исправить то, что было сделано; сегодня мы строим планы на завтра и можем предугадать, предвосхитить то, что можно сделать. Сегодня — это самое дорогое, что у нас есть, потому что мы обогащены опытом вчерашнего, который позволяет нам верить в завтрашнее. Но — через сутки! — «сегодня» станет «вчера» и примет на себя и наши ошибки и наши достижения, «завтра» — становится «сегодня» и даст нам возможность сделать еще один шаг в жизни, а из бесконечного будущего, из течения времени, которому не было начала и не будет конца, вплотную придвинется к нам очередное «завтра», чтобы заставить нас думать, мыслить, дерзать, надеяться, ждать, двигаться вперед...

Вчера, сегодня, завтра — так течет наша жизнь день за днем. В этой смене прошли тысячелетия, в течение которых человек неизменно двигался вперед, ибо движение вперед — это закон жизни, даже несмотря на то, что часто «вчера» хватало за ноги «сегодня», не хотело уходить в прошлое, цеплялось в сознании человека за настоящее, «сегодня» часто закрывало глаза на «завтра» и не хотело глядеть на «вчера», а «завтра» иногда опрокидывало и «вчера» и «сегодня», утверждаясь совсем не так, как определяли они, потому что «вчера», «сегодня» и «завтра» в жизни человека были соединены работой его сознания, а в этом сознании его «завтра» не только могло, но и должно было перечеркивать многое из того, что было вчера и сегодня...

«Вчера», «сегодня», «завтра» — при неизменной смене друг друга только в таком порядке тем не менее боролись друг с другом, а при этом, как во французской борьбе, на ковре оказывался то один, то другой, и если «завтра» было моложе и сильнее, то «вчера» было старше и опытнее, а «сегодня» упрямее, самонадеяннее, и иногда «завтра» смиренно укладыва-

лось на лопатки. Если бы не было этого, революции были бы не нужны, а люди не знали бы сомнений, колебаний, раздумий, страха, предрассудков...

Жизненное устройство Луниной, полный переворот в ее судьбе и выход на самостоятельную дорогу никак не отразились на течении дел в большом мире, окружавшем Лунину и ее маленький мир.

Война продолжалась, а от Николая Ивановича не было вестей.

Однако и в течении войны наступил перелом. Фрося знала об этом. На ее новой работе день начинался с чтения газет, которые вслух читали агитаторы.

Сначала Фросе это казалось ненужным. Она не привыкла к чтению за всю свою прежнюю жизнь и, даже в годы войны, питалась лишь слухами да пересудами соседок.

В этих слухах и пересудах многое получалось искаженным, преувеличенным, снабженным изрядной долей собственных умозаключений, страхов, изнуряющих тело и иссушающих душу повседневных забот и кривотолков. А тут словно какая-то пелена спала с глаз Фроси и правда раскрылась перед нею.

Это была далеко не всегда приятная правда, но правда, а не пересуды, не домыслы, не плод чьей-то возбужденной страхом фантазии.

Фросе было трудно представить себе многое в этом открывшемся ей мире — слишком узок был ее прежний мирок, где единственным светилом мироздания, началом и концом всего был Николай Иванович, но теперь она начинала чувствовать себя, впервые в жизни, частью чего-то большого, огромного, значительного, которому было дело до Фроси, как и ей самой перестало быть безразличным это большое, о котором она раньше и не подозревала.

Пусть и до сих пор не знала она точно, где находятся и как выглядят Норвегия и Италия, но слушая сообщения о действиях партизан в жаркой Италии или в студеной Норвегии, в этих далеких-далеких странах, она понимала — горит земля под ногами гитлеровцев, и твердо знала, что «наши» бьют захватчиков.

А от Николая Ивановича не было известий.

Уже отдал своему богу свою черную душу бывший итальянский диктатор Бенито Муссолини, которого его возлюбленные соотечественники повесили на перекрестке двух дорог вверх ногами, изловив при попытке бежать из страны, где даже камни проклинали его имя...

Уже румынский диктатор Михаил Антонеску вместе с королевской семьей, которая была аристократической деко-

рацией в кровавой трагедии румынского народа, проклятой простыми людьми, сидел под замком, и гитлеровские генералы, которые за всю войну не научили румын воевать, которые презрительно говорили, что румыны — это не нация, а профессия, вдруг на собственной шкуре убедились, что румынские солдаты умеют драться по-настоящему, когда есть за что.

Уже дрались советские Иваны на немецкой земле и несли с собой не месть, ужас, смерть, голод и рабство, неизменно сопутствовавшие гитлеровским полчищам, куда бы ни вторгались они, а совсем другое, непривычное, невероятное, но желанное — свободу, человеческое отношение, и уже поднимались всюду, куда ступала нога советского солдата, ответные волны доброй воли народов, дружбы и товарищества, стремления познать своего освободителя, понять его, присмотреться к нему, и, может быть, и свою жизнь устроить так, как устроил ее русский Иван, — без капиталистов, помещиков, без царей и мироедов, без хозяев всех мастей...

Уже наши союзники — англичане, американцы, французы, которым надоело за три года гоняться по африканскому побережью за Роммелем, надоело пришивать «последнюю пуговицу на мундир последнего солдата» и репетировать бесчисленное множество раз высадки на европейский континент — наконец-то открыли второй фронт и вторглись в Италию...

А от Николая Ивановича все не было вестей.

Но все сильнее становилось желание сделать еще одно, еще одно усилие, все отдать фронту, для того чтобы солдаты там, на земле захватчика, добились фашистскую гадину, переломили хребет гитлеризму, чтобы остановилась наконец кровавая мясорубка, закрученная в несчастливый для человечества день ефрейтором Шикльгубером — Гитлером, уничтожившая миллионы и миллионы людей и перемалывавшая теперь уже гитлеровскую армию, приползшую подыхать под родные подворотни наследственных дворов... Ах, как хотелось людям открыть настежь окна, ослепленные теперь темными пластырями светомаскировочных штор, прижать к груди тех, кто кровью своей отстоял отчизну и сам остался жить для радостей будущего, утешить тех, кто вернулся с фронта инвалидом, поклониться могилам тех, кто навсегда остался на дорогах войны, перекрестивших все континенты, могилам, молча взывавшим к живым: «Не забудьте того, что случилось! Не дайте повториться этому кровавому ужасу!»

От Николая Ивановича не было вестей.

И как-то само собой все дальнейшие планы на жизнь стали возникать у Фроси без Николая Ивановича. Все чаще думала Фрося о своей семье так: «Я, Генка, Зочка». И все дальше отступал в какую-то туманную дымку и словно рас-

творялся в ней Николай Иванович Лунин, ее муж, опора семьи, глава дома, ее мужик.

С озлоблением думала Фрося о тех мужчинах, которые находились в тылу. Чувство это не распространялось на военных — последние не вызывали у Фроси раздражения, досады, недовольства. Любому же одетому в штатское она могла всегда сказать: «На фронт бы вас! В тылу отсиделись! Другие за вас воюют!» Или еще хуже: «Вам-то что! Другие за вас пулю в лоб получают! Ишаков хватает!» Это было и грубо и несправедливо. Она и сама понимала и грубость и несправедливость своих мыслей и подозрений. Нельзя же было всех отправить на фронт! Но все мужчины в тылу казались ей виноватыми в том, что Николай Иванович, ее мужик, на фронте, и, может быть, уже сложил свою умную голову.

«Ишаки! Ишачить!» — это были слова Николая Ивановича, которые он произносил каждый раз, когда ему казалось, что кто-то в чем-то «обошел» его.

Правда, Фрося чувствовала это, и Николай Иванович не сказал бы про солдат на фронте, что они «ишачат», но Фрося часто произносила теперь любимые словечки Николая Ивановича, словно они подчеркивали теперь ее новое положение — добытчика, главы семьи, словно, произнося их, она обретала часть жизненной силы Николая Ивановича...

...Николай Иванович! Любила ли его Фрося? Она не знала этого, — неискушенная и лишенная жизненного опыта, она словно и не жила до сих пор, была не способна разобраться в своих ощущениях. Первая близость с мужем вызвала у нее только некоторый стыд, некоторую боль и неловкость, покорное сознание того, что «так надо», — и все. Потом пришла привычка, соединенная с некоторой приятностью. Но эти чувства были заслонены боязнью, которую она всегда испытывала перед мужем. А хлопоты, вызванные появившимися детьми, уже не оставили Фросе времени думать над этим. Однако теперь она скучала по нему, по его мужскому естеству, по его присутствию. Ее всегда коробил запах пота, исходящий от мужа, но теперь она и не заметила бы его... Свой же!..

А от Николая Ивановича не было вестей.

2

На новом месте Фрося была окружена новыми людьми, которые каждый по-своему как-то воздействовали на нее, заставляя по-новому глядеть на жизнь. Во-первых, ей приходилось признать, что ей повезло с работой и что без вмешательства вышних сил она не смогла бы стать кассиром в сберкассе — курам на смех была ее работа на катке! — если бы чья-то

сильная рука, вдруг взявшая ее судьбу за шиворот и указавшая новую дорогу, не подсказала кое-кому линию поведения и линию отношения к Фросе. «Иван Николаевич лично просил! — говорила Дашенька, бегая вместе с Фросей туда-сюда. — Лично просил изыскать возможность!» Иван Николаевич лично об этом и не просил, но и Дашенька Нечаева не лгала, будучи душевно убеждена, что на ее месте Иван Николаевич, конечно, просил бы лично...

«Господи, помоги! — иной раз взмаливалась Фрося, видя, что дело начинает поскрипывать в каком-то кабинете, не очень отзывчивом на просьбы. — Господи, помилуй!» Старенький христианский бог ворочался на своей кровати и вопрошал: «Кто это меня зовет, ась? Ты, что ли, сирота? А чем же это я тебя помилую-то? Да ведь в ваших делах-то черт ногу сломит, поди разберись! Ты уж лучше за эту добродетельную девицу держись покрепче!» Но вот дело шло на лад — перед Дашенькой расступались мутные волны Красного моря, и она посуху переводила Фросю в Обетованную землю исполнения желаний и наложения утвердительных резолюций. «Слава богу! — вздыхала Фрося, не очень-то до сих пор и богомольная, но чувствовавшая, что ей не хватает сил. — Я уж думала, откажут. Слава богу!» Дашенька смеялась и говорила: «Смешная вы, Фрося! Ну как они могут отказать? Дело наше правое, вся Конституция стоит на вашей стороне! А кроме того, все они, эти начальники, большие и маленькие, Ивана Николаевича боятся, как заяц грома! При чем тут бог?» И бог, обиженный Дашенькой, вдруг вскакивал с кровати и брюзжал, невнятно выговаривая шипящие: «Вот грешница! Молодая, а уже грешница! При чем тут бог? Ишь ты какая... несознательная! Несознательная и есть! Может, это я тебя к Луниной-то и приставил, чтобы, значит, это... и то... ну, вообще-то... Жалко ей стало, вишь, что невинная душа хвалу Создателю вознесла! У-у, я тебя!», и грозил Даше сухоньким кулачком.

Прежний дом, старые знакомые, отношения с людьми, плохие или хорошие, что были связаны с прежней жизнью Фроси, ушли в глубь истории, заняв свое скромное место в запоминающем устройстве мозга Фроси. Они точно провалились куда-то...

Одна лишь бабка Агата, единственная при отъезде Фроси из своего подвала помахавшая ей рукой вслед, толком не разобравшись, кто и куда едет, напомнила Фросе о прежнем.

Она возникла вдруг перед окошечком Фроси в сберегательной кассе, повязанная темным платочком, под которым, таким же манером повязанный, виднелся платочек белый, вернее — узенькая кромка его. Эти строгие — черная и белая — полоски были как бы рамочкой, в которую была вложена картина жизненных испытаний бабки Агаты, написанная на ее сморщенном лице. Фрося ахнула, увидев баб-

ку, — какая нужда могла привести божий одуванчик на другой конец города?

Лицо бабки Агаты сияло, лучилось, было исполнено тихой благодати и довольства. До сих пор Фрося видела ее только строгой и озабоченной, словно отрешившейся от земных дел, в предвидении скорого свидания со своими близкими, что давно уже там, иде же несть ни печали, ни воздыхания.

— Здравствуйте, бабенька! — сказала Фрося, даже обрадовавшись.

— Здравствуй, милая! — отвечала бабка Агата, сощуриваясь, отчего маленькие ее глазки совсем скрылись в красноватых веках. — Что-то не признаю я тебя!

— Да я Фрося!

— Фрося! Фрося?.. Ну, бог с тобой, пускай будет Фрося...

— Что вам, бабенька Агата, нужно? Как вы живете-то?

Бабка Агата опять засияла:

Живем — бога хвалим, Фросенька-доченька! Радости нам господь послал...

— Тоже квартиру, что ли, получили, бабенька? Вот хорошо-то!

— И-и, доченька! — сказала бабка Агата, выпятив нижнюю губу и махнув рукою. — Моя квартирка уже меня дожидается рядом с матерью Манефою, я уже и место откупила, привел господь... Другую радость бог послал! — Бабка Агата доверительно втиснулась в окошечко Фроси и, не в силах сдержать свои чувства, даже прослезилась, точно капли дождя, которого уже не принимает пересохшая, окаменевшая земля, слезы покатались по ее морщинистым темным щекам. — Отец Георгий — помнишь? — настоятель церкви Никола-угодника, согласился вернуться на пастырство. Такая гордость! Такая радость! Привел бог на пороге успения! Может, дождуся, что по чину отпоют, в церкви!

Зина, метнувшая взгляд на клиентку, перевела свой взор на Фросю, спрашивая взглядом: не тронутая ли эта бабка? Фрося недоуменно пожала плечами: кто ее знает, во всяком случае, Фрося и понятия не имела ни об отце Георгии, ни о церкви Никола-угодника; видно, у бабки Агаты колесики крутились в разные стороны, нимало не сообразуясь с законами механики.

Но бабка, примерившись к расходному листку, написала, что вынимает весь свой вклад — три тысячи — и закрывает счет. Это было вполне разумным действием, хотя мотивы его и оставались тайной для контролера и кассира.

— Бабушка! — сказала Зина для ясности. — Вы взяли со своего счета все деньги. Мы дополнительно выписали вам и накопившиеся проценты. Счет ваш закрыт. Теперь книжку вы уже не получите. Так?

— Так, матушка, так! — бабка Агата закивала головой и замахала руками, показывая, что все обстоит именно так и

что она со всем согласна. Лицо ее, правда, на мгновение омрачилось, когда Зина разорвала ее сберегательную книжку, но радость, переполнявшая ее, пересилила некоторый страх бабки, когда она ясно представила себе, что теперь за ее душой нет ни копейки.

— Бабенька Агата! — сказала Фрося с жалостью. — Куда вам столько денег-то? Нужда, что ли, какая случилась? Беда, что ли?

Бабка завернула деньги в платочек, вынутый откуда-то из юбки, завязала узелком, обернула еще одним, темным, платком и, долго шаря, видимо ища какой-то тайный карман в нижней юбке, наконец спрятала деньги, оправила юбки, прихлопнула себя по бедру темной, как на иконе, рукой, удостовераясь, что сверток на месте. И опять тихая радость озарила ее лицо.

— На облачение отцу Георгию, доченька! — сказала она. — На облачение! Не понимаешь? Эх ты, а еще крещеная! Парчовое облачение, доченька! Для церковной службы. Ах, доченька! И глазу и сердцу умиление! — И, точно видя перед собой это неведомое Фросе облачение неведомого Фросе отца Георгия, она стала с благоговейным почтением перечислять: — Нарукавнички! Пояс! Епитрахиль!.. Ризы! Златотканые, на алом поле. С дровом жизни и с дровом познания добра и зла, с херувимами, с ликом божьей матери Утоли моя печали, с Сыном человеческим!

Она с гордостью взглянула на Зину и на Фросю, вытаращивших на бабку глаза, и добавила:

— Ба-альших денег это стоит, доченька. Ба-альших! — Она перекрестилась и сказала со вздохом: — Себе на похороны берегла копейки-то! Да богово-то дело выше! Свет не без добрых людей, как-нибудь похоронят! Теперь, доченька, вобрат на старое повернули! Ты-то, может, по молодости-то и не примечаешь, а я все вижу... Вот и погоны ввели, и церкви святой вздохнуть дали — сняли, слава творцу, мученический венец! Может, скоро и собор опять на площади воздвигнем! А там, глядишь, — дай бог дожить! — и в обитель я вернуся. Надоело мне в грешном-то миру, как в аду, — и мат, и глад, и мор, и сумление, и томление, и суета сует! Прости, господи, меня, грешную!

Оробевшая Фрося сказала:

— Да, бабенька Агата, вы не так все понимаете!

Бабка Агата поправила сбившийся платочек, улыбнулась самой мудрой из всех своих улыбок и не стала спорить с Фросей.

— Ну, господь с тобой, доченька! Побегу я! Прости, если что не так сказала. Господь с тобой! Господь с тобой!..

Мелкими шажками, поглядывая под ноги, не мешая ли что, метя по полу своими длинными юбками, сшитыми из дешевенького сатина, бабка Агата пошла к выходу.

— Псиша! — сказала Зина, провожая задумчивым взглядом бабушку. — Последние деньги свои на какого-то жеребца долгогривого отдает, да еще радуется. А ведь он ее без денег-то и отпевать не станет. Ей-богу!

Вдруг она рассмеялась невеселым смехом.

— А много ли человеку для счастья надо! Вот какой-то поп опять к хорошей кормушке приспособится — верующие его и кормить, и поить, и ублажать будут, и сыт, и пьян, и нос в табаке, как мой Мишка говорил, а бабушка счастливая! — Зина словно про себя тихонько добавила: — «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман!»

— Чего, чего? — спросила Фрося обеспокоенно, не поняв Зину.

— Да так просто, Фросечка! Где-то прочитала. Запомнилось...

«Обман! Об-ман! А вам все истину подай! — рассердился старый боженька, умилившись было бабушке Агате и ее щедрому дару на украшение веры. — Человек ищет, где лучше, а рыба — где глубже! — подумал он про отца Георгия. — Закон природы!»

3

Все внимание людей было приковано к Западу.

Но и на Востоке происходили какие-то изменения, пусть не заметные сейчас, но предсказывавшие многое, что станет заметным спустя какое-то время.

Иван Николаевич был внимателен как никогда к тому, что ежедневно приносил эфир. Ему было уже столько лет, что он далеко глядел вперед. И видел, что война на Западе идет на убыль, пусть особенно кровопролитными становились бои, пусть особенно ожесточенным становилось сопротивление врага, который отступал, отступал назад, отступал, огрызаясь, дерясь за каждую пядь земли, на которой был вскормлен, но отступал, познавая теперь, почти через четыре года с момента эффектного начала войны, когда, казалось, только и можно было ожидать парадных маршей гитлеровских вояк по всему свету, горечь поражения, неудач и неверия...

Но Иван Николаевич присматривался и к тому, что делалось на Востоке. На Тихом океане Япония дралась с соединенными силами союзников и, кажется, побеждала, — по крайней мере японские силы нанесли удар по тихоокеанской эскадре США и широко размахнулись на все достояние Китая, Англии, Франции, Голландии — от острова Уэйк до Индийского океана, и японские генералы не менее громко, чем генералы гитлеровские, кричали о своей «великой миссии»

по отношению к Китаю, Таиланду, Цейлону, Аннам, Индокитаю и многому другому...

Едва выдавалась у него свободная минутка, он садился к радиоприемнику и слушал, слушал, слушал, что делалось в мире, и мысленно рисовал себе карту мира, чтобы уяснить происходящее. Каждый мужчина — прирожденный стратег, каким он становится, едва выпускает соску изо рта, и Иван Николаевич тоже был стратегом. Иногда он вытаскивал с книжной полки словари и справочники и все подсчитывал, какими силами и кто и где располагает и что из этого выходит для Ивана Николаевича, как председателя городского исполнительного комитета? А по всему выходило, что Япония сейчас располагает такими силами на Тихом океане, что Ивану Николаевичу пора было думать кое о чем.

Вот, например, как бы ни разворачивались военные события на Тихом океане, а разворачивались они для Японии с переменным успехом, и сколько бы маршей ни передавали из Токио для воспарения духа у сынов Ямато — прирожденных воинов! — в Маньчжурии была тишина. Это стоило внимания! Квантунская армия не подавала признаков жизни, и японские генералы не трогали ее, хотя ее офицерские кадры и пополнялись офицерами, немало понюхавшими пороху на Тихоокеанском театре военных действий...

— Берегут! — говорил Иван Николаевич, раздумывая над этим, своей жене Ирине и поднимал многозначительно указательный палец, чем и становился похожим на Михаила Архистратига...

Ирина щурила глаза на мужа, и вокруг этих глаза собиралась частая сеточка тонких-тонких морщинок, отчего глаза Ирины будто лучились. Сколько она знала мужа, он всегда был очень внимателен к войнам в Азии, — вот так же поднимал он палец, когда маршал Чжан Цзо-лин одерживал верх в войне с северными китайскими милитаристами.

Он так же поднимал палец, когда ОКДВА дала отпор японским провокаторам у озера Хасан и когда разыгрались события на реке Халхин-Гол в МНР...

— Да тебе-то что, Ваня? — сказала как-то Ирина, отрываясь от своих конспектов: она была лектором крайкома. — Можно подумать, что ты очень уж хорошо разбираешься и даже можешь предвидеть развитие событий! Не дано нам, друг мой, этого! В международных событиях сейчас черт ногу сломит...

— Ты так думаешь? — иронически улыбаясь, говорил Иван Николаевич, как всегда в этих случаях. — А вот скажи мне, почему Квантунская армия остается на своих квартирах? А ведь им, японцам-то, каждый солдат сейчас дороже золота!

— Видно, квартиры удобные! — смеялась Ирина, не столько потому, что не понимала смысла этого, но только для того, чтобы пошутить над Иваном Николаевичем: больно

уж начинал он горячиться и доказывать то, что было ясно и малому ребенку.

— Эх вы, женщины! Иной раз, честное слово, я начинаю думать, что у женщины пар вместо души, как утверждал мой дед. Японцы держат Квантунскую армию в состоянии готовности для нападения на нас!

— Возможно! — соглашалась Ирина, наблюдая за тем, как муж вдруг вскакивал и начинал бегать по комнате, как в молодые годы, будто и живот переставал ему мешать, будто и одышка исчезала.

— Не возможно, а факт!

Он задумывался.

— Иванко! Ты что замолчал? — спрашивала Ирина.

— Да вот эта жила Воробьев сидит на фондовых материалах — и сам не гам, и другому не дам! А у нас одно убежище приходится, понимаешь, на тысячу человек! Понимэ муа? То-то! Только это, знаешь, не для распространения, я тебя предупреждаю...

— Сейчас побегу на базар разглашать!

— Ну все-таки...

Он вертел-вертел ручку, поймал Москву. И вдруг притих и поднял брови, выражая внимание и привлекая внимание жены к тому сообщению, которое очень уж заинтересовало его. Но, занятая своим делом, Ирина не уловила ничего. А Иван Николаевич задумался, и посерьезнел совсем, и затуманился...

— Что ты? — обеспокоенно спросила Ирина.

— Ты слышала?

— Нет. А что такое?

— Эх вы, женщины! — сказал с досадой Иван Николаевич. — Передавали сейчас, что кончился срок пакта о нейтралитете, заключенного в тысяча девятьсот сорок первом году, ввиду его истечения...

— Ну что же? Что же из этого?

Иван Николаевич тихо, раздумчиво сказал, уже не иронизируя над женою:

— Действие пакта, моя дорогая, не пролонгировано. А это значит, что мы не намерены больше соблюдать нейтралитет на Востоке. Понятно?

— Да откуда ты это взял?

— Все оттуда же! Германия и Япония — союзники по антикоминтерновскому пакту. Наши западные друзья воюют с японцами, а с открытием второго фронта в Европе не спешат. Мы воюем с Германией, а противнику наших друзей на Востоке дать по затылку тоже не торопимся — руки на Западе заняты! А уж если пакт о нейтралитете не продлили, значит — время подходит...

— Да ну тебя! — недовольно сказала Ирина.

«Я, Генка, Зоя», — так думала теперь Фрося о своей семье.

И задумывалась над тем, что станет дальше, какими вырастут ее дети, что будут делать, кем станут? Раньше эти мысли не приходили ей в голову. Все, что касалось будущего и вообще всех важных вопросов жизни, было делом ее мужа, Николая Ивановича Лунина, вершителя всех судеб семьи. Он знал все лучше всех, а если ему что-нибудь и не удавалось, значит, «не планида!».

Теперь Фросе приходилось решать самой.

Я — с этим было все ясно: она — работает, она поднялась как бы выше, чем стояла прежде. У нее чистая работа, хорошая комната, у нее есть коллектив, зарплата. Даже эти слова сами по себе, когда она произносила их, поднимали Фросю в собственных глазах. До сих пор только Николай Иванович мог говорить о «коллективе», только он приносил домой «зарплату». Он сам регулировал свои отношения с коллективом и кистил на чем свет стоит своих товарищей, каждый из которых был в чем-то виноват перед Николаем Ивановичем... В чем виноват? Это дело сложное. Однажды в своей жизни Николай Иванович оказался на руководящей работе, — это случилось в 1937 году, когда один за другим были арестованы два директора завода и их заместители, которые оказались, как глухо, мрачно и с испугом говорили рабочие, «врагами народа». Николая Ивановича, как кадрового рабочего, выдвинули на должность заведующего хозяйством, но через месяц он опять взял в руки кнут и пошел развозить на своей подводе пиво, твердо убежденный, что руководящую работу он потерял по проискам каких-то еще не разоблаченных врагов народа. Но никто из рабочих, его товарищей, не выступил в его защиту — всем им было ясно, что Николай Иванович взялся не за свое дело. Получилось, что все оказались против Лунина, и он, наверно, на всю жизнь затаил обиду на свой коллектив... Николай Иванович сам определял, как нужно истратить его зарплату, каждый раз досадуя, что денег было не столько, сколько хотелось бы Лунину... А теперь Фрося стала хозяйкой и своего времени и своих денег. С особенной остротой она почувствовала это на новой работе, где с ней обращались уважительно, вежливо, где не было той грубости, что встретила Фрося на катке и в столовой, где ее считали временной работницей...

Зоя — тут тоже все было более или менее ясно. Зойке надо набираться сил, расти, сколько можно и надо. У нее есть тоже свой коллектив в яслях — зевластые мальчишки и девчонки, которые были так красивы и хороши, когда, сытые и чистенькие, они мирно спали на своих беленьких постель-

ках, и становились так-безобразны, когда принимались ре-
веть, требуя игрушек, еды или заявляя о своих обидах.
В Зойкин коллектив входили также и няни, которые, когда
надо, и умывали, и кормили Зойку, и укладывали ее спать.
В ее коллективе находились и воспитатели, которые учили
детей правильно говорить, петь и все прочее, что необходимо
нынче образованному человеку: есть вилкой и ложкой, а не
руками, сморкаться в платочек, а не размазывать по лицу из-
делия невоспитанного или простуженного носа, говорить
«спасибо», «пожалуйста», чему взрослые придают так много
значения, а также любить своих родителей и воспитателей,
даже если иногда хочется и тем и другим показать длинный
язык.

Генка? Тут все было гораздо сложнее. Он не пошел в
школу, когда ему минуло семь лет, так как, кто знает почему,
был он и мал и худ. Лишь когда исполнилось ему восемь лет,
даже Николай Иванович стал подумывать о том, чтобы Генку
отправить в школу, хотя за прошедший год сын не стал ни
больше, ни толще и хотя сам Лунин относился к учебе с про-
хладцей. «Я не учен, а человеком вырос!» — говорил он обыч-
но, когда заходила речь об образовании, и в его словах слы-
шалась гордость за свою исключительность — все-таки он це-
лый месяц в своей жизни был заведующим и распоряжался,
вместо того чтоб слушать чужие распоряжения. «Учись не
учись!» — этой недомолвкой обычно кончались рассуждения
его об учебе, и мысли его невольно сворачивали на «плани-
ду», коварно влиявшую на его жизнь и не давшую ему стать
начальником по-настоящему. «Студент!» — сказал он Генке,
когда тот взял в руки портфель, купленный матерью тайком
от Николая Ивановича на экономию от ежедневных расхо-
дов, и отправился в школу... Но едва Генка научился с грехом
пополам писать каракульки в своих тетрадках, достигнув та-
кого же мастерства в этом искусстве, какого Николай Ивано-
вич достиг за всю жизнь, едва в умной голове Николая Ива-
новича произошло какое-то смутное движение и он стал бы-
ло удивляться успехам сына и уже готов был напроорочить
Генке судьбу начальника, как получил повестку из военкома-
та, собрался и уехал на фронт. Фрося пошла на работу, хвата-
ясь за все, что под руку попадалось. Зойку не на кого было
оставлять дома. И Генка не пошел на уроки раз, второй, да
так и отстал от школы. Приходили к Фросе из родительского
комитета, напомнили Фросе о необходимости учить сына,
как будто она сама этого не знала. Фрося в ответ только рука-
ми развела, — кто мог ей помочь, кто взял бы на себя ее тяго-
ты, кому было до нее дело, кого интересовало то, что вся
жизнь Луниной поломалась оттого, что Николай Иванович
ушел на фронт? Местком сделал все, что мог, — выдал Фросе
пособие, как солдатке, сто рублей, хлопотал об устройстве
Зойки в детское учреждение, да так и не выхлопотал ничего.

И Генка принял на себя часть обязанностей матери, хотя помощь его часто выражалась в том, что он ревел весь день с Зойкой, которую никак не мог унять... Хлопотальщики походили-походили, да и перестали.

А тут вдруг все устроилось как бы само собой.

Однако у Генки уже пропала охота к учебе, и это было не очень хорошо. С переездом на новую квартиру Генку приняли в другую школу и определили в группу продленного дня. Но там было что-то неладно, что-то не так, как следовало бы,— Генка уходил из группы раньше положенного времени и, в ожидании матери, слонялся по улицам либо сидел на крыльце и тарасил свои маленькие, светлые, как у матери, глаза на божий мир, который жил своей малопонятной жизнью. Когда приходила мать с Зойкой, Генка ел картофельный суп, пил пустой чай и садился за уроки, возясь с ними допоздна. Мать занималась своими делами, то и дело поглядывая на сына, и для порядка покрикивала на него. А что она понимала в Генкиных уроках? Кричать-то может всякий, и в крике ли дело, если в голову Генке ничего не лезло?.. И он понемногу научился делать вид, что занят уроками...

Кто знает, какую роль во всей дальнейшей судьбе Генки сыграли именно эти месяцы и дни, когда Фрося думала, что Генка делает уроки, а он только посматривал на часы, дотягивая до того времени, когда мать, зевнув, говорила устало: «Ну вот и еще день прошел, слава богу! Ложись спать, что ли, Генка!» Кто знает, какую роль в дальнейшей судьбе Генки сыграло то, что он сам для себя открыл возможность «волынить», а не работать, открыл то, что когда-то французские крестьяне называли саботажем... Пройдет много дней, пока Генка услышит это слово и поймет его значение, а между тем именно сейчас складывается его сознание и идет в его мозгу деятельная работа, в которой всякая мелочь имеет свой смысл и значение...

5

Мир необыкновенно интересен!

Можно часами наблюдать жизнь, не принимая участия в том, что происходит вокруг, притаившись как мышь и только переводя глаза из стороны в сторону — всегда в поле зрения попадет что-нибудь! А мысли тем временем — неторопливые, неясные, одна за другой, часто не задевая друг друга, словно оторванные не только друг от друга, но и от сознания, — текут и текут, будто ручеек весной. Генка любит это состояние спокойного безделья. Он способен долго-долго сидеть на крыльце своего нового дома и разглядывать этот интересный мир.

...Вот медленно поднимается вверх — все выше и выше — и становится едва видимым из-за туманной дымки в вышине огромный аэростат воздушного заграждения. Они всегда висят в воздухе над городом. Сколько помнит себя Генка, он всегда видел их. Один к другому, чуть заметно меняя свое положение от течения воздушных потоков, они образуют защиту города от авиации противника. Как ни мал Генка, он знает эти слова, которые вошли в его сознание почти одновременно со словами «мама», «папа», «есть», «спать», «пить». Противник — это немцы, Генка видит их на фотографиях в журналах: они небритые, на них надето какое-то рваньё, какие-то немыслимые обутки, плетенные из соломы, а головы укутаны женскими шальями. Страшные, они издеваются над русскими. Генка привык уже и к другим фотографиям — фотографиям, на которых изображены горы трупов в самых странных позах, часто голые, со скрюченными руками и ногами. Это русские, которых убили немцы. Генка рассматривает эти фотографии без страха и уже без любопытства. Мертвые, когда их так много, уже не страшны, когда они лежат вот так, штабелями, походят не на людей, а на дрова, на лом... В кино немцы изображаются по-другому: они ходят странно выпрямившись, то и дело вскидывают одну руку вверх и лают: «Хайль!» На русских они только кричат или пытаются их, они стреляют без раздумья, на них нарядная, только слишком тесная, военная форма, они ездят только на мотоциклах с пулеметами и на бронированных вездеходах, они «сеют ужас и смерть», как запомнилось Генке. Но как бы они ни были жестоки и страшны, красноармейцы их всегда бьют, и тогда немцы становятся такими — задрипанными, несчастными военнопленными фрицами... Но немцы далеко, Генка знает, что до фронта очень далеко и что город, в котором он живет, находится «в глубоком тылу». Однако и здесь, где-то неподалеку, находится противник. Это японцы. Какие они, Генка даже не знает, так как никогда не видел ни самих японцев, ни картинок, изображающих японцев. Это потому, что у нас с ними договор о ненападении и мы не позволяем себе ничего говорить о тех людях, с которыми у нас договор. Но японцы находятся в союзе с фрицами, и очень может быть, что они на нас нападут, для того чтобы помочь своему союзнику Гитлеру, которому приходится туго на советско-германском фронте... Воздушная защита города не от немцев, которые сюда не долетят, а от японцев, которые убивали наших людей на Дальнем Востоке, во время интервенции, и вообще стоят того, чтобы им дать как следует...

Вот по улице идут женщины с авоськами — это такая сетка для продуктов. Ее берут на всякий случай, выходя из дому, — авось где-нибудь что-нибудь будут давать. А как это — дают? Кому и что? Тем, у кого есть карточки! Правда, недостаточно предъявить карточку и дать вырезать из нее та-

лон на этот день, — надо еще и деньги заплатить, для того чтобы получить то, что «дают», — хлеб, керосин, сахар, ботинки. А денег всегда не хватает... потому, что есть еще базар, где можно что-то получить без карточек, но очень дорого... Как все это сложно!

При виде женщин, идущих из хлебного магазина, у Генки начинает бурчать в животе. Он всегда хочет есть. Это очень странное ощущение. Будто кто-то тянет за кишки. От этого как-то странно слабеет под коленками, ничего не хочется делать, клонит в сон, а если вспомнишь о чем-нибудь съестном, то тягучая слюна тотчас же заполняет весь рот. Генка звучно сглатывает ее, еще и еще раз...

Увлечшись этим занятием, он не слышит, как отворяется дверь на лестницу и из квартиры выходит сынишка Вихровых, маленький Игорь. Он едва-едва начинает говорить. У него кривые, рахитичные ножки, выпуклый лоб и внимательные серые глаза. Генка знает, что когда Игорь родился, то чуть не умер от истощения, и мать, которую Игорь зовет «мама Галя», не один раз давала ему свою кровь. Интересно, как это так — давать свою кровь? Генка знает, как кормят детей грудью — так мать кормила Зойку. Но у матери из соска текло белое-белое молоко. А у матери Игоря? Кровь? На минуту Генке делается страшно. Однако Игорь не дает ему задержаться на этой мысли. Он спрашивает, внимательно глядя на Генку и следя за тем, как Генка что-то глотает:

— Что ты ешь, Гена?

Генке стыдно сознаться, что он глотал слюны, и он говорит важно, тоном сытого человека:

— Хлеб ем.

— А еще что?

— Сахар, — отвечает Генка, который уже не в силах остановиться, очень ясно представляет себе все те вкусные вещи, которые приходилось ему есть. — Колбасу!

— Колбасу! — повторяет Игорь, и в глазах его появляется какое-то новое выражение. — А еще что?

— Балык! — говорит Генка. — Шаньги! Пирожное! — Генка даже захлебывается от собственной дерзости. — Ты когда-нибудь ел пирожное?

— А какое оно? — спрашивает Игорь.

— Вкусное! — отвечает Генка. — С цветочками, понимаешь? Во рту тает! Ох, до чего же вкусное! Я, понимаешь, могу сто штук за один раз съесть! Я могу...

Игорь родился на второй год войны, когда все жизненные радости уже были нормированы. Он даже не знает толком вкуса молока, так как у мамы Гали пропало молоко сразу после того, как Игорь родился, и она была очень плоха, стеклянная бутылочка с мутноватой питательной смесью ему больше знакома, чем грудь матери. Он и сейчас получает молока не вволю. Конечно, он не знает, что такое пирожное,

но, глядя на Генку, который вдохновленный собственной ложью, весь раскраснелся и облизывает губы, Игорь вдруг ощущает мучительное желание попробовать то, о чем говорит Генка. Только попробовать...

— А мне дай! — шепчет Игорь.

Генка недоуменно смотрит на Игоря:

— Чего тебе?

— Пирожного! — говорит Игорь и складывает большой и указательный пальцы вместе. — Попробовать! Вот столечко!

По странной ассоциации Генка вдруг ощущает злость на Игоря: тоже ходит тут, просит! Ишь чего захотел, пирожного! Словно Игорь виноват в том, что Генке хочется есть так же, как хочется есть Игорю, и в том, что никогда нельзя наесться досыта. Он складывает пальцы в кукиш и с каким-то наслаждением говорит Игорю:

— А фигу не хочешь?

С тем же наслаждением он следит за тем, как меняется выражение лица Игоря, как с него исчезает радостное возбуждение и напряженное ожидание чего-то необычного, что вызвал в Игоре Генка своей выдумкой, и сменяется сначала недоумением, а затем обидой. Генка к одной фигуре добавляет вторую, хитро сложенную из мизинца и безымянного пальцев. Торопливо он строит, с помощью правой руки, такую же комбинацию на левой и выставляет Игорю уже четыре фигуры:

— А еще не хочешь?

Чувство незаслуженной обиды заслоняет все прочие ощущения Игоря. Глаза его наполняются слезами. Но он немного странный мальчик, и вместо того, чтобы разразиться ревом, чего Генка опасается, он плачет молча, растирая по щекам обильные соленые слезы.

Из осторожности спускаясь с лестницы, но не разжимая своих пальцев, упрямо делающих фигуры, Генка делает несколько шагов вниз и, уже шепотом, спрашивает:

— Не хочешь? Не хочешь?

Почему он обидел мальчонку? Генка сам не может ответить на это — причин слишком много. Потому, что отец Вихрова не на фронте, а дома и Игорь может видеть его каждый день, может обратиться к нему с любым вопросом и получить ответ, может забраться на плечи отца, может пройтись по улице, держась за палец отца, может... да мало ли что можно сделать, когда живой отец находится рядом! Потому, что мать часто одергивает Генку и Зойку, когда они слишком шумны, говоря при этом с кивком в сторону квартиры соседей: «Тих-ха! Людям покою не дадите! Рядом живуть!» Потому, что Вихровы живут лучше, чем Лунины. Потому, что у Игоря на плечах кроличья шубейка, а у Генки — ватник... Ох, слишком много этих «потому» у Генки... Наверно, потому, что Игорь оторвал Генку от созерцания окружающего, напомнил о том, что Генке хочется есть, о том, что Генка ушел из

школы раньше времени, не приготовив уроков, а только успев проглотить тарелку супу с маленьким кусочком хлеба, которые выдавались ребятам в группе продленного дня, а теперь Генка чувствует и свою вину за бегство из группы и беспокойство из-за уроков, которые остались не-деланными...

Генка идет за ворота дома. Садится на скамеечку у ворот.

Он выглядывает из ворот, смотрит на Игоря. Тот по-прежнему плачет, недоумевая: за что Генка обидел его? Генка вслух говорит:

— Ну и пусть!

И опять начинает озирать своими белесыми глазками всю округу.

...Верховой ветер тащит облака, они громоздятся в вышине, серые, темные, светлые, точно кипят в водовороте, оттягивает куда-то в сторону аэростаты — за первым маячит второй, за вторым в прорывах облаков виднеется третий, за тем угадывается еще один, чуть видный. Генка замечает теперь, что аэростаты образуют воздушный забор у моста через Амур. Этот мост — гордость всех жителей города, самый большой мост в стране. Генка мысленно рисует себе, как самолеты «противника» подходят к мосту и, не видя аэростатов, ударяются об их стальные тросы, которые свисают гирляндами с аэростатов и через которые пропущен электрический ток. Сверкает молния разряда, самолет вспыхивает дымным костром и, как на плакатах, разваливаясь, падает на землю. «Так и надо, чтобы не лез!» — говорит себе Генка, очень живо представляющий эту картину. Что такое электрический разряд, он знает: однажды сунул вилку в розетку на стене! Он и до сих пор помнит ощущение удара, и странный, соленый вкус во рту, и как дрожали у него руки и ноги долго после того, как он упал на пол, испуганный так, что даже не заплакал...

6

Игорь смотрит на своего обидчика. Слезы струятся по его бледненькому лицу и затекают в рот. Игорь начинает кончиком языка облизывать губы, не сводя глаз с Генки. Тот глядит вверх, и взор Игоря тянется туда же. Он замечает аэростаты. Что это такое, он не знает, но круглые, толстые бока аэростатов вызывают какое-то воспоминание у Игоря, какое-то веселое воспоминание. «Три поросенка!» — мелькает у Игоря мысль. «А как они туда забрались?» — спрашивает он себя. Слезы его высыхают. Но и аэростаты исчезают в облаках. Игорь долго шарит по поднебесью глазами, но ничего уже не находит. Может, привиделось, почудилось?..

Мама Галя выходит на крыльцо посмотреть, что делает Игорь.

— Что ты делаешь тут? — спрашивает она и добавляет: — Не сиди на ветру, Игорешка! Пойди во двор поиграй! — Игорю надо двигаться, бегать, играть, чтобы набираться силы, двигаться как можно больше — тогда его ноги станут прямыми, ровными, как у мамы Гали, а сейчас они далеко не идеальны, и мама Галя только вздыхает, вспомнив об этом. — Иди, иди! — говорит она опять.

— Нет! — отвечает сын и невольно глядит на Генку за воротами.

Мама Галя тоже глядит туда. В этот момент Генка оборачивается. Увидев Вихрову, он тотчас же скрывается из виду. Не то чтобы его мучила совесть из-за Игоря, но он попросту боится, что ему попадет. Подозрение закрадывается в душу мамы Гали: чего это Генка спрятался от нее? Она поправляет шарф на шее Игоря и видит измазанные щеки.

— Ты плакал? — спрашивает мать обеспокоенно. — Кто тебя?

— Нет! — опять отвечает Игорь. В доме Вихровых никто не плачет. Это не принято. Игорь знает точно, что плакать нельзя. Если больно, надо сказать. Если что-нибудь случилось, надо сказать. А чего же плакать?! Солдаты не плачут. Мужчины не плачут. А он мужчина. Правда, он заревел, когда Генка показал ему кукиш, да еще такой сложный, отчего обида показалась вдвое горше. Но к чему об этом знать матери! — Нет! — повторяет он.

Мама Галя проникновенно смотрит на Игоря, потом переводит взгляд на ворота, за которыми скрылся Генка. Забор щелявый, и в щели видны Генкины ноги в больших не по росту башмаках со стоптанными каблуками. «Паршивый мальчишка!» — говорит мама Галя про себя. Ей понятно, что Игорь зря бы не заплакал, — видно, Генка обидел его чем-то...

Впрочем, надо быть справедливым, даже если бы Генка и не обидел ее сына, мама Галя все равно относится к нему с плохо скрытым недоверием, заранее считая его способным на все. Генка попросту не нравится ей, не нравится — и только: и тем, что у него вечно мокрый нос, и тем, что он всегда словно чем-то испуган, как бывает всегда чем-то напугана дворняга, готовая от любого быстрого движения человека завизжать и пуститься наутек. Мама Галя сама не боится ничего, как она думает, а потому трусливые люди ей антипатичны. А Генка труслив — он трусит, кажется, даже за то, чего еще не сделал. Впрочем, дело не в Генке. Мама Галя не хочет сознаться даже себе, что вся семья Луниных ей неприятна. Дело в том, что ей хотелось занять комнату, из которой уехал майор. Так было бы хорошо, весь этаж — одна квартира! Ни с кем не считаться, ни о ком не думать, плохо ли, хорошо ли — все между своих, никто не таращит любопытных глаз,

если что-нибудь не так, и поссорились, и помирились — все между четырех глаз, все в доме, все перемелется без чужого вмешательства! Мама Галя тихонько вздыхает...

Небо на закате розовеет. Вечерние лучи солнца пробиваются через облака. Облака плотные, точно сбитые, и солнечным лучам приходится проникать между их громадами. Но там, где свет проник к земле, края облаков вспыхивают золотом, и тотчас же облачные кучи преображаются. Если раньше они были сумрачными, угрожающими, то сейчас, отделенные друг от друга этой нарядной золотой каймой, они становятся удивительно красивыми... Багряным становится и дальний край неба. Он весь полыхает и теперь, освещенный этим багрянцем, становится словно живым. Оттенки красного то и дело меняются там, перемежаются темно-синими, почти фиолетовыми полосами, на них ярко выделяются бело-серые тучки, которых не затронули лучи, идущие поверху...

Мама Галя живет на Дальнем Востоке уже больше десяти лет, с тех пор, как познакомилась с Вихровым, а эти закатные бури красок волнуют ее, как и в первые дни, она готова часами глядеть на пламенеющий небосклон, следя за тем, как меняются его краски, не в силах оторваться от этого зрелища борьбы света с наступающей тьмой.

Но пока на небе идет эта яростная схватка, пока огненные стрелы солнечных лучей несутся в вышине, поверх облаков, землю все более затягивают сумерки. Сначала и здания, и дороги, и деревья принимают фиолетовый оттенок, потом все сильнее становится синева, гаснут отблески небесного сражения в стеклах окон, наконец, темнота появляется за углами домов, в укромных местах и оттуда все больше распространяется по улицам. Темнота не разрежется светом электричества — затемнение господствует уже почти четыре года, лишь кое-где на главной улице зажигаются синие лампы, почти не освещающие дорог...

Игорь тянется на руки матери. Ему становится боязно наступающих сумерек. Мать поднимает его к самому лицу и разглядывает его глаза.

— Игорешка! Спатки хочешь, да? Сейчас пойдем! Вот только папу дождемся и пойдем...

В ворота то и дело входят люди. Во дворе Вихровых и Луниных живут несколько семей — рабочие типографии, шофер, кондитер, библиотечарша, заведующая детским садом и еще какие-то люди. Мама Галя знает не всех жильцов — как-то не приходилось встречаться нигде. Она гонит от себя мысли, навеянные спускающимися сумерками, но идти домой ей не хочется...

Кто-то чуть не наступает на Генку, который сидит на корточках у ворот. Сначала чертыхается, потом спрашивает, разглядев Генку:

— Ты чего домой не идешь, мальчик?

— Дома нету никого! — говорит Генка жалобно.

— Эх, ты, горемыка! — сочувственно говорит человек и идет своей дорогой, что-то бормоча про себя.

Мама Галя, пересиливая себя, кричит Генке:

— Гена! Что ты там делаешь? Иди сюда!..

— Не! — отвечает невидный Генка.

— Чего «не»? — немного сердится Вихрова. — Иди, посидишь у нас, пока не придет мама!

— Не! — опять говорит Генка.

Он видит, что по улице идет Вихров. Идет он осторожно, ощупывая тротуар ногой на ступеньках, — вечером он плохо видит. Генка, который в сумерках видит все ясно и отчетливо, как кошка, следит за тем, как Вихров всматривается в забор, не находя калитки. Генка слышит его хриплое дыхание, какие-то свисты, исходящие из глубины его груди. «Как старик!» — думает Генка.

Вихров чуть не наступает на Генку.

— Человек тут! — предупреждает Генка.

— Ах, человек! — говорит Вихров и узнает соседкиного сына. Он осторожно похлопывает Генку по тощему плечу. — Домой пора, человек! Или мамы дома нету?

Так же осторожно он идет по узенькому тротуару к широкой лестнице, на которой стоит мама Галя с Игорем на руках. Они совсем слились с темнотой, и Вихров узнает их, только вплотную встав перед ними. От неожиданности он даже тихонько охает.

— Что, испугался? — насмешливо спрашивает мама Галя.

— Испугался! — отвечает Вихров.

— Надо быть храбрее, папа Дима! — говорит жена.

— А это кто? — спрашивает Вихров нарочным голосом и, нахмурясь, рассматривает Игоря, словно не может узнать.

— Это Маугли! — отвечает Игорь, говоря о себе в третьем лице... Это у них такая игра, которая возникла сама по себе после того, как Вихров прочитал вслух книгу Киплинга о Маугли-Лягушонке. Мама Галя стала после этого пантерой Багирой, папа Дима — медведем Балу, а Игорь — Маугли.

— Спать пора, Лягушонок! — говорит опять отец.

Игорь жмурится в ответ.

Мама Галя открывает дверь в прихожую. Там господствует тьма. Они входят в коридор. Вихрова закрывает дверь на улицу и включает свет. Отец снимает свое пальто, вешает его на крючок, оборачивается к маме Гале и говорит, кивая в сторону дверей:

— Надо бы мальчонку-то к нам, что ли, пока взять...

Тьма, сырость...

— Звала уже! — говорит мама Галя, недовольная замечанием.

— Он Шер-Хан! — сердито говорит Игорь и трет глаза рукой.

Мама Галя недоумевающе поднимает свои густые, черные, сросшиеся на переносице брови. Отец кивает головой — ему все понятно... Шер-Хан — старый тигр, убежденный враг Лягушонка Маугли. Он улыбается:

— Ты преувеличиваешь, сын мой! — говорит он. — Это не Шер-Хан, а что-то такое...

— Папа Дима! — вдруг говорит Игорь. — Дай мне пирожного! А? Ну, вот столечко! Только попробовать...

Вихровы переглядываются.

Папа Дима бодро говорит:

— Чего нет, того нет, Лягушонок! А вот мама даст нам сейчас картошечки и еще чего-нибудь.

Чего-нибудь! Мама Галя вдруг скрывается в комнате, оставив в коридоре папу Диму и Игоря. Слышно, как она затягивает шторами окна в квартире, двигает стулья — и все это молча. Кажется, папа Дима что-то сказал не то, что надо...

7

Фрося задержалась на работе.

В этот день сразу после окончания службы началось собрание.

У нее екнуло сердце: надо же идти за Зоей, Генка, наверно, ожидает ее на крыльце. «Да как же это так? — невольно подумала она. — Собрание собранием, а с детишками-то тоже надо что-то делать!» Она оглядывалась по сторонам, беспокойно разглядывая сотрудников. Однако никто не ушел домой. Все остались на собрание. Кто позевывал, кто посматривал на часы, но все рассаживались на стульях, вынесенных в операционный зал.

Председатель месткома с важным видом, держа в руках какие-то бумаги, стоял рядом с директором, ожидая, когда все рассядутся.

Фрося не находила себе места.

Зина посмотрела на нее.

— Что ты как на иголках? — спросила она Фросю.

— Так детишки же!..

Зина перевела взор свой на председателя месткома, что-то хотела сказать, но промолчала.

— Отпроситься бы! — робко сказала Фрося, с надеждой глядя на Зину и ожидая от нее поддержки.

— Ну, отпросись!

— Да я боюсь! — сказала Фрося простодушно.

— Бойся не бойся — все равно не поможет! — сказала Зина тихо. — Этот твердокаменный ничего никогда не слушает... Разве только начальство скажет. Вот тогда он в лепешку разобьется...

— Детишки же! — повторила Фрося жалобно.

— Ну что ты мне об этом говоришь! Скажи председателю!

Фрося, вся вспотев от волнения, комкая в руке носовой платок, который неизвестно зачем вынула из кармана своей вязаной кофточки, встала со своего места. Но пока она переговаривалась с Зиной, пока мучилась в сомнениях — можно или нельзя отпроситься?! — в зале понемногу стих шум, все расселись по местам, и председатель занял свое место за столом, который уборщица поспешно накрыла кумачовой скатертью. Теперь только председатель и Фрося оказались на ногах. Председатель поглядел на Фросю вопросительно и несколько недоуменно.

— Вопросы потом! — сказал председатель. — Вопросы потом, товарищ Лунева!

— Лунина моя фамилия! — сказала Фрося, еще больше вспотев.

— Вопросы потом, товарищ Лунина! — отозвался председатель.

— Мне домой нужно! — выпалила Фрося, видя, что она задерживает председателя.

— Всем надо домой! — сказал председатель внушительно. — Проведем собрание организовано и быстренько, решим все поставленные вопросы, товарищ Лунина, и пойдем домой, к своим очагам, так сказать! — Он стоял за столом, выжидая, когда Лунина сядет, чтобы объявить об открытии собрания, тяжелый, точно сбитый из дубовых досок, с заметным животом, в поношенном пиджаке, который лоснился на локтях и карманах, в солдатской гимнастерке под пиджаком, с которой не были спороты военные пуговицы, с редкими волосами на седоватой голове тыквой, в очках со слабыми стеклами, которые закрывали его небольшие, маловыразительные глаза, с рыжеватыми усами, которые неволью делали его лицо похожим на моржа. — И пойдем к своим очагам, — добавил он, — от которых нас отрывает сейчас наш профсоюзный долг, так сказать!

Пошутил председатель или сказал это всерьез, трудно было понять, но Фрося тотчас же села на свое место, ощутив слабость во всем теле: долг так долг!

— Дети у нее дома! — крикнула Зина.

— У всех дети дома, товарищи! — невозмутимо сказал председатель. — А молодому члену профсоюза, товарищу Луниной, надо привыкать к тому, что профсоюзы — это, так сказать, школа коммунизма, как сказал товарищ Ленин в свое

время. Надо, товарищ Лунина, учиться управлять государством...

— Ну, поехал теперь! — вполголоса заметила Зина и махнула рукой.

— А вам, товарищ Зина, тоже надо за своей дисциплиной последить, так сказать... мы ведем войну с проклятым фашизмом, это тоже надо понимать. Великую, Отечественную, так сказать!

Из зала кто-то недовольно крикнул:

— Может быть, начнем собрание, а с товарищем Луниной вы потом поговорите!

— Мы бы давно уже начали наше профсоюзное собрание! — сказал председатель месткома. — Но уровень сознательности, так сказать, не одинаковый у всех...

Фрося почувствовала, что председатель мечет стрелы в нее, но только вздохнула, поняв, что ей лучше не соваться со своим делом, чтобы ни случилось с ее детьми. «Школа коммунизма!» — этими словами председатель просто сразил ее. Выходит что же? Что Лунина против коммунизма? Фросю опять бросило в жар. Как бы чего не вышло! Время военное! Она затряслась, словно в лихорадке, — ой, не потерять бы работу в сберкассе! Она даже не слышала, о чем идет речь на собрании, поняла только, что надо «мобилизоваться в эти решающие дни грандиозных сражений»...

Зина тронула ее за рукав.

— Ну и дурака же ты сваяла, Фрося! — сказала она. — Надо было тебе у заведующего спроситься, он бы отпустил, и никакого бы разговора не было, а теперь он тебе сто раз припомнит, как ты профсоюзную дисциплину пыталась подорвать в годы войны! — Зина рассмеялась и легонько толкнула Фросю плечиком. — Да плюнь ты на это дело! Видали мы всяких дураков и этого переживем! Ты только не разговаривай с ним, когда собрание кончится, а то он тебя заговорит до полуночи. Ему есть не давай — дай свою профсоюзную власть показать!

Фрося слушала Зину, та посмеивалась и потихоньку грызла кедровые орешки. Она и Фросе насыпала горсть орехов, но Фрося, зажав орехи в потной ладони, так и не осмелилась дотронуться до них. Зина, точно белка, перекусывала кожурку орешков пополам, извлекала белое ядрышко и так увлеклась этим, что тоже не слушала ни доклада председателя, ни выступлений, тягучих, как ей казалось — вовсе не обязательных. Увидев орехи у Зины, Фрося удивилась — это была редкость в дни войны! — и вопросительно подняла брови: где, мол, взяла?

— Да есть тут один, принес! — как всегда неопределенно сказала Зина, намекая на какие-то свои связи за стенами сберегательной кассы. — Тоже дурак вроде этого! — добавила она на ухо Фросе...

Фрося поднимала руку, когда поднимали остальные, сидя как в тумане и думая над тем, как она объяснит нянечке, почему не пришла за дочкой своевременно.

— На фронте был без году неделю! — кивнула Зина на председателя. — Легким испугом отделался. Теперь героем ходит, будто всю войну воевал и каждый день кровь проливал. Пока не взяли, все о броне хлопотал и как-то вывернулся из пекла, черт его знает как. Не человек, идол! Памятник героям Отечественной войны, а вернее сказать — самому себе...

Как ни тянулись минуты для Фроси, но собрание вдруг окончилось. Правда, Фрося поняла это только потому, что все разом оживленно зашевелились, стали подниматься с мест и натягивать на себя одежду. Председатель через головы других посмотрел на Фросю:

— Товарищ Лунева, у вас будут ко мне вопросы?

— Нету, нету вопросов, товарищ председатель! — поспешно ответила Фрося, которую опять бросило в жар.

— Побежали, Фрося! — сказала ей Зина. — Это была еще не баталия! Вот тебе нянечки сейчас зададут жару из-за Зойки, дадут бой по всем правилам военного искусства. Ну да ничего, бог не выдаст, свинья не съест, как говорится! Я с тобой!..

— Вот спасибо, вот спасибо! — от души выговорила Фрося, надеясь на то, что Зина примет на себя удар в детских яслях и все обойдется хорошо. Она умеет это делать, Зина, рядная, красивая Зина, которой все удается, которую все любят.

Но едва они вышли на улицу, как к Зине подошел какой-то военный в полевой форме. Синяя лампочка едва освещала выход из сберкассы. В ее свете все казалось нереальным, мутным, каким-то словно приснившимся во сне, но фигура военного показалась Фросе смутно знакомой. Она не могла рассмотреть его лица, но что-то в манере держаться, какая-то мешковатость, какая-то неловкость военного, который словно старался, чтобы Фрося его не рассмотрела, смутили Фросю, и она тотчас же отошла в сторону.

— А-а! — протяжно сказала Зина военному. — А вы чего здесь?

Военный что-то вполголоса ответил Зине, потом довольно долго разговаривал с ней. Зина явно не соглашалась, потом недовольно сказала поджидавшей ее Фросе:

— Фросечка! Тут одно дело получается... Я не смогу пойти с тобою сегодня! — Потом ободряюще добавила: — Да ты не робей, и одна справишься. Не съедят же они тебя! До свидания, Фрося!

Военный взял Зину под руку, и они перешли на другую сторону улицы. Фросе некогда было разглядывать, куда они пошли. Чуть не бегом помчалась она к детским яслям, кото-

рые стояли на тихой улочке, выходявшей прямо на главную улицу города...

...С робостью Фрося позвонила у входных дверей яслей.

Она услышала звонок в коридоре. Однако никто не отозвался на этот звонок. Она позвонила еще раз. И опять тишина была ей ответом. Беспокойство охватило Фросю, — может быть, что-то случилось, пока она сидела на собрании? «А что могло случиться? — спросила она сама себя, унимая свое волнение. — А мало ли что могло случиться!» — опять поднималась в ней волна этого беспокойства. Признаться, оно часто мучило ее в эти дни, когда все так хорошо складывалось, слишком хорошо, — так не могло продолжаться без конца! И когда сегодня председатель сказал ей про сознательность, она вся ослабела и сникла, сильно испугавшись чего-то. И сейчас, когда никто не отозвался на ее звонок сразу, мутная волна страха захлестнула ее опять... Она судорожно вскинула руку, намереваясь звонить до тех пор, пока не разбудит весь дом. Но едва она нашарила розетку звонка, за дверью уже раздались чьи-то мягкие, шаркающие шаги, звякнули ключи, и дверь открылась. Заспанным голосом, борясь с зевотой, кто-то спросил:

— Звонят, что ли? Кто тут?

— Извините, — сказала Фрося, трепеща, — за дочкой я.

Тут она рассмотрела, что в коридоре стояла толстая нянечка.

— Лунина, что ли? — спросила нянечка.

— Лунина... Лунина! — торопливо проговорила Фрося. — Вы уж извините меня, пожалуйста. Задержали меня! Вы не подумайте, что я...

Она стояла, лепеча слова извинения. А нянечка, не слушая ее, прошлепала в глубину коридора. Хлопнула одной, другой дверью. Откуда-то узенький пучок света просочился в коридор и лег тонкой дорожкой на пол. Потом этот лучик погас. Опять раздались шаги нянечки. Она подошла к Фросе и, подавая спящую Зойку с рук на руки, совсем не злым голосом сказала:

— На тебе твое добро! Спать — пушкой не разбудишь...

— Я такая виноватая, такая виноватая! — говорила Фрося.

— Ладно уж! — ответила нянечка. — Пришла бы ты часом раньше, так я бы тебе голову отгрызла: весь ты мне план спортила, все спутала, все перемешала... Я хотела вечером к своей дочке пойти, проведать — давно не видались. Она у меня замужем за техником на железной дороге. А тут твою кралю хоть на улицу выбрось, не на кого оставить! Спрашивала всех: может, кто отнесет по соседству? — так пойди найди таких добреньких, как же... Ну, дай уж, думаю, до утра побуду. Все одно завтра выходяная, торопиться некуда...

Она зевнула. По-прежнему не слушая Фросю, которая все объясняла и объясняла, что задержалась не по своей вине, она добавила:

— Я, когда посплю, добрая делаюсь!..

И прикрыла дверь перед самым носом Фроси. Бормоча, зашлепала по коридору. Фрося прислушалась. В коридоре что-то стукнуло, — видно, нянечка захлопнула внутреннюю дверь. «Ненормальная какая-то, ей-богу!» — подумала Фрося.

Зойка зашевелилась, зачмокала губами. От нее шло ровное, сильное тепло. Разоспавшись, она была очень тяжелой. Все тело ее обмякло. Руки и ноги все никак не держались вместе. Фрося поплотнее закутала ее, неловко согнувшись. «Спи, спи, доченька!» — прошептала она.

— До свидания! — сказала она захлопнутой двери.

Чуть не бегом, как ни тяжела была Зойка, Фрося помчалась на свою улицу. «А как там Генка-то?» — со страхом подумала она и прибавила шагу. Гос-споди! Ведь Генка мог за весь день и под машину попасть, и натворить чего-нибудь, и отравиться — сейчас ребята, что ни попадет, все в рот тащат, есть же хочется! Мало ли что могло случиться с Генкой!.. Холодный пот прошиб Фросю.

Но Генка мирно спал на крыльце, устроившись на старом Фросином сундуке, вынесенном из комнаты. Время от времени он подхрапывал, несмотря на неудобство своего ложа. Ноги его свешивались на пол, голова прижата к стенке. Фрося услышала его храп, поднимаясь по лестнице. Одной рукой придерживая Зойку, она торопливо обшарила Генку и тихонько окликнула: «Ты живой, Генка?» Генка зашевелился, повернулся и чуть не упал с сундука. «А то какой же?» — отозвался он, уразумев, что мать стоит возле.

— Встань, сына! Идем в хату! — сказала Фрося.

Невольно подумала она про Вихровых: что стоило им взять мальчишку к себе до возвращения ее домой? «Интеллигенты, гады! — сказала она про себя со злостью. — Тут хочь умри, хочь разорвись, хочь сгори синим огнем — им дела нет. Сво-ло-чи!»

Ключ никак не влезал в дверную скважину. Фрося положила Зойку на сундук, с которого встал Генка, с трудом вставила ключ и повернула с треском.

— Ма-ам, скоро? А? — заканючил Генка, которого вдруг прошиб вечерний сырой холодок, у него явственно лязгнули зубы.

— Заткнись! — сказала ему Фрося, которой наконец удалось открыть дверь. «Ровно щенка бросили на улице!» — опять подумала она с озлоблением про соседей, увидев, что в коридор из двери Вихровых пробивается лучик яркого света.

Услышав шум в коридоре, Галина Ивановна вышла к Луниной. Она зябко куталась в шерстяной шарф. Лицо ее было озабоченно, темные брови нахмурены, а серые глаза казались совсем черными. Она как-то через силу улыбнулась Фросе и сказала:

— Ну, наконец-то! Я уж вся извелась, гляжу — нет и нет, а ваш сынишка такой упрямый, как я его ни уговаривала, ни за что в дом не вошел! Темно, сыро, а он...

— Да нет уж, зачем же вам беспокоиться! — сказала Фрося. — Да и что ему делается? Ничего не делается!

Озлобление все не могло улечься в ней, хотя, казалось, соседку ей и не в чем было упрекнуть: все ведь разъяснилось, и если Генка упирался — мать знала это хорошо! — с ним не было сладу. И все-таки...

— Черная кость! — добавила Фрося и вошла в свою комнату.

Галина Ивановна замолкла на полуслове. Ей стало ясно, что Фрося обижена на Вихровых, — но за что? Галина Ивановна не чувствовала за собой вины. Что поделаешь, если Генка дикарь дикарем! Ей казалось, что она сделала все, что могла и что должна была сделать. Уговаривая Генку войти в дом, она даже взяла его за руку, чтобы приневолить, но он вырвался, словно звереныш оскалив зубы, вдруг заревел что есть силы и, чуть не свалившись с высокой лестницы, опять убежал за ворота. Он довольно долго маячил там безгласной тенью, не отзываясь на окрики. А когда Галина Ивановна вышла на крыльцо — в который раз! — чтобы позвать Генку, он уже лежал на сундуке и спал, намаившись за день... «Дикари!» — сказала себе Вихрова и, очень недовольная тем, что произошло, пошла к своему сынишке, вход в маленькую комнату которого находился напротив входа в комнату Луниной.

Она взглянула на сына. Он спал беспокойно. Бледно-розовый рот его был полуоткрыт, губы обсохли. Время от времени то руки, то ноги его непроизвольно вздрагивали, точно и во сне он продолжал свой день, что-то не успев, что-то не закончив, что-то упустив и теперь наверстывая. Он сильно раскрылся, одеяло одним концом сползло на пол, голова его покоилась на середине кровати, ноги упирались в стену.

Мама Галя поправила постель, уложила Игоря как надо. Обеспокоенно потрогала его лоб — нет ли жара? — и присела в ногах у сына, взяв его тонкие руки в свои крупные, сильные ладони. Он попытался было высвободиться, но тотчас же затих и стал дышать ровно и спокойно...

Через дверь было слышно, как Фрося разговаривала с Генкой, как чертыхалась и как все летело у нее из рук.

— Больно высоко себя ставят! — сказала Фрося громко, и Вихрова поняла, что это предназначается вовсе не Генке, так как тот спросил мать:

— Кто?

— Воображают о себе!

— Кто, мам?

— Отстань, пока я тебе уши не надрала...

Генка, видно, получил затрещину — Вихрова услышала, как он заревел в голос и как Фрося сказала:

— Тих-ха! Ты! Не реви! Люди же отдохнуть хотят!

Галина Ивановна улыбнулась. Слишком прозрачны были намеки Фроси и ее надежды на то, что Вихровы услышат все, что им надо услышать, и вместе с тем не придерутся — она ведь с сыном говорит, а не с ними... Что с ней такое? Что она сегодня точно бешеная? Галина Ивановна подавила в себе желание объясниться с Фросей, и вместо того, чтобы встать и выйти, она прилегла возле Игоря, ощущая его горячее дыхание на своей щеке и чуть поглаживая его голову со спутанными светлыми волосами. Ей хватало своих забот! Она дрожала за Игоря, с его крайне неустойчивым здоровьем, с его слабостью, — ах, надо же было его родить в страшный тысяча девятьсот сорок второй год, когда, казалось, рушится вся жизнь и почва уходит из-под ног, когда немцы рвались к победе и неумолимо, точно судьба, захватывали все новые и новые куски советской земли, когда сообщения Советского Информбюро звучали точно похоронные колокола: «После многодневных, упорных, ожесточенных, кровопролитных боев, в ходе которых Красная Армия перемалывала живую силу и технику врага, советские войска оставили под давлением превосходящих сил противника город Н». Сколько было их, таких сообщений! После каждого из них сердце словно остана-вливалось, и казалось странным, что оно опять начинало биться, что жизнь продолжается, что надо ходить, двигаться и делать обычные дела, кормить и одевать семью, изворачиваться для того, чтобы жить, жить, когда каждый день начинается с мучительных размышлений: как прожить именно этот день?! Она дрожала за мужа, папу Диму, который тоже, как и все, хотел идти на фронт и который там мог быть только в тягость со своим удушьем, со своей эмфиземой легких, — его не взяли в армию, но его не отпускала и болезнь, изматывающая, жестокая, приводящая на грань истощения и все-таки не лишаящая жизни. При взгляде на папу Диму, которого терзал — неделями, месяцами! — очередной приступ удушья, в порыве жалости к нему мама Галя иногда думала: «Господи! Хоть бы ты умер! Сколько же можно мучиться!» А потом ужасалась своим мыслям, отгоняла их поспешно от себя, и все-таки не могла найти в себе необходимого долготерпения и великодушия, и сердилась, и раздражалась на больного мужа, и не могла больше слышать его свистящего каш-

ля и его тяжелого дыхания, которое, казалось, каждую минуту готово было прерваться и все-таки не прерывалось, и не могла больше видеть его землистого лица и синих подглазин, и не могла переносить его взора, жалобного, как у собаки, над которой занесена рука... Ах, лучше не думать обо всем этом! А как не думать?..

Игорь вдруг открывает глаза, ясные, чистые, будто он и не спал секунду назад крепким сном. Он смотрит на маму Галю и, облизнув пересохшие губы, спрашивает шепотком:

— Это ты, мама Галя?

— Я! А ты почему не спишь? У тебя что-нибудь болит? — обеспокоенно спрашивает мать.

Но Игорь уже опять закрывает глаза и засыпает, только легкая, какая-то беспомощная улыбка, едва заметная, трогает его губы...

«Больно высоко себя ставят!», «Воображают о себе!» А почему Фрося не подумает о том, что и Вихровым живет не сладко, почему так легко отделяет себя от своих соседей, почему охотно готова обвинить их и в бессердечии и в высокомерии? «Черная кость!» — сказала она о Генке и о себе, точно одним этим выражением зачеркнув Галину Ивановну и ее желание помочь, быть полезной. А это не высокомерие? Не бессердечие?..

Галина Ивановна стройна, она высоконькая, быстрая, она и до сих пор смеется, как девочка, — захлебываясь, звонко и красиво! — но сколько седых волос появилось у нее в эти годы, об этом знает только она сама, сколько тяжелых сомнений, раздумий пережила в эти годы, когда муж выбывал из строя на многие месяцы, сколько душевной силы потратила она для того, чтобы не разучиться смеяться, не разучиться быть такой, какой она была создана! Почему же Фрося, сама пережившая немало, не хочет понять чужих волнений и забот? И, значит, Вихровы — «белая кость»? Какая чепуха!..

Где, кто и когда положил эту грань между людьми, из глубины каких времен тянется это разделение? И неужели Фрося не понимает, что если раньше власть имущие ставили себя над людьми неимущими, если «избранные», отмеченные достатком и властью, всячески отделяли себя от безликой массы неимущих и бесправных, чтобы не заразиться их бедями, то сейчас-то глупо и дико класть эту грань, тянуть ее из пропасти прошлого, сознательно ставя себя в то положение, в котором находились отцы и деды не по своей воле?

«Белая кость» — папа Дима в детстве рос в семье без отца, пользуясь случайной и редкой помощью братьев, которых судьба и революция раскидала в разные стороны и у которых была своя худая или хорошая жизнь, а надеясь больше на свои руки, на свою смекалку, не брезгуя никакой возможностью заработать деньги, хотя бы на себя, чтобы матери не надо было думать о его одежде и пропитании, а полученное

от сыновей обращать на дочь и себя. Галина знала, что Вихров и рыбачил и был носильщиком, писал плакаты, вывески, был статистом в театре, ходил с рекламой — занятие не из лучших для подростка! — подрабатывал в порту, когда учился, то есть хватался за все, что могло принести какой-то заработок, был даже руководителем «Синей блузы», о чем всегда вспоминал с удовольствием и гордостью, репортером в газете и так далее, пока жизненный путь его не определился... «Белая кость» — мама Галя, пантера Багира, Галина Ивановна, выросла в семье железнодорожника, училась на слесаря, работала на аэродроме синоптиком, учась в техникуме общественного питания, или, как шутя говорила она, в пищеварительном техникуме, и весь уклад жизни в ее семье был укладом жизни квалифицированного рабочего... И вот на тебе!

Галина Ивановна разволновалась совсем, когда мысли эти нахлынули на нее. Она лежала теперь на спине, возле Игоря, вытянувшись, заложив руки за голову и глядя вверх, чувствуя и обиду и усталость. Пусть можно назвать ерундовым поводом, из-за которого сыр-бор загорелся, но за этим пустяком стояло многое, и Вихрова как-то невольно сделала это обобщение, понимая, что мысли Луниной не родились сегодня и не умрут завтра, что от кого-то она унаследовала рабью психологию и неизменно передаст ее своим детям! Отчего так испугался Генка? Не потому, что Галина Ивановна страшна или груба, а потому, что она «белая кость», то есть чужая; наверное, по-другому бы отнесся он к предложению Галины Ивановны, будь та одета поплоще и попроще... Эстафета чувств!

— Дикари! Дикари! — прошептала мама Галя и, как Фрося, положила грань между собой и Луниной, сама не заметив этого...

Мысли ее смешались, оранжевые круги поплыли в ее глазах, перемежаясь, мельтеша, куда-то мчась, и где-то, в какой-то точке вдруг сменились черной, покойной пустотой глубокого сна. Очнулась она только тогда, когда Вихров, обеспокоенный ее отсутствием, вошел в детскую и, постояв немного в нерешительности над кроватью, где спали мать и сын, тесно прижавшись друг к другу, прикоснулся осторожно к плечу мамы Гали.

— Галенька! — тихо окликнул он. — Ты бы легла как следует. Что ты тут притулилась, как сирота? Я тебе постельку приготовил...

— Что, что? Что случилось? — вскочила с постели мама Галя, протирая красные, заспанные глаза.

— Да ничего не случилось! Говорю — иди спать на свою кроватьку.

— Глупости какие! — сказала мама Галя. — Я и не спала даже...

Она прислушалась.

Тонкий свист привлек ее внимание. Ах, это был все тот же до тошноты знакомый, ненавистный свист, прорывавшийся в дыхании Вихрова при обострениях. «Пожалуйста, вот вам, опять та же история!» — сказала себе мама Галя, переводя взгляд на мужа и отмечая тотчас же, как держит он голову, чуть не прижимаясь подбородком к ключицам, какие темные тени легли вокруг его глаз.

— И что ты полуночишаешь? — с досадой сказала она мужу. — Спал бы себе да и спал? А со мной ничего не случится. До самой смерти!

Прихожая была погружена в мрак. Фрося уgomонилась. Из ее комнаты доносился храп в два голоса. Басом храпел Генка, у которого было что-то не в порядке с носоглоткой (он всегда держал рот полуоткрытым), тоненько, деликатно подхрапывала Фрося. Как ни была усталой мама Галя, как ни хотелось ей спать, дуэт Луниных рассмешил ее. Она громко фыркнула, но папа Дима своей горячей ладонью легонько закрыл ей рот и другой рукой обнял за талию...

— Не искушай ее без нужды! — шепнул он.

— Скоро мы будем на цыпочках ходить перед ней! — отозвалась мама Галя с досадой.

9

Утром Фрося, готовя сына в школу, обнаружила у него в кармане деньги — бумажку достоинством в тридцать рублей.

— Вот тебе и раз! — сказала она, обратив недоумевающее лицо в сторону Генки. — Гена! Откуда эти деньги?

— Я нашел! — сказал Генка несколько дрожащим голосом. — На дороге. Вчера. Я хотел тебе отдать, да заснул. А потом — забыл... Иду, а на дороге лежит. Я обрадовался...

Фрося обрадовалась этой бумажке не меньше Генки.

— Вот молодец! — сказала она. — Мужчина! Добытчик! Денюжку нашел — матери принес. Вот молодец!

Понимая, что хороший поступок нуждается в поощрении, Фрося вынула из сумки потрепанный рубль и протянула Генке:

— На-ка тебе! Что-нибудь купишь себе...

Что можно было купить на рубль, было неясно, хотя, пожалуй, полстакана семечек подсолнечника приобрести за эту сумму было можно. Генка молча взял рубль, сунул его в карман и нехотя сказал:

— Спасибо!

Так его находка перекочевала к матери.

Но, отдав матери найденные деньги, Генка утаил часть подробностей своей находки. Дело в том, что деньги валялись вовсе не на дороге. А на лестнице. Именно в том самом месте, где учитель Вихров остановился для того, чтобы вынуть носовой платок, и где он разговаривал со своими домашними, поглядывая на Генку, что в это время жался возле калитки.

Генка ясно видел, как бумажка, крутясь, полетела вниз и приютилась между двумя ступеньками. Вихровы постояли-постояли, покричали Генке, зовя его в дом, но он все прятался от них за столб калитки и не шел. Тогда ушли с лестницы они. Но стоять у калитки было уже неинтересно — улица опустела, прохожих уже не было видно, и на Генку угнетающе подействовала пустыня, что лежала теперь и справа и слева. Он поплелся домой. Стал подниматься по лестнице. Бумажка, оброненная Вихровым, так и лезла в глаза. Генка поднял ее и по плотности и по форме сразу понял — деньги! Он стал ее разглядывать в наступившей темноте, увидел, что это тридцатирублевка. «Чур, счастье мое не дележка!» — механически сказал он себе, как бы закрепляя за собой право на эту находку, сразу признав найденное своей собственностью. Потом он, правда, нехотя подумал, что деньги надо бы вернуть Вихрову.

Если бы он сделал это сразу, все было бы хорошо.

Но ему очень не хотелось видеть Вихрову. Она всегда смотрела на него как-то нехорошо — пренебрежительно или снисходительно, морща нос при виде грязных рук Генки и его шмыгающего носа. «А вот и не отдам!» — сказал он себе, словно получив возможность отомстить Вихровой за ее взгляды. Он сел на сундук. Некоторое время он колебался, готовый и оставить деньги у себя и поступать к Вихровым. Но чем больше проходило времени, тем в большей степени он чувствовал эти деньги своими. Он щупал их рукой в кармане — лежат, понимаешь! Тридцать рублей, понимаешь! Тридцать — ого! Сколько всего можно купить за эти бешеные деньги! Чем больше он сидел на сундуке, все более ежась от прохлады позднего вечера, тем значительнее казалась ему эта находка и тем меньше хотелось ему расстаться с бумажкой.

Становилось все холоднее. Генка прилег на сундук, подбрав ноги, чтобы снизу не дуло. Пригрелся и как-то вдруг уснул. Так и застала его мать, когда пришла с Зойкой. Разбуженный ею и почти тотчас же уложенный в постель, он — и верно! — забыл о своей находке. А теперь — обласканный матерью! — не мог и думать о настоящем владельце этой бумажки, улегшейся в сумку Фроси.

МАРТ — АПРЕЛЬ. УТРО

1

Военные грозы бушевали над миром — в Европе, в Азии, в Африке, в Австралии, в Океании, на Тихом и на Атлантическом океанах, на севере и на юге, на востоке и на западе земного шара. Такой войны человечество еще не знало...

Но солнце восходило утром и заходило вечером, день сменялся ночью, и ночь сменялась днем. За летом приходила осень, за осенью следовала зима, и на смену зиме являлась весна.

И хотя в городе, о котором идет речь, было двести семьдесят два солнечных дня в году и всю зиму напролет, и в дни мира и в дни войны, ясное голубое небо сияло над городом и белые облачка-барашки шли по нему, повинуюсь движениям ветра, и даже зимой можно было загореть под лучами этого щедрого, горячего солнца, жители, которым уже надоел и снег, и зимние пронзительные ветры, тем более неудобные, что в годы войны не все могли одеться так, как следовало одеваться зимой, — после февральских, особенно суровых, холодов с нетерпением ждали весны...

Повинуясь законам небесной механики, Земля свершала свой извечный путь и в точке, хорошо известной астрономам, а в просторечии называемой «солнцеворотом», от апогея пошла к перигею. В Северном полушарии прибавился день, и люди нетерпеливее стали поглядывать на календари, стосковавшись по теплу. Еще больше они стосковались по миру, но войны и мир следовали не законам небесной механики, и их возникновение и прекращение нельзя было определить с точностью до одной тысячной секунды, как определялся «солнцеворот»...

Первой вестью далекой весны были теплые снежные бури, обильные снегопады, покрывшие белой пеленой дальневосточную землю, оголенную зимними ветрами. Снега покрыли и не убранные из-за нехватки рабочих рук поля сои, и развороченные канавы каких-то коммуникаций, заброшенных из-за военной необходимости, и котлованы жилых зданий, строительство которых было прекращено по той же причине, и штабеля мерзлого картофеля возле станционных складов, набитых военными грузами, и баржи, вмерзшие в лед могучей реки из-за того, что недостало сил и средств своевременно подать их на разгрузку к причалам, и зигзаги окопов и для стрельбы лежа и полного профиля, в которых бойцы всеобуча постигали военную науку убивать противни-

ка так, чтобы он не убил тебя самого, и огороды, превратившиеся в болото осенью, а зимой — в ледники, и оборудование для разных нужд, лежавшее под открытым небом, — все то, что наделала война, и все то, что наделали люди, прикрывавшие военными нуждами и свою лень, и недостаток ума, и отсутствие расторопности и порядка, и неумение или нежелание делать дело как следует...

Всю зиму дули сильные северные и западные ветры, рождавшиеся там, где «генерал-зима» на славу работала во имя мира под гром артиллерии и рев авиационных моторов, под свист ракет, под крики «ура» и под стоны тех, кто рисковал не увидеть победы... А в марте понесли над краем и городом южные и восточные ветры. Они родились там, среди десяти тысяч островов, которыми обладали десятки азиатских государств и великие колониальные державы, сумевшие прибрать к рукам то, что плохо держали азиатские владыки. Они неслись оттуда, где сейчас солдаты великих держав и патриоты азиатских государств дрались с японскими милитаристами, которые попытались разом заглотать все тихоокеанское пространство, развязав на Тихом океане войну. Это были тоже сильные, но теплые ветры...

Они сталкивались, эти ветры, в воздушном безбрежном океане. И погода ломалась, подчиняясь их бешеным течениям. То леденящий холод промораживал землю до стеклянного звона, то неожиданная оттепель брала верх, и слезы радости сочились с крыш домов, уставших от морозов. Ясное небо заволокло облаками. Точно спеша куда-то, облака неслись над городом, беспорядочно, в несколько слоев, рвались и метались, и не было видно ни конца, ни начала их несметным полчищам. Отяжелев и обмякнув, они сыпали на землю снег. Крупные хлопья его тяжело падали с высоты на поля и на дома, на фабрики и заводы, на города и села, на горы и реки. Но ветер не давал снегу лечь спокойно — он подхватывал его и гнал то туда, то сюда, словно искал места получше, по улицам города и по дорогам, застилая взор, залепляя окна, занося пути, сбивая людей с ног, заматавая двери и ворота, громоздя монбланы снега на площадях и перекрестках, забивая трубы, мешая движению, воя и крича на разные голоса, уничтожая видимость, заворачивая подола прохожим и пробираясь за воротники и в рукава, навешивал на провода тяжелые снежные подушки, раскачивал и обрывал их, лишая людей света и связи. Он останавливал автомобили с продовольствием и товарами, с медикаментами и сырьем, с людьми и машинами, с продукцией заводов и почтой. Он останавливал на перегонах поезда и не давал самолетам подняться в воздух, заносил на дорогах вездеходы и подводы. Жилые дома и склады, больницы и фабрики, учреждения и школы превратились в острова, омываемые бушующим снежным морем...

Иван Николаевич прислонился лбом к холодному стеклу своего большого окна в своем большом кабинете. Окно было занесено мокрым снегом, лишь на середине его еще оставались просветы, сквозь которые Иван Николаевич мог видеть то, что видел уже четвертый день, — снежную бурю на улицах своего города, перед которой он был бессилен. Видимость была ничтожной, но то, что было доступно его взору, очень ясно говорило об общем положении и состоянии, в котором находился город. Городской Совет отстоял от большого, в стиле Корбюзье, нового здания крайисполкома всего через дорогу, но о том, что он стоял там и до сих пор, можно было только догадываться — снежные вихри скрывали его совсем, и лишь время от времени стройные очертания его смутно проступали сквозь эту мутную пелену. Сугробы на перекрестке взгромоздились до половины высоты фонарных столбов, и через эти горы снега, сделавшие непроходимой самую широкую и людную улицу города, пешеходы перебирались так, словно штурмовали неприступные вершины Эльбруса, — цепочкой, помогая друг другу, то и дело проваливаясь по пояс. Чуть подалее, в пределах видимости, в сугроб въехал грузовик с какой-то кладью по самые борта, что это было такое — разобрать невозможно, на клади лежала полутораметровая снежная шапка. Долго копошились у машины шоферы, но чем больше буксовала она, вздымая тучи снежной пыли, тем больше увязала. Какой-то «студебеккер», вняв мольбам завязшей машины, кинул буксир, потянул было, но и сам съехал в снежную бучу, пытался развернуться, канат лопнул, и «студебеккер» вломился в ограду газона, став впритык к фонарному столбу. Отсюда, оказавшись между столбом и буксующей машиной, он не мог выбраться. Можно было только вообразить, как ругались шоферы, — они долго махали руками, месили снежную кашу вокруг машин, едва видные в снегу, облепившем их с головы до пят, в закуржавевшей одежде, потом ушли... Бледными тенями виднелись редкие пешеходы, согнувшиеся в три погибели. Стекло согрелось там, где к нему прижимался горячим лбом Иван Николаевич...

По привычке он прикоснулся руками к радиатору центрального отопления. Металлические ребра его были холодны — снежная буря помешала даже любившему угодить начальству заместителю Ивана Николаевича сделать свое дело. Правда, он попытался все же услужить начальнику, в кабинете стоял электрический обогреватель, но и он больше говорил об усердии подчиненного, чем выполнял свое назначение, — электростанция работала вполсилы, отдавая ток только

промышленным предприятиям и выключив жилые дома и учреждения...

Иван Николаевич нажал кнопку звонка.

В дверях тотчас же появилась Марья Васильевна.

— Что обещают синоптики? — спросил он.

— Я не могла дозвониться, Иван Николаевич! — сказала осторожно Марья Васильевна. — Линия порвана. Но они прислали возможный прогноз: господствующие ветры юго-западные, сильные до умеренного, обильные осадки...

Иван Николаевич сделал нетерпеливое движение рукой, прерывая чтение сводки.

— Надолго еще? — спросил он, кивая в сторону окна на снежную завихруху за стеклом.

— Не меньше сорока восьми часов...

— А, ч-черт! — сказал Иван Николаевич. — Вся жизнь замрет за эти сорок восемь часов. Муки нет — хлебозаводы стали, топлива нет — на электростанции работает половина агрегатов, школы занесло, цеха не топлены... Что будем делать, Марья Васильевна?..

Марья Васильевна промолчала. Вопрос этот был чисто риторический и обращен вовсе не к ней, а к самому председателю.

— Звонил председатель крайисполкома...

— Что же вы не перевели трубку?.. Боялись беспокоить? Эх, Марья Васильевна, Марья Васильевна! — сказал Иван Николаевич со вздохом. — Меня беспокоить нельзя, разве мне доступны волнение и беспокойство, разве я человек — я начальник, руководитель! — усмехнулся он и опять обернулся к окну. Он мобилизовал весь транспорт на перевозки, сотрудников всех учреждений на расчистку дорог, студентов и старших школьников послал на улицу бороться с заносами. И вот! Больше, чем отчет ответственных за это дело людей, о результатах всего этого говорили машины, утонувшие в снегу под окнами председателя городского Совета...

— Были бы тракторы! — нерешительно сказала Марья Васильевна почти шепотом.

— Были бы! — отозвался Иван Николаевич. — Были бы тракторы, Марья Васильевна, я бы навесил им на нос отвалы и заставил бы курсировать по основным магистралям день и ночь. Были бы! — И вдруг он сказал: — Ну-ка, соедините меня с председателем крайисполкома да задержите, сколько можно будет, заседание штаба по борьбе с заносами! И только так: раз, два! Можно сделать это быстро? Если занято, разъедините!

Он принялся тереть ладони друг о друга, словно пытаясь согреть руки, но Марья Васильевна, которая знала его достаточно хорошо, поняла, что дело совсем не в том, что председатель продрог в своем большом кабинете. Через минуту Марья Васильевна подала трубку Ивану Николаевичу.

— Сердитый! — невольно шепнула она председателю.

— А то как же! — таким же полупшепотом отозвался Иван Николаевич. — Все-таки председатель краевого исполнительного... Дементьев Иван Николаевич! — сказал он в трубку и глазами указал Марье Васильевне на дверь. Тотчас же трубка закричала басом:

— Дементьев? Иван Николаевич? Ах, как приятно познакомиться!.. А думаете ли вы, Дементьев Иван Николаевич, бороться с заносами и наладить нормальную жизнь в городе, несмотря на все объективные причины? Не забыли ли вы, что у нас в городе люди работают на оборону и что...

Иван Николаевич отнял трубку от уха и легонько опустил на стол. В трубке кричало, шипело, цокало довольно долго, а Дементьев глядел в занесенное снегом окно, просветы в котором становились все меньше. Трубка вдруг замолкла. Иван Николаевич поднес ее к уху.

— Я слушаю! Слушаю! — сказал он, поняв, что начальство уже высказалось полностью и сейчас набирает дух для новой гневной тирады, приискивая новые доводы и неопровержимые доказательства того, что городской Совет и лично Иван Николаевич Дементьев сложили лапки и умыли руки, что они не доросли до понимания своего долга перед народом и фронтом и что это может обойтись им дорого. Но прежде чем председатель исполкома высказал все это, Иван Николаевич мирно проговорил: — Не кричи, пожалуйста, товарищ председатель! Неужели ты полагаешь, что я сижу ручки в брючки? И у меня партийный билет не в комодке лежит!.. Постой, постой! Я тебя слушал, не перебивал, и ты не перебивай. Меры надо принимать срочные и серьезные, но такие, которые не в моей власти, а во власти члена Военного Совета округа... Ага! Вот именно! Яснее?.. Можно! Я предлагаю... устроить танковые учения в условиях, приближенных к боевым действиям в условиях севера! А почему бы их не устроить? Мы все работаем на оборону, для армии — так пусть и она поработает на нас два дня, пока кончится снежный заряд! У нас последняя жестянобаночная фабрика и та делает корпуса для гранат!.. Ну какая это, к черту, военная тайна, когда там мальчишки и девчонки работают! Танки нужны! Да! Танки! Навесим на них отвалы, и пусть фугуют по всем магистралям — другого выхода не вижу. В противном случае... Да нет, я так просто!.. Звонили. Если линия оборвана, пошли связного... Кто пойдет? Я пойду, товарищ председатель, если вы доверите мне это дело!.. Ну, людей на погрузку мобилизуем, как водится...

Он выглянул за дверь и поманил пальцем Марью Васильевну:

— Ко мне никого не пускать, только начальника политотдела и начальника штаба танкового корпуса. А через трид-

цать минут после их прихода созывайте заседание штаба по борьбе с заносами!

Следы утомления и беспокойства по-прежнему видны были на его лице, но умные глаза его весело щурились. Марья Васильевна перевела с облегчением дух — значит, дело пошло на поправку! — а Дементьев то ли для себя, то ли для нее добавил, щелкнув пальцами:

— И на боженьку найдем управу, а то что это такое?..

Он прислушался. Даже через толстые стекла огромных окон городского Совета в приемную доносилось завывание ветра.

Через двенадцать часов, уже поздней ночью, мощные «КВ» и тридцатьчетверки, грохоча своими гусеницами сильнее ветра, вышли на все магистрали. Они шли уступами, врезаясь в снежные завалы и отваливая их на стороны, вскрывая занесенные улицы и дороги, — к заводам и складам, к элеватору и мельницам, к станциям железных дорог и в затоны, в лесосеки и к угольным кучам, что, как пирамиды, высились на местах выгрузки. А за ними шли машины — все автомобили и все водители подчинялись одной команде. И танки, медленно, но неотвратимо, дыша бензиновым перегаром, с открытыми люками, сновали по улицам и дорогам. И несмотря на то, что снег валил по-прежнему и ветер метался с неутраченной силой, электростанция вновь включила все агрегаты, заводы дали пар в цеха, и истопники развели топки школ, хлебозаводы возобновили работу, и жизнь в городе наладилась...

3

И через сорок восемь часов, как и обещали синоптики, ветер выдул начисто все облака. Солнце вновь засияло на небосклоне. Легкий морозец сменил коварную снежную оттепель. Улеглась буря. Крепкий наст скрипел под ногами. И снежный покров в окрестности засверкал и заискрился в лучах по-прежнему яркого, щедрого солнца. Ясный день сменился лунной ночью, и призрачный светлый ореол вокруг луны показал на устойчивую сухую, морозную погоду...

...Вихров поднялся с постели, когда город был еще залит лунным светом. Чувствовал он себя неважно — дышалось труднее обычного, в ногах была разлита противная слабость, побаливала и голова, но... Он проснулся даже раньше назначенного времени, на которое услужливо указывала стрелка будильника, прижал головку звонка, чтобы не дать ему зазвонить и разбудить маму Галю, и опустил ноги на холодный пол, посмотрел на лунный отпечаток окна на холодном линолеуме и, поеживаясь от невольной дрожи, оделся. По при-

вычке подошел к печи и потрогал ее руками. Печь совсем остыла. Лишь вверху, под самым венцом, еще сохранялось слабое тепло.

«Черт ее натопит!» — сердито и вместе с тем жалобно подумал Вихров, вспомнив, сколько угля жрет эта махина, обогревающая две большие комнаты. Он, конечно, был несправедлив к печи, и если бы она умела говорить, то сказала бы ему: «Натопить-то не штука, дорогой товарищ, да надо бы топить сосновыми дровами! А вы чем пробавляетесь? Райчихинский уголь сыплете — для золы он годен, а не для тепла! Сырой осиною да пихтой топите, а они для спичек годны, а не для печи! А сколько вы топите? Сколько?»

Всё проблемы — и топливо, и еда, и одежда! Ничего нет, все в обрез, все дорого!

Он пошел умыться. Из буфета в столовой тянуло печеным хлебом. Ах, какая пахучая вещь печеный хлеб! Запах его разносится по всей комнате. Кажется, нет на свете ничего вкуснее простого хлеба. Только бы досыта! Папа Дима невольно подошел к буфету и открыл дверцу.

Хлеб лежит на полочке. Четыреста граммов, приготовленные для молочника, который даст маме Гале за этот кусок хлеба пол-литра молока для Игоря. Нет, это не хлеб — это «пайка», норма мамы Гали, целиком уходящая в уплату за молоко. Игорь получает шестьсот граммов, как ребенок, папа Дима — восемьсот, как «работающий», а мама Галя, как «иждивенка», — четыреста. Не много, при голодном рационе! Но молоко необходимо Игорю. И на троих Вихровых приходится тысяча четыреста граммов хлеба. Считается, что каждый из них получает по четыреста шестьдесят граммов. Но... вряд ли мама Галя когда-нибудь съедает их. Когда она разрезает хлеб, доля папы Димы всегда больше других, но мама Галя не замечает этого, а папа Дима ничего не может сказать...

В раздумье глядит папа Дима на «пайку», и разные мысли обуревают его. Часы бьют пять. Папа захлопывает дверцу буфета.

— Кто там? — спрашивает из спальни мама Галя сонным голосом.

— Спи, Галенька! Это я! — полушепотом говорит папа Дима и поспешно уходит в кухню.

Тут совсем холодно. На стеклах окна ледяные узоры. Вода нестерпимо холодна. От мокрых рук и лица папы Димы идет пар. Он хватает полотенце и рысью бежит в столовую, вытираясь на ходу. Холод не прибавляет ему бодрости, и папе Диме больше всего на свете хочется сейчас нырнуть в постель и укрыться с головой.

На столе лежат вареный картофель, головка луку, эрзац-колбаса, бог знает из чего сделанная, похожая больше на

фанеру, чем на уважающую себя колбасу, кусочек свиного сала, который идет чуть ли не на вес золота. И хлеб...

Вихров с недоумением открывает дверцу буфета. «Пайка» уменьшилась ровно вполовину. Вихров переводит взгляд на стол. Словно видя его через стену, мама Галя коротко говорит из своей постели:

— То, что лежит на столе, возьми с собой. Или половину съешь здесь!

Папа Дима с нерешительностью и фальшью в голосе бурчит:

— Так ведь, Галенька... этот хлеб приготовлен...

— Половину съешь здесь, половину — возьми с собой! — сухо и определенно повторяет мама и непоследовательно добавляет: — Я спать хочу!

Вихров подходит к ее кровати. Она и верно спит. Или делает вид, что спит. Он плетется в столовую, с жадностью съедает две картофелины, два пластика колбасы, удивляясь ее вкусу, кусочек сала. Чувствуя стыд перед мамой Галей и жалость к себе, он выпивает два стакана чаю с сахарином из термоса, который с вечера стоит в буфете, и съедает половину хлеба. Оставшееся заворачивает методично в бумагу, но вдруг — не в силах совладать с собою, с острым чувством голода, который словно усилился после съеденного, — разворачивает лихорадочно бумагу, презирая себя, поспешно отламывает от оставшегося куска хлеба еще половину, сует ее в рот и прижимает языком к нёбу, чтобы не проглотить сразу! Черт возьми, замечательная это штука хлеб! Памятник бы поставить тому, кто его выдумал! Папа Дима оглядывается на спальню. Ему стыдно вдвое! Но спальня утопает во мраке и тишине.

Часы подбираются к половине шестого. Вихров поспешно надевает пальто, нахлобучивает шапку, заматывает горло шерстяным шарфом. Не опоздать бы! Напоследок он срывает с календаря вчерашний листок и с жалостью глядит на красный листок наступающего дня. Воскресенье! Поспать бы сегодня вволю, часиков до десяти, сбросить с себя утомление, ставшее и постоянным, и привычным, и нестерпимым. Так не хочется в этот ранний час выходить на улицу! Черт бы побрал и эту снежную бурю и тех, у кого не хватает ни ума, ни силы все делать как следует, вовремя и хорошо, чтобы потом не прибегать ни к авралам, ни к мобилизациям! Ведь, наверное, даже во время войны (если противник не стоит у ворот города!) можно делать все толком?

Синий свет луны сменяется серым светом раннего утра.

Мысленно подбадривая себя и все-таки жалея, Вихров закрывает за собой дверь квартиры, спускается по скрипучим ступенькам широкой лестницы. Он вдыхает воздух, схваченный крепким морозцем, такой свежий, такой аппетитный, такой вкусный, но тотчас же чувствует где-то глубоко-глубоко

неприятное колотье. Он спохватывается и закрывает рот краем шарфа. Он может вдыхать этот воздух только маленькими глотками, как пьют крепкое вино, понемногу привыкая к этому воздуху, который воспет поэтами, прославлен романистами, но — с точки зрения астматика — хуже ножа в спину.

...Металлический, тяжелый лязг доносится с главной улицы. Танки еще несут свою вахту. Вихров выходит за ворота, оглядывается, осматривается: отовсюду слышится приглушенный людской говор, какое-то звяканье, ворчание автомобильных моторов. Сегодня не воскресенье, поправляет себя папа Дима, а воскресник по расчистке города, по погрузке и разгрузке всего того, что надо было погрузить и разгрузить в эти дни и что пурга, избавив от хлопотных транспортных операций, просто занесла снегом...

Рабочих рук в городе не хватает. Каждый должен отработать положенное число часов, чтобы хозяйство города не впало в доисторическое состояние. Вихров не один поднялся в этот ранний, непривычный, странноватый для него час. Он бодрится, старается шагать так, как будто он ежедневно встает ранним-рано...

4

Рано в этот день поднялась и Даша Нечаева.

Я чувствую к ней особую сердечную симпатию, хотя мне милы, каждая по-своему, Зина и мама Галя — молодые, привлекательные женщины, играющие в этом романе заметную роль. Ведь для писателя образы, которые он создает, живы, как живые люди. Ему горько, когда они делают что-то нехорошее, что осудят читатели и что он должен осудить, он душевно рад, когда они совершают хорошее, что может пробудить в читателе добрые чувства и что писатель понимает как победу доброго, заложенного в нем самом.

Даша Нечаева вошла в роман так, как могла бы войти в мою комнату. Без нее нельзя представить себе эти годы. Сколько таких девушек выдержали невероятную, адову нагрузку военных лет на фронте и в тылу и оставили неизгладимый светлый след в нашей памяти.

На фронте они видели войну с самой некрасивой стороны, и подвиг для них всегда был виден лишь в крови, в бинтах, в гное. Стоны раненых, страшная матерщина послеоперационных, неловкие, корявые слова писем, которые надо было писать под диктовку лежачих, отнюдь не Цицеронов и не Тургеневых, — слышны им были сильнее даже, чем пушечные залпы наступлений, потому что были ближе. Героев они видели часто плачущими от боли или от злобы, а не в ордемах под развернутым знаменем части. И именно они выноси-

ли на себе сраженных на поле боя. Как тяжелы были эти мужчины, отдавшие свою кровь за родину, и сколько надо было силы, чтобы тащить их ползком, положив на плащ-палатку, таща санитарную сумку и две винтовки — свою и раненого, оберегая от вражеских пуль. Сто килограммов весил этот бесценный груз! Уму непостижимо, как они делали это, а они делали, маленькие, слабые, нежные...

Устав до изнеможения, вымотанные физической, ратной нагрузкой, они еще находили в себе силу для того, чтобы улыбнуться раненому, для того, чтобы, не чувствуя ни ног, ни рук, просидеть с ним целые часы, держа его руку в своей и отдавая ему, теряющему с каждой каплей крови и силу и волю к жизни, свою силу и свою волю — жить!

Они становились донорами и отдавали истекающему кровью фронту целые моря своей крови — чистой, здоровой, горячей, красной крови! — наши дочери, наши возлюбленные, наши сестры, наши жены.

Они отдавали не только кровь, но самое дорогое, самое заветное — любовь. Сколько надежды в горькие дни отступления, сколько веселой ярости в дни желанной расплаты с врагом влили они в души воинов, любя их — без помыслов о будущем семейном уюте, без корыстных расчетов, без воздаяния. Скольким мужчинам их нежные, потрескавшиеся на ветру губы вернули веру в себя и веру в жизнь. Скольким воинам тепло их нежданно раскрывшегося тела, жаркая, трепетная сила вернули душевную твердость, вернули уверенность в том, что жизнь убить нельзя — даже при помощи «фердинандов» и «королевских тигров», даже при помощи фаустпатронов и летающих снарядов, даже при помощи тех десяти тонн металла, которые приходились на долю каждого солдата, чтобы убить его в этой войне, что жизнь сильнее всех врагов и сильнее всех войн на свете и что любовь — чудо даже среди ужасов войны, как залог вечной жизни. Это была святая любовь! И пусть будет трижды проклят тот выродок, который вспомнит о фронтовой любви с кривой ухмылкой!..

В тылу они работали по десять часов в сутки и, если надо было, больше. От такой нагрузки на глазах таяли и мужчины, которые не могли наесться досыта и жили за счет того, что природа накопила в их организме до войны, — каждый из них был самоедом, питался не только тем, что ел, но и тем, что работа забирала из неприкосновенного запаса мышц, нервов, клеток, который был необходим для нормального функционирования той тяжелой машины, требующей несоразмерно много топлива, которая называется мужчиной и — незаслуженно! — сильной половиной человеческого рода.

Вторая, слабая половина — наши женщины приняли на свои плечи в годы войны труд мужчин во всем объеме, а из того, что получали за свою работу, отдавали — явно или скрытно! — что-то детям и, что таить, сильной половине.

В эти годы слова женщины: «Я не хочу!», «Я уже поела!», «Я сыта!» — гораздо чаще не выражали этих понятий, чем выражали их. Откуда они брали силы?

Они делали столько, сколько делали мужчины, и, если надо, немного больше. И за ними оставалась извечная необходимость вести хозяйство, содержать дом в порядке — стирать, мыть, чинить, чистить, обшивать, готовить пищу, то есть все то, что от веку мужчины называют женской работой и издревле считают пустяками. В тылу они стояли в очередях столько же, сколько солдаты на фронте лежали в окопах...

При этом они оставались женщинами. Они следили за собой. Они хотели быть привлекательными. Они оставались желанными. Они хотели быть красивыми. И из того железно ограниченного минимума, нужного для поддержания жизни, который имели, они урывали еще что-то, чтобы сохранить себя, свое обаяние, свою женственность. И сколько надо было для этого душевных сил и изобретательности!

Как они делали это?

Потом, через годы, они скажут со смехом: «Как делали? Но ведь мы — женщины!»

Комендантша вошла в общежитие девушек. Толстая в своем неуклюжем облачении — в стеганой куртке, в ватных мужниных штанах, в валенках, обтянутых красными резиновыми галошами, в шапке-ушанке, надетой поверх клетчатого шерстяного платка, закрывавшего не только голову, но и шею и почти все лицо и завязанного на спине толстым узлом, она не была украшением природы, но виновата в этом была не она, а ее мужская работа. Комендантша огляделась.

Девушки спали.

Стенные часы-ходики, побряхтывая, отсчитывали минуты девичьего сна, и стрелки их — ах, если бы помедленнее! — шли и шли по циферблату, оставляя за собой минувший день, который уже ничто не могло вернуть — плох или хорош он был, горе или радость принес он с собою. Так-так! Так-так! — деловито приговаривали ходики, полагая, что все в мире идет именно так, как следует. Часы идут. Время движется. Ночь на исходе. День близится. Время работает на нас, девушки. Так-так! Так-так! Спите вы, но не спят солдаты там, на западе. Там еще не кончился вчерашний день. И солдаты, те, которые присылают вам свои фотографии с автоматами на груди или в грозно скрещенных руках, с шапками, лихо сбитыми на одно ухо, объяснения в любви и просьбы о будущих свиданиях в обмен на ваши бесхитростные подарки от чистого сердца, еще бьют фрицев в счет уходящего дня, а быть может, и свою голову сложат в последнюю его минуту.

Так-так! Так-так! Но уже восходит солнце между островами Большой и Малый Диомид, и новый день начинается,

несмотря ни на что — хорошо вам или плохо! — и вы открываете новый счет боевым машинам, которые сегодня выйдут из ворот вашего завода, чтобы солдаты на фронте безостановочно могли делать свою работу — страшную, кровавую, беспощадную и нужную. Не мы начали эту войну, но мы должны кончить ее так, чтобы никому не повадно было вновь заваривать ее месиво. Так-так! Так-так!

На спинках кроватей, на стульях разбросаны или сложены платья, фуфайки, юбки, кофточки. Ох, девочки, девочки, одеть бы вас за вашу работу в самые дорогие вещи, в самые красивые вещи! А и эти надо было бы беречь дольше, чем вы бережете, дурочки. Комендантша поднимает с полу одну из тех девичьих вещиц, которые надеваются прямо на тело и от зрелища которых у парней сводит скулы. Кладет на стул.

Кто-то вкусно, с аппетитом подхрапывает: всхрапнет, помолчит и опять всхрапнет. Так спит только человек со спокойной душой и крепкими нервами, вволю наработавшийся. Кто-то и во сне не может отделаться от дневных забот, — видно, они подсказывают ему какие-то бессвязные слова, не договоренные днем, видно, они переворачивают его с боку на бок.

Танюшка Бойко по привычке натянула все одеяло на голову. Голые стройные ноги ее торчат с кровати в разные стороны, обнаженные до самого стыда. Хоть бы трусики на ночь не снимала, дурочка! Вера Беликова уткнулась раскрасневшейся щекой в жесткий матрац и лежит в неловкой, неудобной позе, подогнув под себя руки и ноги. Многие спят лицом вниз — так отдыхают лишь очень уставшие люди. Кровать Даша Нечаевой возле самой двери. Она дышит ровно и неслышно под своим тонким одеялом, которое почти не скрывает ее наготы. Правая рука со спустившейся с плеча бретелькой рубашки свесилась с кровати, беспомощно-трогательная, с полуоткрытой маленькой ладошкой.

«Ох, девочки вы мои!» — вздыхает комендантша, чувствуя себя словно бы матерью всех этих спящих девушек и готовая в этот момент, когда они все сражены сном, простить им все их недостатки и выходки, все их своеволие и беспечность, все их придирки и козни. Но, не давая себе размякнуть — время не такое! — она говорит полупшепотом: «Все они хороши, когда спят» — и кричит:

— Па-а-адъем-м! Территорию чистить! Па-адъем-м!

Даша просыпается так, будто и не спала вовсе. Вытягивает вверх руки, переносит их вперед, к носкам, и легко поднимает вслед свое гибкое, сильное тело. Дурочка, полежала бы еще минутку, понежилась бы! Ох и счастлив будет тот, кого она полюбит, не девушка, а зорька ясная! Вера Беликова поднимает голову, щурится, морщится и хриплым со сна голосом тихо говорит:

— Ну и что? Ну и опять встать, да? Ну и...

Она опять закрывает глаза, борясь со сном.

Валька Борина, взлохмаченная, со спутавшимися волосами, которые невозможно сдержать, как ни старательно заплетает она их на ночь, вскакивает с ногами на постель, хлопает себя ладошками по бокам, словно намерзшийся на ветру извозчик. По ее мнению, она занимается гимнастикой. Вдруг, увидев Танюшку Бойко во всей первозданной прелести, кричит:

— Девочки! По просьбе публики Таньча опять открыла свое ателье: двенадцать рублей полдюжины кабинетных открыток! Кто хочет сфотографироваться? Момент-фото!

Комендантша подходит к кровати Танюшки и своей большой, мягкой, как подушка, ладонью звучно хлопает по розовому заду:

— Вставай, бесстыжие твои глаза! Заголилась!

Вера Беликова, не открывая глаз, говорит сонно:

— У Таньки глаза стыжие! У нее только зад бесстыжий!

— А ты тоже не жмурься! — сердито оглядывается на нее комендантша. — Опять позже всех подымешься...

Девушки встают. Одни, словно на пружинке, упругие, ладные, готовые к тому, чтобы опять бежать в цех, опять стоять у станка десять часов, лаяться с инструментальщиками из-за плохой заточки инструмента, огрызаться на парней, которые по своей гнусной мужской жеребьячьей природе не могут пройти мимо девушек без того, чтобы не шлепнуть, и ищут взаимности у каждой, есть скудный обед, часто состоящий из щей с кислой капустой и соленой кетой, — когда настанет мир, правительство специальным указом запретит варить эту отраву, честное слово! — после рабочего дня бежать в кино на последние гроши, а потом дома еще что-то делать для красоты с волосами, с лицом, с руками, с чулками и прочим. Другие — досматривая сны на ходу, позевывая, почесываясь, проклиная необходимость, которая поднимает людей ни свет ни заря...

Кто-то схватил чужую зубную щетку. У кого-то все мыло смылилось. Кто-то с брезгливой и недовольной миной рассматривает грязный воротничок кофточка. У кого-то чулки поехали, хотя за них и уплачено шестьдесят рублей всего три дня назад.

Танюшка Бойко стремглав летит в туалетную комнату. Занято. Таня стучит. Выслушивает неразборчивый ответ и умоляюще говорит: «Ну, пожалуйста! Ну, я прошу! Черный же хлеб, девочки!» Подходит к зеркалу, поеживаясь, но скуластенькое лицо ее озаряется светлой улыбкой; жестокий бог не наделил ее красотой, но волосы у Тани чистое золото! Мягкие, пушистые, шелковистые, оттенка красной меди, они переливаются, сверкают под щербатым гребнем. Они очень красят Таню. Впрочем, и тело у нее безупречного сложения, с атласной, гладкой кожей без единой отметинки, женствен-

ное, словно созданное для того, чтобы любоваться им, и девчонки завидуют ей. Но тело Тани скрыто одеждой. А волосы видны всем — густые; длинные, чуть волнистые, тяжелые. Таня улыбается и расчесывает свою красу и гордость. Ее отталкивают — дай причесаться и другим, — но она через их плечи глядит в зеркало. Вера Беликова кричит:

— Окаменеешь, Танька! Хватит! Кто будет план выполнять?

— Ой! Почему же? — пугается Таня.

— Один такой тип... его Наркозом звали, что ли, я не помню... все смотрелся на себя в речку, смотрелся и — окаменел. В соляной столб обратился...

— Ну почему же? Как же без зеркала-то? Гигиена же! — недоуменно кричит Таня и, спохватившись, бежит к закрытым дверкам и морщится и ежится.

Из коридора кричат:

— Ты все врешь, Верка! В соляной столб обратились Лот, Хам и Иафет. Мне бабка говорила. Она по закону божьему образованная.

— Это не из закона... Это из... как ее?.. мифологиики...

— Иафет стихи писал, девочки! При чем тут соляной столб?

— Вы все перепутали, девчонки! Лот и Хам ничего общего не имели. Они на разных этажах жили. И не Лот, а Сим. Хам, кажется, пьяница...

— Не люблю хамов! — говорит Вера.

— А Лот — женатый, порядочный человек...

— Не люблю женатиков! — говорит Вера.

— Стихи писал русский поэт Фет, девочки, а Иафет — сын Ноя! — вдруг тихо говорит Даша. — Ной приготовил вино. И напился. Как Ваня Лесников из литейного. А Хам надсмеялся над отцом.

Все умолкают, глядя на Дашу. Она раздевается до пояса и подходит к общему умывальнику. Секунду стоит перед ним, делает несколько глубоких вдохов, отводя стройные свои руки за голову. При этом все тело ее, послушное и гибкое, вытягивается как струнка. В умывальной прохладно. У Даши темнеют соски небольших грудей. Она растирает торс и груди плавными движениями сильных рук. Решительно набирает в ладони холодную воду и обмывается до пояса. Сверкающие брызги окружают ее. Кожа ее бледнеет, потом розовеет.

— Сумасшедшая! — говорит Вера, безотрывно глядя на Дашу. — Я бы скорей умерла!

Комендантша глядит на девушку возле умывальника:

— Грудка-то какая, девочки, а!

Даша растирается полотенцем, ни на кого не глядя. Все ее тело горит, словно светится. Таня Бойко, забыв про свою нужду, подходит ближе и говорит:

— Даша, а можно я тебя потрогаю, а?

Даша делает приседания.

— Выставляется! — говорит кто-то снисходительно, но не может сдержать завистливых ноток в голосе.

Таня опять стучится в заветную дверь и тихо говорит:

— Ну, сколько же можно! Ну, пожалуйста...

— Потерпишь, Танька! — отвечают ей. — Не надо было у зеркала стоять! Я тебя у зеркала дожидалась — ты меня здесь подожди.

— Ой, не могу! — стонет Таня. — Черный же хлеб, девочки!

Черный хлеб делает свое черное дело. Таня заливается краской до корней волос — теперь и волосы и лицо ее одного цвета, но она вздыхает с облегчением. Кто-то дает ей шлепка изо всей силы. Комендантша сердито плюется и уходит, громко хлопнув дверью. Уже за дверью она говорит:

— Фулиганка!

— Ну и сила же ты, Танька! — озорно говорит Валька Борина. — Только надулась — и комендантши нет! Мы тебя будем выставлять у входа...

Даша готова. Глаза ее сияют, щеки разругались. Она оглядывает хохочущих над Таней подруг. Таня что-то бормочет в свое оправдание, но ее не слышно в общем шуме...

— Девочки! — кричит Даша. — Пора! А ты, Таня, я тебе скажу, распустилась! Ну, мы — девчата, свои... А если в цехе? Тебе парни проходу не дадут!

Таня бледнеет.

Гурьбой девушки высыпают во двор.

Территория завода засыпана снегом. Ледяная пустыня сияет голубоватым светом. Из окон горячих цехов на двор падают багровые отсветы, словно из преисподней, словно зарево далекого пожара, и там, куда падают они, снег становится зловеще красным. Снегопад кончился. Стоит полная тишина. Только снег похрустывает под ногами. Сказочное царство Берендея, а не заводской двор.

— Ну, девочки, — говорит Даша, — дадим клятву: пока двор не расчистим, ни шагу назад! Идет? Копаем траншеи-переходы ко всем коммуникациям! — Она втыкает лопату в снег, нарушая его пушистый покров, и будто про себя говорит: — Жалко такую красоту и трогать-то!

— И мне жалко! — подхватывает Танюшка Бойко. — Даша! Мы будем по-стахановски работать, да? Чтобы ни одной минуты зря, да? — Она вдруг набирает полные горсти снега и жадно глотает его. — Ой, как в детстве мороженое! Вку-усно! Нет, я не простужусь! Я привычная, честное слово. Я могу весь снег съесть!

— Девочки! — кричит Валька во весь голос. — Пошли спать! Танька одна весь двор расчистит...

С пригорка, на котором расположился Арсенал, виден весь ночной город. Вот сыплется в небо пламенный вихрь. Это энергопоезд, работающий на нефтеперерабатывающем. Вот тянется по черному небу белый дым из высокой трубы. Это — авторемонтный. В морозном воздухе четко слышатся перестук колес на стыках рельсов и короткий свисток паровоза — вдали идет поезд, может — санитарный, может — груженный снарядами, может — пассажирский, в котором люди набиты как сельди в бочке, сидят на подножках и переходных площадках и, коченея от стужи, лежат даже на жестяных крышах, холодных, как сама смерть. На темных холмах, покрытых синим снегом, угадываются очертания домов, стоящих, как слепцы, с закрытыми глазами. Только редкие цепочки синих ламп на улицах светятся так, будто их и нет на самом деле, каким-то ненастоящим, призрачным светом...

5

Покрытый белыми пятнами зимнего камуфляжа и оттого похожий на фантастического жука танк мчится к речному затону. Командир танка картинно опирается на открытый люк, высунувшись из него до пояса. Он то и дело оглядывается на колонну грузовиков, что идут вслед за танком. Оттуда доносится разноголосый говор, слышны и женские голоса, к которым особенно чувствителен слух танкиста. Кто-то на грузовиках затягивает даже песню, но она задыхается вскоре на ветру и смолкает.

Медленно розовеет восток, и, словно отсветы далекого пожара, лучи солнца, еще скрывающегося за горизонтом, бегут по всему неоглядному полю высокого неба и окрашивают курчавые облачка-барашки в нежные розово-багряные тона. Но лучи еще не коснулись ближней земли, и дома, мимо которых двигается колонна, кажутся серыми и снег вокруг — еще синий-синий.

Солнце поднимается все выше, и вот лучи его скользнули по холмам, на которых, подобно древнему Риму, раскинулся город, и тотчас же осветились высокие дома, до сей поры сливавшиеся с небом. Яснее обрисовалась мощная гряда Хехцира за Амуром, и сама река, покрытая льдом и снегом, приняла какой-то непередаваемый сиреневый оттенок, в котором тень, лежавшая в пойме, смешалась с бликами солнечного света, озарившего небосвод. Даль, куда уходила черной ниткой железная дорога, еще скрывалась в утренней морозной дымке. Но уже видны были ажурные переплеты моста и резко обозначились утесы холмов, обращенные к реке...

Отсюда, с последнего холма, на который поднимались машины, уже не были видны те досадные следы бурана и

жалкое состояние кое-каких домов в городе — то ли от войны, то ли от небрежных рук! — что заметны были каждому вблизи, и взор примечал сейчас лишь то, что заявляло о себе и издали: прямые, широкие улицы, уходящие за железнодорожные переезды и пропадающие вдаль; многоэтажные здания, выросшие за последние годы перед войной; необозримый простор округи — от крутого берега этой стороны до подножия Хехцира через острова и островки, через многочисленные протоки и пойменные низины; ровные четырехугольники кварталов и строгие линии дорог, плавные очертания холмов и падей, радовавшие глаз всеми оттенками белого, голубого, синего...

Вихров никогда не видал свой город таким, как сейчас. И как ни нездоровится ему, как ни морозит его, как ни хочется ему спать, он жадно смотрит вокруг: как разросся город с тех пор, как Вихров поселился здесь! Он не часто выезжает в окрестности — разве только на левый берег, на пляж, летом, когда есть для безделья время, когда день длится долго. А за последние годы порасстроились и дальние улицы, и новые заводы, и какие-то другие нужные здания возникли там, где Вихров привык к пустырям и полагал, что они так и остаются пустырями, во всей своей первозданной наготе. Вот целый городок вырос справа от шоссе — и тут трех- и четырехэтажные дома и между домами молоденькие деревца, согнувшиеся под тяжестью снежных навалов. Вот длинные корпуса с широкими окнами, покрытыми копотью и пылью, и рядом с ними трубы, испускающие редкий, светлый дым: фабрика, производство. И там, слева, в отдалении, тоже курятся заводские трубы. Нет, это уже не «три горы, две дыры»! И как-то особенно в это морозное утро, сидя в кузове грузовика, переполненного людьми, которые жмутся друг к другу покрепче, чтобы не дать встречному ветру гулять в кузове и уносить тепло человеческих тел, — знакомые и незнакомые, они все знакомы сейчас, все какие-то одинаковые! — Вихров вдруг ощущает движение времени, неотвратимую его поступь, видя, как вырос город, как перевалил он за свои «три горы» и пошел вытягиваться во всех направлениях, обрастая новыми дорогами, новыми домами, новыми предприятиями...

Точно угадав его мысли, кто-то, кто стоит в кузове, уткнув локоть в самые ребра Вихрову и не замечая и не догадываясь, что Вихрову и больно и неудобно сказать об этом, говорит ему в ухо:

— А хорош городок-то, а! Жемчужина Дальнего Востока, а!

— Ну, жемчужина не жемчужина, а город не без будущего! — осторожно отвечает Вихров, подлинными симпатии которого всегда на стороне Владивостока, где он провел свои детские и юношеские годы.

Он оборачивается к собеседнику и вдруг обнаруживает, что это — Андрей Петрович, учитель математики из их школы. Тот смеется и говорит:

— Рад вас видеть! Наконец-то вы соизволили заметить меня! Все наши в другую машину попали, а мы, видно, не туда сели, что ли? Мы ведь должны были ехать к железной дороге — уголь грузить. Я немного припоздал, подошел, когда уже посадка началась, увидел вас и — тоже сюда!

Вихров невольно краснеет. Как видно, он и впрямь залез не в свои сани. Это с ним случается. Постеснялся спросить, увидел, что люди лезут в машину, и тоже полез. Теперь их обоих недосчитаются в своем коллективе — подумают, что они дезертировали. Черт возьми! И действительно, в машине все незнакомые лица, а впрочем, вот какое-то знакомое лицо, женщина, замотанная в платки, так что одни глаза видны. О, да это его соседка Лунина!

— Здравствуйте! — говорит ей Вихров.

Но Лунина не замечает его или не хочет замечать.

...Колонна пробегает шоссе, расчищенное до этого танками, но вдруг впереди оказывается снежный вал двухметровой толщины. Командир танка на секунду скрывается в люке, затем появляется снова. В его руках сигнальные флажки. Он машет ими. Головная машина тормозит, и вся колонна замедляет ход. Танк отделяется от колонны и врезается в снежный вал. Снег громоздится перед отвалом все выше и выше, отодвигаемый в сторону. Кучи его вздымаются выше люка и обрушиваются на командира. Он тотчас же опускает люк. Танк идет все дальше и дальше, оставляя позади себя высокую снежную траншею, обрезы которой искрятся алмазами на свету. Колонна медленно втягивается в траншею.

— Как это просто! — говорит Андрей Петрович, смуглое лицо которого на ветру порозовело, а темные глаза искрятся не меньше, чем искрится снег.

— А вы представьте себе, что эту траншею мы выкапываем лопатками! — говорит в ответ Вихров. — Это было бы не так просто!

— Охота вам думать о таком варианте! — говорит Андрей Петрович. — Я вижу, вы пессимист! Ну, допустим, пришлось бы поработать лопатами — и что? Поработали бы, ей-богу!

Машина близко подходит к отвалам снега. Андрей Петрович тянется рукой и захватывает горсть снега, другую. Он лепит снежок, с детской радостью глядя на свои тотчас же покрасневшие ладони, перекидывает снежок в руках. С веселым озорством, как мальчишка, он запускает снежком в машину, идущую позади. Пущенный меткой рукой, снежок разлетается там, куда кинул его Андрей Петрович. Оттуда доносится крик, смех. Андрей Петрович доволен.

— А ну их! — говорит он. — Едут как на похороны!

Снежная перестрелка разгорается по всей колонне. Андрей Петрович улыбается во весь рот.

— Не люблю пессимистов! — говорит он. — Не люблю сырости!

Вихров не знает, как отнестись к выходке Андрея Петровича. Поддержать — несолидно, оговорить — неловко, промолчать — тоже что-то не то.

— Время-то невеселое! — говорит он нейтральным тоном, давая возможность учителю математики самому определить, к месту ли затеянная им шутка.

— Э-э! Товарищ Вихров, — говорит Прошин, — мои деды говорили-приговаривали: и пить — умереть, и не пить — умереть, так уж лучше — пить и умереть! Одной серьезностью войну не выиграешь! Один дедок говорил мне: если с чертом надо подраться, ты ему наперед дулку покажи, чтобы не думал, что его боишься...

И вдруг все, кто прислушивался к этому разговору, рассмеялись.

— Умный был дедок! — сказал кто-то одобрительно.

6

Мать долго втолковывала что-то Генке, разбудив его чуть не ночью.

Он кивал головой, подтверждая, что все понял и все делает. Но едва она оставила его, он повалился на постель, как тряпичная кукла, и заснул мертвым сном.

Проснулся Генка оттого, что мокрая Зойка — кто ее знает как! — выбралась из своей кровати, долго ползала по холодному полу, отчего у нее совсем посинел и заледенел весь нижний этаж, подобралась понемногу к Генкиному ложу, послушала-послушала, как на все лады храпит Генка, и потянулась к его носу. Она долго примерялась, потом разом вцепилась в этот интересный предмет всей своей маленькой пятерней. Генке стало больно. В одно мгновение ему приснился худой сон, что он проспал все на свете, что мать уже вернулась и, увидев, что Генка ничего не сделал из наказанного, схватила его за нос и сказала: «Что ты все носом в подушку-то тычешься? Вот я тебе нос-то оторву!»

Генка зарюмил и сказал нудным голосом, который так подходил к подобным положениям:

— Ма-ам! Ну, мам же! Я больше не буду! Истинная икона!..

Он раскрыл глаза и с ужасом увидел, как мать становится все меньше и меньше и превращается в Зойку. Он, мертвея, подумал: «Что же я теперь с ними, с двумя-то такими, делать буду?!»

— М-ма! — сказала Зойка и нацелилась Генке пальцем в ноздрю.

Генка так и взвился с постели.

— Я тебе подерусь! — пригрозил он сестренке.

— Га-а? — сказала Зойка, явно издеваясь над ним. Это звучало примерно так: «А ну, попробуй! Будет тебе самому от матери...»

Итак, день уже начался. И какой день! Без улицы — не потащите же вы с собой Зойку! Без друзей — кто из них догадается прийти? Без обеда — матери нет дома. Без тепла — печь за ночь остыла. Зато с Зойкой, которая будет реветь, будет всюду лезть, будет то и дело пускать под себя лужи. С Зойкой, которую надо кормить, надо баюкать, надо усыплять, надо умыть. Генка в одно мгновение представил себе все это и чуть не заревел от горя и страха за свою загубленную жизнь.

Но жизнь уже не зависела теперь от него. Ею управляла Зойка. Испачканная в саже — как она добралась до печки? — ее рожица напоминала о том, что люди должны по утрам умыться. Ее синие ноги говорили о том, что человек рискует простудиться, если будет голым ползать по холодному полу. Зойкины лужи на полу подсказывали необходимость соблюдения некоторого порядка. А ее палец, теперь превратившийся в соску, тоже о чем-то свидетельствовал.

Генка мужественно взвесил все обстоятельства и понял, что все теперь против него. Он смирился и принял тот порядок, который диктовала жизнь. Может быть, ему придется когда-нибудь читать Фрэнсиса Бэкона и он поймет, что в этот день, когда Зойка ткнула его пальцем в ноздрю, он открыл само собой закон, уже сформулированный до него: «Подчинять, покоряясь». Раз нечего было делать, Генка принял к исполнению то, о чем ночью говорила ему мать и что он начисто заспал. Сказанное матерью теперь ожило в его сознании с предельной ясностью.

Он нашел под кроватью мокрые штаны Зойки — они явно не годились для дальнейшего, и Генка кинул их в коридор, к печи. В комодке нашлись другие, потеплее, и Генка натянул их на сестренку, весь низ которой, кажется, стал покрываться изморозью. Там же оказались и теплые чулки.

— Бу-у! — сказала Зойка, согреваясь, и во взоре ее изобразилась напряженная работа мысли. Она уставилась на свои ноги и тотчас же потащила чулки прочь.

— Я тебе дам! — закричал Генка.

— Га-а? — опять сказала Зойка, пуская речку.

Генка возмущился и отшлепал ее.

Зойка вытаращилась на него с величайшим изумлением: «Смотрите-ка на него, чего он выдумал! Ей же богу, дерется!» Она даже не заплакала, а только сказала:

— У! У-у! — что должно было обозначать: «Молодой человек! Стыдитесь применять физические методы воздействия на детей!», если бы Зойка была знакома с педагогикой в объеме институтского курса. Но с педагогикой она не была знакома, и, может быть, именно поэтому ей стало немного страшно: значит, это существо с оттопыренными ушами, белесыми глазками, мокрым носом, желтыми веснушками на этом носу и с грязноватыми руками, которые больно бьются, обладает какой-то властью над ней, и, значит, его надо слушаться! Зойка засопела, и в ее маленьком мозгу созрела неясная мыслишка о появлении в ее жизни еще одного тирана. Чтобы проверить эту догадку, она сказала робко: — Ням-ням-ням!

— Сейчас! — сказал Генка покровительственно и стал приговаривать, как это всегда делала мать, чтобы занять внимание дочери, шаря всюду насчет съестного: — Вот мы сейчас найдем с тобой ням-ням! А-а! Тут и картошечка есть — еще теплая! С постным маслом, Зочка. Сейчас мы с тобой пошамеем, доченька! — Он сунул цельную рассыпчатую картофелину в свой большой рот и захлопнул его. Вкусно! Зойка наклонила голову и по-воробыному заглянула Генке в рот. — Ш-щас! — промычал Генка и щедрой рукой протянул сестренке такую же картофелину, умакнув ее предварительно в масло на доньшке кастрюли...

— Ну-ук! — отозвалась Зойка и зачавкала, судорожно сжимая картошку тонкими, будто обезьяньими, лапками-ручками. — Ма-а!

— То-то! — пробурчал Генка. — Со мной не пропадешь, понимаешь?

Авторитет его был утвержден прочно. Все остальное было легче, как и во всяком деле, когда даны все необходимые установки человеком, имеющим на то формальные полномочия.

Глава пятая

МАРТ — АПРЕЛЬ. ДЕНЬ

1

Пробив дорогу автоколонне, танк повел ее, уже по льду реки, до самого затона, до барж, которые предстояло разгрузить, развернулся, пошел утюжить снег, подняв свой отвал вверх, и скоро на этом месте образовалась площадка для высадки людей. Танк остановился. Командир вылез на траки,

спрыгнул на землю, постоял немного, отдыхая и наслаждаясь свежим воздухом после бензинового перегара, которым дышал в танке, закурил. Водитель и стрелок-радист тоже вылезли.

Они разглядывали приехавших, дымя папиросками и разговаривая между собою с усмешками — разговор, видно, шел мужской. Основания для этого были достаточные — большинство участников воскресника женщины, девушки. У танкистов заблестели глаза. Они не возражали против таких «учений, приближенных к действиям в боевой обстановке», когда можно было поговорить с девушками — выбирай по вкусу! — а может, и познакомиться по-хорошему, надолго... Фрося, вдруг чего-то осмелев, держа в одной руке лопату, а другой — подругу под руку, подскочила к танкистам:

— Кому лопатку, защитники родины? Легкая, забористая!..

Радист-стрелок докурил папироску, кинул в снег, придал валенком и отозвался:

— Что забористая — сразу видно! Да только нам этот инструмент — не с руки!

И хотя в том, что он сказал, не было ничего смешного, танкисты — с ними и старший лейтенант, командир танка, — дружно рассмеялись, рассмеялась и Фрося, обрадованная вниманием. Но все танкисты уже уставились на Зину, едва разглядели ее. А не разглядеть ее было нельзя — пыжиковая шапка на ней, предмет зависти всех сотрудников, надетая чуть-чуть набок, была ей к лицу и ворсом своим только оттеняла длинные, изогнутые ресницы, щеки розовели нежным, тонким румянцем, полные губы, в меру подкрашенные, так и манили глаза. Ладная курточка с поясом выгодно показывала ее стройную фигуру. И даже фетровые валеночки без единой складочки, по ноге, казались нарядными, хотя и не были новыми. На свои цветастые варежки какой-то хитрой вязки она успела натянуть грубые рабочие голицы, но и они на руках Зины выглядели какими-то не такими, как на других. Своим немигающим взглядом Зина обвела танкистов, чуть задержавшись на старшем лейтенанте, отчего тот так и зарделся. Водитель по-простецки, простодушно щелкнул языком и сказал:

— Ну и краля! Вот это да!..

Зина спокойно — ее давно уже не удивляли и не смущали восхищенные взгляды мужчин — спросила:

— С нами будете на воскреснике?

Командир вздохнул с невольным сожалением, хотя до этой минуты только и думал о том, чтобы поскорее вернуться домой, — его задание было выполнено, и он уже предвкушал прогулку в город после пустыякового «разбора прошедших учений»:

— К сожалению, в девять ноль-ноль надо быть в расположении части. Служба!..

— А-а! — сказала Зина и отвернулась. — Ну, пошли, Фрося!

Старший лейтенант так и подался весь за Зиной:

— Куда же вы?

— Работать надо! — сказала Зина.

— Как вас зовут? — краснея, спросил лейтенант.

Зина поглядела на него. Все его скуластенькое, загорелое или обветренное лицо с коротким, вздернутым носом, крупными губами, подбородком, перерезанным поперечной глубокой складкой, выражало смущение.

— Ну, Зина! — сказала она с усмешкой.

Старший лейтенант совсем растерялся. Водитель и стрелок таращили глаза на него и на Зину, потом переглянулись и согласно, чтобы не мешать командиру, полезли на танк. Командир ободрился. Уже смелее он сказал Зине:

— Адресок разрешите записать? Может, увидимся...

— Ну зачем же! — сказала Зина равнодушно и шагнула в сторону.

Фросе стало жалко лейтенанта. К тому же она ощущала болезненный укол в самое сердце, когда танкисты перестали видеть ее, стоило им взглянуть на Зину. Она сказала сердито:

— Ну что же ты так с человеком-то... невежливо!

Зина с неожиданной усмешкой поглядела на нее, потом повернулась к командиру и тоном примерной школьницы проговорила:

— До свидания, дядя танкист!..

И ушла к барже, вокруг которой уже копошились десятки людей с лопатами, сбрасывавшие снег с трюмов. Фрося так и ахнула: «Вот вреда! Вот вреда какая-то!»

Лейтенант, напустив на себя военную непреклонность, с деловым, озабоченным видом полез в люк. Водитель, через смотровую щель наблюдавший за этой сценой, вдруг окликнул Фросю:

— Эй, девушка! Откуда вы? С какого коллектива?

Польщенная обращением, Фрося с живостью обернулась, отнеся вопрос не только к Зине, но и к себе, и, удивляясь собственной прыти и смелости, поспешно ответила:

— Мы из центральной сберкассы. На улице Ленина. Рядом с магазином «Гастроном», знаете?

— Ну, знаем! — сказал водитель за всех товарищей. — Зайдем когда ни на есть! Спасибочки...

Мотор чихнул газом. Едкий синий дымок окутал ходовую часть танка. Траки его вдруг рванулись в разные стороны. Танк с лихостью развернулся и ринулся прочь по укатанной дороге...

Фрося с жалостью посмотрела вслед. «А лейтенант ниче-

го собой!» — невольно подумала она. Но, поймав себя на этой мысли, она вслух сказала:

— Ох и беспощадная же ты, Зина! Ну, людоед! Людоед!

Тут она заметила, что перед председателем месткома, который стал еще важнее и толще, словно распушился, с видом смущенным, недовольным и вместе с тем ироническим, стоит Вихров со своим знакомым. «Чего он налетел-то?» — подумала она про председателя и подошла ближе.

Председатель, в своем добротном военном полушубке и кубанке, надвинутой на самые брови, подпоясанный желтым ремнем, в валенках с черными обсоюзками, выглядел по меньшей мере командиром армии, столько значительности и сознания своего места в этом мире было написано на его одутловатом лице и во всей громадной фигуре, и даже в том, как он стоял — широко расставив ноги и заложив в карманы руки с оттопыренными в стороны локтями, — чувствовалось, что в данный момент он является здесь наиглавнейшим и один представляет собою если не всю советскую власть и народ, то во всяком случае профсоюзы — школу коммунизма. Усы его топорщились, брови были нахмурены, красное лицо выражало категорическую непреклонность, и он выразительно поднимал вверх то и дело одну свою лохматую бровь, что должно было подчеркнуть и проницательность и игру его острого ума.

Он заслонил собой груды лопат, которые перед этим выдавал по списку с таким видом, словно лопаты были именно тем оружием, которым вверенные его руководству трудящиеся должны были окончательно сокрушить гитлеровскую военную машину. Именно для того, чтобы получить лопаты, и подошли к нему Вихров и Андрей Петрович. Но, увидев их, председатель сверкнул маленькими глазками и встопорщился. Он повел взором в сторону тех, кто дожидался лопат, и сказал каким-то очень уж странным голосом:

— Одну минуточку! Товарищи члены коллектива! Здесь ничего не происходит. Попрошу спокойненько разойтись! А вас, — он поглядел на Вихрова и Прошина, — я попрошу отойти в отдаление, и выньте руки из карманов. Попрошу. До выяснения, так сказать...

— Да что мы будем выяснять, товарищ? — с раздражением проговорил Андрей Петрович. — Нет лопат — дайте ломы или еще что-нибудь. Надо работать. Мы для этого приехали сюда!

— Это вы так утверждаете! — сказал председатель. — Лопат я вам дать не могу.

— Да почему же? — теряя выдержку, возмутился Вихров.

— Есть соображения! — многозначительно буркнул председатель. — Мы вас не знаем, граждане. Время военное,

так сказать... Вот выясним. Выньте руки из карманов, граждане!

— Где же вы будете выяснять?

— А вот закончим работу оборонного значения. Отвезем вас в город, сдадим куда следует, и все будет в порядке.

— Дуракам и грамота вредна! — сказал Андрей Петрович.

— Агитация! — сказал председатель и поднял вверх руку с выставленным указательным пальцем, сделавшись тотчас же похожим на плакат о бдительности. Он оглянулся на стоявших вокруг — кто ожидал выдачи лопат, кто, насторожившись, кинул начатую работу и подошел ближе: толпа вокруг Вихрова и Прошина заметно росла. — Замечаете, товарищи? Агитация! — повторил председатель.

Он отступил на шаг.

— Подрыв! — сказал он опять и погрозил пальцем Вихрову. — Я при исполнении служебных обязанностей, и, повторяю, мы (!) вас (!) не знаем! Вот так!

Кровь бросилась в лицо Вихрову.

— Какая глупость! — сказал он. — Что вы народ волнуете, товарищ? Моя фамилия Вихров. Я учитель Второй средней школы. А это товарищ Прошин, учитель той же школы!

— Это вы так утверждаете! — невозмутимо отозвался председатель. — А кто это подтвердит? А? — он победительно огляделся.

Фрося с недоумением смотрела то на председателя, то на Вихрова и его товарища: что тут происходит? Но когда председатель сказал «агитация», она тотчас же поняла, о чем идет речь. Как ни далека была она от таких вещей, но и ее проняла жуть: вон куда метнуло председателя его воображение! Она робко сказала:

— Да это товарищ Вихров и есть. Учитель же. Сосед мой...

Председатель кинул на нее пустой взор и ответил:

— Ваша сознательность, товарищ Лунева, нам уже известна...

Но Зина, стоявшая за Луниной, резко сказала:

— Вкладчик наш. Товарищ Вихров. Я его знаю!

В эту минуту Фросю словно осенило. Она крикнула:

— Депутат он! Городского Совета. Депутат же!

Одну минуту председатель глядел на нее отсутствующим взглядом. Так бык стоит перед закрытыми дверями стойла. И вдруг лицо председателя, с непостижимой для его грубоватых черт быстротой, переменялось. Толстые губы его заулыбались. Мохнатые глазки скрылись в припухлых веках. От глаз во все стороны побежали тоненькие морщинки-лучики. Монументальность фигуры исчезла. Ноги сдвинулись сами собой, руки вынулись из карманов, кубанка сама полезла на затылок, открыв лоб с чубчиком. Во всей фигуре председа-

ля изобразились и радушие и удивительная легкость — такая, что, пожалуй, будь ветер посильнее, он мигом умчал бы председателя в какие-то неведомые дали. В одно мгновение отец-командир превратился в рубаху-парня, готового ради друга отдать последний кусок хлеба.

— Чего же вы сразу не сказали? — развел он руками в стороны и даже засмеялся легонько. От этой перемены Вихрова и Прошина оторопь взяла — так разительна была эта перемена. А председатель обернулся к гряде лопат и, быстренько расшвыривая инструмент ногой, обутой в фасонистые валенки, продолжал: — А лопаточки мы вам подберем поубористее, полегче. Одну минуточку, товарищ депутат! — Он нагнулся, выбрал две действительно хорошие, легкие лопаты с удобными рукоятками и подал Вихрову. — Вот так! Порядочек?

Зина пошла прочь.

— Хамелеон! — сказала она, и красивое лицо ее сморщилось и как-то враз потеряло свою свежесть и привлекательность.

— Чего, чего? — спросила Фрося подругу.

— Шерлок Холмс из месткома! — сказала Зина не оглядываясь.

Фрося не поняла ни того, ни другого выражения, но подхватила, с готовностью соглашаясь со всем, что говорила или хотела сказать Зина.

— Ну, уж точно! Ты как скажешь, так уж скажешь!..

2

Глубокий снег крепко слежался и был покрыт сверху твердой корочкой наста. С затона тянул ровный, как бы и не очень холодный ветер, который все же давал о себе знать. Снег лежал всюду, куда хватал глаз. Издалека казалось, что здесь просто была холмистая, неровная, пересеченная местность. Но едва первые удары лопат нарушили кое-где покой этой снежной целины, оказалось, что снег скрывает под собой огромное хозяйство. То лопаты обнажали темно-красные борта баржей и халок, вмерзших в лед, то показывались торцы сугунков, сложенных на берегу штабелями, то лопаты утыкались в брезент, промерзший насквозь и ломкий, как стекло, который прикрывал груды тюков, пирамиды ящиков.

— Эка, сколько добра заморозили! — с невольным сожалением молвил Прошин. — На языке экономистов это называется омертвлением капитала, брат Вихров!

— Война! — сказал Вихров. — Людей нет!

— То ли людей нет, то ли дураков много! — Прошин покосился на председателя, который сновал, как челнок в ткац-

ком станке, от одной группы работающих к другой, однако в снег не лез, а ступал в чьи-то следы, чтобы не набрать снегу в валенки. Он по-мужицки сплюнул на сторону, вытер рот тыльной стороной руки. — Ишь, выбирает, где полегче! Руками водитель!

— Оставь ты его в покое! — сказал Вихров. Он споро обрушивал снег у борта одной баржи, с удовольствием примеряясь к снежным завалам так, чтобы захватить своей лопатой побольше, и выбирая снег ровными кубиками. Работал он вроде не торопясь, но дело подвигалось у него куда быстрее, чем у товарища. Он разгорелся. Его бледные щеки порозовели, и дурное настроение развеялось.

— Ну и целуйся с ним! — зло буркнул Прошин, рубанул снег лопатой внизу, не заметив, что над ним нависла снежная крыша, смерзшаяся у самых обводьев. В ту же секунду на него обрушалась целая лавина снега, засыпав чуть не по макушку. Смуглое лицо его побледнело. Забыв про лопату, он принялся разгребать снег руками, будто плыл. Вихров подал ему руку и вытащил из сугроба. Прошин поглядел вверх и чертыхнулся:

— Хорошо, что там льда не было, а то...

— А ты не злился! — сказал Вихров и принялся обколачивать Прошина со всех сторон. Затем он силком снял пальто с Прошина, которого проняла дрожь, и выбил его рукоятью лопаты. Помог надеть пальто, разыскал лопату Прошина, сунул ему в руки и сказал: — Работай быстро, пока не разогреешься!

— Ты... Ты — христианский демократ! — сказал он Вихрову, но последовал его совету.

— Я не христианский демократ, но просто считаю, что жизнь так коротка, что на ссоры, на злость не стоит ее тратить.

— Философ! — сказал Прошин. Почувствовав, что ему становится жарко, он приостановился и стал наблюдать за тем, как работает Вихров. — Ты где так научился, дружище?

Вихров усмехнулся:

— Отец учил меня глядеть в корень вещей и искать здравого смысла во всем.

Прошин сказал:

— И в председателе?

— Ну и злой же ты! — удивился Вихров. — А в председателе есть тот здравый смысл, что действовал он правильно, принципиально правильно, но без учета условий, стало быть, с низким коэффициентом полезного действия...

— Ну конечно, если бы нас с его помощью потащили в НКВД, коэффициент полезного действия был бы выше значительно. Особенно, если бы там оказался такой же здравомыслящий товарищ, как этот чистоплюй!..

— Ну, бог не выдаст — свинья не съест! — сказал Вихров утешительно, по складу своего характера будучи оптимистом.

Чистоплюй между тем и помахивал руками, и покрикивал, и потаптывал своими валеночками. Была ли в том нужда или нет, но он возникал то здесь, то там. И вдруг у Вихрова начало двоиться в глазах — будто уже не один, а два чистоплюя всюду руководили воскресником. «Оперативнее, товарищи!» — слышался его возглас в одном месте. «Веселее, товарищи!» — кричал он в другом месте. «Все для фронта! Все для победы!» — призывал он в третьем месте. Все это, верно, так и следовало — и оперативнее, и веселее, и все для победы — и, однако, работа шла веселее не там, где возникал чистоплюй со своими скучноободрительными возгласами, а там, откуда он уходил...

Война есть война, но и человек есть человек. Как ни измучены были горожане далекого тыла голодным пайком и крайней неуверенностью положения на здешней границе, как ни страдали по близким, которых отняла война, как ни озабочены были они судьбой своих детей, которых жаждали видеть свободными от своих тягостных забот военного времени, в каждом из них жила та доля сознания необходимости и общности интересов, которые рождали и жажду деяний и жертвенность, и волю поступиться своим личным ради общего, то есть то, что мы называем патриотизмом, любовью к родине. Это же чувство не допускало скуки в работе, если эта работа шла на пользу человеку. И оттого везде, где работали люди, вдруг слышались и шутки и смех и вспыхнула где-то песня.

Председатель остановился возле учителей. Чубчик его взмок. Кубанка была на затылке. Воротник полушубка растегнут. В руках его была зажата разрядка на работу, полученная от Рыбного порта, которую он называл оперативной картой. От его разгоряченного широкого, как блин, лица шел парок. С довольной улыбкой он прислушался к разноголосому говору вокруг, подкрутил ус и сказал:

— Вот так и работаем, товарищ депутат. В коллективе! На благо родины! По всему фронту...

Он грузно повернулся и стал смотреть на копошащихся в снегу людей, словно он должен был вести их сейчас в атаку на врага. Вихров отвернулся. Прошин спросил председателя:

— А в чем, собственно, заключается наша задача?

Председатель повел рукой вокруг:

— Ликвидировать последствия снежной стихии... Подготовим плацдарм для следующих коллективов...

Но тут пришел какой-то человек из Рыбного порта — маленький, сутулый, замерзший до синевы, в потрепанной шинелишке и в треухе, не закрывавшем ни шеи, ни ушей. Он хмуро сказал:

— На кой ляд вы тут все разворотили, товарищи? У вас в разрядке указано — расчистить и выгрузить халки «С №122» и «УБ №236». Только и делов! А вы до сих пор к выгрузке и не приступали...

Прошин поглядел на Вихрова.

— Поди ты к чертовой бабушке! — сказал Вихров.

Но Прошин не пошел к чертовой бабушке, а полез на халку «С №122», вокруг которой весь снег был убран, а на палубе лежал двухметровой лебяжьей периной. Прошин уместился, примерился и, окопав лопатой добрый кусок этой перины, со злостью обрушил ее вниз, прямо на председателя.

— Полундра! — сказал он, видя с наслаждением, как председатель в мгновение обратился в снежную бабу, а потом судорожными движениями стал отряхивать свой нарядный полушубок и кубанку и умчался организовывать народ на новое боевое задание, к удивлению Прошина и Вихрова даже не чертыхнувшись.

3

Иван Николаевич сидит в кабинете.

Он ерошит свои недлинные волосы, жестковатой щеткой торчащие вверх. Рябоватое лицо его осунулось, под глазами набрякли мешки. «Хорош мальчик!» — говорит он про себя и потирает щеки, успевшие за ночь покрыться рыжеватой колючей щетинкой. Он и ночевал в кабинете. Трудно сказать, спал ли он в эту ночь. Телефон, будто обрадовавшись, что хозяин не пошел домой, трезвонил то и дело, как то и дело открывалась дверь в приемную: звонили из города те, кому нужны были свет и вода, топливо и машины, а людям из штаба борьбы с заносами все требовались уточнения и выяснения. «Вам дадим ток только к восьми утра — зачем он вам ночью? К началу работы!» — говорил он одним. «Ток даем только для хирургического отделения, а в терапевтическом пусть посидят при свечках!» — говорил он больницам и госпиталям. «Котельные получают топливо к середине дня. Сейчас питайте топки только так, чтобы не заморозить отопление!» — говорил он жилищному тресту. «Хлеб вы должны испечь к утру, как обычно. Рабочие должны получить свой паек, несмотря ни на какие стихии! Вот так!» — говорил он. «Промтовары подождут, не к спеху. Машины дам в первую очередь для подвозки топлива, во вторую — для подвозки продовольствия, а потом на все прочие цели!» — говорил он. Коротко и ясно. Если на другом конце провода пытались спорить, возражать или что-то доказывать, он клал трубку. «Шевелите головой! Почему я должен думать за вас?» — спрашивал он одного из штаба. «Сами подумайте, найдите лучший

вариант — доложите!» — слышал второй и уходил, тихонько закрывая за собой дверь. «Погоди! Тут надо посидеть и обмозговать это дело!» — задерживал он третьего, и они вдвоем обмозговывали это дело до полной ясности...

И вот наступила тишина.

Уснула, положив голову на скрещенные руки, Марья Васильевна в приемной. Задремал милиционер на площадке лестницы, задрал голову на спинку кресла, чтобы никто не подумал о потере им бдительности на посту, и сладко выдувая носом какие-то простенькие мелодии. Затихли шаги в коридоре. Перестала хлопать тяжелая входная дверь. Замолк и телефон. Все здание погрузилось в темноту. Лишь синяя лампа у входа да настольные лампы у секретаря и у председателя не смыкали глаз.

Это значит — все на пути к своим местам или уже на местах. Возможно, кто-то уже приступил к работе. Осматриваются. Примеряются. И уже делают первые ошибки, без которых не может быть накопления опыта. Кое-где делаются и первые глупости, проистекающие от горячности или от зазнайства, — ведь в каждом деле может обнаружиться свой Наполеон, полагающий, что для произведения чего-либо совершенно достаточно его команды: «Ать-два!»

Разные люди отправились туда — к складам, причалам, путям, в парки, на дороги, к вокзалам...

Иван Николаевич жмурится, встает. Оглянувшись на полураскрытую дверь в приемную и удостоверившись в том, что Марья Васильевна не видит его, он начинает подпрыгивать на месте, разминаясь, чтобы прогнать сон. Это, по его мнению, лучший способ вернуть бодрость. К тому же это упражнение вообще не лишне для него: война войной, а живот у Ивана Николаевича почему-то растет. Про него говорят пока «крупный», «представительный», «плотный», «полный», но уже недалек тот день, когда кто-то скажет «толстый» — и ваших нет, пристанет ведь это словечко, не отлипнет!

Он опять садится за стол. Опирается тяжелой головой на ладони. Коварная дрема подкрадывается к нему, усыпляюще шепча: «Хоррошшшо попрыгал, хоррошшшо! Теперь бодрый будешшшь, не спишшшь, не спишшшь!» — и заволакивает от него кабинет туманной пеленой.

Разные люди.

Одни из них появятся в его кабинете лишь в самом конце дня, убедившись в том, что все сделано как надо и никаких хвостов за ними нет — происшествий не случилось, жизнь налажена, люди отправлены по домам, все вошло в свое русло. Каждый по-своему доложит о сделанном. «Все в порядке!» — скажет один. «Ваше задание выполнено!» — доложит другой. «Город живет, Иван Николаевич! — обрадует его третий из тех, кто имеет с ним дело не первый год, и, отдуваясь, добавит: — Жаркий был денек, черт его побери! Мож-

но у тебя минеральной выпить?» Станет наливать воду и вдруг заметит, что у него дрожит рука, и удивится: «Гляди-ка, устал! А ведь раньше я без отдыха мог горы своротить!» Это — хозяева. Они работают для людей.

Но есть и другие. Едва появившись на месте и толком не разглядев людей, с которыми будут работать, и обстановки, в которой придется делать дело, они уже спугнут робкий сон Марьи Васильевны первыми боевыми сводками, первыми рапортами, первыми реляциями: «В жестокой борьбе со снежной стихией трудящиеся нашего района, вдохновленные трудностью задачи, добились первых трудовых подвигов...» Они будут звонить через каждые полчаса, они будут сообщать об именах отличившихся, но за каждым именем будет стоять незримый вопль: «Это я, я, я! Организовал их! Я!» Они будут гонять машины по расчищенным дорогам, отнимая их у перевозок, чтобы получить дополнительные указания, а проще — для того, чтобы лишний раз заявить о себе как о самоотверженном работнике... Работают для истории!

Ох, как не любит их Иван Николаевич!

— Щелкунчики! Попрыгунчики! Сукины дети! — говорит он вслух и просыпается, чувствуя себя бодрым и готовым к действиям, какие бы от него ни потребовались.

В приемной резко звонит телефон.

Марья Васильевна, точно сомнамбула, еще во сне, автоматически поднимает трубку телефона, стопка бумаги сама пододвигается к ней поближе, остро отточенный карандаш сам прыгает в ее пальцы, она говорит:

— Я слушаю!

И слушает голос, хорошо знакомый голос заместителя председателя, который в последний момент перед выездом, несмотря на выговор, все-таки распорядился истопниками по-своему: все батареи в здании городского Совета излучают жар и даже потрескивают время от времени, как в мирное время.

— Я слушаю! — повторяет Марья Васильевна и стенографически записывает: «В жестокой борьбе со снежной стихией трудящиеся нашего района, вдохновленные...»

— Черт бы тебя взял, балаболка! — доносится в этот момент довольно явственно из кабинета.

Марья Васильевна окончательно просыпается, осознав неизбежную противоречивость жизненных процессов, косится на кабинет Ивана Николаевича и решительным тоном говорит:

— Извините меня, Аркадий Иванович! Я не буду записывать этого. Если хотите, я соединю вас с редактором газеты!.. Не надо? Хорошо... А что конкретно? Вы уже закончили работу?.. А-а! Позвоните попозже? Хорошо!..

Она заглядывает в кабинет. Иван Николаевич сидит хмурый и пальцами, поставленными торчком, поглаживает лоб,

чуть не сдирая кожу. Марья Васильевна что-то колдует у себя под столом. Потом появляется перед Иваном Николаевичем и ставит перед ним стакан крепчайшего чая, от которого так и струится во все стороны терпкий аромат. Председатель молитвенно складывает руки и светлеет:

— Матушка моя, голубушка Марья Васильевна, век буду бога за вас молить! — Он хлебает горячий чай, щурится, жмурится, обжигается, восхищенно крикает, что-то бормочет от удовольствия, потирает руки, выпивает все без остатка и опрокидывает стакан вверх доньшком. — Здорово! — говорит он. — Даже есть захотел!

— Все хотят есть! — старой шуткой отвечает Марья Васильевна.

Тут Иван Николаевич хватается за телефон:

— Начальник горторга?.. Слушай, я тебе сейчас список один отправлю. Прикрепишь к нашей столовой... Комиссия не утвердит? До комиссии — месяц, а тебя сейчас прошу, понял? Про-шу! О-чень... Вот так. Интеллигенция наша отошла совсем. На ладан дышит! А между тем — наш актив, товарищ начальник. Понял? Ну, раз понял, тогда до свидания... На мою ответственность, если тебе не на кого ответственность свалить! Валяй! Я сдюжу...

Он протягивает секретарше бумажку, исчерканную вдоль и поперек, словно председатель кроссворд составлял, и делает жест — послать немедленно, куда говорено.

— Я в столовую! — говорит он, натягивая на голову пыжиковую шапку.

— Машину вызвать?

— Тю! — с отвращением говорит Иван Николаевич. — Тут и царь пешком бы дошел...

...В столовой он с жадностью ест шницель с квашеной — пахучей, вкусной! — капустой и вызывает тетю Улю, директора.

Он проникновенно глядит на тетю Улю — высокую, де-белую женщину лет сорока пяти, красивую и свежую, с несколько холодным взглядом светлых глаз, одетую в белый халат; с белой же косынкой на голове, под которой скрыты темно-русые густые косы. Тетя Уля походит в этом наряде на врача, а не на работника общественного питания.

— Вот какое дело, тетя Уля! — говорит Иван Николаевич и отворачивается к окну. — Кончился снегопад, черта бы ему в горло! Теперь мы заживем опять нормально... по условиям военного времени. И на фронте дела куда как хороши. Наши к Праге близко. И к гитлеровскому логову. Да-да...

Тетя Уля дипломатично кивает головой, но не хочет облегчить явное затруднение Ивана Николаевича, хотя ей ясно, что он и пришел сюда и вызвал ее вовсе не для того, чтобы поставить ее в известность о положении на фронтах.

Иван Николаевич вздыхает.

У тети Ули в глазах появляется усмешка.

Иван Николаевич катает на скатерти хлебные шарики.

— Ну и жила же ты, тетя Уля! — вдруг говорит он сердито. — Ни сочувствия, ни понимания, ни желанья помочь начальству! Стоит, как кедр ливанский, понимаешь ты! Получишь сегодня из горторга список на прикрепление. Прикрепишь, понятно? А то тут наши интеллигенты кое-какие совсем погибают, несмотря на все категории, которые мы им даем — «СП-1», «СП-2»... «СП», конечно, в основном, вещь правильная. Да понимаешь ты, коэффициент замены какой-то хреновый: по норме четыре килограмма мяса, а им дают триста граммов яичного порошка и говорят — по калорийности равноценно. Я, знаешь, не химик! Я не химик, говорю! Ты слышишь?

— Прикрепим, Иван Николаевич! — спокойно говорит тетя Уля.

— Да прикрепить-то ты прикрепишь! — вдруг тихо говорит Иван Николаевич без всякого смущения и смотрит в глаза тете Уле. — Не в этом дело, сама понимаешь! Мы выдадим им по одной карточке на семью, тетя Уля. А вы будете отпустить на одну карточку две порции, кое-кому и три порции. Вот так... До Дня Победы не дотянут... А охота все-таки!

— Незаконно! — говорит тетя Уля, глядя в окно.

— Врачи, писатели, учителя, художники, понимаешь? Что же, по-твоему, нам вовсе без культуры остаться напоследок?..

4

...Когда были открыты люки халки, Вихров ахнул: в несколько рядов, одна на другой, трюм был загружен бочками с рыбой. Оттуда пахнуло тем непередаваемым запахом, который издает только соленая рыба. Этот запах напомнил ему многое: и собственное детство, прошедшее на берегах Охотского моря, и рыбалки, на которых зарабатывал он в свое время деньги на учебу в городе, и холод осенней воды, по пояс в которой приходилось стоять разделщикам в те неуроженные годы, а Вихров был неплохим разделщиком в свои двенадцать и тринадцать лет, и бурные волны бара, грозившие перевернуть ко всем чертям рыбацкие кунгасы, когда они выходили на рейд, чтобы сдать на проходивший пароход свою рыбу, и томительную усталость, сводившую пальцы после десятков часов разделки кеты, которая серебряным потоком текла на отдельные столы, и упругий хруст ножа, вспарывавшего рыбу одним движением, и кровавое месиво кетовых внутренностей, падавших в тяжелую воду, вокруг которых стаей, тучей плавала мелкая хищная рыбешка, привлеченная

запахом. Напомнила эта картина Вихрову и юность, и школу, которую надо было кончать, не надеясь ни на чью помощь, и порт, где можно было всегда подработать полтинник, а то и рублевку...

По широкому трапу, который рыбник велел подтащить к халке, работающие гуртом повалили на палубу. Фрося оказалась рядом с Вихровым. Зрелище бочек, которых здесь было не менее пятисот, тоже поразило ее, но совсем по другим мотивам. Фрося простодушно сказала:

— Эх! С горячей бы картошечкой ее, да с лучком, да с постным маслицем! Мечта!..

Только тут Вихров сообразил, до какой же степени изголодались они за годы войны, когда даже такое пролетарское блюдо, как кета с картошкой, стало почти недоступным. И он невольно сглотнул слюну, живо представив себе мечту Фроси на столе, покрытом белой скатертью, с кудрявым парком, поднимающимся от разваристой, словно заиндевевшей, картошки.

Но тут, как призрак беспощадный, возник из пустоты чистоплюй. На его теперь уже багровом лице светились гражданская жертвенность, боевое рвение овладеть новыми боевыми позициями, сознание того, что без него нарушилось бы движение планет во Вселенной и прекратилась бы жизнь на Земле. Весь он пылал неукротимым стремлением совершать подвиги и был овеян сивушными парами. Кто его знает, когда и где он успел хлебнуть сучка — этого выдающегося изобретения современности, которое в годы войны заменило водку пшеничную водкой, изготовленной из отходов лесной промышленности.

— Все в трюм! — призвал он зычно. — Не пожалеем для нашей родной армии ничего! — Тут он, по ходу его мыслей, должен был крикнуть «ура!», но, отступая немного от люка, скомандовал: — Организуйтесь по четверкам. Каждая четверка поднимает одну бочку на палубу, она же скатывает ее на берег и возвращается! — Он помедлил немного и, очертив в воздухе рукой круг, добавил веско: — Непрерывным движением. Не-пре-рывным дви-же-нием, товарищи! Вот так! Раз, два — взяли!

— Слушай, Димитрий! — сказал Прошин на ухо Вихрову. — Можно я тресну его по башке лопатой? А? Можно? Ведь какой сукин сын! Приспособленец! Как он умеет опшлить все!

— Пренебреги! — сказал Вихров.

— Это не ты сказал. Это Прутков Козьма — раньше тебя — и сказал ни много ни мало, а девяносто шесть раз!

— Тем более! — отозвался Вихров.

Зина тронула его за рукав.

— Мы к вам в четверку, — сказала она и шагнула по трапу вниз.

Фрося, как тень, пошла вслед. Вихров и Прошин тоже стали спускаться. Председатель остался на палубе, растопырив ноги для лучшей устойчивости. Снизу он выглядел словно памятник Александру III на площади в Санкт-Петербурге. Потом лицо его еще сильнее побагровело от натуги.

— Веселее! Веселее ходи! — закричал он. — Раз! Два! Взя-ли!

Раз — взяли. Два — взяли. И ничего не вышло.

Холодные, увесистые, будто чугунные, двухсоткилограммовые бочки не хотели ходить веселее. В своей угрюмой трюмной мрачности, прилежавшись друг к другу, они не хотели признавать горожан за грузчиков, которые когда-то подбрасывали эти бочки, точно детские игрушки. Они скользили, вертелись, вырывались из рук, наваливались вдруг всей тяжестью на четверки, и те бежали кто куда. Им явно не хотелось вылезать на свет божий, этим бочкам, в которых лежала бесценная рыба — чудо из чудес тихоокеанских морей. Идеальный распорядок, предуказанный чистоплюем, сразу же нарушился. Кого-то прижало бочкой, кому-то отдало ноги. И вот уже на них стали глядеть, как на врагов. Добровольные грузчики толкались, мешали друг другу. С трудом вытянули на палубу одну, другую, третью, сгрудившись на трапе целой кучей, от тяжести которой потрескивали вершковые доски.

Зина, про которую нельзя было сказать, что она жалеет свои красивые руки и свои нежные плечи, вдруг со злостью хлопнула по бочке кулаком. Так взбесившийся крестьянин бьет по морде коня. Фрося изо всех сил тужилась, подпирая свой край, и с ужасом глядела на бочку, которая норвила с трапа рвануться вниз и придавить их всех своей округлой тяжестью. Вся четверка пыхтела и надсаживалась. Вихров вдруг услышал свое свистящее дыхание, прислушался к хрипам, которые возникали где-то глубоко в груди, и подумал: «Ну, задаст мне Галька перцу! Не хватало мне еще свалиться!» Прошин упрямо, с темным лицом и глазами, налитыми кровью от усилий, подпирал бочку, подвигая ее вверх дюйм за дюймом.

— Слушай, Димитрий! — сказал он. — По-моему, так дело не пойдет!

Обливаясь потом, скользя на планках трапа, которые обледенели на ветру, они с трудом выкатили свою бочку на палубу. Председатель покровительственно потрепал Прошина по плечу:

— Что, товарищи? Это работка — не из чашки ложкой?! А?

Он хриплым смехом вознаградил себя за остроту.

— Справедливое замечание! — отозвался Прошин. — Не угодно ли вам попробовать?

Но чистоплюю не было угодно. Он холодно посмотрел на Прошина и взором указал на разницу в их положении. Рыбник, сидевший на борту люка вместо тальмана, неторопливо ставил значки на листке бумажки, считая выгруженные бочки, равнодушный ко всему. В синих губах его была зажата погасшая козья ножка из газеты. Полы шинельки, для тепла, он прижал подошвами старых сапог. На берегу работа шла тоже не совсем так, как представлял себе чистоплюй. Одна бочка сорвалась с трапа и с четырехметровой высоты ухнула об лед ребрышком. Обручи соскочили. Клепка расселась. Донушко выскочило. Вытекший тузлук окрасил снег некрасивым, желтоватым цветом. Между клепкой и на льду лежала вываленная рыба, светясь в лучах солнца голубоватой чешуей на боках и розовыми подпалинами на плавниках. Вихров с вожделием поглядел на кету — хороша! Он подошел к тальману:

— Веревки бы, товарищ, надо! А то вся рыба там будет! — Вихров показал глазами за борт халки. — И дело не только в этом. Людей покалечим!

Рыбник поглядел на него. «Потальманьте вместо меня!» — сказал он и ушел куда-то. Вернулся с бунтом старой веревки, едва волоча его за собой. Чистоплюй, увидев Вихрова на борту с бумажкой в руках, неодобрительно нахмурился. Верно, в его мозгу родилась одна из тех привычных формул, которыми он был набит по самое горло: «Подрыв трудового фронта!» или что-нибудь такое же точное и определенное, не требующее затраты ума и воображения. Но Вихров был депутатом: это удержало чистоплюя от замечания — депутаты в его представлении занимали какое-то особое, межеумочное место — еще не начальники, но... могут стать и начальниками. А весь остальной мир делился с идеальной простотой на две категории — на начальников, в том числе и руководителей, и на подчиненных. Подчиненных было много, начальников мало, что давало им право на исключительное положение в этом мире. Поэтому чистоплюй отвернулся от Вихрова, как бы не заметив его вообще. Рыбник, понявший Вихрова с одного намека, подтащил веревки к трапу, отодвинул в сторону чистоплюя и вдвоем с Вихровым расстелил веревки по трапу, вернув их концы наверх. Один конец наглухо закрепили за скобы люка.

— Димитрий! Ты чего это удумал? — спросил Прошин, продрогший на ветру.

— Простейшая механизация! — вдруг ответил рыбник.

На веревки внизу вкатили бочку. Пропустили веревку через ее пузатые бока. За концы наверху взялись рыбник и Вихров, уперлись ногами в край люка и потянули веревки. И поехала бочка наверх как по рельсам, чуть подскакивая на планках трапа. Зина и Фрося шли по трапу вслед за бочкой и придерживали веревку, чтобы та не скатилась на сторону. Зи-

на похлопала бочку ладошкой и обрадовалась, словно маленькая девочка.

— Вот и все! — сказала она.

Бочки поняли, что их игра проиграна. Они стали вдруг послушными, покорными и одна за другой выстраивались в очередь на подъем, как за Вихровым тоже выстроилась очередь желающих воспользоваться плодами простейшей механизации.

— Рычаг первого рода! — сказал загадочно рыбник и опять сел тальманить.

— Раз, два — взяли! — опять заруководил чистоплюй и сник: бочки себе катили и катили вниз непрерывной чередой, и руководить было нечем — все шло как бы само собой. Вдруг он оживился. — Надо бы организовать охрану социалистической собственности! — сказал он, имея в виду разбитую бочку с кетой, лежавшую у борта. Он огляделся, ища, кому бы поручить это дело, и увидел Фросю. — Товарищ Лунева! Особо важное задание!

Фрося вылезла из трюма. Председатель подвел ее к борту:

— Вам поручается охрана! Чтобы, значит, как зеницу ока...

Но зеницы ока под бортом уже не было. Ни розовых плавников, ни голубых бочков, ни темных спинок, ни клепки, ни доньшка — уже не было. Желтело лишь полузатоптанное пятно тузлука, да в стороне торчал сиротливо в сугробе сломанный обруч, изогнувшись вопросительным знаком. Председатель долго глядел на пятно, вызывавшее нескромные ассоциации. И бодро закончил:

— Идите на прежний пост, товарищ Лунева!

Он посмотрел пристально на тальмана. Но тот, наклонившись над своей бумажкой, механически ставил знаки, когда бочки прокатывались мимо, заставляя металлическую палубу издавать звенящий протяжный гул. «Каждый поставлен на свой пост!» — подумал председатель с облегчением и перестал думать о разбитой бочке.

Зина подошла к Вихрову:

— Спасибо вам, а то мы мучились бы тут смертной мучкой. Да еще придавило бы кого-нибудь этими проклятыми бочками!

Председатель тоже оценил догадку и сноровку учителя.

— Сразу видать, человек образование имеет! — сказал он. — Рычаг своего рода все-таки...

— В молодости три года грузчиком в порту работал! — сухо ответил Вихров, а Прошин добавил:

— Это не из чашки ложкой работа!

Председатель опешил и, с опаской посмотрев на Прошина, отошел.

В его авантажной, видной фигуре, которая так картинно выглядела в разных обстоятельствах жизни, когда надо было вовремя выбросить лозунг и напомнить о высоком долге тем людям, которые в этом нуждались, была одна, как бы неудачная, недоделанная деталь, которую ему всю жизнь не удавалось ни скрыть, ни изменить, как ни мешала она целостности его образа. К его крутым плечам, мощному чреву и толстым ногам, к его бычьей шее и широкому лицу куда более подошли бы толстые руки с сильными, широкими ладонями и короткими толстыми пальцами. Однако верхние его конечности завершались маленькими, неразвитыми — то ли девичьими, то ли детскими — узкими, слабыми ладошками с вялыми пальцами. Ему никогда не приходилось заниматься физической работой, не знал он и никакого ремесла, со школьных лет выйдя в какие ни на есть руководители.

...Длинными рядами выстраивались бочки на берегу, громоздясь в хеопсовы пирамиды. Солнце лезло вверх и пригревало в затишке, несмотря на ладный морозец. В синеватом мареве влажного воздуха едва виднелся Амур, делавший здесь широкую излучину, и Хехцир почти исчез из виду, истаяв в этой дымке. За излучиной лежали Основная Речка и десятки маленьких поселков и хуторов, что ютились на этом незатоплявшемся берегу. Но если бы не тоненькие дымочки над трубами домов, занесенных по самые крыши, никто не мог бы и подумать, что в этой снежной пустыне живут люди.

Когда выгрузка была закончена и возле барж заурчали моторы грузовиков, Зина сказала Вихрову и Прошину:

— Можно мы с вами поедем?

Она, собственно, и не ожидала ответа, так как тотчас же, высоко подняв свою узкую юбку и сверкнув голыми, круглыми коленками, встала на скат и ловко прыгнула через борт, даже не расслышав, что Прошин, засияв и заулыбавшись, — кому же не приятно ехать с красивой, приветливой и молодой женщиной? — закричал ей вдогонку:

— А мы только что хотели вас просить об этом!..

Он галантно подал руку Фросе. Она застыдилась, покраснела, хотела так же быстро порхнуть в кузов, да не рассчитала своих движений и ввалилась в машину кулем, не выпустив, однако, из рук какого-то свертка. Прошин сказал было ей, протянув руки, чтобы помочь:

— Дайте-ка я подержу. Вам неудобно!

Тут-то Фрося и потеряла контроль над собой, чему была своя причина, ибо все в мире взаимосвязано и взаимообусловлено. Оценив вежливость Прошина, она из кузова протянула руку ему, но при этом и свертка из рук не выпустила.

Заревели сигналы машин, зачихали моторы, синий дымок взвился над газогенераторами, запахло самоварным душ-

ком. От газогенераторов шло слабое душное тепло. Зина, подняв воротник своей шубки, спряталась за газогенератор и вдруг потянула к себе и Вихрова. Даже не отдав себе отчета в этом, Вихров так и влип в середину между Зиной и Фросей. Он заметил странноватый взгляд Прошина. Машина тронулась. Все повалились друг на друга, захохотали, потом кое-как разобрались в том, чьи руки и ноги и кому принадлежат. А эти руки и ноги ломило от холода, от работы и от голода.

Зина с жалостью посмотрела на свои варежки и чуть не заплакала — они были в клочьях. Она сняла варежки и сунула их в карман. Красивые руки ее тотчас же покраснели от мороза. Вихров подумал, что Зина, верно, очень замерзла. Он снял свои перчатки и отдал Зине, сунув руки в карманы пальто. Без лишнего жеманства Зина натянула его перчатки, еще хранившие тепло его рук, и сказала:

— Уютно как!

И ветер свистел над машиной, выдувая остатки тепла из наработавшихся, уставших людей. И машину кидало в разные стороны на выбоинах, не видных под снегом. И тесно было в машине с укороченным кузовом. А Зина, благодарная Вихрову за перчатки и чувствуя необходимость чем-то отплатить ему за добро, все ближе прижималась к нему, чтобы защитить и его и себя от ветра. И вдруг Вихров ощутил ее тепло, пробившееся через одежду, и враз согрелся. Как видно, и Зина почувствовала тепло его тела, потому что неожиданно подняла голову и в упор посмотрела на него. Вихров обернулся. Взгляды их встретились. Вихрову почудилось, что Зина глядит на него не как на стороннего человека, который сейчас встретится, а через минуту исчезнет из поля зрения навсегда, что такими глазами смотрят только на своего, на близкого. На мгновение больше того, чем требовали приличия, они глядели друг на друга. И на мгновение Вихрову показалось, что вокруг нет ничего — ни машины, трясущейся по дороге, ни спутников, которые невольно жались друг к другу, ни редких домов с наметенными громадными сугробами, ни столбов электропередачи, на которых сидели нахохлившиеся воробьи, ни поземки, катившейся по полю волнами невидимого моря, ничего — кроме этого, поднятого к нему, лица — и он улыбнулся Зине одними глазами, но так, что сквозь усталость и болезненность засветились в них и веселость, и нежность, и доброта, на какие он был способен. Удивление и растерянность на лице Зины были ему ответом. Он смутился. «Э-э! — сказал он себе. — Не воображай, пожалуйста!» Но всю дорогу его не покидало какое-то необъяснимое чувство легкости и даже радости. Отчего бы это?..

Еще один день, еще одна неделя, еще один месяц...

Мама Галя томится. Ей нездоровится. Тупая головная боль, ломота во всем теле, боль в набухших сосках. Ничего особенного. То, что бывает у всех женщин. Но нет обычной разрядки этого нездоровья. И беспокойство охватывает ее. Как ни болезненно переживает она это состояние вообще, теперь она ждет его с нетерпением. По пальцам считает дни и все время сбивается со счета. То будто все получается нормально, а то...

Мама Галя смотрится в зеркало, словно оно может показать ей то, что неизвестно, и что-то объяснить. А зеркало услужливо показывает только ее лицо и лишь обнаруживает ее беспокойство. Глаза мамы Гали потемнели, тревога погасила в них те золотые искорки или солнечные зайчики, как их называет папа Дима, которые светятся и играют в глазах мамы Гали, когда она спокойна и весела, когда все обстоит хорошо в их доме. Зеркало показывает ее темные, густые, сросшиеся на переносице брови, которые мама Галя никогда не причесывает и не выщипывает, на зависть своим подругам, ее худощавые щеки такой хорошей формы, что так и хочется погладить их, ее целомудренный рот, мимолетные ямочки на щеках, которые придают столько прелести и задора этому лицу, белые, ровные, красивые зубы, волнистые каштановые волосы, к которым никогда не прикасались ни плойка, ни бигуди, что опять-таки сердит подруг мамы Гали.

«Ну что, перетрусила?» — спрашивает мама Галя своего двойника в зеркале. «Перетрусила!» — чистосердечно отвечает двойник. Мама Галя показывает двойнику язык.

И спохватывается: «Этого еще не хватало! Кажется, язык обложен...»

Мама Галя раскрывает рот. Ого! Вот это да! Ларингологи всегда благодарны маме Гале, осматривая ее горло, — рот раскрывается так, что видно все небо с ребристым розовым куполом, видны все двадцать восемь зубов, которые природа отпустила ей по урезанной норме, лишив зубов мудрости, виден трепещущий маленький язычок, видны миндалины, гладкий зев и даже часть горла: не нужны ни ложечки, ни зеркала — все как на ладони! Пожилой плотный ларинголог, полковник медицинской службы, к которому мама Галя любит попадать на прием, потому что он ей очень нравится, мило шутит: «Завещайте мне, Галина Ивановна, ваше горло и рот! Они просто уникальны!» — «А больше вам ничего не надо завещать?» — лукаво спрашивает его мама Галя. «Ну в этом возрасте мне достаточно и того, о чем я прошу!» — смеется ларинголог, кокетничая тем, что в свои пятьдесят пять лет он и легок, и весел, и остроумен, и нравится женщинам... Когда

папа Дима слишком настойчив, мама Галя пугает его — она широко открывает свой уникальный рот и говорит: «Прогло-чу, папа Дима! Кто тогда будет тетрадки проверять? — Смеется: — У меня ротик как у скаженной собачки! — И издевается над ним: — Папа Дима, открой рот! Ага! Не умеешь! Ничего-то ты не умеешь!»

Горло чисто. Миндалины не воспалены. Зев, как розовая пещера, переходит в горловину. Ангины нет. И мама Галя успокаивается. Это очень хорошо, что нет ангины, потому что и мама Галя и Игорь весьма и весьма подвержены ангинам. А в военное время лучше не болеть!

Она подходит к Игорю.

Сын разоспался сегодня. В комнате не жарко. Печь за ночь остыла. Но Игорь наотмашь откидывает левой ручонкой одеяло, словно Никита Кожемяка, порвавший разом тридцать три кожи, и, сдвинув темные; мамины Галины, брови, лежит в вызывающе забавной позе, сжав плотно кулачки, готовый на бой со всем светом. Светлый пушок на его щеках — залог будущей колючей, густой бороды! — топорщится от прохладного воздуха. Щеки горят. Розовые губы сердито надуты. На чуть кривых ножках — ох, вы понимаете, что значит родиться на второй год войны! — едва заметно шевелятся пальцы, с непомерно выдавшимся большим. Какие сны видит он сейчас? Что гнездится сейчас в его головенке?

Мама Галя не целует его. У Вихровых нет привычки целовать детей. Может быть, это хорошо, потому что дети вырастут, не чувствуя себя ни слабыми, ни беспомощными, ни маленькими. Может быть это и плохо — потому что, когда в них проснется критическое отношение к окружающему и они увидят, как целуют, милуют, балуют другие родители своих детей, они могут подумать, что их родители любили их меньше, если любовь выражается поцелуями и баловством! Мама Галя вкладывает свой палец в стиснутый кулачок сына. Кулачок на секунду разжимается и тотчас же горячим кольцом крепко-крепко схватывает мамин палец. Теперь мама Галя знает, что снится сыну она, только она, давшая ему не только жизнь, но и свою кровь, когда, едва затеплившись, его жизнь готова была угаснуть — все было на второй год войны! Насупленные бровки Игоря раздвигаются. И вдруг мимолетная, бесконечно трогательная, щемящая сердце улыбка мелькает на его розовых пухлых губках. Про такую улыбку на устах ребенка в деревне ласково говорят: «С ангелами разговаривает!»

— Спи, Лягушонок Маугли! Спи, вихренок! Спи! — чуть слышно приговаривает мама Галя, укрывает сына одеялом и полегоньку вытаскивает свой палец из кулачка сына.

Дневные заботы стучатся в дверь. Они натягивают на маму Галю пальто и галоши, и мама недоверчиво смотрит на свои галоши, у которых в последнее время испортился харак-

тер — они стали плаксивыми. Дневные заботы суют маме в руки сумку-авоську. Они гонят маму Галю из дома. Игорешка? Ничего. Он проснется, скажет громко: «Мама!» Подождет ответа. Не услышав его, он часто-часто заморгает своими синими-синими глазками, и его длинные-длинные пушистые реснички тревожно затрепещут. Но скажет себе, как и подбавляет истому мужчине: «Ма-мы до-ма не-ту! Она ско-ро при-дет!» — и найдет себе различные занятия в ожидании мамы. Он будет петь: «И-и! А-а-а! О-о-о! У-у-у!» Он знает, что в этом еще не познанном мире существуют необъяснимые тайны, к числу их относится и появление или исчезновение родителей. Если они тут — это очень хорошо! Если их нет дома — они придут! И нечего плакать... Серый кот Васька, пушистый, мягкий, теплый, но царапучий, будет разговаривать с ним, играть и, полузакрывая свои серые внимательные глаза со зрачками-щелочками, запоеет тоже...

Уже на пороге мама Галя слышит звонок телефона. Это Анка, верный друг. «Галя! Сегодня будут сахар давать, приходи! Да не бойся, из авторитетных источников. Тебе очередь занять?.. Ну, целую!» Ура! Это событие, по нынешнему его значению почти равное открытию добывания огня посредством трения. Впрочем, мама Галя знает, что и все остальные блага культуры нынче тоже добываются трением в очередях, от которых у ее пальто испортился и характер и внешность...

Еще звонок. Мама Галя широко открывает глаза, и ей нужно время для того, чтобы сообразить, что к чему, и глухой голос из трубки, сначала любезный, теряет это качество и становится раздражительным, когда повторяет трижды одно и то же: Вихров прикреплен к столовой горисполкома, карточку можно получить у директора сегодня, обед также. Адрес известен? Хорошо. До свидания!

Мама Галя растерянно оглядывается вокруг, ища ту лампу Аладдина, обладание которой дает возможность исполнения самых необузданных желаний и которую она до сих пор по чистой случайности не смогла использовать. Лампы не видно. Но звонок по телефону — реальность, хотя вместе с тем и чудо, достойное Аладдина!

— Сезам, откройся! — говорит мама Галя...

Она заглядывает в комнату соседки, которая тоже сегодня исчезла, утонув в сиянии голубого дня, как и папа Дима, и в комнате которой попеременно с самого рассвета слышались то плач, то смех, то какой-то грохот, то смесь всех этих звуков разом.

Глазам ее предстает милая картина. Все в комнате сдвинуто с места, стулья повалены, посередине комнаты лежит половая тряпка, у двери веник: видимо, Генка пытался соблюдать чистоту, по мере ее нарушения Зойкой, но потом решил, что выгоднее и, безусловно, рациональнее — дать Зойке напакостить как можно больше, а потом убрать все сразу. Ра-

зумное начало, заложенное в Генке, дало ему возможность упорядочить также и вопрос о питании их обоих. Сначала он убрал с кастрюли вареного картофеля крышку, из которой вышел и щит от посягательств острых ногтей Зойки на Генкин нос и глаза, а потом — великолепные литавры. Затем кастрюля была поставлена на пол, что избавило Генку от излишних движений, когда Зойка начинала сигнализировать: «Ням-ням!» — с одной стороны, а с другой, самое Зойку приучало к определенной самостоятельности по добыванию пищи и развивало ее кругозор и сообразительность прямо на глазах. Мама Галя ахнула, но воздержалась от интервенции в дела соседнего государства, коль скоро это государство было вполне организовано на разумных началах и к помощи соседних государств не обращалось. Видимых же причин для стороннего вмешательства тут пока не было.

Брат и сестра не заметили, как открылась и как закрылась дверь их комнаты. В этот момент Генка учил Зойку искусству хождения по пересеченной местности: выпустив нижнюю рубашку из-под штанов, он вручил конец ее подола Зойке и пополз на четвереньках вперед, под стул, а Зойка на трех конечностях, не выпуская Генкиного подола из судорожно сжатой руки, проследовала за ним, кося глазами и пуская пузыри от удовольствия...

...В столовой маму Галю ждало истинное потрясение всех чувств и еще одно доказательство волшебных свойств еще не обнаруженной ею в своем хозяйстве лампы Аладдина. Получив карточку, она подошла к окошечку с надписью «Отпуск обедов» и подала свою карточку. Чья-то рука взяла этот жизненно важный документ из ее рук. Тотчас же на маму Галю из окошечка посмотрела какая-то женщина в белой косынке, с холодноватым взглядом светлых глаз, не вызывавшим симпатии. Женщина сделала отметку в карточке и сказала кому-то в кухне: «Вихров! Один!» Спустя две минуты в окошечко выглянула раздатчица, почему-то внимательно поглядела на Вихрову, потом подала ей судки. Маме Гале не понравилось то, как обе женщины из окошечка смотрели на нее, но это было их дело. Она взяла судки, и у нее вдруг заскребло на сердце — для одного обеда судки были слишком тяжелы. «Что-то тут неладно!» — подумала мама Галя и, отойдя в сторонку, приподняла крышки судков. Супница налита доверху, второго — три порции. Случайность? Просчет? Чужие судки? Уйти? Сказать? Хороша случайность — две лишние порции! За такой просчет раздатчице надо голову оторвать! Судки не чужие. Как же уйти, как подвести раздатчицу? Сказать — при людях неловко! Она повременила, выжидая, когда станет меньше людей у окошечка, озадаченная и встревоженная... Но едва она приблизилась к окошечку, женщина в белой косынке неожиданно сказала:

— Разве вас дома не ждут, товарищ Вихрова?

Яснее было нельзя выразиться. Ей предложили уйти.

И она ушла, не чуя под собой ног.

Так как два лишних обеда свалились маме Гале на голову, как падают булки на головы людей в Стране Дураков, то она вошла в комнату Фроси и сказала ребятам:

— Ну-ка, похлебайте горяченького, друзья! Где тут у вас ложки, тарелки? Живо!

Генка, который почему-то побаивался Вихрову, сбылчился и лишь пальцем показал маме Гале на тот ящик, в котором лежала у матери посуда, а Зойка, высоко просвещенная под руководством своего брата, отроду обладавшего талантами популяризатора и организатора, немедленно смекнула, что несет с собой посещение соседки, и, застучав крышкой кастрюльки по полу, бодро сказала:

— Ням-ням! Ма-а!

С ее точки зрения, всякий, кто давал ей есть, приближался к классу высших существ, которых можно было называть «мама» и которых надо было слушаться. Генка уже был причислен ею к этому классу с самого утра, и она, не будучи жадной по природе и как-то разумея, что Генка тоже не прочь поесть, потащилась к столу, на котором из тарелок поднимался парок чего-то вкусного, и позвала Генку:

— Ма-а! Ням-ням!

Мама Галя прислушалась. За стеной пел Игорь: «И-и-и!» «А-а-а!» «Одну минутку, мой хороший! Одну минутку, мой родной! Одну минутку!» Она вытерла нос Зойке, брезгливо сморщась, подула на ложку и стала кормить Зойку. Генка звучно шмыгал носом и с шумом втягивал суп, обжигаясь и чавкая нестерпимо.

— А теперь спать! — сказала Вихрова Зойке. — Наелись — и спать, да?

От горячей пищи Зойка разморилась, и ее потянуло на сон. Она не сопротивлялась, когда ее уложили в кровать и закрыли одеялом. Мама Галя огляделась — ну и свинюшник! — желание прибрать комнату Фроси, которое возникло в ней оттого, что волшебная лампа Аладдина еще оказывала свое действие, невольно погасло. Она спросила Генку:

— Ты можешь сам прибраться, Гена?

— Угу! — сказал Генка и чуть совсем не спрятался за стол.

— Тогда приберись! — спокойная за будущее этого дома, сказала мама Галя и ушла в свою квартиру, где ждал ее Маугли-Лягушонок.

Генка взялся было за веник. Потом услышал, как уютно посапывает носом пригревшаяся Зойка, и ему расхотелось заниматься благоустройством. Он походил-походил по заляпанному полу, потом сел на кровать. Без Зойки ему как-то сразу стало скучно. Он перелез в ее кроватку, согнувшись в три погибели, уместился возле сестренки и укрылся одеялом. стащенным со своей кровати. «Бу-у!» — сказала Зойка во сне. «Жалко? Да? — буркнул Генка, но потом Фросиным голосом добавил: — Это я, доченька! Спи!» Зойка успокоилась. Генка задумался-задумался и не заметил, как уснул.

Добрый Аладдин никак не хотел успокоиться в этот день, подкидывая маме Гале одно благодеяние за другим. Игорь ожидал ее дома с терпением, достойным всяческой похвалы. Правда, и он и кот были уже в маминой кровати, что решительно не допускалось законом. Если Игорю это иногда и проходило, то коту запрещалось. А сейчас он и нежился, и катался, и щурился, и прятал свои коготки, и терзал ими бедное мамино одеяло, и щедро устилал ее простыни серой шерстью, так как в марте котам положено линять и давать концерты на крышах, а кот Васька был вполне добропорядочным котом и делал неукоснительно все, что полагается делать котам в свое время. Услышав шаги мамы Гали, кот стремительно кинулся под кровать, сел там и зажмурился, приняв вид равнодушный и отрешенный, как если бы ему и в голову никогда не приходило лежать и валяться в кровати мамы Гали.

— Ах ты бандит! — сказала мама Галя, которую не обманула выходка Васьки. — Ты знаешь, что я тебе сделаю?

Васька знал. Поэтому он вылетел в соседнюю комнату.

Мама Галя вся сияла и радовалась. К обеду, в качестве приложения, она получила три яблока. Яб-ло-ки! Настоящие яблоки! Неповторимый запах их создал у мамы Галы ощущение праздника. Она присела, поставила судки на пол. Помашила Игоря. Взяла яблоко двумя пальцами и показала сыну:

— Маленький мой! Что я тебе принесла!

Игорь возрился на яблоко. Оно — блестящее, круглое, светло-желтое, с розовым бочком — показалось ему игрушкой с елки. Он поспешно слез с развороченной постели мамы Гали и, чуть переваливаясь, побежал к матери, протягивая руки.

Холодное, тяжелое, пахучее!

— Ешь! — сказала мама Галя. — Ешь, Лягушонок! Ну! Кусай его!

Игорь осторожно приложил яблоко к губам. Осторожно куснул. И отвел от себя яблоко, с недоумением глядя на него.

— Какая смешная кар-тош-ка! — сказал он, не зная, как отнестись к странному кругляшу. Еще никогда в своей жизни он не ел яблок.

У мамы Гали брызнули слезы из глаз, как у рыжего в цирке. Ох, жизнь! Ребенок не знает ничего, кроме картошки. Жизнь, жизнь! Разве это жизнь? Она провела свое детство в далеком южном городе, о котором всегда вспоминала, как о сказке. В этом городе летом цвели на улицах жасмин и акация, маттиола и гладиолусы. В этом городе зимой продавались на улицах жареные каштаны. В садах цвели абрикосы,

которые можно было сорвать прямо с ветки. Вишни и сливы не считались здесь лакомством. А яблоки были дешевле картошки, которая здесь росла плоховато. Кавунами и дынями были завалены привозы. И как часто ее завтрак в детстве состоял из куска душистого белого хлеба и таких же вот розовых яблок, как это, — сколько хочешь! У мамы Гали даже скулы заломило от воспоминания всего этого...

— Бедный ты мой Игорешка! — сказала она с жалостью. — Ну, ешь, мой хороший! Будет и на нашей улице праздник, Лягушонок! Будешь и ты когда-нибудь есть фрукты и не считать их за картофельное чудо! За картофельный выродок! Ешь! Оно вкусное-вкусное! — Мама Галя сделала вид, что откусывает яблоко, и изобразила на лице восхищение, что, впрочем, не затруднило ее, так как она вместо трех яблок, как в армянских сказках, что лежали перед ней: «С неба упали три яблока — одно для того, кто рассказал сказку, другое для того, кто слушал, третье — тому, кто еще расскажет!» — она видела горы их, как в том далеком городе ее детства. Игорь откусил яблоко. И тотчас же оценил его по достоинству. В зубах его захрустело. В глазах его заблестело.

— Вкус-но! — сказал он.

— Еще бы не вкусно, Маугли! — звонко сказала мама Галя и подняла одним рывком своего Лягушонка с пола вверх на вытянутых руках. — Еще бы не вкусно! Это яблоки! Яблоки! Яблочки!

И тут волшебная лампа Аладдина вдруг осветила несколько пятнышек на полу. Это не был сок яблока. И у мамы Гали гора свалилась с плеч. Она любила своего сына — и как! Но... Неужели надо было опять пройти через адовы муки, бессонные ночи, переживания за маленького и за себя, когда все так неясно впереди, когда недостатки терзают душу и выматывают нервы, когда болен муж, когда силы на исходе? Ах, Аладдин, Аладдин!

Мама незаметно стерла пятнышки носком туфли и опустила Игоря с поднебесной высоты, куда вознесла его.

...Потом они обедали втроем — папа, мама и Игорь. И суп походил на домашний и был заправлен настоящим перцем, и второе источало аппетитные ароматы и было настоящим мясным.

— Чудеса! — сказал папа Дима, услышав рассказы жены о любезностях Аладдина, и задумался. Хотя все это были подлинные чудеса, несравненно более чудесные, чем сказочные, он невольно подумал не об Аладдине, обладавшем волшебной лампой, а об Иване Николаевиче. — Чудеса! — повторил он и усмехнулся. — Знаешь, мама Галя, у твоего Аладдина три крупных недостатка: во-первых, он рябоват, во-вторых, он обременен хорошим животиком; или, как говорят, он полный, в-третьих, у него неистребимая страсть к лозунгам!

— Я тебя не понимаю! — сказала мама с недоумением.

— Но он всегда человек. Даже если вдруг начинает говорить как передовица газеты. Я, наверно, люблю его даже...

— Кого?

— Аладдина, мама Галя!

В эту минуту в дверь раздался негромкий стук.

Вихрова открыла дверь. На пороге показалась Фрося. Она не вошла в комнату, лишь замахав отчаянно ладошкой в ответ на приглашение, и в свою очередь поманила Вихрову к себе. Чуть заметно пожав плечами, мама Галя вышла. Что за секреты? До сих пор Вихрова не замечала за своей соседкой особой к себе привязанности.

Фрося, почему-то пунцово-красная, протянула Вихровой половину кетины. С розовыми плавниками, голубым бочком и темной спинкой. Розовый, жирный срез рыбыны был влажным. Вихрова недоуменно поглядела на Фросю.

— Мы на рыбе работали вместе с товарищем Вихровым! — пролепетала Фрося. — Так нам выдали. Тем, кто работал, значит! Всем, конечно. Ну... я взяла на себя и на товарища Вихрова. Вот! — Если можно было бы покраснеть еще больше, Фрося покраснела бы, но это было уже невозможно, и она судорожным движением протянула рыбину Вихровой, стремясь кончить разговор.

Вихрова помедлила, озадаченная ненужным волнением Фроси.

— Только вы ему не говорите ничего! — сказала Фрося. — А то он откажется... Из гордости...

— Хм! — сказала мама Галя, но рыбину взяла. — Спасибо вам!

— Да уж чего там! — сказала Фрося, поспешно скрываясь в свою комнату. — Вам спасибо за то, что моих ребят нагодували!

Когда мама Галя вернулась, папа Дима с искренним удивлением уставился на рыбу в ее руках.

— Тебе за работу! — сказала мама Галя.

— Чу-де-са! — сказал Вихров совсем другим тоном. Краска бросилась ему в лицо. Он вдруг явственно увидел разбитую бочку за бортом и затем — на ее месте! — желтоватое некрасивое пятно, вспомнил вдруг сверток в руках Фроси, за который она держалась при посадке в грузовик, как за свою жизнь, и стал подниматься с места, насупив брови.

— Сиди уж! — сказала жена тем тоном, который показывал, что в действие вступает ее комендантский час и что полномочия всех иных властей теряют силу. И Вихров опять опустился на стул. Он нахмурился. Мама Галя взглянула на него и добавила: — И не переживай, пожалуйста. В любом городе найдутся всегда те сорок праведников, из-за которых бог не позволит его разрушить...

«А что я могу сделать? — спросил себя Вихров. — Вернуть Луниной — это еще вовсе не значит сделать то, что следует! А если сделать то, что следует, то что из этого получится? Ей надо двоих поднимать на ноги. Ну, не взяла бы она, взял бы другой! А вывод?» И папа Дима вступил в схватку со своей совестью. Они боролись довольно долго. Иногда совесть клала его на обе лопатки, и он просил пощады. Иногда ему удавалось прижать ее так, что она начинала задыхаться. Принципиально совесть была сильнее, но... Тут папа Дима начал задыхаться сам, и не в переносном, а в прямом смысле — сказались и работа на ветру, и усталость, и расстроенные нервы, и он сказал совести: «Ну, это нечестно! Лежачего не бьют! Не могу я сейчас с тобой тягаться!»

Приступ ослабел только к позднему вечеру.

Вихров вытянулся на своей кровати возле мамы Гали и впервые за весь день вздохнул свободно, без натуги, и счастливо улыбнулся: кажется, пронесло! Он осторожно сунул руку под одеяло мамы Гали и положил ладонь на ее горячее плечо. Он любил засыпать так, чувствуя ее возле себя, прислушиваясь к ее ровному дыханию. Закрыл глаза. Тотчас же в его глазах зародились огненные, разноцветные точки, кружки, полосы — словно какие-то пылающие звездные миры, которые сходились и расходились, то рождая целую бурю ярких красок, то темные туманности. Тикали часы в столовой, тикали часы на руке папы Димы, тикали часы мамы Гали на ночном столике. Вихров задремал под это тиканье. И внезапно он увидел перед собою лицо Зины: удивление и растерянность и еще что-то были написаны на этом красивом лице, глядевшем на него в упор. Сладкая ломотка повела Вихрова. «Ф-фу!» — сказал он мысленно и опомнился, и лицо Зины растаяло в одной из туманностей, созданных движением крови в теле Вихрова. Он открыл глаза. В полумраке неясно светлело лицо мамы Гали, и каштановые волосы ее рассыпались по подушке. Папа Дима приподнялся и прикоснулся к ее губам, от которых струилось тепло и чуть слышный запах помады. Лю-би-мая! Он потянулся к ней.

— Нельзя, папа Дима! — сонным голосом сказала мама Галя.

— Ну-у! — просительно, шепотком, произнес Вихров.

— Не понимаешь? Маленький, да? — Мама Галя высвободила из-под одеяла руку и горячей ладонью коснулась его лица. — Ой, как я хочу спать!

И уснула мгновенно, так и не отняв руку от его лица, уже зараставшего колючей щетиной. Она всегда засыпала так, как засыпают дети, не закончив начатой фразы, на полуслове. Вихров поцеловал ее ладонь, уместился поудобнее, повздыхал-повздыхал и успокоился.

ЛЕДОХОД

1

Кончался апрель тысяча девятьсот сорок пятого...

В последние дни апреля над Амуром нависает призрачная сиреневая дымка, и наступает полное безветрие, и воцаряется какая-то сказочная тишина, какой-то трепетный покой в природе... Безветрие здесь редкость, дорогой подарок всем, вызывающий ощущение праздника. Хехцир и высокий берег образуют широкий коридор между двумя низменностями. И разность давления гонит по этому коридору воздух с такой силой, с такой скоростью, при которой парашютисту запрещается прыгать. Ветер бешено мчится над гладью великой реки. И, как разбойник, врывается на улицы города. Он, кажется, смел бы прочь этот город, мешающий его разбегу. Он очень затрудняет жизнь людям, которым нельзя запретить ходить на работу, развлекаться, назначать свидания и просто гулять. Ветер сдувает с горожанина шляпу, если он носит этот головной убор, а если он увенчивает свою особу пролетарской кепочкой — задувает в рукава и достает холодной и пыльной струей до самого сердца, заворачивает полы пальто и колоколом надувает широкие штаны мужчин, что еще более отдаляет их от идеала красоты в образе Антиноя, а на женщинах, совсем уж по-хулигански, как это делали в свое время заудинские ребята-староверы, когда приходило время высматривать себе невесту, задирает юбку на голову. Это очень забавляет местных антиноев, но смущает и возмущает городских афродит, которые вынуждены всегда одною рукою придерживать юбки, чтобы не слишком баловать вторую половину населения города.

И вдруг — тишина. Антинои приобретают человеческий вид даже в своих широких штанах. Афродиты же вновь могут располагать своими обеими руками одновременно, а не по очереди. И улицы наполняются гуляющими — и во время мира и во время войны.

Сиреневая дымка легка, прозрачна, покойна. Она странным образом размывает очертания знакомых окрестностей. Они видны, но совершенно мягки, точно нарисованы пастелью. И Хехцир теряет свою тяжесть. Громада его становится похожей на синюю тучу, которая все никак не может подняться на небосвод. И лед и снег, покрывающие гладь великой реки, принимают призрачный цвет этой дымки и сливаются с ней, и снег исчезает на глазах, и лед истончается, и

зимние дороги пустеют, и коричневые ленты их становятся прозрачными.

Подобная тишина бывает перед грозой, перед первым снегом и перед ледоходом. Словно, притихнув, природа собирает силы, чтобы устроить переворот в привычном течении дел. Так тигр сжимается в комок, вбирая когти и почти закрывая глаза перед прыжком. Пусть извинит меня читатель за такое сравнение, но я от рождения язычник и природа для меня — живое существо, хотя это и не согласуется с нашими научными квалификациями. И облака на небе для меня — либо стадо животных, либо толпа людей, и с деревьями в поле меня тянет поговорить по душам, и колючий чертополох — личный мой неприятель, и собаку, лающую на меня, я бы понял от слова до слова, если бы она лаяла помедленнее, так как иностранные языки легче понимаются, если говорить не в темпе. В этом мы с Генкой совершенно похожи, и мне нравится то, что он иногда разговаривает с животными и с предметами, что случается и со мной.

Уже два дня бомбардировщики летали над мостом. Уже весь город знал, что лед рвут на всякий случай, чтобы облегчить мостовым опорам ту невероятную тяжесть, которая навалится на них, когда лед тронется. Уже с Арсенала в конце смены непременно бежали не только мальчишки — ученики металлистов и девичьи бригады, но и старые кадровые рабочие, чтобы потолкаться на берегу и посмотреть своими глазами, как пойдет река. Кто знает, какие надежды каждый связывал с подвижкой льда, с наступлением весны, но каждому хотелось увидеть этот ледоход и почувствовать вновь то движение души, которое возникало неизменно у каждого, кто его видел. Весна же!..

Ледолом начался на рассвете, как всегда это бывает, в который раз обманув людей. Те, кто жил на высоком берегу, услышали мощный гул. Он прокатился раз, другой, словно залп. Это было сигналом для тех, кто жил на низком, затоплявшемся берегу, — они потащили свои пожитки на чердаки, туда же понесли и железные печурки: намерзнешься под стрехой, как малая птаха, пока сорвет ледяной покров с реки и вода, подступившая к домам, медленно вернется в берега.

И утром, когда Генка полетел в школу, расположенную на высоком берегу, на улице имени одного поэта, до разумения которого Генка еще не дорос, он с жадностью вглядывался в пойму реки, в очертания берега. Вот! Вот! Уже на берег выпятило ледяной припай. Льдины вползли на берег и подрезали желтые запретительные надписи, что неделю стояли на берегу, грозя крупным штрафом тому, кто осмелится бы воспользоваться ледовой дорогой, пересекавшей Амур, и, не дай бог, провалился бы под лед и утонул.

Парта Генки стояла подле окна.

Какие сегодня были уроки? Генка готов был к двойкам по всем предметам. Он и знал не много, но и то, что знал, все вылетело у него из головы, которая все время была повернута в сторону реки. Да один ли Генка! Весь клас был наэлектризован ожиданием. Все отвечали невпопад, все были невнимательными, да и учитель нет-нет и подходил к окну, и тогда было видно, что его язык и разговорный аппарат присутствовал на занятиях, а все прочее было там, на берегу, на котором и он в свое время простаивал в дни ледохода до полного умопомрачения и потери чувствительности несчастных конечностей, обреченных в эти дни на сырость так, что, казалось, и руки и ноги можно было выжимать, как выжимают белье...

— Лунин! Скажи мне, что называется определением! — услышал Генка как бы сквозь толстую стену вопрос учителя.

— Что называется определением? — сказал Генка, вставая и раскачивая доску парты так, как если бы задался целью оторвать ее. — Определением называется такая часть предложения... — Он задумался, как и положено во всех серьезных случаях жизни, когда надо что-то очень важное решить. Он потрогал себя за нос. Нос был на уставном месте. Он почесал в голове. И голова оставалась там, где ей следовало быть. Не было только в голове Генки того, что называется определением.

— Лунин! — сказал Вихров, которого в этот день попросили провести занятие в третьем классе, так как учитель русского языка загрипповал. — Лунин! Я не принуждаю тебя заново формулировать законы грамматики. От тебя требуется только сказать правило. Оставь в покое твой нос. Оставь в покое твои волосы, хотя их и следовало бы подстричь покороче! Ну...

Он ожидал ответа, глядя не на Генку, а в окно.

В окно же глядел и Генка.

Амур во всей своей красе простирался перед ними. Вот берег Красной Речки. Вот левый берег, по существу остров, на котором летом располагается пляж. Вот чуть подальше, там, откуда тянутся в тихое небо голубые дымки Осиновой Речки, виднеются на берегу стога прошлогоднего сена, которые непременно снесет при ледоходе. Вот дорога — санный перевоз через Амур. Вот... Что же называется определением? Определением называется...

И вдруг Генка похолодел от восторга.

Он увидел, как санный перевоз разломилась пополам и часть ее, выходящая на приплек излучины, медленно поехала вниз по течению. Поехала-поехала и остановилась. Теперь на льду было две дороги, которые не вели никуда: дорога с того берега доходила до середины реки и обрывалась — перед ней было чистое поле, дорога с этого берега, на некото-

ром отдалении, тоже доходила до половины реки и утыкалась в чистое поле, точно обрезанная ножом.

И Вихров видел это. Невольная улыбка засияла на его хмуром лице. Он довольно потер рука об руку: еще бы — такое зрелище! Он писал стихи — для себя! — и то, что он увидел, возбудило в его голове целый ворох мыслей. Губы его зашевелились:

Дорога! Всегда мы ездили по ней...
И — вдруг поехала сама дорога,
Порвавшись пополам. Как створки двери,
Разошлась. Ворота в новую весну!..

Вихров даже опешил. Все! Совершенно готовое стихотворение! Четыре строчки по одиннадцать слогов. И мысль, кажется, выражена достаточно ясно: ворота в новую весну! Не Хайям, конечно, но...

— Хорошо, Луни! — сказал он довольно. — Можешь садиться. — Генка удивился. В этот момент прозвенел звонок. И все, кого до сих пор сдерживала хоть какая-нибудь дисциплина, кинулись к окнам. Изумление и восторг, написанные на лице Генки, рассеянная и довольная улыбка Вихрова давно уже приковали внимание всего класса к реке. Если бы не чужой учитель — никто бы не стал дожидаться звонка.

Взглянув на ораву у окон, Вихров вышел из класса. У него было сегодня всего четыре часа, и он располагал собою до конца рабочего дня.

— Я, я! Я первый увидел, как она сдвинулась! — в восторженном опьянении кричал Генка, словно это по его воле, его силою подвинулись льды. — Я! Я первый!

Он вдруг вырвался из груди учеников, готовых выдавить стекла и раздвинуть стены школы. Новая мысль пришла ему в голову. Он сказал торопливо:

— Айда на берег! Кто хочет?

— А группа? — спросил кто-то нерешительно.

— Да ну ее! — отмахнулся Генка точно так, как отмахивался его отец, когда кто-нибудь пытался воздействовать на него чьими-то авторитетами.

— А обед?

— Да ну его! — ответил Генка тем же тоном и пожал плечами. В данный момент ему не хотелось есть: какая еда, когда лед тронулся! — и он устремился в распахнутые двери, подавая личный пример наиболее увлекающейся части своих однокашников.

Их словно ветром выдуло из класса и из школы. На одно мгновение этот ветер задержался в раздевалке, поднял вверх всю одежду, но в следующий момент вынес их на улицу. Они чуть не сбили с ног Вихрова и его друга Сурена — но, кажется, даже и не заметили этого. Стаей галок перемахнули они через мостовую. По огородам, через плетни и задворки,

сорочьей дорогой выскочили на высокий берег и стали спускаться с него к воде — тоже напрямиком, то на ногах, цепляясь за все, что могло служить опорой, то на задку, что вовсе не способствовало сохранению штанов и пальто, перед которыми родители ставили всегда только одну задачу — продержаться как можно дольше в пригодном для носки виде.

Вихров и Сурен, преподаватель географии, сговорились пойти на берег, чтобы не пропустить ледоход. Сурен — высокий и то церемонно-вежливый, то наивно-простодушный, что попеременно выражалось на его лице с коротким, вздернутым носом, большими, навывкат, светлыми глазами, чуть расстегнутым всегда ртом и упрямым подбородком, который на семерых рос, а одному Сурену достался, — проводив ребят взглядом, сказал торжественно:

— О, детство золотое! Как бы хотел я помчаться вместе с ними!

— Ну, помчись!

— Не могу, мой дорогой! — Сурен огорченно развел руками. — Положение обязывает! Мы педагоги, дорогой мой!

— А я думал, мы пингвины! — усмехнулся Вихров.

Сурену всегда нужно было время для того, чтобы понять своих собеседников. Он молча сделал несколько шагов, и лицо его приняло при этом сосредоточенное выражение, и рот сомкнулся. Потом он одобрительно покачал головой, потом заулыбался, потом хлопнул Вихрова своей длинной, тяжелой рукой по плечу так, что тот споткнулся на ровном месте, и сказал:

— А ты шутник!

И, чуть покачиваясь на ходу, как пингвин, и заложив руки за спину, он пошел вперед, при этом то и дело полуоборачиваясь к спутнику, чтобы подчеркнуть свою внимательность...

— Иди, иди, Сурен! — сказал Вихров. — Со мной ты можешь забыть о законах большого света. Я ведь из самых низов: отец у меня ярославский чистоплюй, а мать — нижегородская водохлебка...

— Остроумно! — сказал Сурен и опять остановился. — Слушай, дорогой мой, а не позвать ли нам с собою нашего друга Андрея Петровича? Ему, видимо, как мне кажется, тоже хотелось бы повидать ледоход...

— Не позвать! — сказал Вихров. — Во-первых, у него еще два часа в школе. Во-вторых, мы уже пришли на берег. И если ты хочешь, чтобы Андрей разделил с нами удовольствие, тебе придется лезть в гору и идти обратно в школу.

— Хм! — сказал Сурен и задумался. После паузы он сказал: — Мне кажется, ты в основном прав...

На берегу, точно кайры на птичьем базаре, толпились, кричали, валялись и бегали мальчишки. Сколько же было их тут! И это в разгар учебного дня...

— Если бы я имел власть, — сказал Вихров, — я бы в день ледохода, в день первого снега и первого дождя закрывал бы школы — пусть ребята наслаждаются полностью!

— Когда я буду президентом республики, я подпишу об этом указ, — сказал важно Сурен и царственно наклонил голову.

— Если бы я имел власть, — сказал Вихров, — я установил бы новые праздники. День первого урока. И закрыл бы все учреждения, чтобы родители в этот день могли дожидаться выхода своих детей из школы и жить весь день для них, только для них! Я установил бы также и День совершенноголетия — тридцать первого декабря каждого года — и в этот день пусть веселятся все те, кому исполнилось восемнадцать в минувшем году. Я открыл бы им в этот день двери всех концертных залов, театров, музеев, всех кино и Дворцов культуры — бесплатно. Человеку только раз в жизни исполняется восемнадцать лет!

Сурен серьезно посмотрел на Вихрова и, прижав руку к своему доброму сердцу, серьезно сказал:

— Когда меня изберут президентом республики, я подпишу указ и об этом. И меня будут помнить всегда, даже если я ничего, кроме этого, уже не сделаю...

Тут услышали они тонкий, шелестящий, звенящий, словно рожденный этой сиреневой воздушной пеленой, что висела над Амуром, неповторимый шум. Река тронулась. Тяжелые, рыхлые, набухшие влагой льдины лениво полезли на берег, вспахивая песок и буграми вздувая гальку, разворачивались медленно, будто в раздумье — стоит ли? — крошились, ломались и опять окунались в воду, которая все чаще стала проблескивать между льдин. Это был уже не тот лед, зимний, что толстым панцирем покрывал реку, защищая ее текучие воды от свирепого мороза, крепко держал санные пути — плотный, слитный, сильный, синий. Теперь он был словно бы из длинных, тонких, стеклянных, звонких иголок и расседался, едва встречал какое-то препятствие. И шелестели, распадаясь, эти длинные, искрящиеся, колючие льдинки. Каждая из них была мала, но их были миллиарды и миллиарды. Их было столько, сколько капель воды было в этом льду, и они-то и создавали эту нежную музыку весны, это необыкновенное звучание, ни с чем не сравнимое и неотделимое от самого слова — весна!

2

У Ивана Николаевича полезли глаза на лоб, когда он выслушал свою Марию Васильевну. Она же сказала:

— Товарищ из отдела культов их не устраивает. Иван Николаевич! Они непременно хотят видеться с вами. Они в

приемной. Целая депутация. Пожилые. Мужчины и особенно женщины...

Иван Николаевич почему-то почувствовал себя крайне неловко. «Депутация верующих! Вот это номер, чтоб я помер! Видно, дело важное, если они не хотят разговаривать с работником среднего звена. Не принять? Жалобу, сволочи, напишут — расхлебывай потом!»

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! — сказал Иван Николаевич озадаченно.

— Тронулся, Иван Николаевич. С утра! — сказала Марья Васильевна, имея в виду ледоход и несколько сбита с толку разбросанностью мыслей председателя исполкома.

— Не то, Марья Васильевна! — сказал Иван Николаевич. — Эту фразу говорил в свое время Остап Бендер, когда попадал в тяжелое положение. Помните?.. А на ледоход я сбежал поглазеть еще до прихода на работу. Так и прет! Так и прет! Ох, сколько раз я его видел, и каждый раз одно и то же чувство — восторг и страх: какая сила! — Он помолчал и добавил: — А вот разговаривать с верующими... Я начинаю чувствовать себя Остапом Бендером. Ведь я в юные годы с комсомольцами-безбожниками лазил на церковные купола кресты сбивать!

Марья Васильевна дипломатично молчала. Председатель вздохнул:

— Пригласите их!

И они были приглашены.

— Здравствуйте! — сказал Иван Николаевич. Хотел было по привычке добавить «товарищи», но у него словно глотку перехватило: все, что было связано с религией и церковниками, вызывало у него сложные чувства, — он мог, если это надо было, уважать убеждения верующих, но он не мог верить им. Это были люди двух хозяев — боженки и закона. И Иван Николаевич принадлежал только одному — закону, разумея при этом только то, что согласовалось с его партийной совестью. А его партийная совесть вставала на дыбы при виде попов и тех, кто готов был становиться перед попами на колени и целовать им руки — таким же грешникам, а может быть, во сто раз худшим! Однако он смирил себя. Встал с кресла, когда они вошли. И заставил себя взять пальцы в замок, для того, чтобы выслушать граждан верующих.

Граждане. Верующие.

Выдерживая приличную паузу, необходимую в важных делах и при встречах с видными людьми, они молчали, тихо-хонько усаживаясь на кресла в кабинете. Двенадцать человек, как двенадцать апостолов. Церковный совет. Несколько старушек, чистенько одетых в темное, в платочках, чинно повязанных под подбородком. Так искони повязывают платок

женщины на Руси. Но в этих было что-то особое. Под обыкновенным платком был повязан другой, тонкий, черный, обрамлявший простые лица строгой линией. У двух, кроме этого черного платка, под ним был еще и белый платочек, так же строго повязанный. Смутное воспоминание шевельнулось в памяти Ивана Николаевича. Где и когда он видел нечто такое же? «Ой! Монашки! — даже с некоторым страхом сказал он себе. — Да как же они, Христовы невесты, сохранились-то все эти годы? Вот гадюки!» Впрочем, он велел себе относиться лояльно к пришедшим. Все-таки они ему в матери годились, какими бы они ни были и чем бы ни занимались, да и мать его был верующей, и когда он, молодым комсомольцем-богоборцем, предъявил ей ультиматум — выкинуть иконы из дома, она сделала это, сказав только загадочную фразу: «Не судите, да не судимы будете!» Среди пришедших были мужчины — один глубокий старик со слезящимися глазами, полуглухой и, видимо, выживший из ума; второй — лет сорока пяти, явно продувной, что так и сквозило через маску смирения и отрешенности, благообразия и покорности, которая была приклеена к его невыразительному, гладкому лицу лицемера и ханжи...

Однако это были, пожалуй, артисты ансамбля. А солистом был один — плотный, хорошо сложенный мужчина лет пятидесяти со спокойным, уверенным лицом человека, знающего, чего он хочет и что делает. Невысокого роста, он казался крупным, то ли потому, что был выше средней упитанности, то ли потому, что держался, зная себе цену и понимая, что он существует на свете не сам по себе, а как выразитель воли вот этих сырых, блаженненьких, что сидели чуть позади него, не сводя с него глаз. «Закоперщик! — подумал Иван Николаевич. — Такие во время коллективизации в алтарях кулацкие обрезы прятали! Такие у нас переходчиков из Маньчжурии в своих квартирах принимали!» Но он выразил на своем лице внимание, только внимание и ничего больше. В конце концов, верить или не верить в бога было делом совести: верующих за все их дела на земле ожидал Страшный суд на небеси, но и соответствующим учреждениям на грешной земле тоже не полагалось разевать рот, ежели что...

Самая маленькая из старушек, почти невидная в своей одежке, сказала Ивану Николаевичу:

— Ты-ко, батюшко, послушай, что отец дьякон скажет! Да у нас и бумага есть.

Солист, откашлявшись, пристально поглядел на председателя.

— Верующие трудящиеся в годы войны проявили верх сознательности и преданности родной советской власти! — сказал он. «Ишь ты, как выговаривает-то! Прямо-таки родной!» — удивился Иван Николаевич, сохраняя на лице вежливое внимание к посетителям. Солист продолжал: —

Об этом ясно говорит патриотический поступок патриарха всея Руси святейшего Алексия, положившего на алтарь отечества дары своего пламенного сердца — личную панагию стоимостью в пятьсот тысяч рублей, принятую правительством в фонд обороны. И мы, скромные сыны родины и православной церкви, не скудели в своих стараниях подпереть свою армию, изгоняющую нечестивого врага — порождение сатаны! — и ввергающую его в геенну огненную.

Скромный сын родины и православной церкви говорил на русском языке, и все же Ивана Николаевича стало охватывать какое-то странное чувство, будто он читает какую-то очень уже старую книгу, которую и понять-то сразу нельзя. Он невольно покрутил головой, переводя сказанное на удобопонятный язык своих дней. Старушки согласно закивали головами, с настороженностью и умилением следя за плавной речью дьякона. Но последний, отдав должное политесам и поняв, что председатель исполкома в настоящую минуту не слушает его, а буквально продирается с топором через чащу его словес, перешел на будничный язык.

— Мы весьма, — сказал он, — благодарны советскому правительству и партии за внимание к нуждам верующих, естественное, если обратиться к развитию событий в дни войны, когда и вера стала оружием борьбы с гитлеровским нашествием!

«Ох ты! — сказал Иван Николаевич мысленно. — Вот это пропагандист и агитатор! Здорово завернул!»

— Однако в нашем городе, — продолжал «пропагандист и агитатор», — верующие лишены возможности собираться в храмах за их отсутствием, так как в свое время они были отобраны и обращены на нужды гражданские...

«Это верно! — сказал себе Дементьев. — Чего нет, того нет!»

— До сих пор верующие собирались в домах отдельных граждан. Это неудобно и для верующих, да и для общественных органов, призванных следить за соблюдением порядка! — При этих словах, Иван Николаевич готов был поклониться, на устах отца дьякона заиграла откровенно насмешливая улыбка, но он продолжал спокойно: — Положение это не соответствует конституции! Мы, по уполномочию верующих города, просим возвратить церкви здания, приспособленные к отправлению религиозных обрядов. Наши послания об этом отправлены главе православной церкви, но нам думается, что этот вопрос можно решить и здесь. В рабочем порядке. Это первое!

— Один! — сказал Дементьев, невольно загибая пальцы, чтобы ничего не забыть, — старая, детская дурная привычка, над ним смеялись друзья, — чтобы не забыть тех дел, которые входили в компетенцию председателя исполкома, ему нужно было загибать пальцы не только на своих руках, но и на ру-

ках всего штата исполкома! Избавиться от этой привычки председатель не мог.

— Второе, — сказал закоперщик, — тоже можно решить на месте, не дожидаясь того, когда епархия сможет при-слать духовных лиц, окончивших семинарии или академии. До сих пор все обряды отправлял я, рукоположенный только в диаконы. Это тоже не соответствует нуждам верующих. Между тем в городе живет священнослужитель, оставивший за годы своего пастырского служения благодарную память в сердцах прихожан. Мы просим освободить его от нынешней светской службы, чтобы он мог вернуться в лоно святой церкви!

— Два! — сказал Иван Николаевич и приготовил третий палец.

Но закоперщик протянул ему бумагу, сказав:

— Вот прошение верующих! Оно подписано нами по уполномочию пяти тысяч верующих, которых подписи тоже собраны, но не представлены, так как, вы знаете, коллективные заявления приравниваются гражданскими властями по своему значению к документам фракционной борьбы...

Тут Иван Николаевич растворил рот, да и не закрыл его от изумления. «Троцкист или бухаринец, сукин кот! — сказал он чуть не вслух. — Все ходы и выходы знает! отец ди-а-кон, козел тебя забодай!»

Он взял бумагу, прочитал, и его бросило в краску.

— Ну-у! — не сдержался он.

В прошении говорилось ни более ни менее как о том, что верующие просят передать под храм здание Дома Красной Армии. Иван Николаевич даже задохнулся. Вот размахнулись! Что же это, на самом деле, происходит? И откуда у них нахальства набирается? Что же такое произошло, что они осмелели?

— Почему же только Дом Красной Армии? — спросил он, свирепея. — Почему, например, не приспособить для этой цели здание Исполнительного комитета?

Солист промолчал. Но тут та самая тихая старушка, которая называла Дементьева батюшкой, вдруг поднялась со своего места и заговорила, точно горохом из мешка посыпала:

— Стоял на Лысой площади Софийский собор, никому не мешал. Разобрали его в одна тысяча девятьсот тридцатом. Камешек-то только на сто сажен вправо перекинули — все-го-то и делов. Из святых камней Дом офицера сложили, как есть. Это еще в кои веки мы с силою соберемся, чтобы второй-от собор скласть, а все дешевле выйдет новый дом на старое повернуть. И хундамент святить не станем, только внутри покадить придется да молебен справить. Вот и все!

— Софийский-то строили на трудовые грошики! — добавил тот, у которого слезились глаза. — Я и то походил по краю. С кружечкой. На построение. И воздвигли...

Лицо Ивана Николаевича потемнело. Солист мягко наклонился к нему и осторожно взял прошение. На место его он положил другой лист бумаги, написанный тем же почерком. На этот раз речь шла о том, чтобы вернуть старое здание железнодорожной церкви, в которой после снятия колоколов и купола разместился финансовый отдел районного исполкома. Дементьев знал и об этом здании — по сути дела пятистенная изба, очень просторная, вместительная, с печным отоплением. Все равно ее освободят, как только построят здание исполкома. Это уже другой разговор...

Солист каким-то бархатным голосом сказал:

— Тут у нас мнения были разные. Я лично считаю второй вариант более реальным. Правда, здание пришло за это время в ветхое состояние, но мы егоотремонтируем...

— Да, конечно! — сказал Дементьев, немного остывая от раздражения, которое обуяло его после чтения первого прошения.

Черт возьми! Хоть бы кто-нибудь из них не проболтался о своих притязаниях! Эх-к их, что вспомнили! Иван Николаевич живо представил себе вскрытие гроба барона Корфа, неловкость при виде покойника, который словно нарочно явился в новый, советский мир, чтобы о чем-то этому миру напомнить, страх, когда в мгновение ока барон обратился в кучу праха, которая даже не пахла ничем, и затем веселые песни комсомольцев, которые работали на разборке здания собора, закрывавшего выход и вид на Амур. Видно, тогда он впервые в своей жизни пел, чувствуя себя сильным, как Микула Селянинович:

Долой, долой монахов! Долой, долдой попов!
Мы на небо залезем — разгоним всех богов!

Задор молодости, дерзость ее, смелость строителей нового мира — не соизволением божьим, а своей творческой волей! — звучали в тех вольных песнях. И когда весь камень перебросили и верно на сто сажен, на строительство Дома Красной Армии, а с площади вдруг открылся пейзаж красоты невообразимой — с высоты этого берега на пойменный левобережный остров, с бесконечными далями, с синими и голубыми переливами воздушной перспективы, с ощущением простора — какую радость почувствовали те, кто со смешанным чувством разбивали ломами и кирками, подрывали динамитом стены собора двухметровой кладки, рассчитанные на века господства над этой окрестностью. Они словно заново открыли народу Амур, снесши до основания это капище. И вот... «Что же дает им основания для этой дерзости? Мертвый хватает живого! — подумал Иван Николаевич и мысленно показал дьякону фигу с маслом: — Накося, вы-ку-си, от-че!

Пятистенку отдадим, конечно, черт с ней, все равно ремонтировать ее себе дороже, а с этим...»

— Решим! — сказал Иван Николаевич. И тут только понял, насколько искусно разыграл всю сцену солист в сане дьякона. Первая бумага и рассчитана была на то, чтобы сбить его с толку, возмутить и вывести из себя, чтобы тем охотнее он пошел на второй вариант. Черт возьми и еще раз черт возьми! Они и добивались-то только этой пятистенки. И не так уж просто будет выселить из нее отдел исполкома. А ей-богу, хорош отец дьякон, без мыла в узкое место влезет! И Иван Николаевич искоса поглядел на солиста. Но на лице того, кроме чувства живейшей благодарности председателю за помощь, в которой депутация теперь была уверена, он не прочитал ничего. — Решим! — повторил он, так как отступить было некуда.

Вторая просьба даже не возмутила, а как-то обессилила Дементьева. Священнослужителем, оставившим благодарную память в сердцах прихожан, назывался в поданной бумаге бухгалтер исполкома, которого сам Иван Николаевич знал лет десять как не хватавшего с неба звезд, но честного и исполнительного работника советского аппарата.

— Выясним. Разберемся. Удерживать не будем! — сказал он, и делегаты оставили его кабинет.

— Чепуха какая-то! — буркнул он и велел Марье Васильевне вызвать бухгалтера. — Георгий Иванович! — сказал он, когда через десять минут бухгалтер вошел в его кабинет. — Вы меня извините, что я оторвал вас от дела! Тут какое-то недоразумение выходит. Я бы даже сказал, что клевета на вас получается со стороны некоторых старорежимных элементов! — И Иван Николаевич смущенно и недовольно протянул бухгалтеру второе прошение своих неожиданных посетителей.

Бухгалтер взял бумагу. И по тому, как быстро он прочитал ее, даже не прочитал, а пробежал, как бы затем, чтобы убедиться в уже известном, Иван Николаевич понял, что эта бумага знакома бухгалтеру, а может быть, и написана им самим. И у него что-то заболело, закололо, потянуло в левом боку.

— Почему же клевета, Иван Николаевич? — сказал бухгалтер тихо, глядя не на председателя, а в окно. Тихий, незаметный, скромный человек. Про таких говорят: «Воды не замутит!» Темный пиджак, полученный по ордеру в крайторге, рубашка не первой свежести, без галстука, по-пролетарски просто застегнутая перламутровой пуговкой. Тиковые штаны, тоже не очень аккуратные. Крепкие сапоги. Мастеровой, как их рисуют в книжках о революции. Он был всегда чем-то озабочен, отчего слегка хмурился. Он всегда при разговорах утыкался в свои бумаги и денежные документы, будучи несколько близоруким. И Иван Николаевич вспомнил, что он

ни разу не видел глаза Георгия Ивановича. Разглядывая своего бухгалтера, Иван Николаевич впервые увидел его без выражения озабоченности. Такое лицо бывает у человека, принявшего твердое, безоговорочное решение и обретшего душевный покой. Мысленно Иван Николаевич приделал бухгалтеру пушистую, непременно пушистую, бороду и реденькие волосы пустил на воротник... Ох-х! Не клевета!

— Рукоположен в священнослужители в тысяча девятьсот двенадцатом году преосвященным епископом Мефодием Восточно-Сибирским и Маньчжурским. Пастырское служение нес до девятьсот тридцать второго года... до лишения прихода! — резанув слух Дементьева строем речи и словарем, сказал Георгий Иванович.

— А как же вы бухгалтером-то...

— По снятии сана обратился к властям с просьбою об устройстве жизни! — сказал бухгалтер. — Послали на курсы, учили. Я ведь добровольно от прихода-то ушел, по сознанию момента...

— А сейчас тоже добровольно? По сознанию момента? — не без яда спросил Дементьев, которому уже стало ясным, что придется бухгалтеру выплачивать двухнедельное пособие в связи с переходом на другую работу. Злость охватила его с новой силой. Черт возьми! Вот уж почешут языки городские кумушки! Вот уж поиздеваются над ним друзья, с притворным сожалением выговаривая ему: «Что же это ты, Ваня, десять лет под боком гада пригревал!» Он даже зубами скрипнул, представив живо, как в зале торжественных заседаний — Первое мая же на носу! — подойдет к нему толстый, словно боров, туго накачанный кровью и салом, так что он может повернуть голову только вместе с туловищем, заместитель председателя крайисполкома, великий мастер возвещать общеизвестные истины как собственное открытие, и скажет, глядя на него свысока своими оловянными глазами с красным белком: «Бдительности! Бдительности нам, товарищ Дементьев, не хватает. Бдительности! — И помолчав, добавит: — Надо учесть этот урок. Выводы надо сделать!» А ведь достаточно того, что по этому поводу ему придется докладывать и в горкоме и крайкоме партии — все-таки ЧП, да еще какое!

Бухгалтер не сразу ответил на едкое замечание Дементьева.

— Счастлив буду, если смогу еще послужить народу на ниве божьей! — как-то уж подчеркнуто независимо, уже не чувствуя Ивана Николаевича начальником над собой и своими действиями, проговорил бухгалтер, поворачивая голову к столу, — теперь только боженька, сыгравший недобрую шутку с председателем, мог указывать Георгию Ивановичу, что и как!

— Н-да! — сказал Дементьев, которому был испорчен весь день. Он помолчал и спросил зачем-то: — Как же теперь вас называть будут?

— Прихожане называют пастырей по крестному имени, с прибавлением слова «отец». Духовный, разумеется... Наставник в вере...

— Значит, отец Георгий?

— Значит, отец Георгий! — не приняв вызова, сквозившего в тоне Дементьева, спокойно ответил будущий пастырь.

Иван Николаевич уткнулся в свои бумаги на столе.

— Пишите, гражданин, заявление об уходе! — сказал он, не глядя на бухгалтера, от которого словно бы потянуло уже ладаном.

Отец Георгий тихонько вынул из нагрудного внутренне-го кармана сложенный вчетверо лист бумаги и положил его перед Иваном Николаевичем.

3

Подвижка льдов шла уже давно. Но они не решались еще ринуться в свой дальний путь никуда. Так толпа не решается войти в открытые ворота, пока кто-то первый не переступит их. Уже за мостом было не только ледяное крошево после подрыва льдов, после бомбардировки большой их площади, но и огромные разводья, в которых плескалась и стремительно текла к далекому морю свинцовая, холодная, тяжелая амурская вода. А за мостом льдины толклись на месте, пихая друг друга рваными боками, громоздились в торо-сы, налезая друг на друга, и все не хотели оторваться от берегов, отходя от приплеска и опять прикипая к нему...

Ребячий гомон стоял на берегу, вплетаясь в стройный шум ледохода. Замерзшие до синевы — с острова повеял ко-варный ветерок, а от разводьев так и дышало холодом, — ребята были не в силах уйти по домам, хотя все сроки уже про-шли и все занятия давно кончились. Трудно сказать, что дела-ли они там, когда мысль одного подхватывалась десятью раз-горяченными головами, развивалась и рождала новые, не ме-нее озорные и сумасбродные мысли и идеи. Легче сказать о том, чего они не делали, — они не сидели спокойно.

В Генке, государственная мудрость которого уже извест-на читателю, а осторожность также доказана многими при-мерами, в этот день словно проснулся какой-то бес. Он и ве-рещал и лез в самую гущу своих новоприобретенных друзей, уже получил от кого-то из них хорошую затрещину по носу, отчего украсился розовыми разводями, и в общей свалке пре-больно двинул какого-то верзилу ногой в стоптанном башма-ке и все кричал: «Я! Я первый увидел, как она сдвинулась! Я!»

Но с удивлением обнаружил, что его одноклассников в толпе ребят уже нет, — когда и куда они исчезли, кто их знает! Но это лишь прибавило ему храбрости и безрассудства: те, кто пришли позже, уже не знали, что Генка никогда не дрался, что ему всегда влетало как миленькому и что он хлюпик. А так как он в совершенном воспарении духа — словно бра- вый артиллерист, сужденный ему его звездой, уже начал воп- лощаться в Генку! — кидался с кулаками на ребят чуть не вдвое больше его; то получилось, что сын Фроси оказался на берегу чуть не главным заводилой: Стрелец и Марс!

Из его ватника уже лезла белая начинка, в ботинках хлюпала вода, из разбитой губы сочилась кровь, руки и рука- ва были мокры по локоть, и ширинка штанов расстегнулась, а он все не мог выйти из-под влияния своей планеты — был жестокосерд и кровожаден, жаждал власти и был груб!

Уже все знали, что его зовут Генка и что он все может.

— Генка! А ты можешь на край льдины стать? — кричал кто-то, и Генка, словно подхваченный вихрем, вставал на гре- бень громоздящейся льдины и пускал оттуда тоненькую струйку, чтобы показать свое презрение грозному явлению природы, и приводил в восхищение оравшую и мечущуюся массу. «Ну и Генка! Вот Генка так уж Генка!» — кричали его поклонники. Завистники же — так уж устроено: если кто-то вызывает к себе внимание, то немедленно возникают и за- вистники, так свет всегда рождает тень! — завистники крича- ли: «Генка! Слабо тебе через полынью!» И Генка тотчас же, примерившись и чувствуя, как что-то дрожит и дрожит у не- го внутри, перемахивал через полынью. Восхитительное чув- ство свободы, ничем не ограниченной, заглушало в нем и го- лод и осторожность — качества спасительные в ряде случаев жизни. Генка был точно пьяный от сознания этой невозбран- ной свободы. Не один раз в жизни Генка вспомнит потом этот день как день истинного счастья, и не один раз эта воль- ная, пиратская свобода поманит его. Может быть, лучше бы- ло бы, если бы в день ледохода Генка не был на берегу...

Желая показать свою удаль и презрение к опасности, ре- бята избегали на шаткие льдины, то и дело погружавшиеся то одним, то другим концом в воду, перепрыгивали с одной на другую, часто зачерпывая ледяную юшку в сапоги. А то, взявшись друг за друга, втроем или вчетвером нарочно раска- чивались и раскачивали льдины, устраивая шторм, и кричали, захлебываясь от радости и от икотки с холодухи, которая дав- но уже заставляла их дрожжи продавать, стуча зубами: «Мы — челюскинцы! Мы — челюскинцы! Со-ос! Сос!» А дру- гая гурьба таких же продрогших до мозга костей огольцов кидалась на льдину и спасала челюскинцев, рискуя нырнуть под лед всерьез и надолго...

В двух километрах от места всех геройских походов сорвавшихся в этот день с цепи ребят в Амур впадала Уссури.

И там весна вела свою работу, и там лед, сковывающий красавицу реку, тончал с каждой секундой, и там стосковавшиеся по вольному воздуху воды рвались из своей ледяной тюрьмы со всей силой тысячи километров протяжения реки и миллиардов кубических метров ледяной воды...

Глухой гул донесся с Уссури. Кажется, даже воздух затрепетал от этого залпа. И тотчас же огромное ледяное поле, от берега до берега, площадью в тысячи квадратных метров, сдвинулось с места, раздробилось, раскрошилось и с какой-то злобой, ярьась, вздымаясь вверх, преодолевая сопротивление и воды и ледяного месива на Амуре, тяжело ударило вниз...

Челюскинцы не слышали ничего этого. Они не видели ничего.

И вдруг, когда передался удар ледяного поля с Уссури, словно на железной дороге — от паровоза к вагонам, белая волна прошла перед глазами ребят и разом двинула вперед все те льдины, что толкались тупыми рылами в берег.

Но перед этим Генка, который в своем вдохновении не знал уже, что еще выкинуть, и видя, что очередная партия спасателей тащит на берег принципиальных челюскинцев, вдруг вырвался вперед, делая дикие и смешные скачки, и убежал так далеко, чтобы никто не мог ему помешать.

— Я — Папанин! — заорал он своим заячьим голосом, которому даже покровительство Марса не могло прибавить басовых ноток. — Я — Папанин!

Волна подвижки докатилась и до него. Вдруг перед ним разошлись льдины, образовав широкий и глубокий промой.

— Папанин! Папанин! Вот Генка так Генка! — услышал он с берега.

Увидав промой, Генка инстинктивно, даже не соображая, что делает, перепрыгнул его, как заяц, одним длинным прыжком, от которого у него треснуло в шагу. На берегу раздался хохот. И, услышав это, Генка остановился как вкопанный. К хохоту прибавился свист. Ребята что-то кричали. Шум в ушах мешал Генке слышать, но он и без слов понимал, что осрамился перед теми, кто еще минуту назад верил в его удачу. И тогда он таким же судорожным и жалким со стороны прыжком сиганул обратно на ту льдину, с которой его только что согнал страх.

Течение делало свое дело. Льдины разошлись. Со всех сторон Генку окружила вода. «Ура! — кричали на берегу. — Ура, Генка!», еще не понимая, что надо бы уже кричать не «ура», а «караул», потому что Амур — это река, а не весенняя лужица в огороде.

Генка забегал по льдине. Но едва он двинулся к одному, к другому ее краю, как она закачалась и стала зачерпывать воду. Генка остановился в ужасе, вдруг сменившем его щенячье опьянение. Он глянул на берег. И увидел, холодея еще больше, если это было возможно вообще, что ребята кинулись с

берега прочь. Видимо, они сейчас уже поняли, что игра их кончается несчастьем, и смывались кто куда от страха...

Льдина попала на стрежень, и ее понесло.

И, последовав незавидному примеру неверных кратковременных друзей Генки, улепетывавших по домам, Стрелец и Марс вмиг унеслись в недостижимые глубины вселенной, став смиренно на положенные им места и оставив на льдине взерошенного, заледеневшего, перемазанного, перепуганного мальчишку без каких-либо признаков артиллеризма и вообще мужества...

Кровожадный, жестокосердый, властолюбивый и грубый...

— Ма-а-ма-а! — закричал Генка, но кто мог услышать его!

Красивый город проплывал мимо Генки. Вот крутые холмы — один за другим. Вот красное кирпичное красивое здание, одинокое среди сада с облетевшей листвой. Когда-то здесь жил губернатор Гондатти, Генка! — а сейчас это Физиотерапевтический институт, тут делали однажды тебе рентгеновский снимок грудной клетки. Вот городской парк, Генка! — тут стоит заколоченная на зиму комната смеха, в которой ты ревел белугой, нечаянно раздавив одно из кривых зеркал. Дубы, липки, тополя, тополя, тополя, у которых уже стали набухать клейкие почки. Вот городской театр, Генка! — тебе надо было бы тут побывать на кукольном спектакле, это очень интересно. Вот знаменитый утес — убежище молчаливых рыболовов, любящих ловить рыбу в бешеной струе, которая несется мимо утеса, а сверху терраса, с которой так красив Амур! А вот торчит и пьедестал от бывшего монумента Муравьеву-Амурскому. Ах, ты еще ничего не знаешь о нем! Ведь только через несколько лет после войны выйдет книга о нем, а ее автор, хороший русский писатель, еще работает на радио и лишь догадывается о том, что известность его не за горами... Вот станция спасательной службы на водах, что притулилась в затишье, под защитой утеса. Генка, Генка! Это именно то, что тебе нужно сейчас больше, чем знание истории родного края, и вообще больше всех знаний, так как, если что-нибудь сейчас случится, ты уже ничего не узнаешь, даже о гибели своей во время ледохода!

— Ма-а-ама-а! — кричит Генка.

Плеск воды, шорох льдин заглушает его голос.

Но станция работает еще по зимнему расписанию. Там только один дежурный, бог знает для чего, может быть, только для того, чтобы станцию не растащили и не загадили такие архаровцы, как Генка. Дежурный выглядывает в окно и начинает материться. Так и есть, кого-то унесло на льдине! Вот гады эти утопающие, понимаешь ты, ну до чего же исхитряются... Плавсредства — на берегу, всюю идет конопатка, покрытие шаровой краской, понимаешь ты. Опять же, — на

коне, что ли, за ним скакать по льду? Пешедралом? Так ведь это не сахар, перевернулся — и хана! Дежурный звонит в парходство, по инстанции: «На траверзе мыса Бурный замечена льдина с живым существом. Докладывает дежурный Иванов». — «Так спасай, пока оно живое!» — «Да-а! Чем я его спасать буду, пальцем, да?» — «А у меня самолеты, что ли?.. Ну как он там?» — «Да утопнет, наверно!» — «Д-да! Это как пить дать утопнет!» — Телефон секунду молчит, потом оживленно добавляет: — Я его, сукинова сына, в бинокль вижу... Живой... Может, кто дальше поймает! Че-пе выходит, понимаешь, паря! Пойти начальнику доложить! Ну, пока! Наблюдай дальше!»

— Ма-а-амка-а-а! — кричит Генка и умолкает, обессилев.

4

В сберегательной кассе тоже словно лед прорвало.

От клиентов нет отбоя. Они шли один за другим. В апреле состоялся тираж Займа обороны, и в самом конце месяца, тридцатого числа, будет тираж Золотого выигрышного займа. Фрося сразу же запарилась и от спешки и от страха просчитаться. Только теперь она смогла оценить дружеское расположение Зины и ее умение работать и поняла, что ее новая подруга знает свое дело.

Красивая Зина и работать умела красиво — уверенно, спокойно, точно. Лицо ее было улыбчивым, как всегда. Может быть, только чаще обычного она откидывала назад свои густые волосы да время от времени клала ручку на стол и делала несколько движений пальцами, чтобы размяться, — ей приходилось много писать, и у нее затекала кисть. Эти паузы могли бы рассердить клиентов, которые всегда начинали спешить, стоило им подойти к окошечку, посмотреть на большие часы в операционном зале, на свои — карманные или ручные, вздохнуть и переминуться с ноги на ногу, но тут Зина обращала к ним свое лицо, улыбалась, говорила: «Одну минутку!» или просто успокоительно кивала головой, и они затихали. Дорого бы дала Фрося за то, чтобы вот так — одним взглядом! — укрощать клиентов, которые в такие дни досаждали ей хуже горькой редьки, но это была только мечта, и Фрося понимала это — красные пятна пошли по ее немудрящему лицу уже на второй час работы, а лоб и нос покрылись крупными каплями пота, который она не успевала вытирать батиновым платочком, приобретенным по настоянию Зины. «Ты, Фросечка, женщина! — сказала ей как-то Зина. — Ну что ты вытаскиваешь из кармана целую бязевую простыню? Ты вынь из сумочки маленький платочек, красивенький — понимаешь? — и приложи его к лицу. Просто приложи! И не кидай

его на расчетный стол. Есть клиенты — ну, как тебе сказать... брезгливые, что ли. Сами они, быть может, дома и в свинюшнике живут и по году не моются, а увидят твой платок носовой на своих деньгах — и их аж перевертывает! На людях работаем, Фросечка!» По ее же настоянию Фрося сделала себе маникюр. «Ну, выгнал бы меня Николай Иванович из дома! — подумала она с запоздалым страхом, выходя из парикмахерской. — Сказал бы: «Иди, курва, на улицу, ежли таким делом занялась!» Вот ей-богу!»

Она еще не привыкла к своим лакированным ногтям, и руки казались ей красивыми, но чужими. И, пересчитывая деньги, она сбивалась со счета, невольно задерживаясь взглядом на розовых, удлинённых своих ногтях, поблескивавших в свете ламп, которые и днем горели в операционном зале.

Но Зина — откуда только у нее все это бралось? — успевала и клиентов обслужить, и на Фросю поглядывать, и подсказывать то и дело: «Фрося! Дай крупных! Куда товарищ будет девать мешок денег! Пять сотенных, а дальше дробь! Вот так!» Или: «Подружка! Не спеши — не на пожар!» Или: «Подпись поставь, Фросечка!»

И Фрося набирала деньги так, чтобы удобно и ей и клиенту, старалась не спешить и внимательнее приглядывалась к документам, с искренней благодарностью взглядывая на Зину.

Вдруг Зина, мельком взглянув на нее, сказала:

— Полюбуйся на нашего Фарлафа!

Кто такой Фарлаф, Фрося не знала, но знала, что если Зина называет кого-нибудь каким-нибудь чудным именем, то это, конечно, их председатель — то он был Тартюфом, то Гобсеком, то Иудушкой, то оказывался прыщом или шишкой, то превращался в командующего или Архистратига. По наивности Фрося думала, что Зина сама выдумывает эти слова, но однажды услышала, что председатель стал Ноздревым и Плюшкиным сразу. Это кое-что прояснило.

На Фарлафа и верно стоило посмотреть. Он почему-то то и дело показывался в зале и как-то мялся, то озирая посетителей, то задумчиво поглаживая подбородок, то, как-то словно против воли, подходил к окошечкам и отскакивал прочь, исчезая за дверью в служебный ход.

— И хочется, и колется, и мама не велит! — сказала загадочно Зина. — Томится...

— Чего это он? — спросила Фрося.

— Увидишь сама. Тебя ждет... Сейчас разыграет комедию.

Фарлаф опять выглянул из служебного хода. У Фроси в этот момент возле окошечка стало свободно. Фарлаф словно на крыльях ветра промчался через помещение и прилип к окошечку Фроси. Глазки его были красны, щеки пламенели тоже. Он как-то очень заботливо спросил Фросю:

— Товарищ Лунё... нина! Вы у нас в каких кружках состоите?

Фрося растерялась, не ожидая такого вопроса. Но и Фарлаф на ожидал ответа. В его руках вдруг оказались шестьсот рублей, поверх которых были прижаты еще девять. Фрося тарасилась на деньги Фарлафа и на его волосатый кулак.

— Три по двести. Золотого.

— ???

Зина, на которую Фарлаф почему-то не глядел, подсказала растерявшейся Фросе:

— Продай товарищу три облигации трехпроцентного займа достоинством в двести рублей каждая и получи в уплату за комиссию девять рублей! Неужели не ясно?

Получив облигации, Фарлаф сделал какое-то неуловимое движение. Облигации скрылись куда-то, в какой-то тайничок на его мощной фигуре. Он приосанился, опять обретя свою внушительность. Покровительственно посмотрел на Фросю и сказал отходя:

— Так я запишу вас. Надо все-таки работать над собой. Веселые чертики прыгали в глазах Зины.

— И хочется, и колется! — повторила она свою загадочную фразу. — А размаху нет. Мелочится. И только одни убытки. Дурак!

— Да убытки-то от чего? — посмотрела Фрося на подругу.

— Играет! — ответила Зина, и так как лицо Фроси выразило полное недоумение — на чем, мол? — она добавила тем тоном, которым иной раз Генка разговаривал с Зойкой, то есть тоном бесконечного превосходства, хотя Зине и несвойственно было выказывать людям ни презрение, ни сознание своего превосходства, она была добрая прежде всего: — Ничего-то ты не понимаешь в жизни, Фрося!

— Ну, скажи — понимать буду.

Но Зина отмахнулась своей красивой рукой:

— Потом. Это дело сложное.

В этот момент в сберкассу вошла Дашенька Нечаева. Фрося еще у дверей увидела ее, ладную, хорошую, приметную в толпе. Чем была она приметна, Фрося не могла бы сказать, если бы ее об этом спросили. Но Фросю всегда тянуло к простым людям с открытым сердцем, не таившим камня за пазухой, а Дашенька была именно такой. Впрочем, молодые девушки — самое совершенное создание природы! — всегда приметны своей молодостью, которая сообщает им особую прелесть во всем, непосредственность, живость, особый аромат. Открытое, милое лицо Даши сразу озарилось улыбкой, едва она, тоже от двери, оглядела стеклянную загородку, отделявшую работников сберкассы от стада посетителей, и тотчас же увидела Фросю.

Они не виделись с тех пор, когда Даша вместе с Фросей обегала все места, где надо было быть для устройства Фросиных дел. Как благодарна была Фрося за это Даше, — одной ей пришлось бы очень трудно в бюрократических блиндажах и долговременных укреплениях маленьких и больших начальников! Она только заметила, что чем меньше был начальник, тем неодолимее были сооружения, которые охраняли его от вторжения противника. Но все линии их обороны пали под стремительным напором Дашеньки. Иной раз она просто глядела на кого-то из командиров бюрократического фронта, как девочка, которая не знает ни-че-го, и покоряла своей трогательной беспомощностью и надеждой на именно этого товарища, который не мог обмануть, то вдруг на ее лицо набегало выражение упрямства, и голос ее начинал звенеть, как струна, и становилось ясно, что ни обещания, ни объективные причины, на которые ссылались, не помогут — ей надо дело! «Ах ты, доченька! Ладно уж, будь по-твоему!» — думали одни про Дашу. «До чего же хороша девчонка! Ладно, надо сделать!» — думали другие, глядя на нее. «Вот заноза! Воткнулась и — баста! — беспокойно думали третьи, но тоже кончали сакраментальной мыслью: — Ладно. Сделаем. Пускай!»

Дашенька подошла к окошечку Зины и приветливо сказала:

— Здравствуй, Зиночка! Сто лет не виделись...

— Здравствуй! — сказала и Зина, но вовсе без той охоты и радости, — чему были свои причины, ведь в мире все следствия вытекают из причин! — которых можно было бы ожидать, если две молодые женщины работали вместе, и потом расстались, и опять встретились. — Чего редко заходишь?

— Так ведь не по дороге, Зиночка! — простодушно сказала Даша. — Да и работы много! — Она рассмеялась. — Как белка в колесе!

— Крутись, крутись, колесико! — проронила Зина.

— Вот и кручусь! — Даша улыбнулась. — Ой, девочки, я по Займу обороны двести рублей выиграла. Вот чудно-то! — и она, кивая головой Фросе, как старой знакомой, подала Зине облигацию.

— Выиграла ты сто! — сказала Зина, ставя штамп погашения на радужную бумажку облигации. — Да возврат стоимости — еще сто!

— Не будь формалисткой, Зина! Двести! Ведь когда я платила за облигацию, плакали мои денежки? Плакали!

Даша недолго задержалась у окошечка Зины. С сияющей улыбкой подошла она к окошечку Фроси и сунула в окошечко свою маленькую ладошку. Фрося неловко пожала ее, вся зардевшись. Она бы и расцеловала Дашу, да через загородку неудобно, а выйти нельзя. «Сон в руку!» — подумала она, припомнив, что видела сегодня во сне окровавленного Генку. (Кровь видеть — к свиданию с близким человеком!)

— Ну как вам работается? — спросила Даша, от души желая, чтобы Фросе работалось на новом месте хорошо. — У меня, как говорят, рука легкая!

Еще бы не легкая! — сидит Фрося в тепле, на высоком стуле, с батистовым платочком в сумочке, с лакированными ногтями, к которым еще не может привыкнуть, но привыкнет, это ведь не к морозу, не к сырости привыкать!

— Ах, Дашенька! — Фрося вся светится, и даже ее лицо хорошеет как-то. — Я тебя в новую квартиру ждала, да и жданки поела...

— Новоселье устраивали? — спросила Даша, получая деньги — две сотенных бумажки, чтобы не занимали много места, которые, от чистой души желая услужить милой девушке, Фрося выдала ей, хотя такие суммы и выплачивала обычно более мелкими купюрами. — Надо бы квартиру-то обмыть, а то дом стоять не будет! — и Даша рассмеялась.

— Ой, и верно, стоять не будет! — сказала Фрося со страхом. — Да как-то все недосуг было, то одно, то другое, я и позабыла про новоселье! Да это можно! Может, на Первое мая соберемся, Дашенька? И праздник встретим, и квартиру обмоем, а? Старых-то знакомых я не буду приглашать — больно далеко. А соберемся я, ты, Зиночка, ребята, вы своих кавалеров пригласите, вот и повеселимся!

— А у меня кавалеров-то нету! — со смехом проговорила Дашенька и простодушно сказала: — может, Зиночка двух приведет!

Был ли в этом какой-нибудь намек или Дашенька сказала это в надежде на бывшую подругу, но Зина сверкнула глазами так, что Фросе неловко стало, будто от Зины потянуло сквозняком. Однако Зина смолчала. Лишь ответила на косвенное приглашение Фроси неопределенным покачиванием головы.

— Какую обнову купишь, Дашенька? — поинтересовалась Фрося.

Даша пожала плечами:

— Никакую. Мы на комсомольском собрании постановили — все свои выигрыши сдавать в фонд обороны.

— Платочек бы купить новый! — сказала Зина без улыбки. — Сколько лет у тебя этот?

— Куплю после победы, Зиночка! — сказала Даша как-то небрежно, видимо уколотая замечанием Зины. Она взглянула на свои ручные часики, потом на большие часы в операционном зале, послушала свои, неудобно подняв руку к уху, потрясла кистью, подкрутила стрелки и сказала с веселой досадой: — Останавливаются и останавливаются! Прямо не знаю, что с ними делать!

— Купи веревочку! — сказала Зина и повертела в воздухе рукой, словно что-то раскручивая на веревочке.

— Ну, я еще поношу их! — сказала Даша, поняв намек. После паузы она добавила: — Папин подарок!

Когда она стремительно отошла от перегородки, прошла через зал, стремительно распахнула выходную дверь, быстренько помахала маленькой, будто лепесток цветка, ладошкой, а затем, уж через окно, с улицы, еще раз улыбнулась Фросе, та с легоньким вздохом, сознавая, что ей никогда вот так легко, неслышно, быстро, красиво не ходить по земле, сказала:

— Ну чисто ласточка летает!

Зина, опустив голову, тихо заметила:

— Когда-то и я была такой... ласточкой...

А клиенты все шли, толкаясь, нервничая, спеша, словно их увлекал какой-то поток, неся, как вода несет щепу. И, заполняя сберегательные книжки, лицевые счета и рапортничку на выплыты и вклады, на дебет и кредит, Зина опять откидывала свои красивые волосы на затылок, закладывая за ухо движением своей красивой руки, на которой невольно задерживались взгляды клиентов-мужчин, и опять разминала кисть, и опять улыбалась стоящим у окошечка, унимая их нетерпение. Однако между делом она кинула Фросе невзначай:

— Фросечка! Ты Вихрову отдала рыбу!

Фрося вздрогнула от неожиданности.

— Ну как же, Зиночка! Как условились — от хвоста, мне головизна — лучше, суп ребятам сварить...

— Взял?

— Да я, Зиночка, хозяйке передала... А то неловко...

— Красивая она?

— Да как тебе сказать... — Фрося задумалась. Почему-то ей показалось, что Зине будет неприятно, если она скажет, что жинка Вихрова красивая, и она быстро добавила: — Как все!

Зина хотела еще что-то сказать, но к ее месту подошел капитан из военкомата. Фрося тотчас же узнала его. Еще бы не узнать: в те памятные дни она, столкнувшись с новыми лицами, которые так круто изменили ее жизнь, навсегда запомнила их. Правда, капитан уже не был так худ, как раньше. Нельзя сказать, чтобы он пополнил, но кожа на его лице как-то посвежела, стала глаже, выдавая его сытость и достаток. Едва увидев его у двери, Зина сказала Фросе:

— Приготовь-ка облигаций Золотого займа на десять тысяч.

Фрося хотела спросить — зачем? Но она уже привыкла слушаться Зину и быстро вынула из сейфа пятьдесят ценных бумаг и положила на виду. Капитан подошел к Зине. И по тому, как он посмотрел на красивую контролершу и поздоровался одним кивком головы, Фрося невольно вспомнила тот вечер, когда Зина не пошла с ней в детские ясли, а нехотя, но пошла с военным, лица которого Фрося так и не увидела, она

поняла теперь, что тогда ожидал на улице Зину именно этот капитан. Он же заполнил быстро расходный ордер на красной стороне бланка, дал его Зине, та проделала, что нужно было сделать в этом случае, и передала документы Фросе. Капитан брал наличными десять тысяч. Ого! Фрося невольно глянула на него. Капитан не смотрел на нее, а жадно наблюдал за Зиной, которая занималась своим делом. Но Фрося совсем была подавлена, когда взглянула на сумму остатка — пятьдесят тысяч рублей. У нее даже закружилась голова. Вот это мужик! Ай да капитан! В душе Фроси одновременно проснулись и уважение к капитану и какой-то страх: откуда у него такие деньги? Капитан протянул руку, чтобы взять свою книжку. Фрося сказала:

— А я вас сразу узнала! Вы мне помогли квартиру получить...

Капитан как-то весь сжался. И уже совсем другими глазами взглянул на Фросю — они были пустые, холодные. Казалось, ему было неприятно, что Фрося узнала его. Он молча кивнул ей. Денег он не взял, сказав:

— Дайте на эту сумму облигаций Золотого займа! — и тут же протянул Фросе сто пятьдесят рублей в уплату за комиссию.

Зина посмотрела при этом на Фросю и кивнула ей на приготовленные загодя облигации: «Дай эти!» Капитан молча сунул пачку за борт шинели, кивнул Фросе, взглянул на Зину, причем глаза его совершенно изменили выражение его лица, и вышел, поднеся руку к своей серой шапке со звездочкой.

Фрося невольно обернулась к Зине. Лицо ее порозовело.

— Видала? — тихонько обратилась Зина к подруге. — Ты не смотри на него, что он такой снулый, — хватка у него волчья. Играет крупно, откуда только у него смелость берется! — Она подумала и прибавила: — Смелость ли, жадность ли...

Опять «играет»?

— После тиража он принесет тебе эти облигации обратно! — пояснила Зина, видя, что Фрося ждет объяснения. — Конечно, кроме тех, которые выиграют. А выигрыш на книжку. Ты же у него и облигации примешь и оплатишь. Ему эта операция по три рубля расхода на каждую бумажку и стоит-то всего! Он давно эту технику освоил. Еще когда, до призыва в армию, председателем артели «Прогресс» был. У него, наверное, и книжка не только в нашей кассе...

— А это можно? — оробев, спросила Фрося, чуя какой-то душок во всем этом деле.

— Не очень!

— Поди, ежели сообщить по месту службы-то, так и не поглядят его, Зиночка?

— А ты давала подписку хранить служебные тайны, Фросечка? — ласково обернулась к ней Зина.

— Ну, давала! — сказала Фрося и припомнила, как вспотела она, давая эту подписку в кабинете директора и заранее стра-

шась, как бы ей на этом деле не попасть впросак... Охо-хо! Жизнь! Вроде бы все и законно — облигации Золотого займа продаются и покупаются свободно! — а вот, поди ты, Фросе показалось, что и капитан и Зина ведут какую-то грязную игру...

В этот день и Вихров пришел в сберкассу. Приближался праздник. Нужны были деньги. Это были небольшие деньги — три тысячи. Это даже и Фрося почувствовала, после того как увидела пятизначное число в книжке капитана. Вихров заполнил красный бланк на пятьсот рублей. «Кутнем!» — сказал он, усмехаясь, Фросе, и было видно, как философски относится он к тому, что кошелек его не тянет кармана.

Нежный румянец опять появился на щеках Зины. Она мельком оглядела себя в зеркальце, которое было у нее прикреплено всегда на откидной доске стола, — все ли так, как надо? — и затем не отрывала глаз от Вихрова все время, пока он стоял возле. Она подошла к окошечку Фроси, хотя контролеру и не полагалось подходить к рабочему месту кассира, и вдруг тихонько посоветовала:

— Возьмите облигации выигрышного займа.

— У меня денег нет! — сказал легко Вихров.

— После тиража продадите нам же! — сказала Зина. — А вдруг выиграете хорошие деньги... У меня рука легкая! — И Зина протянула Вихрову несколько облигаций: — Возьмите на счастье!

Но Вихров, которому как-то очень не понравилось предложение Зины, хотя и он не мог оторваться от нее, уже созная, что надо отойти и что нельзя же так таращить глаза на молодую женщину, но, тяня время, чтобы еще раз взглянуть на нее, обратил все в шутку:

— Я несчастливый. Я никогда не выигрываю...

— Не везет в карты — везет в любви! — сказала Зина и поперхнулась, словно у нее горло перехватило.

— Ей-богу, никогда. Разве только раз в жизни, когда была беспроигрышная лотерея в помощь Красной Армии, когда интервентов выгнали из Владивостока... Я выиграл бумажку с надписью «Благодарность Красной Армии!», — и он рассмеялся, и глаза у него стали такие же хорошие, как тогда, когда самоварный душок газогенератора витал над ними в грузовике...

Зина проводила его взглядом, когда Вихров вышел. Лицо ее приняло задумчивое и даже грустное выражение.

— Как он похож на Мишку! — сказала она.

— Так Миша же был черный, ты говорила! — возразила Фрося, которой что-то стало не по себе.

— В этом ли дело, Фрося! — протянула Зина, идя на свое место.

Если бы сейчас Зина спросила, красивая ли жена у Вихрова, Фрося нашла бы самые сильные доказательства этого. «Красавица! — сказала бы она восторженно. — Ну, принцесса, одно слово!»

А окровавленный Генка, почти такой же, какой приснился сегодня матери, плыл по Амуру. Он уже не кричал, в каком-то оцепенении пустыми глазами глядя на проплывающий мимо берег. Руки и ноги его заледенели. Он как-то неловко сел на корточки, опираясь одной рукой о льдину и подвернув рукав ватника, чтобы совсем не обморозить руку, и не смог уже встать.

За утесом крутоверть погнала льдину к берегу, где еще сохранялся припай. Генкин ковчег, где один заочневший мальчишка замещал все семь пар чистых и семь пар нечистых, коснулся даже своими крошившимися бортами этого спасительного припая. Но Генка с ужасом смотрел на обломки своей льдины, ныряющие в воду, а не на твердый лед припая и не слышал даже того, что с берега белыми голубками с миртовой ветвью во рту летели обращенные к нему призывы от любителей ледохода, торчавших и тут вечными памятниками безделью и любознательности:

— Эй, шпингалет! Ты чего это удумал? Несет же!..

— Пацан! Прыгай на берег, мать твою бог любил! Прыгай!..

Прыгай, Генка! Прыгай же! Ведь вот он, берег-то! Ты, в своей гордыне выпендриваясь перед скоротечными приятелями, перепрыгнул дважды ту широкую промоину, которая отделила героя от толпы и поставила перед дальнейшей твоей судьбой большой вопросительный знак. Ну, встань! Два-три шага, которые ты еще можешь сделать на палубе гибнущего корабля, толчок — и давай! Прыгай! Но Генка увидел эту возможность только тогда, когда, ударившись одним углом о припай слишком сильно, льдина опять пошла, увлеченная потоком, на стрежень...

— Озорует! — сказал один из тех, в ком шевельнулось желание помочь Генке, и он сделал уже два-три шага на припай, уже чувствуя себя как бы спасшим Генку от неминуемой гибели, но отступил назад и от своего намерения, едва пришла ему в голову мысль, что мальчонка просто озорует. А когда сообразил он, что на реке нет ни одной лодки и что озорство это уже давно перешло во что-то другое, чему место отводят на четвертой полосе газеты, в отделе происшествий, которые у нас печатаются с чисто педагогическими целями, то уже было не в его силах помочь Генке...

Вот база погранохраны, Генка! Катера ее стоят на берегу, надежно укрытые от ветра фанерными щитами — тепляками. Моряки за зиму отремонтировали свои боевые корабли без помощи ремонтных мастерских, своими силами. Командующий Амурской Краснознаменной военной флотилией отмечает их в своем приказе. Работа закончена, остались такие пу-

стяки, что о них и говорить нечего. Но все свободные от вахты в тепляках — травят баланду! Ты не знаешь, что это такое! По-литовски «баландэ» значит «говорить», а что значит это по-русски, я тоже не знаю... Вахтенный в бараньем тулупе и с легкой винтовочкой-игрушкой в руках отвернулся к дверям тепляка и, наклонив голову, прислушивается к взрывам хохота. «Вот дают! Вот дают! Это, наверное, опять Сенюшкин рассказывает, как он к невесте на побывку ездил! Вот, паря, язык у человека подвешен: вроде бы и ничего смешного, а скажет — хочь стой, хочь падай! — И задумывается: — Чудно это устроено: все люди вроде похожие, а попробуй найди двух одинаковых!» Он вспоминает девочек-близнецов в знакомой семье: Наташенька — черная-черная, как ночь, Ленка — белая-белая, как день! Знакомые спрашивают у их матери: «Людмила Михайловна, да как они у вас не перепутались там? А Людмила Михайловна отвечает, лукаво улыбаясь и сияя всем своим милым лицом, так как гордится тем, что принесла двойню: «А мы свое дело знаем!» Этот вахтенный — сын рабочего типографии, что живет под Генкиной квартирой, на первом этаже, и служит уже четвертый год. Если бы он не был увлечен своим занятием, он узнал бы Генку и понял, что парнишка вовсе не озорует. Он ударил бы в рынду, что висит над его головой, или поднес бы к губам авральный свисток, что висит на шнурке слева. И тогда бы Сенюшкин, мастер травить баланду, столкнулся бы в воду тузик, — вот он, тузик-то, Генка смотрит остановившимся взором на махонькую черную лодочку у причала на стальных фермах, — и пошел бы работать маленькими-маленькими веселками, догоняя льдину...

Кто видел — тот не может, кто может — тот не видит! Бывает в жизни и так, Генка!

...Девочки с Арсенала, зазябнув вконец, все еще, однако, не хотели уходить с берега, следя за тем, как Амур нес свою тюрьму, дробил на куски и уничтожал даже самую память о зимнем плене.

— Как революция, девочки! Ледоход как революция! — сказала Танюшка Бойко, замерзшая больше других, так как, гордая своим телосложением, она упорно не хотела надевать ни лыжные, ни ватные штаны, которые так уродуют девичьи фигурки, а потому была в короткой шерстяной юбочке, чуть не до коленок, и в шелковых чулках, при одном взгляде на которые уже становилось холодно. Челюсти у нее сводило, зубы явственно постукивали, язык плохо повиновался ей, и вместо привычных слов у нее получалось что-то вроде: «Карю-ция, де-чки! Ле-е-хо карю-ция!»

— Чего, чего? — сморщив лицо, спросила Валя Борина, похожая на рекламную тумбу в своей стеганой куртке и в ватных штанах, и закричала: — Девчата! Танька язык отморозила! — Потом с показным милосердием приложила

ладошку к средней части Тани и сделала испуганные глаза. — Девчата! Произошло крупное несчастье! У Таньки главный калибр тоже вышел из строя! Мы отдаемся во власть комендантши...

— Отстань! — сказала Таня, обидевшись на подругу: на берегу могли оказаться и парни, а в их присутствии Таня была чувствительна к насмешкам. — Я знаешь что тебе, Валька, скажу...

Может быть, то, что хотела сказать и наконец должна была сказать Танюша Бойко Вале Бориной, было самым значительным из того, что до сих пор приходилось говорить Тане, и, наверное, после этого девушки предупреждали бы всех, кто хотел бы посмеяться над рыженькой Таней: «Но! Но! Вы ее лучше не задевайте! Сотрет в порошок!» Но Таня только сказала тихо и внятно:

— Девочки! Мальчишку унесло!

Ей сразу стало жарко.

Валька крикнула было: «Таньке везде мальчишки видятся!», но и она в этот момент увидела плывущую по реке льдину с Генкой. Течение прибывало ее к берегу, который здесь затопляло и весной и осенью, вместе с самодельной купальней, которую выстроили рабочие Арсенала, чтобы не переться к черту на рога, на левый берег, когда захочется окунуться после тяжелой смены. Но отсюда же в какой-то капризной точке, которая все время елозила по дну реки, течение резко сворачивало левей и бросалось с яростью на опоры моста, который ступал в реку толстыми своими ногами в полутора километрах ниже. Здесь лед задерживался больше, чем на других местах, таял медленно и надолго заболачивал неудачное место. Но как ни ругалась вместе со всеми на особенности «своего пляжа» Танюшка Бойко, она в этот момент вдруг увидела, что эта особенность может спасти мальчишку...

Она сорвала почему-то свою ушанку с головы и бросила ее на землю, даже не глядя, куда кидает. И без раздумья, упреждая приближающуюся льдину новоявленного ледового робинзона, помчалась к тому уступу, мимо которого непременно должно было пронести Генку. Только засверкали в сиреневом мареве икры ее шелковых ног да прохудившиеся подметки ее кирзовых сапожек. Пламенем горели ее чудные волосы, мотаясь на ветру лесным костром, который неосторожный охотник забыл погасить.

Валька постучала было себя по лбу, намекая на некоторую неслаженность винтиков в голове у Танюшки, но ойкнула и побежала вслед за подругой, крича:

— Сумасшедшая! Только в воду не лезь! Слышишь? Пропадешь же! Ты ему палку, палку протяни!

Обрывки жизненных сведений от тряски на бегу болтались в памяти Вальки, и она, припомнив, что утопающему надо протянуть палку, или лестницу, или доску, совсем не

подумала о том, что эти полезные предметы надо иметь, для того, чтобы ими воспользоваться. А у Танюшки были в личном распоряжении только ее стройные заолодавшие ноги да красивые руки, которых никто не видел под рукавами. И эти ноги работали сейчас так, что даже при своем немалом росте Валька не могла догнать Таню...

Генка видел, что на берегу в толпе каких-то людей произошел переполох, услышал какие-то крики, увидел, что кто-то бежит по припаю явно для того, чтобы перенять его, но никак не мог сообразить, что должен сделать, и то и дело взглядывал на мост, хорошо видный отсюда, и белую кипень льда, громоздившегося возле опор. Это была верная гибель. Как ни отупел Генка, а это он понимал. Правда, он был как в тумане, который гасил в нем и страх и волю к действию и заставлял думать о себе, как о каком-то чужом человеке...

Вдруг он услышал глухой удар. Его льдина коснулась ледяного мыса на припае, отчего добрый кусок ее сразу пошел под воду и жизненное пространство, безраздельно принадлежавшее Генке, в эту минуту уменьшилось на треть. Почти рядом с собой Генка увидел рыжую девчонку, которая бежала по припаю, скользила, разъезжалась, но не падала.

Девчонка протянула ему руку.

— Прыгай на меня! — крикнула она ему. — Я подхвати! Ну!

Генка не мог разогнуться и молча глядел на протянутые руки рыженькой. Не в ее глаза. А на руки. Словно они могли вытянуться и достать его прямо со льдины. Увидев его вытаращенные оловянные глазки, Танюшка поняла, что на парнишку рассчитывать нельзя. «Зазяб! Оробел!» — подумала она и рассердилась на Генку.

— Вот дурак! — сказала она со злостью, хотя и не любила ругаться — ее нежное сердце не выносило брани, а ее нежная кожа, едва брань касалась слуха, тотчас же вспыхивала огнем. — Вот... — повторила она и прыгнула на Генкину льдину, видя, что по ходу дела она приближается к той роковой точке, где ломалось течение и за которой Генкино дело было пиши пропало!

Льдина тяжело окунулась в воду под тяжестью ее тела, но продолжала идти вдоль припая, обтачивая края и уменьшаясь на глазах.

Танюшка с силой схватила закоченевшего Генку, который уже не чувствовал ничего. Хотела было вместе с ним перепрыгнуть на припай, да Генка на руках мешал ей видеть, что у нее под ногами. И Таня сначала швырнула туда Генку, как паршивого котенка. Но от этого толчка льдина сразу отошла в сторону, и Таня увидела перед собой полоску воды, свинцово блестящей от движения струи. Эта полоска все ширилась.

Валька Борина, подбегая, закричала:

— Танечка! Прыгай!

И Таня прыгнула. Узкая, короткая ее юбочка треснула от натуги, но помешала прыжку, и Таня ввалилась в воду, больно ударив локти о припай, судорожно вцепившись обеими руками в лед и висая на нем. Ноги и пояс ее были погружены в воду, холода которой сначала Таня даже и не почувствовала.

И тут Генка забоялся за рыжую. Он подскочил к ней, самонадеянно полагая, что может ей помочь.

В ту же секунду Валя Борина изо всех сил стукнула его по голове так, что он отлетел на несколько шагов в сторону.

— Утопленник, черт бы тебя взял!

И кинулась вытаскивать Таню, чуть не плача и от злости, и от радости, и от гордости за нее. Таня выкарабкалась на берег. Один сапожок ее утонул. Юбка обкрутилась вокруг ног, услужливо показывая их красоту. Валька целовала Таню в холодные щеки и ощупывала, словно от этой ванны Таня должна была развалиться на кусочки, — цела ли подружка?

Таня, отстраняя подругу, подошла к Генке:

— Ну что, испугался сынок?

Генка молча кивнул головой. Еще больше, чем за себя, он почему-то испугался сейчас за нее, за эту рыжую, которая так браво летела Генке на помощь.

Подбежали остальные девчата. И так как на берегу было некогда ни охать, ни ахать, что непременно нужно было сделать по этому выдающемуся случаю, потому что Таня на прохладном ветерке чуть ли не стала покрываться ледяной корочкой, — все побежали к Арсеналу, в общежитие. И Генка вместе с ними, так как Таня, держась одной рукой за руку Вальки, вторую протянула ему таким жестом, каким протягивала, когда он жался на своей льдине.

Комендантша закричала на девчат у дверей:

— Ку-уда вы? Только что полы мыли!

Но тут же увидела мокрую Танюшку Бойко, чужого мальчишку, взъерошенную Вальку Борину, которая не сводила глаз с Тани, охнула, схватилась за сердце и застыла на пороге, когда услышала, что Таня спасла мальчонку — вот этого, конопатого! — и сама искупалась в Амуре. Вторым движением мысли комендантши, пережившей страх за рыженькую, которая так близка была ее сердцу, были мысли практического, житейского и человеколюбивого свойства.

— Обоих в постелю! — закричала она. — Хай ему, что сегодня белье сменили. Растереть со спиртиком и с салом! И укрыть потёпле! Чайку горяченького, вволю, сколько влезет! И пуцай спать!

Деятельная ее натура не могла более выдержать, и она, вспомнив, что ни спиртику, ни сала у девчат нет, покряхтывая, побежала домой: она держала свиней и мужа, который был не дурак выпить, по какой причине и то и другое, то есть и спирт и сало, всегда водились у комендантши. Вернулась

она аллюром в три креста, по крайней мере ей самой показалось, что вокруг нее только воздух посвистывает от скорости.

Обоих пострадавших раздели догола.

Генка с молчаливым озлоблением боролся с раздевавшими его девушками, держась за свои подштанники, как за якорь спасения, боясь обнажить свой стыд, — ведь он был единственный мужчина среди этого стада девчонок. Но те уже устроили шутку из этого, и хохотали, и уговаривали, и приказывали, и сердились. Он уже стал лягаться что было силы. Тут комендантша, поняв его, отогнала девушек, погладила его своей большой, мягкой, как подушка, ладонью по тощему, как у кота, хребтику — словно от печки, от ладошки исходило ласковое тепло! — и он смирился, правда, лег все-таки на живот. Комендантша растерла его спину, приговаривая что-то, точно сыну, но так, что вся кожа его зарделась, потом, как ни морщился Генка, ему пришлось надеть чью-то женскую рубашку. Комендантша подоткнула одеяло со всех сторон, чтобы ниоткуда не дуло, а напоследок, чтобы не срамить Генку, но чувствуя необходимость как-то напутствовать его, сказала: «Подштанники, кавалер, надо чаще менять. Да нужное-то место подтирать, когда на двор ходишь! Чего только твоя матка смотрит!» — и стала поить чаем.

Валька Борина взялась за Таню.

— Ой, подхватишь ты воспаление легких! — сказала она озабоченно, наморщив лоб. — Герой... А ну как никого-то на берегу не было бы больше? — задала она вопрос Тане. — Где бы твоя душа сейчас была? От, Таньча! Ох, добрая девочка!

Сначала она растерла ей живот и грудь, ноги и руки, совершенно синие от холода, щедро поливая на ладони спирт и пальцем размазывая белое густое сало по телу Тани. «Жжет?» — спрашивала она, делая свое дело, пока Таня не сказала, что уже, кажется, жжет. И тело ее стало розовым. Романисты давнего прошлого сравнивали обнаженное тело молодой женщины с утренней зарей — и, честное слово, они были не так уж не правы в этом сравнении, и тело Тани было таким, как описывали романисты давнего прошлого.

Генка прихлебывал чай, а глаза его тянулись к кровати, где Валя растирала свою мокрую и храбрую подругу. Он видел распластавшиеся темно-рыжие, как медь, волосы ее, блестящие, тяжелые, густые. Он видел и тело Тани, так не похожее на его тело. И совсем похолодел, когда увидел низ ее живота, где была та же раскаленная медь. А Валя мяла кожу Тани и приговаривала:

— Ах ты спасительница! Ах ты красавица! А вот мы сейчас тебе грудки разомнем! А вот мы тебе животик разомнем! — совсем забыв про мальчишку, спасенного Таней, и чувствуя, как страх за подругу сменяется радостью. — Ну и наворожила тебе бабушка всю статью! В старину, знаешь, с таких, как ты, статуи делали! Чтобы каждый, понимаешь, лю-

боваться мог! А ну, давай спинку и попку тебе разомнем, чтобы кровь по жилочкам пошла, чтобы Танька здоровая была!

Комендантша, заметив, что Генка разинул рот и глаза, сказала, поворачивая его на бок:

— Ляг на бочок! Положи руку под голову. Спи! Еще успеешь наглядеться на все... Жизнь-то у тебя вся впереди! Спи, гулеван!

А Таня вдруг заплакала горькими слезами.

Валя даже испугалась. Она прижалась лицом к жарким щекам Тани и спросила с тревогой:

— Ну, Танечка! Ну что? Что с тобой? Забоялась? Ведь все прошло!

— Да-а, про-ошло! — пролепетала Таня. — Са-апог у-уто-ну-ул! И чулки теперь пропали совсем...

— Люди добрые, вы слышите?! — всплеснула руками Валя и с силой хлопнула по своим худым бедрам. — Чулки, видите ли, пропали! Да ты сама чуть не пропала! Это тебе пу-стяки, да?!

Глава седьмая

ПРЕЛЮД

1

Дни шли за днями, похожие и не похожие друг на друга.

По-прежнему жить было и голодно, и холодно, и тревожно. Но все чаще, словно солнечные лучи в прорывах туч, хмуро обложивших небосвод, в сознании людей вспыхивало радостное предчувствие Дня Победы. Кто и когда называл так этот грядущий день? Но название это укрепило за ним задолго до его прихода.

Так бывает весной.

Еще воют метели и мороз прихватывает по утрам двери у порогов. Но то и дело вдруг пригреет солнце по-хорошему, обещая близкое воцарение тепла, и уже в затишке, в подветренных местах, — в самом воздухе! — слышится какой-то особый аромат, что затрагивает тайные струны в душе, и будоражит ее, и поселяет в человеке какое-то беспокойство и беспричинную тоску. И уже где-то в поле, под покровом еще сильного снега, укутывающего землю, проклюнулись подснежники, и тянутся к свету, и раскрывают навстречу солнышку свои нежные, наивные, непритязательные цветочки, будто глаза человеческих детенышей, глядящих в небо...

«Будет и на нашей улице праздник!» — говорили мы в самые тяжкие моменты войны, когда древние русские города попирали сапог завоевателя, а гитлеровские сверхчеловеки уже мечтали с высоты Кузнецкого моста поплевать в Москву-реку и гулять в тени развесистой клюквы на бывшей Красной площади. И теперь, когда фронты смыкались вокруг гитлеровского логова, как смыкаются цепи охотника при охоте на волка, все чаще вспоминались эти слова как обещание победы и конца всех бед и горестей, которые, точно из ящика Пандоры, щедрой рукой высыпала война на головы простых людей всего света, как обет свидания с близкими, оторванными кровавой страдой от семейного очага, как залог новых радостей жизни.

Обыкновенная — добрая и дружная — весна, время года, совпадала на этот раз с весной человечества — близкой победой над темными силами зла, обрушенного на несчастную планету, в который раз обливавшуюся кровью.

Этого ждали так, как юноша ждет свидания с любимой, как женщина ждет долгожданного ребенка. И казалось, что жизнь начнется тогда с самого начала и что все будет тогда лучше.

А на выжженной, как зона пустыни, земле, оставленной врагом, уже считали и подсчитывали, во сколько же обойдется возврат к миру — восстановление заводов, поверженных во прах, жилищ, развеянных по ветру, выздоровление раненых и больных, которым надо было наращивать новое мясо на кости, братская помощь народам, решительно порвавшим со старым, дальнейшее движение страны вперед, на котором ничто не должно было отзывать, и, наконец, создание такого оружия, которое удержало бы охотников поиграть с огнем от безумной мысли вдругорядь попробовать на нас свою силу.

А пока каждый делал свое дело.

Солдаты на фронтах били врага с тем бóльшим ожесточением, что его сопротивление лишь увеличивало горестные потери с обеих сторон, лишь отдаляло желанный мир, но ничего уже не могло изменить в течении войны. И умирали сами — на переднем крае, на фронтовых дорогах, в госпиталях и санитарных поездах. Они умирали даже на руках близких, которые оказывались не в силах вдохнуть в них новую жизнь взамен истраченной на войне.

В каждую из пятисот двадцати пяти тысяч шестисот минут года, имеющего триста шестьдесят пять дней (не считая високосного!), чьи-то сердца переставали биться. И опаленная, загаженная, исковерканная земля принимала и принимала в себя то, что еще недавно дышало, двигалось, говорило,

чувствовало, ощущало голод и жажду, гнев и умиление, любовь и ненависть, страдало и наслаждалось, радовалось и печалилось, мыслило и переживало, создавало и разрушало, было способно на высокие подвиги и на рядовую тяжелую работу, изменявшую лицо матери Земли, то есть жило и имело право называться человеком. Пять миллионов трупов — таков был ежегодный итог войны.

Но был и второй итог войны, более важный для человечества, чем его ужасающие потери. В дымном пламени затихающих сражений вырисовывалось что-то другое, кроме гекатомб трупов, принесенных в жертву богу Марсу и взывавших об отмщении. Те, кто прошел через ад тысячелетнего гитлеровского царства и мог смеяться над семью кругами Дантова ада, кто не хотел повторения пройденного и сохранил веру в торжество разума, с помощью пока военных администраторов, которым пришлось срочно стать отцами городов, отвоеванных не только от врага, но и у истории старого мира, возраждали в тех странах, где уже утихла военная буря, новую жизнь. Но на других основаниях. Народные демократии прочно становились на ноги. И, говоря о болгарах, чехах, поляках, румынах, венграх, югославах, огнем и мечом расплатившихся с немецким и собственным фашизмом за все, советские люди невольно называли их нашими, разумея — друзья, товарищи, братья! И словно раздвигались какие-то невидимые стены вокруг советской державы, столько лет, четверть века, простоявшей одиноким островом в океане чужого и чуждого мира. И каждый понимал, что День Победы включает в себя нечто большее, чем просто выгрыш войны, которая кровоточила на теле Земли почти четыре года.

И зверство врага, и все нараставшая усталость народов от всемирной бойни, и воля их к расплате с теми, кто ввергнул их в эту мясорубку, и эфемерные надежды наших, себе на уме, союзников на верховенство в будущем мире, где разгромленная Германия и обескровленная Россия отдадутся на милость их, сытеньких, чистеньких, целеньких, свеженьких, сильных как никогда, и стремление к свободе тех, кто в борьбе против оси Рим — Берлин — Токио научился владеть оружием своих пришлых поработителей, чтобы уже не выпускать его из рук до завоевания полной независимости, — все это работало на нас и приближало неминуемую развязку.

День Победы шагал уже невдалеке, хотя шаги его еще заглушались воем снарядов, и визгом разрывов, и грохотом всей поражающей воображение техники войны, нацеленной теперь в сердце врага, и стонами тех, кого еще наступал свинец, въедаясь в тело, живое тело мыслящего существа...

Настало утро Первого мая.

Полный Амур невозбранно нес свои воды, куда положено ему было нести их, — в суровые воды Охотского моря, лишь отдельные льдины, источенные водою, бурые, хрупкие, то с клочком сена, то с конскими катышками, то с пером какой-то птицы, которой, видно, не повезло зимой при встрече с хищником, плыли по его широкому простору.

Плыли к морю наполовину утонувшие деревья, которые кто-то где-то срубил, да вывезти не мог. Плыли два стога сена, упущенные нерадивыми хозяевами, медленно погружаясь в воду. Плыли бревна из порванного где-то бона. Плыл на льдине котенок — то ли из озорства бросили несчастного туда верхнедеревенские ребята, то ли в доме он вести себя не умел и был приговорен к страшной участи высшими силами! — он мяукал хриплым голосом, стоял, выгнув спину, и его тощий хвостик брезгливо вздрагивал, опускаясь на мокрый лед и опять поднимаясь вверх, поджимал то одну, то другую ногу, вылизывал розовым колючим язычком мокрые и озябшие лапки и опять мяукал...

Но уже хорошие хозяева и нетерпеливые любители Амурского спуска спустили на воду лодки — Амур был щедр к тем и другим, безропотно отдавая новоявленным каперам свою разбойную добычу. Вот уже кто-то зацепил веревкой плывущий стог и поехал к берегу, трудно выгребая против течения. Увидев людей на лодке, котенок басом взмолился своему богу. Его взяли с льдины за шиворот и избавили от жестокой судьбы... Мальчишки, набиваясь в лодки, как на плакате: «Не шалите на воде!», кольцевали плывущие бревна, радуясь прибытку — мало ли что можно было сделать из этих бревен!

Солнце выкатилось из-за Бархатного перевала, ясное, как милая девушка, и ласковое, как мать. С самого утра оно пригрело по-хорошему, не скупясь, и вот тут и там с тротуаров поднялся парок. «С праздником!» — сказала солнышко и полезло себе вверх, куда положено, свершая свой вечный долг.

Генка с утра канючил:

— Ма-ам! Я пойду? Ну-у! Пойду же!..

Но мать, которая в этот день затеяла новоселье, была не в духе, и голова ее была занята сложными расчетами. Вчера она достала чашку старой, давленной, побелевшей кетовой икры. Есть эту икру никто бы не стал. Но ее размачивали и получали несколько стаканов бело-розовой белковой жижи. На этой жиже замешивали тесто для сдобного печенья. Вместо яиц, стоивших на бешеном рынке, с которого пригородные хозяйчики увозили мешки денег, по пятнадцать — двадцать рублей штука. Это было тоже одно из самых блестящих проявлений человеческого ума и изобретательности в

дни войны. Сравнить с этим я могу только пирожное из черного хлеба, авторского права на которое добивался один технолог общественного питания, — пирожное у него получалось что-то вроде шоколадной картошки, но стоимость одного пирожного была выше чуть ли не стоимости тонны этого хлеба. Я не знаю, получил ли он авторское свидетельство на рецепт этого пирожного, но позже обнаружил, что технолог производил его на основании того же принципа, на основании которого варят суп из топора или суп из черепахи. Впрочем, извините, я отвлекся несколько в сторону...

Фрося сливала и сливала воду с икры и все боялась, чтобы полученный ею продукт не был слишком жидким — тогда тесто не будет лепиться, или слишком густым — тогда от печенья будет нести соленой рыбой, а это уже было бы смешением привычных понятий. Она отмахивалась от Генки:

— Замолчи! Пойди лучше дровец наколи!

И Генка опрометью летел на двор, лихорадочно взмахивал щербатым колунком, отбрасывая в сторону, за поленницу, чтобы мать не обнаружила его мошенства, сучковатые поленья, набирал беремя колотых дров, мигом взлетал по высокой лестнице, отчего у него захватывало дыхание и лезли глаза на лоб, грохал дрова у голландки и вопросительно ловил взгляд матери. От нее, однако, ничто не укрывалось, и она, сыпля муку в чашку и соображая, хватит ли, сердито говорила Генке:

— Наколол? Да? А мать потом будет зубами разгрызать сучки? Да? Тебе бы только бегать! А матери пусть медведь помогает, да? У других дети как дети, угодливые, работающие, пятерки получают! А ты...

Мать умолкала, показывая, что у нее просто не хватает слов для того, чтобы выразить весь ужас своей доли — иметь такого сына! Генка дорого дал бы за то, чтобы поглядеть на этих других, примерных, детей. Но, не видя их, он заранее ненавидел этих примерных, отравлявших ему жизнь, едва он научился ходить и говорить, — правда, еще не так, как хотелось бы его учителям... Впрочем, он знал, что такую же порцию родительской взбучки получают и все соседские ребята. Что Людмила Михайловна с утра, как июльская гроза, обрушивается на своих близняшек и сына Мишку громы и молнии и проливные дожди: у дровяника Генка сам слышал, как заревела Наташка, выскочив на покосившееся крыльцо в одной рубашонке и задирая подол ее выше пупа, для того, чтобы отереть горячие слезы, сам видел, что у Мишки чешется затылок от хорошей затрещины, пришедшейся на его долю в праздничное утро. Злорадно он смотрел вслед соседской Ирочке из другого дома, которую с утра погнали за какой-то нуждой со двора. Ничего, к вечеру все это уляжется!

Он продолжал канючить, пока выведенная из терпения мать не сказала ему тоном, ясно сигнализовавшим, что терпение матери истощается:

— Да иди ты отседа хоть к черту на рога!

Она подумала при этом, что в праздничное утро негоже бы посылать ребенка к черту и как бы это не обернулось худом, так как черт не знает праздников. Но тут ей показалось, что пригорает студень, она кинулась к печке, вытолкнув Генку прочь из комнаты.

Радио разрывалось в комнате на части, гремя маршами. Купленный на барахолке разбитый репродуктор вносил свои сильные дополнения в музыку советских композиторов, сипя, треща, трепеща краями выбившегося из металлической оправки бумажного рупора. Генка вышел на веранду. С главной улицы неслась волнами та же музыка, но как она звучала! За ночь техники установили на столбах новые, только что полученные, какие-то хитрые, короткие, светлые, в несколько слоев дюралья, уличные громкоговорители. Старые же, длинные, черные, узкие, больше всего похожие на старорежимные медицинские стетоскопы, исчезли, чтобы уже никогда не появиться...

Генка изнывал на веранде, дожидаясь Вихрова, который обещал взять его с собой на демонстрацию. Вихров медлил. Генка вошел в коридор. Подошел к двери соседей, послушал — там ходили, двигали стульями, что-то лепетал Игорешка; в общем, они поднялись и тоже собирались. Генка хотел постучаться и напомнить соседу, что уже пора бы и выходить из дому. В этот момент он услышал раздраженный голос Вихровой:

— По-моему, ты все-таки ненормальный, папа Дима! Ну, я понимаю, тебе надо идти... а бедный ребенок при чем тут? Намерзнетесь, находитесь, ребенка простудишь! А смысл? У других...

И тут дело дошло до других — примерных, очевидно достойных подражания. Генка вздохнул и не осмелился заявить о своем существовании. Он побрел на веранду. Вышел за ворота. Сердце его трепетало. Он не мог более ждать. Он побрел вверх по улице, оглядываясь — не вышел ли Вихров? Но Вихрова позади не было видно, а впереди — впереди тягачи исходили чадными дымками, потихоньку подтягивая артиллерийские орудия к выходам на главную улицу, чтобы занять свое место в строю и пройти перед трибуной в торжественном марше войск Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Артиллеристы в стальных шлемах, которым дана была команда «вольно», покуривая и переговариваясь, похаживали между орудиями, тускло поблескивавшими металлом в лучах солнца, которое уже выглядывало из-за домов на восходной стороне. И Генка помчался туда, забыв о Вихрове. Он смешался с кучей ребят, уже облепивших со всех сторон бога войны. Тут стояла и Ирочка, ее послали из дома по крайней

хозяйственной нужде к знакомым, на другую улицу. И вдруг Генку дернул за рукав не кто иной, как Мишка, которого послали на угол за спичками.

— Ты чего тут? — спросил Мишка, вертя во все стороны своей большой светло-русой головой в старенькой отцовской шапке на затылке. Голубые глаза его на крупном добром лице так и сверкали от возбуждения.

— А ты чего? — отозвался Генка, вытирая нос, отмокший на воздухе.

В переводе на язык взрослых это могло обозначать примерно следующее: «Здравствуйте, дорогой мой! Я очень рад видеть вас в это прекрасное утро. Вы выглядите превосходно. Я надеюсь, что и вы и ваши домашние в добром здоровье? Сердечно прошу передать мой привет вашей супруге и деткам!» И ответ: «Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый! Какая приятная встреча! От души поздравляю вас с праздником! Какая прекрасная погода стоит сегодня! Вы тоже — тьфу-тьфу, не сглазить! — выглядите отлично. Надеюсь, что и у вас все обстоит в порядке?»

— Вот здорово! — сказал Мишка, трогая ствол пушки с длиннейшим хоботом, которого не скрыл бы весь дом Мишки, если бы эта пушка стояла за ним.

— Н-да! Эта как даст, так уж даст! — уверенно сказал Генка.

— И та даст! — сказал Мишка, уже позабыв про свое ответственное поручение, возложенное на него главным командованием, увидя гаубичную пушку, на объятия с которой у Мишки не хватило бы рук.

И он потянулся к пушке.

Тут артиллерист в стальном шлеме, который сползал ему то и дело на глаза, с лицом конопатым, как у Генки, с голубенькими глазками мальчишки, — такие мальчишки, мужая в десять раз быстрее, исполняли свой ратный долг не хуже сорокалетних, зрелых мужиков, если не погибали, прежде чем начинали постигать, что война не детская игра, — этот артиллерист, который вряд ли успел закончить десятый класс, пугнул Мишку:

— Геть отсюда, салага!

И Мишка отскочил как ужаленный. Но тут ребята рассмотрели, с кем имели дело, и Генка, чутьем понявший, чем можно завоевать расположение артиллериста, своего кровного брата по будущей профессии, сказал просительно:

— Дяденька! Ну, можно мы тут постоим, посмотрим?

— Польщенный «дяденька» насупил брови:

— Не положено! — Но смягчился, видимо вспомнив недавние свои годы. — Долго не стой!

Он старательно дымил махорочной закруткой и откашливался басом. Но закрутка, как видно, надоела ему или он решил осчастливить ребят, и он, вынув изо рта окурков и из

гигиенических соображений оторвав напрочь конец, который был в его губах, протянул чинарик Генке, сказав:

— Хочешь сорок, салага?

У Генки даже что-то заломило в животе от страха, колени его подогнулись, но он взял похолодевшими пальцами окурок от своего артиллерийского собрата и сунул в рот: раз дружба, так уж дружба!

Мишка глядел на Генку остановившимся взглядом.

«Вот это да! — сказал он себе полувосхищенно, полуиспуганно, так как знал, что за курение — один из семи смертных грехов! — по головке не гладят. — Ну и Генка! Ему все нипочем!»

А Генка, сам себе не веря и уже ничего не видя перед собой, но стремясь оправдать доверие артиллерии в образе конопатого, потянул в рот вонючий дым, от которого стало невыносимо тяжело дышать, набрал полный рот и вдруг выпустил на волю длинную — не короче ствола противотанкового орудия — струю дыма. Как заправский курильщик...

Что ты делаешь, артиллерист! Вырви из скрюченных неловко пальцев Генки этот окурок... Зачем ты дал ему эту гадость?

3

В день Первого мая неизменно небесная канцелярия планирует моему году переменную погоду. Но я готов свидетельствовать, что это учреждение, видимо, относится лояльно к дню международной солидарности трудящихся, так как этот день начинается ясным, солнечным утром и нежным ветром, который поэты прошлого столетия изящно именовали зефиром, а современные синоптики называют несколько иначе — ветер юго-западный, слабый, до умеренного.

И солнечные лучи непременно играют на фанфарах, возвещающих начало парада войск гарнизона. И солдаты, печатающие шаг по асфальту самой большой площади, хотя и одеты в шинели, по-зимнему, но на их головах надвинуты чуть набекрень фуражки — дань весне. Проходя мимо памятника Ленину, на постаменте которого, представляющем трибуну, находятся лица, принимающие парад, солдаты тем охотнее делают равнение налево, что солнце, вылезавшее из-за здания телеграфа, так и бьет им в глаза, так и слепит, стараясь каждого и обогреть и обласкать.

Я думаю, что в это утро на лице боженьки написано то же вежливое внимание, с каким Иван Николаевич относится к нуждам верующих, когда они обращаются в исполком.

Солнце золотит древки знамен. В его лучах словно ожидают знаменный шелк и бархат, они пламенеют и светятся,

как и транспаранты и плакаты, что колышутся, движутся, реют в свежем воздухе и текут, текут рекой мимо трибуны во время демонстрации. Но едва районы города, не стяжавшие особой трудовой славы на вахте в честь Первого мая, а потому идущие в последних колоннах, вступают на площадь, боженька уже поглядывает озабоченно на своего святого завхоза, ключаря Петра, и кричит: «Петя-а! Сколько выгорело-то?!» И Петр, почесавшись, отвечает: «Лимит!» И боженька обрадованно говорит: «Выключай, а то пережгем!»

И вот уже ползут по небу тучи, и плотной завесой застилают небосвод и накрепко закрывают щедрое солнышко, которое и радо бы послужить добрым людям, да вот поди ж ты!.. Откуда-то начинает сеяться снежок, забытый по недосмотру в каких-то небесных сусеках. И уже ветер начинает посвистывать по улицам, и уже гудят эоловой арфой провода на столбах на разные голоса. И сырость потянется откуда-то, и холодок побежит по ногам. И уходит праздник с улиц в дома горожан, где находят они древний способ вновь обрести солнечное настроение и где становится и шумно, и бестолково, и весело, как и положено быть в праздник, несмотря на то что в окна глядится не путный первомайский день, а какая-то хмурая дрянь, о которой и думать-то не хочется.

Вихров обещал Игорю взять его с собой на демонстрацию.

И уже неделю Игорь все спрашивал: «Папа Дима! А мы пойдем с тобой?» — «Куда?» — «Ну, ты зна-ешь! Пойдем, да?» Он избегал произносить то трудное слово, которое и взрослые-то вспоминали всего два раза в году. «Пойдем!» — неосторожно ответил отец. Мама Галя при этом заметила: «Ты, между прочим, думай о том, что говоришь, папа Дима!»

Увы! Во всяком обещании самое плохое, то что его надо выполнять!

В это утро Игорь проснулся раньше всех. Он, как ванька-встанька, вдруг сел в постели, будто и не спал вовсе. Поглядел-поглядел на родителей. Отец лежал, едва прикрытый одеялом, подоткнув его под пояс, и спал, не очень-то красиво приоткрыв рот. Мама съежилась в комок и укуталась с головой так, что казалось, ее и силой не вытащишь из свертка, в который она превратилась за ночь.

Игорь нашел ночную посудину, использовал ее по назначению, с удовольствием полюбовавшись на звонкий ручеек, который пустил, потом принялся одеваться. Он боялся, что отец, одевшись раньше, исчезнет из дому, под тем предлогом, что он не может ждать, пока будет готов сын. Они, взрослые, умеют выкидывать и такие штуки! Поразительно только, как они додумываются до них... Сопя, пыхтя, подолгу примеряясь к каждой вещи, — не думайте, что это так просто! — он все-таки оделся. Не важно, что при этом рубаха оказалась навыворот, все пуговицы за ночь снаружи перекаче-

вали внутрь ее и маленькому Вихрову пришлось-таки помучиться, пока он застегнулся. Совсем одетый, он подошел к кровати отца и сказал:

— Ну, я го-тов!

— М-м-м! — сказал отец и потянул на себя одеяло.

— Господи боже мой! — сказала мама, с трудом высвободив растрепанную голову. — Сумасшедший дом! Сумасшедшие люди! Ни свет ни заря! Да у вас есть совесть или нет? — Тут она рассмотрела Лягушонка, вполне одетого, увидела, что есть уже и свет и заря, и обернулась к мужу: — Есть такой закон, дорогой мой, который выдумал ты для маленьких. Этот закон: «Не обманывать!»

Этот закон действительно выдумал папа Дима, ища таких, которые, в отличие от законов государства, были бы краткими и исчерпывающими и не позволяли бы производить различные юридические толкования. И папе Диме пришлось подниматься, что он и сделал, — с охами и вздохами, со стонами и кряхтением, потому что, кажется, больше всего на свете он любил утренний сон. В эту минуту он несколько пожалел о том, что законы, сформулированные им, не допускают возможности различных толкований, хотя вообще-то всегда восхищался их предельной краткостью и ясностью.

Мама же Галя, высказав исчерпывающе полно свое отношение к затее мужа, напоила обоих Вихровых чаем с тутовым джемом, что было ее подарком домашним, так как папа Дима очень любил разные варенья. Правда, варенья она не достала, но джем то же самое, только погуще!

— А что такое тутовый? — спросил Игорь, получая свой хлеб, намазанный джемом. Что такое джем, он уже знал, хотя и имел дело с этим изделием не так часто, как ему хотелось бы.

— А это значит — все тут! — не удержался папа Дима, поглядывая на коричневую массу джема, более похожую на сапожную пасту, и покрутил вокруг банки указательным пальцем.

— Не остроумно! — сказала мама Галя и выгнала Вихрова и вихренка прочь из-за стола и из дома, добавив: — Ну, хоть то хорошо, что я без вас и отдохну и все, что надо, сделаю...

— Все к лучшему в этом лучшем из миров. Это утверждал еще Панглосс! — сказал папа Дима, намекая на то, что если мама Галя пришла к такому выводу, то стоило ли перепиливать ему шею из-за этого похода!

— Попробуй простуди только ребенка! — напутствовала мужа Галина Ивановна.

С тяжелым сердцем — дернула его нелегкая вчера, проходя мимо Генки у ворот, где он любил стоять в ожидании

матери, поговорить с мальцом, да еще и пригласить его с собой на демонстрацию! — он постучал в дверь Луниной.

— Я за вашим сыном! — сказал он.

— Да он уже удул! — сказала взмыленная Фрося, вытирая о фартук измазанные до самого локтя руки. — На улице вас ждет!

— Так вы не беспокойтесь о нем! — предупредил Вихров.

Но Генки не было ни у ворот, ни на улице...

Где ты Генка?

...Вихров добрался до своей колонны, еще издали увидев физиономию жуковатого Андрея Петровича и Сурена, который, словно башня, возвышался над колонной — рост у него был для этого вполне подходящий.

— «Уж полночь близится, а Германна все нет!» — сказал Андрей и показал на часы, выразительно глядя на Вихрова с сыном.

— Да нет! У нас, кажется, все в сборе! — обеспокоенно сказал Сурен, назначенный руководителем колонны, и стал озираться во все стороны: неужели кто-нибудь не смог принять участие в праздничном шествии?

— Беда! — усмехнулся Андрей. — Беда, когда сразу не доходит!

— Да, совершенно верно! — отозвался Сурен. — А что ты имеешь в виду?

— Жирафа!

Колонна чуть продвинулась по улице, и Сурен, влекомый долгом, отошел от Андрея, немного хмурясь, — он не любил иносказаний.

...Мама Галя с ее рациональным мышлением, которое Вихров всегда ставил в особую заслугу жене, признавая это как факт весьма большого значения в их семейной жизни, была вправе считать папу Диму конченным человеком, если он отважился идти на демонстрацию, да еще с сынишкой.

Идти в колонне демонстрантов было, конечно, и радостно и гордо, чувствуя локоть к локтю своих хороших товарищей, с которыми делишь пополам и радость и горе. И, конечно, высокие патриотические чувства пробуждались в душе у каждого, кто в ногу с другими шагал мимо трибуны, и уважаемые люди, с которыми Вихров почти не мог встретиться в обычных обстоятельствах по разности масштабов выполняемой работы, — командующий армией, секретарь райкома и председатель крайисполкома и другие не менее важные и ответственные товарищи — приветствовали его с этой трибуны, и делали под козырек, и помахивали шапками, и трепали в воздухе ладошками, и выкрикивали лозунги.

С другой стороны, за эти чувства приходилось как бы расплачиваться долгим ожиданием выхода на площадь в окрестных улицах и переулках, крутясь по ним так, как за не-

делю до праздника крутился на плане города карандаш лица, ответственного за прохождение колонн. Но и карандаш ставился изрядно, пока не вычерчивал подходящую трассу. А трудящиеся очень уставали, стекаясь к месту сбора, потом в колонне занимая свое место для исходного положения, потом — наступая друг другу на пятки, чуть двигаясь по этой трассе и не имея возможности ни присесть, ни уйти. Они пережидали и построение воинских частей на площади, и объезд командующего, и речь его, и торжественный марш войск — на ногах с семи утра до трех-четырёх часов дня...

Вихров понадеялся, что Игорь будет ходить ножками.

Это был явный просчет. И когда у папы Димы от тяжести Игоря, который все время просился на руки, заняло между лопатками и заломило поясницу, он еще раз убедился в том, что как крупный мыслитель мама Галя оставляла за флагом и Сократа, и Сенеку, и полтора десятка гречневых, то есть грецких, — тьфу! — греческих мыслителей.

Он вздыхал, попыхивал, поглядывал на часы и с удовольствием бы включил машину времени на индекс «вперед», если бы она у него была. С какой радостью услышал он частое «ура», когда командующий стал объезжать с поздравлением войска на площади, затем залпы артиллерийского салюта после поздравления им войск и трудящихся с праздником Первого мая и гимн, далеко разнесшийся с площади по всему городу.

— Са-лют! — сказал Игорь и захлопал в ладошки.

— Твой сын растёт под гром салютов, Димитрий! — сказал Андрей, ища глазами своего сынишку — пронзительно-го парня! — который, спеша попасть на площадь, все ускорял шаг и уже был совсем в чужой колонне, где-то далеко впереди.

— Ну, положим, начал-то он под похоронный звон сообщений об отступлении! — отозвался Вихров. — Сорок второй, Андрюша!

— Ничего! Лучше начать за упокой, а кончить во здравие, а не наоборот!

Сурен подошел к друзьям поближе. Лицо его выражало внимательность и любезность. Он, слегка наклонясь, спросил:

— Есть какие-нибудь новости, друзья?

— Нет, — ответил Андрей озабоченно. — Понимаешь, мы временно лишились антенны, и прием сообщений по радио был прекращен...

— Антенны? — спросил Сурен, боясь подвоха.

— Но положение уже исправлено...

— О Гитлере ничего не передавали? — оживленно сказал Сурен. — Были слухи, что он скрывается в бункере Государственной канцелярии или даже что покончил с собой. И что остальная шайка бежала из Берлина... Говорят, что войска наши взяли первомайское обязательство — в подарок родине

прикончить сопротивление врага в Берлине! А ты что слышал?

— Да слышал, что воевать не одно и то же, что свеклу садить. Понимаешь, со сроками трудно, расписание никак не удается составить!

— Андрей! Я это слышал от лиц, вполне заслуживающих доверия. От лиц хорошо информированных! — горячо сказал Сурен. — Я не допускаю мысли о том, чтобы они могли быть введены в заблуждение или чтобы они...

Залпы салюта гремели на улицах, подходящих к площади Ленина. Там стояли длинноствольные орудия с воздушными амортизаторами, нашлепкой гнездившимися на конце ствола. Расчеты работали словно напоказ. Заряжающие, точно игрушки, подбрасывали папуши с зарядами, которые мгновенно исчезали в казенной части, будто проглоченные. Замковые делали свое дело: короткий рывок — и в сторону! — пушка выбрасывала в воздух огненный сноп без дыма, ствол откатывался, будто пушка приседала, выплюнув огонь, и тотчас же шел в исходное положение, как бы стремясь взглянуть вслед, куда огонь улетел. Воздух тяжело расседался от выстрела. Гром лениво перекатывался по крышам соседних домов, ставя точки в конце каждой музыкальной фразы гимна, заглушавшегося залпами. Тротуары домов, возле которых стояли пушки, были густо облеплены ребятишками. Бог знает, как они просочились туда через цепи милиции — пешей и конной, но они наслаждались зрелищем: визжали, кричали, затыкали уши, уже оглохнув от первого же залпа, и разевали галочки рты, как птенцы в гнезде, ибо кто-то из них, абсолютно осведомленный обо всем на свете, все кричал, что надо разинуть рот, а то барабанная лопнет. Озорники же, в которых даже артиллерийские залпы не могли остановить зуда в руках и в голове, совали свои грязные пальцы в открытые рты, чем пугали до полусмерти доверчивых простаков.

— Ту-да! — сказал Игорь отцу, всем телом тянясь к пушкам, чуть не сваливаясь сам и чуть не сваливая папу Диму с ног. — Ту-да!

— А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой! — сказал важно Сурен и добавил, подумав: — Вот Дмитрий, видишь, в наших детях с младенчества зреет готовность к новым классовым битвам! Это, видимо, воспитано в них двумя поколениями борцов...

— Типун тебе на язык! — сказал Андрей Петрович. — Не хватало еще одной мировой войны!

— Но они рождены борцами! — сказал Сурен, поднимая вверх светлые лохматые брови и удивляясь непониманию товарища. — Даже по теории Павлова выходит, что ряд воспитанных свойств может передаваться по наследству...

Высокая бледная девочка с красивыми зеленоватыми большими глазами, удлинённым подбородком и несколько капризным ртом, дочь Сурена, шедшая в одной шеренге с друзьями отца, поглядела на него внимательно, слишком внимательно — плохо, когда дети так смотрят на родителей! — и сказала негромко:

— Ты увлекаешься, папа!

И хотя Сурен не очень хорошо слышал, что всегда скрывал от окружающих, от которых ничего нельзя было скрыть, он повернулся к дочери, и какое-то виноватое выражение появилось на его лице.

— Ах, Сурен, сын Андрея! — сказал Прошин. — Знаешь, некоторым индивидуумам вредно даже образование!

Но Сурен не услышал Андрея Петровича. Зато он подошел к изнемогавшему от тяжести Игоря Вихрову и сказал:

— Игорек! Хочешь к дяде на плечо?

Еще бы Игорь не хотел — антенна ведь всегда выше всех зданий в городе! Он только ахнул от восхищения, когда перед ним открылась с новой высотной точки новая, широкая перспектива. А Сурен шел и шел.

— Мой папа очень сильный, знает! — сказала дочь Сурена. — Правда, у него бывают свои чудачества, но пусть бросит камень тот, кто не грешен!

От библейского изречения, выпущенного Светланой, как дальнобойный снаряд, Вихров даже с ноги сбился. «Вот деточки пошли! — подумал он. — Девчонка, соплячка, а как она своего родителя на ковер положила! Это в двенадцать! А что будет, как она вырастет? Папе в рот соску воткнет и станет учить его ходить ножками!»

Возле артиллерийских орудий ему почудилась расхлестанная фигура Генки. Сквозь толстые спины милиционеров он как будто разглядел и оттопыренные уши и ватник до колен наследника Фроси, он уже набрал воздуху, чтобы позвать Генку к себе в колонну, но тут колонна ускорила шаг и Генка пропал из виду.

Залпы затихли. Теперь стала слышна музыка, которую передавали по радио, — хорошая музыка, солнечная, веселая, радостная, поднимающая дух — ах, молодцы, молодцы наши композиторы, они умеют подметить в людях то, что возвышает их! Гремел оркестр на площади, крутились пластинки на магнитофонах в радиостудии, искусственными голосами что-то говорили дикторы, часто выключая микрофон, чтобы откашляться, но не умолкал один голос, бросавший лозунги в колонны демонстрантов, вступивших на площадь: «Да здравствует Первое мая — день смотра боевых сил международного пролетариата!» Мама Галя, слушая радио, сказала себе: «Через два часа придут, голодные, холодные!» Фрося, посадившая свое печенье в печь, а потому получившая некоторое время на размышления, прислушалась: «Ну, орет! Не дай

бог спросонья услышать — родимчик случится!» Но она не служила в армии и не слышала, как дневальные делают побудку, — а по силе своей это равняется звукам труб Иерихона, от которых рушатся городские стены и солдаты обретают возможность за четыре минуты стать в строй в полной выкладке. В ответ голосу слышалось жидкое, нестройное, тонущее в шуме толпы «ура», какое-то гражданское, которое и в сравнение не могло идти с коротким, энергичным, как выстрелы из автоматов, «Ура! Ура! Ура!» — военных. Голос опять кричал и кричал. Вихров знал этот голос, который умел быть и тихим, и задушевым, и задумчивым, — голос Аладдина из городского исполкома. Этот голос уже иной раз давал петушка — Иван Николаевич ничего не умел делать вопсылы, хотя и полнел катастрофически...

— Хлебом не корми иных работников, — сказал Андрей Петрович, — дай, понимаешь, лозунги покричать! А наш, — он имел в виду председателя исполкома, — никому не позволит на трибуне рот раскрыть. Я представляю себе — он, верно, целую неделю, в кабинете запершись, зубрит призывы, как школьник: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда...»

— Во-первых, — недовольно ответил Вихров, — сейчас зубрят другие стихи: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была...» А во-вторых, Андрюша, он и душевный, и дельный, и умный человек. Он читает много...

— «Тихий Дон» Шолохова, «Разгром» Фадеева, «Железный поток» Серафимовича! — подсказал Прошин.

— Иди ты знаешь куда...

— Иду, иду! — шутливо затопал ногами Прошин.

Каждому овощу свой срок! Иван Николаевич умел стереть в порошок на сессии какого-нибудь дурака, который прикрывался военными нуждами, чтобы не растрясти свои жиры, умел и поговорить по душам с человеком, которому нужна была поддержка, с глазу на глаз, мигнув Марье Васильевне, чтобы никто не помешал. Мог он появиться и на Арсенале и на судоремонтном так, чтобы никакой подхалим не смог предупредить начальников, что «сам» хочет нагрязнуть в их царство, и на квартире у тяжело больного человека, полезного городу, будь то профессор, актер, или преподаватель, или директор завода, или заслуженный кадровый рабочий — литейщик, токарь, судостроитель. А на трибуне он был разом со всеми ими, и когда выкрикивал призывы, то как-то само собой вспоминал, к кому ему было недосуг навеститься, кто в первомайском соревновании блеснул выдумкой, поддержкой, дисциплиною, умением делать дело, а у кого не хватило нервов. «Инженеры и техники! Выше знамя технического прогресса! Все для фронта, все для победы! Работники умственного труда! Совершенствуйте ваши знания, крепите

неразрывную связь с рабочим классом! Работники народного образования! Советские учителя! Выше качество воспитательной работы в коммунистическом воспитании нового поколения советского народа — творца!» Тут Иван Николаевич пустил петуха, поперхнулся...

— Ну, и до нас дошло! — сказал Сурен возбужденно. — Я всегда жду этого призыва и, когда слышу его, чувствую, как у меня удесятерятся силы! У-у-рррра-а! — закричал он в ответ Ивану Николаевичу за всех учителей, как целый полк солдат. В груди его загудело, мощные легкие выпустили кубометр воздуха, ключицы и плечи его задвигались. И Игорь, обнимая его ногами, почувствовал, что под его сиденьем заработала какая-то машина, испускающая такой рев, что он и был оглушен и довольно сильно испугался. Вот это да, знаете! Сурен улыбался, и сиял, и махал рукой, и глаза его сверкали, и по лицу его блуждала счастливая улыбка, и он бледнел от восторга, который охватил его. Правда, одной рукой он все-таки держал Игоря за ногу, чтобы тот не свалился в самый неподходящий момент, доказывая тем, что в минуту совершенного воспарения духа не все его связи с действительностью были прерваны.

Светлана улыбнулась и, как бы извиняясь за отца, сказала:

— Мой папа очень экспансивен. Но он неплохой человек!

Вихрову страшно захотелось отшлепать дочку Сурена по заднице или хорошенько стукнуть по ее отлично организованной и умной голове, но он сдержался, осознав, что необходимо поднять выше качество воспитательной работы по коммунистическому воспитанию нового поколения, а старые педагогические приемы, видимо, уже не могли достичь этой цели хотя бы потому, что Светлана была в том возрасте, в котором иная девчонка уже начинает разговаривать с мужчинами, задирая нос и невыносимо кокетничая...

Закашлявшись, Иван Николаевич передал эстафету секретарю городского комитета и скрылся за спинами стоявших на трибуне людей. За памятником, замаскированным праздничным оформлением трибуны, приютился буфет — пункт питания, как значился он в соответствующих документах! — за которым приплясывала на холодном ветру официантка в ватнике, в шапке, но в изящном передничке, которые всегда так умиляли Ивана Николаевича, и в наколке, вздыбленной крахмалом, как кровельное железо. Иван Николаевич мигнул ей. Но возле него оказалась тотчас же тетя Уля, щеки которой цвели как маков цвет.

— Коньячку, Иван Николаевич? — спросила тетя Уля.

— Что ты, тетя Уля! Под монастырь меня хочешь подвести? Чайку покрепче!

— Хорошо! — сказала тетя Уля.

Спустилась вниз. Сама налила из термоса крепкого чая, бросила четыре куса пиленого сахара, потом со строгим лицом из бутылки, вежливо приоткрытой бумажкой, плеснула в чай чего-то еще и подала Ивану Николаевичу.

— Ух ты! — сказал «Аладдин», хлебнув. — И отчего это, тетя Уля, когда ты чай наливаешь, он очень уж вкусный делается?..

— Иван Николаевич, — сказала тетя Уля, — новостей нету?

— Нету, понимаешь! — огорченно пожал плечами тот. Он протиснулся опять к барьеру трибуны, рядом с командующим, и, заслоняясь от микрофона, тихонько спросил:

— Родион Ильич! Ничего не слышно по прямому проводу?

— Да как тебе сказать, дружище... — отозвался командующий, отбивая пальцами какой-то марш по барьеру. — Вроде все то же...

— Может, сегодня кончат?

— Н-не знаю... И в этой войне, несмотря на всю смертоубойную технику, один дурак, воображающий, что он «спасет немецкую нацию от порабощения ее русскими варварами», может затянуть ход военных операций. А Гитлер этих дураков за двенадцать лет царствования наштамповал черт его знает сколько! Дерутся, сволочи, и дерутся...

— Дорого яичко ко Христову дню! — сказал со вздохом Иван Николаевич, протискиваясь к микрофону, но еще услышал, как командующий шепотком бросил ему вдогонку:

— А ты знаешь, почем нынче яички-то!

...Уставшие до изнеможения Игорь и отец едва доплелись до дому. Фрося, выглянув из двери, когда они стали раздеваться в прихожей, спросила:

— А где мой мучитель?

Вихров смутился и объяснил соседке, как получилось.

— Ну, я ему дам баню! — сказала зловеще Фрося и скрылась в комнате. А Вихрову показалось, что баня обещана не Генке, вольному казаку, а ему, учителю Вихрову. Впрочем, он был человек справедливый и сознавал, что баню заслужил...

4

Дурное настроение Фроси, однако, объяснялось не отсутствием сына. С одной стороны, хлопоты по новоселью были столь сложными, что я не беру на себя смелость рассказывать о том, какие головокружительные манипуляции проделывала новоселка, чтобы справить стол по-хорошему. Ей, правда, удалось достать три литра водки. Тот коэффициент замены, о котором с такой осторожностью говорил Иван Ни-

колаевич в беседе с тетей Улей, был тоже великим достижением военного времени. По этому коэффициенту можно было не только превратить яичный порошок в говяжье мясо, но и — что более необъяснимо — обратить все продукты в спиртные напитки, когда цистерны с сучком почему-то оседали в городе и некоторые категории снабжающихся вдруг получали вместо равновеса всяких положенных по норме продуктов удобные и не занимающие много места, а главное — не нуждавшиеся ни в весах, ни в гирях пять бутылок водки или — это был уже самый высокий класс замены! — спирта. Не думайте, что в семье, получившей такую норму, начиналось пьянство! Жизнь — сложная вещь, а законы экономики быта почти непостижимы. Эти пять бутылок превращались в натуральные продукты с еще большей легкостью, да какие продукты — куры, сало, яйца, домашние колбасы и тому подобные! — едва стоило пойти на рынок и показать горлышко бутылки одному из, черт их разберет, колхозных ли реализаторов или пригородных частничков, для виду работавших в городе где-то кем-то. Коэффициент замены порождал натуральный обмен, и товарищи получали каждый свое — один полную норму доброкачественных продуктов и шел домой, изнемогая от тяжести, не ломившей плеч, а второй ехал домой в состоянии душевного веселья, предвкушая хорошую выпивку в компании друзей или домашних. Вот Фрося и проделала всю эту операцию, оставив себе одну бутылку водки, купленной по государственной цене, так как на рынке каждая бутылка водки тянула пятьсот рублей, а бутылка спирта ни много ни мало — тысячу. К этому добавить следует, что война выработала свои правила хождения в гости — каждый приносил, что мог, из плодов, благословенных богом Бахусом...

С другой стороны, Фросе не давал покоя сон, то ли суливший несчастье, то ли что-то другое. Третью ночь подряд видела она во сне Николая Ивановича. И так как сон этот все не выходил у нее из головы, то она то и дело поджимала свои нетолстые губы, не зная, как отнестись к тому, что пригрезилось ей и сегодня. Что снился Николай Иванович, это было хорошо, — значит, думает о Фросе. Она до сих пор скулала о нем и это свидание во сне с мужем считала как бы беседой по междугородному телефону — поговорить поговорили, а к столу не сядет! Но видела она Николая Ивановича голым, а это уже нехорошо: голого видеть — к болезни! И она уже прикидывала, к чьей: сама вроде бы не должна заболеть, Зойка тоже здоровенькая. Генка? — тут Фрося ставила большой знак вопроса, — сын чихал и кашлял, как в бочку, бог знает с чего, а между тем она не замечала, чтобы он в эти дни промок или летал на улице в рубашке, но так бывало и раньше не раз — все мальчишки простужаются! И краска опять и опять бросалась Фросе в лицо: не то вопрос, что Ни-

колай Иваныч был голым, а то, что он хотел ее, — это Фрося видела явственно до жути, тогда как лицо Николая Ивановича словно расплывалось все время, хотя она и знала точно, что снился ей только он... В жизни Николай Иваныч был стыдлив. Даже когда Фрося, по семейному делу, терла ему спину, когда они банились, даже стоя спиной к ней, Николай Иванович все прикрывался ладошкой и прикрывался, не отрывая ее от причинного места, отчего он чем-то напоминал Венеру Медицейскую. Фросю при всей ее неопытности смешила эта стыдливость, да и, прожив с ним столько, она имела какое-то право видеть мужа таким, каким создала его природа. И однажды она сказала, неожиданно развеселясь: «Подними руку-то! Не бойся, не украду!» Николай Иваныч рассердился почему-то и поднес к ее лицу свободный кулак, сказав: «Ты у меня, Евфросинья, смотри! Видала?!» Фрося отстранилась и не делала больше попыток увидеть своего Адама в натуре, без фигового листка... А тут натура грезилась и грезилась ей во всей своей и стыдной и желанной яви. «У Зинки спрошу! — сказала себе Фрося, отказавшись от попыток истолковать чудной сон, понимая все-таки, что сон не без причины, — как видно, природа требовала своего. «Вот сучка! Стыд-то какой!» — одернула себя Фрося и вдруг запела тоненьким голоском:

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой,
Крутится, вертится — хочет упасть.
Ка-ва-лер барышню хочет украсть!

И почувствовала себя барышней, которую хотят украсть. Она смотрела в неверное зеркало, которое в какой-то точке все вытягивало и вытягивало ее курносое и круглое лицо и придавало ему унылое выражение. Надо было привести себя в порядок. Уже голос, от которого у ребенка мог случиться родимчик, замолк, и дребезжащий репродуктор все сыпал и сыпал в комнату Фроси бравурную музыку. Как видно, торжество уже окончилось, и гостей следовало ждать с минуты на минуту — условлено было собраться сразу после демонстрации. И Фрося красила губы, а они получались у нее кривые или рот становился слишком большим, а Фрося не была в этом заинтересована и все намазывала и стирала губы. Она расчесала свои жиденькие кудерьки, завитые по поводу праздника, и заправила их за ушко, как делала Зина. И даже — ужасаясь себе! — жирным школьным Генкиным карандашом подвела концы бровей. Уроки Зины своей подруге не пропадали даром. Чтобы стать совершенной красавицей, Фросе не хватало теперь только длинных черных ресниц, тень от которых падала бы на городские стены. Но на это Фрося не решилась: а ну как растекутся по щекам при гостях-то! Зато тронула помадкой скулы, легонько растерев ее

между ухом и глазами. Посмотрела еще раз. И осталась довольна собой.

Что же касается Генки, то к его ногам в этот день Фортуна подкатила свое колесо, Генка взгромоздился на него, и колесо покатилось по городу, накатывая Генке под ноги все прелести и красоты жизни. Ошалевший от чувства свободы, которое уже однажды привело его в девичье общежитие Арсенала и уложило в чужую постель, он потерял чувство времени и возможностей...

После чинарика, лихо выкуренного им с братом-артиллеристом, обнаружившим единство душ с Генкой и едва ли не одинаковый уровень развития, Генка уже не знал преград. Бог войны предстал перед ним во всей своей грозной красоте: от противотанковых орудий сын Фроси и Стрельца побежал к стопятидесятидвухмиллиметровкам, что смиренно ожидали его посещения на соседней улице, потом кинулся к семидесятишестимиллиметровым пушкам, которые также понравились ему. Тут он потерял Мишку, который хотя и глядел жадными глазами на пушки, но все же помнил о поручении отца, так и сидевшего дома с незажженной самокруткой в руках. Артиллерии на улицах было много, а терпения у отца мало, и это заставило Мишку чуть ли не со слезами на глазах отказаться от сопровождения Генки, который, точно вездесущий дух, проникал всюду — через все заграждения, автомобильные, пешие и конные! — то под ворота, то по заборам, то через какие-то двери, то по крышам сараев, не зная удержу, но стремясь видеть все, что можно было видеть. Мишка отстал от Генки в расположении гаубичного дивизиона, в десяти кварталах от своего дома. Он жалостно, но не в силах уйти из-под власти сдерживавшего его долга, глядел, как Генка нырнул в какой-то двор через улицу, увидел, как славный сын Марса, цепляясь и обрываясь, огрызаясь на чужих мальчишек, занимавших выгодные позиции на заборе, перемахнул через забор и скрылся из виду. Горестно вздохнув, Мишка поплелся домой.

А Генка, преодолев какие-то особенно сильные заслоны из солдат внутренних войск с голубым кантом на синих погонах, оказался у каких-то моторизованных сооружений, косые покоты которых оставались зачехленными, выдвинутые сильно вперед над кабинами водителей.

У Генки екнуло сердце. В этот момент он так высоко поднялся в собственных глазах, что это можно было считать апогеем его торжества. Он попал в расположение дивизиона гвардейских минометов, калибра которых я вам не могу назвать, отчасти потому, что это в годы войны было сугубой военной тайной, отчасти потому, что сам не знаю, как они определяются. Гвардейские минометы должны были в этот день впервые показаться на параде в одном из городов Дальнего Востока. Может, их-то и дожидался терпеливо японс-

кий консул на трибуне возле монумента, в группе почетных гостей города, небрежно поигрывая миниатюрным, но мощным фотоаппаратом с телеобъективом, который, словно телескоп в обсерватории, имел обзор в триста шестьдесят градусов и пугал немало попадавших в поле зрения консула других почетных гостей — врачей, учителей, профессуру, руководителей предприятий, актеров, писателей, художников, композиторов, знатных рабочих — и тревожил немало лиц среднего начальствующего состава, которым по долгу службы полагалось не очень-то помогать японскому консулу в его любительских занятиях фотографией... Такие же аппараты конфисковывались у переходчиков.

В расположении дивизиона почти не было ребят.

Встопорщенный Генка воззрился на минометы, открыл рот. Он подошел к одному расчету, от которого в воздухе поднимались струйки дыма, как в морозный день поднимаются дымки из хат на Осиновой Речке. Его сначала не заметили.

— Вот это да! — сказал Генка. — Дяденьки! Это «катюши», да?

Артиллеристы обернулись как ужаленные.

— Ты откуда взялся, такой хороший? — сердито и обеспокоенно спросил его старший лейтенант, командир расчета. — А ну, давай отсюда лётком-соколом! Вот вызову сейчас старшего по наряду оцепления, он тебя проводит к самому батьке! И тебя и батьку причешут! Где живешь? Как фамилия?

Генка ясно ощутил, как колесико капризной богини выкатилось из-под его ног и он очутился на холодноватой земле, пронзенный четырьмя парами внимательных и строгих глаз. Он сморщился.

— Лунин мое фамилие! А батька на фронте без вести пропавший.

— Без вести пропавший! — повторил старший лейтенант и невольно смягчился: он сам пошел в военную школу после того, как его отец, в самом начале войны, пропал без вести. — Вот что! — сказал он. — Ты давай-ка уматывай отсюда, а то придется тебе со свечкой домой ходить!

Генка почувствовал, что гроза уже миновала.

— Я артиллеристом буду! — сказал он, вытирая нос рукавом. — Мне планида такая выпала! Честное слово... Даже в книге про это написано...

— Не дай тебе бог, хлопчик! — сказал пожилой артиллерист, наводчик, с рыжеватыми усами, чуть отвисшими книзу, но не запущенными, и с руками рабочего, которые и три года службы не сделали руками солдата. Плотный, кряжистый, крепко сбитый, с широкими плечами и спиной — за которой его семье, видно, жилось не на ветру! — твердыми ногами, что хорошо были поставлены на землю, он был подлинным

сыном Марса, всю жизнь имевшим дело с огнем и железом, что не сделало его ни жестокосердным, ни властолюбивым. Кузнечное ремесло его заявляло о себе синими точками на лице и на руках, куда била окалина, брызгавшая в разные стороны под его молотом, тяжко ложившимся на железо, покряхтывавшее на своем стальном ложе — наковальне — в родной кузне, к которой артиллерист и дорогу-то уже потерял без надежды вернуться. Он задумчиво поглядел на Генку, который напомнил ему своих таких же оглашенных сынов. — Тебе бы за какое-нибудь живое дело взяться, пацан! Не век воевать люди будут...

— От-ста-вить, товарищ Афанасьев! — сказал старший лейтенант.

И Афанасьев умолк. А старший лейтенант, что-то подобрешивший некстати, пошарил-пошарил у себя в кармане и вынул эмблему артиллерийских войск — скрещенные пушечки из меди — и протянул Генке.

— Бери да помни! — сказал он. — А сейчас чтобы я тебя и не видел. Кру-гом! Ша-агом марш!

И Генка улетучился из дивизиона гвардейских минометов, не поглядев на стрелы божьего гнева, какими они выглядели в кинохронике, даже одним глазком, сжимая в потном кулаке эмблему...

Ну вот и эмблема есть! Кое-что еще Генке приложить к ней — артиллерист будет. Дверная задвижка есть, осталось только дом построить! Пустяки делов!..

На улице Запарина, возле Радиокомитета, дома с широкими, прямыми окнами, кубиком ставшего на нижнюю — боковую и на верхнюю — главную улицу, стояла колонна работников искусства. Они пели, танцевали, перешучивались и называли друг друга фамилиями, которые Генка читал на афишах. Вот чудно-то! Генка потерялся-потерялся возле актеров. Такие же, как все, люди как люди! Ничего особенного. Жмутся от свежего ветра, стучат ногами в тонких ботинках. Но тут Генка подобрал коробку от папирос с расписной тройкой на крышке — в фантики играть годится! Он открыл коробку — там лежали, видно по недосмотру выброшенные, четыре папиросы. Хо! Хо! После угощения конопатого он уже считал себя курящим. Он отошел в сторону и сунул одну папиросу в рот, холодея от сознания своей независимости.

Его окликнул такой же независимый товарищ, в потрепанной шубейке, в шапке с оторванными тесемочками, отчето ее наушники трепались по ветру, в ладных сапогах, с волосами цвета сарептской горчицы, с острым взглядом темных глаз.

— Эй, пацан! Ты чего?

— А ты чего? — ответил Генка.

Этот диалог можно было перевести на обычный, разговорный московско-курский диалект примерно так: «Виноват,

гражданин! Могу ли я спросить, что вы здесь делаете? Что вам здесь надо? И откуда вы, собственно, взялись? До сих пор я вас не видел в этом районе и думаю, что вам лучше покинуть его, так как здесь проживаю я и мои друзья, которые, от души вам признаюсь, не любят чужих!» На это следовал ответ в той же изысканной форме: «Я не думаю, гражданин, что нам стоит воскрешать дикие обычаи проклятого прошлого,— времена уже не те, чтобы враждовать друг с другом! Я имею такое же право, как и вы, ходить по улицам этого города, в котором я живу — имею честь подчеркнуть это — на тех же основаниях, что и вы и ваши уважаемые друзья!» Пока я переводил сказанное, Сарептская Горчица уже узрел в руках Генки папиросу и сказал:

— Дашь двадцать?

— Дам сорок! Спички есть?

Будучи некурящим, я не могу перевести этот таинственный диалог, так как он произнесен на особом языке, которым пользуются курильщики во многих областях моей страны. О том, что он обозначает, нельзя догадаться по смыслу слов, вовсе не связанных с подлинной действительностью,— надо смотреть на действия этой касты, и тогда смысл сказанного может дойти и до некурящего: видимо, это просьба дать закурить от той же папиросы.

Спички у Сарептской Горчицы оказались в кармане, из которого посыпались и крошки махорки. Генка потянул-потянул и отдал папиросу новому другу, исполнив обряд, созревший в Северной Америке, где-то в районе Медвежьего озера или озера Онтарио и распространившийся повсеместно как знак мирного сосуществования...

Сарептская Горчица курил важно и значительно, затягиваясь и наслаждаясь теплым и горьким дымом, который заполнял его легкие далеко не первого сорта, о чем можно было судить по его кашлю, приняв тотчас же вид очень занятого человека... Вы, вероятно, тоже замечали, что из двух бездельников, которые коптят небо, наиболее возмутительное впечатление производит некурящий, тогда как тот, кто курит, как бы выполняет чертову уйму работы: втягивает дым в себя — сначала в рот, а потом глотает его, задерживает его в легких и, уже сильно разреженный, выпускает в воздух, иной раз длинной струей, иной — целым облаком: пуф-ф! А то кокетливыми колечками, одно за другим или — это высший класс! — одно через другое. Он смотрит на кончик папиросы с пристальным вниманием, словно готов увидеть там невесть что, стряхивает пепел то небрежно, с видом богача, кидающего нищему золотой, то бережно, будто это чистая драгоценность. Жует мундштук, как корова жвачку, или грызет его, как скакун грызет свои удила. Откусывает его кончик, валяет его во рту и выплевывает так, чтобы этот кусочек изделия табачной промышленности, пропитавшись липкой слю-

ной курильщика, прилип к столбу или к стенке дома или еще шикарнее! — на потолок. Кроме того, он все время сплевывает себе под ноги, растирая эти плевки или оставляя их свидетелями наплевательского отношения к миру и его обитателям — это уже зависит и от темперамента и от склонностей курильщика. Иногда, в знак особого почтения и уважения к собеседнику, он сплевывает возле его ног с таким тщанием, словно готовит дорогой подарок любимому дедушке к дню его девяностолетия. Впрочем, можно также и сплюнуть на сторону как можно дальше, чтобы подчеркнуть свое свободомыслие и доброжелательство к людям...

Генка невольно пожалел, что отдал все шестьдесят, а не двадцать, на которые поступила заявка от незнакомца, и с восхищением наблюдал, как Сарептская Горчица проделывает все эти необходимые для курильщика действия, как дикари исполняют обряд поклонения таинственному божеству, в котором нельзя упустить ни одной детали, чтобы не быть испепеленным грозными силами, находящимися по ту сторону добра и зла. Особенно ловко он сплевывал в сторону, чуть приподняв одну губу и чуть скривив другую, при этом он становился похожим на родового аристократа, которому пришлось — увы! — столкнуться с презренной чернью.

Генка тоже набрал полный рот слюны, которая текла у него, как у верблюда в холодный день, и, желая показать незнакомцу, что он тоже не лаптем щи хлебает и тоже что-то повидал в своей жизни, сплюнул на сторону, но... попал себе же на рукав. Собеседник сказал снисходительно — так старый профессор деликатно не видит ошибки своего ученика и управляет его! — и вежливо:

— Это не все умеют! Ни чик! Научись!..

Генка вытаращил глаза. «Ни чик!» Это звучало великолепно. На своем дворе он ничего подобного не слышал. И понял, что сильно отстал в своем развитии и что путешествия, конечно, обогащают человека и расширяют его кругозор. Ему не хотелось остаться в долгу, и он сказал небрежно:

— А я у противотанковых был. На лафете сидел.

— Ни чик! — ответил незнакомец и сплюнул на метр вправо.

— А на Шеронова «катюши» стоят! В натуре! — сказал Генка.

— Ни чик! — сказал Сарептская Горчица и сплюнул влево на три метра, показывая, что все доселе известное Генке ни хрена не стоит.

— Меня Генка зовут. А тебя? — спросил уничтоженный Генка, пытаясь как-то спасти свою честь.

— Ни чик! — был ответ, отвергавший гнусные посягательства Генки на дружбу.

Сарептская Горчица пожевал-пожевал мундштук докуренной папиросы, потом взял двумя пальцами и метнул его

щелчком на стекло окна дома, возле которого они стояли. Окурки надежно прилипли к стеклу, испустив последний, жалкий дымок. Генка открыл рот, а Сарептская Горчица открыл Генкин карман своей грязноватой рукой, вынул папиросную коробку и сказал: «От-дай, а то потеряешь!» — в голосе его лязгнул металл, и Генка не смог защитить свою собственность.

— Ну, бывай, кореш! — сказал Сарептская Горчица тоном, который выражал благородную признательность за хорошо проведенное вместе время и выражение лучших чувств. Подняв оторванную доску в заборе чьего-то двора, Сарептская Горчица исчез из жизни Генки как мимолетное виденье, как гений чудной красоты.

Генка вздохнул — ка-акие люди бывают на свете! — и покатился на своем колесике дальше.

Он шел с колоннами, обгонял их, нырял в боковые улицы и переулки, точно игла сквозь войлок проходя через все оцепления и условности этикета. Видел множество людей и слышал все, что могли воспринять его музыкальные уши. Он пролетел мимо Вихрова с Игорем на плечах, вспомнил, что учитель обещал взять его с собой на демонстрацию, но сказал вслух с полным самообладанием: «Ни чик!» — и тотчас же забыл об отце и сыне и святом духе, каким, конечно, являлась мама Галя, незримо всегда присутствовавшая в сознании отца, то есть папы Димы, где бы он ни был. Он помахал шапкой Дашеньке Нечаевой, которая шла в колонне Арсенала с красной повязкой на рукаве. «Ишь ты!» — подумал Генка о Даше одобрительно, благосклонно. Увидел он в шеренге Арсенала и ту девушку, которая не так давно на берегу Амура двинула его по башке, когда рыженькая бултыхнулась в воду. Он поискал-поискал глазами, но рыженькой в колонне не было, как ни хотелось Генке посмотреть на нее, — после того как он видел ее голой, она время от времени, как явление непостижимое и странное, так и виделась ему, хотя каждый раз Генка при этом и ощущал непонятный стыд.

Фортуна подкатила его к самой элите города, к памятнику-трибуне, правда, не с парадного входа, где сверкали орден военных и переливались в солнечных лучах барашковые воротники гражданских начальников, а с черного — туда, где стоял под защитой огромных транспарантов буфет. Он выклянчил у буфетчицы недопитую бутылку лимонада. Вот здорово! Если бы я знал, что такое нектар, я бы сказал, что лимонад показался Генке нектаром.

Тут в просвет между транспарантами, служившими фоном памятнику, Генка увидел и тетю Зину в проходившей мимо колонне работников финансовых учреждений города. Она шла, высоко подняв свою красивую голову, и жмурилась, наслаждаясь и солнечным теплом и музыкой, которая будила в ней радужное настроение, твердо ступая по земле своими

маленькими ножками в красивых резиновых ботиках с меховой оторочкой.

Вид Зины напомнил Генке о доме. В это время уже святой Петр елозил возле распределительного щита и рвал рубильники один за другим и закрывал солнышко сектор за сектором, оглядываясь на землю — хорошо ли сделано дело, и когда Зина со своими товарищами, пройдя площадь, ступила на боковую улицу, которую на этот день превратили в канал, отводящий поток демонстрации в запасные емкости, тучи низко опустились на город и праздник стал меркнуть... Генка поднял за трибуной почти цельный бутерброд с колбасой, огляделся по сторонам и, почувствовав тотчас же волчий голод, от которого у него живот прилип к позвоночнику, честное слово, кинул бутерброд в свой губастый поглотитель.

Тетя Уля, командовавшая в это время уборкой буфета — рядом стояли бумажные ящики и автомашина, — увидела, с какой жадностью мальчишка съел бутерброд и озирался, нет ли еще чего-нибудь съедобного, почему-то тоже огляделась и молча протянула Генке бутерброд с сыром. Генка испугался ее холодных глаз, но бутерброд взял и тотчас испарился, чувствуя, что колесо продолжает вертеться и куда-то влечет его прочь и прочь...

Несмотря на то, что улицы быстро пустели и по ним вел уже прохладный ветерок, таща по мостовой снежную крупу, которая неожиданно посыпалась сверху, с серого неба, пытаясь сварить зимнюю кашку из этой крупы, Генка долго еще шлялся по улицам, уже не чувствуя ног под собой, и все глазел и глазел на оформление площадей, улиц, зданий, бившее уставший взор белым, красным, зеленым. Больше всего запомнились ему плакат, на котором бравый артиллерист стоял у невообразимо большой пушки, да витрина Особторга, на которой, кроме праздничных призывов, были выставлены окорока и стегна мяса, консервы из экзотических фруктов, рыба и крупы, из которых можно было сварить любые каши, — сказочное зрелище, чудесный сон изобилия! Именно за эту витрину Иван Николаевич, проехавшись по городу уже перед парадом, готовился снять стружку с заведующего горторгом: «Дураков не сеют, не жнут, они сами родятся! — сердито думал Иван Николаевич. — Оформление оформлением, а чего же народ-то дразнить! Если эту витрину не разобьют ночью вдрызг, значит, сознательность в моем городе выше всех похвал!»

Домой Генка вернулся, когда все гости были в сборе и уже выпили по первой. Фрося охнула, увидев сына на пороге, расхлестанного, иззябшего, с мокрым носом, с вытаращенными на накрытый стол глазами, и так и рванулась из-за стола. В коридоре она дала Генке леща так, что у него посыпались искры из глаз, зашипела на него, как гуска, и принялась хоть как-то приводить его в тот вид, при котором его можно бы-

ло принять в человеческое общество, поминутно дергая за нечесанные волосы и оттопыренные уши: «У людей дети как дети! А ты?! Ох, доберусь я до тебя!» Роняя крупные слезы, Генка подумал, что мать перепутала будущее время с настоящим, но не смог поправить ее, имея очень слабые тройки по русскому устному...

5

Праздник должен был удался на славу.

Соль Фрося не рассыпала, — значит, не должно быть ссоры ни с кем, а трепка Генке, наспех выданная ему в коридоре, в счет не шла. Черная кошка не перебежала ей дорогу, — значит, и неудач особых не предвиделось, а серый вихровский кот, то и дело бегавший по неотложным делам то на улицу, то с улицы, был как бы свой и не мог приниматься в расчет. Попы навстречу Фросе не попадались, а отец Георгий, которого Фрося частенько встречала на своей улице, ходил еще в своем стареньком, но крепком пальто, сшитом в мастерской горисполкома по доступной цене, еще не надел рясу, то есть как бы и не был попом, да Фрося и не знала, что именно о его облачении и думала бабка Агата, снимая со своей книжки последние деньжонки. Утром Фрося специально, проснувшись довольно рано, все примерялась, как бы встать не на левую ногу. Гости пришли почти все разом, что тоже было очень хорошо, и сели вместе, и ждать никого не надо, и на стол можно подавать сразу, чтобы никто не томился в коридоре, дымя табаком... К тому же, едва войдя, Зина тотчас же сказала Фросе:

— Ты сегодня как невеста, Фрося!

Ох, Зина! Ну, Зина! Вот уж Зина так Зина! У Фроси затрепетало сердце, и она, верно, похорошела как-то так, что даже хмуроватый капитан, которого Зина привела под ручку, кинув на Фросю свой зацепистый взгляд, по-мужски прищурил глаза. До сих пор мужчины на Фросю не смотрели так, то ли потому, что при ней всегда Николай Иванович состоял, то ли по какой-то другой, не столь лестной, причине. И на сердце у Фроси расцвели розы. Ох, не часто они расцветали у нее на сердце в ее прежней жизни, не часто, а разве можно жить без этого?!

Фрося влюбленными глазами посмотрела на Зину, до глубины души благодарная ей, а потом беспечно вздернула головой, приняв вид бесшабашный и легкомысленный — вот я какая, мол! И усадила капитана рядом с собой. Правда, Зина оказалась возле капитана с другой руки... Напротив уселись Дашенька с лейтенантом, который пришел с Зиной и капитаном, точно привязанный к ним невидимой веревочкой.

Однако веревочка эта тотчас же порвалась, едва лейтенант увидел Дашеньку. Он присох к Дашеньке, и млел, и глядел на нее преданными глазами, заранее боясь чем-нибудь обидеть ее. Даше не очень-то нравились молодые люди, изображающие влюбленных, но лейтенант так краснел, так извинялся к месту и не к месту, что Дашенька уже готова была простить ему эти неотрывные взгляды, как видно идущие от души. Она заметила, что левая рука лейтенанта была как-то искривлена и пальцы ее плохо двигались. «Что это у вас?» — спросила Даша, останавливая лейтенанта. «Разрыв мины! — сказал лейтенант и добавил: — Я сапер!» — «Сапер?» — спросила Даша. «Да! Говорят, что сапер ошибается только один раз. Я ошибся. Только мне повезло. Рука искалечена. А сам, как видите, остался жив!» Тут Даша увидела, что под воротник кителя лейтенанта идут глубокие шрамы и что все движения его немного стеснены. Понятно! Лейтенант повторил: «Остался жив! — Он умолк и через минуту, краснея, как свекла, добавил: — Может быть, для того, чтобы увидеть вас!» При этом он так смутился, что Даша даже не смогла рассердиться на него. Тут же он вскочил, поднял свой стакан и сказал срывающимся, мальчишеским голосом:

— За победу, товарищи! За победу!

— Нет! — поправил его капитан. — Первый тост в нашей стране только за того, кто...

— За победу! — упрямо повторил лейтенант и опрокинул стопку в рот, подняв голову, отчего на его шее сразу набрякли жилы.

Зина спросила Фросю:

— Сосед твой дома?

— А где ему быть! — ответила Фрося. — Тоже встречают Май!

За стенкой и верно раздавался разноголосый шум, двигались стулья, звенели рюмки и кто-то залиvisto рассмеялся.

— Кто это? — опять спросила Зина.

— Вихрова жинка! — ответила Фрося, следя за тем, чтобы капитан, который взялся разливать вино, не наливал ей больше той отметки, которая казалась Фросе посильной.

Капитан поднял стакан. Своими неверными, какими-то неуловимыми глазами он поглядел на Зину и сказал:

— Позвольте мне поднять тост за милых женщин, прекрасных женщин, любив...

— Вот спасибо, Марченко! — сказала Зина весело. — А то я думала, мы сейчас будем пить за весь генералитет, а про нас, грешных, и забудут все. Ура! Я хочу выпить!

Но капитан не закончил свой тост, и упрямо договорил:

— ... любивших нас хотя бы... час!

— Не люблю пошляков! — сказала Зина вполголоса.

Но Фрося пришла в восторг от тоста. «Ну и капитан! Видно, и образованный, и богатый... Видно, конфетки-то у

Зины из этого магазина!» — невольно пришла ей в голову мысль. Она выпила все, что налил ей образованный и богатый капитан, и повеселела еще больше. Хмель кружил ей голову, как всем непьющим людям, сразу, и мир показался ей прекрасным, и люди хорошими, и будущее лучезарным, и ей хотелось всех-всех обнять и прижать к самому сердцу. Глаза ее наполнились слезами. Вот Дашенька, которая дралась за место Фроси в жизни, как если бы дралась за свою долю, — милая! Вот Зина — она открыла Фросе целый мир, она заставила Фросю чувствовать себя женщиной, а не родильной и стиральной машиной! Милая Зина! И капитан милый, — это ничего, что хмуроват, может быть, у него сердце чистое золото! Лейтенант, — братишку бы такого Фросе! И Фрося радовалась, видя, какими восторженными глазами глядит лейтенант на Дашеньку. «Видно, влюбился! Знаешь, Зиночка, бывает любовь с первого взгляда! Вот ей-богу бывает!..» Она не заметила, как Зина почему-то сердито ударила по рукам капитана. Потом с удивлением обнаружила чью-то плотную, горячую ладонь на своем колене. «Ой, что это?» — сказала она себе испуганно. Ей было и неловко — вдруг кто-нибудь увидит? — и приятно вместе с тем: ведь никто так и не делал прежде! Она потянулась к зеркалу, поправила волосы, взглянула на себя и опять понравилась себе. Только тут она сообразила, что ладонь принадлежит капитану, а капитан принадлежит Зине, как она уже рассудила, и что получается, будто она Зине ножку подставляет. «А что?» — самоуверенно кто-то спросил ее. И она ужаснулась. И очень поспешно и заметно откинула руку капитана, отчего он, не ожидавший удара с тыла, чуть не упал в ее сторону. Но все засмеялись, и первая — Зина, и Фросе стало еще веселее.

Как в тумане видела она, что капитан налил водку и дал Генке, который ел-сл и наестся не мог и голодными глазами все шарил по столу — чего бы еще зацепить?

— Пей, солдат! — сказал капитан Генке.

— Не! — ответил Генка.

— Пей! По-фронтовому! — пододвигал капитан водку.

— Ну! Это лишнее! — сказала Дашенька и попросила лейтенанта убрать водку от Генки и уговорить капитана по-хорошему.

— Марченко! — сказала розовая, словно светящаяся изнутри, Зина. — Ну, бросьте дурить!

Тут Генка набрался храбрости и, хотя его уже мутило и от съеденного и от курева, хлебнул поднесенное капитаном и даже не почувствовал сначала ничего — глотка у него была дай боже! — а потом увидел, как и капитан, и красивая Зина, и мамка, какая-то смешная и будто бы ненастоящая, и Дашенька, и молоденький лейтенант поплыли в одну, в другую сторону, как на карусели, завертелись-завертелись и исчезли в сияющем мареве, которое источала из себя по случаю

праздника ввернутая Луниной большая лампа над столом. Он, не в силах выдержать движение карусели, которая сворачивала ему голову на сторону, положил на стол руки, на руки положил тяжелую, хотя и пустую, голову, сказал Сарептской Горчице: «Ни чик!», ловко сплюнул в сторону — аж через всю улицу! — и принялся выпускать дым колечками, прямо в дуло стопятидесятидвухмиллиметровкам, а расчет гвардейского миномета только ахал и восклицал в восхищении: «Генка! Генка!»

— Генка! Ну, Генка! — стала тормошить его мать.

— Да положите вы его в кровать! — сказал капитан голосом старшего по званию в гарнизоне. — Все равно только мешать будет!

И Генка брякнулся в свою кровать. Созвездие Стрельца и целый сонм других созвездий закружились перед его сомкнутыми глазами и увлекли его с собой в зыбкий звездный мир вселенной, по которому он плыл, чуть покачиваясь.

— Ни чик! — сказал он напоследок.

— Чего? Чего? — спросила мать, раздевая его.

Но Генка был уже в миллиардах километров от этого мира.

...Товарищ капитан! Зачем вы дали Генке водки? Я трогаю капитана за рукав, но он не видит и не слышит меня. Увы! Я для него не существую, и мой возглас и мое прикосновение не доходят до его сознания, так как я — автор, а он — действующее лицо, и я не вправе изменить что-то в его действиях: у него своя воля — добрая или злая, свой характер, свои намерения, свои привычки, свои поступки, свои склонности, свои симпатии или антипатии, он подчиняется не мне, а тем мотивам, побуждениям, решениям, которые созревают в нем независимо от того, нравится или не нравится это мне...

Беспричинно смеясь, Фрося уже не сбрасывала руку капитана, если опять чувствовала ее. Это стало нравиться ей. Она изо всех сил веселилась, веселилась так, как редко случалось ей веселиться. Она угощала гостей и уже готова была пить за жениха и за невесту, немного завистливо глядя на то, как близко сидят друг к другу Дашенька и лейтенант, который всем сказал: «Зовите меня просто Федя! Какой я Федор Дмитрич, я ведь еще молокосос, как раньше говорили!» Дашенька тихонько трогала его за рукав и твердила: «Федя! Вы же смерти в глаза глядели! Какой вы молокосос! Вы мужчина, настоящий мужчина!» Капитан что-то вполголоса говорил Зине, а она, полузакрыв свои мерцающие глаза, предупреждала его: «Марченко! Тише! Услышат же!» — «Эх-х!» — с раздражением и грустью говорил капитан. — Хоть бы раз по имени назвала. Королева! Да я бы на городской площади через репродуктор во весь голос орал бы, если...»

— Горько! — закричала Фрося и счастливо смеялась. — Горь-ко!

— Ну, ты, Фросечка! — сказала Зина, на которую хмель не оказывал заметного действия и которая стала, быть может, только чуть ленивее двигаться, отчего была еще соблазнительнее. — Кажется, совсем уже дошла!

— Ой, Зиночка! Дошла, честное слово!

Тут она, обняв Зину, оттащила ее от капитана и шепотом, больше всего боясь, чтобы не услышали мужчины и Дашенька, рассказала о своих некрасивых снах подруге. Зина отстранилась от нее и трезвыми глазами поглядела на Фросю, усмехнулась как-то невесело и спросила:

— Так и видела? Во всей красоте?

— Ага! — сказала Фрося. — Зиночка, это как же понимать?

— Дурная ты, Фросечка! Вот так и понимать. Сколько ты уже живешь одна-то? — Потом с озорным смешком сказала: — Живой? Бьется? Значит, кто-то к тебе стремится! Вот Марченко, например! — она поглядела на мрачного капитана, который отошел к двери в коридор, чтобы покурить, а потом вообще вышел на веранду, задетый словами Зины и сердясь на нее. Вдруг она тихо сказала: — Фрося! Пойдем поздравим депутата с Первым маем, а!

Как ни была Фрося пьяна, ей показалось зазорным идти от накрытого стола в чужую комнату. Что-то это не то! Зачем? У них своя жизнь, у соседей своя! Не идет же Вихров в комнату Фроси, чтобы поздравить ее с праздником! Живое чувство обиды шевельнулось в Фросе. Потом волна доброжелательства и душевной широты опять разлилась, захлестнув ее целиком...

— Сейчас! — сказала она Зине, которая ничего не увидела и не почувствовала. — Я сама! Сейчас, Зиночка!

Она выскочила в коридор. Дверь квартиры Вихровых была приоткрыта. Там шло шумное веселье. Фрося увидела за столом Прошина. Черно-красный, он хохотал, что-то громко говоря низко склонившей голову с тяжелыми темными волосами, собранными в тугий узел на затылке, приятельнице Вихровой — Анке. Она смеялась не столько словам Прошина, сколько над ним самим и искоса бросала взгляды на Галину Ивановну, которая понимала подругу без слов. Прошин все время брал руку Анки с длинными пальцами и полной ладонью, женственную руку зрелой женщины, и пытался поцеловать, а Анка легонько била его по губам. Тут тоже говорили вразной. Кто-то, невидный Фросе, кричал: «Предлагаю тост! Предлагаю тост!» Вихрова, покрывая весь шум своим звонким голосом, отвечала: «Все тосты уже сказаны! Долой профсоюзную дисциплину, Сурен! Я не хочу быть организованным членом общества! Я просто овечка! Бе-е-е! Ме-е-е!» Прошин обратил к ней свой масляный взор: «Боже, какая

прекрасная овечка! Я чабан!» Галина Ивановна показала ему длинный нос, а Анка сказала: «Андрей, вы пьяный! Не кричите так страшно, у меня лопнет барабанная перепонка!» Прошин сел на стул, лицо его омрачилось, он сказал: «Вихров! Меня обижают в вашем доме!»

Тут взгляд его упал на Фросю в коридоре.

— Кто вы, прекрасная незнакомка? — крикнул он, узнав Фросю и стал тяжело подниматься из-за стола. — Ухожу, униженный и оскорбленный. Но не сломленный! Вы — злая моя судьба! Я убью вашего мужа на дуэли, как только мне разрешат пользоваться главным калибром резерва главного командования! — сказал он Анке.

— Скатертью дорога! — сказала Анка, с облегчением вздыхая.

— Долой крепостников! — крикнула Галина Ивановна.

— Куда ты, Андрей? — спросил Вихров, удерживая друга.

Фрося поманила Прошина ладошкой.

— Прекрасная Нивернеза зовет меня покачаться на волнах Сены и Уазы! — сказал Прошин и вцепился в Вихрова. — Уйдем, друг Димитрий, отсюда. Нас не понимают в этом обществе элоев, над которым властвуют овечки, не признающие чабанов, и жестокие черные дамы! Пойдем на низовую работу — она вернет нам ощущение почвы под ногами и сознание подлинной человечности! Уйдем!

— Вот мелет! — сказала им вдогонку Галина Ивановна и закричала: — Сурен! Вы все знаете! Скажите мне, почему мужчины так много говорят? Притом чепухи!

Прошин прикрыл за собой дверь.

— Прекрасная Нивернеза! Мы готовы отдаться в вашу власть!

— Здравствуйте, соседка! — сказал Вихров, увидя рюмку в руке Фроси и попеняв себя за то, что забыл о ее существовании. — Поздравляю вас с праздником. Сердечно желаю вам всего хорошего!

— И вас с Первым маем! — отозвалась Фрося и открыла дверь. — Зайдемте, чокнемся! Все-таки Первое мая же. Не каждый день...

— О! О! О-о! — сказал Прошин, увидя Зину и Дашеньку. — Димитрий! Я остаюсь здесь навсегда!

Дашенька сказала обрадованно:

— Ой! Товарищ Вихров! Как хорошо, что вы зашли! — Она обернулась к насторожившемуся лейтенанту: — Федя! Познакомьтесь с товарищами...

Вихров от порога увидел Зину. И она глядела на него не отрываясь, будто в комнате не было никого, кроме их двоих. Она, как-то очень красиво, высоко держа бутылку, так, что струйка вина в свете лампы показалась ключиком живой воды, налила рюмки и подала одну Вихрову.

— Я хочу выпить с вами! — сказала Зина и встала, близко подойдя к Вихрову. Темные глаза ее словно притягивали взгляд Вихрова. И опять, как тогда, в дремоте, он увидел их прямо перед собой, и погрузился в бездонную глубину их, и заметил, что зрачки ее глаз то сужались, то разливались, чуть не покрывая всю радужную.

— Я рад видеть вас! Я хочу пожелать вам в этот день...

Но Зина как-то изучающе и вместе с тем беспомощно и будто чего-то боясь опять заглянула ему в лицо, посмотрела на его губы, потом в глаза.

— Что вы можете мне пожелать? — сказала она, обрывая его официальный тон и словно показывая, что слова совсем не нужны ей, что она наперед знает, что может он сказать ей тут, с рюмкой в руке.

И Вихров замолк, чувствуя себя неловко оттого, что Прошин вдруг многозначительно кашлянул и очень уж громко заговорил с Фросей и Дашенькой. Помолчала и Зина. Потом она спросила:

— Вы хороший?

— Не знаю! — ответил Вихров, смущаясь еще больше. — Стараюсь!

Зина покачала головой, отменяя пустые его слова.

— Вы хороший! — сказала она и, сделав ему знак — «пейте!» — одним глотком выпила свое вино и опять долгим взглядом глянула на него, потом трогательным движением маленькой девочки взялась своими красивыми ладонями за щеки и за виски, потерла их, не думая о том, что этот жест не красит ее. Рассмеялась, и в этом смехе Фрося услышала какие-то новые нотки, каких прежде не слышала. — Ой, я совсем пьяная! — сказала Зина.

— Вы не пьяная, вы красивая! — сказал Прошин и, не в силах сдержаться — он очень любил красивых женщин! — положил ей руку на запястье и потащил ее руку к губам.

Зина как-то очень спокойно вынула свою руку из клещей Прошина и сказала:

— Ну зачем же так тащить? Не держикорень ведь! — Она мило поднесла к его губам свою руку. Он поцеловал раз-другой. Зина так же просто убрала руку и с неприкрытым вздохом сказала: — Не говорите «красивая», спросите, счастливая ли. А красота что...

— Счастливая ли? — спросил тотчас же Прошин.

— Была не очень...

— А теперь?

Из столовой Вихровых донесся возглас Сурена:

— Товарищи! Я считаю присутствующих: один, два, три... Делю на два. Правильно? — И, перекрикивая смех, шум, возгласы «правильно!», сказал: — Четырех не хватает? Делю на два. Не хватает двух! Верно? Предлагаю организовать поиски пропавших...

Зина мягко коснулась руки Вихрова:

— Вас ищут. Идите... Не надо, чтобы приходили сюда...

Вот и тайна, пусть маленькая, связала их.

...После ухода Вихрова и Прошина Дашенька засобира-лась домой.

— Да куда же, Дашенька, голубка моя? — с искренним огорчением спросила ее Фрося, смятенная и испуганная тем, что ее праздник, кажется, кончается, — Ну, посиди еще. С Федюшкой поговори еще. Вы оба, как птицы на заре, молодые, хорошие! Найдется о чем поговорить. Споем, выпьем, поболтаем! А, Дашенька?

Даша обняла Фросю.

— Тетя Фрося, я бы с дорогой душой. У вас так хорошо, уютно! Да у меня подружка больная! На днях искупалась в Амуре, теперь лежит с воспалением легких, а это дело такое, сами понимаете! Я веселюсь тут, а она с температурой. Такая девушка — просто золото, хорошая, веселая, добрая...

— А чего она в Амур-то? — спросила Зина, занятая какими-то своими мыслями, не очень внимательно слушая Дашеньку.

— Да в ледоход какого-то мальчишку на льдине унесло. Мимо нашей купальни плыл. Ну, Танюшка и кинулась. Мальчик-то ничего, а она искупалась...

— Большой? Маленький? — спросила Зина.

— Не видала. Школьник. Девчата так перетрусили, что даже не спросили его, где живет, как зовут. Ушел он — и все, а Танюшка болеет...

— Бывают же такие матери! — сказала Фрося, наливая вино, и с осуждением покачала головой. — Ведь мальчишек надо держать вот так! — она сжала свой маленький кулак, сделав это точно тем же движением, как делал Николай Иванович. — Ведь за ними глаз да глаз нужен. Река, железная дорога, автомашины на улицах — долго ли до беды! Я бы, Дашенька, разыскала эту мать да и прописала бы ей по первое число, чтобы не распускала детей!..

6

После того как закончилась демонстрация и оцепление было снято, почтальоны пошли продолжать свое хорошее дело.

Петя Тимофеевич тоже взвалил тяжелую сумку себе на загорбок и отправился с горки на горку, как между связистами называлась разноска почты по холмистым улицам города.

Петя Тимофеевич не принадлежал к числу старейших работников почтовой конторы только потому, что ему еще не было шестнадцати, хотя, как он считал, он уже прошел те

сто тысяч километров пешком, которые надо пройти, пока ты не станешь настоящим почтальоном. И у него, как у старых почтальонов, к вечеру ломило плечи и ноги, между лопатками гнездилась боль, а руки сводило от усталости, как у заслуженного ревматика республики, уже истребившего первый миллион муравьев на предмет избавления от нудной ломоты, мешавшей жить и быть полезным своим согражданам.

По-моему, возраст следует считать не прожитыми годами, а накопленным опытом и плотностью переживаний. Аркадий Гайдар командовал кавалерийской разведкой, когда ему было шестнадцать лет. Сергею Лазо было всего двадцать четыре года, когда он стал признанным военным руководителем огромной партизанской армии. Олег Кошевой взял на свои юношеские плечи организацию комсомольского подполья в Краснодаре. Сеня Голиков стал Героем Советского Союза в тринадцать. Виталий Бонивур в семнадцать был надежным человеком революции. Комсомолец Тарабарко в шестнадцать прославился такой производительностью труда, что в крае рассказывали о нем легенды... Значит, дело не в возрасте!

В свои годы Петя Тимофеевич становился столетним стариком, когда приносил людям похоронные извещения и их горе сгибало его спину, и обретал резвость своих четырнадцати лет, когда письма, приносимые им, давали людям радость.

В свои годы Петя Тимофеевич стал философом и психологом. Почтовые отправления были для него не письмами, бандеролями, переводами и извещениями — они были концентратом человеческих чувств, вызывавшим многие чувства у людей, которых Петя должен был делить и делил на две основные категории — получателей и отправителей, или корреспондентов и адресатов.

Разбирая адреса на своем столе в отделе доставки, Петя невольно раздумывал над тем, что непосредственно в его функции не входило, размышлял и сопоставлял, сравнивал и анализировал. Иногда, видя каракули на конверте, он раздумывал, каков человек, выведивший эти каракули: стар или молод, здоров или болен, сердит или обрадован и почему в свою очередь не думает о бедных работниках связи, часто вынужденных разбирать такие криптограммы отправителей, которые и гениального Шамполлиона заставили бы задуматься над расшифровкой? Или любовался каллиграфией иного адреса, невольно говоря про себя: «Вот хороший человек! Написал — и все понятно, куда, кому, откуда, знай бери и неси!» И люди, писавшие разборчиво, почему-то казались ему учителями, — может быть, потому, что его учительница всегда писала каллиграфически на полях тетради по русскому языку: «Баранов! Следи за нажимом, держи перо правильно, не наклоняйся слишком над столом! Ты пишешь для того, чтобы

другие могли прочесть, а не для того, чтобы испачкать бумагу!» Впрочем, они могли быть также и отличниками по русскому языку, на всю жизнь запомнившими заветы своих учительниц о том, что пишут для того, чтобы другие могли прочесть написанное.

Больше всего он любил разносить извещения о переводах. Тут все было ясно — человеку всегда нужны деньги! — значит, получатель улыбается, говорит: «Ах, как кстати! В самое время пришли! Ну, спасибо, молодой человек! Вот мы тут распишемся — и порядок! Спасибо!» Хотел бы Петя видеть человека, которому деньги пришлось бы не в пору! Он прощался с получателем за руку и уходил, оставляя за собой улыбки и довольство. Треугольнички со штампом полевой почты, измазанные цензорской тушью, как деревянные ворота дегтем, тоже не таили в себе ничего плохого: значит, отправитель жив, воюет, и дай ему бог здоровья! Ну, может, ранен и лежит в госпитале — все-таки не убит и не пропал без вести. Держа в руке такой треугольничек, он стучался смело — без тяжести на сердце! — как добрый вестник. «Ой, письмо от Васи! Таня, Маша! Письмо от Васи! Идите скорей! Спасибо, спасибо, мальчик! Такая радость, давно не писал! Спасибо!» Он уходил, слыша за своей спиной охи и вздохи и чувство облегчения. Он делил письма на письма с запада и письма «отсюда», местные. Местные он вручал без переживания — что особенного может сообщить корреспондент из края: был в поле, работал, выехал в командировку, дети здоровы, возвращается, выполнил работу или должен задержаться, собирается в гости, скучает, ждет, любит — не любит, плюнет — поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет. От этого не умирают и долго не страдают. Письма же с запада часто таили в себе скрытую угрозу адресатам.

И как часто, вынимая письмо из сумки, он приглядывался к нему: тот ли почерк, что был прошлый раз? И сколько же почерков неизвестных ему людей хранил в памяти Петя Тимофеевич Баранов! Если не тот, он не звонил и не стучался, он оставлял письмо в почтовом ящике или у дверей, на виду, чтобы не видеть беспокойства и тревоги на лице получателя — матери, жены, сестры, дочери отправителя. Его маленькое сердце было переполнено беспокойством чужих ему людей, для которых он был только почтальоном и ничего больше, но которые были для него всегда людьми, и так больно ему было сознавать себя часто вестником несчастья, горя, тоски и муки...

Были и такие, которые Петя брал в руки со скрытой дрожью, как топор палача, ибо Петя был обязан доставлять людям и хорошие и плохие вести, от которых разрывается сердце и льются слезы. Крупные конверты со штампом воинской части. Написанные фасонистой рукой ротного писаря. Как Петя ненавидел их росчерки и закорючки! Взвешивая

конверт рукой, он соображал: может быть, аттестат на до-вольствие? Нет, легковато... Опять похоронка? И у Пети опу-скались на сердце серые сумерки, даже если на улице сияло солнце.

Сегодня он отказался было взять в разноску такой кон-верт.

— Борис Сергеевич! — сказал он начальнику отдела до-ставки, плотному, среднего роста человеку со строгим лицом и в железных очках на толстом носу, который, тоже в дур-ном настроении, поглядывал на «эти» конверты, которых, как назло, пришло в этот день довольно много. — Первое мая же, Борис Сергеевич! А?

— Ну, Первое мая! И что? А ты думаешь, второго мая будет легче? Наше дело, брат Петя, такое: носить — не пере-носить, таскать — не перетаскать! Связь же... Иди, браток, а то с поздравительными ты до ночи протопаешь!

Но и поздравительные не радовали Петю Тимофеевича...

Сумка пустела, но ему не становилось легче от этого. Каза-лось, с каждым шагом проклятый конверт становился все тяже-лее и тяжелее. Шаг, другой, улица за улицей, дом за домом. Лестницы, крылечки, жестяные ящички «для писем и газет», прорези в дверях «для почты», коридоры, двери всех фасонов и размеров, этажи, подвалы, калитки, палисадники («во дворе злая собака!») — все это вместе называется маршрут. Можно считать шаги. От здания почтамта через улицу — шестьдесят шагов. Вдоль квартала, мимо витрины местной газеты, мимо магазина наглядных пособий с человеческим скелетом за сте-клом, мимо книжного магазина — ох, сколько книг понаписа-но, и разве можно все книги прочесть, мимо дверей городского Совета, тяжелых, дубовых, с зеркальными стеклами и огром-ными медными ручками, за которые с руки братья только Илье Муромцу, мимо ювелирного — так и сверкают за стеклом на черном бархате всяческие драгоценности, мимо хлебно-го — опять очередь за угол, на боковую улицу. Двести двадцать шагов. Налево. Вниз. Ступеньки, площадка, ступеньки. Дом ра-ботников краевого комитета, за дверью в маленьких стеклыш-ках зевает милиционер, тоскующий на своем посту, как заклю-ченный в одиночке. Столовая горкома — ах, какие запахи исто-чаются из-за ее двери, когда она поминутно раскрывается! Хо-зяйственный двор горкома. Здесь живет заместитель председа-теля крайисполкома товарищ Воробьев — тот толстый, налив-шийся буйной силой и доверху переполненный начальниче-ским апломбом. Маленьких людей он вообще не замечает. Ему все местные. Воробьев сам встречает в дверях почтальона. Он протягивает руку точно в пустоту, не видя Петю Тимофеевича, небрежно берет пачку поздравительных и поворачивает к поч-тальону толстый зад и налитую кровью шею. Дверь захлопыва-ется. Петя спускается во двор. В довольно большом сарай-

чике раздается визг передравшихся свиней. Воробьев откармливает трех хряков. «Живет же человек! Только птичьего молока не имеет, а все остальное — что твоя душа пожелает! А на что ему свиньи?» — спрашивает себя и вспоминает богатую квартиру Воробьева, в которой приходилось ему бывать, забитую красивыми вещами, заставленную мебелью, завешанную портъерами, закиданную подушечками, подушками, подушищами и рукодельем: вышивки, аппликации, коврики... Еще двести пятьдесят шагов! Гараж. Садик — береза, черемуха, две елки. Налево. Еще двести шагов!.. Высокая лестница в два поворота, с навесом на резных стойках...

Петя Тимофеевич не в силах подняться на эту лестницу, оттягивая время. Он заворачивает за угол и поднимается по черной лестнице к Вихровым. Полдесятка поздравительных отправлений, все местные, одно из Владивостока — там у Вихрова остались какие-то друзья, остальные носят городской штамп — отправители этих писем уже сидят у Вихрова, и им весело. Они уже идут по диким степям Забайкалья во субботу — день ненастный, они уже проскакали по долинам и по взгорьям, и уже прозвонил над ними вечерний звон, и уже — Петя прислушивается одобрительно и взыскательно, музыку он любит и понимает с детства! — слетел к ним тихий вечер...

Его появление вызывает веселое оживление. Отправители вынуждены сами вручать свои отправления получателям, что опять порождает взрыв смеха и шуток.

— Товарищ Лунина дома? — спрашивает Петя Тимофеевич Баранов, в надежде, что Вихровы возьмут и конверт, адресованный Луниной с запада и надписанный лихой рукой ротного писаря.

— Ну, ты же знаешь, Петя, что Лунина живет с той стороны! — говорит Вихрова и, легонько прикасаясь к его щеке горячей, душистой рукой, говорит: — Поздравляю тебя с Первым маем!

— И вас также! — привычно говорит Петя Тимофеевич. Девятнадцать ступенек вниз. По тротуару направо. По тротуару еще раз направо. Девятнадцать ступенек вверх по лестнице с поворотом и площадкой.

«Лунина! — говорит Петя про себя. — Эх, ты, Лунина!»

В квартире Фроси в это время шумел камыш, деревьягнулись, а ночка темная была, одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Еще никогда в жизни Фрося не пела так самозабвенно. Ах, как удался праздник! Как все хорошо, хорошо, хорошо!

Петя Тимофеевич не осмелился войти в дверь, приоткрытую то ли случайно, то ли намеренно, для воздуха... Он постоял-постоял на верандочке, послушал-послушал, как ладно поют за дверью. Огляделся вокруг — двор пуст, но во всех домах открыты форточки, отовсюду доносятся веселые голо-

са, смех, песни. Праздник же, Борис Сергеевич! Ну как вы этого не понимаете, жестокий вы человек? Праздник!

Проклятый конверт!

Он один болтался в пустой сумке.

Баранов еще раз попытался взглянуть в окно квартиры Луниной. Кто-то громко сказал: «Товарищи! Становится темно. Давайте-ка опустим шторы — пока еще затемнение не отменили, за милую душу оштрафуют!» Все засмеялись, и темные шторы погасили окна Луниной. Петя заметил на веранде деревянный сундучок. Сундучок не был заперт. Крышка его чуть сдвинута в сторону. Петя поднял крышку. Там было всякое барахлишко, которое в комнате держать неловко, а выбросить жалко — вдруг пригодится! «Пользуются же им, однако», — сказал себе Петя Тимофеевич и кинул конверт в сундук так, чтобы его могли заметить сразу.

Он постоял немного, с бьющимся сердцем огляделся — не видел ли кто-нибудь его проделку, боясь, что вдруг неожиданно откроется дверь и его спросят: «А что ты здесь делаешь, друг? Что тебе в этом сундучке надо? Не положил, а ищешь?» О-ох! Положил. Положил... Петя перевел стеснившееся дыхание, затем постыдно бежал.

Скача через две-три ступеньки, он слетел с высокой лестницы, промчался мимо садика с березками и елями и выскочил на улицу, громко хлопнув калиткой. За спиной его болталась пустая, легкая-легкая сумка, но на душе Пети Тимофеевича Баранова не было праздничной легкости, хотя и ожидал его дома любимый пирог с черемухой, который мать обещала испечь к его приходу.

Глава восьмая

МАЭСТОЗО

1

Несколько лет великие державы с тайным страхом и с тайными надеждами смотрели на Гитлера, подкармливая его, как хозяин подкармливает злую собаку, и прикидывая, на что может стодиться этот экземпляр прямоходящего двуного млекопитающего с усиками, как у Чарли Чаплина, с челочкой, как у Лиа де Путти, с темными, то мутными, то сверкающими лихорадочным блеском, глазами, как у шизофреника. И в 1933 году Гитлер взял власть из рук престарелого президента Веймарской республики Гинденбурга и установил тысячелетнее царство наци.

На тринадцатом году своего бытия империя Гитлера прекратила свое существование, не дотянув до тысячелетия какой-то пустяк — всего девятьсот восемьдесят семь лет.

Но если продолжительность деспотии исчислять количеством раздавленных судеб, силой страха, которую она порождает, накалом злой воли, масштабами разрушений и порабощения, числом войн, а стало быть, и числом убитых и искалеченных, то Третья империя имела право считаться тысячелетней.

История знала имена многих убийц, на черной совести которых лежало истребление целых народов и пролитие морей человеческой крови. Такими были: Аттила — вождь гуннов, Рамзес Второй — сын царя, отец царя, царь царей, Карл Пятый Испанский — припадочный создатель Эскуриала, Фердинанд Кортес — предводитель конкистадоров, лорд Китченер — гордость британской короны, Наполеон Первый — бешеный корсиканец, обративший с ловкостью фокусника Французскую республику в Французскую империю. Таким убийцей была и святая римская католическая церковь — непревзойденный мастер отправлять смертных грешных к престолу всевышнего за отсутствие ли веры или за избыток ее. Но — за тринадцать лет своего владычества! — Гитлер далеко оставил за флагом своих предшественников, не исключая и святой церкви, которая трудилась на ниве божией без малого две тысячи лет.

Шумный успех сопутствовал выступлениям Гитлера на арене человеческой истории, начиная со скандалов в мюнхенских пивных и «ночи длинных ножей». Исполнялись предначертания его, изложенные в книге «Моя борьба», которая была небезынтересным сочинением, особенно для психиатров, посвятивших себя изучению мании грандиоза, но стала реальным планом захвата мирового господства. За тринадцать лет он поработил, сначала разложив изнутри, а затем предприняв военные акции, тринадцать европейских государств, среди которых оказалась и одна великая держава — Франция. Военные оркестры вермахта трубили марши, и, как в плохой постановке провинциального театра, противники рейха преклоняли колена перед ошалевшими от успеха и от запаха свежатины волчатами Гитлера, которых он подкармливал сырым мясом со дня рождения.

У тех, кто помнит эти дни, возникало ощущение не-реального, странное ощущение кошмарного спектакля, какого-то бездарного гиньоля, разыгрываемого для того, чтобы хорошенько попугать слабонервных. Все происходящее, начиная с того, как немецко-итальянские «Люфтваффе» обрушились на Картахену и Гвадалахару, на Валенсию и многострадальный Мадрид и Народная Испанская Республика была потоплена в крови, казалось ненастоящим — настолько противоречило элементарному здравому смыслу трезвого человеческого ума. Но это была реальность, хотя с ней и не мирился рассудок.

Коричневую лужу гитлеризма никто не хотел подтереть всерьез. Франция, Англия и Соединенные Штаты Америки лишь полегоньку оттирали от своих дверей, чтобы не захлестнуло слишком, эту кровавую лужу, стараясь направить ее разлив в сторону Советов — на восток! на восток! на восток! — заранее предвкушая желаемую возможность стереть с политической карты мира известное «географическое понятие», ежели этот номер пройдет. При этом лужа до пояса залила даже Прекрасную Марианну. Но это не встревожило ее галантных кавалеров — Джона Буля и дядю Сэма, так как их любовь к Марианне была всегда корыстной, сколько бы красивых речей ни проносили они об общности душ и единстве целей.

Но этот номер не прошел. Едва Гитлер начал свою четырнадцатую войну против Советов в надежде после быстрой победы бросить на Англию и на Америку все неисчислимые, с захватом богатств Советского Союза, резервы и ресурсы — в ладной машине немецкого фашизма что-то разладилось...

На новом фронте было что-то не так, как на прежних.

До сих пор Гитлер имел дело с людьми и государствами, хотя и не расположенными к бесноватому фюреру, но внутренне родственными ему по своей сути. Теперь же ему противостояли иной строй и иные идеи. Социалистический строй и ленинские идеи.

Он мог разгромить чужие военные соединения — дивизии, армии, фронты, он мог уничтожить военную технику, людские и материальные резервы. Но уничтожить идеи он не мог, потому что не мог сам выдвинуть иной идеи, кроме идейки своей личной исключительности и личного права перекраивать мир по своему разумению. А у Советского Союза была идея строительства коммунизма во имя простых людей всего мира, близкая сердцу каждого честного человека, которому надоело работать на хозяев, даже если они Тиссены или Рокфеллеры. А когда идея овладевает массами, она становится материальной силой, обретает бессмертие, рождает героизм и воодушевление, вдохновляет и на тяжкие испытания, и на смертную борьбу, и на грядущую победу.

До самого конца Гитлер так и не понял этого.

На его глазах самая совершенная военная машина, какие когда-либо знал мир, повернув на восток, забуксовала, заела, заскрежетала, напряглась до предела прочности, но подалась назад, покатила в обрат все сильнее и сильнее и разрушилась. Разрушилась, хороня под обломками не только безумные мечтания человека, место которого было в доме умалишенных, а не в государственной канцелярии, но и все планы Тиссенов и Круппов, Кунов и Лебов, но и все надежды Морганов, Ротшильдов и Рокфеллеров, которые незримо присутствовали при рождении фюрера наци, сунули ему в рот серебряную ложку на счастье и, оставаясь при этом в тени, помогали подсаживать его в канцлерское кресло.

Все ожидали известий с фронтов.

Ежедневные передачи стали для Фроси необходимостью, настоящей потребностью. Может быть, скорее всех в сберегательной кассе она поднимала вверх палец и предостерегающе говорила: «Тихо! Товарищи! Последние известия же!», едва из репродуктора слышался голос Левитана.

Голос Левитана! Мы помним по именам всех дикторов московского радио. Это были хорошие дикторы. Может быть, лучшие в мире. Но Левитан не был диктором. Он был Левитаном. И как часто можно было слышать: «Левитан сегодня передавал!» или: «Ой, я сегодня Левитана не слышала! Что он говорил?» Все знали, что Левитан у микрофона, когда надо передать самые тяжелые известия, от которых сжимается сердце и почва уходит из-под ног и, кажется, останавливается течение времени: Львов в руках врага, сдан Киев — мать городов русских, оставлен Минск — сердце Белоруссии, наши войска отошли восточнее Смоленска, пали Можайск и Наро-Фоминск, и бьется в кольцо блокады Ленинград, и кровью истекает Сталинград... Но он подходил к микрофону и тогда, когда надо было передавать и самые радостные известия: немцы были остановлены на Волоколамском шоссе, и наступательный нахрап их выдохся; армия Паулюса сдалась под Сталинградом; Орловско-Курская дуга сомкнулась вдруг, и десятки гитлеровских дивизий перестали существовать; в корсунь-шевченковском котле сварились всмятку немецкие вояки; Советская Армия взяла Бухарест, Софию, Будапешт, Вену, вступила на территорию Германии, перенесла войну туда, откуда она началась, где ее спланировали и выпестовали; Советская Армия блокировала Кенигсберг — колыбель прусского милитаризма и Берлин — логово Гитлера!

Но если суровая скорбь тяжелых известий была пронизана глубокой верой в торжество правого дела и голос Левитана не позволял впасть в отчаяние даже тогда, когда было невыносимо больно, то радость победных известий умерялась благородством и человечностью, и голос Левитана не позволял стучать кулаком по столу и кричать: «Теперь немцы у нас попляшут!» — а мысль эта шевелилась кое у кого...

Жизненное пространство фашизма сократилось до размеров пятачка. Целые фронты умещались в районе Бранденбургских ворот, у стен государственной канцелярии с бункерами семидесятипятиметровой глубины, в которые забились немецкие атаманы, в районе рейхстага, который когда-то пытался поджечь слабоумный или жадный на марки Ван дер Люббе, дав Гитлеру повод для Варфоломеевской ночи, в которой погибли лучшие люди Германии, на Унтерден-Линден, столетние липы на которой никогда не знали такой по-

ливки, как теперь, — горячей, дымящейся кровью людской, на Александерплац...

— Что это такое? — спросила неосторожно Фрося, услышав вроде бы что-то русское в потоке чуждых, непонятных наименований.

Но на нее зашикали, загрозили пальцами: потом, потом вопросы, товарищ Лунина! И она, застыдившись своего неуместного любопытства, даже села на свой стул, хотя и поднялась до того, как и все сотрудники, чтобы лучше слушать. Говорят, хорошо есть стоя — чтобы больше вошло, но и слушать стоя тоже лучше почему-то: может быть, тоже больше входит?

Клиенты жались тесными кучками возле репродуктора, боясь пропустить хотя бы одно слово новых сообщений, возмущенно оглядываясь на тех, кого обуял не вовремя кашель или в ком зуд общительности пересиливал желание слушать, махали со злостью на тех, кто, входя, скрипел или хлопал громко дверью, переглядывались понимающе, перемигивались друг с другом, чувствуя в эти моменты кровной родней каждого, с кем встречались взглядами, одобрительно покачивали головами...

Каждому было ясно — конец войны близок, и было бы непростительно стыдно самому не услышать об этом.

Бог войны — артиллерия! — в эти дни говорил от имени Свободы и Разума громами советских пушек, и этот бог никогда не говорил так громко: до двух с половиной тысяч стволов умещалось на квадратном километре в пригородах осажденного, ослепленного, оглушенного, рассекаемого на части и истекающего кровью Берлина. Если католики, лютеране и баптисты — христиане всех толков — до сих пор только верили в ад, теперь они увидели его: он разверзся у самых ног надменного города, где на улицах и тенистых площадях до сих пор высились или уже были повергнуты во прах каменные или бронзовые идолы — Бисмарк, Мольтке, Шлиффен и многочисленные Гогенцоллерны, Гогенштауфены, Гогенлоэ и Гогентаубе, связанные кровным родством и общностью кошелька со всеми правящими кликами севера, юга, запада и востока Европы, по сути дела высидевшие немецкий фашизм, как насадка высиживает цыпленка...

Фрося не представляла себе, что такое две тысячи стволов на квадратный километр, но если ей становилось страшно, когда на городской площади раздавался залп двенадцати орудий, салютовавших Первомаю, то что же это такое — две с половиной тысячи?!

В этот день сообщили, что гитлеровцы открыли кингстоны метрополитена и воды Шпрее хлынули в подземные тоннели его, переполненные обезумевшими жителями, искавшими спасения под землей, и ранеными, для которых наверху не было ни места, ни возможности воспользоваться хотя

бы и печальным предлогом для того, чтобы отдохнуть от ужасов войны. Метро стало могилой многих тысяч немцев.

— Господи! Да как же это? — опять не выдержала Фрося, всплеснув руками. Ее, однако, не остановили в этот раз, так как и вся толпа клиентов и сотрудники зашевелились и заговорили, сожалительно качая головами и вздыхая. — Ну к чему эти жертвы? Ну пусть это немцы — разве не люди они! Десятки тысяч людей утонули, как тонут котята в ведре.

— Боялись, что советские солдаты проникнут в метро и смогут выйти во все районы города, в тылы воинских частей! — сказал кто-то, не оправдывая, а объясняя жест отчаяния гитлеровского командования, зажатого в последний угол.

— Чик — и готово! — сказал Фарлаф, который слушал сообщения так, словно наперед все знал, и оглядывал слушателей с таким видом, будто Фарлаф призывал их в свидетели. А что я вам говорил! Что я вам говорил! Помните, я...

Фрося никогда не бывала в метро, но почему-то она представила себя в тоннеле: темно, сыро, шершавые стены, ни входа, ни выхода, и — вдруг вода под ногами, слышен ее булькающий звук, она поднимается выше и выше. Вот холодное кольцо ее опоясывает колени. Вот она уже по пояс, и от ее ледяного объятия захватывает дыхание. Тело стремится вверх. И нет уже опоры под ногами, и раскинутые руки всюду встречают только волны и ничего другого, только воду и ее податливую тяжесть. Все меньше воздуха. Все меньше сил. Все чаще раскрытый в крике рот захлебывается водой. Все чаще голова уходит под воду. И все реже взмахивают руки, наливающиеся свинцовой усталостью. Судорожные вздохи. И вдруг вместо воздуха в легких — вода! В глазах красные круги. В душе ужас и равнодушие. Какие-то обрывки мыслей. Какие-то мимолетные картины прошлого и настоящего, там, где люди дышат воздухом. И — конец... Такой кошмар привиделся Фросе на ее третью брачную ночь, когда Николай Иванович, разоспавшись, не чувствуя ничего, прижал ее голову потной, прохладной рукой. Она в припадке страха, задыхаясь, закричала — и проснулась, разбудив мужа. Он тогда посмотрел на нее и сказал: «Ну, знаешь, ежели ты припадочная, тогда это дело не пойдет!»

Кошмар этот ожил в ее памяти. Она вздрогнула и растерялась как-то и с ненавистью поглядела на Фарлафа. «Чик — и готово! Дурья голова! Бывают же такие!»

Знакомый вкладчик, старичок, вот уж и верно старичок, а не старик — с небольшими сухонькими руками, с лицом, покрытыми какими-то чистенькими мелкими-мелкими морщинами, с бородкой и усиками, подстриженными так, как давно уже никто не подстригает бороды и усы, весь какой-то с виду старорежимный и, однако, совершенно безобидный и приятный, муляжист по профессии, — подошел к окошечку

Фрося, чтобы взять очередные сто рублей из своего небольшого вклада.

— Вы спрашивали, товарищ кассир,— сказал он вежливо, получив деньги и бережно уложив их в бумажку, а бумажку спрятав в нагрудный карман,— что такое Александерплац? Это площадь в Берлине. Она называется так в честь русского царя Александра Первого Благословенного...

— Да как же это? — недоверчиво посмотрела Фрося на вкладчика. — У немцев — и вдруг...

— История прихотлива! — улыбнулся вкладчик. — Когда-то русские войска входили победителями в Берлин и в Париж, а Наполеон Первый побывал в сожженной Москве.

Господи, сколько новостей-то! Действительно, чудно. Вот бы Николаю Ивановичу сказать, то-то бы удивился!

— Ничего-то я такого и не знаю! — сказала удрученно Фрося.

— Ну, теперь будете знать! — опять усмехнулся старичок и зашагал неслышными своими шагами к двери.

Из репродуктора неслась музыка.

Зина, досадливо поморщившись, поднялась со своего места и подошла к репродуктору, чтобы выключить его.

Фрося первой закричала:

— Не выключай! Не выключай! Опять же известия будут!

— Так когда они будут? Работать мешает же!

Фарлаф возник в проеме служебной двери и строго посмотрел на Зину. Брови его сошлись, придав лицу еще большую значительность. Он громко кашлянул, привлекая внимание Зины, и сказал:

— Товарищ Зина, давайте не будем срывать агитационную и массовую работу среди членов коллектива! Текущий же момент!..

Зина заняла свое место, не глядя на Фарлафа, энтузиаста массовой работы среди трудящихся. Она делала свое обычное дело, но лицо ее затуманилось, словно тучки набежали на ясное небо, и задумалась, словно прислушиваясь к чему-то и забыв про свои волосы, которые литым золотом хлынули вниз, частой сеткой закрыв ее лицо. Но она не откидывала их за ушко.

Фрося поглядывала на Зину и не могла понять, что творится с подругою.

3

И в школе было не до занятий в эти дни...

Если родители волновались, ожидая свершения огромных событий, и тянулись всем сердцем к далекому, но близ-

кому фронту, заставляли себя работать, так как время наступало им на пятки, то с ребятами сладу не было: слова учителей шли не в их уши, а в какую-то пустоту, настолько глубокую, что сколько ни прислушивайся, звука падения не услышишь.

Учитель арифметики, вернувшись с урока в учительскую, срывка бросил на стол свой портфель и тотчас же запалил трубку, в которую, кажется, по нынешним временам, шло все, кроме шлака, — запах она издавала не менее тошнотворный, чем великое изобретение английских колонизаторов, не знавших, куда девать такое количество табака, которое было в их распоряжении, а потому внедрявших в европейский быт самокрутки из цельных листьев этого растения, которое бог создал, видимо, находясь уже не в расцвете сил и творческой выдумки. Лицо учителя было хмурым — он ненавидел в эту минуту вся и все на свете. Это не мудрено — цветы жизни своими одуряющими эманациями могут любого учителя довести до белого каления, особенно если учитель молод и шкура его еще не продубилась достаточно для обращения в кругу подрастающего поколения. Сухое, нервное лицо это подергивалось, возле виска билась одна лихорадочно пульсирующая жилка, которую видно было и со стороны. Он то закладывал руки за спину, то совал их в карманы пиджака, перепачканного мелом, то принимался выбивать какую-то дробь на столешнице длинными, худощавыми пальцами с толстыми суставами.

Вихров, который ожидал своего урока, поднял голову от книги, в которую углубился, услышав этот тревожный барабанный бой, сигнализировавший, что внутренние силы учителя распылены, обращены в бегство — лишь один барабанщик, оставшись на поле битвы, не веря глазам своим, глядит на спины солдат, исчезающих в пыли проселочных дорог, и бьет наступление в надежде вернуть солдат в бой.

— Что, Василий Яковлевич, третий класс допек?

— Третий.

— Да охота вам душу-то выматывать! Сделайте поправку на возбужденное состояние ребят, которые ждут победы не меньше нас с вами, а больше, и не тратьте силы попусту.

— Пытаюсь.

— Помните классическую скороговорку: «Первый класс купил колбас, второй резал, третий ел, четвертый в щелочку глядел!» Заметьте — третий ел! Это тот класс, который ест! Один из самых трудных в школе. С одной стороны, пробуждается жажда знаний, открывается прелесть книги, печатного слова. С другой — еще владеет сознанием игра — игра дома, игра на улице, игра в школе, игра в собственной парте. Третьеклассники, приходя из школы, с какой-то зверской жадностью набрасываются на свои игрушки, на которые уже

не обращали внимания во втором. Это класс первого прощания с детством...

— Кажется, я прежде прощусь с жизнью! — сказал, хмуро усмехнувшись, Василий Яковлевич.

— Ну, не надо так отчаиваться, Вася! — сказал Вихров и положил руку на пальцы учителя арифметики. — Вы преувеличиваете! Вот увидите, какие они будут шелковые у вас в четвертом классе!

— А может быть, я не своим делом занимаюсь, товарищ Вихров?

— Вы занимаетесь своим делом, Василий Яковлевич, но класс трудный! Я иногда веду там русский язык. Знаете, прихожу оттуда если не разочаровавшийся в жизни, то взмыленный, как несчастная лошадь, попавшая в руки пьяного извозчика...

— По-моему, весь класс разлагает Лунин Геннадий. Недавно поступил в школу к нам. Какой-то дикий. Неумный. Тупой, как угол в сто семьдесят градусов!

— Ну уж и сто семьдесят! — сказал Вихров. — Сами-то, поди, в школе тоже коники всякие выкидывали...

— Было дело! — сказал учитель арифметики и рассмеялся. Он снял барабанщика со своего поста, вернул солдат в строй и опять был готов к бою. — Извините, что я стучал тут. Дурная привычка! И, знаете, еще со школы, ну вот ни к селу ни к городу, во время письменной контрольной как начну барабанный бой, так удержу нету! Чисто нервное...

— А у Лунина его феноменальная рассеянность тоже не физического происхождения. Отец без вести пропал. Мать впервые на такой работе, которая если и не выматывает ее физически, то заставляет быть все время в нервном напряжении...

Учитель арифметики поднялся:

— Спасибо!

— Не за что, коллега! — рассмеялся Вихров. — И я выкидывал коники...

— В школе?

— И в школе... и в учительской, когда начинал...

— Вы? С вашей уравновешенностью...

Вихров хотел было рассказать Василию Яковлевичу, какой он был нервный в его годы, но вдруг лицо его переменилось, он замахал на коллегу руками. В настольном репродукторе что-то щелкнуло, зашипело. Ти-хо! Из-вес-тия!

В учительскую ворвался Сурен. Ему пришлось подниматься на третий этаж. Он был красен и задыхался, — разве можно пропустить передачу известий, когда совершаются события мирового значения? Да внуки проклянут его, если он пропустит хотя бы одно слово из тех, что исполнены такого смысла, несут на себе такую нагрузку!.. Пройдя к самому репродуктору, он стал вплотную к нему, наклонив голову, как

петух, который рассматривает зернышко, прежде чем склюнуть его. Прошин вошел тихонько и застыл у порога, не выпустив своего портфеля из рук, сосредоточенно глядя в окно, а не на людей, чтобы движения их и выражения лиц не мешали слушать. Василий Яковлевич с Вихровым остались на своих местах за столом, перед тетрадами, забытыми тотчас же. Прихрамывая, вошел в учительскую директор школы Николай Михайлович — высокий, широкоплечий, с длинным узким лицом индейца и пронзительными черными глазами, которые становились такими сердитыми, когда Николай Михайлович был кем-то недоволен. Сейчас, однако, эти глаза были чуть-чуть прищурены и хранили насмешливо-заговорщическое выражение. Он поднял палец, подчеркивая, что известия будут особенно интересны... Учительская наполнилась людьми до отказа. Последней из гардероба пришла тетя Настя. Она остановилась в дверях, положив одну руку на живот, а второй подперев щеку, — так в деревне слушают письма от близких; поза эта одинаково хороша для плохих новостей, требующих выражения соболезнования, и для хороших, требующих сочувствия...

Новости и верно были интересными.

Генерал Лях, командовавший немецким гарнизоном Кенигсберга, вышел из своего подземного командного пункта и подписал акт о капитуляции во имя человеколюбия, избегая ненужных и лишних жертв. Одновременно, до выхода из своего убежища, он приказал открыть кингстоны подземных заводов столицы Восточной Пруссии, где производилась военная и секретная продукция, хотя знал, что акт о капитуляции включает в себя пункт о сдаче всего военного и гражданского имущества в неприкосновенности. На заводах работали военнопленные — русские и мастера и техники — немцы. Они остались на своих местах, когда хлынуло в цехи...

— Вот нелюди, прости господи! — сказала тетя Настя.

Бои шли в здании рейхстага, на этажах государственной канцелярии, в личных апартаментах Гитлера, Берлин пылал, как один громадный костер — погребальный костер, сложенный для сожжения умирающего фашизма... К западу от Берлина образовалась странная, подозрительная пустота — немецкие дивизии беспорядочно откатывались к Одеру, за Одер, стремясь оторваться от наседавших советских войск, бросая арьергарды, снаряжение, боеприпасы, совершенную технику, даже не вынимая замков из орудий...

— К своим ближе! — усмехнулся Николай Михайлович. — Недаром их теоретик сидит в Лондоне. Видно, договоренность есть...

Он имел в виду Рудольфа Гесса, бывшего правой рукой Гитлера и, к удивлению всего мира, кроме тех, кто никогда ничему не удивлялся, — в Интеллидженс сервис, в Федераль-

ном бюро, в Сюрте генераль,— перелетевшего на третьем году войны на Британские острова, где и был интернирован.

...Этаж за этажом, комната за комнатой, дверь за дверью, угол за углом, окно за окном — все это становится очагами сопротивления обезумевших солдат Гитлера, за спинами которых стоят эсэсовцы с автоматами. Смерть впереди! Смерть позади! Смерть вокруг! Ничего, кроме смерти, и они умирают, не осмеливаясь поднять вверх руки... Герман Геринг с Западного фронта, который кажется теперь отделенным от Берлина миллионами парсеков, а не тремя сотнями обыкновенных земных километров с тополями вдоль дорог, с подстриженными липами, с кюветами, с придорожными столбиками, со знаками, заботливо предупреждающими путника о препятствиях, шлет грозные проклятия и приказы... Личные апартаменты еще одного «Г» — Геббельса, того Альфреда Геббельса, которого немцы называли тихонько «килограмм шеины, полтора килограмма глотки». На паркетном полу обугленный труп в заштопанных носках. Это доктор философии, философии фашизма, разумеется, левая рука Гитлера — Геббельс. Он покончил с собой, убедившись окончательно в том, что в двери государственной канцелярии стучатся не для воздаяния почестей ему, так убедительно обосновавшему в своих книгах мировую победу фашизма, а для расчета за все. Он приказал сжечь свой труп, а перед этим убил детей и жену. Вероятно, он казался себе в эти минуты древним германцем — белокурым гигантом в звериных шкурах...

— Неужели они не понимают, что все уже кончено, что вся эта трагедия уже бессмысленна! — сказала словесница, маленькое, словно детское, лицо которой было бледно и выражало страдание и ужас перед теми картинами, которые она так ясно представляла себе, слушая эти сообщения.

— Смысл есть даже тогда, когда кажется, что его нет! — сказал Николай Михайлович. — Сейчас у них у всех только одна задача — спасти живую силу вермахта от полного разгрома. Вы думаете, они без смысла бегут на Одер? Крики об организации нового узла сопротивления, которые издает Геринг, — это только дымовая завеса. Они сдаются американцам, англичанам. Омар Бредли или фельдмаршал Монтгомери им ближе, чем Жуков, Конев и Малиновский, хотя до Бредли и дальше бежать...

4

Тупой, как угол в сто семьдесят градусов, Генка сидит за партией в группе продленного дня. Что-то здесь не очень ладно, потому что группа кажется ему — да только ли ему? — продолжением уроков, одним бесконечно затянув-

шимся, надоевшим до одурения учебным днем. Что из того, что давно уже прогремел звонок, возвестивший окончание уроков, и схлынула волна тугого, неистового шума, который всегда, как волна цунами на Тихом океане, возникает мгновенно после этого звонка, как разрядка усталости, утомления? Волна схлынула. Ушли те, кто сейчас сидит дома, среди своих родичей, мать, а может быть, и отец, если он не на фронте, — есть же такие счастливики в городе! — они просматривают тетради, спрашивают, как прошел день, что нового в школе, вызывали ли к доске. А братья и сестры тоже дома! Все в сборе! Обедают вместе. Потом — гулять... Орава знакомых ребят, игры, которым нет начала и не будет конца... Жизнь!

И эта жизнь проходит мимо Генки.

Ну, поели! Ну, послонялись в коридоре полчаса. Ну, попели — кто в лес, кто по дрова! Ну, поиграли — в жмурки в физкультурном зале! Тоже мне интерес! Дежурный учитель смотрит, вытаращив глаза, как бы чего не вышло! Ни посвистеть, ни побегать, ни подраться! Тотчас же надоевший, нудный возглас, — он преследует человека по пятам, он бьет в уши, как клич врага: «Спокойно, ребята! Ти-хо! Что вы, стадо баранов, что ли? Вы же дети!» Вот именно, что дети. Эх-х! Опять звонок — садись за парты! Надо делать уроки на завтра!

— «Школьники сельской школы взяли обязательство перебрать картофель в колхозном овощехранилище. В первый день они перебрали шестьдесят пудов картофеля. Во второй день — семьдесят пять, на третий — на двадцать пять пудов больше, чем во второй день. Сколько пудов картофеля перебрали школьники, если они проработали двенадцать дней, все последующие дни перебирая столько картофеля, сколько они перебрали в третий день?»

— А в овощехранилище есть печка? — вдруг громко спрашивает Генка.

Словесница, которой выпало на долю дежурить в группе, вздрагивает. Генка оторвал ее от своих дум — муж писал, что он находится «в гуще событий». Цензор начал было вымарывать эту фразу, усмотрев в ней намек на местонахождение офицера Милованова и, стало быть, и его части, но потом усомнился: «Подумаешь, гуща событий! У нас здесь кругом гуща!» — и не довел свое дело до конца. «Гуща событий» так и лезла в глаза из-под негустого слоя туши. Сейчас словесница понимала это определение так — муж в Берлине, в этом кромешном аду, где жизнь человека не стоит не только ни гроша, но и крупницы меди. Она ждала капитуляции Берлина так, как Генка ждал звонка об окончании уроков...

— Почему тебя интересует печка, а не количество картофеля, который перебрали школьники? — спрашивает Милованова, озадаченная вопросом.

— Дак холодно же! — говорит Генка, и класс настораживается. — А была бы печка, перебирать способней! — Класс пересмеивается, шумок пробегает от стены к стене. Генка уже не может остановиться и говорит: — А потом... перебираешь-перебираешь — и цоп одну картошечку, и в печку, под золу!

Класс хохочет. Генка красуется. Учительница Милованова делает вид, что не слышит. Она ходит по классу, между партами, и размеренно, ровным голосом, доводит до учеников смысл задачи:

— В первый день школьники перебрали шестьдесят пудов картофеля. Шестьдесят! Во второй день — семьдесят пять пудов. Семьдесят пять! Что мы можем узнать теперь?

Перед нею склоненные над тетрадами головы, позади — головы, обращенные на Генку. А Генка печет в золе картошку, переворачивает ее, вынимает из золы и, обжигаясь, ест жадно, со вкусом.

— Гы-ы! — несется по классу смешок.

— Лунин, перестань паясничать! — говорит Милованова, со страхом думая, что ее муж, конечно, где-то в этажах рейхстага или в этой... как ее?... канцелярии Гитлера, которая кажется Миловановой мышеловкой: наверное, тайные ходы, секретные амбразуры, ловушки и засады...

— На третий день — на двадцать пять пудов больше, чем во второй! Что мы можем узнать?

Генка поднимается:

— А можно спросить?

— Спрашивай, Лунин.

— А почему их на яблоки не бросили? — спрашивает Генка.

— Кого? Куда бросили?

— Ну, школьников! Боялись, что много поедят, что ли?

Класс ложится на парты. Милованова не видит ничего, кроме разинутых ртов, издающих безобразные звуки — то ли хохот, то ли икота раздирает их до ушей. О-о! На колени бы весь класс! На горох! Розгами! Вот тогда бы они слушались! Впрочем... они и тогда бы не слушались. Милованова бледнеет. Сдерживаясь, она говорит:

— Я уйду из класса, ребята. Пока вы не успокоитесь. Староста! Дежурный! Наведите порядок!

И, чувствуя, что сейчас она расплчется, Милованова выходит в темный, пустой коридор, где никто не видит ее. Она становится в простенке, прижимаясь спиной и ладонями скрещенных сзади рук и затылком к холодной каменной кладке. От слез ей не удастся удержаться. Но теперь их никто не увидит, и ее авторитет педагога не будет подорван. Слезы струятся по ее щекам, а она не вытирает их. Понемногу ее волнение успокаивается. Но теперь ее охватывает беспокойство за ребят: как же она могла оставить их? Она прис-

лушивается. В классе тишина, только время от времени раздается один-другой голос, говорят по очереди. «Собрание устроили! Разбирают поведение Лунина Геннадия! Вот молодцы! Особенно староста — надежный парнишка!» — думает Милованова, и ей становится стыдно за себя, за свои нервы.

Она тихонько приоткрывает дверь класса.

Третьеклассники сгрудились вокруг Генки. Кто за партой, кто на парте с ногами, кто на подоконнике занавешенного маскировочной шторкой, широкого и высокого окна.

Староста Алексин, мальчик с нежными и правильными чертами лица и каким-то извиняющимся выражением глаз, то ли карих, то ли черных — они то и дело меняли свой цвет, в зависимости от настроения Алексина, — сидя напротив Генки в неловкой позе, поджав под себя одну ногу, а вторую поставив торчком, так, чтобы можно было опереться об ее колено подбородком, задумчиво сказал:

— А я думаю, что его повесят. На городской площади, как вешают предателей. Чик — и готово! Ваших нет! Пиратов и предателей всегда вешают. А он и пират и предатель!

— Ну, «чик — и готово», этого мало! — сказал дежурный Аннушкин, сосед Генки по двору, добродушный Мишка. — Я думаю так: привезут Гитлера в Москву, посадят в клетку, как Пугачева, понимаешь, и выставят на Красной площади. Пусть все на него смотрят. Пусть так и помрет — в клетке...

— Ну, в клетке, на Красной площади! — усомнился кто-то.

— А что, Пугачева можно было, а фашиста нельзя, да?

Итак, в третьем классе заседал «Чрезвычайный трибунал», предвосхитивший решения Нюрнбергского Верховного Международного Суда, и Гитлер был осужден на смерть единогласно, хотя строгие судьи и расходились во мнениях относительно того, какими мерами следовало осуществлять это решение. Прений сторон, в отличие от заседаний нюрнбергского судилища, здесь не было. Защита отказалась от права на смягчение решений суда, признав заранее, что этот случай выходит за рамки обычного и международного права и преступник недостоин сожаления, не заслуживает снисхождения...

— Ну, тогда привязать его к пушке и выстрелить! — сказал кто-то из членов суда, еще не высказавший своего авторитетного мнения.

— Это, знаешь, англичане так предводителей восстания сипаев в Индии казнили! — сказал Алексин, мальчик начитанный сверх всякой меры. — Слишком, знаешь, почетно! Мучеником-то его делать...

Генка, который слушал, открыв рот, мнения достопочтенных коллег, сглотнул слюну. Глаза его заблестели.

— А я бы, — сказал он, — вырыл бы, понимаешь, яму...

— Живым! — сказал с отвращением Мишка. — Так только фашисты делали! Фашисты!

— Вырыл бы, понимаешь, яму! — продолжал Генка, не смущаясь. — Посадил бы туда этого, как его?.. А сверху настелил бы доски и устроил бы уборную, понимаешь! Вот бы и не почетно вышло! А?

Потрясенные члены «Чрезвычайного трибунала» в немом изумлении глядят на Генку. Вот это ум! Вот это да! Тут уж мученика, пожалуй, и не выйдет. И не найдется, пожалуй, такого Жана Вальжана, который вытащил бы такого Мариуса из такого места! Ну, Генка!..

Милованова прикрыла дверь. Нашла в коридоре задремавшую тетю Настю, растолкала ее и сказала:

— Тетя Настя! Давайте звонок!

5

Советские солдаты занимали этажи зданий, идя наверх, оттесняя наиболее стойких гитлеровцев аж на небо. Потом они стали углубляться в подвалы, оттесняя тех же гитлеровцев аж в преисподнюю! Они наткнулись на глубокие шахты, оборудованные самым современным подъемным устройством, бесшумными лифтами, управляющимися потаенными кнопками, снабженными аппаратами безопасности, всевозможной сигнализацией и средствами предупреждения проникновения в подземелья чужих. Сталь, никель, хром, полированное дерево, стекло, лампы дневного света, селеновые механизмы, кожа, пластикаты... Все это теперь было задымлено и издавало резкий запах горелого. Стальные конструкции были скорежены, резина превратилась в пепел, дерево истлело, никель и хром покрылись пятнами радужной печальности, пластикаты растаяли, лампы полопались от жара, надежные управления вышли из строя, подача тока прекратилась, защитные устройства не срабатывали, лишённые питания...

Что-то тлело там, внизу, на глубине семидесяти пяти метров, источая едкий дым, от которого першило в горле и слезились глаза...

Обороной Берлина командовал Гиммлер — третье маленькое «Г» одного большого фашистского «Г». Потом он куда-то испарился. Так игла проникает сквозь живые ткани, исчезая бесследно, для того, чтобы потом где-то в жизненно важных центрах отозваться смертельной угрозой. Герман Геринг, которого даже собутыльники давно называли майером — мясником, с Западного фронта телеграфно низложил Гитлера с поста канцлера и обвинил его в бездарном руководстве и бездарном ведении войны. Это было пятое «Г»,

бывшее как бы пятым лицом Гитлера, с той ночи, когда под ножами эсэсовцев испустил дух Рем — главарь штурмовиков...

Крысы бежали с тонущего корабля.

Иван Николаевич сидел один в своей просторной квартире.

Жена его, лектор крайкома, по вечерам была занята четыре раза в неделю. Ничего не поделаешь! У нее тоже партийный билет. А партия нагружает работой всех коммунистов, пока они на ногах! Иван Николаевич не любил бывать дома в эти вечера. Не то чтобы он скучал по своей Ирине, — он уже вышел из того возраста и из того влюбленного состояния, когда муж, ожидая с нетерпением свою милую жену, вздрагивает от малейшего шума, от каждого стука и шороха. Жена была ему хорошим товарищем, и с ней было удобнее и покойнее. Но квартира, ее стены, ее вещи, ее двери и окна и все знакомое расположение комнат с тех пор, как в первые же дни войны сын Ванечка ушел в армию добровольцем и сгинул где-то в каком-то окружении под Киевом или под Харьковом, будили в нем тоску и ненужные воспоминания, которые лишали Ивана Николаевича воли к жизни. Все, все хранило здесь следы сына, помнило его шаги и голос, движения и лицо молодого, порывистого юноши, который так любил восклицать: «И жизнь хороша, и жить хорошо!» и был предметом гордости отца и матери, не в пример кое-каким ответработникам, дети которых становились проклятием школ. Теперь Ирина и ее муж обитатели четырех комнат. Вдвоем. Иван Николаевич хотел бы переехать в квартиру поменьше, но на него цыкнул Воробьев: «Мерехлюндии! Председатель исполкома должен жить не в закуске, а в квартире, — понимаешь, положение обязывает! Вот приехали американцы из ленд-лиза — мэр города обязан принять их в Совете, официально, и дома, дружески. Понимаешь? Понимаешь. А я вижу — недопонимаешь ты этого. Престиж, престиж надо соблюдать, понимаешь. Вот так!» И Иван Николаевич отказался от своей мысли. Правда, американцев принимать по-дружески дома как-то не случалось. Принимал их почему-то Воробьев.

Оказываясь дома один, Иван Николаевич закрывал все двери и, как заключенный, сидел в кабинете до самого прихода жены, которая словно вносила с собой струю вольного воздуха. В такие одинокие вечера он чувствовал, что ему как-то тесно в груди и то словно горячей водой оплескивает ему сердце, то берет в пригоршню и сжимает — сильно, безжалостно! — чуть ли не до дурноты...

Светился глазок радиоприемника. Новости следовали через каждые полчаса, музыка и новости. Новости и музыка. Это не давало возможности оставаться во власти своих мыслей, и Иван Николаевич слушал и слушал, как-то забыв о

том, что его уже, видно, ждут в исполкоме, привыкнув к тому, что он чуть не сутки проводит на работе.

Тикали большие часы в столовой и торжественно отбивали время через каждые тридцать минут: «Бамм! Прошло полчаса! Бамм! Миновал час! Жизнь идет, Иван Николаевич! С вами или без вас! Бамм!» Нездоровье все усиливалось, и председатель исполкома закрывал глаза. «Со мной или без меня!» — все будет идти положенным чередом. И тут же усмехнулся: а как быть подхалимам и перестраховщикам? — они же все дела переадресовывают ему, боясь принять хоть вот такусенькую, с ноготь величиной, ответственность на свои мудрые головы! Выходит, что он больше всего нужен подхалимам и перестраховщикам, которые уже беспокоятся в городе: а ну как придется самим за что-то отвечать, раз Дементьева нет и указаний он не дал?! «Ни черта! — сказал он. — Ни черта, голубчики, надо же вам пожариться на сковородке когда ни на есть!»

Кабинетный телефон мягким, вежливым голосом сказал, что Ивану Николаевичу звонят из города. Дементьев взял трубку.

— Воробьев говорит! — сказала трубка грубым голосом. — Что подельываешь?.. Радио слушаешь? Хм-м... А то я звоню в исполком — нету! Что, думаю, такое?.. Особо срочного ничего нет. А все-таки мы, я имею в виду — руководители, должны быть на посту, понимаешь!.. Значит, слушаешь? Я тоже... да. Дома. Мы, я имею в виду — руководители, должны быть в курсе. На гребне волны, понимаешь... Да, слушай, что это по городу какие-то сплетни ходят, будто у тебя в аппарате десять лет поп работал? Х-ха-ха! — Воробьев расхохотался, Иван Николаевич живо представил себе: живот Воробьева колышется, тугой, большой, словно существующий сам по себе. Говорят, резекция по поводу аппендицита продолжалась у Воробьева три часа, пока в пластах жира хирург, лучший хирург города, разыскал гноящийся червеобразный отросток, тоже заросший жиром. Вытирая пот, хирург сказал загадочную фразу: «Судью на мыло!» Нахохотавшись вволю, Воробьев сказал: — Ну, думаю, отмочили!

— Ничего не отмочили! — тихо ответил Иван Николаевич, чувствуя чужую ладонь на сердце. — Был поп. Уволился, чтобы стать попом!

— Дак это что же, товарищ Дементьев, получает-ся? — спросил Воробьев. — А? Как же это у вас...

Держась за сердце, Иван Николаевич сказал:

— Бдительности! Бдительности нам не хватает, товарищ Воробьев! Проморгали, я бы сказал — недопоняли. Но урок учтем. И выводы... Выводы сделаем!

— Хм-м! — обескураженно молвил Воробьев, обезоруженный тоном и существом сказанного. — Ну, давайте делайте выводы! Дак ты слушай радио-то! Звонили из радиокомми-

тета, понимаешь, предупредили, что ждут чрезвычайного сообщения...

— Я слушаю! — сказал Иван Николаевич.

...Сообщение действительно оказалось чрезвычайным.

Гитлер перехитрил Генку.

Отсидевшая в своем бункере, он постарался быть достойным своего имени и своего времени. Он находился там вместе с самыми близкими — немецкой овчаркой и артисткой Евой Браун, которую история вынуждала сыграть свою коронную роль. Четырех «Г», вместе с ним составлявших пять пальцев железной руки фашизма на горле человечества, уже не было возле — толклась какая-то шушера, еще не потерявшая вкуса к балаганным представлениям или связанная по рукам и по ногам долгом перед фюрером и страхом перед эсэсовцами, которые еще стреляли, пока у них была возможность переносить ответственность за это на кого-то другого... Гитлер приласкал собаку. Потом обвенчался с Евой Браун, чтобы потомки не приклеивали к его имени порок Рема. Потом он бросил собаке бутерброд с зельцем, отравленный ядом кураре. Яд был проверен до этого много раз на военнопленных, но Гитлер уже не верил и лейб-медикам, как давно перестал верить генералам после известного неудавшегося покушения. Ирония судьбы: раньше он не верил медикам, боясь быть отравленным! Теперь он не верил им, боясь, что яд не окажет своего действия. Но яд действовал. Собака рухнула замертво, даже не проглотив бутерброд. Потом отравленное пирожное съела Ева Браун. Спектакль кончился. Ева Браун умерла без мучений. С судорогой отвращения, сдерживая рвоту, Гитлер выпил бокал вина с ядом...

Он ушел от петли, хотя не ушел от суда народов.

Гроссадмирал Дениц принял верховное командование...

Он приказал стоять насмерть, пока не подоспел со свежими вооруженными силами командующий «Люфтваффе» фельдмаршал Геринг, новый канцлер...

«Назови хоть горшком, да в печь не ставь!» — сказал себе Иван Николаевич. И вдруг мысли его приняли совсем другое направление. «Войне конец! Ясно и слепому. Значит, новая пятилетка, новый план. Эх! Вот бы включили в титульный список строительства объект, который всегда был у Дементьева перед глазами, — Плюсинку и Чердымовку! Засыпать бы их, заключивши в трубы, а сверху — разбить бы сады, и протянулось бы садовое кольцо по всему городу — от реки к вокзалу и от вокзала к реке, и зашумела бы зелень листвы на месте вонючих луж, оставшихся городу в наследство от былых толстосумов, усвоивших в свое время нехитрую философию валуанских петиметров — после нас хоть потоп! — и поступавших соответственно... Надо бы взглянуть на генеральный план реконструкции и развития города. Конечно, малость он и устарел, ну да ничего, подновим теперь! Оно

конечно... на государственный бюджет в этом деле рассчитывать не приходится. Пол-Украины сожжено, вся Белоруссия лежит в пепелище, многострадальная Россия лежит истоптанная и опаленная чуть не на треть. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять — все средства пойдут в первую голову туда. А новые друзья? Рука друга никому и никогда не была в тягость, будет она протянута и туда! Н-да!.. А может, на месте резервы изыщем? Общественность привлечем, а? А ведь надо жилищный фонд отремонтировать, топливное хозяйство налаживать заново — все износилось, улицы приводить в порядок, мостовые, площади... Охо-хо!.. Сколько грунта надо вынуть и перебросить? Сколько балласта надо, чтобы засыпать эти проклятые «две дыры»? Сколько машин и сколько ездов надо? Каких машин? Откуда взять балласт? У заводов помощи попросить — для своего же города! По дороге на базу стоят какие-то глупые сопочки, ни к селу ни к городу, точно прыщи на гладкой коже. Срыть бы их да в эти овраги и свезти, а? В Плюснинку и Чердымовку...»

Зеленый глазок радиоприемника щурится и раскрывается, щурится и раскрывается, точно у кота, который нежится в тепле. Вдруг он подмигивает Ивану Николаевичу: «Ишь ты! Удумал тоже чего!»

— А что? — спрашивает Иван Николаевич. — А запросто!

6

Игорь играет в войну. Во что еще можно играть!

Он строчит из автомата, который с успехом заменяет вешалка:

— Тра-та-та! Трах-бах-тарабах!

Хватает большую диванную подушку, взваливает ее за спину и, держа в одной руке автомат, другой придерживая подушку, тащит ее в спальню, натужно кряхтя от воображаемой тяжести.

— Враг несет большие потери! — говорит он голосом очередной радиосводки.

Мать смеется и говорит:

— Игорешка! Ты бы поиграл во что-нибудь другое!

— Не-е! — отвечает Игорь голосом Генки и его словечком.

— Надо говорить «нет», а не «не-е!» — передразнивает сына мама Галя.

— А Ген-ка го-во-рит: «Не-е!», — отвечает Игорь упрямо.

— Тоже мне авторитет! Нашел кому подражать!

Мама Галя вытаскивает из буфета килограмм хлеба, скептически поглядывает, чуть нахмурив свои густые брови,

отчего ее лицо как-то темнеет, на оставшийся хлеб, потом решительно протягивает его молочнику:

— Ну, кажется, в расчете, Максим Петрович...

Максим Петрович поджимает губы, заросшие недельной щетиной:

— Допустим, что так!

— Не допустим, а именно так! — недовольно говорит Вихрова.

— Да это у меня поговорка такая! — оправдывается молочник. Он смотрит на Игоря мохнатыми глазами старого лешего, в которых бог знает что означается, — они какие-то шальные, и хитрые, и злые, и все бегают, и все прячутся от взгляда другого человека. Он только вскидывает глаза на Вихрову и тотчас же опускает их или начинает смотреть в сторону. Так очень неловко разговаривать. И мама Галя в присутствии этого мужика всегда чувствует какую-то неуверенность и раздражение. Вдруг у Максима Петровича катится по бугристой, точно стеганой, щеке большая, светлая, ненатурально крупная слеза. При этом глаза его не краснеют, веки не моргают и уголки губ не опускаются вниз. В сердце мамы Гали вспыхивает сочувствие к молочнику. Она знает о его трагедии — в войну погибли оба его сына. Но молочник говорит серым, ровным, каким-то нехорошим голосом:

— И твоего убьют, как подрастеть! Не ведаем бо ни дня, ни часа...

Слеза сама по себе опять течет по щеке Максима Петровича. Маму Галю передергивает: чего же глупости-то говорить, мало ли у нее своего горя, чтобы еще угрожать ей! Следя за этими катящимися по щекам здорового мужика слезами, она вдруг говорит себе: «Слезные железы не в порядке! Надо бы продувание сделать, и все прекратится!» И ей уже не хочется выражать Максиму Петровичу сочувствие.

Хлеб прячется в мешок молочника, в котором уже лежат несколько паек, храня молчание о том, кто отдал их молочнику.

— Зачем вы так говорите?! — не может она сдержаться.

— А чо! Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын! Вот как! Моих убили, а твой заговоренный ли, чо ли? Все одним миром мазаны. Всех бог найдет...

Вихрова молча смотрит на молочника.

Лицо его заросло колючей бородой. Шерсть доходит до самых глаз. Руки, корявые руки крестьянина, в трещинах, с грязными, обломанными ногтями, с толстыми пальцами, в суставы которых въелась грязь, растопырены, точно он хочет что-то зацепить, да толком не решил, как ухватиться. Ноги в стоптанных ичигах больше походят на лапы медведя. Полушубок и шапка, надетые на нем, несмотря на то, что зима уже оставила край, сильно обветшали, истерлись на швах, проткнуты чем-то — то ли вилами в какой-то спешке, то ли

рогами ндравных коров. Из шапки лезет вата, из полушубка с изнанки — белая длинная шерсть. Максим Петрович не латает дыр на своей одежине. Хозяйка у него есть. Значит, прибудняется, всем своим видом говоря: «Я бедный! Я бедный! Ничего-то у меня нету! Вот и одеться не во что! И рад бы, да сгношиться на одежонку не могу! Все проедаем!»

Мама Галя занимается арифметикой.

«Если молочник берет за литр молока килограмм хлеба, а корова — самая худая! — дает в день три литра молока, а в году триста шестьдесят пять дней, то спрашивается: сколько хлеба приносит домой Максим Петрович в год? Триста шестьдесят пять умножим на три. Трижды пять — пятнадцать. Пять пишем, один в уме. Трижды шесть — восемнадцать да один — девятнадцать! Девять пишем, один в уме. Трижды три — девять. Да один. Десять... Тысячу девяносто пять килограммов!.. — У мамы Гали слегка кружится голова. — У молочника две коровы! Значит?» Это не значит ровно ничего. Для мамы Гали, во всяком случае! Она отдает хлеб. Молочник скармливает ее хлеб корове. Корова дает молоко. Молоко пьет Игорь. Оно очень нужно детям. А килограмм хлеба на рынке — сто рублей буханка...

В математические расчеты Вихровой врывается радио. Оно сообщает, что гроссадмирал Дениц передал командование вооруженными силами фельдмаршалу Кейтелю.

— Это как понимать? — спрашивает молочник. — Конечли, чо ли? Я такого прозвища что-то не встречал... Поди, на побегушках был у Итлера-то?

Вихрова пожимает плечами.

— Ты мне гумагу напишешь? — спрашивает молочник, поднимаясь.

— Какую?

— Да хочу, чтобы мне пенсию повысили. Я получаю. Мало. По двести пятьдесят за каждого сына. Я ить их грамоте учил. Обувал. Одевал. Кормил. А тут на тебе — по углу за каждого! Несправедливость. А ребята были на ять... Женил бы. Снохи в доме бы жили, все бабой пахнет! Робят нарожали бы, как гороху...

— Сколько же вы хотите получать? — невольно спрашивает мать.

— По тыще за голову. Не меньше. Кормил, понимаешь, обувал, одевал, рóстил-рóстил — и вот, накося, всего ничего! — молочник строит из корявых пальцев кукиш. — Мне-ка теперя надо коров менять. Сносились. Мало удою дать могут...

— Сколько же они дают?

— Сколь ни дали, все люди выпили! — равнодушно говорит Максим Петрович. — Вот и у твоего ножки-то ровнее стали, а как я пришел по-первых, так хочь обручем катать его!

— Не буду я, Максим Петрович, писать вам такую бумагу! Не умею.

— Не хочешь! — уточняет молочник. — И никто не хочет. Думаешь, я тебя первую прошу? Не первую.

Он поднимает на плечи тяжелый мешок. Свободной рукой берет большой идеально чистый белый дюралевый бидон, идет к двери, совершенно неслышно шагая в своих растоптанных ичихах. Остановившись в дверях, говорит:

— Ну, твоему больше носить не буду! Как ты мне, так и я тебе. Подрос уже! Другим тоже надо!

— Да как же это так, Максим Петрович?

— Да так. Теперя победа. Какой ни на есть приварок будет — проживешь. Пусть мальчонка-то свой хлеб исть. На черном хлебушке вся Расея выросла да на гречневой каше. Ну, господь с тобой! Сказано — творяй добро правой руцей, чтобы левая не знала о сем!

Мама Галя глядит ему вслед с недоумением и обидой. Кто скажет, что это за человек? Хороший, плохой? Ах, как условны эти обозначения! Иной хороший-хороший к десяткам людей вдруг возьмет и отмочит такую гадость по отношению к одному, что всю хорошесть с него словно ветром сдует. А иной плох да плох — и вдруг этот плохой такой край чистого сердца покажет, что залюбуешься! Хороший! Плохой! Как он про сыновей-то своих? По тысяче с головы. Будто коней продал. Кулак чертов! Да есть ли у него сердце-то? Ведь первый раз пришел, испугав Вихрову своим видом, своим неслышным шагом, своим заросшим лицом, и сказал: «Слышал, мальчонка у тебя совсем доходной! Бери молоко — у меня корова божья, молоко сладкое, доим с молитвой. Возьму не больше других — по кило за литру! — И, заметив, что Вихрова с боязнью глядит на него, опасаясь, не беглый ли улоновец, из раскулаченных, добавил: — Да ты не бойсь! Убивают те, которые гладкие, а я вишь какой колючий, как ежик, — ни головы, ни ножек!» И рассмеялся хриплым смехом, обнажив крупные, редкие, желтоватые, крепкие зубы, способные, кажется, гвозди грызть... Верующий, или, как Вихров говорит, крестолоб! «Без бога ни до порога».

Ах, как он подвел маму Галю! Искать теперь молоко у кого? А молоко и верно было на редкость хорошее! Пришел, не спросясь. Ушел, когда захотел. Люди-то ему, как видно, все чужие... Верующий. Поступает, как ему совесть подскажет. Ох, насколько проще дело иметь с неверующими!

7

Зина живет на Плюснинке, в крепком домике с верандой, которую летом оплетает вьюн, а солнце греет весь день. На веранде цветные стекла, и пол ее расчерчен цветными

пятнами, будто у Зины всегда праздник и флаги расцветивания полощутся в воздухе и тени их падают на землю. Перед дверью крохотная терраска, перила с затейливым переплетом, крылечко в десять ступенек. Два окна на солнечную сторону, два — на закат. Резные наличники обрамляют окна. Деревянные карнизы толстым кружевом висят под крышею. Высокая крыша украшена резным же коньком. Зина занимает половину домика — одну комнату и кухню. Во второй половине две семьи. Правда, и половина эта имеет четыре комнаты с кухней и просторным коридором, который, несмотря на свою ширину и простор, часто становится полем ожесточенных коммунальных сражений на почве расчетов за свет, мытья полов, отапливания мест общего пользования и т. д. и т. п., как пишут обычно, не желая чего-то перечислять, а перечислять предлоги для столкновений жильцов коммунальной квартиры — значит перечислять все стороны проявления человеческих взаимоотношений. Жильцы этой половины остро ненавидят Зину — за то, что она живет как барыня. И Зина почти не встречается с ними, благо что ход отдельный, кто пришел, кто ушел, когда и как — кому какое дело! Половина Зины — попросту пристроечка к дому, которая, видно, возникла тогда, когда у бывшего хозяина появились деньги и стремление украсить свою жизнь...

Комнатка и кухня крохотные, еле повернешься, но...

Окна прозрачны. Тюлевые занавески смягчают яркий свет, заливающий домик. Вся кухонная мебель крыта белой краской. Вся посуда в шкафиках на стене. Маленькая плита с обогревателем, чистенькая, будто умытая. Кухня отделена от комнаты стеклянной дверкой с гофрированной занавесочкой. В комнате туалетный столик в углу с безделушками, без которых нельзя представить себе комнату молодой женщины. Столик завален духами и подарочными коробками. На стульях белые полотняные чехлы. Кровати нет, у стены, чуть подальше от двери, тахта. Широкая, удобная, покойная. Видно, из буржуйской мебели, которая и посейчас видна кое-где, поражая своей добротностью и долговечностью и старомодной красотой, уже не вызывающей восхищение, а скорее удивление: «Вот ведь как ножки сделали — будто ноги льва! — а зачем?»

Зина полулегла на тахту, покрытую тонким, не дорогим и не дешевым, ковриком, как было удобнее, не заботясь о том, что юбка и смялась и задралась вверх и обнажила не только красивые круглые колени Зины, обтянутые шелковыми чулками, но и показывает край розовой сорочки и розовые же трусики. Между чулками и трусиками виднеется голое тело. Голова Зины покоится на диванной яркой, расшитой диковинными цветами, подушке черного атласа. На этой подушке диковинным цветком выглядит и голова Зины с пе-

репутанными локонами, с белым нежным лбом, с темными бровями вразлет, с тонким румянцем на щеках, с глубокими голубоватыми тенями в подглазницах, скрывающих глаза Зины, с ресничками, от которых взгляда не оторвешь, с капризным, нежным и жестоким, детским и порочным ртом. Руки закинута за голову. Шерстяная кофточка с короткими рукавами обтянула тело. Рукавчики чуть открывают подмышки с темной подпалиной в ложбинке.

Зина легонько, ленивым движением, подкручивает регулятор громкости репродуктора, что стоит на маленьком столике возле тахты. Репродуктор фасонистый, на ножках, с шелковистой тканью, видной в прорези металлической решетки, защищающей зев рупора.

Марченко сидит на стуле возле тахты. Жадными глазами он глядит на Зину — то на коленные сгибы ее ног, которые как-то невольно влекут взор выше, то на подмышки, то на лицо Зины. Тугие желваки играют у него на челюстях. Он то и дело вынимает из кармана платок и вытирает потные ладони. Дышит он тяжело, сильно сопя и не замечая этого. С некоторой досадой он бросает взгляд на репродуктор, который явно мешает ему, на настольную лампочку с фиолетовым абажуром, отсветы которого придают лицу Зины сказочно-нереальный вид.

— Может, погасим лампу? — говорит Марченко хрипло.

— Нет! — отвечает Зина.

— Не пойму я тебя! — Капитан поднимается со стула и пересаживается поближе, на край тахты, которая поскрипывает от тяжести его тела. Как бы дружески, словно невзначай, он кладет потную ладонь на колено Зины.

— Дважды два — четыре. Пятью пять — двадцать пять! И понимать нечего. Ясненько, как говорят военные моряки! — лениво отвечает Зина, вращая верньер, отчего музыка вдруг бьет Марченко по ушам, и он, чуть морщась, поворачивает голову и отрывается от созерцания бедра Зины, приоткрытого юбкой.

Зина тотчас же делает музыку тише. Капитан оттягивает воротник кителя, который уже тесен ему, потом расстегивает верхнюю пуговицу кителя. Зина говорит:

— В таких случаях говорят: «С вашего разрешения, мадам!»

— Я человек простой! — вполголоса замечает капитан, то ли извиняясь, то ли отвергая возможность извинений.

— Нет, Марченко! Вы не простой человек.

Марченко оглядывается на полоску голого тела Зины и вдруг, порывисто нагибаясь, отчего у него перехватывает горло и тотчас же багровеет шея и затылок, целует эту полоску.

— Ну! — говорит Зина холодно.

Марченко выпрямляется. Кровь отливает от его лица.

— Вы полнеете, Марченко! Наливаетесь соками. Как клещ...— Зина спокойно глядит на капитана. Марченко вдруг встает:

— Ну, в чем дело, Зина? В чем дело?

— Дело в шляпе!— чуть насмешливо отвечает Зина. Спокойный взгляд ее останавливается на капитане, который сердито, с раздражением вытаскивает из кармана серебряный портсигар, из портсигара вынимает папироску и стучит ею о крышку портсигара, стряхивая табачную пыль из мундштука. Спohватившись, он говорит: «Разрешись!» Зина кивает головой. Капитан закуривает. Кольца серого дыма плывут по комнате одно за другим. Зина заинтересованно следит за их движением.

— Но ведь было же!— выкрикивает Марченко со злостью, которой уже не может умерить ни вежливость, ни желание.

— Дуракам счастье!— говорит Зина, тяготясь ненужным разговором. Она съеживается в комочек, как маленький ребенок подтянув коленки к самому подбородку. Заметив, что Марченко хочет сесть опять на тахту, и лоя его жадный взор, устремленный вниз, она говорит:— Конечно, не в том дело, что дуракам счастье. Вы не дурак. Ох, не дурак, Марченко! Дело в том, что человек ищет счастья. Ищет счастья, а находит, как моя мама говорила, случай. А кто его наперед-то узнает— счастье или случай? И если было счастье, да утрачено— только в Амур... А я вот не бросилась... Вы любили когда-нибудь, Марченко?

— Что ты меня все время: «Марченко, Марченко»— буд-то старшина по вещевому довольствию! Имя же есть!— с обидой говорит капитан, кусая губы. Кажется, что он сейчас заплачет.

— Значит, не любили?

Капитан вдруг расстегивает средние пуговицы кителя. Зина вопросительно и холодно следит за его движениями. Марченко вытаскивает из нагрудного кармана пачку денег и кладет ее с размаху перед Зиной. Зина недоуменно поднимает брови.

— Выигрыш!— говорит капитан.— Весь!

— Сколько?— заинтересованно спрашивает Зина.— В другой сберкассе получал? Что, за проценты платите за комиссию?

— Пять. Все. Возьми. В подарок...

— Везет человеку!— вздыхает Зина.— Вот уж истинно говорится: кому дано— дастся, кто не имеет— отнимется... Купить хотите? Не продается, Марченко...— Она возвращает ему деньги.

Марченко садится на тахту и сжимает голову ладонями, упершись локтями в колени. Большие наручные часы его идут со слышным звоном, как-то весело, бесшабашно и стара-

тельно — так молодой подмастерье работает рубанком, завивая длинную кудрявую стружку, или ковалик ростом от горшка два вершка стучит по наковальне... Зина прислушивается и к репродуктору, который вдруг замолчал, и к этому веселому ходу мужских часов. У отца, вспоминает Зина, часы ходили вот с таким же звоном. «Павел Буре!» — говорил не раз отец, поднося часы на длинной серебряной цепочке к уху Зины-девчонки. — Слышишь, зайчик, как кузнецы работают в своей кузнице? Маленькие-маленькие! Время куют!» Но, кажется, наручных «Буре» не было?..

— Поженимся! — говорит вдруг Марченко изменившимся, каким-то чужим голосом. — С женой разведусь. Детей обеспечу.

— Из армии уволят. Из партии выгонят! — говорит Зина.

— Черт с ней, с армией! — машет рукой Марченко и вдруг глядит на Зину открытыми, а не прищуренными глазами. Зина впервые видит их. И удивляется — глаза у Марченко светлые, голубые, водянистые, а вовсе не темные, как ей всегда казалось. Марченко опять машет рукой и повторяет: — Черт с ней, с...

— Ага! Остановился? Ох, Марченко! Кому партийный билет — сердце Данко, а кому сало на полозья...

Зина умолкает на полуслове.

— Последние известия! — говорит она и грозит Марченко: тише!

...Величественное здание рейхстага было объято пожаром. Не тем, который когда-то бездарно разыграл Геринг, пройдя в здание по потаенному коридорчику, но настоящим. Гул этого вихря огня заглушал даже залпы орудий, которые били по рейхстагу уже прямой наводкой. Широкие, длиной в целый квартал, ступени рейхстага были истоптаны, заплеваны и окровавлены. Некогда белоснежные колонны покрылись густой копотью, и уже кто-то концом штыка или дулом автомата расписался так, как расписывался, быть может, на утесах Копет-Дага: «Был 4. V. 1945. Иванов», — на этих колоннах, поддерживавших высокий фронтон со скульптурами Торвальдсена. Рейхстаг был опален огнем, исхлестан свинцом, изранен снарядами. Он умирал, как гитлеровский солдат, достигнутый Иваном в самом сердце Германии, но рождался в этом огне, как честный немецкий Ганс, умеющий творить, а не разрушать...

Еще фаустпатроны летели из окон горящего рейхстага, еще кто-то из немецких обманутых солдат верил в помощь Геринга, еще кто-то надеялся на чудо, обещанное Гитлером, еще защитники Берлина не знали, что их фюрер дезертировал, а уже по внутренним переходам карабкались на рейхстаг советские солдаты, — каждая рота имела красный флаг, для того, чтобы водрузить его над рейхстагом. Иной не успевал пройти и десяти шагов, достигнутый пулей врага, иной, уже

грохоча кирзовыми сапогами, бежал по крыше, стремясь к самой высокой точке, и вдруг исчезал из виду, чтобы уже не показаться.

И вдруг у аллегорической группы, что венчала собой здание, показались трое в пилотках и в закопченных серых шинелях. Двое заняли круговую оборону. Третий стал карабкаться по складкам одежд огромных скульптур, которые вблизи казались бесформенными глыбами камня. Все выше и выше — с колен к груди, с груди на простертые над Берлином мощные руки. И вот в этих руках заполоскалось красное знамя победы, как факел, зажженный над Германией, как факел Свободы... Упал один из автоматчиков, пополз было по лепному карнизу, лег и не встал. У второго выпал автомат из рук и повис на ремне. Автоматчик перехватил его левой. А третий стал — как будто неторопливо! — спускаться. С руки на плечи, с плечей на грудь, с груди на колени, с колен — на крышу. Живые ушли, таща с собой убитого — не лежать же ему на этой крыше, у ног немецких статуй, которые кто их знает что обозначают!

Потом услышим мы имя того, кто поднял над Берлином красный флаг как знак надежды Германии на будущее, как знак отчаяния ее недавнего прошлого. Сержант Кантария, сын пламенной Колхиды, куда некогда аргонавты плыли за Золотым Руном, на берегах которой Овидий Назон складывал свои поэмы...

Зина почувствовала, что у нее останавливается сердце, горячая волна ударила в него, у нее даже голова закружилась от мимолетной мысли, поразившей сознание:

— Конец войне?! Марченко! Конец войне? Да?

— Слава богу, конец! — сказал Марченко и ослабевшей вдруг рукой вытащил новую папиросу.

Конец войне! Кончился кошмар, терзавший людей почти четыре года, кончились страхи и голодовки, кончился ужас, томивший сердце, иссушавший ум и воображение, лишавший надежды и в неверном тумане скрывавший будущее. Радость не могла пробудиться сразу, ей нужно было какое-то время для того, чтобы прорваться наружу, и коварное сомнение тихохонько гнездилось где-то в сознании: может, ослышались? Может, что-то не так поняли?

Но сообщение повторяли опять с начала до конца.

И опять Зина жадно впитывала в себя каждое слово, как-то недоверчиво оглядывая его и удостовераясь — да, оно значит только, что Зина слышит...

Она не сразу поняла, что Марченко о чем-то спрашивает ее, и переспросила:

— Что, что?

Марченко с каким-то задумчивым видом крутил измятую папиросу, не замечая, что из нее сыплется пепел прямо на пол, на нехитрый коврик у тахты:

— Да я спрашиваю: как вы теперь будете поступать с сертификатами облигаций, если владелец убит или умер? И если дубликата его нет? Понимаешь? Сохранное свидетельство, вернее — его копия, у вас, а оригинала нету? Как вы их проверяете — после каждого тиража или при востребовании?

— Ничего не понимаю! — сказала Зина растерянно, занятая своими мыслями. — Какие сертификаты? — Она поднялась. — Слушайте, Марченко, идите домой! Я не способна сейчас говорить. Я хочу побыть одна. Вы понимаете — одна. Одна!

— Ладно! — сказал Марченко и стал подниматься.

Глава девятая

РЕКВИЕМ

1

В далекой Германии многое изменилось за эти часы. Уже не стало воюющих сторон. Были только побежденная Германия и страны-победительницы. Это вынуждало к некоторым процедурам, в каких странным образом явь смешивалась с туманными снами далекого прошлого, с традициями, поднятыми историей с самого дна ее сундучка, где хранилась всякая ненужная ветошь...

Генерал-фельдмаршал Кейтель вошел в зал, где ожидали его представители победоносных армий. На согнутой левой руке он держал свою расшитую фуражку с высокой тульей, которая прибавляла так много роста офицерам и германскому государству. Самым заметным украшением на ней был орел, сжимавший в когтях диск со свастикой, орел, так и не сумевший подняться в заоблачные выси мирового владычества со своей тяжелой ношей. Под мышкой Кейтель сжимал свой фельдмаршальский жезл, увитый дубовыми и лавровыми ветвями — символами славы и долголетия, так и не осенившими империю Гитлера. Он был одет с подчеркнутой тщательностью. На груди его сверкали ордена. И среди них — Железный крест. Первый орден объединенной Германии, возникшей из разрозненных и враждовавших между собой немецких княжеств в 1813 году, когда Голенищев-Кутузов Смоленский выметал из Европы войска зарвавшегося Наполеона и снял угрозу порабощения немецких земель иноземцами. Орден был запрещен в 1918 году странами-победительницами, поставившими тогда Германию на колени. Гитлер восстановил его в 1936 году, добавив в рисунок ордена

знак свастики. Орден, как и империя, доживал последние часы. Кейтель был бледен, как барон Корф, потревоженный в своем загробном покое... Представители стран-победительниц — советские, американские, английские и французские офицеры — сидели в головных уборах. Так некогда сидели короли в присутствии черни, которой надлежало стоять на ногах, с непокрытой головой. Кейтеля остановили знаком в пятнадцати шагах от стола, на котором лежал еще не подписанный акт о капитуляции Германии. Он стоял навывтяжку перед сидевшими победителями. Бледное до синевы его лицо медленно начало багроветь. Высокий воротник мундира стал тесен. Правда, не так, как будет тесен ему пеньковый галстук из морского каната — собственности флота его величества короля Великобритании — с красной нитью вдоль, чтобы никому не повадно было воровать военное имущество, а где-то во флотских пакгаузах уже лежали три метра каната на долю Кейтеля. Мертвая тишина воцарилась в зале.

Пять минут стоял так Кейтель.

Пять минут позора.

Не много. Если учесть, во что обошелся миру полет орла со свастикой в судорожно скрюченных когтях.

Потом Кейтель стоя, некрасиво выгнув старческую спину и задыхаясь от прилива крови, подписал акт. И оставил на столе свой жезл. Теперь он не был уже ни командующим, ни фельдмаршалом. Он стал военнопленным. И военнопленного Кейтеля вывели из зала, вместе с другими высшими офицерами разгромленной армии, которые — в званиях генералов и адмиралов — вошли сюда в качестве свиты командующего, а выходили в звании военнопленных.

И вторая мировая война принесла Германии поражение.
Война в Европе кончилась.

Иван Николаевич вздохнул так, что у него что-то закололо в боку. Опять то же — точно стакан кипятка поставили на левый сосок. Вот, понимаешь ты, комедия! — и тяжело и радостно, а все болит! Какая ерунда! Он лихорадочно набрал телефонный номер лекторской группы крайкома и услышал голос жены: «Да! Я слушаю!»

— Ирка! — закричал он так, что Марья Васильевна невольно заглянула в кабинет. — Война кончилась! Они капитулировали! Ирка, слышишь — война кончилась!

— Знаю! Спасибо! — тоже закричала в ответ Ирина. — И нам только что звонили из радиокomiteта. Сейчас будут передавать по ретрансляционной сети, по городу. У нас тут... столпотворение, все будто с ума сошли. К телефонам не подойти — все звонят кто куда! Одну минутку, товарищи!.. Дорогой мой! Поздравляю тебя!

— И я тебя! И товарищей, Ирка!

— Ты к нам не зайдешь сейчас?

— Да мы митинг готовим, Ирка. Такое дело!

— Тогда увидимся на площади. Ладно? Вместе домой пойдем. Пешечком! Ладно? А пока я тебя крепко-крепко целую, Ванечка...

Ирина вдруг замолкла. Слышен был только фон — слабое потрескивание, какой-то шорох. Иван Николаевич даже задохнулся от нечаянно, в порыве радости, произнесенного имени. Все двадцать четыре года вместе прожитой жизни Ирина называла мужа Ванюшей, Ваней, Ванюшкой и Иванко-крылатко за непоседливый его нрав. А Ванечкой они называли сына, в отличие от отца. Ивану Николаевичу почудился подавленный стон. С испариной, неожиданно выступившей на лбу, он подул в трубку и осторожно сказал: «Ал-ле!» И вдруг ясно и отчетливо услышал всхлипывания Ирины.

— Ирка! — закричал он. — Не смей! Я прошу тебя, Ирина! Не надо!

Но Ирина уже положила трубку. Тонкие частые гудочки весело заплясали на слуховой мембране: ту! ту! ту! ту! ту!..

Если бы Николай Михайлович мог бежать, он бежал бы по улице.

Всей тяжестью большого тела наваливаясь на толстую палку с резиновым наконечником и трудно заноса вперед не ногу, бедро которой намертво срослось с тазовой костью, а плечо и пояс, он думал с опаской: только бы не грянуться о мостовую, то-то много дров будет! Вот было бы позором упасть в такой день, когда радость победы орлиными крыльями шелестела над каждым! Но эти орлиные крылья, видно, и поддержали Николая Михайловича, так как он добрался до школы и стал, с подскоком, подниматься по крутой лестнице, держась крепко за перила крупной кистью. Шляпа его сбилась на затылок, обнажив упрямый лоб с залысинами. Макинтош расстегнут — он так торопился, что не мог найти и пуговиц. Еще с крыльца, увидев чрез стеклянную дверь тетю Настю, наводившую порядок в вестибюле, он позвал:

— Тетя Настя! Тетя Настя!

Тетя Настя, глянув на директора, побелела, — как видно, Николаю Михайловичу совсем плохо! Ох-х, эта война, до чего же мужиков изжевала-изжевала! Она кинулась навстречу. Маленькая, круглая, по-бабьи слабая, она подхватила директора под руку и натужилась:

— Ну-ну! Голубчик, Николай Михайлович, еще чуток! Еще!

— Тетя Настя! — сказал директор, садясь на первую попавшуюся скамейку. — Давайте звонок, тетя Настя! Да нет, не этот! — добавил он поспешно, видя, что тетя Настя хочет на-

жать кнопку школьного звонка.— Не этот! Давайте противозвудушный, ПВО!

— Батюшки! Тревога! — затряслась тетя Настя, потянувшись к другой кнопке, которая приводила в действие оглушительные звонки противозвудушной обороны.

— Нет, тетя Настя! Победа... И — всех в большой зал!..

Но тетя Настя вдруг, вместо того, чтобы бежать по этажам, присела возле директора, забрала подол кофты и потянула его вверх, закрывая лицо. Она не могла сказать ничего, кроме:

— Ой, не могу... Ноги у меня отнялись! Ты-ко сам, батюшко, походи по этажам-то! — И она принялась креститься и приговаривать:— Слава тебе, господи! Слава тебе! Услышал же молитвы наши еси! Внял слезам да горю людскому... Свя-тый боже, святой бессмертный, святой... Ох, и молитвы-то я уже позабыла все, прости господи!..

Максим Петрович глянул в низенькое оконце своей добротной избы на левом берегу Амура, возле пойменных, заливных лугов. Пронзительные ребячьи крики донеслись из-за окна. Они кричали «ура». Кто-то бегал с пионерским вымпелом на палке, размахивая этим импровизированным знаменем. В соседних избах то и дело хлопали, открываясь и закрываясь, двери. Из избы в избу стали похаживать люди. «Целуются!» — сказал себе Максим Петрович и покачал головой с осуждением. Он не любил, когда люди открыто выражали свои чувства, каковы бы они ни были.

— Палага! — позвал он жену, что копошилась в сенях, замешивая болтушку для коров — подсоленная вода, немного отрубей, свекла и размятый печеный хлеб.

Палага разминала куски зачерствевшего хлеба, то и дело окуная их в жижу.

— Аиньки?

— Поди посмотри, чего за переполох выходит. Ишь зашевелились, ровно муравьи! Хоть бы одна холера зашла, что ли! Знать охота!

— А я схожу! — охотно сказала Палага и, вытирая руки о грязный передник, кинула свою болтушку в сенях и вышла на улицу. Из стайки донеслось негромкое мычание — коровы узнали шаги хозяйки. — Сейчас, родимые! — сказала Палага и, широко шагая в мужниных броднях на босу ногу, пошла к соседям, подшмыгивая легонько рябеньким носом.

Максим Петрович видел, как она столкнулась с бабкой Веркой, матерью соседа, и вдруг завсплескивала руками и закрестилась. Тут сосед, рыжий Микитей, вернувшийся с фронта по ранению руки, тоже вышел на крыльцо, что-то держа в руках. Максим Петрович прищурил глаза, совсем ушедшие в веки, рассматривая, чего такое тащит Микитей. А Микитей,

собрав вокруг себя ребят, которые заорали вдвое голосистее, приколотил к стене избы, между окнами, плакат, перевязанный красной ленточкой, как в городе до войны перевязывали в кондитерских магазинах коробки с печеньем. Женка Микитея, ладная, крепенькая Маша, простоволосая, но в новой блузке, которую до сих пор Максим Петрович не видал на соседке, вытащила из избы тульскую двустволку. Ребята, по команде Микитея, троекратно закричали: «Ура! Ура! Ура!», как солдаты на параде, а Микитей трижды выстрелил в воздух.

Палага еще разговаривала с соседками, набирая побольше новостей для мужа, а он, поняв, что случилось, вынул из шкафчика над плитой непочатую бутылку водки, стукнул донышком о сложенную горсткой ладонь левой руки и вышиб пробку. Долго искал пробку, которая закатилась под кровать. Потом налил полстакана. Чокнулся с бутылкой:

— С победой вас, сынок Ондрей Максимыч!

Выпил. Так же не спеша налил еще столько. Опять чокнулся.

— С победой вас, сынок Ляксандра Максимыч!

Палага, запыхавшись, обтерла бродни о косарь, вбитый в порог, и вошла в избу. Она не могла отдышаться, хотя и идти-то ей было всего ничего.

— Эва! — сказал Максим Петрович. — Ходила-ходила, бегала-бегала, а и сказать нечего! Вот же бабы!

Палага отдышалась понемногу и сложила молитвенно ладошки:

— Наши-то германца победили, Максим Петрович! Седни День Победы будет! И чего это ты радио не проведешь? Живем ведь как в пещере!

— Да ты у меня заместо радио! — махнул рукой муж.

— Да ты не рад, что ли? — спросила жена.

— Кому надо, тому и радо! — неопределенно сказал Максим Петрович, убирая бутылку в шкафчик, на старое место. — Чем теперя коровушек, скотину божью, кормить будем?

— Дак ить у нас пол-анбара насушено, Максим Петрович...

Не глядя на Палагу, Максим Петрович сказал:

— У нас с тобой, Палага, тоже за спиной шестьдесят пять годов насушено. Тоже наши! А возьми вобрат хоть один денек, когда смертенька придет! И к пальцам не прилипнет, как ни лапай...

.....

Когда Дашеньку вдруг из цеха вызвали к парторгу ЦК в Арсенале, она дрогнула даже. Что случилось? Прорыв? Кто-то из комсомольцев напортачил? «Ой, не буду загадывать! — сказала она себе. — Чего душу сушить? Сам скажет, как придут!»

Из кабинета парторга, где собрались все секретари цеховых партийных организаций и комсорги цехов, она летела, не видя ничего перед собой, — скорей в цех! Но, стрельнув глазами в сторону общежития, даже не сознавая, что делает, ринулась туда.

— Милая! Да на тебе лица нет! Что за беда? — испуганно воззрилась на Дашеньку комендантша, шуруя в топке печи, огромной, пышущей жаром, обогревавшей все девичье общежитие.

— Победа! — сказала Даша и ворвалась в комнату, где на своей тощенькой постели лежала рыженькая.

Танюшка то ли спала, то ли задумалась, лежа недвижимо и вытянув похудевшие руки вдоль тела, держа в одной зеркальце; она даже не слышала, как открылась дверь и Даша влетела в общежитие. Даша подбежала к кровати, заглянула в грустные глаза подружки, обняла ее. Тревога тотчас же вспыхнула в глазах рыженькой, но сердцем еще прежде, чем Даша смогла что-либо выговорить, она поняла, что Даша прибежала не с худыми новостями.

— Танюшка, родная! Я тебе радость принесла! — сказала Даша. — Победа, Рыжик мой хороший! Поправляйся скорее! Тебе первой, больная моя! Сейчас бегу в цех!

И Дашенька побежала прочь, стуча на бегу каблучками, подбитыми для прочности железными подковками. И уже на бегу догнал ее заводской гудок, что вдруг в неположенное время дал свой голос. Дашенька видела, что на нефтеперерабатывающем тоже вдруг за клубились кудрявые завитушки пара и тонкий, какой-то озорной свисток нефтеперерабатывающего пошел в подголоски к басу Арсенала. А там откуда-то послышались еще и еще гудки — длинные, протяжные, певучие, как на Первое мая и на Седьмое ноября, когда гудки фабрик и заводов не зовут людей на работу, а поют вместе с ними от радости, переполняющей сердце.

Людмила Михайловна Аннушкина, услышав гудки заводов, в тревоге выскочила на крыльцо вместе с близняшками, которые уцепились за ее подол. Она глядела в небо — не налет ли? Но гудки не были голосом тревоги — в этих случаях они бываюот прерывистыми, словно кричат, а это была песня! Песня!

Вихрова кружилась в своей квартире с Игорем на руках и тормошила его:

— Ну, кричи «ура!». Война кончилась, Игорешка!

Игорь подумал-подумал и спросил:

— Кончилась? Вой-на? Зна-чит, теперь фри-цев не будут бить?

— Никого теперь, Игорешка, бить не будут! Все! Хватит, набили — дальше некуда! Победа! Победа!

— Да-а! — сказал Игорешка, у которого кружилась голова и сжималось сердце и от страха и от удовольствия. — Еще! — просил он, когда мама Галя останавливалась. — Ну, Багира, ну, хоро-шая, ну еще! Значит, теперь будет каждый день по-бе-да, да? А вчера была каждый день вой-на, да?

— Ничего-то еще не понимаешь, Лягушонок! И не дай тебе бог понять, что такое война!

— А кто это бог? — спросил Маугли.

— Это просто так говорится, Лягушонок! Никакого бога нету!

— А Генка говорит: есть бог! В рас-пашонке! Такой, как Максим Петрович. С бородой. И с кан-форкой на голове. Да? Мама Галя смеялась:

— Теперь, Игорешка, никогда не будет войны!

Людмила Михайловна увидела в окне второго этажа Вихрову, которая и кружилась и что-то напевала вместе с сыном, и кружилась, и напевала. Из открытых окон Вихровых неслись марши, один за другим — мама Галя открыла регулятор до отказа, и репродуктор надрывался от усердия, довольный тем, что ему позволили кричать, сколько влезет.

— Галина Ивановна! Галина Ивановна! — позвала Аннушкина.

— Я Галина Ивановна! — сказала мама Галя, перевешиваясь из окна. — Кому я нужна? Кто меня зовет?

— Что случилось, ради бога?

— Победа! Слава богу!

— Никакого бога нет! — сказал Лягушонок. — Это просто так говорится!

Впервые за много лет отец Георгий надел рясу.

Подол до полу мешал ногам. Как бы не наступить на него! Рукава телепались во все стороны. Эк-кое неудобство! Он попытался было неприметно, как когда-то, прижать рукав мизинчиком, чтобы не шибко махать этой широтой, но что-то не получалось — отвык! Ряса была сшита в талию. Когда-то отец Георгий при всей своей славе хорошего пастыря был самым щеголеватым попом в крае, а живота при советской власти он не нажил, и фигура у него была хоть бы и не для шестидесяти лет. Он повернулся вправо-влево. Не то! Не хватает плавности движений, ведь это Черное море вместо человеческой одежды нуждалось в том, чтобы его умели носить...

Много лет назад, выйдя впервые в город в партикулярном платье, он вдруг почувствовал себя крайне неловко: ноги его в узких штанах казались ему голыми, и он все поглядывал вниз, привыкая к виду штанов со складкой, которая все казалась ему неприличной — чем-то вроде вызывающей под-

вязки на заголенной ноге кокотки. Привыкал к гражданской одежде отец Георгий долго. А тут пастырское одеяние показалось ему и глупым и негигиеничным — с улицы-то в дом на подоле чего-чего не притащишь! Не дай бог по лестнице подниматься и спускаться: надо, как юбку, приподнимать подол рясы и прислушиваться, не наступит ли кто-нибудь сзади на этот проклятый подол.

Рясу он надел уже после того, как выслушал сообщение о капитуляции Германии. Матушка с иголкой и ниткой в руке хлопотала вокруг отца Георгия, сияя и оттого, что радио принесло весть, от которой не могла не запеть душа, и оттого, что вновь видит она перед собой не Георгия Ивановича, а отца Георгия, и от сознания того, что с этой переменной и она приобретает новое качество. Пятнадцать лет она была иждивенкой, домохозяйкой — вот гадостные слова, унижающие достоинство! — а теперь становилась матушкой. Матушкой!

— Может, опять тебя в какую-нибудь миссию пошлют проповедовать православие! — сказала она, припомнив невольно, что отец Георгий ездил на год в Эфиопию как миссионер и что четыре года он был в русской православной духовной миссии в Японии и был очень близок епископу Мефодию.

— Не лишено вероятия! — сказал отец Георгий, поворачиваясь перед зеркалом. — Надо думать, Европа теперь будет перестроена на новых основаниях. А когда во главе православной церкви стоят такие выдающиеся мужи, как нынешний патриарх и митрополит, можно думать, что и она займет в мире иное место, чем занимала все эти годы, поверженная во прах и одетая в рубище! Правительство хорошо понимает это!

Он попытался молиться, отослав матушку в кухню: устав предписывал священнослужителю молиться ежечасно, чтобы поддерживать себя в состоянии духовной близости к отцу небесному.

— «Господи, воззвах к тебе: услыши мя, услыши мя, господи!» — произнес он вполголоса, прислушиваясь к странному звучанию чуждых слов, и не почувствовал душевного волнения. «Воззвах!» — ну что это такое? Почему не сказать «взываю», «прошу»? Впрочем, «прошу» — так начинаются заявления в городской исполком! «Взываю» — более возвышенно! Но и «воззвах» тоже наполнено каким-то смыслом, непонятно, конечно, но в церкви понимать не обязательно. Как только верующий начинает или пытается что-то понять в действиях или в таинствах святой церкви, от веры остаются рожки да ножки! «Мя» — это уж совсем плохо. Точно ягненок блеет! Отец Георгий неожиданно для себя сказал: «Мя-я! Бя-я!» — и в ужасе огляделся: не слышала ли матушка?

Но матушку занимали другие помыслы.

— Отец Николай из Владивостока приезжал. Рассказывал, что в Москве все пастыри машины получили от епархии. Вот бы нам-то!..

— Ты мне мешаешь! — сказал отец Георгий.

Матушка скрылась. Но ему все-таки помешали. Старший сын, который недавно стал работать на нефтеперерабатывающем дежурным оператором и вернулся с ночной смены, уже стоял в дверях, со странным выражением на лице наблюдая за тем, как путался отец Георгий в своем священническом одеянии, с досадой откидывая в сторону ногой мешавший подол.

Он не знал ничего о решении отца. До поры отец Георгий не хотел никого ставить в известность об изменении в своей судьбе. Однако в последние месяцы он замечал и задумчивость отца и его нервозность и боялся, что отец может свалиться — годы немолодые. Но в этот момент одеяние отца, сшитое — под великим секретом! — портным-евреем в мастерской исполкома, сказало ему все и объяснило все переживания отца.

Несколько смущенно и даже испуганно отец глядел на сына.

Оба молчали. Когда пауза стала невыносимой, сын сказал:

— Я в общежитие пойду жить... на завод... Тесно у нас...

— Женишься? — спросил отец. — Или из-за этого?

Сын упорно глядел в пол.

— А ты как думаешь? — вместо ответа спросил он, явно избегая сказать «папа», «отец», уже стыдясь своего родителя.

И на мгновение отцу Георгию его шаг показался опрометчивым, ненужным, даже постыдным, когда представил он себе ощущения сына, увидевшего новое платье короля, когда подумал он впервые за это время: а как же дети-то?

— Н-да! — сказал отец Георгий.

«Господи боже мой, всемилостивый и всеблагий! Пошли мне силы идти по этим терниям! Живущий под покровом всевышнего под сенью всемогущего покоится. Говорит господу: «Прибежище бог мой, на которого я уповаю! Да избавишь меня от сети ловца, от губительной язвы, перьями своими осенишь меня, и под крылами Его будешь безопасен. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Да не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему!»

В этот день у Зины был отгул.

Она обрадовалась этому, так как последние дни чувствовала себя нездоровой. Ее мучили головные боли — тупые, холодные боли в затылке. Какая-то лень, обезволивающая и расслабляющая, наваливалась на нее. «Отлежусь! — сказала

она себе и не поднялась с постели.— Просто устала. Не дужильная же!»

Она пролежала на тахте до полудня, наслаждаясь тишиной и бездельем. Соседи были на работе, их дети — в школе. Машины по Плюсинке ходили мало из-за бездорожья. Зинин дом был точно погружен на дно моря, лишь по берегам которого шумела жизнь, но шум тот доходил до Зины ослабленным толщею вод. Она выпалась. Боли покинули ее. Но как хорошо было лежать, никуда не торопясь, никому не нужной, ни в ком не нуждающейся! Она слушала тишину, и невольно вспоминались ей стихи того поэта, который оставил этому городу свое имя навсегда в тихой улочке, обсаженной бархатным деревом:

Ни шороха, ни звука. Тишина.
Осенней паутины поволока...

Грызла орешки, красиво перекусывая тонкую кожуру пополам своими острыми и крепкими зубами, из-за которых Мишка называл ее Белочкой. Вынимала ядрышки — чуть желтые, сладкие! — и складывала их в кучку, одно за другим, борясь с желанием съесть тотчас же, едва ядрышко показывалось в перегрызенной скорлупке. Она копила очищенные орешки, глотая слюнку, чтобы потом разом положить в рот все, чтобы было что пожевать! Вкусно! Очень вкусно!

Вдруг мимо ее окон пробежали дети.

Она слышала, как застучали они ногами на крыльце соседей, как захлопала входная дверь на другой половине, как заорал вдруг репродуктор за стеной. «Из школы сбежали, черти!» — подумала Зина, с неохотой прощаясь с тишиной и понимая, что теперь уже не вернется прожитая минута покоя. Она убрала постель. Оделась, натянув на себя черную юбку в обтяжку и черный джемпер, которые так выгодно подчеркивали линии ее безупречного тела и выделяли белизну лица и рук. Ею овладела некоторая досада на соседей. И хотя она не любила никаких сцен и скандалов, она постучала в стенку, так как от рева чужого репродуктора эта стена даже дрожала. Однако никто, видимо, ее стука и не услышал.

Хмурясь, она включила свой репродуктор.

Тотчас же грянули в ее комнате военные марши и песни, каких много сложил советский народ и в дни мира и в дни войны. Потом на полупhrазе, на полуноте музыка оборвалась. «Говорит Москва на волне семьдесят один и две десятых метра! — сказал натянутый, точно струна, голос московского диктора.— Одновременно работают все радиостанции Советского Союза. Внимание. Через несколько минут будем передавать очень важное сообщение!..»

Так Зина встретила День Победы.

Она дождалась его.

Одна.

Без Мишки!

Где ты, Мишка?! За три года проваливается холм земли, насыпанный над могилой. Это значит, что дерево, из которого сделан гроб, уже сгнило. Только дерево?! Это значит, что земля заполняет грудь, в которой когда-то билось горячее, страдающее и любящее сердце, что земля лежит в пустых глазницах, в которых когда-то сияли живые человеческие, умные и добрые, веселые и грустные глаза. Это значит, что нет даже не только человека, но и брэнной его оболочки. А где же теперь чувства и мысли его, где же волнения и страсти его, где желанья и воля?

Зина так и повалилась на тахту, сбив со стола репродуктор, и зарыдала, как не рыдала уже два года, затаив в себе свою боль, до которой никому не было дела, в которую никто не имел права вмешиваться.

Орал репродуктор за стеной, выходил из себя треснувший при падении репродуктор Зины. Но теперь она не слышала больше ничего, кроме боли, разрывавшей на части ее бедную душу. Узда военных лет, не позволявшая слишком много времени уделять личным переживаниям, сейчас обрвалась. Войны уже не было! И в этот день, когда война кончилась, Зина пережила свою утрату как свежую, новую рану в самое сердце.

«Что же ты наделал, Мишка, со своей Белочкой?

Почему ты оставил меня одну!

Всегда во всем первый, да? Не хотел свою жизнь беречь, да? А другие — берегли. Чью жизнь ты спас, Мишка, первым кинувшись в атаку? Чью воинскую честь спас ты от позора? Кто носит сейчас на груди орден, обогранный твоей кровью?

Тебе не нужны были ордена, не нужна была слава — тебе не нужно было ничего, кроме меня. Ты сам говорил мне это. Много раз. Я не заставляла тебя выговаривать эти слова. Они сами рождались в твоей груди. Твои губы сами высказывали их мне на ушко, так тихо, что никто на свете не слышал их, кроме меня. Только я одна слышала их. Только я одна знала это. Я повторяла их, когда тебя не было со мной.

Я не боялась измены, Мишка, — ведь тебе, как и мне, никто не был нужен. Я не боялась твоего отсутствия — ведь мы всегда были вместе. Я не боялась ничего, потому что ты был со мной. Я не хотела никого, потому что «все» и «всё» — это был ты!

Мишка! Мишук! Михась! Медведь! Мишенька! Минька! Михайлик!

Мой хороший! Мой желанный! Мой ласковый! Мой любимый! Мой нежный! Мой грубый! Мой сильный! Я — твоя награда! Я — твоя любовь! Я — твоя жизнь! Я — твое счастье! Я — твой свет! Ты сам говорил мне это, когда мог просто молчать, — мне и тогда было с тобой сладко! Так почему же ты не поберег все это? Может, надо было выждать только

одну секунду, чтобы остаться в живых. Мы вместе встретили бы этот день! Только одну секунду! Секунду! Но ты бросился вперед первым, чтобы не быть последним. Ты не хотел, чтобы у кого-нибудь хоть мелькнула в голове мысль, что можешь ты быть не первым! А я, Мишка? А я?»

Зина металась на тахте, и слезы лились из ее глаз. Она то прижималась к холодной стене, то сжималась в комок, чтобы как-нибудь сдержать рыдания. Она зажимала себе рот. Сбросила с себя джемпер, который теснил ее грудь. Садилась на тахту и охватывала голову руками. И опять бросалась навзничь. И опять переворачивалась лицом вниз. Тугой комок стоял в ее горле. И, кажется, время остановилось. И уже это был не плач. Красивая Зина — красивая ли сейчас, с воспаленными, покрасневшими глазами, которые не видели ничего, с искусанными губами, с которых стерлась помада, с порванной кокеткой на рубашке, в измятой юбке, с растрепавшимися волосами, которые застилали ее безумный взор? — уже не плакала, а то стонала, глухо, со сжатыми зубами, то просто выла: «У-у-у!»

Кто скажет, был ли красив Мишка, но краше его не было на свете мужчин, сказала бы Зина. Он был ласковый и нежный. Он был всякий, он был разный. Недаром с каким-то особым вкусом он говорил слова, которые в первый раз испугали Зину своей грубостью, а потом будили в ней желание: «Нежные! Вы любовь на скрипки ложите. Любовь на литавры ложит грубый. А себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы!» Он любил Маяковского. И Зину.

Он, еще не ступив на крыльцо, кричал ей: «Белка! Я пришел! Я пришел!» Она бросалась к двери и впускала Мишку. Он с озабоченным видом, морща лоб и насупив брови, говорил: «Знаешь, я тебе должен сказать нечто очень важное! Я — люблю тебя!»

Он научил ее любви. До сих пор она и не подозревала, какое у нее тело и что оно может чувствовать и чего может хотеть. А оно в присутствии Мишки становилось натянутой струной, прикосновение к которой — даже самое легчайшее! — рождало какие-то такие тона чувства, что у Зины кружилась голова и она не в силах была оторваться от Мишки. Он был неутомим; едва отходил он от Зины, как желание опять бросало его к ней. Иногда она пугалась этой силы. Тогда он говорил: «Я тебя люблю, понимаешь! Вот и все!» Наверное, любовь придавала ему силу быть таким — он был хорошим лекальщиком, он был хорошим гребцом, он был хорошим комсомольцем, он был хорошим парнем! Он научил ее не только любви. Он раскрыл ей прелесть поэзии и приучил к стихам. Иногда, уже утомленный донельзя, подложив ей под голову одну руку и закинув вторую куда-то вверх, как будто успокоившись, — уже ровное дыхание его обманывало Зину, которая боялась шелохнуться, чтобы не нарушить его

сон,— он вдруг шепотом начинал читать стихи. «Хорошо? — спрашивал он Зину. — Вот послушай, как нарисовано:

Голубые песцы. Голубые снега,
Голубая зима на Шантаракх...»

Он садился возле, нимало не заботясь о том, что иной раз из окон дуло и он, обнаженный, не стыдящийся своей наготы, мог простудиться. «Я горячий!» — отвечал он, когда Зина принималась натягивать на него одеяло, и сбрасывал одеяло, и читал стихи, и потом вновь прикивал к ней, как жаждущий путник прикивает к роднику. А этот родник не иссякал никогда...

«Знаешь, Зина, бывает смертельная любовь!» — сказала как-то Фрося в первые дни дружбы с Зиной. Да, бывает!

Голый, он вскакивал вдруг с постели: «Ой, я хочу есть, Белочка! Сейчас умру!» И что-то жевал. И опять оказывался рядом: «Усни, Белочка! Усни, моя добрая! Баю-бай! Баю-бай!» И Зина действительно засыпала на его руке, ощущая какое-то раздвоение чувств: Мишка был ее мужем, он был хорошим, настоящим мужчиной, а когда Зина уютно устраивалась у него под бочком, она почему-то вспоминала свою мать...

Он любил ее грудь, которая умещалась в его сложенной горсткой ладони, и с каким-то благоговением целовал ее соски. Верно, так верующие целуют чудотворные иконы. «А это и есть чудо!» — отвечал Мишка. Он любил ее живот с какой-то трогательной складочкой вверху: «Как у индийских богов!» — «Да где ты видел индийских богов?» — «Ну, не видел! А вот такая же! — И смеялся: — Ты, дуручка, не понимаешь, что я хочу сказать: что ты сложена, как богиня! Я не могу этого сказать прямо — я ведь член комсомола, а потому я делаю вам изящный комплимент!» «Ты глупый!» — «С тех пор, как увидел тебя!»

С ним не было стыдно. Может быть, потому, что он действительно был исполнен какого-то детского чувства радости и восхищения ее и своим телом как подлинным чудом.

«Я хочу от тебя ребенка! — сказала ему как-то Зина, уставшая от его ласки и чувствуя, что любовь к нему вырастет так, что уже не может вместиться в ней, в ее существо. — И пусть будет мальчишка. Такой, как ты! Хорошо?» Но он ответил очень тихо, как те заветные слова, которые он часто произносил ей на ухо и которые в устах других казались бы ругательствами: «На другой год, Зиночка! Побудем еще немного вдвоем!» — «Как ты скажешь!» — покорно ответила Зина.

И Зина скрежещет зубами.

Проклятые! Они хотели быть вдвоем, только вдвоем. В целом свете вдвоем! Никак не могли насытиться ласками! Проклятые! Только вдвоем? На вот тебе — теперь ты одна, одна в целом свете. И нет большого Мишки, Мишки-медведя. И нет маленького Мишки, Мишки-медвежонка, который сейчас сказал бы Зине: «Мама! Не плачь, мама!»

О-о-о! Руки бы наложить на себя!..

...Обеспокоенная Фрося давно стучится в дверь и в окна к Зине. С трудом дотягиваясь до окон, она с тревогой вглядывается в комнату. Что-то там не в порядке. Все раскидано. Растерзанная Зина лежит на тахте. С одной ноги ее спустился чулок. Ой, да что же это такое? «Зиночка! Зина!» — кричит Фрося.

— А-а! Это ты, Фрося! — говорит Зина тусклым, каким-то не своим голосом.

Фрося ужасается виду Зины — да Зина ли это? — но тотчас же отводит свой взор от мертвого лица подруги и, стараясь не обращать внимания на беспорядок в комнате, который так странен, так необычен для этой чистенькой, аккуратной комнатки, с принужденным оживлением говорит:

— Слышала, Зиночка?

Увидев разбитый репродуктор, дребезжащий теперь, как Фросин громкоговоритель с барахолки, Фрося осторожно поднимает его, выключает и ставит на место.

— Слышала! — говорит Зина прежним голосом. Точно на чужую она смотрит на себя в зеркало, проводит по растрепавшейся голове непослушными руками и, заметив, что она стоит перед Фросей в разорванной сорочке, ищет глазами свой джемпер и с трудом, чувствуя глухую тяжелую ломоту во всем теле, натягивает его на себя.

Сначала Фрося подумала, что Зина пьяна, а потом чутьем угадала, что случилось с Зиной. «В зеркало погляделась! — отметила она обрадованно. — Ну, значит, все уже прошло!»

— А наш Фуфырь, — сказала она, желая назвать председателя, но забыв мудреное имя, — чуть все дело не испортил! Мы радио послушали и все побросали — ну, до работы ли тут, и кто осудит! — все в таком же настроении. А он становится посередине операционного зала и говорит: «Товарищи! Все остаются на своих постах впредь до особого распоряжения!» Ну, тут даже Валька не выдержала и кричит: «Сухарь вы! Сухарь! Пошли, товарищи, на улицу!» А тут звонок — все на площадь! Вот я за тобой и зашла!

— Фуфырь... Валька! — произносит Зина, точно больная, не сразу понимая, о чем говорит ей Фрося, возбужденная до предела. Наконец взор ее немного проясняется — жизнь вновь захлестывает ее своими волнами и подталкивает: иди, иди! А куда идти, когда некуда идти? На площадь? Зачем? Ах, нужно... Кому это нужно?.. Все будут там? А кто эти «все», если нет среди них единственного нужного!..

Опять вольная воля осеняет своей благосклонностью Генку.

Едва Николай Михайлович произнес то заветное слово, которое было сегодня у всех на устах, как Генка заорал: «Ур-р-а-а!» Сначала на него поглядели было озадаченно и с некоторым сомнением на директора — можно ли? — но, кажется, маленький Лунин Геннадий нашел именно то, чем можно было ответить на короткую речь директора. Вслед за Генкой заверещали его однокашники, радуясь возможности покричать. Потом девочки — большинство школы! — звонкими своими голосами, стройно и мелодично, крикнули свое славное «ура». А потом, вразброд, громыхнули мальчишки старших классов, из тех, кто тайно покуривал уже в уборной и потом, проследя за тем, как окурок скрывается в подземелье, долго махал рукой, развеивая в воздухе запах табака, хотя это и мало помогало, — они старались кричать басом. А потом зашумела вся школа, точно потревоженный улей. Старшие стали строиться, чтобы идти на площадь организовано, — у нас все любят делать организовано, даже в кино ходить, — а младшие были распущены по домам, хотя Прошин и сказал, что они достаточно распущены и в школе. «Придира!» — крикнула ему Милованова, уже высчитывавшая, через сколько дней можно ждать домой ее гвардейца. Василий Яковлевич, угадав ее мысли, может быть, потому, что он любил Милованову, любил так, что никто об этом не подозревал — жена фронтовика! — сказал ей тихо: «Теперь уже недолго!» И Милованова, поняв этого молчаливого парня, тихонько пожала ему руку. Преподаватели стали было пристраиваться к классам, но Вихров сказал возбужденно:

— Николай Михайлович! Пусть они идут под командой десятиклассников! Абитуриенты же! Что мы их опекать будем до свадьбы, что ли? — Он схватил Милованову под руку, полюбнрав Васю за плечи. Милованова, вся похорошевшая от внутреннего волнения и словно бы источающая сияние своего сердца, глянула на директора: «Ну, Николай Михайлович! Ну, пожалуйста!» И Николай Михайлович, человек суровых правил, которого и можно было бы назвать кое-когда чиновником, хотя это очень бранное слово, вдруг смягчился еще больше и сказал:

— А что в самом деле! Пошли по-студенчески!

И учителя загалдели не меньше младших классов, которые уже легкими нейтронами, со скоростью, превышающей человеческое воображение, вылетели из школы и вовлекали в цепную реакцию всех, кто оказывался на их пути, наступая на ноги и толкая под бока, потому что улицы были полны на-
роду.

Где-то сработал механизм управления городом, и машины — и грузовые и легковые — смиренно стали у обочин дорог или, если недалеко было, заскочили в свои гаражи и отпустили шоферов. Широкие улицы уже никому не грозили наездом, и светофоры открыли зеленый свет на всех перекрестках. И вот на мостовых появились сначала одиночные фигуры, а потом вся толпа повалила на середину улицы — сегодня улицы принадлежали пешеходам, и, может быть, только шоферы, ступая на мостовую, по привычке двигали большим пальцем правой руки, пытаясь дать сигнал, чтобы избежать верного столкновения с транспортом, идущим по боковым улицам, когда зеленый свет горит со всех четырех сторон светофора.

Командующий сегодня был особенно добр — все военные оркестры вышли из казарм и расположились на площадях, и не меньше ста стволов подняли в небо жерла, готовые салютовать Победе и Народу, и команды ракетчиков уже лезли по пожарным лестницам на крыши домов, а командиры взводов, расположившись прямо под окнами, кричали натужными голосами в микрофоны раций на плечах солдат: «Фиалка! Фиалка! Я — Георгин! Даю счет — рас-с! два! три! Как слышите? Прием-м!» И Иван Николаевич, крикнув и заранее готовый к тому, что Воробьев сроняет его с землей и навсегда сотрет память о нем из истории человечества, приказал выбросить в киоски на углах улиц лимонад и леденцы: лимонад без ограничения, леденцы — сто грамм в одни руки, боясь, что уже до конца года никто в этом городе не получит леденцов, даже если они будут необходимы для спасения жизни Воробьева...

Через час карманы Генки были набиты леденцами, а живот переполнен лимонадом, и он убедился, что сегодня в самом деле праздник. Люди сегодня были добрыми как никогда — каждый, кто пил лимонад, говорил, видя взор Генки, красноречивее слов говоривший о его желаниях: «Лимонаду хочешь, дружище? Пей!» Происхождение леденцов в карманах Генки было таким же. Он познал в этот день мудрость народной поговорки: «Не имей сто рублей (а у Генки их не было, как нетрудно об этом догадаться), а имей сто друзей (а ими сегодня были все двести тысяч жителей города!)». Вдобавок он заручился согласием одного лейтенанта, того самого Феди, который был у Фроси в гостях с капитаном, на то, чтобы Генка самолично пустил в высокое небо одну — одну! — ракету. Гремели оркестры, музыка неслась и из громкоговорителей. Праздничный шум толпы, смех, возгласы, песни слышались всюду.

А потом все стихло.

И в тишине — необычно и странно, непривычно и мило! — вдруг донесся откуда-то звон колоколов, будто где-то неслась в поднебесье тройка невидимых коней с распущен-

ными гривами и под дугою перезванивались колокольцы. Стоявшие на трибуне удивленно переглянулись: что это? Воробьев сказал вполголоса, кивая головой на Ивана Николаевича, который стоял за спиной секретаря горкома, открывающего митинг: «Нет бога, кроме бога, и Дементьев — пророк его! Его стараниями воздвигнут храм на базе финансового отдела исполкома. Понимаешь ты — купола у них нету, так они козлы поставили, малость покадили-покадили, да и вдарили!» Иван Николаевич хмуро сказал: «Про-рок! Вместе решение выносили! А кто предоставил финансовому отделу помещение? Не ты? Пушкин что ли? Без высокой руки тут дело не обошлось!» — «Пасхальный звон дают!» — сказал кто-то тоном знатока. Секретарь постучал ногтем по микрофону, и этот стук пронесся по всей площади.

— Тихо! — шепнул Воробьев. — Микрофон включили!

И тут поплыли над городом звуки «Интернационала».

И застыли все в торжественном молчании...

Бывают в жизни высокие минуты, которые навсегда остаются в памяти человека и о которых не хочется говорить, потому что слова не могут передать всю силу этих минут. Их надо пережить.

К числу таких минут принадлежали и эти, когда почти все население города стеклось на площадь и жило одним дыханием, одной мыслью и, казалось, одно сердце билось в груди множества людей — самых разных, непохожих друг на друга.

И длинных речей в этот день не было, что тоже является фактом необычного.

Секретарь горкома отошел от микрофона, чтобы промочить горло.

Иван Николаевич громким голосом крикнул, и возглас этот усилили громкоговорители:

— Слава советскому народу-победителю! Слава Коммунистической партии — вождю и организатору всех побед социалистического отечества! — Он прислушался к крикам на площади и к какому-то тихому голосу в себе.

И вдруг расслышал этот тихий голос: «А Ванечка-то не вернулся!» Заглушая этот голос, Иван Николаевич крикнул еще громче:

— Да здравствует Советская Армия — освободительница, разгромившая наголову силы международного фашизма! Да здравствует Советский Союз — надежный оплот социализма, демократии и мира во всем мире!

«А Ванечка-то не вернулся!» — опять сказал тот же голос так явственно, что Иван Николаевич даже огляделся вокруг, кто бы мог подслушать его затаенные мысли, но никто не глядел на него, и одинаковое чувство радости, так роднившее всех, кто был здесь, было написано на лицах товари-

щей — здесь, наверху, и там, внизу, человеческое море лиц колыхалось прибором перед трибуной.

— Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей великой Родины! — крикнул Иван Николаевич и испуганно прислушался. Тихий голос теперь совсем был слабым, но Иван Николаевич опять услышал его: «А Ванечка-то не вернулся, Иванко-крылатко! Не вернулся!» Иван Николаевич вытер холодный пот со лба и сказал тихонько секретарю горкома:

— Трофим Григорыч! Может, кончать будем? Чего же речи говорить, пусть народ радуется!

На этот раз ответственных работников не ждали машины на боковой улочке. И пошли они пешечком по главной улице, замешавшись в толпу прохожих. И словно помолодели как-то, и смешливы стали, и дурашливы, и комсомольские годы вспомнили, и боевитее пошли, хотя и мешало кое-кому накопленное за годы руководящей работы. Вдруг горячая рука взяла Ивана Николаевича за руку. Ирина! Он покрепче сжал ее ладонь и пошел так, не выпуская ее руки, как когда-то в молодости, когда не был он обременен государственными заботами и животом и когда могли они ходить, держась за руки и не обращая на себя ничьего внимания.

В толпе увидел Иван Николаевич лицо Вихрова, помахал ему свободной рукой и закричал: «Поздравляю с победой!» — и увидел, что в ответ Вихров поднимает вверх сложенные ладони и тоже кричит что-то, но крик его тонет в многоголосом шуме. Потом Вихров кивает головой на Деметьева своей жене, и она через толпу внимательно разглядывает председателя исполкома и улыбается. «Я люблю тебя! — под шумок кричит Вихров на ухо жене. — Я люблю тебя, Галька! Я люблю тебя, Каштанка!» — «Ты с ума сошел!» — отвечает жена. «Уже десять лет! А ты и не заметила, с кем живешь!» — хохочет Вихров...

Аладдин с его волшебной лампой в этот день обрадовал не только ребят леденцами. После митинга открылись магазины, выставив на полки бутылки с хорошим настроением, которые уже одним видом своим, своим блеском и формой вызвали оживление... Уже кто-то прямо на улице вынимает из кармана складные стаканчики и разливает по ним вино. Ба! Да это Прошин! Жена тянет его за руку и хохочет и сердится, а он, упрямо трясая своим смолисто-черным хохолком на голове, говорит: «Ну, друг мой, если в этот день нельзя угостить людей на городской площади, тогда это еще не победа, я тебе скажу! Вон американский консул выкатил на Манежную площадь целую бочку виски! Я не американский консул. У меня нет бочки виски! У меня есть только бутылка водки. А победили все-таки мы, а не американцы!»

Военные, пришедшие на митинг с женами, независимо от рода оружия превращаются в летчиков — их качают, дол-

го, дружно. Их целуют — и кто? И бабушки, видя в них своих внуков, и пожилые женщины, видя в них сыновей, и девушки, все девушки города!

Фрося, Зина, Валя, Фарлаф-победитель идут кучкой. Валя поет! В их компанию влетает Марченко. Один погон его оторван, ремень сполз, фуражка сидит на голове криво. За ним с веселым смехом гонится целая толпа молодых людей. «Хватит! Хватит! Хватит, молодежь!» — кричит Марченко, заставляя Фросей.

— Что это с вами? — недоуменно спрашивает Фрося.

— Качали! Только и всего! А у меня морская болезнь! — говорит капитан и пытается шутить, вытирая рукой лоб, покрытый испариной. — Хотя я и не моряк!

— Нашли кого качать! — тихо говорит Зина.

— Кого нашли, того и качают! — то ли оправдываясь, то ли огрызаясь, бурчит капитан. — Личное дело не запрашивают, погоны увидели — и в воздух!.. Что не в духе, Зиночка? — спрашивает он дружески.

Но Зина не отвечает...

...Генка натывается в толпе, всего в пятидесяти шагах от матери и Зины, на молочника Вихровой — Максима Петровича. Он облачен в куртку из чертовой кожи, надетую на чистую, в белых горохах, черную рубашку. Карманы его старых штанов оттопыриваются. На голове мятая, не по росту, кепочка. На ногах новые ичиги. Максим Петрович не то пьян, не то взволнован, на его лице трудно поймать какое-то определенное выражение или чувство, а глаза его щурятся всегда. Но вот он чуть пошатывается. Тогда понятным становится его состояние. Но он овладевает собой. В руках у него бутылка и стаканчик. Он останавливает всех и наливает тем, кто не ломается.

— Не погнушайся, товарищок! За победу! За сынов моих. Ондreja Максимовича и Ляксандру Максимовича! — говорит он просительно, но не заискивая ни перед кем. И слова эти нельзя отринуть, и тронутые люди останавливаются и берут стаканчик молочника.

— А сам-то, отец?

— Дак я только пригублю, сынок! В память ведь, не для ради пьянства! — Он кивает на ичиги, на куртку. — Вот, было дело, сыны мое донашивали, теперя я их донашивать буду! Спаси тебя Христос, братец! Спасибо!

Генка, вытаращив глаза, наблюдает за молочником, которому ни горе, ни радость не прибавляют привлекательности, и вздрагивает, когда Максим Петрович обращает на него внимание:

— Подойди-ко, малец!

— Не-е! — тянет Генка.

— Подойди! Я, сынок, обет богу дал седни — ни одной души не пропустить! Свечку по нынешним временам за тыщу

рублев не купишь, так я возжигаю огонек-то в душах, а не на паникадиле. А я жертвую на поминание рабов божьих Ондreja и Ляксандры тыщу рублей. Это понимать надо. Много не дам. Капельку всего. Для счету. Не для пьяна.

И Генка пьет, стреляя по сторонам глазами: как бы не влипнуть в историю? А Максим Петрович гладит его нечесаную голову корявой ладонью, не ласкающей своим прикосновением. Теперь Генка замечает, что глаза Максима Петровича полны слез. И ему становится жалко старика.

— Убили, дедка? — спрашивает он.

— Впали смертью храбрых! — отвечает молочник и вдруг тянется куда-то за пазуху, дав Генке подержать бутылку и стаканчик. Подмигивает Генке и вытаскивает бурундучка — живого бурундучка, с блестящими, точно крохотные бу-синки, глазками, с рыжеватой на животике шерсткой и тремя темными полосками на спине, с пушистым хвостиком. Бурундучок — совсем крошка. Он не боится ни Максима Петровича, ни Генку, остолбеневшего от восторга, ни толпы, что шумит вокруг, как тайга осенью. — Бери! — говорит Максим Петрович. — Матку-то корова ногой задавила, а энтот жив остался!

— Ой! — только и может сказать Генка, беря бурундучка.

— У меня-то он божью скотину беспокоить, а удавить жалко. Думал в музей продать, да уж ладно, помни раба божьего Максима и его сынов Ондreja и Ляксандру! Клади за пазуху. Он тепло уважает!

Душа Генки переполняется счастьем!

Но, осторожности ради, он отходит от Максима Петровича, даже не сказав «спасибо». Как бы не раздумал дед! Генка сует зверька за воротник, к поясу. Бурундучишка легонько царапается. И Генке смешно от щекотки. «Ну-ну, давай не будем!» — говорит он вслух. И бурундучишка, пригревшись, успокаивается.

3

Начинает смеркаться.

Но до салюта еще далеко. Ведь залпы и фейерверк хороши лишь тогда, когда темно вокруг и черное небо послушно дает расписывать себя.

Генка ходит и ходит по городу. Глотку его раздрает икота от выпитого лимонада. От съеденных леденцов на сахарине во рту сухо, как в огненной печи пророка Даниила. Если бы Генка знал об этом свойстве леденцов! Увы! — в жизни приходится расплачиваться за все наслаждения, тем более умеренные. Весь лимонад выпит, и все леденцы проданы.

Продавцы закрывают свои киоски и уходят домой — петь, плясать, пить, и, конечно, не лимонад, от которого у них руки чуть не по локоть красные, точно обожженные.

Улица за улицей. Точно новый Агасфер, мечется Генка по улицам родного города, не находя себе пристанища и не в силах остановиться, — его влечет все дальше какая-то неведомая сила. Он глазееет на высокие очистительные установки нефтеперерабатывающего завода... чего это такое? Чудно! Вот бы сюда поступить, как вырастешь, а? Но Генке не нравится запах нефти — будто кто-то в классе шептуна пустил. Это эфирные масла, Генка, они содержат в себе уйму химических веществ, из которых можно делать самые лучшие духи, и самые действенные лекарства, и самые сильные взрывчатые вещества, но это уже по ведомству твоего мрачного покровителя, а не по человеколюбивому ведомству Гиппократата или нежной конторы госпожи Венеры!

Ноги несут Генку все дальше.

Вот заборы Арсенала, из-за которых чуть видны заводские корпуса с закопченными до черноты окнами. Там люди, Генка, имеют дело с огнем и металлом. Там делают снаряды — может быть, за этим забором сделают и те снаряды, которые пошлешь в сторону врага ты? Сквозь копоть широких и высоких окон видны багровые отсветы — это краны несут по воздуху раскаленные отливки, источающие жар. Это уже не железо, знакомое Марсу, — это марганцевая, хромоникелевая, ванадиевая сталь с добавлениями германия и индия. Сверхпрочная сталь! Шум станков все время доносится со стороны Арсенала, будто старик ворчит и ворчит, на кого-то сердитый! Завод работает в счет майского плана. И еще не подписан приказ — хватит снарядов! Арсенал — старик. Это первое промышленное предприятие в городе. Оно имело настолько большое значение для России, что сам цесаревич Николай, будучи здесь, соизволил посетить Арсенал! Вот как. А справа — видишь короткую, тупую трубу, у самой дороги, вьющейся по берегу реки? — стоит старая мельница, теперь мельница № 4. Пушки и хлеб всегда жили рядом...

Может, ты зайдешь в общежитие Арсенала? Может быть, ты хочешь навестить ту, рыженькую, которая в ледоход спасла тебя от верной и жалкой смерти? Она сильно болела, Генка! Рыженькая получила из-за тебя, паршивца, воспаление легких, а это не шутка. У нее долго держалась температура. Врачи сказали, что организм у нее ослаблен и что у нее сопротивляемость низкая! Это от пайки — калории-то в ней есть, сколько положено, а вот сытости она не дает, видно, не положено... А пенициллина, Генка, еще нету! — его, понимаешь, изобретут чуть попозже, когда мы с тобой уже расстанемся.

Нет, Генка не хочет идти в арсенальское общежитие, хотя сердце его согревается при воспоминании о том, как за-

ботливо укутывали его в девичьем общежитии и как горело тело рыженькой под сильными худыми руками ее сердитой подруги.

Ты еще не раз вспомнишь об этом.

Рыженькая — первый человек, которому ты принес несчастье, но не последний, кому ты невольно отплатил злом за добро.

Генка вытаскивает из рубашки бурундучишку, крепко держа за заднюю половину тела и любясь распушенным хвостом зверька, выпущенным по ветру из Генкиного кулака.

— Ну, как ты живешь? — спрашивает Генка.

Бурундучишка сверкает глазками-бусинками, шарит передними лапками по Генкиному кулаку, ерзает задними, поднимает верхнюю губенку, обнажая острые мелкие белые зубки, и сморщивает черный носишко, принюхиваясь к дурным запахам завода, чихает и, вдруг натужившись, пускает струю пахучей жидкости.

Генка выставляет струю вперед, держа теперь бурундука, как пистолет.

— Тах! тах! тах! — приговаривает он.

Бурундучишка обнюхивает руку Генки, пробует ее на зуб: не съедобна ли эта грязная штука, которая цепко держит его?

— Исть хочешь? — спрашивает Генка и чувствует, что и у него начинает сосать под ложечкой: на радостях по поводу победы ребята лишились обеда в группе продленного дня. — Я, знаешь, тоже хочу исть! — говорит Генка бурундуку. Он вспоминает про леденцы. Вынимает один, отделяя его от слипающейся массы, и сует бурундуку. Зверек берет угощение передними лапками, обнюхивает, нерешительно примеряется к леденцу, но тотчас же выбрасывает, как вещь абсолютно не нужную. — У вас в тайге леденцов не делают, да? — говорит Генка ласково, поглаживая умную голову бурундучишки.

Он кладет себе в рот один леденец, но чувствует только горечь и ничего больше. Нехотя, лениво Генка выплевывает леденец, немного повалив его во рту для приличия. Потом через зубы сплевывает липкую, тягучую слюну. Роскошно! Метра на два!

— Ни чик! — говорит Генка бурундуку. — Вот пойдем мы с тобой домой, да? Мамка нам исть даст сколько хочешь, да? У меня мамка добрая, если не злая...

Бурундук умещается на прежнем месте.

Подгоняемый голодом, Генка спешит в родной дом.

Вот эта улица, вот этот дом...

Когда он касается калитки рукой, невольно вздрагивает — пронзительный визг свиньи вонзается ему в уши, как бурав. Она захлебывается, и визг получается прерывистый, как звонок тревоги, потом замолкает так же сразу. У Воробьева

режут хряка ради праздника — сабантуй будет на славу, Воробьев любит и умеет принимать гостей! Генка бормочет:

— Вот гады, будут жрать, как свиньи...

Он взбегает по лестнице на веранду. В нетерпении открывает было входную дверь, но вспоминает про леденцы, которые рассованы у него по всем карманам. «Мамка отберет! — появляется у Генки неприятная мысль. — А что, конечно! Надо же к чаю что-то сладкое!» А Генке становится жалко леденцов. Он вынимает их из карманов. Слепливает вместе. Получается довольно большой, липкий, пахнущий фруктовой эссенцией комок. Немного Генка отделяет, чтобы не прийти с пустыми руками, — целый день ведь по улицам шлендал, а за это, знаешь, дают... Ничего, пусть Зочка пососет!

— Это сюда! — говорит Генка бурундуку и кладет маленькую кучку в карман куртки. — А это сюда! — говорит Генка и открывает крышку сундучка, что стоит на веранде. — Запас! — поясняет Генка. — Со мной, знаешь, не пропадешь! Будем всю неделю с леденцами чай гонять, понял?!

Он сует слипшийся комок в уголок, чтобы было незаметнее.

И взор его падает на большой серый конверт, оставленный в сундучке Петей Тимофеевичем Барановым, философом и психологом, сердце которого уже устало от необходимости быть вестником несчастий и бед.

В полумраке, постепенно укутывающем праздничный город, Генка рассматривает надпись на конверте.

— «Луниной... Ев... фро...синье Романовне». Это, понимаешь, нам письмо! — говорит Генка обрадованно и похлопывает бурундука под рубахой. — От папки, понимаешь!

И, уже не чувствуя за собой никакой вины, с легким сердцем и растворенным в самой широкой из всех своих улыбок ртом, Генка влетает в комнату...

Он кладет на стол свои леденцы и говорит важно, как кормилец:

— Это Зочке, мамка!

Потом вынимает из-за спины конверт и машет им в воздухе.

— А это тебе. От папки! Тан-цуй!

Фрося слабо охнула и потянулась за телепавшимся в воздухе конвертом обеими руками, вдруг ослабнув и почувствовав, как колотится бешено сердце в груди. Обрадовалась.

— Танцуй! — повторил Генка торжествующе.

Стол был накрыт, Фрося ждала гостей. Осунувшаяся Зина помогала подруге. Они бросили все на половине, глядя на Генку. Зина сначала было обрадовалась за Фросю, но ее глаза с тревогой глядели на конверт. Ох-х, треугольничек бы!

Фрося неловко покружилась и топнула ногами о пол несколько раз, уже начиная сердиться на Генку, но не в силах крикнуть на него.

— Получай! — сказал Генка и протянул матери конверт. Красивые буквы с писарскими росчерками.

Руки Фроси дрогнули.

Лист писчей бумаги, напечатанный на машинке. Лист писчей бумаги, исписанный ровным чужим почерком.

«Глубокоуважаемая товарищ Лунина! Командование воинской части полевая почта № с глубоким прискорбием извещает Вас о том, что на подступах к городу Н...»

«Дорогая Евфросинья Романовна! По поручению боевых товарищей Вашего мужа — Николая Ивановича Лунина...»

На подступах. Даже и винтовки с плеча не снял, да? Боец!..

Зина увидела, как побледнело лицо Фроси. До того, что светлые жидкие волосы ее показались Зине темными. Она бросилась к Фросе, чтобы поддержать. Ей показалось, что Фрося упадет сейчас и не поднимется больше. «Фросечка! — сказала она. — Фросечка!»

Но Фрося даже не увидела и не услышала Зину. Кто поймет и предугадает те мгновенные и странные движения души человека, когда черная весть громом поражает его! Фрося не видела в этот момент ничего, кроме ухмыляющегося во весь свой большой рот Генки. И вдруг она с силой ударила по этому раскрытому рту.

— Тан-цуй! — сказала она хрипло. — Тан-цуй, байстрюк! Ты у меня потанцуешь теперь!

Зина схватила Фросю за руку, но та легко, как перышко, отбросила Зину в сторону, и Зина поехала по комнате вместе со столом, на который наткнулась...

Генка в ужасе закричал.

— Фрося! Не смей бить! За что ты его? — крикнула Зина.

От рева Генки поднялась в кроватке Зойка. Она стала на четвереньки вместе с одеялом, которое вздулось пузырем, потом выпростала взъерошенную голову и с любопытством посмотрела: что вы тут делаете, добрые люди? Села, скрестив калачиком ноги, протерла глаза и накуксилась, увидев реющего Генку, который умылся кровью от удара матери. Он рванулся к двери, но мать схватила его за куртку и рубашку. Может быть, для того, чтобы прижать к груди и зареветь вместе с ним, несправедливо обиженным и осиротевшим! Рубашка вылезла из-за штанов... Бурундучишка, неожиданно освобожденный из своего теплого плена, шлепнулся о пол, присел на мгновение, ошалев от крика и яркого света, и метнулся между ног Фроси, ища укрытия от грозы, какой представилось ему все это природное явление... Фрося боялась крыс до ужаса, до судорог, до истерики. Ей показалось, что Генка притащил в дом крысу. Она пронзительно крикнула и, уже зверея от этого смешного страха и чувствуя, что Генка

стал как бы скопищем всех ее несчастий, причиной всех ужасов, мстя ему за все, не владея собой совершенно, схватила кочергу, стоявшую возле печки, и стала бить Генку: «А-а! Гада кусок! Ты у меня потанцуешь! Отца убили! Отца убили, гад!»

Крик Фроси всполошил соседей. Вихрова побледнела и кинулась к Луниной. Ей не нужно было объяснять, что надо делать. Видя, что обезумевшая Фрося опять подняла кочергу, Вихрова кинулась между сыном и матерью, ловя в воздухе занесенное орудие. Зина схватила Фросю сзади, и обе женщины стиснули Фросю с обеих сторон, обезоружив ее.

Взгляды Вихровой и Зины встретились. «Что с ней?» — крикнула Вихрова сквозь крик и плач Фроси. «Похоронка!» — сказала Зина, кивнув головою на конверт, упавший на пол, и яркие белые листы бумаги, кинутые на комод.

Вихров секундой позже тоже вбежал в комнату. Разжал судрожно сжатые на воротнике Генки пальцы Фроси и покачал осуждающе головою: «Ну разве можно так! Ведь так и убить недолго!»

— Убью! — крикнула Фрося, словно в Генке была причина и голодных военных лет, и ее опасений за будущее, и ее тревоги за мужа, и ее тоски, и ее ненависти к немцам, которые настигли-таки Лунина на подступах... на подступах... на подступах...

Но Генки уже не было в комнате. Простучали его скачки по высокой лестнице, протопал он по тротуару в две дести, что вел к калитке, хлопнула калитка, и все замолкло.

У Фроси началась истерика. Она выла, и била себя по лицу, кидалась на стену. И кричала Вихрову: «Отсиделся, гад, в тылу! Тебя-то не убили на подступах!» Почему-то это слово было особенно горько, почему-то именно оно очень уж поразило Фросино воображение и вздымало в ней все новую и новую горечь. Ее удерживали, а она металась по комнате, таща за собой всех. Перепуганная Зойка тоже редела в кровати, а потом спряталась под одеяло: «Ма-а! Ма-а!»

— Уйди, гад! — кричала Вихрову Фрося. — Убью! Твою пулю мой мужик на себя принял! Твою!

Вихров посерел. Фрося ударила его по самому больному месту. При мысли о том, что его не взяли на фронт, он всегда чувствовал сильное уязвление и каку-то обезволивающую неловкость: словно он и не мужчина, что просидел в тылу всю войну! А Фрося все выкрикивала то, что набрякло, накопилось у нее в душе...

— Да замолчите вы! — кричала и Вихрова. — Детей постыдитесь!

Вдруг Зина отстранила Вихровых от Фроси. Стала перед ней вплотную. И наотмашь ударила ее сначала по одной, потом по другой щеке. Красивое лицо ее исказилось. «Как она может?» — с отвращением подумал Вихров. Тут Фрося замолчала. Безобразный крик ее умолк. Она осмысленными глаза-

ми поглядела на Зину и с каким-то недоумением и покорностью сказала: «Больно! Зина!» А Зина тотчас же обняла ее, погладила по взлохмаченной голове, и подвела к Зойке, и показала кивком Фросе на дочку. Вынула Зойку из кровати и подала матери. Зойка потянулась к Фросе. И слезы заструились по щекам матери. Но это уже были другие слезы: слезы тоже бывают разные, даже если они текут из одних глаз...

Зина обернулась к Вихровой:

— Если вас не затруднит — посидите с ней минут десять, пожалуйста! Теперь уже все будет по-другому! Она усмехнулась какой-то задумчивой улыбкой и сказала Вихровой: — А вы храбрая! Так и бросились под кочергу-то. Я бы не смогла...

— А-а! Пустяки! — ответила Вихрова, присматриваясь к Зине.

— А что я по щекам ее побила, — тихо добавила Зина, вспомнив испуганный и недоуменный взгляд Вихрова, — так это надо было! Я курсы медицинских сестер кончала — так нас учили истериков в сознание приводить! Если почувствует боль, значит, припадок не повторится...

— А если...

— Тогда дело плохо. Рассудок может не выдержать потрясения. — Зина поднялась. — Пойду Генку поищу! Как бы с ним чего не получилось. Мальчишка нервный и вольный...

Она вышла на веранду. Всмотрелась в темноту, становившуюся все гуще. Позвала:

— Гена! Где ты? Подойди сюда!

Прислушалась. Сошла с крыльца. Стала всматриваться в садик — не прячется ли здесь бедный сын Марса и Стрельца, выдержавший нынче такую грозу? Окликнула тихонько раз, другой. Но только из-за забора ей отозвался кто-то веселый, подвыпивший по случаю всенародного праздника: «Может, я сгожусь вместо него?» — и рассмеялся, довольный своей остротой.

За калиткой ее нагнал Вихров:

— Ну что, не видать?

— А что с Фросей?

— Прилегла с дочкой.

— Ну, теперь уснет... Я постою тут да гостей встречу и провожу. Поцелуй пробой, возвращайся домой!

Зина слышала дыхание Вихрова. Он стоял в некотором волнении, чуть покусывая ногти, не зная, чем занять себя, и всматриваясь в сумеречные дома на другой стороне: где же все-таки Генка?

— Поздравляю вас с победой! — вдруг неожиданно сказала Зина. — Только не с такой! — она кивнула головой по направлению к дому. — У вас все целы... И жизнь хороша! И жить хорошо!..

— А у вас? — осторожно спросил Вихров.

Зина не ответила. Глубокая усталость овладела ею. Утренняя буря вымотала ее душевно. Несчастье Фроси опять сгустило вокруг нее пустое, холодное одиночество. А ей так хотелось тепла, сочувствия, нежности и ласки, которые растопили бы эту серую пленку усталости, сняли бы с ее души затемнение, от которого уже не было сил жить. Она вздрогнула.

— Вам холодно? — спросил Вихров.

— Обнимите меня! — вместо ответа сказала Зина тихо.

Она не видела Вихрова в темноте и стояла затаив дыхание, словно ожидая чуда, ожидая чего-то невероятного, невозможного, чего-то сказочного.

И тяжелая, сильная, теплая мужская рука легла на плечо Зины.

С такой бы тяжестью пройти через всю жизнь!..

Нежные! Вы любовь на скрипки ложите...

4

Рева в голос, размазывая по лицу слезы и кровь, Генка выскочил за калитку и, чувствуя, что у него все дрожит внизу — живот, колени! — остановился у приворотного столба, так и прилипнув к нему, в изнеможении от испуга, злости и еще чего-то, чему он не мог бы подобрать названия и что бы я назвал тоской по отцу.

Но он оказался не один за воротами. Неподалеку от него стоял человек, сильно оседавший на корму, видимо в результате перегрузки радостью или ее эквивалентом в жидкостном воплощении. Он не мог отделиться от забора, в данный момент чувствуя забор как бы продолжением своего чудовищно тяжелого и громоздкого тела, но его ясное сознание, как результат высшей нервной деятельности мыслящего существа, было исполнено снисходительности и благожелательства ко всему человеческому роду.

— Э-э! Малец! — позвал он Генку. — Кто тебя обидел? Это не нор-маль-но, понимаешь, в День Победы обижать маленьких. Не нор-маль-но! Ты мне скажи, я им, понимаешь...

Генка в испуге отпрянул от столба.

Темное чувство ненависти ко всему миру владело им сейчас.

Он нагнулся, нашарил под ногами камень и кинул его в человека, готового ему покровительствовать и не терпевшего нарушения норм человеческого общежития. Камень попал в цель. «С-сукин ты кот-т! Товарищи! Меня уби-и-ли!» — услышал Генка крик. Но он уже был далеко, на другой стороне улицы...

...Вот пост лейтенанта Феди, здание банка, похожее на коробочки, поставленные друг на друга, с широченными окнами во все комнаты. Напротив — здание краевого исполнительного комитета, в том же стиле. К банку выходит одно крыло, в котором помещается самый большой в городе кино-театр, в фойе которого играет самый большой джаз-оркестр города. Этим джазом руководит самый смешной человек в городе. Когда оркестр играет, этот человек машет руками и весь выламывается, как будто музыканты не могут сыграть и без него. Он и улыбается и сияет, когда слышит аплодисменты из зала, и раскланивается один за весь оркестр, и кому-то кивает головой, и делает ручкой и потом, словно утомленный всеобщим поклонением, опять взмахивает руками и опять начинает отсчитывать ногою такт...

Внизу не видно ни одного ракетчика.

Все они на крыше банка.

Генка заходит во двор. В один, в другой подъезд, ища выхода на чердак. В душе его пылает ненависть к роду человеческому, но на артиллеристов это чувство не распространяется и... вообще... военные — вот это люди! Он видит на последнем этаже одного из маршей еще одну лестницу наверх и полузакрытую дверь. Тут темно, и Генку охватывает страх — как бы не попасть в какую-то ловушку, устроенную шпионами. По его мнению — шпионы есть везде, как летом везде есть комары. Он не виноват, что думает так. Но на всех улицах висят плакаты: «Ротозей и болтун — пособники врага!», «Болтун — находка шпиона!». На плакатах строгие лица солдат, которые грозят пальцем зрителю, и подлые лица болтунов и ротозеев; болтуны, как дураки, болтают по телефону про государственные тайны, растянув рот до ушей, а ротозеи всюду сеют из кармана и из растопыренных пальцев важные бумаги, храня на своих рожах непроходимую глупость и растяпство. А у шпионов колючие глаза, выглядывающие из тени, и тонкие, цепкие пальцы, тянущиеся тоже из тени к важным тайнам! Шпионы всегда в темноте. И Генка осторожно всовывает голову в помещение за дверью. Темно и там. Однако бледные, светлые квадраты виднеются в этой темноте. А в квадратах — движутся чьи-то силуэты. Крохотный огонек огненной точкой появляется в одном квадрате. Тотчас же строгий голос говорит: «Товарищи солдаты! Не было разрешения курить!» Огонек исчезает. Спустя некоторое время просительный голос возникает из темноты: «Товарищ старший лейтенант! Покурить охота!» — «Курите!» — вдруг отвечает строгий голос. Чиркает одна-другая спичка...

Это пост ракетчиков. У Генки отлегло от сердца.

Он ощупью ищет лесенку на крышу. И чуть не стучается о нее головой. Карабкается вверх. Высовывает голову в слуховое окно. И тотчас же видит всех солдат. Они очень четко выделяются на фоне вывездившего неба.

Кто-то берет Генку за ухо.

— Н-но! — говорит Генка сердито. — Не баловай!

— А кто ты есть? — спрашивает его грубый голос.

— Генка!

— Ну, понятно, не Шарик, не Жучка! А чего тебе тут надо?

— Мне лейтенант разрешил!

Строгий голос говорит:

— Это Гена, что ли? А ну, ползи сюда...

И Генка устраивается возле лейтенанта Федя, вдыхая запах кожаных ремней, сырого сукна, табачного дымка, прохладного воздуха, гуталина, щедро смазавшего сапоги солдат и лейтенанта, приязни, дружбы, товарищества, дисциплины и душевного покоя, которого ему так не хватает! Вот это жизнь! Вот это настоящая жизнь, товарищи!

Рация прислонена к дымовой, огромной, как дом, трубе. На ней мерцают призрачным светом огоньки. У лейтенанта надеты наушники, которые так изменяют его простое лицо, делая его не похожим на самого себя. Лейтенант глядит на свои ручные часы, светящиеся тем же призрачным светом, что и лампочки ракеты, зеленовато-голубым, как летучие огоньки жучков-светлячков.

— Слушай мою команду! — негромко говорит лейтенант, сверив свои часы с часами кого-то, кто передает ему приказания по радио. — Занять свои посты! Внимание...

По крыше грохочут сапоги солдат. Они становятся в рост и вытягивают к темному небу руки с зажатыми в них ракетницами.

— С интервалами в три минуты... Сигнальными всех цветов... Серией... Огонь!

Ах! Все небо над городом озаряется вспышками ракет, которые гасят звезды вселенной и зажигают звезды Радости. Переплетаются, скрещиваются, образуют разноцветный кружевной узор на черном бархате неба ракеты, ракеты, ракеты... Одновременно багровое зарево вспыхивает в городском парке, на площадях, возле авторемонтного, возле штаба, в расположении казарм Воложяевского полка, на Красной Речке. Воздух содрогается от залпа, и Генка глохнет на минуту. Внизу, на улицах, опять толпы народа — веселый шум идет-гудет оттуда. И Генка видит свой город с высоты, на которую вознес его грозный шеф Марс, таким, каким никогда его не видел, да и не увидит больше, пожалуй... Горят не только ракеты в воздухе, на высоте, горят таким же разноцветным пламенем все окна в городе, отражающие это буйство живого, веселого огня в ночном небе. То погружаются во мрак, то выступают отовсюду дома, дома, дома, которые словно каждый раз одеваются ради праздника в новое платье — то желтое, то красное, то голубое, то зеленое, то белое! Ах, как хорошо! Хорошо? Дай мне слово, Генка, что ты запо-

мнишь свой город на всю жизнь таким, только таким, какие бы испытания ни подбросила тебе жизнь — не простая, если в ней разобраться!

— Дашенька-то сегодня у вас? — спрашивает лейтенант Федя.

— У нас, конечно! — отвечает Генка, если лейтенанту хочется, чтобы Даша была за два квартала от него, а не за два километра.

— Она хорошая! — помолчав, говорит Федя.

— Хорошая! — с готовностью откликается Генка, если уж лейтенанту хочется, чтобы Даша была хорошая. — Лучше всех!

Лейтенант смеется.

Он вкладывает ракету в свою ракетницу, потом вкладывает ракетницу в руку Генки, поднимает ее вверх, придерживая вспотевшую ладонь Генки, и, выждав установленный интервал, нажимает гашетку Генкиным пальцем. Толчок. Сначала не видно ничего. Но потом, в какой-то точке Генкина ракета выпускает длинный светящийся хвост и распускается дивным цветком сказочной красоты. Знаете ли вы, что такое счастье, товарищи? Вот счастье написано сейчас на лице Генки! Оставайтесь в воздухе, ракеты, горите как можно дольше, и пусть громы залпов не смолкают, и пусть несется музыка волнами отовсюду — не так часто бывает счастлив человек!

Густая тьма воцаряется после фейерверка.

Команда ракетчиков спускается вниз. И лейтенант в суматохе теряет Генку. Он, правда, окликает мальчишку. Но Генка молчит. Он знает — лейтенант Федя хочет увидеть Дашеньку, он торопится увидеть ее, чтобы взять ее руки и бережно подержать в своих, как бог вещь какое сокровище. А застанет он в квартире Луниной зареванных Фросю, Зину и Зойку... Жестокая действительность подступает к Генке после глотка неподдельного счастья, и Генка прячется за трубой. «Да он уже удул, товарищ лейтенант!» — говорит один из солдат. «Осторожно, товарищ лейтенант! Тут ступенька сломатая!» — говорит другой. Светлячками перемигиваются в мрачной пещере чердака огоньки карманных электрических фонариков, потом мрак поглощает все — и фигуры, и звуки...

И Генка всхлипывает.

— Ты чего домой не идешь, салага? — вдруг слышит он странно знакомый голос и даже не успевает испугаться.

Рядом чиркает спичка, освещая Генку, и он видит, что неподалеку от него, опираясь спиной о кладку трубы и поджав ступни под сиденье, возникает из мрака Сарептская Горчица. Лицо его спокойно, а поза привычна.

— Я из дома... убежал! — говорит Генка, который ни за что на свете не может пойти домой. — У меня папку убили сегодня...

— Где? — деловито осведомляется Сарептская Горчица и спрашивает: — Курить есть? Нету?

— На фронте... Нету! — отвечает Генка одновременно на оба вопроса.

— Ну, значит, не сегодня! — говорит Сарептская Горчица и сплевывает через зубы куда-то в неимоверную даль, прямо через парапет фронта, на головы шумящим внизу людям. Вот это высший класс! — У всех убили! — говорит чемпион по плевкам равнодушно.

— И у тебя?

— И у меня.

— На фронте?

— Не! — говорит Сарептская Горчица. — В тридцать седьмом году...

Генка холодеет. Ему вспоминаются обрывки услышанных от отца слов о тридцать седьмом годе, о врагах народа, не давших от Сарептской Горчицы. Какая-то конкретность формируется в его мозгу: слова отца, плакаты, призывающие к бдительности... Он облизывает губы, вдруг пересохшие.

— Враг народа? — спрашивает он и ужасается. — Шпион?

— А хочешь в рыло суну? — спрашивает Сарептская Горчица, не обнаруживая, впрочем, намерения драться. Он вытаскивает из кармана папироску, закуривает и разгоняет дым рукой. — Если б, знаешь, столько шпионов было, сколько в тридцать седьмом израсходовали, так мы бы с тобой уже знаешь где были бы... Ничего-то ты не понимаешь! Мой отец Зимний брал! Он тут Советскую власть помогал устанавливать... Мать говорит: отец — жертва обстоятельств.

— А шпокнули...

— Ага! Мать моя тогда от него отказалась, понимаешь... а теперь как мертвая ходит. Надоело мне с ней... И жалко, и... все...

— А ты понимаешь? — спрашивает Генка, смелея.

— Не! — после долгой паузы отвечает потомок жертвы обстоятельств.

Они долго сидят молча. Сарептская Горчица сует Генке окурочек прямо в рот, без джентльменского обхождения, которым он однажды поразил Лунина Геннадия. Генка тянет воюющий дым. У него першит в горле и противная тошнота подкатывает к глотке. Он давится дымом и часто плюется, не потому, что честолюбие зовет его бросить вызов чемпиону по плевкам, а потому, что его вынуждает к этому состояние.

— Теперь у меня анкета на всю жизнь испорчена! — говорит Сарептская Горчица тоном обреченного, отвечая своим привычным горьким размышлениям, и добавляет: — Ни чик!

— А моя планида предсказывает, что я артиллеристом буду! — говорит Генка обрадованно и, воспользовавшись случаем, кидает папиросу прочь. Его мутит все больше.

Сарептская Горчица смеется, но не обидно, по-хорошему:

— Планида! Пла-не-та! Это одно! А ан-ке-та — это совсем другое!

Но он не объясняет, что это такое. И это обидно! Если сам знаешь — скажи, чтобы и другой знал. А то будет хвататься! И, чувствуя необходимость чем-то защитить свое попрванное достоинство и удержаться на должной высоте в беседе двух джентльменов, он говорит тем же небрежным тоном, какой так идет Сарептской Горчице:

— А я девчонку голуя видел... девку... взрослую...

— Ну? — оживляется Сарептская Горчица. — Так? — он показывает рукой до бедер от пола. — Или так? — он показывает от головы до пояса.

— Вся! — говорит Генка торжественно.

— Ну и как?

— Ни чик! — отвечает Генка. Но рассказывает, как его спасали, как растирали, как лежала рыженькая и как у нее все...

Сарептская Горчица тяжело дышит.

— Шамать хочешь? — спрашивает он.

Еще бы не хотел Генка есть! Уже давно в его животе кишка кишке кукиш кажет! Он звучно сглатывает слюну.

Сарептская Горчица приносит Генке кусок рыбы, шмажок гречневой каши, завернутый в бумагу, махонький ломтик хлеба. В руках у него ряднина и старый ватник. Он кидает все свое имущество возле дымовой трубы на чердаке: вот это — под себя, это — на себя, и все будет хорошо. Он принимает за должное нежелание Генки идти домой. Объясняет, что всегда ночует тут, когда ему надоедает дома или охота покурить.

— А мать? — осторожно спрашивает Генка.

Сарептская Горчица зевает намеренно громко и беззаботно:

— А она... со мной... не может спра...виться, пони...маешь...

Он уходит, так как мать сегодня в гостях и он может располагать всей квартирой один — кум королю! В двери останавливается:

— Изменница она, понимаешь! Как я с ней буду...

Напоследок он поражает Генку изысканностью манер и воспитания, галантно сказав:

— Ну, приятных снов, счастливых сновидений!

Дверь скрипит и захлопывается.

Генка ложится на ряднину. Не кровать, конечно! Натягивает на себя пыльный ватник. «А бурундук? — думает он. — Бурундука мать, наверное, совсем убила». Скупые слезы каплют из глаз Генки.

Над ним совсем близко — протяни руку и достанешь! — в слуховое окно видны крупные, яркие звезды. Воздух прозрачен, но на высоте ходят над землей какие-то токи, какие-то течения эфира, и звезды горят прерывистым, переливчатым светом и точно подсакивают. Генка пристально вглядывается в бархатное небо и в сияющие звезды. Где-то там, на небе, сверкает и созвездие Стрельца! Может быть, вот оно, над самой головой Генки! — иначе как Стрелец будет ему светить, если они не видят друг друга. Марса Генка не видит, но знает, что низко над горизонтом всегда мерцает красноватый свет его мрачной планеты...

Но небо постепенно затягивает дымка, и звезды скрываются из глаз Генки, и мелкий теплый дождик начинает сеять с неба. Скоро вся крыша над его головой начинает издавать сначала тихий звон, а потом ровный шум, от которого у Генки невольно начинают смыкаться веки... И, право же, дождик пошел вовсе не оттого, что так нужно автору и шум дождя более соответствует душевному состоянию Генки, чем ясное небо над ним. Дождь пошел от грома салютов, от сотрясения воздуха, вызванного ими. Мельчайшие капли влаги, всегда взвешенные в воздухе, сгруппировались от этого сотрясения, отяжелели и пролились на землю дождем. Стреляют же из пушек для того, чтобы заставить облака отдать земле свою влагу, которую они, как скупец свой кошель, несут мимо засушливых мест. Это явление описано у Фламариона, а трудно найти другого такого знатока атмосферных чудес...

Глава десятая

ЗЕМЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ БЕГ...

1

Кровожадный бог войны, схваченный за руку на Западе, еще продолжал свое дело на Востоке. Филиалы Гефеста и Вулкана работали всюду в Азии и Океании, извергая громы и молнии, вздымая моря огня и тучи пепла.

Трехколесная ось Рим — Берлин — Токио была изрядно поломана в столкновениях с Советской Армией и армиями союзников.

Сначала с нее скатилось наиболее дребезжавшее колесо итальянского фашизма. Потом перестало вертеться тяжелое колесо немецкого фашизма. Но еще крутилось с бешеной силой на Востоке последнее колесо этой оси, пущенное в ход

старым генералом Араки и молодым императором Хирохито, тоже мечтавшим о мировом господстве, как мечтали об этом Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Каждый из них жил ради этого. Каждый из них предлагал пушки вместо масла своим подданным ради этого. Каждый из них вступал в союзы ради этого. Если допустить, что они были честны друг с другом, то для удовлетворения их мечтаний надо было иметь три Земли. Но Земля была одна. И кроме того, на ней обитали еще многие другие люди и государства, помимо претендентов на мировое господство... которые тоже о чем-то мечтали.

И вот почему Бенито Муссолини повис между небом и землей вверх ногами в какой-то итальянской деревушке, а Адольф Гитлер, приняв яд, улегся рядом с Евой Браун и любимой немецкой овчаркой.

Но судьба молодого Хирохито еще не была решена.

И хотя заманчивая картина представлялась его взору при взгляде на карту театра военных действий, что-то тут было уже не то. Правда, войска императора Японии побеждали всюду — от Пирл-Харбора и Грет-Харбора на севере до самого последнего паршивого островка на юге Океании, который можно было занять и очистить от противника, как бы он ни назывался — англичане, американцы, французы, голландцы и пр., и пр., и пр., — силами одного взвода. Правда, у ног Хирохито лежали, казалось бы, поверженный колосс — древний Китай, от которого японцы переняли бумагоделание и книгопечатание, древний Чосен, от которого перешла в Японию культура быта, Аннам, Индокитай, Бирма, Цейлон, Гавайи, Сиам, и японские генералы, храня на породистых лицах выражение бесстрастия и непреклонности, что так подобает потомкам сорока самураев, из-под припухших век бросали взгляды на древнюю Индию. Все это было правдой, от которой даже кружилась голова. Заветная цель, казалось, была близка. Никогда еще за всю свою историю, начиная от восстания Хидэёси до революции великого Мэйдзи, деда Хирохито, Япония не простирала своей власти так далеко от родных островов. На уста сами собой напрашивались слова — Великая Япония, которые в 1924 году впервые произнес престарелый барон Танака, открыв юному императору высокую цель его жизни, в своем знаменитом меморандуме, и первой жертвой на алтарь которой пал в 1931 году маршал Чжан Цзо-лин, сойдя с дороги Японии в Китай... Одна Япония владычествовала ныне там, где чуть не сто лет уже паслись десятки крупных хищников, беллицы и желтолицы. И это было сделано за недолгие годы правления Хирохито!

И, однако, что-то пугающее исходило от этого театра успешно развивающихся военных действий.

Уже каждый восьмой японец был отправлен на фронт. Нет, не на фронт, а на многие фронты в этом проклятом Ти-

хом океане, который вдруг обернулся Великим, когда японцам пришлось воевать на нем. А генералы требовали от императора солдат. Уже у полуторамиллионной Квантунской армии, которая разъяренным тигром лежала на границах Маньчжу Ди Го (Маньчжоу-Го) с Советским Союзом, готовясь к страшному прыжку на большевиков, были взяты самолеты и танки — на те же фронты. Уже с Сунгарийской военной флотилии, самой сильной в мире, были взяты главные калибры, чтобы уйти туда же. Уже использовано было трофейное — американское, английское, французское, бельгийское, голландское и пр., и пр., и пр. — вооружение. Уже пришло в ветхость великолепное немецкое смертоубойное подспорье, полученное в подарок от Берлина. Уже промышленность Японии работала в припадке астматического удушья, ощущая недостаток не кислорода, а металла. А генералы все требовали от императора оружия и боеприпасов, танков и самолетов, кораблей и торпед...

Все, что имела Япония, и все, что захватила она в своем великолепном наступательном порыве с декабря 1940 года, — все это было брошено в какую-то бездонную прорву.

И многомиллионная армия хороших солдат постепенно исчезала в этой прорве, среди десяти тысяч островов и десятков государств, которые надо было держать в подчинении. Эта армия рассасывалась, растворялась среди покоренных пространств, как соль растворяется в воде...

Отец Хирохито, император Иосихито, первым вышел на континент, столкнув Россию с Ляодунского полуострова и отвоевав привилегии для торговли с Китаем. Но лишь две недели отделяли его от полного краха всей своей политики, когда был подписан Портсмутский договор. Сын Иосихито, император Хирохито, продолжил дело отца и ступил державной стопой на все побережье Тихого океана, но... почва колебалась под его ногами, и силы его иссякали.

Историки скажут потом, что ни у отца, ни у сына не было достаточно материальной базы для этих авантур. Император скажет, что у него не было хороших генералов. Генералы скажут, что у них не было настоящих солдат. А солдаты так и не поймут, на кой черт им надо было подыхать на острове Уэйке, в Гензане, на берегах Меконга, под пальмами Гавайев или в камышах возле Ханоя, когда можно было сделать это на родном Кюсю...

А у медведя на Западе освободились лапы...

2

Как ни готова была Фрося к самому худшему, то есть к тому, что муж не вернется с фронта, похоронка привела ее в состояние какого-то оупения, которое наступило после взрыва в первый момент. Все валилось у нее из рук.

Зина выхлопотала ей трехдневный отпуск.

И Фрося сидела в своей большой комнате и глядела в окна, не ощущая желаний что-то делать, без мыслей и без желаний устремив взор в какую-то одну точку.

Равнодушно она встретила Генку, которого на третий день привел домой милиционер, посмотрев как на чужого. Она видела, как милиционер отворил калитку, как подтолкнул Генку вперед и заставил поднимать по лестнице. Слышала, как они вошли в коридор и милиционер спросил Генку: «Направо или прямо?» — «Направо!» — ответил Генка, и дверь открылась. Только тогда Фрося повернулась к вошедшим. За три дня с ее лица смылась вся наведенная красота, и нечесанные волосы торчали во все стороны.

Но и Генка был хорош — весь измят и перепачкан: в известке, в пыли и еще в чем-то, с невытой рожей, на которой еще видны были следы родительской длани Фроси. Он исподлобья глядел на мать, готовый бежать снова, держась под рукой блюстителя порядка.

— Товарищ Лунина? — спросил милиционер.

— Ну, я.

— Это ваш сын? — спросил милиционер, выдвигая Генку вперед.

— Ну, мой.

— Что ж вы за детьми не следите, товарищ Лунина? — строго сказал милиционер. — У нас, знаете, безнадзорничать не положено! А то, знаете, и по закону можно поступить! — Фрося не отвечала, пустыми глазами глядя на сына и его доставщика. Милиционер, несколько озадаченный ее молчанием и желая разбудить в матери волнение, сказал: — На чердаке нашли! Там еще один тип был, да скрылся в неизвестном направлении! Не удалось задержать. Курили, понимаете! А у нас затемнение! Граница! Костер в плошке, понимаете, зажгли! Под предлогом согреться! Вы это поймите в виду!

Мать молчала. Сбитый с толку — в таких случаях либо оправдываются, либо защищаются, либо принимаются ругать провинившихся, обещая исправить их пороки! — и не зная, что еще сказать, так как Генка уже надоел ему, трижды показывая чужие квартиры, он многозначительно повторил:

— Поймите в виду! Прошу вас!

Зная из политбесед, что преступления надо предупредить, он добавил после неловкой паузы:

— А бить малолетних тоже не положено, гражданка Лунина! Это, знаете, может, трамва... трамвировать психологию, то есть покалечить! Через посредство уличного транспорта. Трамвая у нас пока нет, но автогужевое движение сильное, поймите в виду!

— Поимею! — сказала Фрося.

— А я ваш адресок запишу. На первый раз. А при повторении безнадзорности Лунина Геннадия будете оштрафованы...

Записав адрес и поправив планшкетку на боку, он вышел.

Фрося вынула из печки кастрюлю. Поставила на стол тарелку и положила Генкину пайку.

— Ешь! — сказала она.

Генка, следя за ней настороженными глазами, принялся жадно хлебать картофельный суп. Нос и щеки его тотчас же покраснели.

— Потом умоешься! — сказала Фрося.

...Милиционер постучал к Вихровым.

Удивленная мама Галя встретила его стоя.

— Я извиняюсь, гражданка! — сказал милиционер. — Быдто вы звонили насчет бегства мальчишки Луниной... Вы? Очень приятно. Участковый, старшина милиции Баландин. Мальчишка доставлен к родительнице. Живой. Чего ему сделается! — Милиционер понизил голос, оглянувшись на дверь и доверительно спросил, покрутив возле лба указательным пальцем: — А у нее того-этого нету случайно? Может, замечали что-либо относительное...

— Три дня назад она похоронное извещение получила! Мужа убили! — сказала Вихрова.

— А-а! Ну, тогда порядок! Вообще, вы знаете, когда кто-либо похоронку получит, в большое расстройство приходят. Все могёт быть тогда... Ну, будьте здоровы! Но — прошу вас, конечно! — понаблюдайте...

Когда шаги его затихли, Вихрова зашла к Луниной.

Фрося мыла в тазу раздетого до пояса Генку. Вместо головы у него была белая, мыльная шишка. Фрося полила ему на голову из чайника. Генка, фыркая, стал смывать мыльную пену. Фрося смотрела на спину Генки, где багровый кровоподтек начинался от плеча и, пересекая лопатки, пропадал на боку. «Ведь убила бы!» — с невольным содроганием сказала себе Фрося, и вдруг страх за Генку охватил ее. Она легонько дотронулась до синяка. Генка скривился.

— Больно?

— А ты как думаешь?

Вихрова сказала:

— Ну, я рада, что дело кончилось благополучно, Гена. Мы с твоей мамой уже не знали, что и думать. Все отделения милиции обзвонили. Как же ты не подумал о том, что мама будет тебя искать, будет беспокоиться, будет переживать...

— Ни чик! — сказал вдруг Генка непонятно. Вытирая голову сухим полотенцем и чувствуя себя отлично, — как видно, мать совершенно угнетена происшедшим и напугана его исчезновением! — он сообразил, что теперь его позиции в доме укреплены сильно, и спросил: — А бурундук где?

Фрося бросила взгляд на Вихрову, медля с ответом.

— Очень грустно, Гена, что так получилось! — сказала Вихрова, краснея. — Бурундучишка шнырял по всем комнатам. Забежал и к нам. Тут его увидел Васька. Думал, что крыса, наверное. Ну и... Я даже ревела — такой красивый, милый зверек! Игорешка до сих пор не может видеть Ваську и не пускает его в комнату. Живет Васька в кухне...

«Убью!» — подумал Генка, сверкнул злыми глазами на Вихрову и отвернулся от нее.

— Я на двор пойду! — сказал Генка и потянулся к своему ватнику.

Мать кивнула головой. Вихрова вышла. И Генка легкими ногами пошел из дверей.

Его триумфальное шествие под покровительством старшины милиции не прошло незамеченным во дворе. Уже по узенькому тротуару слонялись, изнывая от любопытства, и близняшки, и Мишка Аннушкин, и ребята из второго каменного дома, где жили Ирочка-балерина, тихий Шурик-мудрец и всякая другая мелюзга.

Темноглазая Наташенька и светлоглазая Леночка, двойняшки, так и схватились руками за Генку, когда он сошел с лестницы. Мишка хлопнул его по плечу:

— Здорово! Где ты был? А что с милиционером?

Генка ответил Мишке тем же, хотя Мишка и не заметил этого толчка, а Генкино плечо, куда пришелся удар Мишки, прямо по синяку, заставило его скривиться от боли. Генка и всегда-то считал Мишку как бы существом низшего рода: Мишка не дрался и ни на кого не задирался, ограничиваясь добродушной усмешкой, когда его задевали, — а теперь ореол героя, личности необычайной, прибавил Генке спеси. Он ответил небрежно:

— На чердаке банка ночевал. Лафа, понимаешь! Темно-та, понимаешь. Привидения всякие! Крысы во-от такие!.. Ничик!

Близняшки съежились от страха, но их глаза с обожанием были устремлены на Генку. «Ой, я боюсь!» — сказала Наташка и спряталась за брата.

— А чего делали-то на чердаке? — спросил Мишка, сопя.

— Ну, покурили... Выпили, понимаешь! — сказал Генка с той же покоряющей небрежностью и добавил многозначительно: — И вообще!

Он достал из кармана измятую папироску, спички и, бросив наверх воровской взгляд — не глядит ли мать? — закурил, пуская дым в рукав.

— Ой, курит! Генка курит! — сказала Леночка, не зная, как к этому отнестись, но смутно предугадывая, что на старом дворе начинается новая эра культуры — до сих пор никто из ребят здесь не курил.

— Дурак! — сказала Ирочка. — Вот будет у тебя табор... это самое... чахотка!

— Не учи ученого — съешь дерьма печеного! — отразил Генка неожиданный удар со всей находчивостью и остроумием, на которые был способен и которые заметно возросли после исчезновения его из дома и пребывания в обществе людей, повидавших свет, каким конечно же был Сарептская Горчица и другие такие же светские люди, про которых намеками говорил новый друг Генки...

— Пойдем, Шурик! — сказала Ирочка брату.

— Иди почитай, читатель! — саркастически, плюнув в сторону на три метра — у него было время усвоить этот великолепный аристократический прием! — сказал Генка и захотел, давясь от смеха. Он так хохотал, что всем остальным ребятам показалось, что чтение книг — это совершенно глупое занятие.

Шурик посмотрел на него.

— Я не дам тебе больше водить Индуса за поводок! — произнес он. — Почему ты Ирку обижаешь?

И они ушли, держась за руки.

Генка вытащил окурочек изо рта и дружески предложил Мишке:

— Хочешь сорок, салага?

Близняшки кинулись домой, закричав одновременно:

— Ма-ама! Ма-ма-а! Мишка курит!

— Да ну тебя! — сказал Мишка неловко.

И Генка, показывая свою щедрость и свое богатство, кинул окурочек на землю и затоптал носком башмака — с тем же шиком бывалого человека.

С крыльца стал спускаться Игорь, осторожно одолевая ступеньки, которые казались ему серьезным препятствием на пути к ослепительному прогрессу человечества, каким выглядел Генка, курящий всамделишную папиросу. Но, увидев Игоря, Генка погрозил ему кулаком и сказал грубо:

— Замри! А то пачки дам! Кто бурундука съел?

— Васька! Он — нехороший! — сказал Игорь.

— Ваську я убью! А ты будешь пачки у меня получать! — сказал Генка.

Мишка, накупившись, выставил одно плечо и потверже стал на свои толстые ноги. Если до сих пор во взгляде, которым он озирает сошедшего с небес бога, было только восхищение, то теперь Генка увидел совсем иное выражение, до значения которого ему не хотелось доискиваться.

— Не тронь! — сказал Мишка хмуро.

— Ни чик! — сплюнул Генка.

Воробьев вызвал к себе Ивана Николаевича.

Он не поднялся навстречу Дементьеву. По его представлениям, человек, стоящий на ступеньку выше по общественной лестнице, не должен был, в целях сохранения авторитета руководителя, делать это. Он удостоил Ивана Николаевича лишь кивком головы, когда тот вошел. И сунул ему сложенные горсткой пальцы, чтобы председатель городского исполкома мог эти пальцы вышестоящего товарища пожать — сильно или бережно! — в зависимости от накала служебного усердия и объема уважения к этому товарищу. Но крепкое пожатие было привилегией равных. А нижестоящие должны были понимать, что это пожатие может лишь выражать их уважение, но — отнюдь — не близость. Заплывшие жирком его небольшие глазки тотчас же вильнули от Дементьева к бумагам на столе, посмотрев на него ровно столько, сколько следовало заместителю председателя краевого! исполнительного! комитета! смотреть на председателя городского(?) исполнительного(?) комитета.

Дементьев кинул взор на пять сосисок, предложенных ему Воробьевым. «А ведь приехал к нам в край как двадцатипяти тысячник! — невольно подумал он в который раз, хотя и должен был уже привыкнуть к манере Воробьева и к тому, что Воробьева ему не переделать. — И откуда у него это барство, черт бы его взял!» Он не отказал себе в удовольствии чуть-чуть нарушить состояние величия Воробьева и его царственного спокойствия и безмятежности. Со всей силой своих жилистых, толстых рук он сжал воробьевские сосиски.

Воробьев охнул, дернулся, — боли он совершенно не переносил как последний ребенок в семье, общий любимец! — вырвал пальцы из железной кисти Дементьева, подул на них с гримасой, глядя на то, как побелели эти нежные, холеные конечности и как отпечаталась на них чужая рука, и сказал с обидой:

— Я тебе как человеку руку подаю! Что же ты делаешь...

— Извини! — сказал Иван Николаевич. — И я тебе как человеку! От всей души, понимаешь...

— Ты что, гантелями кисть развиваешь? — спросил, продолжая морщиться, Воробьев. — Я тоже, по совету врачей, думаю заняться...

— Это еще от развития обушком осталось! — сказал как бы смущенно, как бы извиняясь Иван Николаевич, но страшно довольный своей мальчишеской выходкой. — Я же шахтер в прошлом... Ну, зачем вызывал? Срочное что-нибудь?

— Есть одно указание, товарищ Дементьев! — сказал Воробьев, делая голос тише и почему-то оглядываясь на двери

своего большого кабинета и становясь чем-то похожим на плакат о бдительности. — Особо важно! — Он наклонил голову, нахмурил брови и почти закрыл глаза, подчеркивая значительность сказанного, как бы доверенного только им двоим. — Проверить готовность и сохранность, а при необходимости установить объем потребного ремонта и материалов для изготовления в возможно короткие сроки...

Он запутался в длинной фразе, которые так любил, когда шла речь о государственных делах, но которые так и не давались ему. Поискал-поискал, как бы закончить начатое, и вдруг с легким вздохом сказал:

— Понимаешь, газо- и бомбоубежища надо привести. Срочно!

— Привести? — повторил Иван Николаевич.

— В готовность! — закончил Воробьев. И загрустил: мера эта не предвещала ничего доброго и, во всяком случае, сулила в ближайшем будущем хлопоты и волнения.

— Значит? — сказал Иван Николаевич, понимая, возможное значение полученного Воробьевым распоряжения.

— Да! — сказал Воробьев и спохватился: — Ничего не знаю, товарищ Дементьев! Попрошу подготовить материалы, доложить. Если понадобится, создай комиссию. Список членов комиссии утвердим на исполкоме. Но, конечно, включай только доверенных лиц...

— Давай-ка, товарищ Воробьев, — сказал вдруг Иван Николаевич, — проедемся по объектам сами, вдвоем! Как говорят, свой глаз — алмаз, чужой — стекло! А потом можно и комиссию... Вызывай-ка свой «ЗИС-110!» Хочешь, я позвоню в гараж? Или ты сам...

— Да как же это так сразу...

Воробьев в полном недоумении уставился на Дементьева.

— Так срочно же надо!

И Воробьев подчинился. Тяжело дыша, он оделся, втайне довольный тем, что нашелся человек, который сразу взял быка за рога, и в каком-то приятном свете увидел, как он доложит на исполкоме: «При личном осмотре мне удалось установить следующее...»

Но следующее было разбросано по всему городу, по всем коммуникациям, на заводских территориях, под крупными зданиями, под площадями — везде, где могли оказаться люди, нуждающиеся в укрытиях, в случае чего... В случае чего? Э-э! Не заставляйте меня говорить. От сознания возможности этого «в случае чего» по телу Воробьева шла холодная волна — не то чтобы страха, он не был трусом! — но, пожалуй, предчувствия многих неприятностей. Он честно залезал во все убежища, которые раскрывали перед ним и Дементьевым начальник ПВО, которого Иван Николаевич прихватил с собой, вынув мгновенно с какого-то заседания, и начальники

объектов, которые представляли перед ними, как лист перед травой. Выпачкался в глине. Замочил ноги. Влез в известку. Взмок от непривычной ходьбы. Проголодался. Не запомнил ни одного начальника объектов. Поразились количеству точек. Накричал на кого-то, увидев в убежище лужи. Накричал на кого-то, увидев в укрытии чьи-то мешки с картошкой. Еще больше накричал на кого-то, увидев в одном объекте незначительные, но заметные следы пребывания культурных людей, которые в своем развитии уже поднялись до пользования газетной бумагой в случае некоторых нужд. Кое-где увидел покосившиеся балки, разбитые ступени, сорванные двери, кое-где подождал довольно долго, пока искали не то начальника объекта, не то ключ от убежища, ограничиваясь лишь тем, что поворачивался к Дементьеву и в упор смотрел на него своими светлыми глазками, которым было тесно на его полном, говоря уклончиво, лице, и укоризненно покачивал головой, для чего ему приходилось приводить в движение всю верхнюю половину туловища, так как шея у Воробьева уже давно не было — она исчезла у него почти тогда же, когда загрубевшая кожа на ладонях заменилась нежной, белой, чувствительной кожей... В убежищах было прохладно, и нежная кожа Воробьева покрылась пупырышками, и он немного продрог. Не везде горели лампы. Не везде была хорошая тяга. Но...

— Я думаю, что мы проделали значительную работу! — сказал он, в полном изнеможении садясь в кабинете начальника ПВО завода, изготавливавшего аккумуляторы для танковых моторов, прямо на какой-то ящик так стремительно, что ему даже не успели подсунуть стул. Ящик заскрипел под ним, но честно выстоял, доказав, что деревообделочный цех завода, производивший тару для упаковки аккумуляторов, работает качественно, как и подобает работать всем цехам оборонного предприятия.

— Я думаю, что мы проделали значительную работу! — повторил Воробьев, и в его голосе Дементьеву слышались жалобные нотки. Значит, сказанное следовало понимать так: «Иван Николаевич, может, хватит, а? Я больше не могу!» Но руководитель не мог сказать, что он не может, он может только обобщить и подвести итог, а также сделать выводы. Воробьев обобщил, подвел итог и сделал выводы.

— А ты говорил — комиссию создать! — сказал Иван Николаевич, видя измученное лицо Воробьева. — Имеешь теперь представление. Доложить — и только. Кое-где надо ремонтировать. Сам видел. Кое-где надо строить наново!..

Уже сидя в машине, Дементьев сказал:

— А средства, материалы, рабочая сила?

— Комитет резервов даст. Без ограничения. Рабсилу изыщите сами! — ответил чем-то озабоченный Воробьев, в глазах которого теперь мелькали, по ходу машины, не дома,

заводы, площади и улицы, а объекты ПВО, находящиеся в удовлетворительном состоянии. «Комар носу не подточит!» — подумал он про председателя городского исполнительного комитета и сам не понял — рад он за Дементьева или сердится на него. Когда они уже ехали по главной улице, он сказал Ивану Николаевичу: — Надо вам предусмотреть один объект. На улице Полководца. Номер шестьдесят три. Хоздвор горкома партии. Я думаю, надо будет сделать в три — пять накатов, с герметически закрывающимися дверями. Срок — неделя... Вот так!

— Шестьдесят три! Так. В пять накатов. Так... Неделя! — сказал начальник ПВО, записывая в книжечку. — Будет сделано!..

— Слушай! — сказал Воробьев. — У тебя нет хорошего резака на примете? Двух хряков заколоть...

— Есть один дядька! Я пришлю его к вам! — сказал начальник. — Так ведь рано еще колоть-то. К осени бы.

Воробьев крикнул, вылезая из машины возле исполкома:

— Это как смотреть... Не время? Самое время, знаешь...

Начальник ПВО и Дементьев подъехали к своему месту.

— Хоздвор? Шестьдесят три? — морща лоб, протянул начальник ПВО. — Что-то номер мне знакомый...

Только тут Иван Николаевич сообразил, что на хозяйственном дворе находится столовая горисполкома. А над столовой живет — один во всем этаже! — Воробьев. И захотел, к еще большему смущению озабоченного собеседника.

4

Судьба Лунина Геннадия находится в руках педагогического совета. Ох-х! Как Вихров не любил эти заседания, на которых многое не произносилось вслух, но имело решающее влияние на все заключения! Милованова — фамилия необыкновенно подходит к ней, она очень милая женщина! Но ее горячность и исключительность оценок, к сожалению, часто диктовались ее личными настроениями, ее личным отношением к ученикам, а не педагогической беспристрастностью. В данный момент она особенно не была склонна к дискуссиям, потому что была встревожена молчанием мужа, который наконец дал ей весточку, и, верно, из Берлина, а потом словно в воду канул, сообщив, что ждет новостей. Сурен? Он часто думал не об учениках, а о педагогических абстракциях и очень отдаленных перспективах сегодняшнего посева в душах учеников — Петровых, Сидоровых, Ивановых, — с душевным трепетом ожидавших перевода в следующий класс или...

А Генке как раз и предстояло это «или». Оценки его знаний учителями были на редкость единодушными.

— Чистописание! — сказал Николай Михайлович, подвопивший итоги рвению и старанию и успехам за год всех Генков, Мишек и Гришек, жаждавших движения в будущее.

— Вот! — сказал завуч Милованова, красноречивым жестом показывая одну из тетрадок Генки. При этом лицо ее выразило истинную душевную муку и страдание. Тетрадь Генки могла бы послужить ценнейшим источником для глубоких обобщений психологу, работающему над диссертацией на тему «Мышление школьника и противоречия этого процесса в столкновении с программой начальных классов средней школы», которая, несомненно, принесла бы автору этой работы заслуженную известность. — Вот! — повторила Милованова. — Ничего, кроме двоек!

— Два! — сказал с неприметным вздохом Николай Михайлович, делая знак секретарю педагогического совета. — Русский устный?

— Я спрашиваю Лунина Геннадия, — драматически обратилась Милованова к членам совета: — «Скажи мне, что такое предложение?» Он спокойно отвечает: «Это когда один человек что-нибудь предлагает другому!» Коротко и ясно! Как у Митрофанушки: эта дверь — прилагательная, потому что она приложена к стене, а та — пока существительная...

Сурен, в сознании того, какие обязательства накладывает на членов совета это заседание, поднимается во весь свой рост. Глаза его исполнены вдохновенного блеска и работы мысли, физиономия несколько скорбна и удручена. Но вся его поза выражает решимость подвижника, идущего на костер за свои убеждения.

— Я думаю, — говорит Сурен, кладя свою большую руку на свое большое сердце в своей большой груди, — я думаю, что, спустя многие годы, Лунин Геннадий поймет, что мы руководствовались соображениями о его же собственной пользе, когда сегодня приняли решение об оставлении его на второй год в третьем классе средней школы. Он поймет это и не будет судить своих учителей слишком строго. Я уверен даже, что он будет благодарен нам за спасительную строгость, проявленную в отношении Лунина Геннадия...

— Боюсь, что с Луниным Геннадием, до того, как он поймет нас и будет благодарить за спасительную строгость, могут произойти различные чрезвычайные происшествя! — осторожно говорит Вихров, намекая на события с Генкой в День Победы и прерывая горячую речь Сурена. — Мать у него женщина неуравновешенная и вспыльчивая! — Вихров обводит взглядом членов совета, ища поддержки, останавливаясь на Василии Яковлевиче: может, учитель арифметики поддержит его?

Но Василий Яковлевич смотрит на Милованову или не смотрит ни на кого. Против Миловановой он выступать не будет. И Вихров понимает это. Он умоляюще смотрит на Про-

шина. Тот принимает сигнал. Крякает, подмигивает Вихрову и встает:

— Товарищи члены совета! Я думаю, что имело бы смысл дать Лунину Геннадию работу на лето и вопрос о переводе его в четвертый класс решать в начале следующего учебного года...

— Это гнилой либерализм! — говорит Милованова непреклонно.

— Оставить на второй год! — диктует секретарю Николай Михайлович. — Мы не можем не считаться с мнением завуча...

Вопрос решен. Но Милованова не садится. Она смотрит в полуоткрытую дверь кабинета директора. Широко раскрывает свои акварельные глаза, в ее бледное лицо бросается краска. И растерянная, счастливая улыбка озаряет это только что бывшее строгим и непреклонным лицо.

— Гошка!! Откуда ты? — вырывается у нее радостный крик.

Все оборачиваются к двери. Там стоит немолодой майор в полевых погонах, в солдатских сапогах, в кителе, перехваченном портупеей, с тяжелым пистолетом на боку, с орденскими колодками. Его серые глаза сначала не видят никого, кроме Миловановой. Они сияют, эти глаза, и это сияние молодит его на десять лет. По этим глазам — он уже не майор, а младший лейтенант, столько живого, горячего чувства, любви и радости, обожания и ласки излучают эти глаза в педагогическое пространство совета, наполненное психологическими абстракциями и категорическими положениями.

— Любенька! — говорит майор.

Педагогическому совету становится неловко, словно он, как третьеклашка, заглянул в щелочку чужой квартиры... Миловановы, бросаясь друг к другу, что-то лепечут и друг другу и педагогическому совету, пытаются что-то рассказать и объяснить. Мужчины сочувственно вздыхают, учительницы вытирают слезы. У Сурена зреет какая-то очень важная мысль. Он моргает глазами, поводит ими в разные стороны. Многозначительно поднимает указательный палец и медленно открывает рот. Какие-то очень значительные слова требуют выхода из его взволнованной груди. Но тут Николай Михайлович говорит:

— Я думаю, что товарища Милованову, члена педагогического совета, можно освободить на сегодня от заседаний совета. Любовь Федоровна! Мы не задерживаем вас...

— Спасибо, товарищи! — говорит майор.

Милованова же лишь молча машет рукой.

Они бегом вылетают из школы. Любенька — муж не отпускает ее талию, обняв крепко-крепко, — наконец, целует его, чувствуя шероховатость его щек и губ, на которых про-

бивается уже борода и усы — вы знаете, они у него уже к вечеру вырастают опять! — и кричит:

— Гошка! Гошка! Милый! Как я счастлива! Приехал! Я готова от счастья кричать! Я готова обнять весь мир!

Но так как мир велик, а муж рядом, она с силой обнимает его обветренную шею, виснет на нем, отрывая ноги от земли, и как девочка, кладет ему голову на плечо... И мир перестает для них существовать, как он ни велик.

Эх, товарищ майор! Что бы стоило вам приехать на час раньше. Педагог Милованова была бы готова обнять весь мир на час раньше, а Лунин Геннадий получил бы работу на лето. Остаться на второй год — это, знаете, не сахар!..

— Бежим домой! — говорит Любенька, бывшая еще десять минут тому назад принципиальным педагогом товарищем Миловановой. — Бежим домой, Гошка! И я неделю не выпущу тебя из рук. Или даже больше!

— Ну, неделю не неделю, — говорит майор Гошка, чуть мрачней, — но до двадцати одного ноль-ноль я смогу быть дома!

— Что за шутки! — смеется Любенька.

— Я здесь со своей частью! Наш эшелон только что прибыл. Меня только по благу отпустили. До двадцати одного ноль-ноль я вольный казак! Как я соскучился по тебе!

5

Фуфырь, сохраняя на лице именно то выражение официальной печали и именно в той мере, в какой она печаль может быть ощутима, если речь идет о несчастье, случившемся с рядовым членом профсоюза, еще никак не отличившимся в школе коммунизма, стучит в дверь Луниной.

— Войдите! — говорит Фрося скучным голосом.

Она по-прежнему не причесана и не покрашена. Она выглядит не Фросей, знакомой Фуфырю, а ее старшей сестрой.

— Здравствуйте, товарищ Луне... Товарищ Лунина! — говорит Фуфырь так, словно гроб с телом павшего смертью храбрых солдата Лунина стоит возле. Фрося кивает головой и молча предлагает неожиданному гостю стул. Посещение председателя местного комитета не удивляет и не волнует ее, она смотрит на Фуфыря так, как глядела до его прихода в окно: на садик, набравший почки, на бегающего по двору Шурика с Индусом на поводке — сначала впереди бежит Шурик, тяня за собой собаку, потом овчарка, разыгравшись, рвется с поводка и тащит за собой Шурика, который падает и выпускает поводок из руки, на близняшек — они скачут через веревочку...

— Товарищ Лунева...

— Лунина мое фамилие! — говорит Фрося.

— Товарищ Лунина, — не сбиваясь с торжественно-печального тона, говорит Фуфырь. — По поручению местного комитета и членов коллектива я, как освобожденный председатель профкома, выражаю вам соболезнование по поводу. Как, значит, ваш муж павши смертью храбрых. Скорбим за героев! Так сказать... вечная им память... как говорится...

Фрося кивает головой, но у нее пробуждается глухое раздражение против Фуфыря. Пришел, а фамилию выговорить не может; хоть бы на этот случай не запинаясь!

Председатель сидит напыжившись. Похоже на то, что он считает до двадцати пяти, прежде чем подняться с места, для прилику, а не потому, что его тронуло горе товарища. На лице его тоже сложное — какое-то разработанное! — выражение. Видимо, это та маска, которую он надевает в таких случаях. А на самом-то деле что ему до Луниной и ее горя! Придет за свой стол в местком и птичку поставит на листке отрывного календаря: «Лун. — выразить сочувств.». Одно очевидное дело сделано. На следующем листке, верно, можно встретить пометку: «Н. — прояв. чутк.».

Фуфырь поднимается. Дежурным тоном он говорит:

— Не вернешь. Как говорится...

Он вытаскивает из кармана бумагу.

— Постановили: выдать пособие в сумме триста рублей! «На бесптичье и жопа соловей!» — говорит себе Фрося и чуть не произносит вслух эту фразу, но останавливает себя. Надо расписаться. Фрося расписывается. Фуфырь глядит на часы. Лицо его принимает выражение деловой озабоченности. Он говорит:

— Ну, пока... Мне надо еще в одно место, выразить сочувствие.

И с приятным сознанием хорошо и чутко выполненного долга добродетельный Фуфырь выходит из квартиры Луниной, не протянув хозяйке руки, так как, кажется, в таких случаях руку не пожимают, кажется, это не принято. Он грузно спускается с лестницы. Но внизу пролетает Индус, таща за собой поводок, вырвавшийся из руки Шурика. Фуфырь поспешно поднимается на несколько ступенек вверх и кричит:

— Мальчик! Прими собаку! Мальчик, не положено без намордника! Не положено! Что за безобразия!..

Индус дурашливо, поджимая одну губу и наклоня голову то в одну, то в другую сторону, словно присматриваясь к новоявленному самаритянину — что, мол, ты за человек? — брешет на него, остановившись у лестницы. Потом улепетывает от подкрадывающегося Шурика прямо на свое крыльцо, через весь двор, лакает длинным красным языком воду в корыте, что стоит на крыльце, и уже оттуда гавкает на Фуфыря по-настоящему, гулким басом. Самаритянин быстро захлопывает за собой калитку.

Что такое делается с иными людьми, едва доведется им хоть самыми маленькими начальниками стать! Хоть бы одно человеческое слово произнес, хоть бы человеческими глазами поглядел, а то по обе стороны носа точно оловянные пуговицы воткнули!

Фрося мнет в руках полученные триста рублей. И не чувствует ни радости, ни благодарности... одну злость!

Она морщится, видя, что по тротуару идет бабка Агата.

Ей хочется закрыть дверь, чтобы никто больше к ней не приходил, никто не бередил ее рану. Но бабка Агата, несмотря на свою подслеповатость, уже заметила ее в окне и маленькой, сухонькой ручкой легонько помахала Фросе. Черный подол длинной юбки бабки Агаты волочится за ней сначала по доскам тротуара, потом по ступенькам крыльца, подметая их, и кажется, что по ступенькам ползет большая черная тихая улитка.

Чистенькое маленькое личико бабки Агаты с бледными мелкими морщинками печально, бледные губы целомудренно сжаты, в бледных глазах какая-то неземная, ангельская кротость и ясность. Тихим голосом, ровным и таким же ясным, как ее старческие глаза, бабка Агата говорит:

— Ну, здравствуй, Фросенька! Христос с тобой, сиротинка моя!

И вдруг злость Фроси исчезает от доброты этого голоса, от материнского сочувствия этих все понимающих, умудренных житейским опытом глаз, от печали, которую несет с собой бабка Агата, — не своей, а ее, Фросиной, печали, которая бабке тяжела, как тяжела она Фросе...

— Доченька ты моя! — говорит бабка Агата и кладет ладонь на плечо Фросе. Рука не горяча — у бабки Агаты, видно, мало крови осталось в жилах! — она чуть тепла, но и это тепло бабка от чистого сердца отдает Фросе. — Посетил господь, доченька!

— Ох-х, посетил! — со стоном говорит Фрося и глотает слезы.

— А ты поплачь! Поплачь — и легче станет! — и глаза бабки тоже наполняются слезами. Видя это, Фрося плачет и склоняется на плечо бабки, как на плечо матери, которой она почти не помнит. И слезы эти текут по щекам, не вызывая жгучей боли, тяжкого комка в груди, — не осенний мелкий дождичек брызжет, брызжет сквозь туман...

— От земли взят еси, и в землю отыдеши! — шелестит голос бабки Агаты рядом. Она поглаживает Фросю по голове, как гладила бы дочку, если бы не была бабка Агата христовой невестой, беспорочной, невинной девицей, плоть которой не проснулась в юности и слабые желания земных утех которой навсегда погашены в толстых монастырских стенах. — Дал господь бог закон, его же не преидеши — зачинается человек во плоти, рождается для жизни, умножает

род человеческий и, свершив свое дело, свой урок, господом данным, уходит в мир иной. Для жизни вечной! Не в силах наших остановить десницу божью. Бог дал, бог и взял, доченька, твоего мужа-то...

Бог ли дал ей мужа? Ой, бабка Агата, за монастырскими стенами ты не знала, кто и как дает мужей! Бог ли взял мужа? Ой, бабка Агата, давно нет монастырей, а Лунина застрелил поганый фриц, едва голову, свою умную голову поднял по привычке солдат, чтобы осмóтреться. «Лежи!» — крикнул ему сержант. «Сам знаю!» — отозвался солдат, показывая, что и он не пальцем делан, что он, уж кто-кто, а он-то фрица за- всегда перехитрит. Его не уложил сержант. Уложил фриц...

— Бога забыли, вот и послал испытания великие. И мор, и глад, и печали, и воздыхания, и стон, и скрежет зубовой, и муку смертную! А бог — он все видит, все ведаёт... Мило-сердный... Взыскующий... Он накажет, он и радость пошлет. Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас! Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас! Молилась мало, доченька! К стопам господу не припадала...

Странные слова, до смысла которых надо добираться, как через темный лес, тихий голос, кроткий и проникновенный, — все это точно растворяло душу Фроси, вносило в ее смятение и неразбериху чувств успокоение, отодвигало куда-то в самую глубину и тоску, и гложущее чувство обиды, и сознание обездоленности своей. И откуда-то с той же бездонной глубины, в которую погружалась тоска Фроси, поднималось теперь спокойное сознание необходимости жить, пока и этой жизни не будет положен предел, и угасала острая боль, заменяясь тихой печалью.

— Вот вы, молодые, без бога-то думали прожить, а не вышло... Взыскал господь — и чуть не погибла вся держава: под Москвою немец стоял... Да вера спасла, вера, доченька! Как патриарх всея Руси святой Сергей воротился из изгнания-то, так в войне и перелом вышел. Теперь святые храмы опять на солнышке золотыми главками сияют, на веру-то гонения нет — и жизнь на улучшение пошла! Ох, с богом-то, доченька, жить куда легче, чем без бога... Он-то все понимает и все прощает — доверься только! Согрешишь и покаешься — и опять жизни радуйся...

Бабка Агата пристально посмотрела на Фросю, которая сидела, поправляя волосы рукой. Она вдруг встала, пошарила глазами вокруг и сказала:

— Ой, доченька, как у тебя нехорошо-то, прости господи! И не убрано, и не метено. Где у тебя голичок-то? Давай я полы тебе помою во славу господу! Зюечка в яслях еще? Кто относил-то, сама?.. Ах, Зина! Знаю, хоть и гулящая немного, а добрая... За Зюечкой я вечерком зайду, принесу, а потом уж ты сама, как в силу войдешь снова. Я ить люблю дети-

шек-то — лепечут, лепечут, в ладошки захлопают, ровно ангелы на небеси радуются...

Захлопотала и Фрося, почувствовав вдруг стыд за беспорядок в комнате, стыд за то, что сама как тучело огородное: нечесаная, неприбранная. Силы разом вернулись к ней. Но бабка Агата своего не уступала, тоже копошилась, тихая, черненькая, добрая улитка, носящая на себе свой дом. Фрося сбегала за водой, не ощущая уже мертвящей, тупой лени, которая охватывала ее не один день и делала ее равнодушной ко всему.

Скоро комната Фроси заблестела, засверкала.

— Ну вот и хорошо! — сказала бабка Агата, и в ее глазах отразилось голубое небо, что гляделось теперь весело в окна. — Вот и хорошо, доченька! — она улыбнулась, как ребенок, получивший новую игрушку. — А у нас, доченька, радость, радость! Отец Георгий вчера служил! Уж я плакала-плакала, уж я радовалась-радовалась: сподобилась перед смертью настоящую-то церковную службу послушать... Ризы на нем новые — златотканые на алом поле. С образом божьей матери Утоли моя печали! С шестикрылыми серафимами, с херувимскими ликами! А по спинке пущено древо познания Добра и Зла! Я было в монастырской-то келье одна чуть не ослепла от златошвейной работы. Владивостокскому архиерею ризы вышивали. Тоже довелось мне древо-то вышивать! И, грех какой, стала листочки вышивать, с голубками, с ангелами — и весь мир тьмой египетской покрылся, ничего не вижу, хоть плачь... Наказал господь за грехи!.. Отстригла меня мать игуменья. На полевые работы поставила, эпителию наложила... Ох, работала я в поле, роптала — очень хотелось ризы-то довести до конца. Я ведь рукодельница была! Матери и отцы, может, из-за моего таланта и в монастырь-то меня взяли...

Она сухими ручками сложила троеперстие и перекрестила Фросю:

— Ну, дай тебе бог, доченька! Живи!

Она вышла из комнаты. Глянула на двери соседей. Двинулась было туда. Фрося поспешно сказала: «Налево, бабушка Агата, налево! Тут соседи мои живут!» Но бабка Агата уже открыла дверь Вихровых и заглянула в комнаты. Вихровых дома не было. Дверь же Вихров считал неудобным запирать.

Длинные тюлевые занавеси на окнах в столовой спускались до полу. Солнце било в окна, но шторы смягчали этот яркий свет. На стене на длинных полках стояли книги, пестрым ковром разноцветных корешков украшая комнату. Обеденный стол был покрыт чистой скатертью. На письменном столе Вихрова в величайшем порядке лежали книги же и тетради и стопки чистой бумаги. Бабка Агата заглянула дальше, в спальню, видную через открытые двери. Там стояли рядышком две кровати родителей, застеленные одинако-

выми светлыми покрывалами, с подушками, накрытыми кружевными накидками...

— Живут — ровно в церкви! — сказала бабка Агата благоговейно и без стука и скрипа, как-то очень ловко и споро, закрыла двери.

Тут впервые Фрося ощутила нехорошее, завистливое чувство к соседям. Ведь не сказала же бабка, когда зашла к Фросе, что та живет как в церкви, а в устах бабки Агаты это, верно, была высшая похвала хозяйке. «Ну еще бы!» — молвила мысленно Фрося, а что «еще бы» — и сама себе не смогла бы объяснить. Бабка же Агата с тихим смешком добавила:

— Любопытна я, прости господи. Смертный грех!..

Она вышла на веранду, стала было спускаться по ступенькам, но остановилась, обернулась и спросила Фросю:

— А что, доченька, детки-то твои крещеные или нет?

— Нет, бабенька Агата! — ответила растерянно Фрося.

— Да как же это так?! — сердито сказала бабка. Она строго посмотрела на Фросю словно бы вдруг потемневшими глазами. — Мало тебя господь испытал, да? Смотри, как бы сильнее тебя не взыскал. Нет горше горя матери! Понимаешь? — И, видя, что Фрося достаточно напугана, добавила как нечто решенное: — Крестить будем, доченька! Будем! Я Зоечке в восприемницы пойду, да ты попросишь какую-нибудь добрую женщину, которая еще бога-то не забыла, поклонись... Ну, Христос с тобой...

6

На рассвете чья-то безжалостная рука превратила хряков Воробьева в свинину. Они простились с жизнью, оповестив всю округу пронзительным визгом, быстро перешедшим в предсмертный хрип...

Визг этот разбудил Вихровых.

— Как страшно! — сказала мама Галя, содрогаясь. — Был живой...

— Бывает и страшней! — философски заметил Вихров, поворачиваясь к жене. — Что хряк превратился в свинину, это естественно, его для этого кормили. А вот когда человек превращается в свинью, это, друг мой, гораздо хуже...

— Ты про себя? — спросила, потягиваясь и поеживаясь, мама Галя, которая никогда не отказывала себе в удовольствии поддеть мужа. Вставать ей не хотелось, но и спать тоже.

— Ах ты вредная! — хмурясь, сказал Вихров. — Я тебя побую!

— Только попробуй! — ответила мама Галя, натягивая на голову одеяло.

Но Вихров стащил одеяло с ее ног и отшлепал быстро по тому месту, по которому следовало отшлепать ее за дерзость. Но, отшлепав, он тотчас же ощутил жестокие угрызения совести и стал целовать там, где отпечатались следы его тяжелых пальцев. Мама Галя непритворно охнула и нарочно всхлипнула, потому что и шлепки и поцелуи мужа были ей только приятны.

— Я не надоела тебе еще? — спросила она, прищуриваясь так, как умела прищуриваться только одна женщина в мире, — лукаво и вызывающе.

— О-о-о! — сказал Вихров, розовея и слегка задыхаясь, что случалось с ним всегда, если он видел жену вот так, раскрытую, незащищенную. Правда, такая же легкая одышка случалась с ним и тогда, когда мама Галя была одета. — Вот, послушай! Экспромт...

Жена, любовница, невеста?
Сестра, подруга, дочь иль мать?
Я и не знаю — как тебя назвать,
Когда в лице твоём слились все вместе!

— Плагиат! — сказала мама Галя, не замечая его рук. — Хайям!

— А вот и не Хайям! Ничего-то ты в этом деле не понимаешь! — обиженно ответил Вихров, обнимая ее и ища ее губы, которые она все отводила и отводила от его губ. — Сложено мною в тот час, когда я жажду тебя!

— Честное слово? — спросила мама Галя.

— Честное! Ты слишком мало меня ценишь!

— Притворщик! — сказала мама Галя. — Пойди-ка закрой дверь, а то... Эти хряки весь дом на ноги подняли...

Но хряки не подняли на ноги весь дом, хотя их прощание с миром реального и прозвучало фортиссимо.

Однако через час с небольшим в кухонную дверь раздался какой-то знакомый стук.

— Ой, надо открыть! — сказала мама Галя. Вскочила, высвобождаясь из объятий мужа, изо всей силы шлепнула его по голому телу, так и отпечатав свою крупную ладонь — рука у нее была не легче руки папы Димы. Он взвился от боли. А она торжествующе закричала: — Ага! Получил! Ты думал, что меня можно безнаказанно истязать под прикрытием любовной лирики, да? Вставай! Разбуди Лягушонка! Скипяти чай! Кто там? — спросила она у дверей в кухню, поспешно запахивая халатик, надетый на голое тело, не столько скрывавший ее наготу, сколько выдававший маму Галю чужим глазам.

На пороге показался Максим Петрович.

— Здравствуйте вам! — сказал он своим сырым голосом.

— Ой, Максим Петрович! Вы передумали, да? — с радостью воскликнула Вихрова и даже захлопала в ладоши. —

А сын все спрашивает: где то сладкое молочко от божьей коровки, которое Максим приносил?

— А где мой выкормыш? — спросил Максим Петрович, мохнатыми, лешачьими глазами озираясь вокруг. — А то я ему гостинчик принес!

В руках Максима Петровича был довольно тяжелый сверток. Он положил его на пол и стал разворачивать. Оттуда показалась свеженина — розовая, сальная, мясистая.

— За резку получил! — объяснил Максим Петрович. — Так не на базар же тащить! Вот к старым давальцам и пошел. Первый сорт! Жир срезать, стопить — на всякую дель сгодится. А мяско поджарить — прямо валяй да валяй выйдет! Скусно! Сколь возьмешь? Бери три килы! — Видя, что Вихрова замаялась, он добавил: — Денег сегодня не возьму. Отдашь, когда будут. Ну! — Он пошевелил куски свинины когрявым пальцем, любуясь толстым срезом, и пошутил: — Я думаю, ежели хозяина этих хряков освежевать, не хуже будет!

Он долго хохотал, довольный своей шуткой, вытирая слезящиеся глаза лапой, на которой виднелись следы крови.

— А где сынка-то? — спросил он опять.

— Спит еще!

— А ну, покажи! — сказал Максим Петрович и вслед за Вихровой пошел в детскую, сгорбясь и выгибая широкую, сильную спину.

В детскую он не вошел, остановился у двери, заглянул. Лягушонок спал, вцепившись рукой в спинку кровати и свесив вторую вниз.

— Спать! — сказал Максим Петрович с каким-то удовлетворением. — Руку-то подыми, а то затекеть!

Когда они вернулись, Максим Петрович взял свой сверток под мышку. Постоял, подумал. Кивнул головой, прощаясь. Потом, уже в дверях, остановился, обернулся к Вихровой:

— Ты мне бабу, какую ни на есть не присоветуешь ли?

— Да вы женаты же! — сказала Вихрова.

— Это да, что женат! — мотнул сокрушенно головой Максим Петрович. — Только, понимаешь, женка-то моя рожать уже неспособная... Понимаешь ты, кто бы родил, а мы бы воспитали... Охота мне, понимаешь ты, вот такого-то заиметь! — он показал на три четверти от пола, какого ему охота заиметь.

Пораженная, Вихрова ничего не смогла сказать. Он махнул рукой и вышел, кивнув: «Покеда...»

Ка-акой королевский обед будет сегодня у Балу, Багиры и Маугли! Ка-акой королевский обед!! Ай да Максим Петрович!

Мама Галя, уже не думая ни о ком, включила радио — пусть звучит торжественная музыка, когда пиршественный стол ломится от яств. Услышав звуки вальса, она подхва-

тила мужа и закружила его. Вихров попытался танцевать, но запутался в собственных ногах, которых оказалось у него так много, что он никак не мог сочетать их движения. Он сел на диван и тотчас же свалился, так как увлекающаяся его голова продолжала кружиться и тогда, когда ноги уже остановились. Вдруг он прислушался, и лицо его выразило озабоченность и смущение.

— Ты знаешь, как называется этот вальс, который ты танцуешь? — спросил он жену, смеявшуюся над ним.

— «На сопках Маньчжурии!» Моя мама очень любила этот вальс. И я люблю его. Только давным-давно не слышала его!..

— А знаешь, какими словами кончается этот вальс?

— Ты глупый! В вальсе, по-моему, важна музыка, а не слова...

— И слова! — сказал папа Дима печально. — Особенно такие! — и он пропел совсем уже невесело:

Но мы за героев еще отомстим
И справим кровавую тризну!..

— Фу! — сказала мама Галя, останавливаясь. — Мало тебе крови!

— А написан он в память о героях Порт-Артура... А не исполнялся он у нас с тех пор, как был заключен пакт о ненападении с Японией... А пакт не был продлен, когда истек в апреле этого года срок его действия... А муж нашего завуча, Миловановой, вернулся с Запада, увы, не один, а со своей воинской частью... И...

Вихрова посмотрела на мужа с досадой:

— А жаль, мой дорогой, что у тебя такая хорошая память... А жаль, что ты так много знаешь... А жаль, что тебя за язык тянут! — Веселое оживление ее упало. Она взяла мясо, принесенное Максимом Петровичем, и сказала задумчиво: — Надеюсь, что обед-то я еще успею приготовить, папа Дима!.. А в общем-то, сколько можно терпеть такое положение, как у нас? Ждем-ждем, готовимся-готовимся: вот весной начнет, вот — осенью, вот — весной, вот — осенью... Ты знаешь, жена Прошина как-то подсчитала в своей клинике, сколько раненых с границ поступает к ним ежегодно, — ужас!

Папа Дима мужественно сказал:

— Да, конечно, с этим нарывом на Востоке пора кончать!

Но тотчас же в его мозгу возникли страшные картины. Вот черные самолеты бросают огромные бомбы, которые лениво, не торопясь, переваливаясь с боку на бок, — все равно цель от них никуда не уйдет! — летят на бедную землю. На минуту представил он себе дымные веселые султаны пожаров над своим городом, разрывы зенитных снарядов в поднебесье. И свой дом, полыхающий огнем, и маму Галю — с Иго-

рем на руках! — лишённую приюта и крова, и пепелища вместо домов, которые так украшают город сейчас! «Да минет меня чаша сия!» — готов был он, подобно Христу в Гефсиманском саду, воззвать от всего встревоженного сердца. Но он знал, что даже самые горячие моления никогда ни от кого не отвращали никакой опасности. И Христос, если верить церковникам, испил эту чашу до конца. Конечно, не видать японцам этого города как своих ушей — недаром уже три года стоит на границах, зарывшись в землю, огромная армия. Об этом никто не говорит. Но об этом все знают. И конечно, для вражеской артиллерии город недосыгаем, если самураи не обзавелись летающими самолетами-снарядами. Впрочем, даже Гитлер смог применить это дьявольское оружие и не сразу и не с верным результатом. Но авиация!.. По странному ходу мыслей папа Дима невольно пожалел, что его сберегательная книжка не бесценный клад удельного князя, и подумал, что — если что-нибудь случится! — Галине придется одной биться как рыбе об лед...

Одной! Как Фросе с ее двумя детьми!

И он только в этот момент представил себе, как туго приходится соседке.

— Знаешь! — сказал он маме Гале. — Генку оставили на второй год... Я просто боюсь за него и за Фросю...

— Конечно, больше тебе не за кого бояться! — сказала Вихрова.

Ах, мама Галя, мама Галя! Не страх, а какое-то другое чувство сжимает сейчас сердце Вихрова — горячая надежда на то, что они вдвоем с мамой Галей перенесут грядущее достойно, не унизив себя в глазах людей, что бы ни случилось с ними, что бы ни пришлось им пережить. Он знает, что никогда у него не будет заячьего сердца, как бы близко ни подступила опасность к его дому. Он знает также, что и мама Галя не будет, если случится несчастье, метаться вокруг своего выводка, вокруг своего гнезда, как испуганная наседка, а станет делать только то, что именно сейчас надо делать, не для нее, а для всех! Он знает также, что если суровые обстоятельства потребуют от папы Димы выполнения своего долга, она ни одним словом не попрекнет кого-то за это, а проводит ясным взглядом своих серых, которые часто кажутся карими, смелых глаз... Но — неужели на Вихрове и на самой маме Гале не лежит ответственность за тех, кто живет рядом? Неужели судьба Генки безразлична им? Только ли соседи они Фросе?..

Марченко кладет на книжку пять тысяч рублей.

Фрося кивает ему головой, как старому знакомому. Ей после посещения бабки Агаты полегчало, словно тугая и злая боль, которая ударила Фросю, может быть, тем больнее, что удар пришелся в самый неподходящий момент, когда сердце ее было как-то размягчено и радостью и надеждой, эта боль была снята руками бабки Агаты. Она и причесана и приодета. Только губы почти не накрашены, а так, лишь тронуты слегка — какая-то дань трауру, о котором бабка Агата сказала загадочно «сорокоуст». Она спрашивает:

— Выиграли? Значит, у меня рука легкая...

— Легкая! — без улыбки говорит капитан и тихо добавляет: — За легкую руку вам! Потом откроете, не сейчас! — и сует ей в руки конверт, в котором что-то похрустывает.

Фрося вспыхивает как маков цвет. Ей хочется вернуть капитану конверт тотчас же, но он отошел к окошечку Зины и вполголоса разговаривает с ней. Высовываться из окошечка? Звать его? Фрося понимает, что это значит привлечь внимание не только к капитану, но и к себе. Она вопросительно глядит на Зину и в окошечко, через которое Зина направляет ей подписанные и заполненные ею документы, сует конверт. Но Зина не замечает этого. Больше того — она, кладя чью-то книжку, вместе с нею вталкивает конверт обратно, не обращая внимания на Фросю и ее молчаливые призывы о помощи.

Зина кивает головой Марченко. Они о чем-то договорились. И, не стесняясь Фроси, которая давно уже является наперсницей своей подруги, Зина говорит капитану:

— Подождете меня на улице, как всегда!

Капитан козыряет и выходит на улицу. Он грузнеет с каждым прожитым днем. Давно ли видела его Фрося, а и за эти недели Марченко раздался в плечах. Фрося замечает, что и шинель уже не сидит на Марченко мешком, как в тот раз, что он приходил к Фросе в подвал. Да это и не та — солдатская! — шинель. Это не солдатское сукно. Это серый драп, пожалуй и не положенный Марченко по званию. У этой шинельки и плечи подбиты, и грудь обрисована, и хлястик в Фросину маленькую четверть. И спинка запошита, — такой шинелью не укрываются на сон грядущий, ее вешают на ночь на плечики. Мягкая серая складка ложится свободно и легко, а не ломается, как у шинели солдата. «А он мужик ничего! — невольно замечает Фрося и думает о подруге: — Держала бы покрепче! С этим не пропадешь! Принца, что ли, ждешь?» Эта спина — забор каменный, стенка сундука, надежное укрытие каждой женщине, какой довелось бы пригреть капитана! И затылок Марченко стал каменным, будто из розового биробиджанского мрамора. И стрижка у него щегольская, с ручной тушевкой, — парикмахер, видно, ценит этого

клиента, если работает над его затылком ножницами и расчесочкой, а не снимает все сразу, одним небрежным проходом машинки...

Фрося опять кладет конверт на дощечку, соединяющую обе кабины — кассира и контролера, и вбрасывает его в бокс Зины, боясь, чтобы эта игра не была замечена кем-нибудь из сотрудников. Зина мельком взглядывает на Фросю, берет вдруг конверт и пишет на нем: «Не валяй дурака! И не маши рубашкой, я теперь не твоя, не зови милашкой!» Что последняя фраза прибавлена только для того, чтобы не был понятен смысл первой фразы, Фрося улавливает тотчас же, едва прочитывает надпись на конверте. Зина показывает Фросе глазами на сумку — спрячь, мол! Фросе и хочется и колется, но она осознает как-то нечаянно, что в конверте, очевидно, деньги, то есть благодарность капитана. Что с ними делать — это потом можно решить, а торчать конверту здесь, в кассе, на виду, негоже. И Фрося прячет конверт в сумку, ожидая, что сейчас раздастся с неба удар грома, молния упадет на ее голову и она пропадет без наказания — тут же, не выходя из своего бокса. Но конверт исчезает в сумке, а гром не грохочет и молния занята в каком-то другом месте более важными делами...

«Будет Зину ждать! — мелькает у Фроси мысль. — Как выйду, так и отдам! Там я с ним поговорю!» — храбрится она, а откуда-то из-за спины, из самого подсознания, в ее голову проползает крохотная, но ядовитая мыслишка: «Интересно! А сколько там?» И в дополнение к этой еще одна: «Уважение все-таки!»

...Но Марченко решительно отклоняет ее попытку. Он отводит от себя конверт раскрытой ладонью. В его холодных глазах недовольство и еще что-то.

— Обижаете! — говорит он. — Я по человечеству, отблагодарил...

Зина молча наблюдает эту сцену, внутренне потешаясь над обоими. Она не верит ни в благодарность Марченко, ни в честность Фроси. Кроме того, она знает Марченко не первый год, а это дает ей право делать какие-то выводы и обобщения во всем, что касается его поведения и каких-то его планов и намерений. «Приручает!» — говорит она себе и вслух молвит, обращаясь к Фросе:

— Ты же хотела себе тюль на окна купить. Такой, как у Вихровых.

Хотела, конечно, даже попыталась кое-что отложить для этой цели от своих злыдней, но все ушло в ту прорву, куда уходят и все ее деньги.

— Читайте, что вы нашли это на дороге! — говорит и Марченко, избегая называть своим именем то, что вложил внутрь конверта. — И не будем обижать друг друга!

«Тебя обидишь!» — думает Зина. Вслух она всегда называет капитана на «вы», но, думая о нем, почему-то не церемонится.

Фрося, чувствуя, что попадает в какую-то зависимость от Марченко, смущенно говорит ему: «Спасибо!», прячет конверт вторично в свою сумочку. На этот раз по своей доброй воле. Находка смиренно укладывается рядом с помадой, носовым платочком и прочей мелочью и возбуждает в глубине души Фроси неясное пожелание, чтобы и остальные клиенты были бы столь же благодарными, как капитан. Сто рублей! Фрося уже увидела их, когда конверт, точно соскучившаяся собака, тыкался носом в руки капитана, своего бывшего владельца, и открылся совсем немного, но достаточно для того, чтобы кассир мог определить ценность купюры. Что бы ни говорила Зина о Марченко, скупым его нельзя назвать...

Капитан с Зиной идут к реке.

Цветут тополя. Их плотные коробочки раскрываются, и белый, похожий на хлопок, летучий пух отделяется от тополей и парит в воздухе. Кто-то, добрый дядя Зеленстрой, посадил на главной улице эти деревья, — спасибо ему за доброе дело! Он высаживал и высаживал тополя. Мальчишки, несмотря на самые строгие надписи, сочиненные в поте лица своего в уютных кабинетах начальников, ответственных за благоустройство города, отламывали от тополей ветки на свистки. Влюбленные вырезали на их коре инициалы своих возлюбленных: «Нина + Гриша = любовь!» Различные организации, ответственные за санитарию в городе, после весенних посадок деревьев расковыривали улицы и загоняли под землю трубы различного сечения и назначения, губя при этом и деревья и работу Зеленстроя. Другие же, ответственные за коммуникации связи, расковыривали землю после осенних посадок и укладывали в узкие длинные траншеи различного сечения и назначения электрические кабели, нимало не заботясь о том, что вывернутые ими с корнями деревья могли погибнуть и погибали. Добрый дядя Зеленстрой приходил опять, горько вздыхал, писал докладные тем, кому следовало писать докладные, требовал примерно наказать тех, кого следовало наказывать за уничтожение посадок, и высаживал опять. И так было из года в год. Если бы привились все деревья, которые добрый дядя высаживал и высаживал, то протянулась бы тенистая аллея от города, в котором мы с вами находимся, аж до самой Луны! Но — все в мире образуется! — постепенно под землю были загнаны все трубы, которые надо было загнать, и все кабели, которые хотели лечь туда же. Образовался какой-то благодетельный для деревьев перерыв в их истреблении, они укоренились, вошли в силу, поднялись ввысь со всей жаждой жизни, которая гнала вверх их стволы, прибавляя каждый год по полтора метра роста, и вдруг оказалось, что не так-то просто их отодвинуть или сва-

лить, когда трубы и кабели — на этот раз новые, усовершенствованные! — полезли под землю снова, сменяя своих уставших от службы прогрессу старших сестер. Теперь уже ни одна из ответственных организаций не смела срубить ни одного дерева — это вызвало бы большой шум и неприятности, а начальники организаций любили неприятности меньше, чем домашние пельмени... И высокие тополя шумели на ветру, защищая пешеходов от палящих лучей солнца летом и сдерживая бешеные порывы ветра с Амура зимой...

Пушистые семечки тополя летели по улицам, застилая, будто снежной дымкой, очертания домов. На мостовых колыхались толстые, пушистые слёжки этих семечек, и когда ветер шел понизу, они бежали по мостовой, как нежданная поземка. Иногда озорной ветер трепал не на шутку высокие кроны тополей, и с них целым облаком сыпались, летели, кружились в воздухе семена, застилая взор. Кто-то из этой тучи семян прижимался к родной земле, возле корней родителей, и оставался тут, чтобы прижиться, — и уже подлесок появился на этих аллеях, уже без помощи доброго дяди! И летели семена через дома и переезды, через улицы и дороги — и вокруг города, сами собой, вырастали тополевыи рощицы.

Капитан и Зина переходят на другую сторону улицы, к зданию управления железной дороги. Палевое, с широкими окнами, с дворцовым маршем, строгих очертаний здание обсажено липками. Здесь меньше метель тополиных семян, и они не лезут в глаза и в нос, как напротив. Здание выросло не так давно, на месте старой пожарной каланчи, перед самой войной. Когда Зине приходилось идти здесь с Мишкой, он говорил ей: «Гляди, Белка! Вот тут мы устроили аэроклуб. Не было в городе ничего подходящего, ну ни одного метра не могли найти, понимаешь! И вдруг — счастье! Нам отдали каланчу! Мы тут парашюты укладывали. И классы, и кабинеты, и материальный склад — все вместе! Прыгать ездили на военный аэродром, а нас там гоняли, как бездельников. Бывало, съездим пять раз, а нам одну машину на один круг дадут — и все! Хочешь — иди на облет, а без облета прыгать не разрешают, хочешь — иди на тренировочный прыжок! Я и прыгнул первый раз только потому, что обманул своего инструктора — сказал, что уже летал прежде во Владивосток на самолете. А у того не было времени сообразить, что никаких самолетов во Владивосток и нету!»

— Зачем вы дали деньги Фросе? — спросила Зина капитана, который очень бережно и незаметно придерживал ее за руку.

— А тебе жалко? — спрашивает шутя Марченко, но, видя, что Зина не принимает шутку, добавляет: — Я не обеднею...

— Это, конечно, так! — говорит Зина.

«Дурной, ты разбиться мог! Ведь ты же не знал, как себя в воздухе держать, как парашют себя поведет!» Мишка смеется: «У меня вместо ног, рук и головы была только инструкция, и я действовал образцово! Летчик, военный, потом говорил моему инструктору: «У вас ребята на ять! Подготовленные. Дисциплинированные. Смелые!» Он хохочет еще сильнее, ему доставляет истинное наслаждение рассказ об этом. «Приземлился я точно по инструкции. Ноги согнуты в коленях, пятки и носки вместе. Упал. Вскочил. Парашют погасил. Стропы собрал. Парашют в сумку уложил. А тут бежит ко мне мой инструктор. Я — к нему: «Товарищ инструктор! Прыжок выполнен нормально. Курсант такой-то!» А он мне и говорит: «Мать твою бог любил! Не курсант ты, а чистый гад! Ну-ка, скажи мне, какие самолеты по четвергам во Владивосток летают?» Сообразил, значит, пока я в поднебесье кувырчался!» Зина с запоздалым страхом хватается за руку и повисает на ней всей своей тяжестью: «Ох, не встретила бы я его никогда...»

Зина и капитан идут через площадь в парк.

Слева они оставляют за собой здание Амурского пароходства. Архитектор пожелал придать ему внешность корабля — по фронтому идут круглые, как иллюминаторы, окошечки, на крыше что-то вроде капитанского мостика. Но замысел остался замыслом — на пароход дом не походит, но и на дом тоже. Справа высится теремное здание бывшего управления дороги. Теперь в нем Фундаментальная, или Научная, библиотека. Красный кирпич с белой сеточкой известкового раствора, который только и украшает здание с тяжелыми кирпичными же наличниками и полукруглыми пилястрами, с трехметровой кладкой стен. Когда-то это здание очень гармонировало с кафедральным собором, что стоял напротив. А теперь оно выглядит пережитком, штрихом истории, которая начисто выброшена из края и сдана на переплавку вместе с монументом Муравьева-Амурского, который сняли с берега Амура.

Зина и капитан идут по дорожкам парка.

Даже через подошву слышен жар накаленной солнцем земли.

...На террасе, что высится над утесом, прохладно. Вольный ветер бежит от сопочки Июнь-Карань, которую видно в хороший, ясный день и отсюда, за двадцать пять километров. Под ногами — Амур, тяжелый и стремительный, серебрится на солнце и спешит, струится в далекое море. Серый камень утеса дыбится над Амуром и упрямо отодвигает его воды, создавая мощный перепад воды, заметный простым глазом. Вода здесь, ярясь на невольное препятствие, так и бурлит, так и бьется в камень, так и бурлит, выбрасываясь вверх от каменных уступов на дне, так и бросается в разные стороны, то застывает недвижимой, опасной скважиной между двумя во-

ронками... Очертания этих воронок то и дело меняются, сдвигаются; они то исчезают, то вновь рождаются, вызванные к жизни борьбой подводных течений с камнем, кладущим преграду этим течениям. Можно часами наблюдать за этой опасной игрой воды.

На утесе сидят рыбаки.

В их руках длинные жерди. На жердях, будто детские сачки для ловли бабочек, сложенные фунтиком, сетки, сквозь которые продеты огромные проволочные обручи. Сетка летит в воду крутоверти. Медленно погружается. Жердь клонится все ниже. И тоже идет под воду. Натужась всем телом, опирая жердь о камень, рыбак тащит вверх свою снасть. Вода льется с сетки. В сетке водоросли, щепки. И рыба, которая бьется и сверкает на солнце своим скользким синеватым телом, своей радужной чешуйкой. Это так красиво, что никому не жалко рыбку...

...На этом утесе решила однажды судьба Зины.

Мишка уже долго ухаживал за ней. Делал все, что положено в подобных случаях, — угощал мороженым, водил на танцы, в комнату смеха (причем сам становился в центр зеркала, которое превращало его в неимоверного уроды, но Зину все отодвигал и отодвигал в сторону, чтобы она не обиделась ни на него, ни на зеркало!), танцевал с ней на площадке, что нависала над самым берегом реки, гулял по тенистым аллеям, водил ее в купальню — и хмурился, когда видел, что парни-динамовцы пожирают Зину глазами, катал ее на лодке, готовый грести до полного изнеможения и беспамятства. А Зина, хотя и ее тянуло к Мишке, почему-то — ведь бывает так! — все сторонилась его и дичилась и принимала его ухаживания, а не давала ни обнять, ни поцеловать, хотя и знала уже притягательную силу этих действий. И вот как-то они сидели на утесе и были заморожены зрелищем, и казалось, наконец сердце Зины готово было смягчиться. Мишка очень тихо сказал ей: «Зиночка! Я тебя люблю. Поженемся, Зиночка!» — «Вот еще выдумал!» — ответила Зина и даже отстранилась от Мишки: не вздумал бы целоваться! А Мишка встал во весь рост, погрозил ей пальцем, нахмурился. И вдруг Зина услышала: «Ну, тогда мне не жить, Зинка!» И увидела, как Мишка рыбкой кинулся прямо в самый водоворот и скрылся из виду. Перепуганная до полусмерти, Зина закричала: «Поженемся, Мишка, поженемся! Что ты делаешь?!» И сама чуть было не кинулась вслед, расширившимися глазами глядя в водоворот. «Спугалась?» — сказал ей какой-то рыбак, дремавший над своей удочкой и проснувшийся от крика Мишки и Зины... А Мишка вынырнул в пятидесяти метрах ниже и уже вылез на берег, когда Зина все искала его тело в водовороте, там, куда прыгнул он с утеса. Он тихонько шел по берегу, отфыркиваясь и стяхивая со своего сильного, стройного тела воду, запачканную нефтью... Зина не увидела его. Рыбак сказал

ей: «С нашим братом лаской надо, а не ухватом, дева! Ухватом горшок ухватишь, а не мужа!» И смеялся, а Зина не понимала — почему: ни голова, ни руки Мишки не показывались из водоворота. Зина готова была уже звать на помощь, кричать что есть силы, ею начало овладевать отчаяние. Тут вдруг кто-то рядом, за спиной, спросил спокойно: «Что-нибудь потеряли, гражданочка? Поискать?» Она как ужаленная обернулась. Мишка стоял, улыбаясь и несколько встревоженный: не слишком ли сильно он пошутил? Не сознавая, что она делает, Зина размахнулась и хотела ударить его прямо по улыбающемуся рту. А он вдруг придвинулся вплотную, оказавшись телом к телу, лицом к лицу Зины, и крепко обнял ее, и поцеловал в губы. Рука Зины пришлось куда-то по шее Мишке, отчего он только сильнее прижался к ней. А потом она вся обмякла и вдруг поняла — нет на свете ничего дороже, чем Мишка! Ни-ко-го! А он сказал, немножко хвастаясь и своим телом, и своим умением, и своей любовью к Зине: «Меня потопить — надо к рукам и к ногам гири пудовые привязать, да и то, пожалуй, выплыву!» А рыбак, держа в руке пустую удочку, все улыбался и все слушал, что говорит этот шалопут своей крале, и не замечал, что рыба давно уже съела всю наживку и плавала вокруг пустого крючка и рыбы-родители говорили своим деткам: «Вот эта штука, которая вытаскивает нас в иной мир, на небо, в рай! И когда перед самым носом шевелится червячок, — а это вещь, стоящая внимания, — посмотрите сначала: не торчит ли из червяка вот такая штука с закорючкой и не тянется ли на небо вот такая смешная веревочка? В рай, конечно, хорошо. Но дома лучше!»

Золотом выстлан был другой, пологий берег. Уже копченной рыбкой лежали там первые загорающие, из тех, что будут потом щеголять негритянским отливом загара на сгибах и на складках их ладного тела. И даль покрылась жарковатой дымкой. И голубым переливались леса и перелески за мостом и у Красной Речки. И словно ближе подошел к городу великан Хехцир, давая рассмотреть прохладные пади своих тугих боков. И где-то вдали, совсем невидимый, катил по невидимым рельсам поезд, и только его дымок, упрямый и задорный, передвигался по горизонту...

Зина задумалась, облокотясь на каменный парапет.

Марченко с нежностью, необычной для его лица, смотрел на Зину, и папироса, которую он закурил, погасла в его пальцах. Потом он достал из кителя какую-то бумагу и подал Зине.

— Что это? — спросила Зина, не в силах отвести взгляд от вида заречья и не сразу отрываясь от своих мыслей.

— Да понимаешь... Мы на них получили похоронные сообщения. А наследников как будто нету... Погляди, — может,

тут и ваши вкладчики значатся. В документах, поступивших к нам, есть и сохранные свидетельства на облигации госзаймов...

— Ну и?..

Марченко ответил не сразу. Он вынул новую папиросу. Закурил, защищая огонек спички от ветра с реки. Потом уклончиво сказал:

— Государство внакладе никогда не останется.

— Ой, Марченко! — Зина прищурила свои карие глаза.

— Что Марченко? — Капитан сосредоточенно выпустил дым, задрал голову, вверх, столбиком, потом поглядел в сторону моста. — Московский идет. Торопится... А тебе шуба на зиму не нужна? Продается в одном месте... Осенью на юг съездим. В Сочи. Или в Ялту...

— Готовь сарафан зимой, а шубу летом! — переиначила Зина народную поговорку и усмехнулась. Невольно ей пришлось в голову: «Любит! Любит... Один любит — шутит, смеется, озорничает, песни поет, стихи читает, готов весь мир обнять, ходит пьяный от счастья. Другой любит — о шубе думает, на милую глядит, а в голове только одно: «Разукрашу тебя, как картинку!» Будто в тряпках счастье!»

— Что ты улыбаешься? — спрашивает Марченко.

— Так просто! — отвечает Зина и с той же бледной улыбкой кладет бумагу, полученную от Марченко, в сумку.

8

В субботу отец Георгий сидит в притворе алтаря, исповедует...

Бабка Агата, стоя на коленях под епитрахилью, долго, плача и сморкаясь, говорит о своих грехах: сомневалась в божьем благоволении, злое мыслила о ближних, греху любопытства предавалась, гневалась на божьи создания, роптала на болезни свои, тревоугодничала...

Отец Георгий троеперстием, перепоясанным златотканым поясом, крестит бабку. Ее совсем не видно под епитрахилью, только по полу стелется долгий подол ее черной одежды. Сдерживая зевок, он произносит слова, отпускающие грехи бабке Агате. Снимает епитрахиль. Встает. Но бабка по-прежнему стоит на коленях и озабоченно хмурит лоб, что-то вспоминая. Она даже не слышала sacramентальных слов и не соображает, что рука господня уже не покрывает ее. Она шевелит бескровными губами:

— Ох, грех какой! Запомню я, в чем еще согрешила...

— В следующую субботу придешь! — говорит громко отец Георгий.

Бабка испуганно оглядывается. «Охти мне! Опять что-то невпопад сделала». Она поднимается, опираясь сухой ручкой о пол. Отец Георгий помогает ей, видя, что бабке трудно. Она целует его руку. Потом целует иконы в церкви, до которых может дотянуться, идя от одной к другой. Ктитор ходит вслед за бабкой и гасит свечи, чтобы зря не горели, складывая их в большую коробку из-под американской свиной тушенки, полученной от союзников по ленд-лизу. Эти ребристые коробки очень удобны — и вместительны и легки, но придают ктитору вид продавца в продовольственном магазине.

— Я же говорил, чтобы свечи на поднос собирали! — морщась, говорит отец Георгий.

— Дак ить сколь их на поднос-то пойдет! — отвечает ктитор.

С подносом ему не хочется ходить. Поднос — дар одной прихожанки. Не церковный, конечно. По его донышку пущены цветики, а не ангельские лики. С этим подносом ктитор кажется себе кельнером из вокзального ресторана — там тоже такие подносы. Эта история повторяется каждый день после службы. И опять ктитор убирает свечи в союзническую коробку с большими латинскими буквами и черными цифрами на стенках.

Отец Георгий ждет к исповеди диакона.

Но тот заставляет себя ждать, возясь в притворе.

Отец Георгий смиряет свое нетерпение и гнев.

Они недовольны друг другом после дележа церковной кружки. До сих пор диакон получал иерейскую долю. Пока не было священника. Теперь же эту долю получил отец Георгий. А диакон получил то, что полагалось ему. Надо было видеть, какими глазами посмотрел он на попа! Это был вызов, это было восстание! И отец Георгий понимал, что одними выразительными взглядами дело не ограничится — люди суетны! Но и от своей доли он не мог отступить. Хотя бы для сохранения престижа. Не напрасно установлена церковная иерархия. Не им, а соборами! Каждый должен знать свое место. На этом основано человеческое общество. Иначе — анархия, разброд, превращение в стадо! Развязывание дурных страстей и инстинктов. И как ни не хочется делать это, а надо — интересы церкви требуют этого! — поставить диакона на свое место... Конечно, если быть беспристрастным, он не дал исчезнуть в городе церкви, служа по квартирам обедни, как-то сколачивая коллектив верующих. Отец Георгий спохватывается: коллектив! — ну и сказал же! Привык к светскому языку советского учреждения. Впрочем, это не так уж и плохо: отец Георгий знает все порядки — куда, к кому обращаться, если что надо, и как вести себя. Весь городской актив он знает как облупленных, ох, прости господи! — что за выражения в церкви! А что такого? Апостолы

и пророки умели почище выговаривать, а уж ругаться умели так, что только диву дашься, если вдумаясь в их послания пошатнувшимся общинам христиан!

— Отец диакон, я вас жду! — говорит он громко.

Ктитора в храме нет. Он вышел.

Диакон как-то странно поглядывает на священника, — видно, еще не улеглось у него раздражение на отца Георгия, на лице его поигрывает недобрая улыбка. Однако он становится на колени и преклоняет голову. Священник накрывает его епитрахилью. «Во имя отца и сына и духа святого!» — произносит он привычно, уверенный, что бунт диакона будет подавлен и что ему дано будет одержать победу, маленькую, но победу — из таких маленьких побед над душевными возмущениями, бурями и состоит вся власть церкви. Было время, пообламывал отец Георгий немало когтей сатаны, вцепившихся в толстое руно божьих овечек.

— В чем грешен, сын мой? — говорит отец Георгий, и, чтобы унижить диакона и показать ему, что он ничто перед церковью, отец Георгий говорит с ним как с исповедующимся школьником в былые времена: — Не уважал наставников и начальников твоих? О товарищах дурно мыслил? Чужого не пожелал ли? Не лгал ли?..

И с умилением думает о том, как заставит он диакона навсегда выбросить из своей души все дурные помыслы, а особенно — стяжательство. Какая радость пастырю — очистить душу человека от скверны! Ведь на этом, по существу, и основана вся нерушимая крепость церкви, так как ничто больше не может доставить человеку это удивительное чувство легкости, свободы, радости, когда отпущены все грехи его. Кто однажды испытал это, тот тянется к этому ощущению, как пьяница тянется к вину. А человеку так нужно это ощущение возвышенной свободы от земных тягот, заботы о хлебе насущном, от страха за неблагоприятные поступки и мысли! Светское не может дать человеку этого ощущения! Разве только музыка, — но немногим доступно ее понимание, когда «Шумел камыш...» для многих является наивысшим взлетом музыкальной культуры... С умилением он думает об этом нехитром, но мудром приеме отцов церкви — исповеди, когда можно порастрасти душу, заставить в этой намеренной темноте под расшитой тканью, как под покровом бога, побыть наедине со своей совестью, поразмыслить над содеянным, и оценить, и осудить все свои побуждения, зная, что хоть ты и наедине с богом, а чуткое ухо пастыря преклонено к тебе...

— Грешен, отец иерей! — говорит диакон глухо. — О пастыре своем дурно думаю. Вот служил человек советской власти, надо думать, честно и беспорочно пятнадцать лет, отжил от себя в свое время заботы пастыря и попечения о святой церкви, когда тяжкие беды и испытания послал ей господь. Кажись, чего бы еще ему надо...

— Властью, данной мне от бога, прощаю и разрешаю этот грех твой. Не впадай в гордыню, не суди других, ибо сказано: «Не судите да не судимы будете»,— говорит отец Георгий, осеняя епитрахиль и диакона под нею крестным знамением.

— Кажись, чего бы еще ему надо!— повторяет диакон.— Так нет, на старости лет опять прибился к церкви, забыв и про други и дети своя. Может, отступничества своего убоился, покаялся смиренно, посыпав голову пеплом, подобно Иову, раскрыв раны своя? Возвратился в дом отца своего, как блудный сын? Нет! Пастырем же и стал опять ничтоже сумняшеся...

— Отец диакон!— говорит священник.— Это исповедь или как?..

— Исповедь, исповедь, батюшка!— отвечает диакон тем же глухим, будто исходящим из подземелья, голосом. И придерживает рукой епитрахиль, так и тянет на себя, священник это ясно чувствует.— Ну, бог ему судья! Служить он умеет не хуже, чем вел бухгалтерские книги в некоем светском учреждении, и прихожане довольны им. Пока храм обряжали, по крупнице собирали— все бы ничего. Но вот до сборов церковных дошло— и ожадел человек, даровой богатый кус узревши...

Отец Георгий, насупившись, спрашивает:

— Отец диакон! Это ваша или моя исповедь?

— Моя, моя!— отвечает диакон на вопрос.

— Властью, данной мне от бога, прощаю и разрешаю твой грех!— говорит отец Георгий. Стаскивает епитрахиль с головы диакона, но тот крепко держит ее за шитый твердый уголок. Священник поджимает губы и, вне себя от злости, выговаривает:— Довольно низко с вашей стороны, отец диакон, воспользоваться тайной исповеди, чтобы жалить в сердце человека, который много старше вас! Чего вы хотите от меня? Как вы смеете оскорблять таинство исповеди!

— Грешен, батюшка!— говорит диакон смиренно.— И в гордыне грешен: думал, что мой пастырь будет просить владыку рукоположить меня на приход...

— Это с вашей-то подготовкой!— вскрикивает отец Георгий, забывая про крестное знамение.— Да ведь вы в церкви-то и диакон липовый! Что-то вроде импресарио, которому вовсе не обязательно понимать искусство— было бы умение организовать рекламу да получить хорошие сборы!

— Ну, я академиев, как Чапаев, не кончал!— говорит диакон.— А корабль веры-то, батюшка, ко гавани привел. Вы-то пришли на готовенькое— в храм пришли служить! А вот если бы пришлось мотаться со святыми-то дарами по квартирам доброхотов верующих да хлебнули бы этого вволю... Не-ет, сальдо-бульдо куда лучше этой суеты. И зарплата твер-

дая, хоть и невеликая, и снабжение итээровское. И страхов никаких, кроме одного...

— Я никогда не скрывал, что священнослужительством...

— Страшились, отче, страшились... Этот страх подбил вас и письмецо в газету в тысяча девятьсот тридцать шестом году написать: «Осознав свои заблуждения и поняв всей глубиной души, что прошлая моя жизнь и деятельность как священника служила обману народа, была подлинной духовной сивухой, я, бывший настоятель храма Спаса Нерукотворного, слагаю с себя сан и порываю с религией!»

— Откуда вы знаете это? — спросил отец Георгий, покраснев.

— Склонен к любознательности и к постижению сущего. И постигаю, отче: либо вы тогда советскую власть обманывали, вовсе не осознавши своих заблуждений, либо сейчас верующих обманываете и святую церковь, прельщенные не светом веры, а меркантильными соображениями... Письмо-то вы написали тогда, не желая мученический венец принять, а дело, как вы знаете, шло к тому, ибо во многом попы виноваты были, а время не позволяло миндальничать не только с врагами Советов, а и с болтавшимися между правой и левой... Вы письмецо написать успели, а мне посчастливилось в том же году от Рождества Христова во училище сесть. Так я, как диакон, и отсидел...

— А разве могли сидеть и не как диакон?

— Сразу видать бывшего миссионера, отче! — сказал с одобрением диакон. — Ум у вас иезуитский — вы сразу схватываете все главное. Мор! В оные годы в партии состоял, но — подобно вам! — отошел от мирской суеты. Все-таки до советизации в духовной семинарии учился два года. И даже способности обнаруживал. Вот и сгодилось это. — «Фракционер! Сума переметная, если не хуже! — со страхом подумал тут отец Георгий, и испарина покрыла его тело под плотной рясой. — Тертый калач! Ох, подальше бы от него!» И у него как-то по-старчески ослабели коленки. Он с опаской посмотрел на епитрахиль: вот стащить бы ее сейчас да в глаза диакону-то и посмотреть, какие они! Но он помолчал и после долгой паузы спросил:

— А если рукоположены будете, где служить намерены?

— Хотелось бы на западе пастырствовать, отец Георгий! Там и вера сильнее, и...

— На днях я поеду во Владивосток, к владыке исповедоваться. Буду ходатайствовать о вашем рукоположении. Вами много сделано тут для сохранения и укрепления веры, для церкви...

— Не смею думать так, отче! Но если вы так высоко цените мой скромный труд, благодарю вас и господа всеблагого за то, что дал мне еси нести свой крест... А что касается церковной кружки... пусть все остается так, как есть, — возвысился еси в гордыне своей непотребной, взалкал и возжаждал, грешен бо и слаб духом...

Кровь бросилась в лицо отцу Георгию, — так краснел он, когда в квартальном отчете баланс не сходился на ноль целых одну десятую рубля! Пробормотав слова отпущения, он торопливо перекрестил диакона, лицо которого под епитрахилью побагровело, сунул руку для поцелуя и стал стаскивать с себя епитрахиль, отвернувшись от диакона, чтобы скрыть свое лицо. «Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет в моей душе», — чего-то ради припомнился ему царь Борис и горестное его моление...

9

Чувство вины не покидает Генку.

Он ожидал хорошей трепки, когда в его руки попал табель. Ах, как радостно было читать среди напечатанного в типографии текста написанное от руки: «оставлен на второй год!» — врагу не пожелаешь этого... Он нес табель в руке, как бомбу, как жабу, как гадюку, как свой смертный приговор.

— Ой, будет мамка бить! — сказал сожалительно Мишка Аннушкин, успехи которого в учебе тоже не были достойны занесения на золотую доску, но который все-таки переезжал в четвертый класс на тройках, все-таки вывезших Мишку из болота лени, из зарослей непонимания, из пустыни малого прилежания. Спасало его, быть может, отличное поведение! А у Генки и тут была такая дырка, что ни одна педагогическая бабушка не могла ее заштопать, хотя Николаю Михайловичу, конечно, было неприятно наличие второгодников в его школе. Теперь Мишка нес свой табель, как розу, как ароматное блюдо, как роскошный дар своим родителям. «Переведен в четвертый класс» — это вам не кот наплакал и не баран начихал! И впереди у Мишки три месяца жизни со спокойным сердцем и душой, три месяца сплошных наслаждений и райских утех!

— Ни чик! — сказал Генка мужественно, как и подобало человеку, привыкшему иметь дело с огнем и металлом, хотя воспоминание о кочерге в родительской руке и не было лучшим воспоминанием в его жизни. — Мне на это, знаешь, вот так! — и он, значительно преуспев за последнее время в этом искусстве, сплюнул через зубы почти так же, как его благородный наставник и друг в жизненных испытаниях Сарепт-

ская Горчица, чей светлый образ весьма укоренился в сердце Генки.

— Хм-м! — кашлянул Мишка, но не стал выражать своих чувств посредством жалких слов, ибо все было и так понятно: и счастье Мишки и участь Генки, над которым должна была неминуемо разразиться очистительная гроза родительского гнева. Чему быть, того не миновать! В этом мире действовали законы, которыми ни Мишка, ни Генка не могли управлять...

И все-таки Мишка пошел домой. А Генка побрел по улице куда глаза глядят. Конечно, рок роком, но если можно отдалить момент возмездия, почему не сделать этого?

Но кто-то окликнул его:

— Лунин! Пстой!

— Стою! — сказал Генка покорно и оглянулся.

Его догнал Вихров.

— Слушай! — сказал Вихров. — Дай-ка мне твой табель. Я думаю, будет лучше, если мать получит табель не из твоих, а из моих рук. Как по-твоему?

— Угу! — сказал Генка.

— Я буду дома раньше, чем ты! А ты придешь попозже, когда я уже поговорю с Евфросиньей Романовной. Как ты думаешь?

— Угу! — сказал Генка.

Вихров вместе с Генкой вышел на берег Амура. Жестом он показал Генке на садовую скамью, приглашая садиться, и сел сам. Генка уместился на самом кончике скамьи. Тотчас же его беспокойные глаза понеслись, побежали вокруг, глотая все, что попадалось в поле зрения. Беспокойные руки принялись шарить по скамейке, натываясь на многочисленные доказательства пребывания здесь культурных, грамотных людей, пожелавших увековечить и их кратковременное пребывание здесь, на этой скамейке, и их чувства, которые требовали быть запечатленными на веки веков: «Был здесь. Сидел. Ан. Кузн.», «Беседовали о жизни. П. и Г.», «Маша и Леня = любовь!», «Лелька — дура!» Были здесь нанесены и другие надписи, менее философского содержания, но обнаруживавшие у их авторов кое-какие зачатки знакомства с физиологией мужчины и женщины в очень популярном толковании... Заметив это, Вихров сел так, чтобы заслонить их от пронзительного взора своего собеседника и сосредоточить его внимание на предстоявшей беседе.

— Я тебе вот что хочу сказать, Геннадий! Ты особенно-то не отчаивайся. Ну, поругает мать — как не ругать! — ты ведь таким образом теряешь целый год своей жизни! Кончишь школу на год позже, понимаешь! От своих товарищей

по классу отстанешь на целый год! А это очень все неприятно... Жизнь очень коротка, не стоит ее тратить на повторение пройденного, когда есть возможность познавать новое!.. Но и не успокаивайся: нет ничего хуже, чем болото, чем лень, чем такое вот спокойствие, когда человек на все машет рукой! Ты меня слушаешь?

— Угу! — говорит Генка. Глаза его устремлены на реку. На ее широкой глади видны лодки. То и дело от пристани отходят катера и речные трамваи, переполненные людьми, — уже можно ездить на левый берег, хотя еще и нет там летней толкучки и не открыты еще никакие киоски. «Ух-х! В лодочку бы сейчас!» — думает Генка. И ему кажется, что он слышит запах свежего вара от заново зашпаклеванных швов, слышит, как поскрипывают уключины, как с весел капает вода...

— Пойми, что мать после гибели отца на фронте видит в тебе своего помощника, старшего в доме, мужчину. Свою опору! Пойми, как горько ей, что ты отстал в школе, что ты не слушаешься ни ее, ни педагогов! Пойми, наконец, что она устает, изматывается на работе, что ей очень тяжело кормить вас двоих... Ты меня слушаешь?

— Угу! — говорит Генка. Глаза его устремлены на улицу. Там люди столпились возле какой-то иностранной машины, какой до сих пор не встречали в городе, хотя уже знают и «БМВ», и «студебеккеры», и «мерседесы», и «опели», и «фиаты», и конечно же «форды» всех видов, всех расцветок, всех мощностей. Генка слышит запах бензина, как от шептуна, пущенного в классе. Представляет себе маслянистую поверхность деталей машины, жар, источаемый радиатором, перестук поршней в цилиндрах двигателя. «Эх-х! Прокатиться бы сейчас! — думает он, и ему чудится, как под ним прогибаются мягкие подушки в машине и как ветер посвистывает в открытых окнах машины. — Попросить бы шофера! Они иногда хорошие бывают!»

Нет, как видно, еще не настало время, чтобы Генка понял слова, обращенные к нему от чистого сердца...

И когда Вихров встает, полагая, что до сознания Генки дошли важные и значительные слова, произнесенные им, Генка тоже поднимается — с чувством облегчения: значит, мать не будет бить его! «Ни чик!» — говорит он внутренне.

— Я помогаю тебе только потому, что надеюсь — ты поймешь все это правильно, Гена, и возьмешься по-серьезному за ум. Договорились? — произносит напоследок Вихров.

— Ни чик! — бодро говорит Генка, радуясь обретенной свободе, и, спохватываясь, поправляется: — Договорились! Я теперь... я, значит, вообще... Ну, как полагается, значит...

— Помни же! — говорит Вихров и уходит.

Вместе с ним уходит и все, что вошло Генке в одно ухо и вышло в другое, как пишут в сказках. Генка с опаской глядит ему вслед, на всякий случай соображая, нет ли тут какого-нибудь подвоха, — кто их поймет, этих учителей, что у них на уме!

Через час Генка далеко за железнодорожным переездом.

Как он туда попал — необъяснимо, непостижимо! — во всяком случае, Генка не мог бы вспомнить, по какой нужде он там оказался. Ноги сами унесли его от реки — он как будто бы шел домой, в соответствии с достигнутым ранее соглашением, чтобы прийти домой после Вихрова, но почему они пронесли его мимо дома?

Он дымит чинариком, поднятым на улице, — независимый, не связанный никакими обязательствами гражданин! — руки его засунуты в карманы, воротник рубахи растегнут, слюны полон рот, хватит заплевать всю улицу...

Мальчишки-погодки таскают за веревочку, привязанную к голенастой ноге, выпавшего из гнезда галчонок. Он безобразно машет колючими крыльями, пытается взлететь. Безобразно разевает огромный рот, в уголках которого еще видны желтые напайки. Но ребята дергают за веревочку — галчонок шмякается на землю, а они бегут, что-то крича, и галчонок, вздымая оперившимися перьями пыль придорожную, волочится вслед.

Генка сплевывает на сторону.

— А ну, дай! — говорит он старшему тоном, не допускающим дискуссионных выступлений, и тянет грязный палец к веревочке.

— Это наш! — говорит младший, уточняя отношения и создавая казус белли для необходимой защиты своего имущества от посягательств иноземных захватчиков.

— Знаю! — говорит Генка и манит старшего к себе тем же грязным пальцем. — Ты знаешь, кто я?

Дисциплинированный старший внутренне подготовлен к тому, что в этом мире всегда может стать на пути какой-нибудь руководитель, который наперед знает, что ребятам можно и чего нельзя! Накуксясь, он говорит:

— Это мы веревочку привязали! Это наша веревочка!

— Где вы ее взяли? — неожиданно спрашивает Генка, сделав совершенно верный ход.

Мальчишки переглядываются. Видимо, с веревочкой явно связана какая-то тайна, возможно, непреднамеренное присвоение чужой собственности. Старший, вздохнув, отдает веревочку Генке.

Но Генка тянет веревочку, галчонок приближается к нему, разевая рот, повисает на веревочке и переходит в руки Генки. Он пытается клюнуть Генку в глаза, но Генка зажима-

ет его голову рукой, и галчонок только щекочет его ладонь, когда разевает рот. Генка смеется. Он спрашивает мальчишек:

— Хотите, я фокус покажу?

Мальчишки радостно болтают головами.

Генка показывает им галчонка — видали? — потом сует его себе за пазуху — видали? — затем разводит руками — ничего нет! Вот так фокус!

— Были ваши, стали наши! — говорит он изящную великосветскую фразу, слышанную им от Сарептской Горчицы. Он поворачивается направо, налево — не видал ли кто-нибудь из взрослых его фокусов и не хочет ли вознаградить его достойным образом? Нет, на горизонте ни одного вражеского дымка, и рейд можно считать на редкость удачным, и эскадра Генки делает поворот оверштаг и ложится на обратный курс.

У мальчишек, как по команде, появляются на глазах слезы. Они в один голос кричат одно и то же:

— Мы ма-а-а-а-ае ска-ажем!

— Па-ажалуйста! — отвечает Генка, двигаясь на повышенных скоростях, и тотчас же забывает о погодках, едва они исчезают из виду.

Генка придерживает галчонка рукой и время от времени заглядывает под рубаху, оттягивая ее воротник грязной рукой. Галчонок совершенно подавлен быстрой сменой событий в своей жизни. Рот его раскрыт — под рубахой Генки довольно жарко. Темные глаза его недобро взглядывают на Генку. Генка успокоительно говорит галчонку:

— Ну, что смотришь? Я тебя на веревочке таскать не буду. Я... я тебя говорить выучу. Ей-богу! Думаешь, слабо?! Со мной, брат, не пропадешь...

Дома никого нет. Мать ушла за Зочкой в ясли.

Генка шарит всюду в поисках пищи. Дает галчонку крошки хлеба, кашу. Привязав его к спинке кровати, долго ловит мух, выбирая тех, что побольше. Пленник если не с благодарностью, то с жадностью принимает щедроты этого двуногого, бескрылого, конопатого, белесого, патлатого галчонка, каким, верно, Генка кажется несчастному птенцу. «Боже, какой урод!» — думает птенец про Генку. Возвращается мать, с Зойкой на руках.

Она морщится, увидев Генку и галчонка, и подавляет в себе желание накричать на Генку и выбросить гадкого птенца за окно.

— Пусть только нагадит! — говорит она мрачно, следя за тем, как ковыляет птенец на веревочке по полу. Принюхивается: — Что за вонь тут — не продохнешь? От твоей падали?.. — Пи-ти, пи-ти! — говорит Зойка, усаженная в кровать, и тянет руки к птенцу, и подпрыгивает, держась кое-как за

перильца кровати, всем телом, как умеют делать только малыши, и лепечет, и улыбается, и падает, и опять тянет ручки. — Пи-ти, пи-ти!

— Ма-а! А галчонок Зоечке нравится! — невыразимо фальшивым голосом говорит Генка, притворяясь пай-мальчиком, который слушается свою маму и своих учителей. Но глаза его шныряют по всем сторонам: а вдруг Вихров не успел поговорить с матерью? Генка чувствует, что на руках у него делается гусиная кожа. К счастью, табель лежит на подоконнике. Гора сваливается с его плеч. Уже более естественным голосом он говорит: — Ма-а! Я исть хочу...

— Это ты умеешь! — сердито отвечает мать, но наливает сыну суп. — Жрать да гадить, жрать да гадить...

Но гроза уже миновала. Лишь где-то за горами слышен отдаленный, глухой гром да зарницы еще бросают зловещий отсвет на ясное небо над головой Генки.

Поев, он садится на колени перед птенцом, который, нахохлившись, устав от треволнений дня, сует голову под крыло, жажда покоя и сна. Генка осторожно гладит птенца по жестким перьям. Галчонок клюется, но не больно, хотя нос у него велик не по росту. Чем-то галчонок напоминает Генке кого-то. Генка задумывается — кого же? У галчонка затягиваются серой пленкой глаза. Генка берет его на руки и пригревает. Почувствовав тепло, галчонок задремывает и чуть-чуть скребет ладони Генки когтями. Сейчас Генка чувствует горячую любовь к галчонку. Сердце его переполняется нежностью и жалостью. Он что-то говорит уродливому птенцу, закрывая его рукой от света... Вот взять бы его самого сейчас на руки, уместить поуютнее, погладить по вихрам да тихим голосом поговорить с ним ни о чем, а только для того, чтобы он слушал этот голос, только для того, чтобы утишить его метания, чтобы умерить его беспокойство и непоседливость, только для того, чтобы пробиться к его сердцу, которое вдруг ощутит потребность прислушаться и к словам и к тому, что они значат для человека, что выражают...

— Я тебя выучу говорить! — шепчет Генка галчонку. — Мы с тобой и разговаривать будем! Ладно, а? Ну, скажи: «Ген-ка! Ген-ка!» Ну, скажи! Ну... «Генка!» Ну!.. Мы с тобой пойдем гулять. Я тебя на плечо посажу. Потом я тебя спрошу: «Как вы поживаете, товарищ...» Ну, имя мы потом придумаем! «Как вы поживаете?» — спрошу... А ты мне ответишь: «Хор-ро-шо! Хор-ро-шо!» Ну, говори! «Хор-ро-шо»...

— Кар-р, — вдруг раскрывает рот галчонок.

Задумавшаяся Фрося вздрагивает. Зойка беспокойно шевелится, открывает и закрывает глаза, как кукла, которая открывает и закрывает глаза и говорит «папа» и «мама». Генка замирает от восторга — галчонок его понимает! Вот это да!

Генка поворачивает счастливое лицо к матери, но видит только ее зад. Мать легла на кровать и отвернулась к стене. Гроза, конечно, миновала, но ветер изменчив, как бы опять не нане-сло...

— Гаси свет! Ложись спать! — сухо говорит Фрося сыну.

Глава одиннадцатая

АВГУСТОВСКИЕ ГРОЗЫ

1

Августовские грозы особенно сильны...

Океанский воздух тянется на материк, парящий от сильного, сухого летнего жара. Где-то над выжженными солнцем пустынями Гоби влага испаряется с такой силой, что улетучивается, кажется, вовсе, и в эту пустоту стремится воздух с юга, насыщенный влагою. Движение это рождает пассаты и муссоны, влачащие с собой перисто-кучевые облака. Полчища облаков пролетают в вышине, и раскаленная земля щедро отдает им свой электрический заряд. Воздух теряет свою прозрачность, перенасыщенный электричеством, и становится белесым, и какие-то тени зловеще похаживают там, тая в себе угрозу. И несутся по небу тяжелые тучи, все более мрачней и мрачней, — над рисовыми полями у озера Ханка, над яблоневыми садами Сучана, над терриконами Артема, над полями яровых по течению Хора, над нефтяными вышками Сахалина, над соевыми полями Зейщины, над лесами Хехцира, над золотой голоколоской в верхнем течении Амура...

И катается на казенном транспорте Илья-пророк в своей персональной колеснице по небу из конца в конец огромного края — то с одной стороны, то с другой, то за рекой, то за бархатным перевалом, и погрохатывает, и погромыхивает, и потрескивает, и прокатывается — то громик, то гром, то громище. То издали ворчит чуть слышно, то потряхивает воздух вблизи, то разрывает небесную твердь над самой головой и уже не гремит, а ревет — яростно, злобно, страшно! — так, что дребезжат в окнах в припадке малодушия стекла, и двутавровые балки междуэтажных перекрытий пробирает невольная дрожь. И кажется странным, что после такого ужаса все остается на местах — не поколеблено, не разрушено, не распалось на мельчайшие частицы!..

И молнии хлещут синими бичами взьерошенное, вывернутое наизнанку небо, точно озверевшие скотогоны, и пере-

секаются, и разят землю, и слепят глаза человека, и заставляют сжиматься сердце человека от страха и восторга. И сыплются молнии с неба, как бы для того, чтобы спалить землю всю без остатка, одна за другой, и синие, и фиолетовые, и багряные, и золотые — целый поток живого небесного огня! И ударяются в тяжелое тело Хехцира и вдруг, отталкиваясь от него, возвращаются в небо огненным ударом. И тогда над Хехциром, словно ветвистое дерево, рожденное матерью Землей в мгновение ока, встает Главная Молния. Мощный ствол ее вырастает в бугристую спину горного кряжа, заливаемого бешеным, как в дни всемирного потопа, дождем, а ветви этого пылающего ствола устремляются в небо, в недостижимую высь, и отростки их обнимают весь горизонт. И прерывистый, беспощадный свет озаряет весь город разом, и меркнут в нем уличные фонари, и он кажется призрачным при этом призрачном свете.

Потоки теплой воды бурлят на улицах. С крыш домов низвергаются Ниагары. Водосточные трубы захлебываются. И, вымытые дочиста, сияют стекла в окнах домов. И Байкалы возникают везде, где есть хоть какое-то углубление в мостовой или в земле. И кузова грузовиков наполняются водой, и она сифонит во все щели. И пустеют улицы — лишь памятниками общественному порядку возвышаются на перекрестках милиционеры, мокрые до нитки даже в своих защитных балахонах, но не подмочившие свою репутацию.

Часами зловеще вспыхивают в отдалении зарницы, когда уже пронесется над городом это буйство стихии и небо, красуясь чисто вымытой шеей и ушами, украсится звездами.

Наиболее сильные грозы идут из Маньчжурии.

Из Маньчжурии, где установлена, под охраной японских штыков, тысячелетняя империя Пу И.

Когда-то на этой земле дрались и никак не могли додаться до какого-то результата северные милитаристы — У Пей-фу, Чжан Цзо-лин, Чжан Сюэ-лян, в равной степени пользовавшиеся авторитетными советами авторитетных немецких и японских военных специалистов. Тогда молодой Чан Кай-ши пользовался славой революционного генерала. Потом репутация революционного Чан Кай-ши была подмочена: от коммерсантов осажденного Шанхая он получил наличными двенадцать миллионов серебряных таэлей в качестве дусер-гельда. В одну минуту он стал капиталистом, миллионером и перестал быть революционером. Потом Чжан Цзо-лин как-то вовремя погиб в железнодорожной катастрофе, вызванной взрывом поезда, в котором он ехал вместе со своими советниками японцами. Мощные взрывные волны разнесли вдрезг китайского маршала, но деликатно обошлись с советниками — никто из них не пострадал. Потом

маршал Фын Юй-сян оторвался вдруг от драки и превратился в «китайского сфинкса». Потом маршал У Пей-фу как-то незаметно ступил и исчез с политической арены. Зато на этом небосклоне взошла новая звезда — император Пу И. Правда, эту звезду крепко держали в руках японские военные, шаг за шагом, с бесчисленными извинениями, как и подобает воспитанным людям, понемногу, полегоньку, где-то показывая пряник, а где кнут, занявшие три восточные провинции, а за ними и Центральный Китай, где в лице Чан Кай-ши они встретили очень вежливого и услужливого хозяина. Маньчжурия стала империей Маньчжу Ди Го (Маньчжоу-Го). Император Пу И был последним отростком последней императорской китайской династии, потерявшей власть еще в 1911 году, и это обстоятельство, конечно, должно было льстить патриотическому чувству китайцев. Как историческая реликвия, Пу И был очень ценен японским друзьям: без подписи японских советников император не мог издать ни одного повеления — так ценили и берегли императора...

Император запросто ездил к своему другу — командующему императорской Квантунской армией Японии генералу Ямада Отозоо, чтобы своевременно получать указания... то есть своевременно советоваться со своим другом по различным государственным вопросам.

Полуторамиллионная Квантунская армия на земле Маньчжу Ди Го являлась воплощением уважения и любви императора Хирохито к императору Пу И.

Летние грозы бушевали над бескрайними пшеничными полями Хелунцзяня — собственностью Квантунской армии, над энергетическими предприятиями Мукдена, акционером которых была Квантунская армия, над маковыми полями — собственностью Квантунской армии, где под жарким солнцем зрел та́ян — опийный мак, над Фушуньскими и Аньхуэйскими угольными копями, в прибылях которых были заинтересованы японские акционеры, над укреплениями, в которые островитяне вкладывали деньги своих и китайских налогоплательщиков, над текстильными предприятиями, часть дивидендов которых любезно соглашались принимать японские друзья Пу И, над поселениями резервистов, которые от доброты душевной готовы были работать на этой земле и снимать с нее два урожая в год — при помощи китайских батраков...

Гроза проносилась над Пинфанью.

Здесь генерал Исии Сиро, удостоенный личного расположения основателя эры Великая Справедливость — императора Хирохито, вел очень важную и секретную научную работу. Японская военная миссия в Харбине, разведы-

вательные органы на местах и администрация китайских тюрем доставляли генералу подопытный материал, который под условным наименованием «бревен» шагал со всех концов Маньчжурии к своему последнему печальному приюту, чтобы испустить последний свой вздох в лабораториях-застенках, откуда не было выхода. Отсюда выезжал в Двуречье красавец капитан Хирадзакура Дзенсаку, для того, чтобы спустить в воду при слиянии Шилки и Аргуни, откуда начинается течение Амура, содержимое ампул, наполнявшихся в заведении Исии Сиро, — холерные вибрионы, палочки сибирской язвы, бациллы чумы. В более широком масштабе это осуществлял в собственно Китае, в Чжецзяни, не менее красивый мужчина — генерал Сато Сайондзи, доктор медицины, и успех сопутствовал ему: сотни тысяч трупов китайцев были убедительным доказательством этого. Бактериологические атаки — так именовались эти операции в секретных докладах, которые делали генералы Кавасима Киоси и Кадзицука Рюдзи, проводившие также различные опыты в своих хорошо поставленных лабораториях и создававших, во имя человеколюбия, научные труды о направленном воздействии болезнетворных микробов и влиянии высоких и низких температур на организм человека. Бравый полковник Ниси Тосихидэ наблюдал за сохранением образцового порядка во внутренней тюрьме, где содержались подопытные, к его услугам были врачи, чтобы подопытные не умирали, пока над ними не будут произведены все опыты. Ефрейтору Митомо Кадзуо поручалось зарывать на скотомогильнике — для маскировки! — этих подопытных, естественная убыль которых была очень велика, если учесть размах научной работы отряда 731, занимавшегося официально вопросами водоснабжения Квантунской армии; перед тем как предать земле их изувеченные останки, Митомо складным ножом вскрывал их трупы, чтобы посмотреть, где в них скрывается та тайная заводная пружинка, которая заставляет их в лабораториях корчиться, стонать, кричать, ощущать ужас, холод, голод и боль, боль, боль! — и не находил...

Здесь не обращали внимания на грозы, бушевавшие в небесах.

Здесь готовили грозу, которая должна была — в день икс — поразить советский Дальний Восток и Сибирь, опустошить и предать все их естественные и созданные рукою человека богатства в руки сынов Ямато и воплотить в жизнь возвышенную мечту генерала Танака, тень которого и до сей поры витала в императорском дворце в Токио, мечту о Великой Японии — до Урала! — одним ударом, без затраты сил, которые были уже на исходе...

Двенадцать тонн невидимых солдат — болезнетворных бактерий! — уже были наготове для атаки.

Лето!

Едва погасает вечерняя заря, из-за гор встает утренняя. И сутки разделяются лишь недолгим полумраком. И на небе все висят и висят багряные облачка, то отставшие от прошедшего дня, то легкими разведчиками высланные вперед грядущим днем. Каждый день кажется нескончаемо длинным, но неделю за неделей коварный Хронос отсчитывает, как на счетчике такси, с пугающей быстротой, и месяц сменяется месяцем, и они только мелькают в глазах, как придорожные знаки: вот только показался — и нет!

Уже сошли с рук Генки цыпки, уже появились и исчезли бородавки, уже зажили глубокие трещины — бог знает от чего! — и уже выросли на пальцах и ладонях грубые мозоли...

Он ловит раков у Князе-Волхонки, он удит рыбу в Артзатоне, ворует картошку на Красной Речке, ездит зайцем на левый берег Амура. Он гребет, гребет, гребет — до нечувствительности хребта, до полного истирания суставов, до изнеможения, оправдывая доверие своего высокого друга — Сарептской Горчицы. У друга всегда водятся деньги для того, чтобы взять лодку напрокат. Генка становится если не сильным, то жилистым, если не храбрым, то нахальным, если не красноречивым, то грубым.

— Откуда у тебя деньги? — спрашивает он у своего наставника и покровителя.

— Подумаешь, деньги! — говорит наставник и смеется. — Два огляда, третий цоп!

Он развалился на корме, положив одну ногу на борт, другую вольно пропустивши по планкам решетника на дне. Одна рука его опущена с борта вниз и чуть шевелит пальцами, наслаждаясь прохладой бегущих струй, голова полулежит на доске ахтерштевня, чуть склоненная набок, — в позе Марата, убитого Шарлоттой Корде.

— Украл? — с замиранием сердца спрашивает Генка.

— Занял с намерением в будущем отдать! — лениво говорит друг, как видно читавший произведение Марка Твена о некоем Геккльбери Финне, и покрикивает: — Греби давай!

— Я устал! — сознался Генка.

— Ни чик! — плюет наставник в набегающую волну, прищуренными глазами наблюдая за вольной жизнью свободлюбивого племени купальщиков, что валяются в золотом песке, презирая все богатства, и барахтаются в прибрежной волне, презрев все обязанности, накладываемые обществом на личность. Он жадно и пристально разглядывает девушек, и ноздри его большого бесформенного носа при этом раздуваются. Когда поза девушки особенно свободна, он даже по-

ворачивается всем телом, чтобы насладиться зрелищем, и сплевывает чаще, чем всегда. «Грубая цыпочка! — говорит он. — Ишь шары-то какие выкатила! Вот бы пощупать!»

Пот заливал Генке глаза. Зрелище на берегу не кажется ему таким уж праздничным. Он опускает весла в воду и вытирает пот грязной рукой. Течение сразу же разворачивает лодку.

— Гребни давай! — говорит друг. — Есть, понимаешь, такой закон: кто-то едет, а кто-то везет! Я за свои чистые найду гребцов...

И Генка везет, желая ехать!

Вдруг он опять останавливается.

На берегу, на малом его отпрядыше, стоит девушка. Ветер треплет ее волосы цвета раскаленной меди, которые, как жидкий металл, падают то на одно, то на другое голое ее плечо. Простенькое лицо ее поднято вверх, к солнышку, глаза плотно закрыты. Руки свободно опираются на бедра. Небольшая грудь плотно обтянута лифчиком из дешевенькой ткани. Такие же трусики, очень уж ловко сшитые, словно вплавленные в это стройное, молодое, сильное тело, прикрывают как можно меньше это тело. Все, все соразмерно в этом теле, и невозможно описать его прелесть, как нельзя по отдельности рассматривать тело Венеры Милосской. Оно входит в глаз все разом — с нежными очертаниями девичьих ключиц, с трепетной впадинкой подмышек, с тонкими пальцами, чуть сжавшими бока и втянутый живот с маленьким, точно вынутая изюминка, пупком, с неширокими, плавных линий бедрами, с талией тонкой и гибкой, с ногами, которыми нельзя не залюбоваться, с руками, которым можно позавидовать. Если бы Генка был знаком с восточной поэзией, он сказал бы своему другу, что эта девушка — газель, готовая умчаться в тенистый лес от дерзкого взгляда, что она — роза, едва распустившаяся от первых лучей солнца, что она — речной тростник, колышимый свежим ветром...

Но Генка не знал восточной поэзии. Зато он узнал эту точеную фигурку. На мгновение он забыл о том, какую он видел ее, забыл о том, какими комментариями сопровождал Сарептская Горчица его рассказ о сцене в девичьем общежитии Арсенала. Он видел только, как летит по берегу эта девчонка, не думая о себе, занятая лишь его судьбой, как кидает она его на ледяной припай, как погружается сама в ледяную воду, как синет ее немудрящее личишко, как стучат ее зубы на свежем ветерке, как мелкая дрожь сотрясает ее стройное тело, принявшее неожиданное крещение во Иордани...

— Рыженькая! — кричит он пронзительно. Он не знает ее имени.

Рыженькая вздрагивает. Открывает свои глаза и поворачивается к лодке.

Вздрагивает и наставник. Почему-то ему не приходят сейчас в голову его гурманские словечки, которыми он выражал свое сластолюбие еще минуту назад. Он глядит на рыженькую какими-то ошалевшими глазами. «Та? — спрашивает он Генку. — Та?» — «Она самая!» — отвечает Генка. Простое лицо поражает друга почему-то больше всего. Если бы помада покрывала губы Танюшки, если бы наведены были у нее брови и подмазаны ресницы, если бы закручены были ее волосы, Сарептская Горчица показал бы высокий класс пошлости. Но безыскусственность Тани обезоружила его. «Настоящая!» — как-то подумал он и жестом показал Генке — гребни ближе! — и в глазах его показалось что-то тоже очень простое и человеческое, через толстый слой жизненной грязи, наросшей на его сердце — не по его вине! — вдруг проступило простое живое чувство восхищения прекрасным.

Таня садится на отпрядыш.

Лодка подходит ближе. Генка чуть подгребает веслами, чтобы течение не относило.

— А-а! Старый знакомый! — говорит Таня радостно. Она и впрямь рада тому, что увидела этого паршивца, из-за которого чуть не месяц провалялась в кровати. Вишь какой — загорелый, с волосами, выцветшими на солнце до цвета грязноватой кудели. — Ну как у тебя обошлось тогда? Побили? Болел?

— Не-е! — отвечает Генка. — Мамка даже не узнала! И не болел!

— А я бюллетенила четыре недели, понимаешь! Простудилась! Ну, моя мама всегда говорила: «Заживет, як на собацци!» — и все как рукой сняло. Ну, солнышко пропустила! Сейчас надо нагонять! Я не люблю незагорелых. Как сыр! Противно!

Но тело ее уже покрыто налетом бронзового загара. И на стигах руки — темный, темный отлив.

— Какой загар! — галантно говорит наставник, кажется влюбившийся с первого взгляда.

— Хороший, ты думаешь? — спрашивает озабоченно Таня, озирая себя и не видя, что разговаривает с ней вовсе не мальчик Генка, а почти парень.

— Первый класс! — говорит и Генка, понимая, что ничто сейчас не может доставить Танюшке большего удовольствия, чем этот комплимент, почти чистая правда.

С берега, от зарослей ивняка и молодых тополей, кричат:

— Та-аня! Довольно тебе на солнце жариться! Иди в тень!

Танюшка кричит в ответ звонко:

— Да-аша! Иди сюда! Мой мальчонка погибший ссы-
кался!

К своему ужасу, Генка видит, что по берегу бежит Даша Нечаева. «Знакомая!» — говорит он другу и шевелит веслами. «Ни чик!» — повелительно говорит тот, и Генка застывает.

— Как вас зовут? — спрашивает вдруг влюбленный на-
ставник Таню.

— Таня! — отвечает девушка, и ей приятно, что она нра-
вится — все равно кому: ведь доставлять людям радость очень приятно.

— До свидания, Таня! — говорит потерявший свое серд-
це и подмигивает Генке: давай, салага, давай, если уж тебе так не хочется встречаться с той, что бежит по берегу, вовсе не для того, чтобы спасти тебя от смерти, давай!

И Генка разворачивает лодку, и бьет веслами по воде, и с силой выгребает, и лодка мчится вниз по течению. Даша очень смутно различает, кто сидит в лодке, но вообще-то у нее зрение отличное. Она подбегает к Танюшке и тащит в тень.

— Нельзя тебе долго быть на солнце. Ты еще нездорова! И молчи, пожалуйста! Я лучше знаю!

Таня подчиняется Даше, но оглядывается на лодку. Лю-
битель прекрасного привстает и машет ей рукой, рискуя вы-
вернуться в воду, потому что изнемогший Генка гребет кое-как и лодка вихляет в стороны.

— Иди на корму! — говорит друг.

И сам садится на весла.

Вверх по течению ехать можно, сколько станет сил. Но
вниз — только до определенной отметки, чуть дальше Арсе-
нала. Здесь запретная зона! Еще недавно тут пузырилась и ки-
пела вода и рыба вверх брюхом то и дело всплывала на по-
верхность — собирай мешком и кидай в лодку! Где-то там, на
огромной глубине, люди прогрызали скальное основание ло-
жа реки, преодолевали коварный пльвун, пески, известняки,
белые глины и кремнистые грунты, и отгесняли высоким да-
влением чудовищную тяжесть полных вод Амура, текущих
над их головами, и в кессонных камерах приводили в движе-
ние гигантские проходческие щиты, и свинчивали — один к
одному! — чугунные тьюбинги, пропитывали их таркретом, за-
ливали бетоном, пронзая твердь и соединяя берег с берегом
надежным подземным и подводным тоннелем. Они работа-
ли под давлением в восемь атмосфер, и излишний кислород
уходил через трещины грунта в воду и опьянял рыбу, всплы-
вающую на поверхность вместе с пузырьками газа. Много
охотников было на эту рыбу, хотя и сочеталась эта рыбная
ловля с опасностью — попасть в руки патрулей из солдат вну-
тренних войск, с которыми вообще-то лучше было не вхо-

дить в непосредственный контакт и которые должны были охранять трассу тоннеля. Эта линия и сейчас была запретной, хотя рыба уже не всплывала тут и тоннель лег в тело земли прочнее и долговечнее ее камней...

Генкин наставник гребет сильными взмахами весел, грамотно, без брызг погружая весла в воду, легко выводя их из-за плеча и делая рывок в конце этого движения, отчего вода чуть слышно булькает. Он даже поворачивает весла ребром к ветру, как военный моряк. Лодка идет быстро и ровно. Глаза его смотрят туда, откуда они так поспешно удалились.

— Гринь! — спрашивает Генка осторожно. — Поглянула, а?

Сарептскую Горчицу зовут Григорием, Гринькой, но он переименовывает свое имя — Гаврош, видя что-то общее в своей судьбе с судьбой маленького собирателя патронов в бессмысленной революции Анжольраса, где во имя книжных идей лилась настоящая кровь. Он не откликается на свое имя — и продолжает гребти, сильно налегая на весла.

— Гаврош! — опять спрашивает Генка. — Клевая, да?

Гаврош смотрит на него, но — пожалуй! — и не видит.

— Помолчи! — говорит он после долгой паузы.

Над берегом в светлое небо вонзается ракета, оставляя за собой дымный след. Где-то начинает тарыхтеть мотор. Гаврош резко разворачивает лодку и режет волну так, чтобы течение помогало пересечь реку.

— Наблюдают все-таки! — говорит он почему-то довольно. — Военная тайна, понимаешь, все-таки! Вот молодцы, понимаешь...

Гаврош, как все мужчины, большой стратег и политик. Все тонкие и сложные извивы мировой политики известны ему, как пять пальцев своей руки, — это свойство только мужской натуры. Впрочем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы знать — за рекой враг. Многие пограничные заставы носят имена солдат, убитых здесь в мирное время; Никита Карацупа и Иван Разумный известны всем в крае, как и имена их собак — Индус и Рекс, сотни переходчиков благодаря им закончили свои переходы навсегда, чтобы уже не делать гадости честным людям; о Хасане поют песни; о Халхин-Голе просто не успели сложить песен, но — каждый знает это! — там впервые применен страшный танковый утюг против дивизий армии принца Такеда, а сам принц, взятый в плен вместе со всем своим штабом, где-то пишет мемуары о своем опыте общения с Советской Армией. Гаврош не раз сам видел желтые запретительные знаки на берегу реки, научился пить только кипяченую воду, и даже его, независимо из независимых, каждую весну и каждую осень подверга-

ют инъекциям каких-то вакцин, и его бедный зад болит, как у всех прочих граждан, после инъекций довольно долго, но он знает, что это — против холеры и против чумы, а зная это, не может сохранить свою независимость. Он, правда, не знает, что бактериологические тревоги — результат деятельности красивого капитана Хирадзакура Дзенсаку и его высоких покровителей, но он знает, что за рекой враг. Этого достаточно для того, чтобы он не сопротивлялся прививкам, которые делали всем, поднимая людей в пять часов утра, чтобы застать в постели, — так вернее, — и послушно глотал мутную жижу, которой угощали хозяев гости, студенты медицинских учреждений. От матери он знает, что до 1932 года край посещали ежегодно страшные гости — летом холера, поздней осенью чума — и что теперь о них и забыли! Гаврош пошевеливает веслами, прислушивается к тому, как дрожит весло в воде, преодолевая сопротивление течения...

— И вообще, — говорит он, — молодцы! Вдруг война, понимаешь! Налетели, бомбы сбросили — мост долой! И вот пожалуйста! — отрезали, значит! И переправу не дают навести — бомбят, понимаешь, ужас как... День — ночь, день — ночь... Ба-ба-бах! Б-бах! Вот какое дело выходит. Труба, понимаешь! Труба... А тут, понимаешь, говорят: это дело кепское, так, товарищи, у нас с вами не пойдет, говнюки, понимаешь, мы с вами будем, если японец у нас амурский мост выведет из строя. Гордость же народа мост-то! И вообще! И говорят, — Гаврош делает жест, словно что-то протыкает насквозь, и заканчивает: — Давайте, товарищи, вот так! И — тоннель... Факт!.. Тут вдруг война, понимаешь! Налетели, бомбы сбросили, мост — к черту. И переправу не дают навести — бомбят, понимаешь, день и ночь. Ужас! Микаде докладывают — так, мол, и так, ваше японское величество: ваше задание выполнено! Ну, он, известное дело, всех в генералы производит, салют, понимаешь! А у нас, — Гаврош давится от смеха, — поезда идут себе и идут. Войска, снаряжение, продовольствие, танки, оружие, самолеты — тройное, понимаешь, превосходство. И — крышка!..

Генка во все глаза смотрит на Гавроша. Вот дает!

Они плывут уже вдоль высокого берега, к лодочной станции. Стратег по каким-то известным ему приметам направляет лодку то правее, то левее, выискивая слабые потоки в течении реки, и ловко минует утес. За утесом тихая вода и лодочная станция. Лодка от сильного рывка веслами наполовину выскакивает на берег. Смотритель, колченогий, подслеповатый, приземистый, вполпьяна выполняющий свои обязанности, весь колючий, заросший темной густой шерстью, которая покрывает его небритые щеки, грудь и шею, спину и узловатые длинные руки, обнаженный до пояса — в наруше-

ние всех правил несения службы! — подбегает к ним, хватается за шкертик, тянет лодку на берег вместе с ребятами, стучит кулаком по борту и кричит, картавя:

— Грринька! Я тебе другой раз лодку не дам, вот увидишь! Говорил — на час, а где теперь солнышко-то! Порядочные люди не могут покататься! Порядочные!..

Гаврош расплачивается в кассе, с достоинством вынимая из кармана двадцать пять рублей. Генка таращится на деньги, вспоминая, как однажды он держал в руках такой капитал, и ладони у него чешутся: вот бы так же вынуть-то из кармана — на, получай! Он скребет свои мозоли и морщится — опять натер, хотя, кажется, уже и натирать нечего.

Они поднимаются в парк прямо со станции — вверх на сорокаметровую высоту, по альпийским тропинкам. Гордость не позволяет им, вольным сынам эфира, подниматься в парк по лестницам. Они помогают себе, цепляясь за кустарники. Останавливаются, чтобы передохнуть. Перед их глазами солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья, оба берега Амура, течение и ветер, облака и движение людей и лодок, парходов и времени. Гаврош глядит на левый берег.

— На Арсенале, значит, работает! — то ли спрашивает, то ли утверждает он.

Генка не сразу догадывается, что речь идет о рыженькой. Но Гаврош и не ждет подтверждения от Генки. Просто ему хочется ответить на какие-то свои еще очень неясные мысли...

3

Иван Николаевич с Воробьевым и сухощавым, загоревшим по-армейски, от козырька до воротника, немолодым полковником медицинской службы подъезжают на автомобиле Воробьева к школе. За ними идет открытый «джип» с офицерами помладше, помоложе.

Они ходят по школе. Николай Михайлович предупрежден о приезде начальства, хотя и не знает о цели этого визита. Однако, едва он окидывает беглым взглядом прибывших, ему уже и не надо ничего объяснять. Форма военных, их знаки делают понятным все, а также и то, о чем сейчас никто не будет говорить ни единого слова, но что уже нависло над городом, что чувствуется в самом воздухе. Воробьев манит его пальцем-сосиской:

— Товарищ...

— Товарищ Рогов! — подсказывает громко Иван Николаевич, который знает всех работников города не только по фамилиям, но и по именам. — Николай Михайлович!

— Товарищ Рогов! — не соглашается на близость с директором школы Воробьев. — Должен вас официально преду-

предить: об этом посещении никому ни одного слова! Вы меня понимаете?

Рогов и Иван Николаевич обмениваются невольными взглядами. «Ну и дуб!» — говорит взор директора. «Их не сеют, не жнут!» — отвечает взгляд Дементьева. Рогов — старый комсомолец, долго работал в горкоме, ему не раз приходилось, когда болезнь еще не слишком исковеркала ему ногу, выезжать в районы с отрядами ЧОН, на поимку диверсантов, для отражения налетов, когда силы пограничной охраны были не слишком велики, на борьбу с бандитами, и его не надо бы учить азам жизни в пограничном крае. Судя по всему, не позже сегодняшней ночи все население квартала узнает о развертывании госпиталя в здании школы.

— Только что развернули городской пионерский лагерь! — с легким вздохом говорит Рогов Дементьеву.

Иван Николаевич сочувственно пожимает плечами — что делать!

— Успеете свернуть к ночи?

— Да. Если надо.

— Надо.

Военные отделяются от начальства. Они заглядывают в классы, делают мелом какие-то отметки на стенах, придирчиво осматривают уборные. Один говорит: «Я думаю, душевые надо сделать в цокольном этаже!» — «Но ванны-то нужны в каждом! — кто-то говорит, возражая ему. — Ванны-то!» — «Ну, это само собой разумеется!» — отвечает первый.

Николай Михайлович подзывает к себе тетю Настю:

— Дайте звонок! Всех, кто есть в здании, пионервожатых, преподавателей, ко мне в кабинет.

— Мамаша! — обращается к тете Насте полковник. — Тут можно организовать женщин человек пятнадцать — двадцать? Надо вымыть полы и окна. Кроме того, нам санитарки будут нужны, нянечки...

— Организуем! — коротко говорит Иван Николаевич. — Я думаю, комсомол поможет.

— Ну... тогда всё! — говорит полковник. И обращается к Николаю Михайловичу: — Ключи прошу сдать в двадцать ноль-ноль гвардии капитану Мирскому. Товарищ гвардии капитан Мирский! — кричит он. — Прошу познакомиться с директором школы товарищем Роговым.

...Занятия с отстающими прерываются. Пионервожатые звонят в горком комсомола, в гороно.

— А где будут с отстающими заниматься? — спрашивает Генка, для очистки совести заглянувший в школу и отсидевший нудный и долгий учебный академический час в школе, накаленной полдненным жаром.

— Пока неясно! — отвечает Вихров.

Но Николай Михайлович, о чем-то поговорив с Дементьевым, говорит:

— Группа отстающих собирается завтра в школе на улице Ленина. Явка обязательна всем.

Генка меркнет. Он сует в карман единственную тетрадку — все его обзаведение для занятий в группе отстающих — и идет к двери. Вихров выходит вместе с ним, кивает ему головой: надо поговорить! Генка меркнет еще больше — всем им надо говорить, никак наговориться не могут!

— Геннадий! — говорит Вихров возможно более доверительным тоном, видя, как настораживается Генка, ожидая каких-то неприятностей от него. — Ты когда-нибудь думал о будущем? О своем будущем? Ну, например, кем ты хотел бы стать? Понимаешь, какую дорогу в жизни хотел бы избрать...

— Я артиллеристом буду! — говорит Генка и завистливым взглядом провожает военных, которые вышли из школы и усаживаются в свой «джип»: они оживлены и веселы, чему-то смеются, что-то говорят друг другу. Вот кому не надо заниматься в группе отстающих. Раз! Два! Три! Крру-гом! Шагом марш! О-гонь! Ур-ра! Да здравствует День Победы! Тут Генка опять никнет — этот день, или тот день, не вызывает у него радужных ассоциаций...

Вихров задумчиво смотрит на Генку.

— Артиллеристом?! Н-да!.. А артиллерия — это, брат, математика, физика, химия, баллистика, механика, даже металловедение... не говоря уже о расчете, выдержке, отваге, точности... Учиться, брат, артиллеристу приходится всю жизнь...

Генка недоверчиво щурит глаза.

— Только, брат, освоил свою боевую технику в совершенстве, а тут новое оружие, новые взрывчатые вещества, новые конструкции... Вот, знаешь, пушка в момент выстрела выделяет такое же количество энергии, как Днепрогэс за год! Только энергия Днепрогэса идет на освещение, на приведение в движение станков, машин, а энергия пушки — для того, чтобы вытолкнуть снаряд... В наше время, брат Генка, и артиллерия переживает принципиальный перелом, и артиллеристам надо заново учиться, чтобы не стать отстающими, как ты...

Генка ухмыляется: здорово учитель заливает!

Но Вихров продолжает задумчиво:

— «Катюши» видал? Видал. Это тоже артиллерия! Только без ствола. Снаряд сам себя выстреливает и несет к цели. И дело идет к тому, чтобы такой снаряд мог накрыть любую цель, хотя бы за двадцать тысяч километров, тогда как ствольная артиллерия едва достигает ста километров полета снаряда... Вот так...

Бравый артиллерист сначала презирает все эти разговоры. Он курит самокрутку, небрежно сплевывает на сторону и дергает за шнур замка и наслаждается грохотом, который производит его пушка. Но потом он становится серьезным,

улыбка исчезает с его уст. Его пушка уже не грохочет, да она уже и не пушка — так, поросята в загородке! — но они вдруг срываются со своего ложа, выпускают длинный огненный хвост и пересекают полмира, они ложатся в цель — и целый город перестает быть тем, чем был до сих пор. И приходится артиллеристу, кроме разных премудростей, вроде математики и физики, заниматься и механикой небесных тел — ведь, пока снаряд летит, Земля вращается вокруг себя и вокруг Солнца, — и астрономией. Артиллерист вынимает вдруг из кармана диплом института цепных реакций и становится похожим на научного работника, и уже не сплевывает на сторону, и уже не вертит в прокуренных пальцах самокрутку...

Н-да!..

— Да про меня и в книге записано, что я буду артиллеристом! — не так уж браво говорит Генка, немного приунывший от картины, представшей его взору во время этого разговора. Он враждебно ждет, что Вихров скажет сейчас: чепуха это, никто тебе ничего записать не может, и каждый человек сам кузнец своего счастья. Но Вихров, кажется, признает книгу, в которой записано — быть Генке Лунину артиллеристом. Он только раздумчиво говорит:

— Записано-то это, брат, записано... Очень может быть и так! Да только, знаешь, под лежащий камень и вода не подтечет, наши деды говорили. Вот в списке группы отстающих и ты записан, — а я тебя в первый раз сегодня увидел. Без труда, говорят, не вынешь и рыбку из пруда. Для того, чтобы почесать зад, говорят, нужен палец и воля к действию...

Говорят! Кто и где они, эти «говорят»? Вот уж скажут так скажут — словно припечатывают. В одно ухо войдет, из другого — жди не жди — не выскочит.

— А уж родного языка не знать, — добавляет Вихров, — это самое последнее дело. И собака по-собачьи лает, а не хрюкает. А иной человек, своего языка не зная, тоже вроде по-собачьи лает: «железно», «килять», «шмара», «ни чик», «дай сорок», «шамать»...

Генка молчит. Какое-то движение происходит в его душе, но что это за движение — кто знает! Вихров поднял руку на бога — он произнес слова, которые так величаво и впечатляюще произносит Сарептская Горчица, он же Гаврош, он же Гринька. Генка встает. Долго сопит, вспоминая слова человеческого языка, и наконец выдавливает из себя:

— Можно я пойду, а?

Вихров молча кивает головой: «Иди, я тебя не держу! Иди!»

Вот и сейте разумное, доброе, вечное; сейте — спасибо сердечное скажет вам русский народ! Хорошо, что Генка не сказал вслух те слова, которые почудились Вихрову в его насупленном взоре, — отнюдь не литературные, хотя и не собачьи.

Бабка Агата входит к Фросе.

От нее исходит какое-то сумеречное сияние. Она вся в черном, но лицо ее светится тихой радостью. Она подходит к Зойке, которую сегодня не отправили в ясли. Зойке придется идти другим маршрутом в этот день. Бабка Агата наклоняется над кроватью, ласково, двумя пальцами, широко расставленными, она шутливо бодает Зойку, приговаривая: «Идет коза рогатая, и-дет, ко-за боро-датая. Вот-вот-вот забодаю тебя!» — и щекочет Зойку. Та заливаясь счастливым смехом и лукавыми, готовыми выскочить глазами следит за рукой бабки — время от времени она взглядывает своими смысленными глазками и на бабу, но тотчас же переводит взгляд на козу рогатую, которая доставляет ей искреннюю радость.

Зойка вымыта и наряжена. Весь ее убор красивого розового цвета — такого, какой положен девочке, в отличие от голубого цвета, положенного мальчишам! Все, все на ней розовое — и распашоночка, и ползунки, и чепчики, и все прочее. Можно считать все это тюлем, так как благодарность Марченко обратилась в Зойкино убранство.

— Розанчик! — говорит бабка Агата, но смущается слишком светского тона и слова и уже по-иному произносит, беря Зойку на руки: — Ну, пойдем, раба божия Зоя!

Фрося несколько хмурится. Она начинала учиться в школе тогда, когда букварь начинался словами: «Мы не рабы. Рабы не мы», и что-то от этих гордых слов осталось в ее душе и сейчас противится зачислению ее дочери в рабы, хотя бы и божьи. Она ревниво берет Зойку из рук бабки Агаты, чмокает в толстые, розовые щечки, пламенеющие в отсветах розового белья, и они выходят вместе. Хотя новая кофточка Фроси, нарядная, со вставкой гипюра на груди, с рукавами ниже локтя и гипюровой оторочкой, при этом немного мнется, Фрося несет Зойку сама. На ней новая же юбка и чулки, которые Фрося бережет как зеницу ока, — шелковые же, по шестьдесят рублей же!

Они спускаются по лестнице и выходят за калитку. Там ожидает их Людмила Михайловна Аннушкина с выводком своих близняшек. Она тоже принаряжена, и милое лицо ее выглядит как в праздник. Девочки виснут на ее руках с обеих сторон, каждая со своей: Наташка — справа, Леночка — слева. «Ма-ам! Ну, мам же! Ну, мы тоже с тобой! Ну же! Ну, ма-ам!» — «Отстаньте, девочки!» — говорит Людмила Михайловна, отбиваясь от дочек. — Вы мне всю юбку измяли! Брысь отсюда! — и смеется и сердится. — Нельзя вам!» — наконец говорит она строго, и близняшки тоже сердито отходят от нее. У Наташки слезы на глазах, она бормочет: «Вот увидишь, я

блюдце разобью!» — «Я тебе разобью!» — говорит мать. «А вот и разобью, я неосторожная!» — «Двойняшки?» — спрашивает Агата. «Ага!» — «Некрещеные?» — «Ага!»

Близняшки следят за тем, как женщины с Зойкой идут по улице Полководца, затем пересекают ее возле исполкома и исчезают в толпе прохожих, текущей беспрерывно по главной улице города, или по правительственной магистрали, как торжественно именуется она в разговорах милиционеров между собой, когда их наряжают на посты.

Потом они идут во двор. Сначала держась за руки, чувствуя себя бедными сиротками, потом вприпрыжку скачут по шаткому тротуару. В окнах комнаты Фроси что-то мечется. Это Генкина говорящая галка! Галчонок подрост уже изрядно. Жрет он, как лошадь. И издает противные крики. Он взлетел на подоконник и разевает рот, с которого уже исчезли желтые уголки.

— Говорит! Говорит! — кричит Наташка сестре. — Я слышу!

— Что говорит? — спрашивает доверчивая Леночка. — Я не могу разобрать...

— Вот послушай! — делает коварная Наташка большие глаза. — «Ленка — дура! Ленка — дура!» Слышишь? — Она показывает Леночке язык и убегает, крича: — Не трогай меня, а то я маме скажу, что ты меня била! Не тронь!..

Но Леночка незлобива, она только на одну секунду подносит сложенные пальцы ко рту, чтобы унять гримаску боли, причиненной ей сестренкой, и потом забывает обиду.

— А что теперь с Зойкой сделают? — спрашивает Наташка Леночку.

Та пожимает плечами.

А это больно? Креститься-то? — опять спрашивает Наташка и раскрывает свои голубые глаза, припоминая, как мать однажды кричала на Мишку: «Ну, только приди домой! Я тебя окрещу! Я тебя окрещу, только приди с двойкой!»

5

Вихров сидит на берегу.

Это редкое удовольствие. Но сегодня исключительный день — вдруг полная свобода, в силу обстоятельств, которые не подчиняются папе Диме, обстоятельств, прямо сказать, угрожающих этой великой тишине и покою, которые владеют сейчас городом, и берегом, и рекой, и жизнями людей. Он по-мальчишески воспользовался своей свободой, ушел из школы, где он сегодня не нужен, — и на берег! Можно взять лодку и покататься! Можно искупаться! Можно уехать на ле-

вый берег! Можно все... И никто не скажет: «Зачем лодкой? Давай лучше на речном трамвае проедемся!», «Не сиди в воде долго — у тебя же эмфизема — и не лежи на спине в воде — сгоришь!» или: «Ну, если на левый берег ехать, надо с собой что-то взять поесть и подстелить под себя!»

Он кидает мелкие камешки в воду и наслаждается возможностями, какие ему открываются. Может быть, ни одной из них он и не воспользуется. Но приятно само сознание, что возможности есть! От падающих камешков расходятся мягкие волны кругами. Если кидать их часто, волны пересекаются, переплетаются в очень красивый круговой узор.

Чья-то тень падает на него.

Вихров поднимает голову. На волнах качается оморочка, как по старой привычке Вихров называет байдару. Чуть-чуть подшлепывают ее по пологим бокам ребристые волны, которые гонит теплый ветер по реке. По щиколотку в воде стоит молодая женщина, глядя на Вихрова. Солнце бьет ей в спину и золотым контуром обрисовывает ее фигуру. Легкий сарафанчик из светлой ткани с какими-то трогательными деревенскими цветиками надет на ней. Но сарафанчик только светлой дымкой окружает ее тело, которое просвечивает через ткань. «Здравствуйте!» — говорит молодая женщина и придерживает двухлопастным веслом байдару, жаждущую ринуться по этим веселым, ласковым и задорным волнам куда-нибудь...

Вихров узнает Зину.

Ему приятно, что она узнала его и что она здесь, возле него.

Зина говорит:

— Поехали на тот берег! Одной что-то не хочется...

Вихров немного смущен. Но глупо ведь делать из этого событие! Ну, поедем. Ну, посидим там, на левом берегу. Что из этого? И вместе с тем — Вихров не может скрыть этого от себя — эта неожиданная прогулка, предложенная с такой простотой и сердечностью — и верно целое событие для него! Он заставляет умолкнуть все «но», которые на этот или подобный случай всегда есть в широком ассортименте у любого человека. Черт возьми, неужели нельзя хоть на минуту стряхнуть с себя прожитые годы и вот так — бездумно, без колебаний и сомнений — позволить себе какую-нибудь мальчишескую выходку!

— Поехали! — говорит он беспечно.

Вот так же он когда-то, не умея плавать, — давно, еще мальчишкой, на северном побережье Охотского моря! — выехал на своей лодке подальше от селения, выбрал бухточку попустынное да и прыгнул с лодки в неведомую глубину, потому что было стыдно учиться плавать в присутствии при-

морских ребят, плававших как рыбы. И поплыл. Правда, перед этим он пережил смертельный ужас, когда понял, что под ногами у него не дно, а неверная, холодная, податливая вода, вода и вода — и ничего больше!..

Байдара крытая, с брезентовым корпусом и фанерным верхом. На ней могут уместиться двое, если ноги второго пропустить под локти первого. Вихров садится впереди. Зина — за ним. Зина взмахивает веслом, выгоняя лодочку с акватории станции. Вихров морщится и протягивает одну руку над головой и сжимает и разжимает кисть — весло сюда! Грести должен мужчина, а мужчина сидит впереди. «Я сама!» — говорит Зина. Но требовательная рука не отступает от своего. Зина вкладывает весло в эту руку. И ее вольные волосы падают на руку Вихрова. Удивительно приятное прикосновение! Он гребет, стараясь не задеть колени Зины. И не может не смотреть на ее маленькие ноги, босые, с аккуратными пальчиками, которыми она время от времени шевелит, — видимо, не так уж удобно сидеть позади. Ноготок на большом пальце покрыт светлым лаком. «Ого!» — думает Вихров, которому женщины с лаком на ногтях ног кажутся весьма аристократическими, напоминают юность, Владивосток, которому всю жизнь принадлежит его любовь, и... Он не был монахом. И не был тем из праведников, ради которых всевышний щадит грешные города...

Амур он знает. Он уже нашел ту золотую линию, при которой встречное течение сильно относит лодку на левый берег. И вот уже правый берег отступил, уменьшился и люди на нем кажутся совсем маленькими, не больше муравья, а левый все растет и растет и показывает свои заводы, рощицы, отмели, холмы — что угодно для души. Байдару почти не относит назад, ниже.

Бедра его согреваются теплом Зины — она ведь обнимает его ногами, и когда она поворачивается или легонько приподнимается, чтобы рассмотреть, куда они плывут, это объятие становится теснее. Она молчит. Только один раз сказала: «Пересекли Амур почти по прямой!» Если не считать тепла, идущего от ее тела, — можно было бы подумать, что сзади и нет никого. Так можно ехать только с очень близким человеком, который, будучи известен тебе и зная тебя, не выказывает своего характера, ничем не отягощает твоего внимания, а всегда понимает тебя не только с полуслова и с одного взгляда, но по малейшему движению, без слов, потому что он и ты — одно!

Сознание этого приходит к Вихрову как-то потихоньку и оставляет в его душе и чувство радости и некоторое чувство недоумения. Но он всегда готов принять в свое сердце любого человека, заранее веря ему и считая своим другом, сам го-

товый на дружбу и приязнь, и чувство недоумения скоро исчезает, а остается только легкая радость.

Вдруг Зина говорит:

— Дайте весло мне! Я хочу в свою бухточку! Можно?

Теперь гребет она. И Вихров отмечает одобрительно, что удар весел в этих руках крепок и силен и лодочка мчится стрелой...

— А вы умеете! — замечает он.

— Учили... Муж! — отвечает Зина и добавляет: — После его гибели я три года в руки весла не брала. Сегодня впервые...

Она огибает большую отмель. Под самым дном байдары — песок, сложенный течением в барханы или крошечные дюны. Глубина какие-нибудь пятьдесят сантиметров. Юркие рыбешки, не боясь людей, стаями проплывают над этими барханами. Только когда весло касается дна и поднимает маленькую песчаную бурю, рыбешки вмиг исчезают, думая, верно, что вблизи появился крупный хищник. От байдары на барханы ложится яркая тень и, ломаясь на изгибах барханчиков, несется, несется ко дну. Стихают отдаленные голоса людей. Гудки речных трамваев, пыхтенье машин катеров — все это уходит куда-то в прошлое столетие, а здесь невозбранная тишина и покой! И ветер пролетает где-то повыше. И солнце греет не скупясь. И деревья — плакучие ивы — образуют здесь тенистый шатер, готовый скрыть путешественников от всего мира...

— Боже, как хорошо! — невольно вслух думает Вихров.

— Нравится? — спрашивает Зина и сама себе отвечает: — Рай земной! Тот самый рай, который обещают на том свете, да не дают!

Три года не была Зина здесь.

Но только ивы еще больше свесились над водой да подросли кустарники. А остальное все по-прежнему. Вот вилка с подпоркой — ее поставил Мишка. Вот, уже обвалившееся, углубление в холме: Мишка строил себе убежище от злой, надоевшей жены, а потом ее самое заточил сюда и не выпускал, пока она не стала доброй женой. Вот обугленные корни и сучки: Мишка разжигал костер... Все здесь вызывает воспоминания и воскрешает радость прошлого. Каким чудом никто не заглянул сюда и не разрушил здесь бывшего очарования, не стер следы счастья Зины, гостившего здесь вместе с нею!..

Байдару отнесли в укрытие под ивняком, чтобы не слишком обсыхала. Вихров вопросительно глядит на спутницу: «Что будем делать?» Она широко разводит руками, щедро отдавая ему и песок, и солнце, и траву на гребне песчаных холмов, и деревья — все это ваше! Она сбрасывает с себя сара-

фанчик и остается в плавках и хитром лифчике, скрывающем от глаз только то, что надо укрыть, но ни на сантиметр больше. Загорать ей приходится редко — работа! — но все же золотистый налет уже покрывает ее тело. «Как она сложена!» — восхищенно вздыхает Вихров, боясь обеспокоить Зину взглядом, но она не обращает на него внимания. Бежит к байдаре. Вытаскивает из какого-то тайника сверточек — еда! Вот так сюрприз! Яйца, масло, сыр! И немножко хлеба! И термос с крепким чаем...

Она делит все на две части. Половину прячет в тайник. Половину разбивает на две порции — себе и Вихрову. «Поедим! Потом позагораем немного! И обратно! Хорошо?» Еще бы не хорошо! Ни в движениях Зины, ни в ее взглядах, ни в ее действиях нет и тени принужденности: тот, кто с нею, — ее друг! А друзья готовы разделить и кусок хлеба, и радость, и горе. Не правда ли?! Как вкусно! Как уютно! Как хорошо!..

И Вихров остается в одних трусах, немного стесняясь их ширины и неспортивного покроя. У него крепкие, тугие плечи, сильные руки, спина спортсмена, ни грамма лишнего жира. Зина внимательно разглядывает его, делая это как-то не обидно, а очень естественно.

— Вы занимались спортом? — спрашивает она.

— Было дело! В свое время, когда еще на Главной улице мостовой не было. И гребец, и лыжник, и ворошиловский стрелок, и парашютист, и значкист «ГТО»! Вот я какой! — смеется Вихров, но с удовольствием припоминает: — Когда-то я был, как тогда говорили, полный значкист! На торжественных собраниях общегородских у знамен в почетном карауле стоял! А теперь — все в прошлом! — и он опять смеется.

— Ну, не все в прошлом! — говорит Зина, доедая свой завтрак и закапывая остатки его в песок — так ее учил Мишка, чтобы не оставалось мусора. — Можно я вас буду называть дядя Митя?

— Хм-м! — произносит Вихров. Это имя не очень нравится ему, но стерпеть его можно.

Они бредут в воду. Плавают. Вылезают на берег. Обсыхают на песке. Они почти не разговаривают. Почему-то им хорошо и без разговоров. И Зину охватывает странное ощущение — как будто что-то возвратилось из того далекого, неповторимого времени, наполненного счастьем, как вода наполняет реку. Ей все кажется, что вдруг знакомая, милая, желанная — и сильная и нежная! — мужская рука таким до боли родным движением опустится ей на плечи, и крепко обнимет, и заставит забыть обо всем на свете.

В каком-то забытьи, захваченная этим чувством, как бы желая вернуть все, что так грубо было отнято у нее, она говорит Вихрову:

— Я хочу попросить вас, дядя Митя: ненавижу загар кусками — вы отвернитесь или отойдите за кустики, а я только полчаса полежу без всего. У меня кожа хорошая. Я загораю мгновенно!

Ну что ж! И ничего особенного. Это просто выражение доверия.

Все делают так. И Вихров загорал на левом берегу со своими друзьями и с мамой Галей — только действовал железный уговор: того, кто подсматривал, выгоняли с позором и больше никогда не принимали в эту игру...

Зина лежит на песке, широко раскрыв руки, открыв солнцу пальевые подмышки и раздвинув ноги. Солнечные лучи так и обжигают тело, и легкая, приятная дрожь охватывает иногда ее: высыхает влага на коже, и чуть видные волосики на теле встают дыбом от этого тепла, и словно какие-то волны окатывают тело, и нежится оно в потоках горячих лучей, и кажется — вот-вот тело растворится в этом потоке и летучим облачком взмоет вверх... Она поворачивается на один, на другой бок, чтобы солнышко всюду достало, ложится вниз лицом и закалывает волосы на темени узлом, чтобы загорела и шея.

Дважды она высматривает из-под наставленной козырьком ладони: где ее молчаливый и милый спутник, так пришедшийся ей по нраву, умеющий быть таким ненавязчивым и, вместе с тем, добрым?..

Вихров сначала жарится на солнце, но вдруг инстинктивно чувствует: быть ему карасем на сковородке, если он еще хоть одну минуту побудет под этим солнечным душем! И он осторожно сползает в низинку, туда, где ложится тень ивняков. И блаженно вздыхает полной грудью. Он чуть косит глаза на Зину — боже мой, наградит же природа таким сложением! — но целомудренно отводит взгляд и больше не разрешает себе делать это. Доверие обязывает...

Но что-то делается с солнцем и природой.

На какой-то точке солнце вдруг, влучая нестерпимый жар, затмевается желтой дымкой. Ветер исчезает совсем. И застывший в безмолвии воздух уже не радует, а угнетает все живое. И замолкают в рощах птицы. И волны перестают плескаться в реке. И воды реки принимают каленый оттенок. И тени исчезают, растворившись в этом мрачноватом свете, который сменяет ласку солнечных лучей. И в желтоватой дымке на горизонте появляются какие-то ослепительно белые полосы...

Вихров с тревогой всматривается в эти полосы.

Забыв об осторожности, он поворачивается в сторону Зины и говорит:

— Зиночка! Нам надо удирать сейчас. Или искать укрытия здесь и переждать, пока не пройдет грозовой фронт!

Зина, не ожидавшая его возгласа с этой стороны, испуганно вскакивает и, резким движением ладоней закрывая груди и живот, говорит:

— Это нечестно, дядя Митя! Я думала, что вы там, выше!..

— Идет большая гроза! — говорит, отворачиваясь, Вихров. — Надо нам поискать здесь укрытия. Я не вижу, как мы защитимся от грозы. Разве только ляжем вместе под байдару! Это не самый лучший способ, но...

Зина одевается в одно мгновение. И стоит, рассерженная, перед Вихровым, который никак не может попасть в штанину и пляшет на одной ноге. Она говорит строго:

— Едемте сейчас же на правый берег.

— Поверьте, Зина! — говорит Вихров, наконец осваивая свои штаны. — Я не позволил бы себе обмануть ваше доверие. Но только не рассчитал, что вы вскочите как ужаленная... А потом — я боюсь, что мы не успеем пересечь Амур. Встретить же грозовой фронт на реке я бы не хотел. Это очень опасно, Зина!

— Испугались! — проронила Зина.

Если вы хотите подтолкнуть человека на неразумный поступок, назовите его трусом, и самый умный человек совершит самую дикую глупость. Это называется в психиатрии комплексом неполноценности.

Вихров толкнул байдару в воду.

Он уселся впереди и засунул ноги под верх, чтобы Зина могла усесться поудобнее. Села и Зина, стараясь не прижиматься коленями к бедрам Вихрова. Напоследок Вихров обернулся. Зина насупилась, думая, что он ищет ее взгляда. Но Вихров глядел не на Зину. Он смотрел на Хехцир, из-за которого выходил грозовой фронт. Белая полоса, которая так обеспокоила Вихрова, стала еще шире и ярче — фронт приближался. А под ней, внизу, стала различаться теперь свинцовая муть, тяжелое месиво темных туч...

Вихров погнал оморочку с такой силой, что мимо только замелькали отмели, бухточки, кустарники, заводи, перелески. Негромко, но очень серьезно он сказал:

— У меня к вам тоже просьба, Зина! Слушайте меня. Ничего не говорите и не подавайте мне советов. У женщин есть такая привычка... Переправа будет трудная...

— Очень мне нужно! — ответила Зина. — Не люблю хвастунов!

Милованова, объятая крайней тревогой, пришла к Вихровой.

— Извините, Галина Ивановна! — сказала она. — Вашего мужа нет дома? Как жаль! Я хотела посоветоваться с ним...

— Что случилось, Любовь Федоровна? — спросила Вихрова.

Милованова вдруг разрыдалась. Недоумевающая Галина Ивановна подошла к ней и стала успокаивать, заставила сесть, подала воды. Милованова, стуча зубами о край стакана, выпила воду, вытирала кружевным платочком слезы, комкала платочек в руках и никак не могла успокоиться.

Галина Ивановна не любила сцен, не любила слез и сама плакала так редко, что папа Дима не раз говорил ей: «Ты не женщина, мой друг! Женщина должна плакать, чтобы отличаться от мужчины, который не имеет права плакать, он — по всем прописям! — должен лишь крепко сжимать зубы и без звука переносить все жестокие испытания. Но я люблю тебя, пожалуй, и за то, что ты не такая, как все!»

— Что же все-таки случилось? — повторила Вихрова.

— У меня нет больше сил, Галина Ивановна! — сказала Милованова жалобно. — Нет сил! Вы знаете, что я четыре года страдала и переживала за мужа, когда он был на Западе. И окружение, и партизанский край, и ранения, — кажется, все беды и страхи прошел, и выздоравливал, и опять шел в свою часть. Навоевался за десятерых. Все круги Дантова ада прошел. И жив остался и не был изувечен. Дождался Дня Победы. Встретил его в Берлине — вы понимаете, что это значит! И написал: «Жди меня, и я вернусь!» Честное слово, так написал — он очень любит Симонова... И я ждала его! Ах, Галина Ивановна! Дождалась. Он приехал. И что же?

— И что же? — повторила Вихрова.

— Он опять на переднем крае! Всего неделю побыл дома. Я в отчаянии. Я не могу переживать второй раз — все сначала, весь этот ужас! Ведь должен же быть какой-то предел испытаниям!.. Опять адрес — почтовый ящик. И где-то в двух шагах отсюда они зарылись в землю, а я не знаю — где, даже поехать не могу, хоть издали посмотреть на него! Что делать? Что делать? Я хочу написать командующему: пусть они пощадят его, если уж вражеские пули его не убили! Пусть они меня пощадят! Ведь есть же такие, кто не воевал на Западе, — пусть они теперь воюют на Востоке...

Игорь подошел к дивану, на котором сидели мать и гостя.

— Кто тебя оби-дел? — спросил он, пристально глядя на Милованову. — Ты не плачь! Плачут только бабы...

— Игорешка! — сказала мама Галя. — Ты нам не мешай, пожалуйста. Любовь Федоровна очень переживает, вот и плачет.

— Ничего, Игорек! Я сейчас перестану! — сказала Милованова, глядя на вихренка сквозь ливень слез и почти не видя его. Галина Ивановна молча обняла Милованову, все тело которой сотрясалось от рыданий. Что делать? Ничего! Все дело в том, что она просто одинока — детей у Миловановых нет. Муж приехал, поманил счастьем встречи, радостью свидания и — только раздражил. Не в письме командующему дело — просто ей надо кому-то излить свою муку, свою печаль, свою боль, просто надо поплакать, надо высказаться. Она сидела спокойная, но не безучастная и тихонько поглаживала рукой бессильно опущенные плечи Миловановой, ожидая терпеливо, когда пройдет этот приступ ее жалости к себе. Игорь уместился возле, сунув голову под руку матери и внимательно следя за тем, как текут слезы по щекам Миловановой, сморщив лоб, насупив брови и жалостливо сжав губы. Слезы были редкостью в доме Вихровых, и он наблюдал это явление с сочувствием и с некоторым любопытством: а откуда они текут? где они помещаются, когда не льются?

Кот Васька, слышав разговоры, тоже подошел к дивану. Выгнув спину, понюхал подол Миловановой, потерся носом о ее туфли. И стал тереться пушистым боком о ее ноги, словно тоже утешая. Потом забрался на колени к Игорю и, полужакрыв глаза, завел свою песню.

— Если вы напишете такое письмо командующему, — сказала мама Галя тихо, когда Милованова совсем уже изнемогла от слез, — вы поставите мужа в очень неловкое положение перед остальными офицерами. Они тоже устали от войны, тоже хотят вернуться домой. Поверьте, что ему не легче...

— Перед отправкой мы с ним всю ночь проревели! — сказала Любовь Федоровна. — Какой он офицер! Он физик и скрипач! Понимаете?

— Другие офицеры тоже были кем-то до войны, которая превратила их в солдат. Не ухудшайте его настроение этим письмом...

— Так вы не советуете?

Галина Ивановна покачала головой отрицательно. И прислушалась.

У соседней Генка каким-то безнадежно-настойчивым голосом говорил: «Ну скажи: «Хоррошо!» Ну, «хоррошо!» «Хор-ро-шо!» Вот как тресну об пол — только перья полетят!» — «Кар-р!» — отвечал ему галчонок. «Ну, скажи «хор-ро-шо!» — «Кар-р!» — «Ах ты паскуда! Я тебе дам кле-

ваться! Ты у меня поклюешься! Ну, «хор-рошо!» — «Кар-р!» — твердил свое галчонок.

Васька перестал петь и поднял голову, двигая ушами.

— Какая вы сильная! — сказала Милованова, невольно успокаиваясь, и даже улыбнулась жалкой улыбкой Игорю. — Вы всегда такая? Вашему мужу можно позавидовать! Теперь я понимаю, отчего он так выдержан всегда — не вспылит, не накричит. А ведь его болезни врагу не пожелаешь. У меня дядя болел — годами мучился! Вы сильная!

— Я слабая! — рассмеялась мама Галя. — Мышей боюсь!

— А у вас есть?

— Нет, все равно боюсь!..

Ей удалось несколько развеять настроение Миловановой.

Но резкий крик галчонка заставил вздрогнуть их обеих.

Что-то полетело в комнате Фроси, Генка заругался, хлопнула дверь, застучали сухие ноги по коридору, и галчонок стал на пороге в комнату Вихровых, ошарашенный светом и чужими людьми. «Кар-р! Кар-р!» — сказал он, разинув свой железный клюв. Увидев его, Васька сорвался с рук Игоря и кинулся в кухонную дверь, прочь от говорящего галчонка. Над галчонком возникла из темноты коридора распаренная и злая физиономия сына Марса и Стрельца, которому так и не давались лавры Песталоцци и успехи Ушинского. Он грохнулся на пол и накрыл галчонка шапкой...

Милованова спросила его с удивлением:

— Лунин Геннадий, что ты делаешь здесь?

— Учу птенца говорить! — сказал Генка, зажимая галчонку пасть грязной рукою.

— Сосед наш! — сказала Галина Ивановна.

— Невозможный экземпляр! — покачала Милованова головой и усмехнулась. — Учит говорить! Из-за него весь класс разучился по-русски говорить, писать и, кажется, думать...

— По-моему, он довел своего ученика до крайнего состояния истерии! — сказалз мама Галя. — Он даже ночью кричит. Только уснешь — вдруг «кар-р!». И такой дикий. Васька как-то подошел к нему, чтобы выяснить, что это за фрукт такой, — тот ка-ак долбанет Ваську по голове, до крови. Видели, как наш храбрый сторож вылетел из комнаты!

— Вась-Вась-Вась! — позвал Игорь. — Иди сюда. Он ушел уже!

На крыльце слышались шаги, голоса.

— Кто-то идет! — сказала мама Галя и выглянула из дверей в коридор.

Она увидела уставших и не очень-то веселых Фросю с Зойкой на руках, бабу Агату и Людмилу Михайловну. «Ну, кумушки! — сказала Фрося. — Зайдите, закусим чем бог послал!» — «Христос с тобой, доченька!» — сказала бабка Агата,

вытираясь кончиком черного платка и обмахиваясь несильно. Лицо Фроси было красно и недовольно. Людмила Михайловна поздоровалась с Вихровой, сказала Фросе: «Я сейчас приду! — И спросила маму Галю: — Как мой выводок там? Не сожгли мою хату? Вам-то из окна все видно!» — «Сидят на крылечке, играют в магазин!» — сказала Вихрова. Но, как видно, Людмиле Михайловне нужен был предлог, чтобы войти к Вихровым, потому что она сказала: «Дайте-ка я взгляну на них через ваше окошечко!» — и оказалась в квартире мамы Гали. Она прикрыла за собой дверь, подошла к окну, но не стала и глядеть на своих девчонок, а махнула рукой и сказала:

— Ой, Галина Ивановна, родная! Не могу вам не рассказать!

— Да что случилось? — спросила Вихрова, видя, что Людмилу Михайловну разрывает какая-то новость.

— Зойку носили крестить, чтоб нам к чертям в пекло провалиться! — сказала Людмила Михайловна. — Да чтобы я еще хоть раз в жизни ступила в церковь хоть одной ногой — ни за что на свете! Ой, стыдобушка наша! И смех и грех!

И, то всплескивая руками, то драматически складывая их на полной своей груди, то расширяя красивые свои глаза, то закрывая их, чтобы подчеркнуть ужас и позор происшедшего, торопясь и оглядываясь на дверь в коридор — как бы Фрося не услышала! — то вполголоса, то шепотом Аннушкина рассказала Вихровой и Миловановой, как они окрестили сегодня Зойку.

Они долго ждали очереди. Желающих оказалось столько, что попасть в храм им удалось только через полтора часа, сначала молча, а потом уже переругавшись с очередными. На улице было жарко. Все теснились в тени церквушки, наступая друг другу на ноги. Крестные отцы и матери, видя, что дело затянется, наведывались через дорогу в буфет, а те, у кого достало терпения не вмешивать зеленого змия в святой обряд, молча выслушивали насмешливые замечания прохожих, изощрявших в остроумии. Все бы это ничего, да...

— Сто рублей! А! Подумайте, Галина Ивановна! Сто рублей это дело стоит... Фрося-то разлетелась, думала — за одну святость окрестят. Деньги, что были, Зойке на приданое истратила да кое-какое угощение кумушкам. А тут вынь да положь! — а то и к купели не подпускают... Ну заняла я ей, прости господи!..

Испытания Фроси на этом не кончились.

Вода в купели была довольно мутной. Людмила Михайловна не выдержала и сказала что-то о санитарии и гигиене. Уставший диакон сердито сказал, что на всех воды не напаешься. Но отец Георгий велел переменить воду. Купель

опорожнили. Диакон еще сердитее вылил в купель ведро воды. Зойку раздели и окунули. Но едва ее нежный зад коснулся воды, она заревела в голос. Фрося сунула палец в купель и чуть не заревела пуще Зойки — вода была горячая! Она вытащила дочку, прижала к груди и потребовала разбавить воду. Разбавили, диакон принес другое ведро воды, на котором виднелись капли холодного пота — прямо из колодца. Плеснул в купель. Зойку опять сунули туда. И она принялась прямо в купели чихать, словно ставить точки после каждого слова попа. Отец Георгий вполголоса заметил диакону: «В своем приходе, отец иерей, вы тоже так будете обряд крещения уважать?» Диакон буркнул: «Вы меня, отец иерей, лучше не троньте!» Тогда отец Георгий запел: «Во имя отца и сына и духа святого крещается раба божия... как звать младенца-то?» — «Зойка!» — сказала в простоте душевной мать, а поп, раздраженный поведением диакона и тоже порядком уставший от стояния на ногах и от чудовищной духоты, которая все усиливалась и усиливалась, так и окрестил дочку Фроси Зойкой, а не Зоей, лишь досадливо крикнув, когда бабка Агата смиренно поправила его...

— Ой, совсем церковь-то испортилась! — сказала Людмила Михайловна. — В детстве, я помню, в церковь попадешь — словно в самом раю бываешь. По секрету скажу, все думка была: не окрестить ли своих-то? — она кивнула головой на свой дом. — А теперь — ни за что!

— То ли церковь испортилась, — заметила Милованова, смеясь, — то ли люди поумнели!

— Ой, и верно, что поумнели!

Фрося из коридора позвала Людмилу Михайловну:

— Кума! Ты зайдешь ли, нет ли...

— Иду! Иду! — ангельским голосом отозвалась Аннушкина и сделала глаза Вихровой. — Вот, пожалуйста, я — уже кума! И смех и грех! И смех и грех!..

Вдруг громко заревела Зойка. Фрося закричала еще громче на Генку. Генка закричал на мать. Бабка Агата стала уговаривать всех сразу и по очереди. «Убери свою падаль сейчас же, а то прибью!» — «Не тронь, он говорящий!» — «Покажи, Зоенька, глазик! До крови ведь прошиб... Убери свою падаль, говорю!» — «Ма-ама! Не тронь! Я сам!» Что-то стукнуло. Заорал говорящий галчонок. И затих. «Дура! — закричал Генка. — Дура! Дура!» — «Ах, ты на мать так кричишь? От горшка два вершка. В сортир без матери не сходишь, а уже душой величаешь!» И опять общий крик, из которого вырывается рев Генки, хлопанье дверей, суматоха.

Вихрова молча кидается в коридор.

Дверь на улицу открыта.

В ослепительно ярком свете, бьющем с улицы, виден Генка, почти падающий с лестницы, а не сходящий с нее. Лицо его залито слезами и искажено злобой, в его руках говорящий галчонок с раскрытым ртом и обвисшими крыльями.

— Дура! Дура! Дура! — все кричит и не может остановиться Генка.

Фрося выскакивает из комнаты с кочергой в руках.

Вихрова останавливает ее.

Зойка плачет. На виске ее видна кровь. Бабка Агата белым платочком вытирает ребенку слезы и что-то приговаривает. Людмила Михайловна в растерянности стоит у дверей с поджатыми на животе полными руками, не зная, оставаться или уйти.

Ну и денек!

Глухой удар грома прокатывается где-то вдали. Один, другой, третий, четвертый, пятый — им нет конца. Идет большая гроза, медленно подбираясь к городу. Жара становится нестерпимой. И хочется раскрыть рот — вот так же, как раскрыт рот у галчонок в руках Генки, который скрывается за калиткой, грозя кулаком своему дому. И матери. Зрелище не из самых красивых на свете...

7

Когда Вихров выводит байдару из тихой протоки — недавнего приюта счастья Зины! — серые волны с белыми гребешками катятся по реке, догоняют друг друга, сталкиваются, рушатся и опять дыбятся ввысь. И кажется, в воздухе тоже ярится большая река — громы, один за другим, волнами, идут из-за Хехцира. И ослепительная полоса грозового фронта занимает уже полнеба, и уже видны в ее сумрачной толще багряно-фиолетовые адские огни. И ветер порывами, точно плюясь в раздражении, бьет вокруг — то справа, то слева, то затихает, чтобы ударить с новой силой. Белая линия подкрадывается к солнцу и понемногу гасит его и сама теряет свою девственную белизну...

Теперь ясно видна чудовищная сумятица перенасыщенных электричеством облаков, что составляют непостижимо большую массу этого облачного скопления. Их точно перемешивают — темные, серые, сиреневые, с фиолетовым отливом, почти черные, грязно-желтые, они клубятся и словно борются друг с другом, чтобы вырваться первыми вперед в этой страшной атаке стихии.

И редкие, крупные капли, предвестники буйного ливня, тяжело падают во взбаламученную, мутную воду Амура, барабаниют по фанерной обшивке байдары и оставляют на ней мо-

крые, расплывающиеся пятна, бьют по разгоряченному лицу и телу и заставляют вздрагивать — они кажутся ледяными после этой духоты и жары, накалившей и воду, и камни, и песок, и тела.

Вихров гребет сильными, редкими ударами лопастей, стараясь не подставлять их ветру — широкие лопасти очень парусят и мешают гребти. Волны окатывают байдару. Очень трудно угадать, откуда ударит следующая. Ветер, несущийся перед грозовым фронтом, из-за Хехцира, ударяется в высокий правый берег, отталкивается от его круч и снова бьет на реку. Волны то справа, то слева, то встают зеленовато-желтой стеной по носу, то окатывают байдару сзади. Шум осыпающихся гребней волн так силен, что гасит все иные звуки, и берега кажутся безмолвными. Да они уже и опустели, словно вымерли — все живое бежит, прячется, ищет себе укрытия. Пустынны и воды Амура — лодки вытащены на берег, подалее от прибоя, катера, баржи, халки — бросают якоря или крепят швартовы у стенок. Только одинокая байдарка несется и несется среди волн и то скрывается за высокими гребнями — кажется, накрыло! — то взлетает, карабкается по волне, повисает на ее изломе и переваливается, зарываясь в воду — гребет, сукин сын, а куда? И мечется дежурный на мостике спасательной станции: посылать катер или уже бесполезно? — ведь ясно, что до байдары катер не успеет дойти. «Дурак!», «Пижон!», «Пьяный!» — так думают те, кто с невольным замиранием сердца следит за движением байдары. «Приезжий!», «Новичок на Амуре!» Кому же еще больше взбрела бы в голову безумная мысль переться через Амур на байдаре, когда осатаневшая гроза вырывается из-за Хехцира!

Вихров берет волны вразрез или наискосок, чтобы не оказаться под их высокими гребнями. Один удар — и лодочка будет перевернута. И все же волны то и дело захлестывают ее. Уже и Зина и Вихров сидят в воде, которая плещется на дне байдары и таскает за собой какую-то бумагу. Ах, это добралась она до несъеденной половины Зинино пиршества!

Уже грозовой фронт — над Амуром.

Где же солнце, еще десять минут тому назад сиявшее в ослепительно ярком небе? Вокруг висят вечерние синие сумерки, и белый цвет исчез из природы — все сине вокруг, и когда Вихров взглядывает на свои руки со вздувшимися от напряжения венами, они кажутся ему обтянутыми синей кожей.

Хмурые тучи идут низко-низко. Но еще ниже их несутся сине-серые клочья разорванных вдрызг в небесной схватке облаков. Они крутятся и, словно их притягивает земля и во-

да, опускают вниз соски, которые висят с неба, как вымя коровы, переполненное молоком.

Зина что-то говорит, но ветер со всех сторон развеивает ее слова и они тонут в свисте ветра и в шуме воды. Тогда она прикасается к спине Вихрова, но он не внемлет этому обращению. И Зина вдруг прижимается всем телом к его спине, кладет мокрый подбородок ему на плечо и кричит в самое ухо:

— Мы не сможем переплыть! Вернемся... дядя Митя! Вихров мотает головой. Он кричит, не оборачиваясь:
— Нельзя! Только вместе с грозой! Молчите!

Объяснять ему не хочется, что и почему — крик вдруг как-то ослабляет его, а ему предстоит пересечь еще две трети реки, и он замолкает. Но Зина сама амурская, и хотя холодное сознание того, что сделана глупость, которую уже нельзя исправить, и страх леденят ее сердце, она замолкает: дядя Митя прав, здесь не место, а главное — не время для дискуссий. Она видит, как ходят с натугой лопатки на его спине, и как розовеет его шея и затылок — эта работка не из легких! — и как напрягаются мышцы на его руках с высоко засученными рукавами мокрой до нитки рубашки...

Вдруг все исчезает — и Амур, и байдара, и берега, закрытые сеткой все усиливающегося дождя, — только сине-багровое пламя встает в испуганных глазах Зины. Рядом — вот, можно рукой достать, вот! — ударила молния над водой. Ну, все! Это конец! Но когда Зина, в страхе зажмурившая ослепленные глаза, опять открывает их, она видит — Вихров гребет, гребет, гребет.

Проливной дождь обрушивается на них, — вот это, как видно, и называется «разверзлись хляби небесные». И гром такой, что от его грохота хочется кричать, раздражается над их головами, и борта байдары дрожат в лихорадке...

Дома, верно, Игорешка подставил к окну стул, взобрался на него с ногами, оперся руками о подоконник и смотрит, смотрит, смотрит на буйство стихии за окном и не может оторваться от этого страшноватого зрелища. В его синих глазах испуг и восторг. Иногда он не выдерживает особенно сильного удара грома или слишком близкой молнии — в страхе зажмуривается, но тотчас же, боясь пропустить что-нибудь, тотчас же открывает глаза и прижимается к стеклу носом, чтобы подальше увидеть. Он, как и папа Дима, любит грозу. Папа Дима иногда в самый ливень вылезает на крыльцо, чтобы полюбоваться грозой — как она бушует, как она грохочет, как она свирепствует над городом!

Как бы эта гроза не была для папы Димы последним зрелищем в жизни. Бояться ему некогда — и мысли и тело заняты необходимостью добраться до берега! — но сознание опас-

ности очень ясно и определенно. Очень может быть, что и не доберемся!.. Жалко маму Галю оставлять одну с малым сыном на руках... Жалко уже не погладить Лягушонка по его крутолобой головешке...

Вихров смотрит на уровень воды в байдаре. Нет, она не протекает! Но этот дождь! Но эти волны! Воды уже много. До борта осталось не больше ладони свободного пространства. Когда это пространство будет заполнено водой, байдара потеряет плавучесть и пойдет ко дну. Именно эти спокойные, будничные, какие-то профессиональные слова приходят в голову Вихрову, когда он вынужден делать оценку их положению — его и Зины...

Зина... Дорого бы дал Вихров за то, чтобы ее сейчас не было в байдаре! Такая красивая и молодая! Это ничего, что у нее, кажется, компас не в порядке и что-то в жизни не ладится: молодость и красота возьмут свое, и все у нее наладится. Она мужественная! Молчит, когда бы другая на ее месте визжала бы и плакала от страха.

Вихров поглядывает на ноги Зины и соображает — так холодно и трезво, как если бы эти мысли принадлежали другому человеку! — когда байдара перевернется, Зина почти свободно выпадет из нее. Вихрову же вряд ли удастся выцарапаться из-под обшивки — его ноги глубоко погружены в пространство под фанерной палубой байдары... Вдруг что-то начинает тыкаться ему в сиденье. Зина двигается и что-то делает. «Выливает воду!» — соображает Вихров... Молодец, Зина, с тобой не пропадешь, и счастлив же будет человек, которому ты отдашь свою душу и тело, свое сердце и свои помыслы...

Вдруг сильная судорога схватывает руку Вихрова. Он даже вскрикивает от этой боли и чуть не выпускает весло. Этого еще не хватало! Впереди — треть пути! А молнии рвутся над головой. Едва начинает угасать мрачный свет одной, тотчас же, в грохоте грома, от которого кружится голова, рождается вторая, третья, четвертая... А ливень хлещет и хлещет... И волнам нет конца. Но, кажется, ветер становится тише? Ах, это высокий берег отбивает его. Вихров переносит весло за спину и кричит, держа на весу другую, пораженную судорогой, руку:

— Три минуты... Зина... три минуты...

Зина принимает весло. Она не только принимает его, но крепко пожимает его пальцы. Это не случайность! Этим пожатием она говорит: «Не бойся за меня, все будет хорошо, я не струшу, что бы ни случилось. Прости меня за то, что из-за моей глупости мы попали в беду, ты молодец, я сделаю все, что надо...»

Вихров подхватывает одну руку другой. И старается не думать о боли. Он говорит себе: «Если триста сорок четыре умножить на тридцать шесть, то это будет — шестью четырьмя...» И боль утихает. Он выжидает еще минуту, считая удары весла за спиной. Потом протягивает руку, требуя весло. «Я могу еще!» — говорит Зина. Но на судне должен быть один капитан и одна воля. И опять Вихров гребет. Из дождевой пелены впереди вырисовываются очертания утеса. «Ай да мы!» — говорит себе Вихров.

Правда, он предпочел бы сейчас, чтобы вдруг заплеснул на волнах возле спасательный катер и чтобы толстый конец, брошенный с его борта, хорошенько ударил бы Вихрова по шее — и в знак того, что общество не покидает своих членов в беде, и в знак того, что не худо бы этому чемпиону плавания во время грозы дать хорошую взбучку за безрассудство.

На спасательной станции и верно осведомцы стоят на пристани и о причал бьется кранцами белый катер со знаками общества. Только теперь Вихров понимает, что со станции байдара и не была видна из-за этого ливня и из-за туманного месива обрывков облаков, что волочатся, чуть ли не задевая волны, которые вздымаются навстречу этим то ли сокам, то ли пальцам грозового фронта, чтобы слиться с ними.

Кто-то машет на причале рукой, и сбегает с причала, и бежит по берегу, делая какие-то жесты рукой, как делают это шоферы, помогая провести машину в узкие ворота. Вихров кивает головой — я понимаю, товарищ, я понимаю: глупо, конечно, гнать казенную посудину всего за двести метров, когда нет уже смертельной угрозы, а если и искупаешься тут — вытащат, как котенка. Осведомцы толпятся на причале, в трусах. Вот если сейчас перевернется байдара — они кинутся в воду и, красиво плывя кролем, веселой стайкой через короткое время окружают потерпевших бедствие и будут смотреть на Вихрова с обидной прищуркой в глазах — напугался, интеллигент?

За утесом падает ветер. И тяжелая байдара — под фанеркой только на три пальца запас плавучести — идет к берегу и погружается в воду — совсем! — на глубине в шестьдесят сантиметров. Осведовец влетает в воду и хватается байдару за нос и тянет на берег, вместе с Вихровым и Зиной. Остальные, убедившись, что действие имеет «хэппи энд», бегут под крышу спасательной станции.

— Эх ты, челдабречек! — говорит осведовец Вихрову. — Вполне, понимаешь, могли и в подводное дистанционное отправиться... без определения срока всплытия... Маму надо было спроситься, прежде чем по Амуру плавать, знаешь...

Вихрову все равно, ругают его или хвалят, он даже не ощущает радости спасения, только все мышцы его тела ломят и по затекшим ногам бегут неприятные мураши. Он стоит на месте, потому что боится упасть. Зина глядит на него и вдруг берет его щеки своими ладошками и крепко сжимает. Ладони мокры, но горячи, и это тепло возвращает Вихрову ощущение жизни.

— Ну, пошли на станцию, обогреетесь, что ли! — говорит осведовец.

Он добровольно опрокидывает байдару, выливает из нее воду и взваливает на плечи. Однако Зина и Вихров берут ее за нос и корму и тащат на лодочную станцию. Осведовец машет рукой — ну, как знаете — и только сейчас начинает понимать, как измучены оба, и мужчина и женщина.

— Охота пуще неволи! — говорит он, освобождая себя от мыслей о них. — Пусть делают как хотят! Подсушились бы!

Но Зина говорит:

— Мне до дому недалеко. Пока дождь льет, дойдем, и не увидит никто, и погладить можно все и высушить...

Байдару принимает долгорукий служитель.

— Сейчас переехали? — спрашивает он.

Вихров кивает головой. Говорить ему не хочется.

Смотритель глядит на него и улыбается.

— Ну, спасибо за инвентарь! — говорит он и хлопает Вихрова по ноющему от натуги плечу. — А я, понимаешь, уже в расход вывел байдарочку! Ну мысленное ли дело! — кивает он на бушующий Амур. Вынимает папиросу из кармана. — Закуривай, товарищок!

И Вихров закуривает. Второй раз в жизни.

8

Ливень застает Генку вдалеке от дома, на Верхнем рынке.

В городе два рынка — Верхний и Нижний. Нижний рынок — с привозом от реки, здесь продаются овощи, выращенные на том берегу, рыба и мясо — убойна из деревень по течению Амура — русских и нанайских, он расположен на распадке двух холмов, выходящем к реке. Верхний — очень нерышливый, с открытыми столами и редкими палатками — находится близко к железнодорожному переезду, сюда везут продукты из пригородных сел, по железной дороге и по шоссе. Здесь же расположена толкучка, где всегда шумно илюдно, где бродят не только продавцы и покупатели, но и

разные подозрительные личности, выпрашивающие на сто граммов водки...

«Дура! Дура!» — твердит Генка, ослепленный злобой на мать, которая ударила галчонка кочергой, когда тот клюнул изо всей силы Зойку, подобравшуюся неосторожно близко к говорящей птице, и сердце которого разрывается от жалости к галчонку. Вот еще бы немного — и он бы заговорил! Теперь Генка даже уверен в том, что галчонок уже говорил не «кар-р», а «хорр!» — то есть «хорошо», именно то слово, которому и учил его Генка. «Дикая дура!» — говорит он, повторяя чье-то, где-то слышанное выражение.

Он не заметил, как померкло солнце и небо покрылось тучами. Не заметил, как пробежали по улице первые вестники ливня — крупные капли, каждая из которых, падая в пыль, вздымала своей тяжестью крошечные облачка и оставляла в пыли влажную воронку с развороченными краями, похожую на кратеры Луны. Убедившись, что галчонка ему к жизни не вернуть, как он ни дул ему в рот, как ни тряс, как ни двигал крыльями, делая что-то вроде искусственного дыхания, Генка кинул галчонка через какой-то забор, понимая, как глупо он выглядит с мертвым птенцом в руках. «Креста на тебе нет! — сказала какая-то старушка, видя, как черной тряпкой перелетел бездыханный (говорящий) птенец через этот забор. — Тебя бы вот так-то! Ведь тоже создание божие! Вот паценок! И что нынче за ребята пошли!»

Генка показал ей кулак и плюнул со злобой, все еще бусевавшей в нем с неодолимой силой.

Тут разверзся над его головой небосвод — все озарилось вокруг мертвенным светом синей молнии, грянул гром необычайной силы, и ливень хлынул на пыльную землю, затопав миллионом босых ног...

Генка искал глазами укрытия. Вот какой-то полуразбитый киоск с тремя стенками! И Генка кинулся туда.

Там стояли два бородатых мужчины.

Одного Генка сразу узнал — это был Максим Петрович, молочник, похожий на бога Саваофа, забывшего дома свое сияние вокруг головы. Второй, не в пример Максиму Петровичу, был и чист, и приятен, и одет хорошо — в хромовые сапоги, на которые чуть были приспущены широкие черные брюки, в косоворотку с отпущенными длинными рукавами. На голове его была черная шляпа. Гладко причесанные пышные волосы, подстриженные чуть пониже ушей, виднелись из-под шляпы. Небольшие бородка и усы как-то уж очень благообразно выглядели на его полнеющем, розовом, добром лице с умными голубыми глазами... Он стоял, опираясь на толстую палку с какими-то колечками, держа потрепанный изрядно портфель в руках, в котором лежало что-то мяг-

кое. Максим же Петрович был лохмат и запущен, как всегда, и что-то беспокоен. Он все время щупал и щупал свои пазухи и с недовольством поглядывал на небо из-под худой крыши киоска.

Базар был пуст. Лишь кое-где под прилавками ютились незадачливые продавцы, покрывая головы сложенными наподобие капюшона суровыми мешками, спасаясь от дождя, испортившего всю торговлю...

— Здоров был! — сказал Максим Петрович, то ли узнав Генку, то ли просто так.

Генка мотнул головой. Но Максим Петрович и правда вспомнил Генку.

— Старый знакомый! Ну, как бурундук мой живеть у тебе? — обратился он к Генке свое волосатое, мокрое лицо.

— Кот Васька съел! — сказал Генка, насупясь от этого воспоминания и чувствуя себя неловко перед Максимом Петровичем.

— Кот Васька должен мышá исть! — сказал молочник. — Что же, у тебе и мышá в доме нету? Вот, понимаешь, до чего народ дожил! Ни осла его, ни вола его, ни мышá его нету... Ничего, паря, нету! Довели...

В тоне его почудилось Генке какое-то поношение, какое-то презрение, и он сказал, чтобы не дать Максиму Петровичу совсем унижить его:

— У меня теперь говорящий птенец есть...

— Н-но... — протянул, то ли веря, то ли смеясь, молочник.

— Говорящий. Я его выучил говорить «хорошо» и вообще...

Тут слезы навернулись на его глаза при воспоминании о галчонке — он ощутил свою утрату и отвернулся в сторону.

Максим Петрович то ли Генке, то ли самому себе, то ли гражданину в шляпе сказал:

— Я, брат, тоже учил свою Любаву говорить, да только ничего не вышло. Загнал, понимаешь! Перед самым дождичком! За шесть тысяч! На мясо! Ну, да он и не прогадал, покупатель-то! В ей живого весу-то двенадцать пуд. На килы разбить ежели — так чуть не двести. Вот и считай — по пятьдесят рублей кило! — десять тысяч он получит. Ну, долой там требуху да осердие, малость подешевше. Еврейчик один купил — ну, он и кости по мясной цене продать... Остались теперь у меня Любимая да Любка. А деньги — вот они! — Максим Петрович вынул из-за пазухи горсть кредиток и помахал ими в воздухе. — Вот тебе и двенадцать пудов! Былó двенадцать, а теперь фиг с маслом!

Человек в шляпе сказал Максиму Петровичу:

— Вы бы деньги-то не показывали... Не ровен час увидят, как бы чего не вышло! Осторожнее надо все-таки...

Максим Петрович искоса глянул на него:

— А чего может выйти? Баланец не сойдется ли, чо ли? — в его взгляде что-то проглянуло остренькое и быстрое. — Я у. вас налог на коровушек выправлял! — сказал он. — Вот вы теперя мне, может, скажете, на чей счет мне убытки относить — как, по условиям содействия, должен был ее на мясо продать. Сносила. Осенью покрывали — не далась. Весной покрывали — не понесла! Ну, куды мне ее, яловую-то? Хватить с меня яловой женки! Уж как я ее ни уговаривал: «Палага! Понеси! Понеси, за ради бога!» Ну ни в какую. Зажирела, знаешь... Дак как же насчет убытку?

— Я не могу вам ничего сказать! — порозовел человек с палкой. — Я служу теперь в другом месте. Я священник...

— Ох ты! — сказал Максим Петрович. — Значит, и вашим и нашим попробовали?

Почувствовав грубость собеседника, отец Георгий отвернулся от него, выглянул из-под навесика. Но и выглядывать было нечего — дождь лил по-прежнему, и перед киоском разлилась большая лужа, по которой барабанили частые капли дождя.

— А за шесть тысяч я такую божью коровку и не куплю! — сокрушенно сказал Максим Петрович, суя деньги в карман штанов целой охапкой и не замечая, что несколько бумажек торчат из кармана. — Значит, понимаешь ты, опять живое мясо резать, из горла кусок хлеба вынимать, давальцев своих доить... Вот вить какое дело!

Отец Георгий вдруг, воспользовавшись тем, что ливень вдруг утих, кинулся трусцой к домам, что стояли в некотором отдалении, придерживая шляпу рукой и сжимая под мышкой портфель.

— Ну, и я с вами! — сказал Максим Петрович, натягивая свою кепочку потуже, и, намереваясь проскочить посуху, мимо лужи, повернулся направо, взялся за торец стенки и стал протискиваться так, чтобы не замочить ног. При этом его карман оказался перед самым носом у Генки. Оттуда торчали две бумажки, словно призывая его: «На, возьми, все равно потеряемся!» Генка судорожно схватил их, почти не сознавая, что делает, и ощущая, что жаркая испарина охватила все его тело, сунул кредитки, точно сами выскочившие из кармана Максима Петровича, себе за пазуху. И замер, не в силах стронуться с места, если бы даже его должны были убить вот тут же, на месте преступления.

Максим Петрович обернулся.

— Ну, а ты? — спросил он, ничего не заметив. — Пережить будешь, что ли? — И, видя, что Генка только таращит на него глаза, молвил: — Ну, как знаешь!

«Два огляда, третий цоп!» — кажется, так говорил Гаврош. Если бы он видел все происшедшее, он свистнул бы удовлетворенно и сказал бы Генке: «Ты, хлопец, не пропадешь без хлеба!» А у Генки все дрожит внутри, как тогда, когда он прыгал со льдины на льдину, слыша коварные подначки: «А слабо тебе, Генка!» В горле у него становится сухо, в то время как со лба льет пот и струйка его стекает по ложбинке спины — будто кто-то ползет. Коленки так и трясутся. Дрожат и руки, хотя Генка засовывает их в карманы штанов, чтобы унять эту противную дрожь.

Зачем тебе деньги, Генка?

Слушай, еще не поздно вернуть их. Максим Петрович добежал до дома напротив, и стоит под двускатной крышей чьих-то ворот, и манит тебя корявой своей рукой — давай, мол! Он вглядывается в сумеречное небо и довольно прищуривается — уже в просветы между туч кое-где видно прежнее голубое, чистое, яркое небо. Если быстро перебежать дорогу и сказать, что ты видел, как у него выпали, сами выпали — ведь могут они выпасть из кармана! — он поверит тебе и скажет: «Ну, паря, спасибо тебе! Ты молодец, я вижу. И ты хороший, и matka у тебя хорошая, и отец — упокой, господи, его душу! — тоже хороший. Воспитали сына!» Ведь бывает же так! Помнишь, как однажды Вихров вместе с платком вытащил деньги и они упали возле тебя, когда ты стоял у калитки в ожидании матери и боясь, что Игорь пожалуется на тебя. Помнишь? Когда ты отдал те деньги матери, она сказала, изобразив на лице восхищение и радость: «Ай, какой у меня хороший сынок! Нашел денежку — маме отдал. Добытчик!»

Добытчик, чувствуя, что ему не справиться с дрожью, которая так и колотит его, выходит из своего укрытия.

И идет в другую сторону. Оглядывается — Максим Петрович, с тяжелым подскоком перепрыгивая через лужи, точно говорящий галчонок растопыривая свои махалы, пробирается дальше. Генка ускоряет шаги. Он идет туда, откуда доносятся трели кондукторских свистков, перестук вагонных скатов, гудки паровозов, где идет своя жизнь, так непохожая на скучную жизнь Генки. Будь он поначитаннее, он повторил бы вслед за одним молодым человеком из одного блистательного поэтического произведения первой половины девятнадцатого столетия: «Мной овладело беспокойство, охота к перемене мест — весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест!»

Он бредет по железнодорожным путям. Останавливается перед какой-то надписью, читает: «Хождение по путям строго воспрещается. За нарушение штраф». Интересно, что

такое хождение? На каком языке? Что такое штраф, Генка знает и оглядывается по сторонам. Но на него никто не смотрит.

Он останавливается перед длинным красным составом товарных вагонов, ступеньки которых добросердечно предлагают Генке: давай, давай, салага! О-о! Как много можно передать этим словом — давай! Все оттенки чувств и отношения к ближним: давай ешь! давай не тронь! давай уматывай отсюда! давай поехали!

Тут дождь припускается с новой силой, взбодренный недолгим перерывом в своей общественно значимой работе. И вдруг тотчас же превращается в град. Ледышки, величиной с горошину, летят с высоты, шлепаются всюду, отскакивают от досок деревянного настила перехода, от стенок вагонов, от рельсов. Шелестящий шум дождя сменяется суховатым стуком града. Генка лезет в тамбур, спасаясь от коварства стихии. Высовывает на волю ладошку, ловя градины. Они довольно сильно бьют его по руке, но это только приятно. И вот уже полная ладонь градинок. Они точно жемчуг, одна нитка которого есть у матери. Генка берет одну, другую, сует в рот и, чувствуя, как начинает ломить зубы, сосет их с наслаждением: холодненькие!

Удар грома заглушает все звуки. В его грохоте теряется паровозный свисток. Мокрый, в облипшей гимнастерке и нахлобученной на глаза фуражке — вольно ему было не надеть дождевик! — дежурный по станции машет электрическим фонариком. Состав трогается. Генка видит, как вдруг стронулись с места и поплыли в сторону пути, стрелки, дома, деревья в сквере и дежурный по станции. Первая мысль — слезть, и он уже хватается за поручни и становится на ступеньки. Ливень попеременно с градом окатывает его. И Генка прячется назад, в тамбур, помахав отъезжающему городу рукой — так ведь принято повсюду. Косой дождь застилает город...

А почему бы ему и не проехаться — людей посмотреть и себя показать... Ох-х, показал ты уже себя довольно...

Генка вытаскивает мокрыми руками кредитки, разглаживает их на коленях и наслаждается сознанием того, что эти деньги — его! Целое богатство — двадцать пять и пятьдесят рублей.

Достаточно для того, чтобы совершить кругосветное путешествие, не правда ли?..

9

Град уже колотил по крышам, когда Зина и Вихров добежали до Плюснинки.

— Скорее, скорее! — говорила Зина и широко распахнула дверь в свои сенцы.

Вихров замялся было, подумав невольно, что и до его дома не так далеко — еще четыре-пять кварталов, но Зина решительно замотала головой:

— И не позволю бежать полгорода в таком виде! Я знаю, что вам это купание может дорого обойтись... Мне Фрося говорила, что у вас астма! Ну же! Не заставляйте меня ждать...

И Вихров подчинился. Впрочем, не буду лгать — возможность побыть какое-то время с Зиной обрадовала его. И прежнее настроение свободы и легкости овладело им. Ка-акое приключение! Вот и попал в дом незнакомой молодой и красивой женщины, которая нравится ему и которая, кажется, совсем неплохо относится к нему. Чем не тысяча и одна ночь!..

Он наступил ей на ногу в тесном коридорчике. Она простила его. И тотчас же задела его локтем. Теперь он простил ее. Тогда Зина, смеясь, уже шутя, несколько раз ударила его легонько и сказала:

— Простите, простите, тысячу раз простите — за все! И можете передо мной не извиняться, у меня ведь не ваши хоромы, а просто... клетка...

— Клетка жар-птицы! — очень мило подсказал Вихров.

— Не знаю! Не знаю! — с ноткой грусти ответила Зина на его любезность. — Может быть, только клетка говорящего галчонка, которого Генка так и не выучил говорить...

Зина велела Вихрову снять с себя все — брюки, рубашку и прочее. Он смущенно отказался — как-то неловко! Она бросила ему рубашку, полотняные штаны и трусики, вытащив их из комодика. И сказала:

— Мне хочется думать, что вы мне друг, а другу надо верить и не чувствовать себя обязанным ему, если он может чем-то помочь! — Она поглядела внимательно на смущенного Вихрова, который все никак не мог совладать с собой, и добавила: — Но если вы такой нехороший, дядя Митя, то я помогу вам еще больше! — Она вдруг опустила на окнах шторы маскировки, закрыла дверь в коридорчик: — Пусть будет тьма!

И тьма настала. И на свете не осталось ничего, кроме глухого шума ливня за стеной, слабых — неясных, невнятных, ненужных — каких-то голосов, доносившихся откуда-то, мужской чистой одежды со слежавшимися складками, в которой путался Вихров, переодеваясь в сухое, и присутствия — Вихров не видел ее, но ощущал всем своим существом, которое вдруг охватило горячее волнение, — присутствия Зины. Она что-то шепнула сама себе, освобождаясь от мокрой

одежды, задела стул, что-то положила на него, отодвинула, зашелестела какой-то тканью...

Вихров переоделся и застыл в этом мраке, боясь двинуться.

— Отвернитесь! — сказала темнота голосом Зины.

И он послушно отвернулся.

Зина как-то со всхлипом вздохнула. И опять все погрузилось в тишину. Потом раздались шаги босых ног. Чуть заметная волна воздуха овеяла Вихрова. Он не двигался, боясь опять обидеть, оскорбить Зину каким-то словом или жестом невпопад. А Зина стояла позади. Он чувствовал ее тепло даже на расстоянии. И вдруг горячие руки обняли его, соединяясь на груди и тянясь к его щекам, к его лицу, и Зина всем телом прижалась к нему — головой, грудью, животом, коленями. И, прерывисто вздохнув, сказала:

— Простите меня, дядя Митя... Простите...

— Да за что же? — сказал Вихров, невольно беря ее руки в свои. Он поднес ее раскрытые беспомощно ладони к своим губам и, понимая, что это сейчас можно, поцеловал, сначала одну, потом вторую, и уже сам приложил их к своим щекам и погладил их этими ласковыми ладонями, излучавшими тепло, чувствуя, как пробуждается в нем нежность к Зине, человеку, как видно, сложной и нелегкой судьбы...

— За все! — ответила Зина. — Я поняла, что это не детская игра, еще когда мы выехали на Амур. Но я была очень сердита на вас — после Мишки никто не видел меня голой, никто! Подумала: ну, герой, покажи себя, это тебе не исподтишка за женщиной подглядывать! А потом хотела вернуться, но уже было поздно... И поняла, что вы настоящий мужчина, а не какой-нибудь... Ох-х! Как было бы страшно, если бы вы погибли из-за меня, из-за моей глупости... Я ведь все видела! Как вы все глубже всовывали ноги под корпус, чтобы я могла спастись... Дядя Митя... Дядя Митя...

Она заплакала. Вихров понял это по тому, как вдруг толчками забилось ее тело.

— Успокойтесь! — сказал он и, тихонько высвободившись, повернулся к Зине и обнял ее, утешая. Но руки его скользнули по обнаженному телу, коснулись груди Зины. Она не была одета, представ перед ним такой, какой была создана на радость или на горе людям. Привыкнув к темноте, Вихров видел теперь перед собой неясно чуть заметное, словно светившееся, лицо Зины, поднятое к нему, как тогда, в дремоте. Но это не был сон — губы Зины потянулись вдруг к губам Вихрова. Она привстала на пальцы, чтобы дотянуться. И он встретил ее губы и поцеловал — бережно, нежно, чуть коснувшись их, и в уголки губ, и в закрытые глаза, и в височки. Это ведь большое счастье — знать, что поцелуй не отри-

нут, что он найдет отголосок в чужом — нет, не чужом, близком! — существе...

Не зная, что еще сделать, но чувствуя все более охватывающее его радостное волнение, Вихров вдруг поднял Зину, одним движением, на руки, и, словно малое дитя, стал показывать ее, в один момент ставшую родной.

— Успокойся, милая! — сказал он тихонько. — Реку мы переплыли! — Тут надо было бы Вихрову сказать: Рубикон перешли, но ему было не до исторических аналогий, когда он чувствовал на своих руках горячую тяжесть, возбуждавшую ощущение такой удивительной легкости. — Реку мы переплыли. Гроза пройдет. Амур успокоится. Жизнь продолжается, Зина! Помнишь, как у Маяковского: «И жизнь хороша, и жить хорошо!»

Мишка! Кто-то в этой комнате говорит твои слова. Слышишь?

— Вы сильный, дядя Митя! — шепчет Зина. — Отпустите! Я тяжелая, я большая! — И блаженно подставляет губы его губам; как хорошо на этих сильных руках!

Вихров смеется. Он умеет смеяться в тех случаях, когда его хвалят, и быть серьезным, когда его ругают. Он громко говорит:

— «Хотите, буду от мяса бешеный... И как небо, меняя тона, — хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах...»

В совершенном забытии — давно с ней ничего подобного не было! — Зина шепчет ему:

— Вы мой, дядя Митя?

Он не может ничего сказать, но кивает головой. Да, Зина, конечно, твой. Он твой, если это тебе надо! Он твой, если больше не можешь ты переносить свое одиночество, если сердце твое ищет счастья, если тело твое изнывает от тоски по любви, если тебе не на кого опереться, если ты хочешь быть владыкой и рабой — любить и быть любимой...

Мишка! Ты опять здесь...

Всю душу Зины захлестывает радость, в которой не остается места ни сомнениям, ни колебаниям, ни мыслям, ни раздумьям. А Вихров — и, как от мяса, бешеный, и, как небо, меняя тона, становится безукоризненно нежен, и каждое его прикосновение пробуждает в Зине и какие-то забытые давно и какие-то совсем новые, еще не испытанные ею, ощущения. «Опусти меня!» — шепчет она, и Вихров опускает Зину на тахту, зная, что жар-птица уже не улетит от него, и будучи счастлив в эту минуту, как только может быть счастлив мужчина, когда любовь озаряет ему душу.

Зина! Ты сотворена в тот день, когда природа была особенно расположена к роду человеческому, в минуту вдохно-

веня, — оттого ты так красива. Ты и сама знаешь, что ты прекрасна, не качай отрицательно головой. Ни один придирчивый взгляд не найдет в тебе изъяна! И стройные ноги с маленькой лодыжкой, и тонкая талия, и плавные бедра, ласкающие взор, и трогательная грудь, и нежнейших линий плечи, и руки с тонкими пальцами и округлым локотком, и лебединая шея с единственным на всем теле крохотным коричневым родимым пятнышком справа, и атласная кожа на всем твоём теле прекрасны и безупречны. Художники бегали бы за тобой, Зина, если бы знали, что сама Фрина, ушедшая с праздника Посейдона в Элевзисе, живет здесь, в этом маленьком домике! «А почему вы думаете, что они не бегали уже за мною? Бежали! Да перестали!»

Зина вдруг включает свет настольной лампы возле тахты.

Она долго, со счастливой улыбкой глядит на него.

— Какие у вас хорошие глаза! — говорит она и пальчиком, нежно и ласково, гладит его глаза, его брови и губы, которые шепчут какие-то разные слова. И потом закрывает свои очи, и покоряется ему, его желанию, и позволяет ему наслаждаться ее наготой, не стыдась, — любовь и страсть не знают стыда!

— Я красивая? — спрашивает Зина.

— Да!

— Для вас! — говорит Зина и закидывает руки за голову, отчего ее груди, словно живые, движутся к губам Вихрова, который уже никогда в жизни не забудет этого дня, этой счастливой грозы, расколовшей Вихрову неведомую судьбу ползнакомого человека, который теперь занимал свое место в его душе, может быть, навсегда...

— Я был слепой! — говорит Вихров. — Как это до сих пор я тебя не видел, как это до сих пор я тебя на нашел!

— Это я вас нашла! — говорит Зина и притягивает к себе, вновь и вновь ощущая желание. — Я нашла... потому что... потому что искала... Я раньше встречала вас на улице... запомнила...

— Правда? — спрашивает Вихров, радуясь как ребенок.

— Правда.

— погоди минутку. Я тебе стихотворение скажу:

Я знаю, где на небе туманность Андромеды,
Альдебаран, созвездье Девы... Далекие миры!
В них разбираюсь я. А мир души твоей — неведом!
Слеп человек, как там ни говори!..

Зина улыбается:

— Разве можно сейчас стихи сочинять?

— Можно. Вот только так и можно, когда душа переполнена... Вот:

Люблю тебя! В ночной тиши
Я повторяю это бесконечно.
Люблю тебя — то зов души!
И клятва в верности навечно...

Зина улыбается:

— Не надо клятв, милый, хороший, родной, сладкий... Не надо! Любите меня без клятв. Пусть будет вам так хорошо, как мне сейчас! Знаете, что я вам скажу, дядя Митя... Вы мне словно дверь из тюрьмы открыли. Вы этого не поймете. Может быть, потом, когда-нибудь...

— Почему не пойму? — сердится счастливый Вихров.

— Потому! Вы не были так одиноки, как я...

— Я все понимаю! — храбро говорит Вихров и с благоговением озирает ее всю, с головы в ореоле густых, волнистых волос, что, как туча, окружают ее лицо, до кончиков пальцев на ногах, которые чуть-чуть, каким-то очень милым движением, пошевеливаются, когда Вихров ласкает Зину, и он кидается целовать их — один за другим, и колени Зины, отчего она начинает смеяться, и бедра.

Разве может счастье повториться?

Разве может человек дважды в жизни испытать такую радость?

Ты кляла свою судьбу, Зина, потеряв того, кто вечно неразлучен теперь с тобой. Нет, ты счастливая, а не несчастная. Как много людей не знают и одного счастья в жизни! А с тобой судьба обошлась по-хорошему! И опять поет твое тело, как когда-то с Мишкой, и опять — свет сияет в твоей душе, и опять — полна душа, как полный бокал искристого вина. Может быть, потому, что только вот-вот с вами могло произойти самое страшное, может быть, потому, что час назад ваши губы могли сомкнуться навек, и сердца могли перестать биться, и ваша красная кровь, которая сейчас огнем полыхает в теле, застыла бы в венах, и ваши руки уже никого не смогли бы обнять. Ничто так не соединяет людей, как вместе пережитая опасность, когда ужас ее не захлестнул сознания человека и он остался человеком, даже понимая, как близка смерть!

Они долго лежат вместе, обнявшись, переплетая руки и ноги все теснее и ближе. И вот, кажется, превратились в одно тело, и сердца их бьются одинаково. «Ты слышишь?» — «Слышу!» И дыхание — одно.

Не судите слишком строго бедное сердце, истосковавшееся по человеческому теплу и ласке!

Сколько холодных ночей провела Зина на этом ложе! Холод леденил ее тело. Но это было не самое плохое. Холод замораживал ее душу. Холод одиночества, неутолимой тоски,

отчаяния. В этой ледяной пустыне вымерзло все живое — жажда жизни, любовь к людям, доверие и вера в будущее...

— Как мне хорошо с вами! — шепчет Зина.

И вдруг — без тоски и боли, без надрыва и раздражающей сердце горечи утраты вспоминает о Мишке. Он тоже любил вот так переплести руки и ноги, а потом сказать озабоченно: «Что-то у меня рука чешется!» — и скреб ногтями ее локоть или коленку, притворяясь, что не может разобраться, где ее, а где его ноги и руки, щекоча ее и смеша. словно что-то отболело у Зины. И она положила голову на плечо Вихрова, и подсунула одну руку ему под спину, а второй обвила его грудь и шею и затихла, опустошенная, удовлетворенная, словно растворившаяся, смежив веки и прислушиваясь к своему и его дыханию. Сладкая усталось овладевает ею. Все медленнее и медленнее становится движение руки Вихрова, который поглаживает атласную кожу Зины всюду, где только он может коснуться ее.

Тихо... Тихо...

Не надо беспокоить их.

10

Дома Вихрова ожидает записка на столе:

«Мы с Лягушонком ушли к Анке. Ты совсем не думаешь обо мне. Гроза, ливень, а тебя нет! Ну что это такое! Я очень беспокоилась. Вернемся поздно. Обед на столе. Ты — нехороший! Зайди к Ив. Ник. — вечером сегодня!!

Очень злая Багира».

Что-то мешает Вихрову встретиться с очень злой Багирой, которая беспокоилась о нем, и он рад тому, что вечер уже на дворе и что надо идти к Ивану Николаевичу.

...Горит лампа на зеленом сукне стола. Несколько листов бумаги лежит на столе. Автоматическая ручка, словно требующая работы, сверкает металлическим пером. Иван Николаевич поднимает голову от бумаг.

— Здорово! — говорит он Вихрову. — Что больно осунулся? Нездоровится, что ли? Лечиться, понимаешь, надо, если болен... Дай-ка я тебе напишу записку в поликлинику гор-партактива! Завтра же сходишь. А?

— Никогда не чувствовал себя так хорошо! — говорит Вихров.

— Ну, гляди, тебе виднее! — отзывается Дементьев.

Он вертит в руках вечное перо, приглядывается к Вихрову.

— Дело, товарищ Вихров, вот в чем! — говорит он официально. — Дело вот в чем! Хотим вас нагрузить еще одним общественным поручением. Хотя, конечно, все это идет по линии общественности, но я хочу наперед с вами поговорить. Ну, чтобы не тянуть кота за хвост, выдвигаем мы вас в народные заседатели! Как вы на это посмотрите?

— В народные? Заседатели? — примеряется Вихров к услышанному: «Что бы это означало?» И шутит: — За что, Иван Николаевич?

Дементьев оценивает его шутку и тоже усмехается.

— Я ведь педагог, а не юрист. Не криминалист...

— Криминалисты у нас есть! — говорит серьезно председатель исполкома. — Больше, чем нужно. Мы ведь в юридические школы принимали все это время инвалидов Отечественной войны — без руки, без ноги. Была бы хоть какая-то голова на плечах! Но, понимаете, это все народ молодой. Из десятилеток. А то и того нету. Надо же было трудоустраивать! Ну, в этом деле не без проторей и убытков...

Он отходит к окну и смотрит на вечерний город.

Дома освещены яркими уличными фонарями, но за домами — светло-синее летнее небо и улицы кажутся нарисованными на холсте, как добротная декорация в театре. Бегут по улицам машины. Дементьев видит их сверху. Они, как жуки, поблескивают при свете фонарей. Их тени то удлиняются, то укорачиваются, то переносятся с радиатора на багажник и наоборот.

— Молодежь! — говорит Иван Николаевич. — Жизненного опыта ни на грош! Не вникают! Что следователи, что судьи! Все в них еще горит, кипит, бродит, не уляжется. Где уж там государственный ум! Им пока каждый обвиняемый кажется недобитым фашистом. Закон — что дышло, говорили раньше, куда повернешь, туда и вышло! Законы-то рассчитаны на применение с умом и с учетом обстоятельств. От и до! Скажем, от шести месяцев до двадцати пяти лет. Ну, наши вояки вообще считают позором давать малый срок. Мы, мол, родину защищали, а вы тут... Ну и кроют — давай побольше, пожестче! Один тут у нас художник нашелся — судья! За год работы вынес приговоров — на тысячу лет. Ни много ни мало! Ему максимальный срок будто орден на грудь. Похваляется...

Вихров молчит. Пока все это его, если он еще не на скамье подсудимых, не касается. Но он не хочет перебивать Ивана Николаевича, понимая, что тот говорит сейчас о том, что его не может не волновать, что наболело, что требует действий...

— Вот тебе и революционная законность! — говорит Дементьев. — Теперь о тебе и о народных заседателях! Хотим

мы наших законников-то поунять малость. Дать им заседателей и грамотных, и с опытом, и способных по-человечески разобраться в том или ином деле. Чтобы эту рубку-то прекратить, понимаешь... Статья статьей, а о человеке нельзя не думать... И, значит, судья — за палку, а заседатель — за ум! Понятно вам теперь?

— Н-да! — говорит Вихров, в котором утомление пережитым днем начинает брать верх над чувством радости, которое до сих пор окрыляло его. Перед его глазами Зина. И он не знает, сон или явь то, что было?! — Не знаю как!

— Значит, договорились! — говорит Дементьев решительно и добавляет: — Товарищ Вихров, я надеюсь на вашу сознательность! Товарищ Ленин выдвинул лозунг: каждая кухарка должна уметь управлять государством. А тут — ну, подумаешь, одно-два судебных заседания в месяц или еще реже! Так мы будем рекомендовать! И, пожалуйста, не давайте себя уговаривать! Дело важное! Мы не можем его обеспечить без всенародной поддержки!

Он прощается с Вихровым и крепко пожимает руку, заранее благодарный новому народному заседателю за его работу по укреплению революционной законности. Тотчас же он звонит секретарю городского комитета партии и говорит в трубку, помахав Вихрову вдогонку ладошкой:

— Да, да! Очень хорошая мысль! Мы тут поговорили с товарищами... Да, решительно поддерживаю весь список...

Вихров сталкивается в приемной с Дашей Нечаевой. Он радостно пожимает ей руку и присматривается к лицу девушки — какая-то тень лежит на этом улыбчивом лице.

— Что с вами, Дашенька? Нездоровится?

Даша хмурится:

— Со мной все в порядке, а...

— Что, Дашенька?

— Получила сегодня документы брата. Он пропал без вести, когда ушел в разведку. При этом документы оставляют в части. Ну, их хранили до поры до времени. И сейчас никаких известий. Пропал без следа... Комсомольский билет, письма — мне и одной девушке, фотографии, сертификаты, облигации, всякая мелочь... Последняя надежда: может быть, он был в каких-то лагерях, в других странах!

Марья Васильевна говорит Даше:

— Товарищ Нечаева, пройдите к Ивану Николаевичу.

И Даша исчезает в знакомой двери.

Иван Николаевич усаживает ее на диван.

— Что, голубка, пригорюнилась? — спрашивает он участливо. — Знаю я о твоей посылке. Звонили мне. Я тебя не хочу ни утешать, ни обманывать ложной надеждой. Давай будем ждать твоего брата! Ты жди, и я буду ждать! Вот так!

Может, он где-нибудь в Албании или в Греции, а может, и в Южной Америке. Гитлеровцы и туда загоняли военнопленных. Не каждый же из тех, что пропали без вести, убит! Я почему-то уверен, что он вернется! Ну, выше голову, дочка!

Даша улыбается бледной улыбкой.

— Я тебя вот чего вызвал, Дашутка. Комсомол готовит тут одно предложение. Получил я от них записочку... После войны сироты остались. Да и в тылу безотцовщины много. И без дела гоняют, и пропасть могут, и в преступников обратиться. Создаем мы в милиции особые отряды, что ли, для борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью. Дело, понимаешь, не терпит! Надо укрепить милицию. Конечно, не цирковыми борцами и не чемпионами по поднятию тяжестей или снайперами! Людьми, способными найти доброе слово, способными понять человека, его психологию, растопить его душу, что ли... Что-то мне думается, эта работа подошла бы тебе!

— Иван Николаевич, да я ничего не умею...

— Будто бы! — сказал Иван Николаевич. — У меня другое мнение! Я и комсомолу его высказал. Это дело чистыми руками делать надо.

— А как же завод?

— Ты на завод пошла, когда это надо было для страны, для народа. Отца сменила на боевом посту... А теперь тут передний край, Дашутка! Это битва за честных людей, битва за ликвидацию последствий войны, битва за то, чтобы не было у нас обездоленных. Ты-то этого не помнишь, а я знаю — десять лет после гражданской войны у нас в стране из одного конца в другой кочевали орды беспризорников. Это не должно повториться. Беспризорники — это грязь, болезни, проституция, наркоманство, пополнение преступного мира новыми силами... Ну, так что же ты мне скажешь?

— Как вы скажете, Иван Николаевич!

— Ну спасибо, доченька...

Глава двенадцатая

«ВСТАЕТ РАССВЕТ, ЛЕНИВ И ХМУР...»

1

В районе Двуречья, и от слияния Шилки и Аргуни, где они кладут начало Амуру-батюшке, и по течению великой реки на протяжении полутора тысяч километров, вплоть до резкого поворота на север, там, где следовало бы Амуру выйти на побережье Татарского пролива, по течению Уссури,

впадающей в Амур под Хабаровском и спускающейся на юг от этого города, по реке Иману в Приморье и в районе Посьета пролегает государственная граница с определенными странами.

Она идет по фарватеру Амура под Благовещенском, напротив которого стоит, вернее — стелется, китайский город Сахалин. Она смотрится в окно села Ленинского, где в Амур вливаются воды китайской реки Сунгари. Она пролегает по протоке Казакевича, в сорока километрах от столицы Хабаровского края. Она лежит по всему течению Уссури, где жители деревень берут воду из колодцев не потому, что речная вода плоха, а чтобы не получить пулю в лоб с той стороны. Она в стекла окуляров наблюдает за Иманом. Она лежит у озера Хасан. Она плутает по холмам Посьетского района Приморья.

Монголия, Маньчжурия, Корея...

Но во Внутренней Монголии правит ставленник Японии, князь Ван, имени которого никто не запомнил — так ничтожна была эта фигура. В Маньчжурии, теперь Маньчжу Ди Го, государственную печать на документах, составленных японскими советниками, ставит император Пу И. В Корее правит японский наместник, еще со времен русско-китайской войны. Японцы же контролируют и большую часть Китая, уживаясь с Чан Кай-ши, который все более теснится и сжимается, чтобы не задеть заморских гостей. Только Горный Синьцзянь страшит японских генералов и удивляет японского императора: там стоит армия, против которой бессильны японские стратеги, там находятся коммунисты, которые строят новый Китай, не на огромных просторах страны, а в душах людей. Пока! В горных кручах вырублен город Яньань — крепость, университет, оплот социализма в Китае, завод, лаборатория — все вместе. Здесь есть все, кроме храмов: город слишком молод, а обитатели — солдаты, политики, ученые и учащиеся, крестьяне и рабочие вместе! — знают, что никто не даст им избавленья, ни бог, ни царь и ни герой, и что только собственные руки навсегда освободят их от пришлых и собственных поработителей. Горный Синьцзянь и Яньань — непонятны носителям идеи Великой Японии. Горный Синьцзянь — неприступен. Яньань — не только воюет, но учится. Против коммунизма нельзя выдвинуть ни одной более или менее стоящей идеи, так как он живет не только в сердцах его соратников, но в каждой хижине китайцев во всем Китае, это новое солнце Китая. А коммунисты не продаются. Здесь живут свободные люди, умеющие владеть оружием, чтобы отражать атаки врага, умеющие владеть кисточкой для того, чтобы писать и поверять свои мысли бумаге, умеющие владеть мотыгой для того, чтобы обрабатывать каменистую

землю и заставляя ее плодоносить, умеющие владеть молотом и наковальней, чтобы делать оружие, умеющие владеть словом для того, чтобы пепел сожженных завоевателями жилищ, людей и полей все сильнее стучал в сердца китайцев, на каком бы они языке ни говорили, какую бы веру ни исповедывали, в какую бы одежду ни одевались...

Американская журналистка Агнесса Смэдли пробирается в Синьцзянь и поражается тому, что здесь происходит, но провидя, что это только начало перемен в древней стране, перемен неизбежных, что бы ни случилось. Всюду капиталистическая пресса называет эту армию Красной, а район ее расположения — Советским Китаем. Это не так. Но Синьцзянь неприступен, как бы его ни называли. У него прочный тыл. За спиной его — Советский Союз. Именно поэтому шесть лет шли единомышленники на север из южных районов, где в тридцатых годах образовались Красные районы Китая.

Шли с боями через страшные переправы, через цепные мосты, висящие над глубочайшими ущельями, через провинции, где правили предатели китайского народа, через пустыни и леса, через реки и болота. Это был Великий Северный Поход, который нельзя не писать с большой буквы, так как не было числа тяжким испытаниям идущих и не было предела силы воли тех, кто вверил свою жизнь и жизни своих близких партии коммунистов. Кровью была полита эта дорога и устлана костями...

Монголия, Маньчжурия, Корея...

Давно на границе — этой воображаемой линии на местности — стоят японские солдаты. Уже давно в прибрежных и пограничных селах с той стороны живут резервисты — демобилизованные солдаты Квантунской армии, а не прежние рыбаки, скотоводы, огородники. Уже давно внимательные глаза наблюдают за нашей стороной, засекая точки обороны, лица людей, расположение зданий, деревьев, холмов, дорог, тропинок, камней, кустарников, колодцев, заборов и кольев, лица командиров и подчиненных, лица колхозников, их одежду, их утварь. Новое лицо, лишняя шуба, вывешенная для проветривания, переменивший место камень, что лежал вчера не так, горсть земли, вдруг оказавшаяся среди камней, новый след к берегу — все это очень важно на границе...

И дипломанты военных академий часами, переставая чувствовать свое тело, не выдавая своего присутствия, наблюдают за нашим берегом то в зеркало стереотрубы, то в телеобъектив фотографического аппарата. И в японской военной миссии в Харбине военные специалисты, рассматривая сотни метров панорамных съемок отличного качества, делают заключение о том, что они хорошо знают советское по-

границе — это важно для обороны и еще более важно для дня икс, которого они ждут, как мертвые ждут Страшного суда!

И как часто короткий выстрел обрывает чью-то жизнь на том берегу. И как часто командиры японских подразделений, дурея от безделья, или устраивая разминку для своих солдат, чтобы приучить их к виду крови и к запаху пороха, или производя отвлекающие маневры, когда имеется в виду серьезный переход матерого диверсанта на советскую сторону, — провоцируют скоротечные, кровопролитные бои. Японское начальство смотрит на это сквозь пальцы: солдат должен быть солдатом! И подстреленные колхозники госпитализируются в приграничные клиники, и раненые пограничники отправляются в госпитали. И холмики в недосягаемых для бинокля и, стало быть, для пули местах возвышаются один за другим на пограничной земле. И остаются навсегда в списках пограничных отрядов имена. «Рядовой Петр Котельников!» — кричит старшина на вечерней и утренней переключках. И правофланговый отвечает: «Пал смертью храбрых на защите государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!» — «Рядовой Василий Баранов!» — «Пал смертью храбрых на защите государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!» И в наименованиях застав слышатся отголоски этих скоротечных боев, уносящих жизни патриотов, — застава имени Петра Котельникова, застава имени Василия Баранова... И пусть живут они вечно...

2

Утром заведующий сберкассой сказал:

— Девочки! Надо бы нам сверить сертификаты с таблицами госзаймов. Держатели обижаются на нас — не сообщаем! Подсказывают: надо бы генеральную проверку устраивать после каждого тиража! — Он стоял перед кассирами и контролерами, вертя какую-то бумажку в руках. — Вот жалоба на нас поступила в горком!

— Когда же это делать? — спросила Валя Сизова, которую так недолюбливала Зина.

— Может быть, в обеденный перерыв, сколько успеет! — подсказала Зина.

— Много ты успеешь в обеденный перерыв! Поглотать тоже что-то надо! — сказала Валя, которая и сама подумывала о том, чтобы эту дополнительную работу делать днем, но тотчас же отказавшаяся от этой мысли, едва ее высказала Зина: — Надо в вечерние часы!

— Я тоже так думал, товарищи, но хотел, чтобы это предложение было сделано вами! — сказал заведующий

и обернулся к Луниной: — Ефросинья Романовна! Вы сумеете выделить несколько вечеров для этого? Я понимаю, что это трудно, но... Я даже думаю, что мы будем заниматься этим не ежедневно, а через вечер.

— Да я как все! — ответила смущенная Фрося. — Через вечер, конечно, лучше.

— Правильно, товарищ Лунева! — сказал главный выразитель сочувствий и чуткостей. — Растете вы. Прямо на глазах! Растете!

— Ну, значит, договорились! Треугольник тоже принимает участие в этой работе, товарищи! — сказал заведующий, косясь на вождя профкома. — По очереди! И по группам!

— Н-да, — сказал бодро председатель, но взор его померк, как всегда, когда нужно было не только руководить, но и...

Однако ему и пришлось в этот вечер отдать свое рвение на алтарь отечества, так как заведующего неожиданно вызвали в городской комитет партии, и группе Зины надо было проводить эту работу в присутствии одной из сторон равнобедренного треугольника, основанием которого явно был Фуфырь, особенно сегодня.

Через два часа после конца работы Зина, Основание Треугольника и Фрося были уже опять на своих местах. Зажгли лампы, вооружились таблицами, вскрыли сейф, где хранились сертификаты и облигации, сданные на хранение, и углубились в работу. Фрося читала длинные колонки цифр в таблицах, Зина сверялась с записями сертификатов. Обязанный присутствовать при вскрытии и опечатывании сейфа, Основание Треугольника поторчал-поторчал возле Фроси и Зины и вдруг почувствовал утомление, от которого у него так и слипались глаза. Он еще несколько сопротивлялся дремоте, накатывавшей на него волнами, разглядывая лицо Зины, ее темные брови, нежные губы, которые так красиво складывались, произнося какие-то слова. Но потом и это зрелище уже не могло развеять его. Он важно сказал:

— Ну вот и хорошо! Пока я вам не нужен, девочки! Я пойду к себе и тоже поработаю. Как понадобится, крикнете...

— Крикнем, крикнем! Обязательно! — заверила его Фрося.

Зина только кивнула головой.

Основание Треугольника скрылся в двери служебного хода, рядом с которой был его кабинет. Двери он оставил приоткрытыми, чтобы не совсем лишиться руководства своих подопечных. В его кабинете звучно заскрипело широкое, покойное кресло, и там все утихло. Вскоре, однако, оттуда донеслись какие-то булькающие, свистящие, хрипящие шумы...

— Работает над собой! — сказала Зина, прислушиваясь. Фрося фыркнула, зажала рот рукой, оглянулась на дверь, закашлялась, но это не прервало работы над собой председателя профкома.

— Видала бездельников, сама бездельница, но такого не приходилось встречать! — громко сказала Зина.

— Тише, услышит! — предупредила подругу Фрося.

— Его теперь и пушкой не разбудишь!

— Ой, выигрыш! — сказала Фрося и обрадовалась: — Две с половиной! Ой, как хорошо!

Зина посмотрела на нее. Подумала. Потом сказала:

— Отложи-ка эту облигацию!

Выигрышей были десятки. Но часть из выигравших облигаций Зина почему-то не заносила в бланки уведомлений, сверяясь с каким-то списком, что вынула из своей сумочки, и велела сертификаты с номерами этих облигаций отложить тоже в сторону. Прислушавшись к храпу Основания, она спокойно взяла из сейфа и эти облигации. Фрося не обращала внимания на то, что делает Зина, полагая, что все идет, как надо. Однако когда Зина положила в конверты сохранных сертификатов другие облигации, из своей сумки, она ахнула:

— Зина!

— Молчи громче! — спокойно сказала Зина и обезоружила Фросю этим своим спокойствием. Глупо было кричать, глупо было шуметь.

— Не надо, Зина! — сказала Фрося умоляюще, когда до нее дошел смысл действий подруги. — Я тебя прошу! Ну, не надо!

Зина посмотрела на нее холодным взглядом.

— Не волнуйся, пожалуйста! — сказала она. — Губы размазала, поправь!.. Что ты воображаешь о себе? И что ты понимаешь в этом? По этим облигациям никто ничего не может получить! Понятно? — И, видя, что Фрося не спускает с нее недоумевающих и испуганных глаз, она с какой-то жестокостью в голосе добавила: — Владельцы этих облигаций уже не придут сюда никогда. Не понимаешь? Так я тебе скажу — кто пал смертью храбрых в битве за... кто на подступах к... а государство внакладе никогда не останется. Ведь мы после проверки сдадим не востребованные выигрыши в доход государству. Вот твой Лунин положил бы на сохранение облигации, а по ним выпал бы выигрыш. Ты этот выигрыш получить не можешь, сертификат на его имя, а доверенности у тебя, скажем, нет или у вас разные фамилии! Поняла?

Фросю проняла дрожь. Все это, конечно, так, но что-то тут все-таки не то... Она сидела и не знала, что делать. Вроде Зина права: раз никто не может получить, значит, и не получит... значит, вроде и выигрыша не было никакого... А если?.. Можно будет Зине отдать долги и за крестины расплатиться

с Людмилой Михайловной. Можно будет... Ведь это все равно что найти деньги на дороге, когда не знаешь, кто их потерял... Вот нашел же Генка двадцать пять рублей! Кто-то их потерял, значит, и волновался, и искал, и шарил все вокруг! А тут и волноваться некому!.. Делают же так, если Зина решилась... Разве без обмана проживешь? Ой, да как же быть-то? Ой, да что же делать-то?

— Закрой рот! — сказала Зина, начиная нервничать от этого приступа страха, в который была погружена Фрося и который невольно действовал и на Зину. Между тем она быстро заполнила новые бланки сертификатов, записав в них, взамен вынутых, облигации, принесенные с собой. Сунула один из них Фросе, вычеркнув два номера и положив сверху две облигации, чтобы Фрося вписала их.

Подчиняясь Зине, Фрося принялась выполнять ее приказание...

Когда подлог был закончен, Зина взяла из выигравших три облигации себе, две отдала Фросе, сама сунув в ее сумку. Спрятала в карман оригиналы вновь заполненных бланков. Старые бланки залила чернилами. Быстро, так, как она умела делать, все привела в порядок, заполнила рапортничку, бланки уведомлений, время от времени взглядом приободряя совсем разомлевшую и растерявшуюся Фросю.

— Вот и все! — сказала она.

Все ли, Зина? Все ли?..

— Венедикт Ильич! — крикнула она, вспомнив имя Основания Треугольника. — Венедикт Ильич! Можно вас на минутку?

Булькающий, свистящий, хрипящий насос в комнате председателя профкома продолжал работать, всасывая более или менее насыщенный кислородом воздух из помещения сберегательной кассы в легкие Основания и выталкивая оттуда воздух, насыщенный углекислотой.

— Пойди постучи ему в дверь. Но не входи! Пусть сам выйдет!

Фрося послушно, но чувствуя, что у нее все дрожит под коленками и в животе, чувствуя крайнюю слабость в ногах и видя все будто в тумане, подошла к двери кабинета председателя. И прислонилась к прохладной притолоке лбом. Может, сразу сказать все?..

— Венедикт Ильич! — крикнула опять Зина из операционного зала.

Фрося постучала.

Насос тотчас же перестал работать, немедленно выключенный Основанием. Заскрипело кресло. Председатель кашлянул. Минуту помолчал, осознавая, где он, почему не дома, почему за столом в тот час, когда надо лежать в постели

и спать, чтобы сохранить свои силы, так нужные государству и народу, на завтра. Осознал. И вполне бодрым и трезвым голосом крикнул:

— Сию минуту!

Через минуту он и верно появился в зале.

Ничто не говорило о том, как провел свою работу над собой председатель. Кроме пуговицы на рукаве, которая аккуратно отпечаталась на лбу мыслителя. Отпечаталась с кромкой и отверстиями, в которые проходит нитка с иглой...

— Ну-ну! — сказал он солидно. — Надолго еще нам остается?

— Да все уже кончено, Венедикт Ильич! — сказала Зина, позевывая.

— Ну, хорошо!

— Только тут маленькая накладка вышла, Венедикт Ильич! — сказала в замешательстве Зина. — Очень я устала. И залила два сертификата чернилами. Пришлось переписать!

— Надо поукуратнее! Работать! Поукуратнее надо! — сказал начальственно председатель. — Как же это ты так! Ценные же бумаги все-таки...

— Не выдавайте меня, Венедикт Ильич! — сказала Зина и пододвинула председателю вновь заполненные бланки. — Надо подписать...

— Это можно! — с удовольствием протянул руку председатель, он любил ставить свою подпись, выписывая ее тщательно и с чувством собственного достоинства. Вот, понимаешь, века пройдут, будут историки копать в далеком прошлом и установят, понимаешь: вот жил тогда-то такой-то деятель и оставил след в истории, сохранив на века свою подпись, — а что он был за человек, любопытно!! Председатель поставил свою подпись, полюбовался тем, как сохнут чернила на затейливом его росчерке. Подумал. Спросил: — А выигрыши тут есть?

— Есть, Венедикт Ильич!

«Вот заладила — Венедикт Ильич, Венедикт Ильич! — с досадой подумала Фрося про подругу. — Вдруг подумает: «А чего это она меня завеличала? Видно, знает кошка, чье сало съела!»

— Ну, хорошо, что есть!

Больше делать им нечего было в сберегательной кассе. Втроем они вышли из здания. Голубой свет луны заливал весь город. Легкий ветерок несся с Амура по улицам, чуть шевеля кроны деревьев. Была глубокая ночь. Уже выключили освещение улиц. Уже за Бархатным перевалом начинало синеть небо. Только в редких окнах виднелся свет, вернее, светлые лучики, что пробивались через шторы.

— Могу проводить! — сказал председатель, делая кренделем свою толстую руку и галантно изгибаясь.

— Ну, мы так задержали вас! — сказала Зина, отказываясь от услуг Основания Треугольника.

И он, почтя свою обязанность вполне законченной, отправился направо, шагая, как Александр Третий, если бы тому пришла фантазия прогуляться по улицам Петрополя и если бы мощную фигуру его уже не отправили в переплавку, чтобы не портить вида Ленинграда.

Зина распрощалась с Фросей на углу.

— Не вздумай, Фросечка, получать выигрыш в нашей кассе! — сказала она.

Фрося промолчала, привыкая к совершившемуся, которого теперь уже нельзя было вернуть — ни одной секунды, ни одного мига! Фросе даже и думать не хотелось: пусть все уляжется — и страх, и надежды, и жадность! — чтобы можно было оценить спокойно, что принес с собой этот вечер...

— Генка вернулся? — спросила Зина, видя, что Фрося не в себе.

Она была в курсе последних событий в доме Фроси.

— Нет. Да куда он денется! — с тоской сказала Фрося.

3

Нет, Генка не вернулся.

И был он довольно далеко от дома и уже испытал ощущения путешественника, которому каждую минуту открывается нечто новое, которого каждую минуту ожидают нечаянности — хорошие и плохие. Он хотел было слезть со своей колесницы на товарной станции, отстоявшей от города в десяти километрах. Но когда он выглянул из тамбура, на глаза ему попались милиционеры — целая команда, которые стояли на перроне, покуривали, посмеивались, чего-то или кого-то ожидая. Генка сразу же спрятался. Не потому, что он воображал, будто этот отряд будет ловить его, стащившего из кармана Максима Петровича две бумажки. Он не был так наивен. Но ему что-то не захотелось их видеть — ни со ступенек поезда, ни вблизи тем более. Он и до сих пор иногда вспоминал, как крепко сжимал его воротник тот милиционер, которого он водил после Дня Победы из дома в дом, из подъезда в подъезд, с этажа на этаж, пока милиционер, терпение которого иссякло, не показал ему увесистый кулак: «Видал грушу? Брось меня прогуливать, понимаешь!» Генке этот прибор управления обществом мыслящих единиц был знаком по жесту отца. И он сразу сдался на милость победи-

теля и перестал вилять — «ах, все равно, сколько ни води, куда-нибудь придешь!».

Он даже прилег на пол тамбура, чтобы не выдать себя.

Неожиданно быстро поезд пошел дальше. Милиционеры поехали вместе со зданием станции. Генка с удовольствием показал им фигу, прокатившись мимо и уже осознавая свои широкие возможности для ознакомления с вселенной, которые предоставлял ему железнодорожный транспорт великой железнодорожной державы.

Состав миновал какие-то полустанки, пролетал мимо переездов, время от времени весело погукивая, посвистывая и непрестанно грохоча всем, чем только могли грохотать колеса и вагоны. Генку покидывало в тамбуре то туда, то сюда. Солнышко светило ему во всю ивановскую, и ветер относил назад и поля, и какие-то поселки, что вставали то справа, то слева, и копны свежего сена первого укоса, и стада коров, что паслись возле дороги, нимало не думая о техническом прогрессе человечества в образе паровоза, летевшего по стальным рельсам, часть из которых носила марку заводов «Стил Корпорейшн, Иллинойс, США», что было известным признаком времени, так как эти рельсы приехали из-за океана вместе со свиной тушенкой и американскими пальто, которые очень нравились советским людям из-за своей подкладки. Нимало коровы не думали и о человеке — венце творения, который, шмыгая мокрым носом и поджимая под себя то одну, то другую ногу, то мочась с подножек, так как перегон явно затягивался и венец творения уже не мог дальше терпеть, ехал на товарном поезде куда-то, а куда — и сам не знал...

Товарняк остановился возле какой-то крупной станции, вдали от ее здания. Обходчики пошли вдоль состава, точно полевые кузнечики постукивая по скатам: тик-тик, тик-тик, тик-тик! Генка убоился свидания с кузнечиками, так как им не понравилось бы, что сын Стрельца и Марса устраивает бесплатно пробег по Вселенной. Но это свидание состоялось по инициативе представителей армии железнодорожников. Обходчик, проходя мимо вагона, где скрывался Генка, заглянул в тамбур и увидел Генку.

— Эй, пассажир! — сказал он, щуря насмешливые глаза. — Слезай, станция Березай — приехали!

— Ну, ты! — на всякий случай сказал Генка. Это должно было означать примерно следующее: «Гражданин! Мы с вами не знакомы! Не имею чести знать вас, а также не весьма расположен беседовать с вами в данный момент и на данную тему!»

Это было не самое лучшее, что мог сказать Генка. Находчивость изменила ему. Вот если бы он скривил самую пога-

ную гримасу, которую мог изобразить на своем лице, и занял бы противным голосом: «Дя-яденька! Мне надо туда-то проехать, мамка болеет, в письме прописали, а я в городе учусь... а денег нету... Что вам, жалко, что ли, дянденька?» — тогда обходчик понял бы, что он может решить за всю железнодорожную державу вопрос о судьбе живого человека в его пользу. Теперь же он видел перед собой не просто человека, а нарушителя правил пользования средствами железнодорожного транспорта СССР, каковые, то есть правила, в бордовых, как бы сказал обходчик, рамках висели всюду, где только можно было их приспособить. И вопрос не был решен в пользу живого человека. Обходчик, обидевшись за это «ну, ты!», чуть подождал, а потом полез на ступеньки, чтобы ухватить Генку за то место, которое уже автоматически воспроизвело прошлые Генкины ощущения от первого знакомства с милицией, которая меня бережет...

И Генка сиганул со ступенек, с другой стороны.

Обходчик проследил из-под вагона, достаточно ли далеко отброшен враг, и погрозил Генке пальцем, замазанным в тавоте. А Генка, окончательно отрезав возможность мирного разрешения конфликта, похлопал себя рукой по некоторому месту, пожалуй, наиболее капитальному во всем его организме, даже учитывая, что на этот организм пошло не так уж много мяса и костей...

Тут паровоз опять весело свистнул и, неожиданно быстро набрав скорость, проследовал в место дальнейшего назначения. А Генка остался.

Название станции, которое он прочитал на неряшливой вывеске — желтые буквы на черном фоне! — мало что прибавило к сокровищам знаний, накопленных Генкою за свою жизнь. Это было слово, которое никаких ассоциаций не возбуждало в Генке. Но это было уже за пятьдесят километров от родного города! И Генка и струхнул, и обрадовался. Струхнул потому, что ему было ясно — кончились знакомые места и он уже находится как бы в другом полушарии, и вернуться домой будет нелегко. И обрадовался тому, что он проделал первые пятьдесят километров в своей жизни, как плюнул на сторону. «Ни чик!» — пренебрежительно сказал он себе и уже с видом бывалого человека стал глядеть на окружающее. Какая-то уверенность в том, что он теперь все может, проснулась в нем. Он пошевелил рукой в кармане свои капиталы и пошел со станции в поселок.

Двадцать пять рублей из его основного капитала пошли на амортизационные расходы — именно столько ушло у него на покупку кусочка студня, что продавался возле железной дороги в базарных рядах, и на ломоть хлеба, — съев все это с той же быстротой, с какой собака хватается на лету и глотает

колбасу, Генка почувствовал, что сыт, хотя и мог бы съесть еще кое-что...

Земля простиралась перед ним.

Можно было пойти в любую сторону, никого не спрося.

И Генка пошел, инстинктивно выбрав наиболее красивую и хорошую дорогу из тех, что лежали перед ним, как перед былинным богатырем: «Направо пойдешь — сам погибнешь, конь останется жив! Налево пойдешь — сам останешься жив, коня потеряешь! Прямо пойдешь — совсем пропадешь!»

Одна дорога — направо — шла через переезд и углублялась в мелколесье. Орешник, боярышник, ивняки скрывали ее от глаз Генки, но и по въезду ее в мелколесье было видно, что дорога не из важнецких — недавний ливень размыл глинистые колеи, которые были наезжены конными телегами всяко — и вкривь и вкось. Не стоило идти по этой дороге. Генка не был знаком с мудростью Козьмы Пруткова, и все глубокое значение афоризма «Не ходи по косягору — сапоги стопчешь!» еще не раскрылось ему по-настоящему. Но он уже знал, что по такой дороге ходить неудобно.

Вторая дорога — налево — шла вдоль железнодорожных путей и, очевидно, не таила в себе ничего выдающегося — те же копны свежего сена, те же деревенские крыши вдали, те же столбы электрической передачи с гудящими проводами, те же перелески и защитные посадки, что видел Генка, когда персональный поезд мчал его по стальным рельсам с маркой «Стил Корпорейшн, Иллинойс, США», мирно лежавшим на одном полотне с рельсами из Днепропетровска и Южно-Уральска, СССР. По этой дороге шли грузовые машины, разъезжаясь по разбитым колеям, как разъезжались по первой дороге старорежимные ходки. Чего хорошего идти по такой дороге, когда тебе то и дело будут сигналить сзади и спереди: «Эй, ты! Сопля! Где у тебя глаза? Вынь из кармана да на нос повесь!»

Третья дорога — прямо перед глазами! — гудронированная, чистенькая, до блеска вымытая прошедшим ливнем, прямая, как стрела, начиналась впритык к железнодорожному полотну и исчезала в какой-то синей дали, будто растворяясь в ней. Она была пустынна. Ни пешеходов. Ни машин. Голубое полотно ее светилось в лучах солнца. Глубокие кюветы, по которым струилась еще ливневая вода, только подчеркивали ее стремительность и словно поднимали ее в воздух. Кустарники, стоявшие на некотором ее протяжении справа и слева, сменялись дальше старым лесом, который как-то уже очень уважительно расступался перед нею, и дальше дорога, сколько хватал глаз, шла по этой аллее из старых деревьев. Казалось, что она только сейчас возникла по мановению вол-

шебной палочки и что парок, который поднимался из кюветов, струится в воздухе потому, что дорога еще не остыла, будучи свежеиспеченной специально к приезду Генки... Она шла через перевалы, то поднимаясь, то опускаясь, и с последнего увала круто шла вверх и, голубая, сливалась там с голубым небом, будто река впадала в океан.

Как хорошо было идти по ней! Раз! Два! Левой! Раз! Два! Левой! Генка попробовал даже идти строевым шагом, как ходят солдаты на параде, благо, что никто не мог увидеть этого. Вытягивал ноги перед собой, сколько мог, и клал ступню на гудрон с притопом. Лихо! И ему казалось — у него широкая грудная клетка, и плечи его развернуты, и каска, прикрывающая лоб, упруго покачивается от этого шага, и играет ему одному невидимый оркестр...

А по сторонам стояли вечнозеленые елки и лиственницы, маньчжурский высоченный орех, тронутый желтизной, белоствольные березы, зеленый убор которых был уже расцвечен оранжевыми крапинами, стройный тонкий осинник в ярко-желтых одеждах, дубнячок с резными листочками, уже окрашенными багрянцем. И березки, клонясь к дубкам, шептали восхищенно: «Смотрите, какой brave артиллерист шагает по нашей улице!» И осинничек кричал радостно, трепеща всеми нежными своими листочками, словно насквозь пронизанными солнечным светом, пожилым лиственницам, которые кутались в тяжелые темно-зеленые шали, свисавшие до самой земли: «Смотрите! Смотрите! Какой хороший! Кто это такой? А можно нам с ним пошагать по этой дороге?» И кузнечики в придорожной травке, уже уставшей от жаркого солнца, пиликали на своих скрипочках, и шмели гудели на своих контрабасах, и кто-то колотил в тулумбасы, и где-то звучали трубы. И изумрудные стрекозы застывали над головой Генки, удивляясь ему, и испускали радужные лучи своими крыльями. И золотые паутинки плыли в воздухе, сверкая в высоте золотой канителью.

Знаете ли вы, что такое радость?

Если вам не знакомо это чувство, посмотрите на Генку! -

В упоении стучал он по гудрону, сколько мог, своими расшлепанными ботинками. Солнце летело к нему навстречу и было так радо ему, светило изо всех сил так ослепительно, что Генка закрывал глаза и наслаждался тем, что веки у него просвечивали и он с закрытыми глазами видел тонкий узор сосудов, темными тончайшими линиями пронизывающих кожу. Дорога была по-прежнему безлюдна. И Генка говорил себе: «Пройду с закрытыми глазами двадцать пять шагов!» Проходил, открывал глаза — не идет ли встреча машина? И тем же манером делал пятьдесят строевых шагов. И — сто! И поражался своим возможностям, которые до сих пор,

были скрыты в нем. Так, с закрытыми глазами, он прошагал мимо полосатого столбика с короткой выразительной надписью на четырехугольной аккуратной дощечке: «Запретная зона!!! За нарушение — под суд!!!» Три восклицательных знака после каждой фразы делали эту надпись особенно значительной для тех, кто шел по дороге с открытыми глазами. Но у Генки его глаза были закрыты, и он не видел не только восклицательных знаков, но и надписи и столба, на котором она была укреплена...

Раз! Два! Левой!.. Раз! Два! Левой!..

Устав от парада, который он устроил себе, Генка пошел просто так, как все ходят.

Удивительная тишина обнимала окрестность, если не считать шелеста листвы по обочинам дороги да треска всякой живности, что скакала, прыгала, ползла, летала над словно застывшей в этом потоке тепла и света травой...

И вдруг что-то зачернело на дороге. Двое в шубах дрались на голубом ее полотне. Лупили друг друга наотмашь, широко размахиваясь, боролись в обнимку, а то гнались друг за другом и, настигнув, катились клубком. Генка вытаращил глаза и убавил шаг. Вот еще, нашли место и время! «Шоферá, наверно, греются!» — подумал он, а потом, вытерев пот, набегающий за воротник, сообразил, что в такую жару греться, пожалуй, и не стоит! К тому же в шубах!

Его раздирали испуг и любопытство. Как бы не влипнуть тут в историю... Из осторожности он перешел на правую сторону дороги, к выемке в склоне сопочки, скат которой оказался у него с левой руки. Скат был довольно крут. Тут лесок чуть отступал от дороги и только ниже метров на сорок начинался опять по-хорошему. Под прикрытием подлеска, который шел за выемкой, Генка подошел поближе, почти вровень с тем местом, где сдуревшие шоферы тузили друг друга не на шутку.

Тут один из них, покрупнее, побольше и посильнее, дал такого тумака второму, чуть похлипче, что тот заревел нечеловеческим голосом и кинулся к обочине, на скат, сверкнул в воздухе темными пятками и завалился вниз. Второй поднялся в рост, огляделся, и Генка очень ясно и вместе с тем как во сне увидел длинную морду, мохнатые уши, близко поставленные и оттого несколько недоуменные черные глазки старшего шофера, его широкие лапы и короткие кривоватые ноги, и деликатный хвостик, целомудренно прикрывший то, что у прочих шоферов скрывалось штанами. Генка ахнул и застыл, не в силах сделать ни одного движения, душа его спряталась не только в пятки, но и в самые закоблущья, а — возможно! — и вовсе отлетела на время прочь. И шофер, вдруг увидев неподалеку от себя Генку, тоже испугался. Он

поднял вверх черный мокрый нос, обнажив желтоватые зубы, понюхал, учуял дурной воздух, потянувший вдруг от Генки, и на четвереньках, иноходью, мелькая черными пятками, пустился наутек, туда же, к косогору, откуда в этот момент выглянул и младший шофер. Пестун налетел на него, мимоходом дал хорошего леща, и оба они покатались кувырком вниз, причем старший, видимо очень дисциплинированный, владеющий собой и глубоко осознающий свой долг в отношении младших, умудрялся шлепать маленького, годовалого, то по голове, то по тыльной части тулова, прибавляя ему прыти. Они ввалились в подлесок, подминая и ломая кустики, отчего раздался и треск и хруст. Тут пестун, не давая брату опомниться, отвесил ему с чисто профилактической целью еще одну затрещину, и они скрылись оба в чащобе, ломая напрямик.

Генка летел по дороге, забыв все на свете, опрометью.

Он довольно далеко умчался от места нежданной встречи, пока не смог оглянуться. Нет, никто не гнался за ним...

Вот это да!

Один артиллерист на двух медведей! Видали ли вы что-нибудь подобное? Не думаю! Такой случай выпадает, по-моему, на долю только одного артиллериста из тысячи. Это ничего, что сын Марса и Фроси дал стрелкача. Надо еще посмотреть, кто перетрусил больше! Ведь сначала бежали медведи! Генка слышал треск кустарника под косогором — вот уж да, драп так драп, как фрицы от Ивана!.. А что касается артиллериста, то... он... отбросив разведку противника, продолжал движение к исходным рубежам. Вот и все!

Однако что же это такое, а? Дорога как дорога! А машин — ни одной! А медведи на ней режутся! Может быть, пока Генка шел от станции сюда, мир уже перестал существовать, уничтоженный какими-нибудь мертвыми лучами, и Генка остался единственным представителем мыслящих существ на земле, которой уже успели овладеть расплодившиеся звери? Генка с невольным сомнением огляделся, и какой-то червячок сомнения в том, что сегодняшний день окончится благополучно, шевельнулся в его душе...

А дорога подбрасывала свои метр за метром ему под ноги, и он шел и шел, теперь уже побаиваясь остановиться. Ему хотелось теперь, как никогда Америго Веспуччи, увидеть наконец берег и человеческое жилье на этом берегу. А дорога, как видно, и на самом деле шла на небо?

Но теперь на ней появилось нечто сразу привлекавшее внимание мыслящего существа, у которого стало противно подшлепывать отрывающаяся от стремительного броска к исходным позициям подметка. Посередине дороги, на равном расстоянии друг от друга, появились четырехугольные отвер-

ствия — аккуратные, сделанные, как видно, не зря. Эти отверстия, разрезая гудрон и подушку, углублялись в глинисто-каменистый грунт. Одно, другое, третье, четвертое... На всем видимом протяжении. Через лесные заросли увалов, по которым шла дорога, что-то стало проблескивать, мерцаться...

Генка заглянул в одну дыру, в другую. Покопался в грунте, вытащил плоский камешек, какие встречал на берегу реки. Повертел камень в руках, сунул в карман, уже с опаской стал заглядывать в следующие отверстия, не понимая, что таят в себе эти странные отверстия и чем именно они угрожают ему, Генке. А если покопать глубже? Может, там что-то зарыто?..

Переборов свой страх, Генка принялся углублять яму обеими руками. Вдруг чей-то голос сказал, словно выстрелил:
— Ложись!

Генка вскинул голову и ничего и никого не увидел. Зато он услышал сухой треск затвора и окрик:

— Ложись! Стрелять буду!

Генка шлепнулся прямо на горячий гудрон, вдохнув горькую пыль дороги и чувствуя, что его прижатые к полотну ладони жжет, как на сковородке. Черная тень легла рядом с Генкой, и чьи-то руки быстро и легко обшарили его с ног до головы, вынули камешек, взятый из загадочного отверстия под ногами, зашелестели денежной бумажкой в другом кармане.

— Н-но, ты! — сказал Генка гудрону.

— Тих-ха! — сказали ему в ответ. — Подымайсь! Руки за голову!

4

Зойка сипела, кашляла, хрипела, чихала, температурила. «Бронхитик!» — сказал вызванный врач. Зойке нужно было жаропонижающее, тепло, витаминизированное питье и уход. А Фросе надо было работать, хотя врач и выписал ей листок нетрудоспособности, чтобы Фрося могла посидеть с дочкою. Ну, а надо же в очереди постоять за хлебом, за каким-то приварком, сбегать на базар или еще куда-то; домашняя работа не регламентируется какими-то сроками — сегодня так, а завтра по-другому. Сначала Фрося довольно легко отнеслась к неожиданному освобождению от работы — в ней еще не улегся страх за операцию, проведенную Зиной с таким хладнокровием и самообладанием, ей еще трудно было глядеть на Зину, в ней еще не возникло отношение к Зине как к сообщнику в некрасивом деле. Но житейские заботы требовали не ее сидения у кровати Зойки, а беганья по горо-

ду за самыми нужными вещами: соль, спички, жиры и все прочее — требовало труда.

Вихрова охотно соглашалась посидеть с Зойкой. Зойка хорошо слушалась ее, видимо несколько побаиваясь чужого человека. Но и Вихровой надо бежать по той же дорожке, по которой бегала Фрося ежедневно. Утрудив соседку три раза этим одолжением, Фрося сказала себе, что это не дело. Она подумала сразу же о бабке Агате. Вот кто мог выручить ее! Пусть посидит с Зойкой — детишек она любит. Тем более что Зойка давно уже просится, когда возникали у нее кое-какие желания. А бабка Агата поест с Фросей. Это тоже не последнее дело — бабка получала откуда-то из деревни, от своих родственников — седьмая вода на киселе! — какие-то жалкие деньжонки, а пробивалась именно тем, что либо возилась с детьми, либо сидела у постели больных. В домработницы ее никто не брал — стара! А услугами ее пользовались охотно. «Надобно сходить к ней, что ли!» — подумала Фрося и отправилась к бабке Агате.

Махонькая комнатенка бабки Агаты была увешана какими-то пахучими травками. Маленькие окна комнатенки были заставлены цветами, которые уменьшали и без того невеликий поток света из окон. Стол, два стула. Целый иконостас в красном углу, перед которым теплилась лампада с коптящим чуть-чуть фитильком. Робкий свет лампады выхватывал из полумрака угла строгие лики святых и богов. Святой Николай Мирликийский, спасающий в Каппадокии трех невинно осужденных от казни. Святой Иннокентий Иркутский в пустыне. Христос на плате — Нерукотворный. Иверская божья мать с пронзенной польскими оккупантами ланитой, откуда сочилась кровь. И Троица — затянувшееся на два тысячелетия заседание, которому не было начала и не будет конца! — на тронах, имевших какое-то не божественное сходство с высокими вокзальными, неудобными креслами, восседали: одесную — сын божий, ошую — богомать, в середине — бог отец с запущенной бородою, над которым витал бог — дух святой, который принимал участие в заседании божественного совета, так сказать, во взвешенном состоянии, так как представить себе голубя в кресле не смогли даже простодушные богомазы, читвшие весь небесный синклит не меньше, чем они почитали земных владык...

Солдатская койка, на которой лежал тощенький матрац, покрытый тонкой черной шалью, довершала убранство жилья, земного обиталища бабки Агаты, которую ожидали райские утехи на небесах...

Но сейчас духовитость травок перебивал запах лекарств, стоявших на колченогом стуле вблизи кровати, на которой лежала бабка Агата.

Болела она, видно, не первый день. Темные круги обмели ее добрые глаза. И глаза эти сильно ввалились. И щеки ее осунулись, обозначив нехорошие впадины и выпятив скулы, которые были покрыты сейчас бледным румянцем.

Фрося всплеснула руками:

— Бабенька Агата! Да вы что это?! Болеете...

— Хвораю! — чуть слышно сказала бабка Агата. — Господь послал испытание, доченька. Что-то неможется и неможется...

— Да что у вас болит-то?

И ничего у бабки не болело, и все болело. «Возрастное и простуда», — сказал врач из помощи на дому, похлопал ободряюще бабку большой, тяжелой рукой по худым ногам и задумался. «Сынок, ты сими руку-то, — попросила бабка, — не могу тяжелого вынести, грешница, все косточки ноют и ноют, гудят и гудят, ровно шмели вокруг меня летают!» — «Сколько вам лет-то, бабушка?» — «Семьдесят девятый пошел, голубчик!» — «Н-да!» — сказал врач. А что он мог еще сказать? Жизнь в бабке Агате теплилась, как восковая свечечка на сквозняке, — то вспыхнет, то вот-вот угаснет, испуская черно-сизый дымок...

— Вот хорошо, что зашла, Фросенька! Вот добро сотворила во имя господа! А то все меня что-то забыли. Почитай, второй день никто не заглянул. А я уж тут и обмаралась, ровно ребенок. Ты уж обиходи меня, Христа ради!

В расстройстве Фрося, которую поразило зрелище этого сиротского одиночества, обиходила бабку, посидела с нею какое-то время, о болезни Зойки говорить не стала, что бы не расстраивать бабку Агату, но та сама спросила Фросю с тревогою:

— А как Зочка-то, не болеет?

— Нет, бабушка, не болеет.

— Ну и слава богу! А то я уж вся извелася, доченька, — долго ли младенца застудить... Ох и дьякон же у нас! Пока служил за попа, мы им нахвалиться не могли, — ничего, что службу-то он и не шибко знал. А тут его ровно подменили — груб стал, жаден стал, времени на церковь не находит, без денег к нему и не подходи! Господи, помилуй меня, грешницу, — о духовном лице так говорю! И служит и не служит, — вишь, рукоположили его на приход, так ему теперь и отец Георгий не указ, и церковный совет — наплевать. Ждет не дождется нового дьякона, и дела не делает, и от дела не бегаёт. Ведь, подумать только, сунул младенца в кипяток, а потом в студеное... Это у нас в Забайкалье в старину так только делали. Родится дитё — его от матери в печку русскую, хорошо мокрой рядниной выбздают ее, да и туда. Он аж задохнется! А потом в сугороб, голенького-то! Он и опять зайдет-

ся! А потом к материнной цыцке! Тут он как опамятеется, так до самой смерти и не болеет, если не помрет вскорости... Ну, дак это когда было... Теперь и люди-то другие...

Она взяла сухой ручкой Фросю:

— Уж я так боялась, так боялась за твою красавицу, что у меня как домой пришла — сразу же ноженьки отнялися...

Разговор утомил бабу Агату, она разволновалась и стала покашливать сухеньким, легким кашлем, который очень не понравился Фросе. Бабка полежала-полежала, усмехаясь собственной слабости и улыбкой этой принося извинения Фросе за то, что не может вымолвить слова. Потом, чуть набравшись сил, попросила:

— Доченька! За ради бога живого сходи ты к отцу Георгию. Он чуть пониже тебя живет, на другой улице — но по сорочьей дороге тут два шага всего будет — сходи, прошу тебя. Поклонись ему в ножки, пущай придет ко мне... Исповедаться охота. Сказано: «Не ведаем ни дня, ни часа, егда предстанем перед господом...» Сама бы сходила, да, видишь, обезножела я совсем!..

Фрося обещала выполнить просьбу бабу Агаты, и той словно легче стало. Она вдруг приподнялась немного, присела в своем великомученическом ложе, закрестила Фросю:

— Иди, иди, доченька! Негоже ребенка одного оставлять, да не забудь к отцу-то Георгию наведаться...

И Фрося наведалась к отцу Георгию.

Вернее, он сам пересек дорогу ей, когда Фрося возвращалась в город. Узнав его, Фрося сложила в кармане кукиш, чтобы эта встреча не причинила ей какой-нибудь неприятности, и окликнула священника, который уже отважился пройти по улице в бостоновой рясе и в черной шляпе, понемногу обвыкая не обращать внимания на откровенно насмешливые и презрительно косые взгляды, какими многие провожали его потяжелевшую фигуру в священническом одеянии, так странно выглядевшую среди гражданского платья прочих людей.

— Что вам угодно? — спросил отец Георгий, которому не хотелось разговаривать с верующими на улице и в голосе которого Фрося не услышала той бархатной мягкости, ласкающей слух, что умиляла паству отца Георгия в церкви.

— Батюшка! — сказала Фрося. — Очень уж бабенька Агата плоха! Просит вас прийти к ней, исповедать. Видно, конец ей выходит, что ли, — прямо краше в гроб кладут...

Отец Георгий нахмурился.

— Больно далеко! — проворчал он. — Я и сам не мальчик, бегать-то. Туда и автобус-то не ходит... Да и — над этим подумать надо! — один я, раб божий, на весь город. И швец, и жнец, и в дуду игрец! Не разорваться же мне на части. Не

знаю, не могу обещать! Подумаю. Надо как-то время выгадать!

— Батюшка! Может, она после этого и подымет. Очень ждет!

— Не могу обещать! Не могу! — сказал отец Георгий, слегка задыхаясь, так как и сам разволновался от этого разговора. Бабка Агата? Та святоша, что исповедывается каждую неделю, докучая своими пресными грехами исповедующему, у которого невольно пробуждается мысль о том, что грехи бабке Агате можно было бы простить за одну исповедь на всю жизнь, — как жаль, что нет в православии такой рациональной вещи, как индульгенции католической церкви!

Совершенно растерянная Фрося, не ожидавшая отказа, — ведь бабка Агата отдала последние свои сбережения на облачение вот этому самому попу! — пролепетала еще раз, в надежде, что отец Георгий согласится:

— Так ждет, ну, так ждет... ну, как Иисуса Христа!

— Не богохульствуйте! — строго сказал отец Георгий и добавил: — Подумаю. Подумаю... Извините, спешу...

Фрося отступила в сторону, наступила кому-то на ногу, но даже не обратила внимания на это. Кто-то зашипел от боли, но, однако, не обиделся, так как боженька не должен обижаться, а это был именно боженька, очень хотевший помочь и Фросе и особенно бабке Агате. Поправив сбившийся на макушку свой нимб, на городских улицах сильно потерявший свой иконный блеск, боженька окликнул отца Георгия: «Послушай, сын мой! Не совершаешь ли ты грех равнодушия к ближнему своему?»

— Подумаю! Подумаю! — повторил отец Георгий и быстро пошел прочь. Он даже и не услышал боженьку, так как попы слышат его не чаще, чем простые смертные. А иметь дело со стариками и со старухами ему надоело и в церкви — в конце концов есть же конституция, охраняющая его права, есть же какой-то предел эксплуатации человека человеком. Отец Георгий хорошо знал эти слова. Он очень правильно и часто выговаривал их в последние пятнадцать лет, подписывая денежные документы.

«Эй! Постой!» — закричал боженька, вознамерившись ухватить попа за развевающуюся от быстрого хода рясу и оттащить тут же, на месте отказа от доброго дела, чтобы не оставлять этого до Страшного суда, сроков которого боженька и сам-то не знал. «Боже милостивый! — сказал ему озабоченно Петр-ключарь, выглянув с неба в просвет между облаками. — Да что ты, спятил, что ли, совсем! Ведь он не слышит тебя, а раз не слышит — то и не виноват!» — «Но ведь эту отроковицу-то он слышал! — по близорукости приняв Фросю за девушку, сказал боженька. — Но ведь ей-то он отказал! А баб-

ке Агате-то он отказал в слове утешения, в исповеди...» — «Их много, святой боже, а ты один — ну как ты можешь во все влезть! Постыдился бы хоть сына своего! Ему и второе пришествие предсказано, по закону божьему, а ведь не идет же... не идет — и крышка! Ну их, боже, кто их разберет...» — «Дак нельзя же без воздаяния оставить это дело. А ну как бабка Агата без покаяния умрет?» — «Нельзя? Одним больше, одним меньше! Сколько их без воздаяния-то остается! Поинтересовался бы ты этим делом, так увидел бы...»

Боженька, сконфузившись и оглядевшись вокруг — не заметил ли кто этой перепалки? — воспарил ввысь и исчез на небеси.

5

Непостижим уход человека из жизни.

Рассудок, как и полагается ему, рассуждает: был у Даши брат, его взяли в армию, так как каждый гражданин несет почетную обязанность защиты социалистического отечества, началась война, и он — на деле выполняя веления Конституции! — стал воевать, как и миллионы уже находившихся на военной службе и призванный в первые же дни войны, он выполнял поручения — не поручения, а приказы! — своих начальников, ушел в разведку... и не вернулся, будучи ранен. Гитлеровцы могли взять его в плен. Гитлеровцы могли его убить на месте. Но им нужны были «языки», а поэтому — не из человеколюбия! — они его не убили. Когда исчезла в нем необходимость, его отправили в лагерь. Но он мог в лагере принять участие в тайной и жестокой борьбе против гитлеровцев, и Даша была в этом уверена, как и в том, что у нее был брат. И здесь могло быть два исхода — его убили в лагере или отправили в лагерь уничтожения. Если его не убили, он мог бежать. Если его не поймали, он мог скрываться у тех, кто ненавидел фашизм так, как ненавидел его брат, или воевать против фашистов, в любой из стран, куда ступила их тяжелая стопа. И опять сначала — он мог остаться в живых в самых тяжелых обстоятельствах, но мог быть и убит там, где никто не знал его имени, где, может быть, его могли называть просто брат, или другарь, или амиго, или росо...

И когда Даша в своих рассуждениях доходила до этого места, слезы лились у нее из глаз, она переставала что-либо соображать, и она отказывалась верить своим собственным рассуждениям, таким логическим. Можно знать — ранен. Можно знать — убит. Можно знать — расстрелян. Можно знать — сожжен, распят, удушен, разорван на клочья. Но знание это ничего не прибавляет к постижению этого: он был,

но его уже нет. Как нет! Почему? Ведь мы же есть! Позже человек привыкнет, просто привыкнет, что брата нет, но не смирится с этим и все-таки не поймет, что это значит: нет! А где же он? Ведь тот клочок земли, где зарыт мертвый человек, вовсе не содержит в себе брата, он содержит в себе только его труп! Ужасное слово!

Даша хотела верить Ивану Николаевичу и собиралась ждать брата, как хотел его ждать Дементьев. Но документы брата, находившиеся у Даши, были слишком красноречивы. Надо было привыкать к мысли, что у Даши во всем мире не оставалось ни одного близкого человека. Правда, лейтенант Федя хотел стать для Даши близким. Он в ней души не чаял и тоже, как Иван Николаевич, говорил, что надо ждать. Однако в его голосе слышалась не вера и не упрямство, а только желание утешить, смягчить боль, отвлечь от горестных мыслей.

— Знаете, Дашенька, война — это такое дело... сложное... Как можно ручаться за жизнь или быть уверенным в смерти, если не видел человека живым или сам не зарыл его в могилу! — сказал лейтенант Федя Даше.

Они сидели неподалеку от Арсенала, на низком берегу, где находилась рабочая купальня. Речной песок отдели горел на солнце, излучая нестерпимое сияние. Река была тиха как никогда, и волны Амура текли тяжело и сильно, как льется металл в изложницы, испуская искры. Вода поднялась высоко, и купальня казалась островком в целом море. Чтобы добраться теперь до нее, приходилось разутому и раздетому брести по половодью. Но и это тоже было интересно, и, может быть, на этом островке сейчас было купающихся больше, чем всегда.

Он посмотрел на Дашины ноги.

Она спрятала тотчас же ноги под себя. Федя знал причину этого: на обеих туфлях Даши красовались набойки и обсоюзки, что отнюдь не придавало им элегантности, а Даша была самолюбива, как и всякая молодая девушка. Тряпки не были для нее главным, но...

— Дашенька! — сказал Федя. — В документах брата есть сертификаты. Надо бы посмотреть. Нет ли выигрыша. Мне кажется, есть! И эта серия и эта группа номеров выигрывали. Я думаю, надо вас ввести в права наследования. Через военкомат. Мы сделаем это легко, и...

— Ни за что на свете! — сказала Даша горячо. Ей сразу показалось, что она словно обкрадывает брата.

— Даша...

— Ни за что на свете! — повторила Даша с той же горячностью. — Вернется брат и сам получит свои выигрыши. Сам! Понимаете, Федя? Сам...

— Дело, конечно, ваше... Однако, по-моему, стоит проверить как следует! — Лейтенант от души желал Даше добра и в глубине души твердо решил, что ввести Дашу в права наследования не только можно, но и нужно, а он был упрям. Помолчав, он сказал: — Если вы свободны, Дашенька, сходимте в город. Может быть, в кино...

Даша была свободна — на Арсенале стали давать отгулы за работу без выходных дней в течение военных лет, и она сразу на три дня была отпущена.

Они поднялись на высокий берег мимо военного госпиталя, из окон которого открывался вид широченной амурской поймы, прошли по улице Серышева, который в годы гражданской войны был начальником штаба у командарма Блюхера. И заметили вдруг, что улица за последние годы стала совсем неплоха: армия выстроила для офицеров несколько многоэтажных домов, и они, составляя как бы продолжение здания штаба, стояли ровной красивой шеренгой в одном бравом строю того нового, что постепенно сменяло городскую старину в образе домишек, уже вросших в землю по самые подоконники.

В здании штаба был когда-то кадетский корпус. Мальчишки, подростки и юноши, затянутые в черные мундиры с золотыми галунами, с черными погонами, с желтым шифром и белой окаемкой на плечах, когда-то по утрам пели в большом зале: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое!», а перед вечерней молитвой — корпусной гимн, в котором были хорошие слова: «И на Востоке полудиком рассадником науки быть!» Правда, основным занятием кадет были шагистика, субординация, а основным назначением — защита или нападение, но нельзя при этом не припомнить, что в 1860 году на побережье пустынного залива Золотой Рог высадился 3 июля прапорщик Комаров, что Г. И. Невельской, открывший устье Амура и доказавший его судоходность, что имело неисчислимы последствия для судеб России, действовал в звании капитан-лейтенанта, что Муравьев-Амурский, закрепивший нынешние границы на Востоке в Айгунском трактате, был корпусным генералом, что в дебрях Уссурийского края в сопровождении проводника Дерсу Узалы прокладывал исследовательские тропы в непроходимых лесах капитан военно-топографического отряда В. К. Арсеньев, что в названиях многих заливов, пиков, поселков, бухт, рек, перевалов и падей навсегда сохранились имена многих русских военных, обладавших прочными знаниями, любовью к родине (а не к Романовым!) и чувством ответственности перед русским народом и перед историей человечества... А край был мало изучен и сейчас еще, тая в себе и многие загадки и многие открытия!

Они шли и разговаривали — обо всем и ни о чем, как это бывает, когда идут вместе люди, которые близки друг другу, даже если они и не сказали друг другу об этом.

Федя, забыв в присутствии Даши о своих ранениях и об искалеченной руке, забыв о своей обычной сдержанности и неловкости, взял Дашину руку в свою, да и забыл отпустить ее. Так они и шли: молодой человек в военной форме, со шрамами на шее и с выражением счастья на юном лице, и молодая девушка, в которой и тяжелые мысли не могли вытравить ни молодости, ни красоты, ни святого удивления жизни, которая так и цветет вокруг! Федя, идя под командование своего верховного командующего, каким стала для него Даша, кажется, навсегда забывал обо всем прочем, а также и об отдании чести проходящим офицерам, старшим по званию. Один из этих старших уже хотел было восстановить попорченную дисциплину и остановился для того, чтобы начальственно сказать Феде: «Товарищ старший лейтенант! Устав требует от военнослужащих взаимного приветствия, причем первым приветствует старшего младший по званию!», но, скользнул глазами по лицу лейтенанта, понял, что его не увидели, а обратив свой взор на Дашу, не захотел ее обижать выговором ее кавалеру. Ведь и майор был когда-то младшим офицером! Мысленно махнув рукой и презирая себя за недостаточную твердость в вопросах дисциплины, майор отвел глаза от парочки, которая шла, держась за руки, как ходят первоклассники, — впрочем, и Даша и Федя только что поступили в первый класс того чувства, перед которым я преклоняюсь...

Они повернули к реке.

И тут-то Федя и показал, что он и упрям и настойчив, когда, не спросив Даши, пошел к сберегательной кассе и повел ее за собой.

Не устраивать же было Даше как бы семейную сцену перед окнами бывшего места своей работы! Она вошла с Федей, несколько недовольная своим спутником, однако смиряя себя: ну, зайдут, ну, проверят, ну и что!

Да, в сертификате стоял номер выигравшей облигации. Тут сходилось все — и номер и серия. Но Валя, которая сегодня подменяла Зину, посмотрела на Дашу и сказала с недоумением:

— Дашенька! Товарищ Нечаева! У вас-то сходится, да у нас не тот номер, хотя серия та же! — и она пожала плечами, косясь на конверт сертификата. — Какое-то недоразумение получается. Это чья облигация? — она посмотрела на анкету и опять на Дашу.

— Это брат мой! — сказала, покраснев, Даша. — Я его документы получила, а Федор Дмитрич посоветовал проверить...

Федор Дмитрич тоже сверился с обоими документами. — Хм-м! — сказал он. — Что-то тут не то...

Он с подозрением посмотрел на Валу, которая не понравилась ему с первого взгляда, может быть, и потому, что сердце его — все, без остатка! — было занято Дашей. Валя была смущена. Ее бледненькое лицо с фарфоровым румянчиком, ее светло-серые глаза с темной окаемочкой, худенькие плечи и пальцы, перемазанные чернилами, ее поджавшиеся вдруг губы — все это вызвало у Феди недоброжелательство. Не вообще, а потому, что это несходство шифров облигаций что-то отнимало у Дашеньки, его Дашеньки! А смущение Вали еще более усилило его подозрения! Эта кисейная барышня — все может! Ишь как губки-то поджала, не понравилось! Погоди, погоди, я тебя заставлю не только губы поджать, а кровавыми слезами плакать! Люди на фронте кровь проливали, а вот такие чистюли грабили их без стыда и совести...

— Но, что не то, товарищ лейтенант! — сказала Валя, задумываясь. — Разберемся!

— Да нет, это уж мы сами разберемся! — сказал Федя и забрал Дашин сертификат. — Пойдемте, Даша! Пойдемте...

— До свидания, Валя! — сказала Даша, смущенная не меньше Вали, которую Даша знала как дельного работника, аккуратистку, как образец в работе.

Они вышли с Федей из кассы.

— Я не я буду! — сказал Федя и заиграл желваками на скулах, отчего его простое лицо вдруг приняло выражение какой-то жестокой внимательности и напряжения. Может быть, такое выражение было у него, когда он шел на разминирование. — Фронтвики, понимаешь, жизнь отдавали, а разные фифы в тылу...

6

Генка встал и, как было сказано, заложил руки за голову...

Неподалеку от него стоял пограничник, держа в руках автомат наперевес. И хотя он страшно походил на нижнего соседа, что служил в морпогранохране, у него были совсем чужие глаза — холодные, острые, пристальные. К человеку с такими глазами нельзя было обратиться запросто: «Слушай, чего ты тут делаешь?» И Генка невольно почувствовал страх. Еще никто в жизни не смотрел на него так, как этот парень в пограничной форме.

Надо думать, он давно уже следил за Генкой, да Генка его не видел, и увидеть его было трудно. На нем была надета маскировочная одежда в рыже-зеленых пятнах, под цвет травы и листьев, уже опаленная дыханием позднего лета и кое-где сменивших летний цвет на осенний. Кроме того, на плечах его и на фуражке были укреплены настоящие ветки, с живыми листьями, которые делали его словно бы ожившим дубком из тех, что стояли, красовались вокруг. Крупные руки его крепко держали автомат, а ноги, толстые в маскировочных шароварах, твердо стояли на земле. На поясе у него висели в полотняных чехлах запасные диски, охотничий нож болтался между дисками, а рядом с ним чуть покачивалась на весу телефонная трубка с длинным шнуром, свитым в кольцо.

— Повернитесь спиной ко мне! — скомандовал пограничник.

Генка повернулся, чувствуя себя крайне скверно.

— Дя-аденька! — хотел было он заканючить, употребив верный в отношении многих взрослых прием. Но, кажется, верные приемы тут не годились, потому что пограничник резко сказал:

— Молчите!

И хотя Генку называли здесь на «вы», что очень польстило бы ему в других обстоятельствах, он не почувствовал в данный момент удовольствия, а испугался еще больше.

Он стоял с заложенными за голову руками, и от непривычного положения — подумаешь, фигурная гимнастика! — у него стали затекать руки. А за спиной пограничник разговаривал с кем-то. И Генка готов был поклясться, что разговор этот шел по телефону. Пограничник докладывал Первому, — и Генка уже был достаточно образован, чтобы понять: Первый — это начальник! — что в квадрате десять запретной зоны пограничной полосы им был замечен неизвестный. «И вовсе никакой я не неизвестный! Я — Генка, Лунин. Вот!» — мысленно возразил Генка пограничнику, поняв, что речь идет о нем, а потом подумал уныло, что придется, видно, ему опять возвращаться домой с почетным эскортом, а это — как ни важничал Генка на старом дворе перед близняшками, Мишей, Ирочкой и Шуриком — не так уж приятно! Дальше Генка узнал, что пограничник стал производить наблюдение. «Тоже мне наблюдатель! Вот из автомата дал бы очередь по медведям! Было бы дело!» Неизвестный все дальше углублялся на территорию икс-квадрат. «Подумаешь, углублялся! — подумал Генка со вздохом. — Не углублялся, а просто, понимаешь, шел! Вот, понимаешь, цену набивает!» Вслед за тем Генка услышал, что неизвестный производил осмотр люков, а также пытался исследовать их! Тут Генка разинул

рот, — оказывается, он способен на исследования, вот бы Ми-ха услышал или эта кривлючая Ирочка! В настоящее время неизвестный задержан в квадрате тринадцать. Оружия при нем не обнаружено. «Эх! Автомат бы мне!» — с тоской подумал Генка, и так как он, оказавшись неизвестным, при этом вовсе не перестал быть Генкой, человеком любознательным и непоседливым, он стал сначала косить глазами в сторону пограничника, а потом и вовсе загнулся туда, чуть не вывихнув шею и не перекрутив все позвонки на своей тощей спине.

Пограничник и верно говорил по телефону. Трубка, которую прежде Генка видел у его пояса, была зажата в одной его руке, а шнур с длинным медным наконечником — просто воткнут в дерево. У Генки глаза полезли на лоб: вот это да! — значит, откуда хошь, где хошь мотайся, а приспичило поговорить — втыкай и давай! Ну, знаешь...

— Есть, товарищ майор! — сказал пограничник. — Ожидать на месте задержания! Сдать пост смене и следовать с неизвестным на Главный! Рапортовал солдат... Виноват, товарищ Первый!

Он, видимо, допустил какую-то ошибку, так как вдруг глаза у него стали грустные и он выслушал выговор, вытянувшись как в строю, хотя кругом был лес, лес, лес, дорога да Генка Лунин, он же неизвестный, а начальство было далеко — отсюда не видно.

Солдат сердито скомандовал Генке, одновременно вынув шнур из клеммы в стволе дерева и сматывая его в кольцо:

— Руки за спину! Сядьте в кювете. Вот сюда...

И Генка сел на малый пригорочек с другой стороны кювета так, что со стороны дороги его скрыли кустарники. Пограничник тоже стал так, что вроде бы и исчез совсем. От него остались среди веток кустарника только сверлящие глаза да дырка автоматного дула.

А у Генки зачесалось все тело. Сначала кто-то прополз по правой ноге, потом вдруг что-то зашевелилось на поясице, потом что-то кольнуло его в паху. Он не выдержал и почесался. Пограничник окликнул его и велел не шевелиться. Но, уже рискуя получить пулю из этой черной дырки, что глядела на Генку из кустов, он не мог удержаться и, с отчаянием взглядывая на своего стража, то и дело чесался. Теперь у него зудело уже всюду...

Тут на дороге показался зеленый в рыжих пятнах, козлоногий «джип». Он проскочил видимое пространство одним прыжком. Мотор его ворчал, стекло ветровое было отогнуто, то ли для того, чтобы ветерок бодрее оведал сидящих, то ли для того, чтобы это стекло не давало отблесков на солнце. Кроме водителя, у которого автомат висел на шее, в «джипе»

было еще двое — солдат и младший лейтенант. «Джип» разом остановился, завизжав тормозами. Солдат и лейтенант вылетели из «джипа». Пограничник козырнул лейтенанту.

— Где же неизвестный? — быстро спросил лейтенант, оглядываясь по всем сторонам настороженным и вместе с тем нетерпеливым взглядом своих острых, как и у пограничника, глаз.

Пограничник показал на Генку.

— Это неизвестный? — спросил лейтенант, и в голосе его послышалось некоторое разочарование.

— Так точно! — браво ответил задержавший Генку солдат.

Пограничник, приехавший на «джипе», посмотрел на Генку и первого солдата. И Генке почудилось, что во взгляде его скользнула усмешка. Он сменил несшего службу пограничника. Тот пошел к «джипу», сделав Генке знак — следуйте за мной! Лейтенант сел рядом с шофером, Генка и его страж — на втором сиденье.

Шофер, сержант, судя по нашивкам на погонах, и сверхсрочник, судя по казацкому чубу, что в нарушение всех установлений вылезал из-под его пилотки, спросил задержавшего Генку, кивая в сторону Генки:

— Соппротивление неизвестный не оказал, товарищ Иванов?

Пограничник почему-то не ответил, зато лейтенант недовольно заметил:

— Р-разговор-рчики, товарищ сержант!..

И «джип», развернувшись так, что у Генки все завертелось в глазах, кажется привстав на задние колеса и сделав поворот на одном колесе, словно лихой вальсер в танце на одной ноге, — ринулся в обратную сторону. Все засвистело, все понеслось, все замелькало в глазах у неизвестного. «Джип» трясся так, словно хотел рассыпаться на части, но не рассыпался, а несся вперед, как стрела. Во всяком, даже самом неприятном, положении есть какие-то позитивные точки, и Генка, хотя ничего доброго и не ожидал от этой ветрогонной поездки на «джипе» с пограничниками, с невольной гордостью подумал: «Вот бы Шурик посмотрел! Ему и ни в жизнь так не прокатиться!»

«Джип» скатился вправо, не остановившись перед трудностями проселка, оказавшегося впереди, катил так же браво, поворачивал, рыскал туда-сюда. Среди деревьев завиднелись какие-то дома. «Джип», выскочив на опушку, где стояли эти дома, с прежней скоростью понесся на один из них, готовый влипнуть в стену и в крыльцо. Генка в страхе закрыл глаза — конец! «Джип» взвизгнул, как собачонка, которой оторвали хвост, опять закружился в вихре вальса и смиренно стал

у крыльца кормой. Лейтенант повалился на водителя, пограничник так и лег на Генку, а Генка только заскрипел всеми костями: пограничник был довольно увесистый — казенная каша и прочий приварок не пропадали даром в этом плотном теле.

Каска съехала лейтенанту набок. Он поправил ее и неласково поглядел на шофера:

— Штучки, товарищ сержант!

Сержант виновато козырнул:

— Виноват, товарищ лейтенант! Прежний хозяин приучил — товарищ Воробьев. Нас все по почерку узнавали!

— Придется вам почерк менять! — заметил лейтенант.

На крыльце стоял майор. Генка готов был голову дать на отсечение, что лицо майора ему знакомо, но он, с трудом высвободившись из-под солдата, не мог еще и дух перевести.

— Докладывайте! — сказал майор солдату.

— Задержанный мальчонка доставлен, товарищ майор. Докладывает солдат пограничной службы...

— Не слышу доклада! — сказал майор, приглядываясь к Генке.

Солдат, чуть подумав, опять взял под козырек:

— Задержанный нарушитель запретной зоны доставлен на погранзаставу. Докладывает солдат пограничной службы Иванов!

Генка ахнул — вот он уже и нарушитель! Ну, это дело кепское, как сказал бы Гаврош. И понурился: теперь-то уж ему не миновать кочерги... «Задержанный нарушитель оказался крупным шпионом одной соседней страны» — так, кажется, пишут в газетах, и Генка с некоторым сомнением посмотрел на свои разбитые ботинки, на грязные руки — уж не изменилось ли что-то у него?

— Введите нарушителя для снятия допроса! — сказал майор, скрываясь в двери.

Автоматчик кивнул головой Генке: «Идите!» Лейтенант обогнал их, пройдя вперед. Шофер сказал солдату:

— К ордену теперь, поди, представят тебя, морская душа! Без году неделя на сухопутной границе — и уже боевые действия по задержанию крупных нарушителей. Везет же людям!

Задержавший Генку кинул на водителя такой взор, что, если бы он обладал способностью испепелять, не только от водителя, но и от «джипа» лишь взвилась бы в жаркий воздух голубенькая струйка дыма. Вслед за этим он довольно больно двинул Генку стволом автомата в бок — давай, давай, не моргай!

...С Генки сняли допрос, с его пальцев сняли отпечатки. Он, потеряв все нахальство свое и всю бывалость, послушно

поворачивал пальцы, намазанные типографской краской, со страхом видя, как проступают на бумаге рисунки его пальцев с какими-то узорами, отвечал на все вопросы каким-то таким тонким и писклявым голосом, что уже даже и сам не знал, кто отвечает на вопросы — он, Генка Лунин, или и впрямь какой-то нарушитель, который со злостными, диверсионными целями проник в пограничную зону. Потом лейтенант, проводивший всю эту операцию в присутствии майора, вышел из его кабинета, куда был доставлен Генка. И Генка остался в кабинете с майором. Ему стало несколько легче. Он огляделся. Майор сидел за столом и глядел на Генку. Ну и пусть, если хочется! В низкие широкие окна дома лился солнечный свет, который уже стал слабеть, так как рисунок рамы на полу, покрытом звонкой желтой краской, померкнул. Из-за окон доносился шум леса. Где-то слышен был лай собак — короткий, отрывистый, не громкий. Это был не тот лай, которым облаивают прохожих невоспитанные гражданские псы, поднимающие шум не столько для пользы дела, сколько для доказательства своего служебного усердия, а совсем другой. В кабинете находились, кроме майора и Генки в качестве нарушителя, пограничник, приведший его сюда, нескороаемый ящик в углу, привинченный к полу, стол, несколько стульев, на которых никого не приглашали садиться, шкаф у стены и какая-то штука, похожая на карту, но занавешенная плотной белой шторкой.

— Как же ты прошел мимо запретительных надписей, Лунин? — спросил вдруг майор.

— Каких, каких? — спросил Генка.

— На дороге стоят надписи, запрещающие ходить по этой дороге! Здесь запретная зона, понимаешь? Грамотный ведь...

— Нету там никаких надписей! — сказал Генка. — Ей-богу, нет!

Майор нахмурился. Запирательство мальчишки вносило какую-то ноту неясности в это довольно понятное дело. Тут автоматчик сказал:

— Разрешите обратиться, товарищ майор! Они, то есть нарушитель, прошли мимо столба с закрытыми глазами и строевым шагом!

Усмешка пробежала по лицу майора:

— Вы свободны, товарищ солдат! Идите!

— Наделали вы нам делов, Лунин Геннадий! — сказал майор, когда солдат вышел. Он был недоволен, это чувствовалось по тому, что он нахмурился и с досадой стряхнул пепел мимо пепельницы, прямо на чистый стол, нахмурился еще больше, смахнул пепел со стола куда надо: если бы патрульный, заметив Генку на рокадной дороге, окликнул бы

его и потребовал вернуться — все было бы проще. Теперь же машина завертелась своим положенным порядком, и Луний Геннадий, двенадцати лет, холост, учащийся, проживающий в краевом городе на улице Полководца, номер 65, не судим, за границей не был, иностранными языками не владеет, языками народов Союза ССР не владеет, уже стал задержанным лицом, нарушившим запретную зону не с заранее обдуманым намерением, по неведению, и о нем придется докладывать по начальству, особенно в связи с некоторыми событиями, еще не происшедшими, но могущими быть...

— Товарищ майор! — спросил Генка, которого очень заинтересовала штука с занавеской, какой ему не приходилось видеть до сих пор. — А что это такое, а?

— А тебе знать надо! — сказал майор.

— Вы меня домой отправите? — спросил Генка. — Когда? На машине?

— Не сейчас! — сказал майор. — Отправим... Проверим.

— Да чего проверять-то! — Тут он вспомнил вдруг лицо майора и сказал радостно: — Да вы мою мамку знаете, товарищ майор! Мы еще в вашу квартиру переехали, когда вы освободили ее. Помните? Тогда мы еще на вашей машине приехали. Лейтенант нас привез, со всеми шмутками, товарищ майор!

— А-а! — сказал майор. — Гора, как говорится, с горой не сходится, а человек с человеком сойдется! Помню, помню... Было такое дело! — Он взял протокол допроса, что-то надписал на нем, положил в несгораемый шкаф, заслонив своим телом шкаф от Генки, звякнул ключами, щелкнул каким-то мудреным замком, который издал протяжный, мелодичный звон, повернулся к Генке и сказал:

— Идем со мной!

Они вышли.

Подметка на правом ботинке Генки отстала. Она шлепала при ходьбе, как шлепает лягушка, прыгая с кочки на кочку. Майор поглядел на Генку, на его ботинки, поманил кого-то пальцем. Тотчас к нему подскочил молодцеватый солдат. Вот эту подошву надо вечером подбить, вот эти ботинки надо вообще починить! Молодцеватый откозырял и исчез. А Генка с майором пошли туда, откуда доносились такие запахи, что у Генки сразу же засосало под ложечкой, а слюна заполнила весь рот. С той стороны доносились также такие родные, человеческие, понятные звуки — звяканье ложек, тарелок.

— Сейчас мы тебя накормим! — сказал майор.

И Генке дали хорошую порцию гречневой каши с мясным шницелем и такую пайку хлеба, какой уже давно не доставалось ему дома. Про такую краяху отец Генки Николай

Иванович Лунин сказал бы: «Хлеба кусочек с коровий носочек!» Пока Генка с жадностью ел, вполне благоприятно оценив отношения, сложившиеся у него с майором, которого Генка считал сейчас чуть ли не кровной родней, майор задумчиво оглядывал его с ног до головы. И не надо было ему рассказывать, как живет Генка и почему он отправился из родного дома куда глаза глядят. Правда, Генка не умолчал во время допроса о кочерге, которой иногда овладевали педагогические порывы...

Потом майор куда-то провел Генку, спросив:

— Хочешь границу видеть?

«О-о! О-о! О-о!» — хотел было сказать Генка, но майор прикрыл ему рот ладонью и взял за руку. Они опустились в земляной ходок. «Здесь простреливается!» — сказал майор. Потом они довольно долго ползли по земле, и Генка брюхом ощущал тепло ее и прислушивался к тому, как шуршит над головой трава и как шоркает она под его телом. Потом они вошли в узкую длинную траншею. Под ногами заскрежетал камень, потом камень сменился песочком, в который ноги погружались мягко и глубоко. Потом они оказались в блиндаже, где находился несший службу немолодой солдат с винтовкой, на которой был укреплен оптический прицел. Тут же был стол из необтесанных досок, на котором стоял полевой телефон. Стены блиндажа состояли из горбылей. Кое-где между горбылями в блиндаж просачивался желтый песочек. Пол был плотно убит, но не застлан. Солдат внимательно, в бинокль наблюдал в глубокую амбразуру за чем-то по ту сторону амбразур. Он оглянулся на шум шагов, поднес руку к краю каски: «Товарищ майор! Службу по охране государственной границы Советского Союза несет солдат Петров! Правее отметки ноль-двадцать — наблюдатель сопредельной стороны фотографирует наш берег с помощью аппарата с мощным телеобъективом. Левее — сорок пять, видны следы песка возле фанзы кривоногого рыбака. В деревню сопредельной стороны по дороге из города Н. прибыла легковая машина «мерседес», с тремя пассажирами. Шофер замаскировал машину ветками. Пассажиры в гражданской одежде. На улицах не показывались. Очевидно, прошли прямо к наблюдательному пункту под стогом сена. В смотровом окне пункта замечены тени, мелькание!..»

Он отстранился от амбразур. Майор взял у него бинокль. Долго смотрел. Потом поманил пальцем Генку и сунул ему бинокль — гляди! Вспотевшими пальцами Генка взял бинокль. Майор что-то подкрутил, и Генка вдруг прямо перед собой увидел китайскую деревню с длинными фанзами, крытыми камышом и имевшими несколько дверей по фасаду, словно бараки. Увидел саманные стены, из которых тор-

чала в мазках глины солома. Увидел корыта для мытья риса. Мотыги, прислоненные к стене, заступы со следами земли и песка. Увидел и стог сена. Но не мог рассмотреть ни машину на разбитой дороге, о которой говорил солдат, ни тем более смотрового окна в стоге. До его ушей доносились обрывки разговора майора с наблюдателем: «А кривоногий Ван показывался?» — «Нет!» — «Сколько дней?» — «Четыре. Разрешите доложить, кривоногий есть, да не тот!» — «Как?» — «Ван хромает на левую ногу, а этот как-то чудно, не разберешь, какая нога у него больная, какая здоровая!» Майор рассмеялся и сказал: «Ну, от вас и комар в траве не скроется!»

Так вот она, граница! Генка не видит никого на той стороне. Зачем же тут прятаться в блиндаже? Никого же там нет! Когда он сказал майору об этом, майор что-то вполголо-са сказал часовому. Тот усмехнулся и взялся за какую-то веревочку. На нашем берегу что-то колыхнулось, дернулось. И тотчас же на той стороне, под стогом и возле пенька, что сиротливо торчал на полянке, далеко отстав от других пеньков, что чернели своими лысыми головами ближе к леску, в отдалении от берега, что-то сверкнуло. И Генка увидел, как на нашей стороне, где секунду назад возникло непонятное движение, повалились на землю несколько будто срезанных веток. «Видал?» — сказал майор. «С оптическим прицелом!» — сказал солдат. И Генка понял, что здесь каждая пядь земли пристреляна. И неприятный холодок пополз у него по спине. Прежде чем оторваться от бинокля, он рассмотрел еще, что на берегу, чуть подальше от воды, идет широкая свежераспаханная полоса, только проборошенная. «А как же сеют здесь?» — спросил Генка. «А здесь не сеют, не жнут!» — «А что же это?» — «Так надо!»

Между тем солнце быстро свалилось к горизонту, подержалось над ним немного, будто осматривая — все ли сделано на сегодня? — и, решив, что все дела доведены до конца, скрылось в облаках на той стороне. Китайский берег затянула тотчас же туманная пелена, и поселок скрылся из глаз. С того берега, откуда-то издалека донесся звук военного рожка. «Поверка!» — сказал солдат. «И нам пора!» — сказал майор. — Продолжайте несение службы, товарищ Петров!» Еще некоторое время он глядел в смотровое окно и сказал тихо:

Встает рассвет, ленив и хмур...
Туман ложится вширь.
Течет Амур, шумит Амур
И разделяет мир...
И друг на друга берега
Глядят, как два врага!

«Вот уж верно! — сказал солдат. — С испокон веку так повелось и, видно, не нами кончится, товарищ майор!» — «Не будем загадывать! — сказал майор. — Все в мире движется вперед... А стихи — хорошие. На сегодняшний день они очень точно отражают действительность! На сегодняшний день...»

7

Ребята играли в садике.

Ирочка танцевала, то и дело изгибаясь, как тростинка на ветру. Она занималась в хореографическом кружке Дома пионеров, и ей сулили будущее. Трудно сказать, что обозначало это выражение, никто из ребят не мог его перевести на удобопонятный язык, которым пользовались они ежедневно, но Ирочка повторила чьи-то слова, сказанные в Доме пионеров, и они легли в ее облик так же, как невозможно было представить себе Ирочку без ее длинных, не заплетенных в косу волос. Ирочка на вытянутых носках летала от березки к березке и то застывала с выброшенными вверх гибкими руками, то поникала к самой земле, точно подкошенная трава. Что обозначал ее танец? Было ли это тем, чему учили ее в кружке, или она импровизировала, прислушиваясь к какой-то музыке, которая звучала в ее душе, но она все бегала и бегала по саду, все падала и падала на землю, все поводила и поводила руками так, что они, казалось, гнулись у нее не только в суставах, но и в самих костях...

— Фантазия! — сказал Шурик, с видом знатока следя за сестрой. — Па-ди-де, или умирающая лебедь на воде!

— Дурак! — сказала Ирочка кротко, застывая в особенно трудной позе. — Нельзя ли помолчать, если ты ничего не понимаешь! Я могу и перестать вообще-то! — и она стала подниматься с земли, приняв вид равнодушный и небрежный.

Но близняшки захлопали в ладоши и стали просить Ирочку:

— Ну, еще! Ирочка! Еще, пожалуйста! Еще!

И Ирочка опять легкой тенью понеслась по садику и опять замерла на земле, чувствуя, что это движение у нее получается, как бы сказала руководительница кружка, профессионально. И она сделала шпагат и откинула назад все туловище с распростертыми руками, придав лицу выражение страдания и закрыв томно глаза.

Наибольшее впечатление она произвела на Игоря, который до сих пор глядел на нее не спуская глаз, боясь пропустить хотя бы одно движение и не зная даже, нравится ли ему это или ему просто жалко Ирочку. Победило в нем вто-

рое чувство. Он вдруг встал и быстро побежал к Ирочке, стал рядом с ней на колени, и участливо заглядывая в ее закрытые глаза, спросил:

— Тебе больно, да? Больно? Хочешь, я тебе помогу? Хочешь?.. Ну, вставай на ножки... Вставай! — и взял ее за бессильно опущенные руки и потянул вверх, причем на его лице было выражение страдания непритворного.

— Пораженные зрители вознаградили ее неподдельными слезами сочувствия и восхищения! — сказал Шурик, веривший в выдающийся талант своей сестры.

— Шурка, я тебе уши надеру! — сказала Ирочка, поднимаясь и не зная, как принять душевное движение Игоря: сказать ему, что он все дело испортил, или нежно поцеловать его в выпуклый лоб, как это делала иногда, растроганная успехами своих питомиц, старая балерина, руководившая кружком Ирочки?

— Ты танцевала худо-жествен-но! — сказал Шурик, не придавший значения обещанию сестры. — По-моему, ты танцевала художествен-но! — повторил он и обернулся к Наташке и Леночке: — Поприветствуем, товарищи, поприветствуем!

Именно так обращался к залу, в котором все бурлило и кричало и шумело и вертелось в дни пионерских сборов в Доме пионеров, старший пионервожатый.

Близняшки закричали и захлопали в ладоши еще пуще, если это вообще было возможно. И в их искренности не приходилось сомневаться. Вряд ли Галину Уланову в Большом театре приветствовали с таким энтузиазмом. Даже Миха не выдержал и закричал, что еще более шума произвело в саду: «Ура! Ура! Ура!»

— «Ура» кричат на параде, а на концерте надо кричать, если тебе понравилось, «браво!» или «бис!» — если ты согласишься, чтобы повторили...

— Нет, я не хочу, чтобы повторили! — простодушно сказал Миха, не умеющий кривить душой. — Бра-аво! Бра-аво!..

У калитки кто-то вдруг крякнул и сказал сырым голосом:

— Каучек! Ну, истинная икона, каучек! В цирке, понимаешь, ба-альшие деньги можно получить! Видала? Обе ноги за голову заложить, а на руках стоять, ровно цапля, а то этот... аист...

Это был Максим Петрович. Он тоже захлопал в ладоши и совсем зажмурил свои мохнатые глаза, чуть покачиваясь.

Оскорбленная в своих лучших чувствах, Ирочка взяла Шурика за руку и сказала:

— Идем отсюда, а то больно много понимают...

А Максим Петрович вдруг вынул из кармана горсть ка-

ких-то конфет в тусклых обертках, помахал в воздухе рукой и сказал:

— Цып-цып-цып, ребяташки! Цып-цып-цып, цыплятушки!

Близняшек не надо было уговаривать. Они подошли к Максиму Петровичу, уставясь на конфеты. Подошли и Миша с Игорем. Все получили свою долю. Конфеты были кислото-горькие, но,— как говорится, дареному коню в зубы не смотрят! — все принялись жевать и облизываться.

Мама Галя с крыльца увидела молочника.

Она подошла к нему:

— Максим Петрович! Что же вы не заходите?

— Да я вот только мимо шел, гляжу — маленькие играют, посмотреть захотелось! Все, понимаешь, у меня свербить и свербить. А в грудях все болить и болить!

— Нельзя так, Максим Петрович! — сказала мама Галя.

— Кому нельзя, а кому и можно! — сказал Максим Петрович, и Вихрова услышала сильный запах водки и заметила, что молочник едва держится на ногах. — Ты молодая! Тебе нельзя! У тебя еще впереди сколько всего! А у мене дверка, понимаешь, уже с той стороны открыта, сквозить и сквозить!.. Мне бы, понимаешь, вот таких! — он показал корявым пальцем на ребят, которые столпились возле. — У-у! Вот я вас! — сделал он движение, притворно нахмурившись, и топнул ногой. Ребята со всех ног пустились в разные стороны, а Максим Петрович рассмеялся хриплым смехом...

Он последил за ребятами из-под мохнатых век.

— Выгнала, понимаешь, меня Палага-то, что я тебе скажу!

— Как так? — удивилась мама Галя.

— А так... Я корову Любаву продал за шесть тысяч. Ну, продал — продал. Мы с покупцом-то чекушу выпили, как следует быть. Домой прихожу. Считаем-считаем, Палага говорит — еще, кроме чекушки, семьдесят пять недодал! Где, говорит, деньги? А шут их знает, где! Человек меня не обманул — я сам кого хошь обману! Терять — не терял, сроду ни копейки не потерял, у мене уж так устроено: тверезый, пьяный, а услышу, как денга падает! Украсть у мене не могли — у мене не крадут! А семьдесят же пять-то нету! Ну, Палага на меня с кулаками: у девок, мол, был! Нынче, мол, самые дешевые по семьдесят пять идут! А я откуда знаю, почему они, самые-то дешевые! Я к ней и так и эдак — она ни в какую! Как, значит, я ей свою идею-то высказывал, насчет вдовушки, чтобы нам родила... Так вот она и удумала, понимаешь...

— А куда же вы идете?

— Да так, потопаю по земле, подумую.

— Может быть, вы к нам зайдете? Время обеденное. Пообедайте с нами... Вы сегодня-то обедали, нет ли?

— Ну, до обеда ли! Может, чекушка у тебя есть, так я выпью...

Вихрова чуть нахмурилась:

— Водки у меня нет.

Максим Петрович глянул на небо:

— Ишь ты, как солнышко-то припекает! Ну, спасибо на добром слове! Пойду я, понимаешь... Пойду! Потопаю, подумаю...

И, сутулясь и выворачивая при ходьбе длинные узловатые руки, он пошел, пошел, пошел, и о чем-то разговаривал сам с собой, а быть может, продолжал свой разговор с Палагой, заподозрившей его в сластолюбии и распутстве. Разводил руками, останавливался, как видно приводя особенно убедительные доводы в этом разговоре, про который, верно, можно было сказать — русский человек задним умом крепок... Как минет нужда, столько доводов возникает!

8

Город оставался тем городом, который мы с вами знаем...

И что-то произошло с ним, что совершенно изменило его облик.

На это новое в облике родного города смотрели все. Смотрел Иван Николаевич, заложив руки за спину, в глубокой задумчивости стоя у широкого и высокого окна своего. Смотрел, насупясь, с выражением на лице досады, недовольства, обиды, Воробьев, сложив толстые руки на большом животике и крутя пальцами-сосисками: такое выражение появляется на лице школьника, когда его отрывают от интересной игры и велят садиться за уроки. Смотрел Марченко, чувствуя, как военный китель жмет ему под мышками, а военные сапоги нестерпимо скрипят. Смотрел лейтенант Федя, жалея о том, что могло быть, и боясь за свою любовь, за свою Дашеньку. Смотрела Фрося, не отдавая себе отчета, к чему такая перемена. Смотрел Максим Петрович, и глаза у него слезились больше обычного. Смотрели близняшки, и выражение счастья и новизны изливалось из их глаз. Смотрел Миха и чувствовал себя на фронте...

События надвигались на город.

За одну ночь он перестал быть тыловым городом.

Вдруг встали на перекрестках белые указатели, которые щетинились, как ежи. И горожане сразу узнали точно, где, по какой дороге, находится затон, база, Красная, Черная или

Осиновая Речка, Князе-Волхонка, Покровка, и проч., и проч., и проч., и какое расстояние до них.

Ходили толпами ребята и читали указатели. Да и взрослые останавливались и словно заново узнавали: «Смотри-ка! До базы-то сколько! Я ездил и не знал!» — «А Покровка-то, значит, в этой стороне!» — «К переправе! А гражданских через нее пускают?» — «Ну, вряд ли!»

Толпы стояли на углах улиц.

А на перекрестках появились военные регулировщицы...

Вы скажете, что ребята из Отдела регулирования уличного движения уже довольно давно приучили городской автомобильный и гужевой транспорт к организованному движению по мановению волшебной палочки, которая так часто и быстро превращалась в палочку-застукалочку, когда какой-нибудь темпераментный или невоспитанный водитель пересекал улицу не так, как положено! Да. Но ребята из ОРУДа были, по сравнению с этими регулировщицами, что плотник супротив столяра, как сказала бы Каштанка, выросшая в столярной мастерской...

У военного коменданта города, который стал вдруг очень важным и заметным лицом, были и фантазия и вкус.

У каждого коменданта есть фантазия, но не всегда вкус и возможность его проявления. Комендант одного приморского города носил с собой в кармане ножницы и собственно-ручно укорачивал шинели офицерам, которые носили эту часть формы длиннее положенной. Комендант другого — пограничного — города, задерживая офицеров, в чем-либо провинившихся, не разговаривал с ними, а писал записку с указанием, куда ему следовать — в комендатуру или в свою часть для получения надлежащей кары. Комендант нашего города подобрал всех военных регулировщиц одного роста и сложения.

Это были маленькие блондинки, которые в своей форме были необыкновенно красивы. Каблучки их маленьких сапожек пощелкивали, когда они поворачивались, открывая движение. Их маленькие плащ-палатки за спиною взвивались, как крылышки. Их маленькие крепкие ручки энергически взмахивали красными и желтыми флажками. Их маленькие пилотки каким-то чудом держались на их пышных волосах, отливавших на солнце золотом. Их маленькие головки были гордо подняты вверх: смотрите все, вот это и есть военная, вот это и есть фронтовая выправка, это и есть воинский вид, — если до сих пор вы не видели этого, смотрите, но не задерживайтесь на перекрестках!

Они успевали кроме движения флажками мгновенно указать водителю замедлившей машины — куда и как лучше проехать, откозырять, вытянувшись в струнку, с непередава-

емым шиком пронесшемся в лимузине или в открытой военной машине генералу, улыбнуться и приветствовать кивком головы старых фронтовых друзей, что ехали в вездеходах по всем указанным направлениям, и даже посоветовать кое-что пешеходам, которые скапливались на углах, не в силах отвести глаз от этих созданий военного времени, да и некоторым шоферам: «Товарищ, вы что-то все время ездите по этой улице!», «Девочка! Вытри нос братишке и иди, куда мамка послала. Да возьми его за руку, сейчас я тебе зеленую улицу дам!», «Граждане! Давайте сделаем порядочек — каждый занимается своим делом: я стою, вы делаете переход!», «Мальчик! Закрой рот — ворона залетит!»

И при их четких, стремительных движениях позвякивали на их маленьких грудях медали и ордена. Нет, эти девушки не были красивыми куколками, выставленными на дороге для услаждения взоров мчащихся в машинах начальников, как выставляются в горке любителя фарфора статуэтки. Ордена и медали — само собой! Но почти у всех этих девушек с пилотками, со стальными касками за спиной, с автоматами на ремне и с флажками в руках, что стояли сейчас на улицах нашего города, были нашивки ранений. И если во фронтовых условиях к ордену или медали можно было представить по душевному расположению прямого начальника, то к ранам их представляли вражеские разведчики, стремившиеся перерезать коммуникации Советской Армии, да налеты вражеской авиации, во время которых девушки оставались на своих постах, указывая места укрытия и добываясь при помощи флажков, а то и автомата, быстрого рассредоточения военного транспорта при налетах...

Кроме регулировщиц на улицах появились военные усиленные патрули. Это были патрули из солдат, которые годами думали о своих любимых только так: «До тебя далеко-далеко, а до смерти — четыре шага!» Которые приехали на Восток с Запада, уцелев, оставшись жить «всем смертям назло!». За маскировкой следили теперь не только управдомы, с которыми можно было спорить — виден свет или не виден, которые кричали: «Выключите свет — стрелять буду!» И в десять часов вечера прекращалось движение без пропусков, подписанных военным комендантом. И люди, которые не могли жить без ежедневных томительных длительных заседаний, вынуждены были заканчивать их раньше привычного времени.

И после десяти улицы принадлежали только военным машинам, которые шли безостановочно, ворча моторами, без сигналов, набитые солдатами и оружием. Глухо стонали мостовые от тяжести танков. Шипел асфальт под резиновыми ходами двухскатных лафетов огромных орудий. Катились по

городу «катюши». Точно стальные жуки, проползали вездеходы, через высокие борта которых, сделанные из броневых плит, виднелись только, как бульжники на старой мостовой, солдатские каски да из-под касок глаза солдат, которым по мандату, выданному народом, надо было выполнить еще один долг...

И поезда — один за другим! — шли по тоннелям под Амуром, с Запада на Восток, с Запада на Восток, и под покровом ночи разгружались от своего тяжелого, звенящего груза на всех станциях, где это было можно и нужно. Они останавливались и возле той дороги, которая привела Генку к странному миру границы. Теперь и по этой дороге шли люди и машины — в одинаковой форме.

Это была огромная сила, от тяжести которой готова была расступиться земля, как расступалась она под ногами Святогора-богатыря.

Огромная сила!.. Огромная...

9

Вихров невольно залюбовался регулировщицами.

В душе каждого взрослого до гробовой доски сидит любопытный мальчишка, который иногда заставляет его выкинуть какую-нибудь штуку — конечно, когда этого никто не видит! — подпрыгнуть, чтобы достать ветку, нависающую над улицей, засвистеть не вовремя, провести рукой по прутьям железной решетки, огораживающей чьи-нибудь владения, идя по мостовой, угадывать ступать левой ногой в стык плит справа, а правой — в стык слева и тому подобное. Я не буду перечислять всего, так как каждый из нас сам знает свои привычки. А Вихров любил стоять на перекрестках, наблюдая за тем, как несутся куда-то машины и летят, пихая друг друга локтями и наступая друг другу на пятки, люди. Куда они торопятся? У каждого есть свое дело. И из этих дел и складывается жизнь города! Кто-то заболел, а кто-то идет ему помочь. Кто-то что-то сделал, а кто-то идет именно это одобрить, поругать, посмотреть или взять, или отправить куда-то. Кто-то кончил свое дело, кто-то идет на работу. Теперь же всему этому регулировщицы придали вдруг такой темп, что казалось, у города трещат штаны в шагу — так он заторопился. На фоне этой всеобщей спешки фигура Вихрова, глубокомысленно наблюдавшего за течением пешеходов и машин, привлекла внимание регулировщицы, девчонки, которой, видать, палец в рот не клади!

Она заметила Вихрова. Он неизменно оказывался перед ее глазами, как только она открывала движение по Главной улице.

Сверкнув озорными глазами, она окликнула его, когда у нее выдалась какая-то свободная минутка:

— Гражданин! Я — вам, да!

Тотчас же возле Вихрова остановились те зеваки, которые всегда есть везде. Что такое? что такое? — засветилось в их взорах.

Вихров посмотрел в глаза регулировщицы. Ее глаза смеялись. Противная девчонка! Занималась бы своим делом — вон уже и скопились машины справа. Он недоуменно поднял брови, как бы спрашивая: «Что вам угодно?»

— Гражданин! Вас давно жена дома ждет! — сказала регулировщица звонким, девчоночьим голосом и щелкнула каблучками, повернувшись к Вихрову боком и вздернув в усмешке свой воробьиный носик.

Заулыбались и зеваки и шоферы.

— Вот бритва, а не язык! — сказал один водитель.

— Да, эту не потеряешь ночью! — поддакнул другой, чуть не вываливаясь через боковое окошечко.

Вихров покраснел.

Нет, дома его не ждали. Но Зина ждала его у себя...

...И по тому, как она встретила его, он понял — как ждала!

Уже на пороге она приникла к нему, как виноградная лоза приникает к сосне, и не давала сказать ему ни слова, и не давала сделать ни одного движения. Он раскрыл губы, чтобы сказать: «Здравствуй, Зина!» Она своей нежной щекой стала гладиться о его губы. Он хотел ступить на шаг от двери, которую так и не закрыл. Она прижалась к нему всем телом, как тогда, в тот раз, которого Вихрову не забыть, как тогда, когда она сама, решительно отбросив все, что могло стоять между ними — и условности, и одежду! — без слов сказала ему о своем желании, о своем чувстве, о том, что нет сейчас на свете никого, кто был бы ей ближе, чем он!

Долгие три года тоска терзала ее, став привычной и неизбежной, набрасывая тень на ее отношения с людьми, причем все люди как-то отступали перед ощущениями Зины, как-то ступшеывались, не будучи в состоянии занять место того, кто ушел из жизни не по своей воле. Женщины? Разве они понимают что-нибудь в любви, разве могут они представить себе и счастье Зины и ее горе — ведь Мишка был не с ними, а с ней! Мужчины? Разве они знали о том, как надо любить, разве понимали они женщин, разве могли они заставить Зину ощутить то, что вздымал в Зине Мишка одним своим взглядом, одним своим прикосновением? И так, постепенно отринув всех, она жила в каком-то мире эгоистиче-

ской отрешенности, — ей казалось, люди не стоили того, чтобы думать о них, не стоили того, чтобы принимать их в свое сердце!..

Холодное одиночество ее — нельзя было принимать во внимание тех мужчин, которые ухаживали за Зиной, они не затрагивали ее сердца, даже если, просто стосковавшись по мужской ласке, Зина и могла уступить их домоганиям! — это холодное одиночество как-то было нарушено, оказалось не столь монолитным, когда Зина почувствовала однажды тепло мужской руки, которое сохранила для нее перчатка Вихрова. Он согрел ее, не думая об этом. Но он обнадежил ее и согрел вторично, когда она, взволнованная теплом его руки, подняла на него свой взор и долгим взглядом посмотрела в его глаза. Эти глаза были усталыми, они принадлежали мужчине, который кончал свой четвертый десяток. Но в них было то же тепло, та же доброта, та же хорошая усмешка, то же внимание, та же готовность принять человека — то есть Зину! — в свое сердце, за которые Мишка стал ей люб. В них, пожалуй, была та же щедрость души, которая не позволяла человеку экономить себя, рассчитывая все и вся! Дальше... все пошло так, как должно было идти, есть, видно, какая-то закономерность в том, что Зина и Вихров стали — пусть на людях! — встречаться. Это была воля Зиной, которая в океан человеческих чувств три года посылала сигнал бедствия, не встречая бескорыстной помощи, и все-таки дождалась ее, когда в мраке ее одиночества вспыхнул сердечный огонь того, кого она обнимает сейчас так же, как когда-то обнимала Мишку, не веря, что он действительно тут, с нею, боясь разжать объятия, чтобы он не исчез, как сон, как мираж, чтобы все на свете в этих объятиях забыть. Он так дорог был ей сейчас, после того, как она, казалось, найдя среди тысяч, могла потерять его — до жути глупо и просто! — во время шторма. Только ее Мишка мог бы в такой страшный момент, когда гибель была рядом, думать не о себе, а о ней...

— Я так ждала тебя! — сказала Зина, выдав больше того, что заключили в себе эти четыре слова. — Так ждала! Я боялась, что вы не придете ко мне больше никогда, что я оказалась вам плохой. Так ждала!

И так как ему некуда было ступить, Вихров подхватил Зину на руки и понес в комнату. Зина счастливо засмеялась и сказала, что у нее кружится голова, а когда он вошел с нею в комнату, она не разжала рук, сплетенных в замок на его шее, и он, опуская Зину на тахту, упал вместе с ней и замер, пораженный чувством Зиной и боясь нарушить и тишину и это чувство, и слыша, как бешено колотится у него сердце — не от тяжести Зиной, а от радости, охватившей все его существо.

Он попытался подняться. Она удержала его.

— Я тебя раздавлю! — сказал он.

— Раздавите меня! — сказала Зина. — Удушите, убейте, растерзайте меня! — все приму с радостью! Меня нет! Есть только глупая, но счастливая девчонка, которая, расставаясь с вами, боится не дожить до следующей встречи! Какое-то безумие! Какое-то сумасшествие! Что вы делаете со мной, дядя Митя? Зачем вы такой хороший?..

— Я не знаю, какой я! — сказал Вихров. — Но меня тянет к тебе с такой силой, что я ни о чем и ни о ком не могу и не хочу думать!

— Если вы говорите правду, — сказала Зина раздумчиво, — то это уже страшно... Если бы я одна. Что с нами будет?

— Я не знаю! — сказал беспомощно Вихров. Но он и не хотел ничего знать. Губы его искали ее губы. Он был мужчиной, способным забывать все на свете, когда желание охватывало его. Любил ли он Зину? Он не думал и об этом. Он знал только, что хочет быть с нею. Иногда это стоит любви. Каждая черточка в лице Зины, каждая линия ее тела, каждое движение ее были для него источником наслаждения, и сейчас он не видел ничего, кроме Зины. — Я не знаю! И не хочу узнать...

— Ах, дядя Митя! — шепнула Зина, высвобождаясь из его объятий.

Она села, как-то вдруг задумавшись и ласково поглаживая его руки, поросшие светлыми волосами. Потом она перевернула его кисти и стала разглядывать его ладони. С грустной усмешкой она сказала ему, как цыганка на базаре:

— Позолотите ручку, золотой мой дядя Митя, всю правду скажу!

Он поцеловал ее ладони и каждый пальчик.

— Жить вы будете долго, дядя Митя, линия жизни у вас полная, яркая, чистая, длинная. И любят вас! И любить будут! И жизнь у вас интересная будет — будто видя что-то на его ладони, а скорее отвечая каким-то своим мыслям, сказала она, потом вдруг глубоко вздохнула и добавила: — Только моя судьба никак не отразится на ваших линиях жизни и сердца, дядя Митя!.. Пройдет стороной, как проходит косой дождь...

Он запротестовал, обиженный и встревоженный ее предсказанием.

Она закрыла его рот поцелуем.

— Все будет так, как должно быть! — сказала она. — И только не клянитесь мне в любви, дядя Митя! — И с тихим вздохом, который мог многое обозначать, обрывая все его попытки что-то сказать, вымолвила: — Возьмите меня... Я столько ждала...

Охваченный страстью, он был и груб и нежен, и Зина, утратив сразу всю свою волю и силу, была словно воск в его руках, подчиняясь каждому его желанию, любой прихоти, и в этой покорности его воле словно растворялось все то, что до сих пор бродило, угнетая ее, все, что ожесточало ее, все, что отгораживало ее от мира, что уходило и уходило в незабываемые дни прошлого ее счастья, так грубо прерванного... Она что-то шептала, вся жаркая и напряженная, иногда подавленный стон вырывался из ее груди, а то, будто лишившись сознания, лежала пластом, как мертвая. И он опять возвращал ее к жизни. И она опять становилась натянутой струной. И он говорил разные слова, не самые благозвучные, не самые красивые, и неистовство охватывало ее. Опомнившись, она с упреком шептала ему: «Зачем ты так?» А он, погружая пальцы в ее густые темные волосы, прикосновение к которым было удивительно приятно, сказал:

Запретных слов с тобою я не знаю!
Оставь все разговоры о приличьях
Мещанам, что зовут «сиденьем» зад!
Любое слово любовь и страсть украсят,
Как ненависть и злоба — любое оскорбят...

Она усмехалась:

— Когда соседи называют меня барышней, это звучит как площадная брань!

— А когда Фрося называет меня интеллигентом, я чувствую себя очень неловко. Сказала бы лучше прямо — сволочь! — рассмеялся Вихров и потянулся снова к Зине.

Она остановила его нежным движением руки.

Опустошенные, уставшие, они лежали недвижимые. Зина обвела глазами свою комнату.

— Мы попали в шторм! Наш корабль утонул. А нас выбросило на необитаемый остров. Правда? — сказала она.

Да, в этой комнате действительно пронесся шторм...

— Мы срубим самую высокую пальму. На ней поднимем наш флаг. И корабли, следующие по этой линии, курсом на восток и на запад, вышлют нам лодку и поднимут на борт...

— Вас поднимут для продолжения пути, — подсказала Зина. — А меня вздернут на рее как изменника...

— Что ты говоришь! — сказал Вихров и подумал при этом, что если кому-то суждено болтаться на рее, то это ему, так как капитан его корабля и сейчас, когда он так счастлив, стоит на вахте и не ищет замены команде, сбежавшей с борта судна в попутном порту. На секунду почудились ему непонятные глаза мамы Гали. Но он заставил себя не думать о ней и удивился прихотливости человеческого воображения и мысли. Это воображение рисует ему лицо Зины, когда он с

мамой Галей. Но оно же выхватывает из мрака лицо мамы Гали, когда он с Зиной. Ох-х, как все это трудно и сложно...

Зина соскользнула на пол, на свой коврик, который был и сбит со своего места и скомкан. Она стала на колени перед тахтой, и целовала своего милого, и гладила его, и удивлялась ему, как самому приметному чуду в мире, и тому, как устроен он, будто заново создавая Адама из своего ребра, а то клала ему на грудь или на бедра голову и своими волосами закрывала его тело, чтобы не видеть. И вдруг с каким-то страхом и с отчаянием в голосе сказала:

— Я люблю вас, дядя Митя! Кажется, я люблю вас! И начинаю любить с каждой минутой больше! Это ужасно...

— Ну и люби! Люби, пока есть сила и желание! Почему ужасно?

— Для меня ужасно. Вы — мужчина, вы не поймете этого...

Но Вихров понимал. И понимал слишком хорошо.

Что мог он дать Зине, кроме своей страсти и желания? Мир широкий, огромный, тот мир, что был за окном, и человеческую жизнь во всех ее проявлениях, со всей сложностью и многообразием, не втиснешь в эту маленькую комнату! И добровольное заключение их сюда — не может длиться вечно. Что «вечно»! Его нельзя продлить даже еще на час — в десять будет прекращено движение, наступает не просто время или час — комендантское время, комендантский час! А до утра Вихров не может остаться здесь. Слишком сложные и тяжелые решения надо было бы принимать утром...

Зина помогает ему одеваться.

В окна смотрится темный вечер. Низкие мохнатые звезды заглядывают в комнату Зины. Тени в комнате сгустились и закрывают следы шторма — вещи Зины, раскиданные где попало. Она не позволяет ему зажигать свет или задернуть шторы. Она вдруг стала молчалива и грустна. Вихров, чувствуя в этом молчании какую-то угрозу своему счастью и своей находке, поднимает голову Зины, сжав ее щеки горячими ладонями, нежно целует в глаза, в лоб, в уголки губ. Зина тоже чуть слышно прижимает свои губы к его лицу.

И вдруг под ладонями Вихрова оказывается какая-то влага, ладони его скользят по щекам Зины. Сначала он не понимает, в чем дело. Потом с тревогой спрашивает:

— Зина, милая! Ты плачешь? Почему? Я обидел тебя?..

Зина молча усаживает его на тахту и, обнаженная, сидит рядом. Он обнимает ее. Она тесно прижимается к нему, как девочка прижимается к матери, кладет голову на плечо и обвивает его шею руками.

— Тебе помочь одеться? — спрашивает Вихров, чтобы чем-то помочь Зине, чувствуя, что в ней происходит что-то такое, чему он не может подобрать название.

Зина отрицательно мотает головой. Она всегда спит голая и сейчас ляжет, чтобы уснуть.

— Папа Дима! — вдруг говорит она вполголоса и словно вслушивается в эти слова. — Фрося говорила мне, что вас так зовут дома!

Неприятно пораженный тем, как неуместно прозвучало это его имя здесь, Вихров не сразу может ответить Зине. Справившись со своим волнением, он говорит возможно более спокойно и просто:

— Игорешка долго не мог понять, почему его зовут Игорем, а меня — просто папой. Он долго говорил «папа Дима»...

— И мама Галя, да? — опять спрашивает Зина, и голос у нее совсем замирает и тускнеет.

— Да...

Зина поднимает к своим глазам его руку с часами, вглядывается в циферблат.

— Как быстро время прошло! Я даже и не заметила, как настал вечер. Верно говорят — счастливые часов не наблюдают! Не как они быстро летят... Половина десятого. Вам пора идти, милый, милый... мой... дядя Митя. Мой...

— Когда мы увидимся?

После долгого молчания они встали, и Зина, тихонько ступая босыми ногами по прохладному полу, провожает его к тому месту, где он подхватил ее на руки. И сейчас он опять поднимает ее и крепко прижимает к себе, не чувствуя тяжести ее тела, а только жар его.

— Когда же?

И Зина говорит ему на ухо:

— Не знаю, дядя Митя... Может быть, никогда...

— Что ты говоришь, Зина!! — как ужаленный вскрикивает Вихров. Так вот о чем думала она в эти часы, отрываясь от его ласк. — Что ты говоришь!!

— Так будет лучше! — говорит Зина и лицом, залитым слезами, прижимается к его лицу. — Я остаюсь на необитаемом острове, дядя Митя!

Она не слушает его лепета. Она напоследок целует его — крепко-крепко, так что у него выступает кровь на губах, и он чувствует ее солоноватый привкус. Она провожает его через узенький коридорчик, заставляет переступить через порожек и сама остается по эту его сторону. Тело ее белеет в сумерках чуть заметно — то ли есть она тут, то ли нет ее! — и ее волосы, глаза, рот, соски, пах черными туманными пятнами виднеются в этой сумрачной белизне. Она машет Вихрову рукой: идите, идите, милый! Вас ждут!

И Вихров, в смятении чувств, не веря сам себе и понимая, что он не может задержаться здесь ни секунды более, что бы ни случилось, бредет по косогору Плюснинки вверх, спотыкается, чуть не падает, останавливается у каких-то неожиданных препятствий, каких днем и не заметил бы, выбирается наверх и оглядывается. Домик Зины — словно на дне глубокого озера с темной водой, в которой не виднеются, а мерещатся его крыша, труба. Но провал открытой двери ясно чернеет в этом озере. И в его черном пятне что-то до сих пор мерцает, как искра, как отблеск высекаемого огня. Вихров машет рукой и не знает — видела ли его Зина, ответила ли ему.

Короткий гудок электростанции настигает его у входа в свой дом — ровно десять. И уже слышатся с Главной улицы, где уже шагают патрули, негромкие оклики и стук подкованных сапог...

Вихров жмурится от яркого света в столовой.

На столе накрыт прибор. На одного.

— Тебя могли задержать. Где ты так долго был? Иго-решка хотел, чтобы ты поцеловал его на сон грядущий, хотел, чтобы ты посидел с ним...

— Сидел на берегу! — отвечает папа Дима, уже не дядя Митя. — Есть у меня, ты знаешь, любимое местечко, на котором так хорошо думается...

Мама Галя что-то смахивает с его плеча.

— У твоего любимого местечка красивые, длинные волосы!

Мама Галя усмехается. Она шутит. Но в ее веселых глазах тревожный огонек. Из них выглядывает вдруг капитан корабля. Он осматривает в подзорную трубу весь горизонт: нет ли в открытом море пиратских кораблей, не приближаются ли из-за ближнего мыска шлюпки, через борта которых перевешиваются абордажные крючья? Не расселись ли пазы в днище и не хлещет ли вода в трюмы? Не взбунтовалась ли команда, уставшая от длительного плавания, не больны ли люди и не мучают ли их миражи?

— Умойся! — говорит мама Галя.

И папа Дима — растерянный, оглушенный штормом! — послушно умывается. Что-то ест; если бы его спросили — что, он был бы в большом затруднении.

И, больше не в силах переносить этот яркий свет, он идет в комнату сына. Мама Галя гасит за его спиной свет. Она уходит в спальню и говорит вдогонку Вихрову:

— Смотри, папа Дима, не простудись на своем любимом местечке. Я ложусь спать. А ты можешь лечь сегодня на диване. Мне нездоровится. Я не хочу, чтобы ты меня беспокоил...

Вихров садится у кровати Игоря.

В детской темно. Кромешная тьма. За дверями Фрося о чем-то разговаривает с Зойкой. Что-то бормочет во сне Лягушонок, видно не покончив еще с дневными делами своими, очень большими, очень важными и очень нужными. Папа Дима вкладывает свой палец в сжатый кулачок сына. Игорь крепко стискивает его...

Это твоя гавань, папа Дима, да? Это штормовой якорь, да?..

10

Утром Генка проснулся на солдатской койке и даже сразу не мог сообразить, где он находится. На стуле возле койки лежало его выстиранное и заштопанное белье, а возле стула — не только починенные, но и вычищенные ботинки. «У нас нерях не любят!» — сказал Генке молодцеватый солдат, которого Генка запомнил еще со вчерашнего дня. Он любовался своей работой. Потом сказал: «Ну вот что, годок! Быстро одевайся. У нас тут в кровати не валяются — не курорт, знаешь!» Между тем в небольшой казарме, где стояло двадцать коек, на четырех койках спали солдаты, хотя солнце уже было высоко. Генка кивнул на койки. Солдат сказал: «Несли службу ночью. Нормальный сон, знаешь, восемь часов — четыреста восемьдесят минуток! — по уставу положен. Тих-хо! Не разбуди. Это, знаешь, закон — товарищу дай отдохнуть!»

Старший лейтенант хотел было вечером отправить Генку в арестное помещение — как-никак нарушитель, но майор сказал ему:

— Отставить, товарищ старший лейтенант. Пусть парнишка переночует у солдат. И знаете что, покажите ему, что сочтете возможным. Пусть посмотрит, как живут на границе! — И, так как старший лейтенант не очень понял, почему задержанному мальчишке нужно все это показывать, он добавил: — Кроме прямых обязанностей, у нас — в данном случае! — по-моему, возникают кое-какие дополнительные обязанности. Зря мальчишка из дому не побежит. Видно, определиться на местности не может! Все координаты и все квадраты перепутались... Но, конечно, смотреть за ним надо. Это я возлагаю на вас. Как вы знаете, мы не можем отправить его домой сейчас. А посадить его за решетку — может быть, и спокойнее для нас с вами, да только — не самое умное. Исполняйте!

Генка оказался в собачьем питомнике.

Каждая собака сидела в своей клетке на вольном воздухе, и какое же страшное ворчание окружило Генку со всех сторон, как засверкали страшные клыки из-за всех железных прутьев, что он невольно вцепился в руку старшего лейтенанта и отступил за его спину. «Тихо!» — сказал лейтенант. Проводники, которые задавали собакам корм и занимались какими-то непонятными Генке делами, козырнули офицеру, поглядели на Генку без особого любопытства, сказали собакам: «Фу-у!» — и ворчание прекратилось, хотя в тех взглядах карих собачьих глаз, что были устремлены на Генку, и не появилось внимательного, дружеского, преданного выражения, какое было при взглядах овчарок на своих проводников.

У одной клетки проводник сидел на корточках. Лицо его было задумчиво и печально. Он поглаживал лежавшую на полу клетки собаку, а она глядела на него своими умными глазами, не шевелясь. Одна нога ее была в гипсе, вторая забинтована. Старший лейтенант — а за ним и Генка — подошли и сюда. Проводник нехотя поднялся.

— Ну что это такое! — сказал недовольно лейтенант. — Опять Стрелка здесь! В госпиталь ее надо!

— Скучает она в госпитале! — сказал проводник. — Без товарищей тяжело. А тут — все вокруг...

— Мерехлюндии! — сказал лейтенант.

— Да ведь это как смотреть! — довольно дерзко сказал проводник. — Служебная собака, она лучше иного человека чувства понимает...

— Р-разговорчики! — сказал лейтенант, хотел было что-то добавить, но сдержался и отошел от клетки с забинтованной собакой.

— Это чего она? — спросил Генка.

— Ранили при задержании одного переходчика-диверсанта!

— Но-о! — сказал Генка.

— Вот тебе и «но»! — передразнил его старший лейтенант. — Граница же! Одного взяли, двое были убиты, еще один в реке утонул, а последнего с той стороны пристрелили, когда он пытался вернуться. У нас потерь не было — только Стрелка, да малость ее проводника поцарапало. Кабы не Стрелка — были бы и у нас потери!

Генка уже изрядно надоел старшему лейтенанту. «Вот не было печали — так черти накачали, с этим огрызком возиться! Что за фантазия — заниматься воспитанием прибранных!» — говорил он себе. Но приказание есть приказание! Можно доложить по инстанции, что ты не признаешь действия начальника правильными, но обязан их выполнить. Устав, знаете!.. Не зная, куда девать Генку, он спросил вдруг:

— Хочешь диверсанта посмотреть?

Генке стало страшно, но он кивнул головой.

Они подошли к одному из домов. Тут тоже размещались солдаты, хотя сейчас не было никого. Стояли аккуратно застеленные постели, и Генка тотчас же вспомнил, как не смог сразу застелить кровать, на которой спал этой ночью, и как молодцеватый пограничник, прищурившись, вдруг одним движением крепкой руки уничтожил всю работу Генки и заставлял делать снова, пока матрац не стал круглым, пока одеяло легло без единой складочки, подушки вздыбились вверх, словно бы и не касаясь друг друга. Попотел же Генка, пока молодцеватый не сказал: «Ничего, корешок! Толк из тебя выйдет... а бестолочь останется! На границу служить пойдешь?» — «Да я об артиллерии мечтаю!» — «Ну, давай мечтай дальше!»

В доме был особый отсек. Там стоял часовой с автоматом в руках. Решетчатая дверь вела из отсека в комнату без окон. Генке дали заглянуть за решетку.

Высокий, сутулый человек сидел там на солдатской же койке, которая была привинчена к стене и к полу: Табуретка и маленький стол, величиной с вагонный столик у окна, тоже были привинчены к полу. Ни одной вещи здесь нельзя было передвинуть или взять в руку. Человек сидел, опираясь жилистыми руками о край койки, и сам был словно привинчен к ней. Взгляд его светлых глаз был устремлен в пол. На лбу так и врезались тяжелые, глубокие морщины. Носогубные складки тоже резко выделялись на его обросшем щетиной грубом лице. Припухшие веки наполовину прикрывали глаза. Рубашка и пиджак его были измяты и разорваны. Расстегнутые, без пуговиц, штаны некрасиво раскрылись в шагу. Пуговиц не было и на рубашке и на пиджаке. «В пуговице можно скрыть и фотоаппарат и яд! — сказал лейтенант. — Ремнем можно удавиться!» — добавил он. В камере горела лампочка, вделанная в потолок и прикрытая железной решеткой.

Диверсант даже не поднял глаз ни на лейтенанта, ни на Генку. Только чуть-чуть дрогнули его веки, когда он искоса, почувствовав их присутствие, повел глаза в их сторону, не сделав ни одного движения корпусом или головой. «Выучка!» — сказал лейтенант. «Ну как он?» — спросил лейтенант часового. «Нормально, товарищ старший лейтенант!» — ответил часовой.

— А его расстреляют? — спросил Генка шепотом, так как у него перехватило горло от этого зрелища.

Диверсант поглядел на Генку. И от этого пустого взгляда человека, видно готового ко всему или уже подведшего итог своей жизни, Генку затрясло.

Лейтенант вывел Генку из отсека. Уже отойдя довольно далеко, он постучал Генку по лбу и сказал: «Торричеллиева пустота, понимаешь, здесь-то! Что ты ему подсказываешь? Это тебе не в третьем классе!.. Поступят по закону, понимаешь!»

Потом они обедали. Рано — в двенадцать часов, когда Генке еще и есть-то не захотелось. Потом ему показали знамя заставы — при входе в третий домик стояла как бы трибунка, украшенная цветами. В особом углублении этой трибуны стояло знамя, складки которого мягко ниспадали к подножию. «Орденское!» — сказали Генке, и он увидел орден Красной Звезды на знамени и цветные ленты, опускающиеся с пика знамени вниз. У знамени стояли часовые. Они не глядели ни на кого, застыв, будто были неживые. Только примкнутые ножевые штыки их коротких, красивых винтовочек чуть покачивались в воздухе, когда вздох колыхал груди часовых. Генка почувствовал себя тут таким маленьким, что — кажется — влез бы в собственный карман, такой силой дышало от этих ребят у знамени...

Он вспомнил Шурика и его Индуса.

— А мы, у нас во дворе, воспитываем служебную собаку! — сказал он лейтенанту. — Индусом зовут! Вот хорошая собака...

Лейтенант сказал сухо:

— Фантазии маловато у вас, вот что! В этом году пионеры сдали на службу пятнадцать Рексов и пятьдесят Индусов. А собаки, знаешь, к кличкам привыкают медленно. Осложнение выходит...

Он был раздражен необходимостью возиться с Генкой.

«Вот позвоню в отряд, — подумал, он сердито, — и доложу, что посторонний находится в расположении отряда. Вот всыпят тогда нашему майору по первое число, понимаешь!»

Но он не позвонил.

А в середине дня судьба Генки резко изменилась.

Еще сидел он у завалинки одного дома, стругая ножичком, взятым у молодцеватого, талинку, как на заставе что-то произошло. Прозвучал резкий звонок. Захлопали двери всех домов. Пограничники, в полном вооружении, мигом высыпали на улицу. И тотчас же построились. Лица их были серьезные. И Генка почувствовал, что тут начинается что-то очень интересное. Из здания начальника заставы выбежал молодцеватый, тоже в полной форме и с винтовкой на руке. Вслед за ним из дома вышли майор и старший лейтенант. Майор кивнул молодцеватому: «В арестное помещение!» — и молодцеватый потащил упиравшегося Генку к одному из домиков, дав Генке такого подзатыльника, что у Генки искры посыпались из глаз. Перед Генкой показался такой же отсек, как и тот, в

котором содержался задержанный диверсант. Раскрылась дверь с решеткой. «Не пойду я сюда! — сказал строптиво Генка, упершись ногами в пол. — Не тронь!» До него донеслись с улицы слова майора: «Товарищи пограничники! Смир-рна! Равнение на знамя!» Значит, и знамя вынесли перед строем. Генка услышал, как печатают шаг ассистенты, как звякнули винтовки о металл запасных обоем. Это солдаты сделали «на караул» перед знаменем. «Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! — сказал торжественно майор, и голос его как-то дрогнул. — Слушайте приказ Верховного Главного Командования!..»

Тут молодцеватый пограничник, видя, что Генка не намерен идти в арестное помещение, дал ему коленкой под зад. И Генка влетел в камеру, как бильярдный шар влетает в лузу от удара кием хорошего игрока. Дверь захлопнулась. Молодцеватый солдат вынул из скважины ключ. Пробежал по коридору. Стукнул входной дверью. Тотчас же прервалась связь Генки с внешним миром. В доме царила тишина. Только отрывистый крик донесся с улицы через стены. Кажется, пограничники крикнули: «Служим Советскому Союзу!»

Вслед за тем на заставе наступила тишина.

Генка потрогал дверь. Заперто крепко. Нигде ничего не шатается, нигде никакой слабину. Потрогал зад — больно! И удивился: молодцеватый солдат был весь такой кругленький, полненький как яблочко, а дал коленкой — словно оглоблей ударил...

Что делать?

А что делать, когда нечего делать?

Четыре стены. Койка, даже не покрытая одеялом. Стол. Стул. Дверь. Лампочка в потолке. «Дя-аденька!» — крикнул Генка волшебное заклинание, которое открывало сердца мужчин, подобно тому, как заклинание «Сезам, откройся!» отверзало каменные пещеры. Но, как видно, все доброе волшебство кончилось! Доброе волшебство — пустынная дорога, таинственные отверстия в ней, медведи, Летучий Голландец — «джип», шницель с гречневой кашей, собачий питомник, амбразура с видом на чужой мир, приросшая сама собой подошва и все прочее — кончилось. Началось какое-то нехорошее волшебство: пустой дом, мертвая тишина, дверь с решеткой, перемена в обращении, не сулившая ничего доброго...

Испуг Генки сменился досадой, потом злостью.

Он застучал в дверь с решеткой кулаком, потом ногой в починенных башмаках, рискуя вновь оторвать подметку. В коридоре — загудело. Генка закричал. В коридоре тоже закричало. «Пустите!» — кричал Генка. «Те-те-те!» — орал коридор. «Не имеете права!» — кричал Генка. «Ва-ва-ва!» — орал

коридор. Эхо отдавалось в пустых комнатах. Сначала Генке показалось, что кто-то откликается ему, и он удвоил свой рев, но потом он понял свою ошибку. Холодный страх заставил Генку замолчать.

Он сел на кровать, не отрывая взгляда от двери, боясь пропустить того, кто наконец взглянет в решетку. У него заглохло сердце. А в решетчатом окошечке никто так и не показывался. Только холодно светила лампочка в потолке. Генка поежился — тут вовсе не было жарко! Скоро у него замерзли ноги, и он поджал их под себя...

Человеку свойственно рассуждать. Человек не может без этого обойтись. И Генка, как ни испуган он был, стал рассуждать. Он был жителем пограничного края, а это что-то значило! У матери в паспорте стоял большой строгий штамп: «Житель запретной зоны». Это потому, что край граничит с враждебной страной. Это потому, что самураи спят и во сне видят захватить Дальний Восток! Кто эти самураи? Генка видел их только на картинках: скуластые, с тонкими кривыми ногами, с большими кривыми зубами, торчащими из большого, губастого рта. Из этого рта текут слюны при взгляде на Дальний Восток, который высится большой каменной стеной, перед ними Крепость Коммунизма на Тихом океане. Из Крепости Коммунизма выглядывает веселый советский солдат и грозит самураям: «Нас не трогай, и мы не тронем. А за тронешь — спуску не дадим!» Вот так!..

Может быть... У Генки ползут какие-то мурашки по спине от одной этой мысли. Может быть, самураи напали на нас. Может быть, и запыленный старший лейтенант, и хороший дядька майор, и молодецватый, скорый на расправу, и другие пограничники бьются сейчас с самураями, которые держат впереди двуручные мечи, и погибают за нашу советскую родину, пока Генка сидит тут, в этой проклятой мышеловке.

Может быть, сейчас уже крадутся по тропинкам эти самые самураи, выходят на площадку перед домами погранзаставы, осторожно обтекают их, входят в штаб, в казармы...

Генка вскакивает, тихонько выглядывает в решетчатое окошечко. Нет, ни один гад не ползет по чистому коридору, видимому из дверей отсека, которые не закрыл молодецватый.

Ну что ж! Если они придут... «Огонь на меня!» — командует Генка. И бог артиллерии изрыгает пламя. И несутся пылающие снаряды. И падают точно в цель, указанную гербом, имени которого так никто и не узнает: «Как вас зовут?» — требуют от Генки самурайские палачи. «Советский Человек!» — гордо отвечает им Генка. «Товарищи! Преклоним головы перед прахом неизвестного Лунина Геннадия, который не пожалел своей жизни!» — торжественно говорит

Иван Николаевич на митинге. И все плачут. И могила неизвестного Лунина Геннадия утопает в цветах...

Генка плачет от жалости к себе. Потом плачет оттого, что никто не идет к нему, оттого, что неизвестность терзает его, оттого, что ему холодно, оттого, что он уже хочет есть. Наконец, оттого, что где-то неподалеку от Генки, в такой же камере, сидит враг, диверсант, перебивший лапы Стрелке ударом парабеллума, уставив мертвые глаза свои на такой же деревянный пол, и молчит, молчит, молчит... Ну, он сидит здесь потому, что он диверсант,— так и надо ему. А Генка? Почему сидит здесь советский Генка?

Он плачет, потом засыпает, просыпается, мотается по камере — от кровати к двери, от двери к кровати, мостится на соломенном матрасе, пригревается кое-как, засыпает опять...

Проходят — один за другим! — томительные часы.

У Генки нет уже ни слез, ни сил, ни воображения, ни охоты думать. Остывший, он живет, будто в кошмаре... Давно миновал ясный день, сменившись туманным вечером, и вечер ушел в небытие, и опустилась на землю непроглядная ночь, и она уже приходит к концу.

И вдруг Генка вздрагивает. Он ясно слышит, как под ним начинает подскакивать койка. Он испуганно вскакивает. Но и пол, и стены дома дрожат, дрожат, дрожат. Дрожь сотрясает их накатами. И тут Генка слышит ровный грозный, непрерывный шум, какой-то сплошной гул, рев. Так шумит море в шторм, так грохочут громы, так ревет лес в бурю, так гремит горный обвал, так сотрясает землю водопад... Расширившимися глазами Генка озирает стены камеры и видит — они трясутся, как в лихорадке...

Вдруг в этом грозном гуле, гуде, грохоте, реве и шуме ясно выделяется стук открываемой двери и голос молодцеватого:

— Эй, кореш! Ты живой?

Генка бросается к решетке и повисает на ней, как борец революции на значке МОПРа. Он даже не может ничего сказать.

Молодцеватый открывает дверь его темницы. Возбужденный, точно хмельной, он что есть силы хлопает Генку по плечу: «Пошли!» В руках у него открыта банка консервов, буханка хлеба: «Ешь!»

Генка давится хлебом, который застревает у него в горле.

Сияющими глазами молодцеватый глядит на Генку. Радость распирает его. Он говорит, умолкает, словно что-то рассматривая перед собой, и говорит опять — бестолково, перескакивая с одного на другое:

— Переперло, кореш? Ничего! Другой бы на твоём месте в штаны наложил! Все, знаешь! Теперь все! Хватит, понимаешь, постреляли гадские самураи наших ребят — теперь конец самим пришел. Приказ, понимаешь! Раз, два, левой — на тот берег! В ножи, понимаешь! Без одного выстрела — всю пограничную охрану долой! Четыре часа длилась операция, которая уничтожила передний край обороны противника... Вот так! Герои-пограничники! Наш майор — герой. Ворвался в японскую казарму — точка! Смелого пуля боится, смелого штык не берет! Вот так! Как львы, понимаешь, дрались!.. Песни потом споют про эту ночь...

Он прислушался к гулу за стенами, закивал головой и опять засиял. Он махнул Генке: давай, знаешь, забирай с собой весь провиант, пойдём на улку, можно ли сидеть под крышей, когда совершаются такие мировые события!

— Техника, понимаешь, пошла. Техника! Армия занимает предполье! Амур кипит, понимаешь: понтоны, подручные средства, амфибии, плоты — все на ходу. А все мы, понимаешь, пограничники! Самураи и не пикнули, понимаешь!..

Молодцеватый что-то говорил еще. Но голос его терялся в грохоте техники, что катилась стальным потоком по той дороге, которая привела сюда и Генку. Кажется, самый воздух содрогался от этой силы, брошенной на ту сторону.

Ленивый рассвет вставал над заставой. Вширь Амура ложился серый туман, скрывая все от глаз, но в этом тумане мелькали и исчезали машины, машины, машины...

Вполняя союзнический долг...

Глава тринадцатая

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

1

Выполняя союзнический долг, Советская Армия перешла границу.

Возникли Приморский, Дальневосточный и Забайкальский фронты.

Тихоокеанский флот ударил по базам противника на Курильских островах и на Южном Сахалине, суда его вышли,

взаимодействуя с войсками Второй Приморской армии, к берегам Ляодунского и Корейского полуострова. Первая Приморская армия ударила с востока на запад, вдоль КВЖД. Войска Дальневосточного фронта двинулись с востока на юго-запад и с севера на юг, при поддержке Амурской военной флотилии, вышедшей на Сунгари. Забайкальский фронт, при поддержке Народно-Революционной армии Монгольской Народной Республики, блокировал укрепления Большого Хингана. Маньчжурия стала театром военных действий, та Маньчжурия, где мир казался незыблемым.

В самом Китае Чан Кай-ши принужден был драться с японцами, с которыми он охотно сторговался бы, не будь на свете китайского народа. Но и до сих пор единственной реальной силой в этой всенародной борьбе с японскими захватчиками были Четвертая и Восьмая Народно-Революционные армии Китая, с которыми Чан Кай-ши, перед угрозой полного порабощения страны японцами, вынужден был заключить временный союз. В то же время он вел любовные интриги с дядей Сэмом и проводил вероломную политику: сохраняя видимость боевой активности, он экономил свои вооруженные силы, но охотно предоставлял войскам коммунистов самые кровопролитные участки фронтов, самые угрожаемые направления, подставляя коммунистов под японские пули. Он делал у себя именно то, что делали в Европе его американские наставники и покровители, предоставляя Советской Армии долгие три года один на один вести борьбу с колоссальной гитлеровской военной машиной, в надежде обескровить не только противника, но и опасного союзника. С удивлением Чан Кай-ши обнаруживал, однако, что революционные армии не только не тают, но все крепнут — за счет его солдат, которым надоело обманывать народ, которым давно уже хотелось хорошо побить чужеземных захватчиков.

Забайкальский фронт взломал укрепления Большого Хингана, над которыми немало потрудились японские и немецкие инженеры, чтобы сделать их неприступными, и возле которых были зарыты многие тысячи китайцев — строителей этих укреплений, убитых для сохранения военной тайны. Амурская военная флотилия вышла в воды Сунгари, стерла с лица земли укрепления Фукдина и Лахасусу и открыла дорогу войскам Второго Дальневосточного фронта, который стремительно продвигался в сунгарийских долинах, рассекая на две половины Квантунскую армию генерала Ямада. Приморский фронт разрезал восточную группировку японцев и выхо-

дил на направление главного удара к сердцу Маньчжурии — Харбину. Пал Порт-Артур, где находились могилы, дорогие сердцу каждого русского человека. Был осажден Мукден — база энергетики Маньчжурии и крупный порт. Рухнули марионеточные режимы во Внутренней Монголии и в Корее. И Народно-Революционная армия Кореи сводила счеты корейского народа с японцами, накопившиеся за сорок лет.

Советские пограничники перешли границу. За несколько часов темной-темной августовской ночи они сокрушили, взломали, уничтожили всю пограничную охрану противника. Командующий Квантунской армией генерал Ямада Отозоо получил сведения о начавшемся наступлении Советской Армии лишь через несколько часов, когда можно было уже говорить о катастрофе: советские войска форсировали Амур на всем его протяжении, вторглись в бассейн Сунгари и Двуречья, перешли Иман и Уссури, были за озером Хасан, вступили на землю Кореи. Вторгшиеся войска своей стремительностью практически дезорганизовали управление войсками Квантунской армии, перерезали все коммуникации и, действуя дерзко, смело, быстро, уверенно, умеючи, разорвали связь японских соединений и гарнизонов, обтекая очаги сопротивления и продвигаясь в глубь страны. Двенадцатого августа на города Хиросиму и Нагасаки американцы сбросили атомные бомбы. Но к этому времени многомиллионные армии императора Хирохито безнадежно застряли в Океании и в Азии, и разговор между ними и императором происходил примерно по такой схеме. Генералы кричали, захватив еще и еще один район: «Я медведя поймал, ваше величество!» — «Тащи его сюда!» — «А он меня не пускает!» Теперь же единственная реальная сила империи — Квантунская армия — перестала существовать как единое целое, как боевая сила. Грозный тигр, полтора десятилетия готовившийся к прыжку на северного медведя, оказался связанным. Он мог еще огрызаться, но это был уже не тигр! И четырнадцатого августа император Хирохито подписал указ о капитуляции, признав свою авантюру проигранной и, может быть, прокляв тень генерала Танака. Но до двадцатого августа военачальники скрывали этот указ от своих подчиненных, на что-то надеясь, и гнали солдат в бой, уже не представляя собой ни военной, ни государственной власти.

И в запретной зоне Пинфани, где оттачивали самые острые зубы тигра, генералы переоделись в форму старших офицеров, старшие офицеры надели знаки различия младших офицеров, а солдаты — остались солдатами. Полковник Ниси Тосихидэ получил секретное предписание: отобрав среди личного состава отряда наиболее надежных людей, уничтожить подопытные «бревна», уничтожить «культиваторы

Исии», в которых воспитывались чумные блохи — идеальные бациллоносители, так как блохи не болеют чумой, но могут сохранять болезнетворные бактерии неограниченно долго, уничтожить «бомбы Исии» — с бактериологическими зарядами, уничтожить «печень Исии» — зараженное бактериями тифа и холеры, уничтожить все помещения, лаборатории, тюрьму, казармы 731-го отряда и выгнать в поле подопытных животных, зараженных сапом...

На данном этапе научная работа генерала Исии Сиро — медика и биолога, политика и военного — прекращалась, а он сам переставал существовать как Исии Сиро, чтобы принять ту личину, которая будет рекомендована ему японским генеральным штабом. Потом он появится за океаном как крупный специалист-эпидемиолог...

2

Фрося извелась, потеряв Генку.

Она не особенно беспокоилась день-два: придет, бродяга!

Но на третий день она заревела, — как видно, ее опять посетил господь, как сказала бы бабка Агата. Милиция не могла ничего сообщить Фросе — такой не был задержан. Скорая помощь как бы ободрила Фросю — никакого подростка с описанными Фросей приметам в пункты скорой помощи не доставляли. Вихров сходил в городской морг, испортив себе настроение на два дня, но Генки, к счастью, там не было. Зато Вихров на всю жизнь запомнил два трупа — маленькая девушка возле красивого, здорового, как бы сказал Вихров, парня. Парень умер от разрыва сердца, а девушка отравилась, не снеся утраты любимого. Что-то в этом зрелище глубоко разволновало Вихрова, и он сам не знал, какое чувство было в нем сильнее при взгляде на эту пару, соединившуюся вечными узами на холодном бетонном полу морга: уважение ли к силе чувства этой маленькой девушки или злость из-за ее безрассудства? У них, парня с девушкой, не было родственников. Их трупы передавали в медицинский институт. И неожиданно Вихров увидел жену Прошина, которая с профессиональным удовольствием сказала, глядя на парня: «Какой великолепный экземпляр! Наши девчонки отпрепарируют его с наслаждением. И девочка тоже хороша: у нее очень тонкий эпидермис — это будет сложная задача!»

И Вихрова чуть не стошнило при мысли о том, как эти действительно потерпевшие кораблекрушение лягут на столы в подвале медицинского института, как их растреплют по клочкам, предварительно наполнив их кровеносные сосуды

вместо крови формалином, как потом какой-нибудь студент или студентка, еще ничего не испытывавшие в жизни, еще не любившие никого и ничего, будут постукивать карандашом по обнаженным сухожилиям или скелету кисти и говорить нараспев: «Задачей сухожилия является приведение связанных с ними костей скелета руки в то или иное положение при помощи мышц. Мышцы состоят из...»

Прошина не увидела Вихрова, и он вышел из морга, не поздоровавшись с нею.

Вихрова посоветовала Фросе запастись терпением. Ей почему-то казалось, что с Генкой ничего не произошло. Правда, она позвонила в спасательную службу пароходства, но ей ответили, что за последние дни не зарегистрирован ни один несчастный случай на воде, и успокоили заверением, что, возможно, где-нибудь что-нибудь подобное и могло произойти, но им пока не сообщали об этом.

Фрося то клялась себе, что если Генка явится целым и невредимым, то она и пальцем к нему больше не притронется, то со злобой говорила: «Ну, пусть только придет! Убью на месте!», забывая при этом, что именно возможность смерти Генки и тревожит ее сейчас...

Припомнив слова бабки Агаты «Мало молилась!» — Фрося попыталась сделать это. Но — в одном углу была печка, в другом стояла кровать Зойки, которая с любопытством следила за матерью — чего она крутится и машет рукой перед носом, в третьем — над ее кроватью был прибит коврик с двумя зелеными лебедями, которые плыли в синей воде, а в четвертом висела фотография Николая Ивановича Лунина, украшенная бумажными розами. Богу в этом доме не было места, потому что бог обязательно должен быть в углу, точно провинившийся школьник...

На душе у Фроси было очень беспокойно.

Пропажа Генки тревожила ее, да и не могла никак улечься тревога, возникшая в момент, когда Зина произвела прибыльную операцию, хотя после этого Фрося осуществила свою мечту — купила наконец тюль и повесила его на окна, от карниза до пола, внутренне возмущаясь собственным расточительством. Она все время чего-то ждала, боясь самого худшего. Бронхитик Зойки тоже не проходил. По ночам она кашляла, потела. И Фрося с каким-то страхом слушала этот кашель: простудили девочку долгогривые, прости господи, а какая была хорошая — здоровенькая, веселая, спокойная!

Камень свалился с души Фроси, когда, точно феникс, рожденный из пепла, Генка появился во дворе, да еще с таким блеском — в сопровождении майора, на пограничном «джипе».

Вероятно, в легендарные времена эллинов боги сходили на землю с Олимпа в таком сиянии и торжестве — «джип» лихо влетел во двор, с визгом развернулся, застыл у крыльца кормой. Водитель вылез и принялся копаться в моторе, хотя там ему ровно нечего было делать, но такова сила привычки. Майор, особенно красивый в своей полевой форме, в ремнях, фуражке с зеленым верхом, с пистолетом на боку, с планшеткой у колена, ловко выскочил из «джипа» и помог Генке перемахнуть через борг.

Двор так и ахнул! — древними изваяниями застыли на момент все ребята, раскрыв рты от такого явления Генки народу. Потом, однако, они кинулись наперегонки к «джипу», — только Ирочка приближалась к машине как бы случайно, как бы невзначай, сложными па, следя за которыми нельзя было и угадать, куда влечет ее неведомая сила.

А Генка, не обращая ни на кого внимания, словно бы во круг и не было никого, сказал майору:

— Сюда, товарищ майор! Вот на эту лесенку!..

Как будто майор и сам не знал, куда надо идти! Ну и Генка! Цвет фуражки майора, полевая форма его, «джип», размалеванный пятнами камуфляжа, уже многое сказали ребятам, и они поняли, как высоко поднялся Генка по ступенькам человеческого общества в своем гражданском развитии. О-о! О-о-о!! Ну, Генка! Недаром про него в книгах пишут!.. Может быть, он своими глазами видел все, о чем день и ночь говорили в городе! Может быть, Генка участвовал в событиях, к которым приковано было сейчас внимание всего мира?! Генка все может!

— Мамочка! — сказал Генка полуфальшивым, полукрепким голосом, в котором была и явная дрожь вины и не менее явное нахальство человека, которому море по колено.

Растерянная Фрося не предложила майору даже стул.

И тут Генка показал, насколько он преуспел в обхождении с людьми за свое второе путешествие. Он скинул на пол неглаженое белье и придвинул стул майору: «Товарищ майор! Пожалуйста! Вы не обращайтесь внимания! Мамка просто сообразить не может!» Майор и улыбнулся и нахмурился, поднял белье с пола, переложил его на кровать, присел, пожав руку Фроси, и даже согласился выпить чаю. Он сказал Фросе, что решил подбросить ее сына сам, так как ему все равно надо было ехать в город, и умолчал о том, что этот визит имел своей целью спасти Генку от заслуженной расправы за побег. Он сказал Фросе, что Генка вел себя на заставе хорошо, и умолчал о том, что ему пришлось посидеть малость за решеткой, в целях конспирации. Он сказал о том, что за Генкой надо бы лучше смотреть, и умолчал о том, что, по его мнению, Генкины путешествия добром не кончатся, если им

не положить предел. Он сказал, что Генке нужны хорошие товарищи, и умолчал о том, где их взять! Потом он распрошлся с Фросей и сказал, что хочет навестить своих старых соседей, и прошел к Вихровым. Фрося услышала за дверями радостные восклицания мамы Гали, глуховатый голос Вихрова. «Без чаю я вас и не отпущу!» — закричала Вихрова. «Да я только что!» — «И не разговаривайте!» — опять запротестовала Вихрова. «А у меня выпил!» — с торжеством подумала Фрося и почувствовала, что ее душевное равновесие восстанавливается.

«Почему вы не в Маньчжурии, Ефим Григорьевич?» — «Да наши части только расчистили границу — и на свои места!» — «И вы участвовали в этой расчистке?» — «А как же!» — «Бои были страшные, наверное, ведь японцы звереют в бою!» — «Да им и не пришлось звереть-то — многие даже не поняли ничего, когда уже было все кончено!» — «Ну, потери, конечно, были большие?» — «Нет, у нас в отряде только легкими ранениями ограничилось дело!» — «Да как же это так — ведь у них были довольно крупные силы на границах!» — «Да так уж!» — «Ну, от вас ничего не узнаешь, Ефим Григорьевич, хоть клещами вытягивай». — «Так воспитан!» — смеется майор. Он немногословен. О чем говорить, когда дело сделано на «отлично», — значит, не зря учили! А это что такое? Орден Красного Знамени! За что? За это! А говорите — не о чем рассказывать! Ну, наше дело — действовать, а рассказывают пусть журналисты, у них это ловко получается! А журналисты рвут на себе волосы — никаких героических эпизодов! Все просто: была японская пограничная охрана и — нет ее! Знание предполя, знание противника, отличная согласованность в боевых действиях, блестящая боевая выучка, патриотический порыв, великолепная отработка плана командования по ликвидации противника.

— Ну, было вам страшно? — спрашивает мама Галя уже на пороге, держа за рукав майора и глядя на него чуть ли не влюбленными глазами.

Майор кивает головой:

— Застава японцев на квадрате семь — десять не подавала признаков жизни. Ну, мертво, как на кладбище. Тьма. Ни единой звездочки. Застава украшена воротами. У японцев бывает так — ворота есть, а забора нету. Мне надо выяснять обстановку, а я не вижу часовых. К воротному столбу прислонился. Гляжу, гляжу — ничего. А до казармы — двести шагов! Незамеченным не подойдешь. Стою, как дурак! Вот тут страх берет: вся операция под угрозой, если часовой заметит и поднимет тревогу. Я, честное слово, взмолился: «Ну где ты, дорогой мой? Поддай знак!» А тут — по другую сторону столба как вздохнет кто-то!.. А это часовой — он, видимо, присло-

нился к столбу, да либо задремал, либо задумался...
А тут — сразу все прояснилось...

— Часовой закричал, выстрелил?

— Нет! — коротко отвечает майор.

— Ну, и...

— Нормально прошла операция... Прошу извинить меня, дорогие друзья, мне пора. До свидания!

— Ну, Ефим Григорьевич, — говорит мама Галя, — будут нас бомбить японцы? Мы каждую ночь ждем налетов...

— Н-не думаю. У нас абсолютное превосходство в воздухе. Да и противник деморализован и дезориентирован. Насколько я знаю историю военного искусства, это одна из самых тщательно разработанных и молниеносно проведенных операций во второй мировой войне. Они уже не оправятся. А чудес на свете не бывает...

И «джип» прыгает вперед, отчего майор чуть не вываливается с кормы, ревет оглушительно клаксоном, прыгает в ворота, и уже — где-то там, на Главной улице, проскакивает мимо кокетливой регулировщицы, водитель успевает сделать ей рукой под козырек, получает в ответ жест руки, сжатой в кулак, за лихачество, и исчезает. Воробьев из ворот своего дома с острым любопытством следит за машиной и бормочет: «Мой почерк! А вот, ей-богу, мой!»

И вот Генка на улице.

Он более словоохотлив, чем майор и даже чем молодецкватый пограничник, источник информации Генки. Генка рассказывает о темной ночи, о мертвой тишине на границе, о плывущих камышовых плотиках, заготовленных заранее, за которые держатся пограничники в полной форме, с оружием и запасными дисками. О движении ползком на протяжении километров. О скоротечных схватках в темноте и предсмертном хрипе японских часовых. О внезапно раскрывающихся дверях на японских пограничных заставах и дулах автоматов, направленных на ошалевших солдат, бывших спокойными за себя и, казалось бы, обезопасенными от неожиданного нападения совершенной системой сигнализации и усиленными постами.

— Ну, и точка! — говорит теперь Генка, заканчивая фразу.

Возможно, что, не будь Генки на заставе, все шло бы значительно хуже, чем прошло! Такой вывод невольно напрашивается у слушателей. Они дрожат, представляя себе диверсанта с застывшим взглядом человека, уже видящего свой смертный конец.

— Ой, я боюсь! — говорит Наташка и скрывается за брата, который только сопит, искренне переживая все, что слышит от Генки.

— Ну, ты, тише! — говорит Миха сестренке и спрашивает Генку, отныне величайшего специалиста по всем вопросам, связанным с границей: — Ну, расстреляли его? Диверсанта-то?.. Наверное, перед самым наступлением? Так принято ведь у всех культурных народов...

— Не-е! — с сожалением говорит Генка, которому очень хотелось рассказать, как плакал диверсант перед казнью и как обещал больше не делать ничего такого, как раздался залп и как жалкое тело его скрылось в ямке. — Он повел наших туда, на ту сторону. Он знал, где надо пройти, — там для него ходок был оставлен!

«Он спас свою жизнь, он купил ее ценой предательства тех, кто верил ему! — так сказал майор о диверсантах и посмотрел на Генку долгим взглядом. — Вот, Геннадий, что бывает с теми, кто хочет жить для себя! Это — матерый шпион. Он работал на японцев за деньги! Хотел сладко пить, крепко спать, вкусно есть! Ему не надо было ничего — ни семьи, ни товарищей, ни коллектива, ни детей. Что будет с ним дальше? Не знаю. Такие долго не живут — жить нечем, понимаешь!»

...На другой день Генка дрессирует сторожевого пса для границы. Откуда появился у него этот щенок — это секрет Генки. Белый, с черными пятнышками, с толстыми пушистыми лапами, с темными глупыми-глупыми глазами, с короткими ушками, одно из которых все время валится на сторону, а второе стоит торчком. Мокрым черным носиком щенок тычется всюду — в забор, в ноги людей, в подножия деревьев, в доски крыльца, еще плохо разбираясь в явлениях внешнего реального мира в тех или иных конкретностях, скулит, видимо сучая по матке, поминутно оставляет красивенькие маленькие лужицы под собой. Он доверчив и ласков. Короткий толстый хвостик его все время виляет и дрожит, а если щенок садится, то неумный хвостик тихохонько постукивает по полу — тук-тук-тук! Хвостик тоже принадлежит к явлениям внешнего мира, хотя один его кончик и прикреплен к щенку. Но зато второй, все время трепетно болтающийся в воздухе, то и дело попадает в поле зрения глупых глазок. И щенок хватается за этот мотающийся перед глазами кусочек косточки, покрытый кожей с пушистой шерсткой. Хвостик вырывается из его розовой пасти, щенок гоняется за ним, и вертится вокруг своей оси, и падает, не в силах удержаться на ногах.

— Сторожевой, понимаешь! — коротко говорит Генка.

— Порода? — так же коротко спрашивает Шурик.

— Этот... овчарка! — отвечает Генка.

— Какая? — следует вопрос.

— Ну... эта... шотландская! — говорит Генка.

— Хм-м! — произносит Шурик.

— Что ты хочешь этим сказать? — спрашивает Генка в свою очередь и косится на Шурика. — Вот знаешь, как дам...

— Давали! — отвечает Шурик. — Давали, давали, да и руки оторвали!

Генка сжимает кулаки. Но боится пускать их в ход. Не стоит с интеллигентами связываться. Реву будет...

Шурик берет щенка за уши. Щенок розовым язычком лижет Шурику руки. Уши на носу не сходятся. Шурик кладет щенка на пол и отходит в сторону.

— Не лапай! — говорит Генка, которого эта операция возмущает.

Щенок, принюхиваясь, весело бежит за Шуриком, руки которого пахнут псиной — он недавно возился с Индусом.

— Фу! Фу! — кричит Генка, но щенок иноходью несется дальше. — Фу! — кричит Генка и хлопает в ладоши.

Испуганный щенок визжит, падает на землю, переворачивается на спинку, и поджимает лапки, и стучит по полу хвостиком.

— Дворянин! — непонятно говорит Шурик и уходит.

— Сам дурак! — отвечает Генка. Он садит щенка на ножки. Потом показывает на близняшек, которые с восхищением наблюдают за Генкой и его шотландской овчаркой, за его сторожевым псом, за его служебной собакой, и кричит: — Фас! Фас!

Но щенок вовсе не бросается на близняшек. Он блаженно щурит глаза на солнышко и чихает, забавно морща тупой нос.

— Можно я его поглажу? — спрашивает Леночка. — Он такой хорошенький! Такой хорошенький!

— Сторожевых собак не гладят! Так можно избаловать. Собака просто должна чувствовать, что хозяин относится к ней хорошо. Она должна понимать взгляд хозяина, вот! — Он смотрит на щенка волевым взглядом и даже не дышит. И кричит: — Ураган, ко мне! Ураган! Ко мне! Ураган!

— Его Ураганом зовут! — с благоговением говорит Наташка.

Вдруг в калитке показываются трое ребят с соседней улицы, в сопровождении женщины — матери или тетки. Ребята озирают двор. Их физиономии, при виде щенка, озаряются самыми светлейшими из всех ребячьих улыбок. Они чмокают губами, щелкают пальцами и кричат звонко, в три голоса:

— Шарик! Шарик! Шарик!

Щенок одно мгновение соображает — откуда идет этот зов? Потом начинает изо всех сил работать своими короткими ногами, спотыкается на бегу от радости, переполняющей

его преданное сердечко, и катится к ребятам у калитки. И вот он уже у ребят на руках. Генка мрачнеет. Он смотрит в сторону, как будто происходящее совсем не касается его. Женщина грозит ему пальцем, говоря:

— Не стыдно собак воровать, да? Вот матери скажу...

Шурик со своего крыльца кричит:

— Новая порода служебных собак — шотландский Шарик! Выведена ученым собаководом Геннадием Луниным...

Генка с потемневшим вдруг лицом хватается с земли камень и кидает его в Шурика. Шурик прячется за перила. Близняшки с воплем бегут к своему дому...

Опять налицо трагический разрыв между широтой и высотой помыслов и их свершениями. Все внутри у Генки клочится. Но у него уже вырабатывается стоическое отношение к удачам и неудачам своего бытия. Он поднимается на свою верандочку, садится на сундучок Фроси, подпирает кулаками свою многотумную голову и смотрит на улицу поверх своего двора. Пусть кривляется на своем крыльце Шурик, страшно довольный тем фиаско, которое потерпели Генка и Ураган. Пусть усмехается балеринка, считающая ниже своего достоинства обращать внимание на мальчишеские дела, но которой тем не менее приятна Генкина неприятность. Пусть о чем-то сплетничают близняшки — о чем? лишний вопрос! — о нем, конечно! не зря Наташка шепчет на ухо Леночке и хитрыми глазами косит на Генку. Пусть мать выглядывает в окно и спрашивает: «Что ты опять натворил?» Пусть!!

Шурик выпускает на двор Индуса. Великолепный пес мчится по воле, обнюхивает столбы и палисадники, пускает звонкую, сильную струю на те места, где преждевременно исчезнувший Ураган оставил свои маленькие визитные карточки. Индус словно омывает воспоминания об Урагане. Шурик бежит за Индусом с поводком и напевает: «Нам не страшны ураганы... нам не страшен океан!»

Это уже слишком! Генка уходит в дом.

Ему нечем заняться. На душе у него осень — небо застлано темными тучами, и сеется на землю надоедливый, тоскливый дождик. Чем бы развеяться? Что-то надо предпринять! Но что? И Генка говорит матери тем гнусным голосом, который почему-то появляется у него, когда надо что-то у кого-то попросить:

— Ма-а! Можно я в кино схожу, а? Дай денег, а!

Мать молча захлопывает дверь перед его носом, боясь опять рассердиться и накричать на Генку. Он остается в прихожей, понимая, что просьбу лучше не возобновлять. Но душа его мрачна, и навязчивая идея — пойти в кино! — становится нестерпимой. Погоди, Генка, остынь: нельзя — так нельзя! Потом мать чуть отойдет от твоих походов, даст на

кино. Потерпи! Но от отказа Генка свирепеет. «Хочу в кино! Хочу в кино!» В его глазах встает Сарептская Горчица, не знающий нужды в деньгах: «Занял, с намерением отдать, когда будут!» Перед ним висит верхнее платье Вихровых — плащ папы Димы, макинтош мамы Гали, пальто отца. Искушение слишком велико. Генке чудится, что из кармана Вихрова торчат бумажки, как торчали они у Максима Петровича. Ему становится жарко, потом холодно. Под коленками противно слабеет. Руки его дрожат. Но он лихорадочно шарит по карманам, по наитию, в страшном напряжении, находя их чутьем. Ну, быстро! Ага! Мелочь, — какой страшный звон издают монетки, переходя в карман Генки, словно набат раздается по всему дому! Брось, Генка! Это хуже болезни, хуже голода, хуже жажды, это заразно! Но Генка уже не внемлет голосу рассудка и тому, что воспитано в нем... Вот что-то шуршит! Бумажки — три и пять рублей. Генка кидает пять рублей обратно, чтобы не так была заметна пропажа, прячет три рубля в свой карман. Отходит от чужой одежды. Останавливается на пороге, будто не только что шарил по чужим карманам. Принимает беспечный вид. И даже насвистывает, независимый из независимых.

— Перестань свистеть! — кричит мать из-за двери.

И Генка выходит. Спускается с крыльца. И теперь ему действительно наплевать на всех. «Вот захотел пойти в кино — и иду! Важно только захотеть как следует — так говорит Гринька».

3

Какой-то невидный человек проходит в кабинет заведующего сберегательной кассой. На нем штатская одежда, но из-под брюк выглядывают сапоги, и шляпа на нем сидит как на корове седло, как деревенский брыль, открывая незагорелый лоб. Он предъявляет заведующему свое удостоверение. Заведующий сухо говорит: «Чем могу служить?» Мы могли бы и не обращать внимания на этого посетителя. Деталь. Мелкая деталь общественного механизма — инспектор милиции выполняет какое-то деликатное поручение, не желая привлекать внимания своей формой. Это деталь — но не мелочь, так как мелочей в природе не существует, а в обществе — тем более. Если инспектор пришел — значит, у него есть дело, а это может иметь отношение ко многому и ко многим.

Инспектор говорит:

— Да вы не беспокойтесь, пожалуйста! Мне только нужно выяснить, для консультации заинтересованных органов,

какой порядок существует в сберегательных кассах, когда клиент сдает свои облигации государственных займов на хранение в кассу. Где они хранятся? Все вместе — облигации и сертификаты — или раздельно? Каким путем производится проверка выигрышей? Кто персонально имеет доступ к сейфам? Как оформляется уведомление держателя госзаймов?

Он вынимает портсигар, предлагает заведующему. Тот отказывается. «Разрешите?» — говорит инспектор. Заведующий кивает утвердительно головой. Инспектор закуривает.

— Для консультации! — повторяет он успокоительно.

4

Военные сводки уже не передаются по радио.

Наши в Чаньчуне, в Порт-Артуре, в Пхеньяне. У всех на устах имена Ким Ир Сена, который заканчивает в Корее ликвидацию опорных пунктов оккупантов, Сукарно, который в Индонезии возглавил национальный фронт Сопротивления, Хо Ши Мина, который во Вьетнаме оказался во главе борьбы против иноземных захватчиков, Бандеранаике, который поднял флаг независимости Цейлона, Джавахарлала Неру, который в Индии, без печали расставшись со своими белыми сахибами, закладывал основы новой политики неучастия в военных союзах, У Ну, который выдвинул идею Бирманского Союза и под флаг которого встал цвет нации, Нородома Сианука, который в Камбодже объединил вокруг себя всех, кому был ненавистен режим оккупации и многолетняя зависимость от пришлых поработителей, принца Суфанувонга, который в Лаосе добивается объединения страны в национальном государстве.

Во всей Азии, куда только недавно ступила нога японских завоевателей, на места, где кормились чужие хищники, идет война...

Но в этой войне есть свои тонкости.

Кто-то из борющихся дерется за свободу и независимость своей родины на новых началах — по примеру шестой части мира, кто-то дерется за освобождение от власти иностранных монополий, а кто-то только за то, чтобы переменить одного иноземного господина на другого, более щедрого. И всплывают на поверхность, как дерьмо на воде, всевозможные ли сын маны, бао даи, нго динь дъемы, фуми носаваны и др.

И уже кое-где бывшие господа Азии — французы, голландцы, бельгийцы, англичане, уже раскрывшие рот на немецкие и японские владения, вновь вооружают только что капитулировавшие войска японцев, чтобы с помощью еще не

остывшего от кровавых схваток врага сохранить за собой Азию — японской кровью.

Но слишком размахнулась Азия, скопившая за столетие унижений огромную силу национального духа, к старому нет возврата. Англичан, бельгийцев, французов, голландцев вытесняют из Азии, вместе с их новыми наемниками.

И добрая Америка, христианская Америка, где политический деятель не может произнести ни одной речи без упоминания боженки, даже если предметом разговора является атомная или водородная бомба, добрая Америка щедро подбрасывает оружие всем, всем, всем — кроме коммунистов, разумеется! — предвкушая возможность оказаться в Азии на месте своих союзников, выперев их оттуда под шумок. И добрая Америка, протестантская Америка, баптистская Америка, где речь президента кончается словами: «И да поможет мне бог!», полегоньку, потихоньку выдвигает свои форпосты ко всем мировым коммуникациям: ее военные базы возникают то тут, то там, как грибы после дождя. И Джон Фостер Даллес бегаёт по земному шару со скоростью метеора, шушукается с кем-то то на одном полушарии, то на другом и оставляет после себя нехорошие следы — военные соглашения, смысла которых не могут прикрыть ссылки на волю господ бога и на заботы о мире во всем мире. Уже в ход пускается красивая химера: некогда был Пакс Романа — Римский мир, теперь настала эра Пакс Американа — Американского мира...

В этом послевоенном мире есть свои сложности и противоречия.

Не все и не всегда делают все по своему желанию. Новые силы, разбуженные во время войны, диктуют свою волю тем, кому эта воля хуже острого ножа!

Войска коммунистов, вооруженные силы нового Китая, Четвертая и Восьмая Народно-Революционные армии перебазированы в Маньчжурию, для того чтобы иметь достаточную базу снабжения. Они идут туда из Центрального Китая, где сыграли решающую роль в разгроме японских войск, и из глубинных районов пешими. У генералиссимуса Чан Кай-ши для этих войск нет никакого транспорта. Между тем его американские друзья — на своих самолетах! — перебрасывают в Северо-Восточный Китай, то есть в ту же Маньчжурию, войска самого генералиссимуса, до зубов вооруженные новейшим американским оружием, которого даже американские генералы не испробовали на гитлеровцах.

И все же — вторая мировая война кончена.

Еще будет литься кровь. Долго будет литься. Впереди жестокие бои за демократические режимы во многих странах Азии, в которых наш заокеанский друг будет неизменно оказываться против мира, социализма и демократии; в сундучках его всегда есть марионетки на любой вкус, умеющие

отвечать на всех языках одно: «Я здесь! Что прикажете?», когда дяде Сэму нужно будет заварить кашу в Азии, Африке, Европе — на трех континентах Земли. До Австралии у него еще руки не дошли, а Америка Центральная и Латинская спутаны по рукам и ногам еще усилиями незабвенного президента Монроэ.

Еще долго будут развязывать узелки, завязавшиеся во время войны, но большая война кончилась.

И в моем городе открывают настежь окна, и уже не хотят с наступлением вечера опускать шторы светомаскировки, хотя еще не отдан приказ об отмене затемнения. На улицах по-прежнему мерцают темно-синие лампы, придающие им сходство с рентгеновским кабинетом, — так и кажется, что из очередного переулка вдруг выйдет врач и скажет: «Разденьтесь до пояса и станьте вот сюда!» Вы даже не удивитесь этому.

Впрочем, на улицах действительно раздевают, хотя и не делают рентгеновских снимков. Говорят, делая большие глаза, что это действует могущественная бандитская организация «Черная кошка»!

И развелось много безотцовщины. Вроде Генки и его обаятельного друга Гриньки, он же Гаврош...

5

Зина запретила себе думать о Вихрове.

Почему? Слишком многое стояло за этим ее решением. Она могла ошибаться в своих решениях. Но она принимала их искренне и безоговорочно, даже если ее второе сознание и протестовало против этой категоричности, даже если оно и подсказывало — нельзя так сразу, надо постепенно...

«А что — постепенно?» — спрашивала она себя. Надеяться на что-то? А на что? У него своя жизнь! И почему-то Зине не хотелось услышать от Вихрова то, что она слышала уже не раз от мужчин: что они готовы разорвать старые узы и начать новую жизнь — с нею! Это, конечно, польстило бы ей: вот еще одна женщина оказалась бессильной перед красотой Зины! Но это не прибавило бы ей уважения к Вихрову, а она не только любила его, но хотела уважать — нельзя любить не уважая! Она даже запретила ему говорить о любви и думала про себя со смешанным чувством боли и гордости: «Он не такой! Не скажет!»

А их отношения зашли так далеко, что надо было что-то решать. Уже Зина чувствовала то, что считала умершим вместе с Мишкой, — необузданное желание видеть своего дядю Митю, стремление узнать о нем все-все-все, быть с ним всегда. Уже опять она задумывалась иногда на работе, видя его перед собой таким, каким видела в их гнезде, а когда ее

окликала Фрося, она вздрагивала и глядела на подругу мгновение совершенно растерянным взглядом, далеко не сразу освобождаясь от ощущения близости с ним, которое только что испытывала мысленно и физически. Уже он терял осторожность и беспечно махал рукой, когда она ему напоминала об этом: «Ерунда!» — а она уже знала, что это слово могло создать в нем опасное настроение — нам море по колено! Их море, по которому пустились они в неожиданное плавание, было не по колено, оно было очень глубоким, оно было коварным, ему не следовало доверять... Уже Вихрова знали ее соседи. «Веркин учитель!» — услышала однажды Зина из-за стены: там кого-то интересовала личность милого гостя Зины, ее возлюбленного. «Ерунда!» — махнул рукой Вихров. Но это была не ерунда, и страх за него проснулся в Зине.

Она не могла ставить его под удар, хотя сама и не боялась ничего. Она больше думала о нем, чем о себе, когда приняла свое решение, по-прежнему любя его и исполненная горячей благодарности ему за то, что он растопил ее одиночество, за то, что он дал ей снова радость жизни, дал испытать ей то, на что она уже не считала себя способной. «Пусть живет!» — думала Зина, ощущая, как у нее замирает сердце: ведь это «пусть живет!» отдавало ее возлюбленного жене и сыну, оставляя у Зины только воспоминания о нем. И она придирчиво вспоминала маму Галю — ее голос, ее движения, ее характер: она многое знала о Вихровой от Фроси, которая с ревнивым и недоброжелательным вниманием относилась к соседке, завидуя ей, а потому немного клеветца на маму Галю, но еще больше Зина знала по наитию, чувствуя Вихрову по тем редким, но очень определенным, не оставлявшим сомнения фразам или словам, которые он иногда говорил о своей жене при ней, если уж нельзя было миновать этой темы. Он не говорил о маме Гале, щадя ее, боясь обогатить, и в этой боязни Зина чувствовала гораздо большее, чем просто такт мужчины... Он все же принадлежал жене и сыну! Несмотря ни на что...

Зина только желала ему добра. Поэтому она иногда мысленно видела свою противницу и спрашивала ее строго: «А ему хорошо с тобой? А ты думаешь о нем? А ты знаешь его? А ты знаешь, что ему приятно? А ты ласкова ли с ним?» И невольно мысли ее возвращались к тому, как она была с ним, как она ласкала его, какой она умела быть желанной! Но теперь она гнала эти мысли от себя.

Чтобы не отступать, Зина сожгла свои корабли.

Это делают не только великие полководцы древности. И не нужно думать, что тому, кого литераторы называют «простыми людьми», сжигать корабли легче, чем великим полководцам. У полководца сохраняется армия воинов, которые, отчаявшись вернуться на родину, бросаются на враже-

ские крепости и овладевают ими. А простой смертный — сжегши свой единственный корабль, свою последнюю надежду! — остается один, и иногда только плен становится его уделом.

И Зина сдается в плен. Ей не остается ничего другого, когда пламя и дым горящих кораблей застилают от нее облик того, кто вместе с ней был на необитаемом острове. Все ее существо противится этому решению, все ее помыслы и все ее тело стремится к любимому, чтобы вновь испытать чувство близости, чувство слияния с ним, когда двое становятся одним существом. Но, пока она еще может решать, она отрезает пути к отступлению...

И опять Марченко у Зины.

Он кладет ей на столик возле тахты необыкновенно изящный подарок — парижское белье из нейлона в целлофановом пакете, нежнейшего розового цвета, удивительного покроя, так выгодно оттеняющего женскую фигуру. Зина догадывается, откуда это. Как видно, капитан побывал в Маньчжурии, в Харбине. День и ночь от дебаркадера, который Зина видит со своего крылечка, идут туда теплоходы и военные суда, возвращаются с военнопленными и ранеными, с конфискованным японским вооружением, снаряжением, техникой и провиантом, что стоял до сих пор на полях Маньчжурии огромными штабелями, суля генералу Ямада Отозоо возможность снабжения Квантунской армии в течение двадцати лет, при любом развитии событий, кроме того, которое произошло не по его планам.

— Трофеи? — спрашивает Зина насмешливо. — Сами выбрали, Марченко? Сами?

— Попросил продавца подобрать под цвет волос и глаз! — говорит Марченко, не чувствуя насмешки в голосе Зины. Он доволен — подарок действительно хорош — и не замечает, что Зина обидно снисходительно принимает этот подарок, не выражая того восторга, который должна была бы испытать любая женщина при виде этой прелести. Впрочем, пожалуй, Зина... не любая. К сожалению!..

— Такие подарки делают только женам и любовницам! — говорит Зина, и какие-то непонятные огоньки бродят в ее глазах, как бродят такие же огоньки после пала — травяного пожара, оставляющего обугленную землю.

Марченко настойчив. А сегодня он еще и добр — поездка в Маньчжурию, откуда он вернулся с несколькими чемоданами имущества, еще недавно не принадлежавшего ему, до сих пор оставляет его в радужном настроении. Он подхватывает мысль Зины.

— Я от своего слова не откажусь! — говорит он и уже представляет себе Зину в этом белье, в платьях из тех тканей, что он привез с собой, в норковой шубке, которая ле-

жит в одном — пока запертом на оба замка! — чемодане. Вот если Зинка наконец поймет свое счастье, тогда можно будет и отомкнуть эти замки! — Хоть завтра дам объявление о разводе, понимаешь!

— Две тысячи платить придется! — говорит Зина скучным голосом.

— Испугала! — отвечает капитан и хохочет своим глуховатым, гулким смехом, который не возбуждает желания разделить веселье Марченко. — Вот насмешила, понимаешь!..

Зина разглядывает Марченко. Он словно еще больше раздался. У него явно растет второй подбородок и возле мочек ушей словно растет опухоль, как при свинке, — шея его все больше скрывается в складках жира. Она разглядывает скромные ленточки наград на его груди, которой становится тесно в военном кителе. Она усмехается:

— Храбрый стали, Марченко? Гитлеровскую Германию победили! Империалистическую Японию победили! А? А я и не думала, что вы такой...

— Да не хуже других! — говорит недовольно Марченко. — Что я кровь не пролил, то на своем посту обеспечивал бесперебойную боевую работу тыловых организаций армии! Оставь, знаешь, свои шпильки...

Он не видел Зину давно. Он жадно разглядывает ее, почти не скрывая своих желаний и грубо выставляя их на вид. Он словно невзначай кладет свою потную ладонь на бедро Зины и, потихоньку передвигая ее, кладет на вождеденное место — женщин он видит только сзади.

В Зине пробуждается желание изо всей силы ударить по налитой кровью полной щеке Марченко и выставить его отсюда навсегда, но она чувствует запах горелого дерева и едва слышное потрескивание огня, пожирающего ее корабли. Тоска, сожаление, ярость, сознание своего бессилия, горечь поражения, невыплаканные слезы, какая-то тупая безнадежность и безумное стремление броситься в омут головой — так когда-то поступали ее одногодки, лишась надежды! — все смешивается в ней в один клубок, почти лишаящий ее рассудка.

Марченко привалился к ней всем телом. Он уже обнимает ее. У Зины кости трещат, он силен и цепок, этот человек. Неужели его можно любить? Нет. Но, может быть, он хоть даст забвение, даст возможность хотя бы на одну секунду развязать этот узел противоречивых чувств, оказаться по ту сторону свершившегося. «Чем хуже, тем лучше!» — думает Зина. Где, когда и от кого она слышала это выражение, она не может вспомнить, но повторяет: «Чем хуже, тем лучше!»

— Можно я погашу лампу? — хрипло спрашивает Марченко.

Зина не отвечает. Она лежит на тахте, словно мертвая, закрыв глаза. Фиолетовый абажур кидает на ее лицо причудливые тени. Длинные реснички чуть трепещут, будто бабочка сложила свои крылья, а раскрыть их не может. Необыкновенно плавные линии щек Зины переходят в очертания неярко выраженных скул. На чистом лбу малая морщинка, которой еще недавно не было. Маленькие ушки, чуть розовея, вызывают воспоминания о лепестке цветка. Губами Зины, с их удивительным изгибом, обозначающим одновременно и какую-то детскую свежесть и какую-то чисто женскую умудренность, можно любоваться часами. Это делал Мишка, разглядывая Зину как восьмое чудо света. Этому не мог не отдаваться Вихров, который благоговел перед красотой и мог сидеть подолгу, наслаждаясь этим лицом.

Если бы Марченко сказали сейчас: «Да вы только посмотрите, какое совершенное создание природы перед вами!» — он сказал бы: «А чего на него смотреть! Не в музее, в постели же. Есть тут дела поважнее!»

Но никто ему не сказал этого, и он задрожавшей вдруг рукой выключил лампу. Последнее, что он увидел, был его подарок. «Не выдержала все-таки! — подумал он с торжеством. — Все они такие! Одна подешевше, другая подороже, а то одна материя!»

Зина застонала. Он принял это за выражение страсти. «Что ты делаешь? — крикнула себе Зина, почувствовав звериную силу Марченко, который в этот момент вовсе не думал о Зине и был груб не как любовник, а как скот. — Что ты делаешь!» И не смогла воспротивиться ему.

Потом он ослаб. Перевалился через ее тело к стене. Похлопал ее, как похлопывают кобылу по крупу, уже считая ее своей собственностью, считая все политесы, все ухаживания и ласковые слова уже ненужными, утратившими свою силу и значение. Положил ей руку на грудь, даже не ощутив ее нежности и формы, а просто потому, что надо же было куда-нибудь положить эту руку — тяжелую, потную, поросшую черными, грубыми волосами. Он вздохнул, как после тяжелой работы, удовлетворенно и устало, закинул голову куда-то вбок поперек подушки, не думая о том, что Зине остается не слишком много места, и затих, уснув мгновенно и забыв о Зине, униженной и растоптанной там, где в ней не раз рождалась радость жизни.

«Отвернулся и захрапел!» — вспомнились ей слышанные от разных женщин страшные слова. Какая там любовь! Получил, что надо, — и все! А ты терзайся! Кусай подушки, переживай, мечтай о принце, для которого любовь твоя — это прекрасный сон, это высокая радость!

Это конец твоей любви, Зина? Не думай, что это так... Любовь не убивают. Она может умереть. Но убить ее нельзя. Она может уйти. Но прогнать ее нельзя!..

— А ты какая-то неактивная! — сказал Марченко, вдруг проснувшись от собственного храпа. — Ну да ничего!

Зина молча глядела на него.

— Но от своего слова я не отказываюсь, понимаешь! — сказал Марченко. — Так что давай уговоримся честь по чести, когда и как! Я уже договорился о демобилизации.

— Честь по чести! — повторила Зина. Она внимательно поглядела на него. Он сидел, почесывая волосатую грудь, ожидая ответа от нее. Зина сказала: — Вы ведь не любите меня, Марченко. Я просто нужна вам, как красивая вещь. Вы любите красивые вещи! Вы даже насладиться-то мной не умеете, да и не хотите... Я вам нужна для ваших дел. Чтобы пройтись со мной по улице под ручку и услышать, как вслед вам скажут: «Вот молодец дядя! Какую бабу отхватил!» Ведь красивая жена — это капитал! Вы познакомите со мной нужных вам людей и будете приглашать их к себе, и они придут, не для вас, а ради меня — кому же не приятно провести несколько часов в обществе красивой женщины. И когда у вас будут такие знакомые, вы еще немножко подниметесь выше — вам будут помогать ради вашей жены, которую вы будете учить быть полюбезнее, повнимательнее к этим вашим высоким друзьям...

— Ну, ты... не очень-то... знаешь! — тихо сказал Марченко, прищуривая глаза. — Нарисовала картину... Больно умная ты...

А картина эта была точным изображением тех планов, которые Марченко связывал с Зиной, и он был неприятно поражен пронизательностью своей возможной новой жены — ум совсем ни к чему красивой женщине. «Ничего! — заметил он себе, однако. — Казахи из табуна берут диких кобылиц, и то объезжают!»

6

Какой-то червяк точил душу Максима Петровича.

Он не находил себе места.

— Успокоился бы ты, грешный! — говорит ему Палага. — Будет тебе людей-то смешить! Вся деревня хохочет над нами: старый черт от живой жены жениться надумал, по вдовушкам пошел таскаться. Да ведь что с лешим, что с тобой лечь в постелью — одно. Глянешь — и лихоманка забьет! Да какая мать тебе свое дите отдаст, ежели даже от тебя понесет, свое-то, рожоное. Дак если и понесет, то только на хату нашу

да на коров глядя, а не на тебя, черта!.. В церкву сходи, исповедайся, смирись, молебен за сынов отслужи, — может, и уймешься тады!

Но не такое простое дело отслужить молебен! Во-первых, если уж за упокой, то надо покончить наперед с самомаleastейшей надеждой на возвращение сыновей, вроде бы заживо, заново похоронить их. А за здравие! Так ведь вот они, похоронки-то, обе! Великий грех. Ну, это одно, а другое — сколько он стоит-то, молебен? Ну, покадить ладаном, походить вокруг аналоя, ну, горло попу продрать да рукою помахать — всего и дела-то! А гляди, сто пятьдесят отдай! За что? И еще закавыка одна: один молебен за обоих сразу — как-то неловко, а один за каждого — накладно. Три целых сотых, понимаешь! Любка и Любимка каждая по шесть разов должны подоиться за эти три целых!

— Как знаете! — говорит Максиму Петровичу новый диакон, отец Михаил, присланный взамен старого, получившего свой приход. — Была бы честь предложена, а от убытку бог избавит!

Он смеется над молочником, плюя на святость места. Они торгуются, как на базаре. Отец Георгий с некоторой печалью прислушивается к этому разговору. Он коробит его. Но жизнь есть только жизнь, а деньги есть деньги. Максим Петрович без молебна и может обойтись, а вот без денег от прихожан — не обойдешься! Надо матушке купить китайский габардиновый макинтош — знакомый продавец сказал, что на днях они поступят в продажу. Все-таки заграничная вещь, здесь так не сошьют — даже тот еврей-портной из мастерской исполкома, который так сшил отцу Георгию рясу, что будто всю жизнь только и ходил в рясе сам! Младшему сыну надо сшить пальто — есть возможность сделать это, чего уродовать мальчишку готовым платьем!

Максим Петрович приглядывается к диакону.

— Дорого, отец! — говорит он, но видит, что диакон и бороду-то толком не отрастил — так, вьется какая-то кудель по девичьим щекам диакона ниже средней упитанности, — и поправляется: — Дорого, гражданин! — Он вдруг спрашивает диакона: — А ты скажи мне, когда в семинарию-то поступил, а?

— В сорок втором году! — говорит диакон, забавляясь разговором.

— Первенького-то у меня в сорок втором уже убили! — говорит Максим Петрович и добавляет укоризненно: — Может, он на себя твою пулю принял, а ты мне снисхождение сделать не могёшь. Экой кусок — триста рубликов! Привыкли вы, понимаешь, тут сотными-то считать! А вот как

пришлось бы по копейчке сколачивать, так и в понятие бы вошли.

Тема эта диакону не нравится.

Он сухо говорит Максиму Петровичу:

— Довольно, батя, языком-то лен трепать! Давай двести пятьдесят за оба — и точка! Болтаешь языком только... Ладан-то нам из Греции, да из Сирии, да из Ливана везут — дефицитный товар!

Пораженный Максим Петрович послушно платит деньги.

— Только уж как следует! — говорит он, желая за свои, вернее — за коровьи, трудовые денежки получить как можно больше. — Значит, завтра, после обедни? А расписочку у вас получить не можно? Не можно? Вот, понимаешь, морока... Да, впрочем, Палага придет, сама спросит, сколь взяли...

Когда он уходит, отец Георгий смотрит на отца Михаила.

— Зачем вы унижаетесь, отец Михаил, до такой торговли в храме! Нельзя ли разве как-то по-другому, иными словами, в иных выражениях...

— А что для вас важнее, отец Георгий, — вдруг спрашивает диакон, — форма или содержание?

— Они неразрывны в церкви! — строго говорит отец Георгий. — Молебен даст покой мятущейся душе этого отца, который потерял своих детей...

— Простите меня, отец иерей! — говорит смиренно диакон, из молодых да ранний. — А двести пятьдесят рублей — это форма или содержание? Ведь из этого жмота и ста рублей нельзя было вытянуть, ведь он же удавится из-за лишней копейки, кулак, черт бы его взял!

Скандализованный отец Георгий только высоко поднимает брови: в храме, отец диакон! Отец Михаил извиняется, несколько порозовев, он больше не будет искушать терпение настоятеля церкви, он несдержан и подвержен пороку вспыльчивости, он подойдет к исповеди после службы и очистит свое сердце от недостойных мыслей, но — тут диакон делает паузу! — церковная кружка и церковная касса — это реальности, с которыми надо считаться, реальности, от которых зависит уровень жизни церковнослужителей, а ему уже, признаться, надоела студенческая мурцовка, надоел пятилетний семинарский великий пост...

— Вы в семинарию пошли по велению сердца? — спрашивает священник, от души желая простить молодому человеку все его заблуждения и пороки за чистую веру в бога, за преданность святой церкви, за искру божью в этих юношеских пока глазах.

— Как вам сказать! — простодушно отвечает отец Михаил. — Мама очень не хотела, чтобы я пошел в армию. Да и я туда не стремился... Поступил... Сначала как-то неловко было... А потом привык. Я уже и сейчас зарабатываю больше моего брата — он инженер-строитель, в Днепродзержинске работает. Я матери аккуратно деньги посылаю. От нее такие хорошие письма получаю. Теперь задача — жениться на хорошей девушке, чтобы не шлюшка была...

Он задумывается на минуту.

— Я с одной в Загорске сговорился. Она на все была согласна. Я ей говорю: «Я буду попом», а она говорит: «Мне все равно, хочу отсюда уехать!» Все было сладили, да тут ректор посмотрел как-то на нее и руками всплеснул: «Да это же Нюрка-балаболка! Маруся, дающая взаймы!» Такой скандал вышел... А откуда он ее знает? Нюрку-то?

«Столпы веры!» — с досадой думает отец Георгий, сердясь на себя за этот разговор. Чего хотел от молодого парня? Чтобы он оказался подвижником, новым Николаем-угодником, Андреем Первозванным, распятым на косом кресте, святым Себастьяном, убитым стрелами римских воинов? Вера сама не рождается. Надо ее возбудить! И волну в море поднимает ветер. А какой же ветер нужен для того, чтобы священнослужитель ощутил эту веру, если в духовное учреждение его потянули своекорыстные расчеты, жажда хорошей жизни! Может быть, чистая вера прихожан заразит отца Михаила? Пройдет время, и молодой человек почувствует, что он сосуд божий, утоляющий жаждущих и насыщающий алчущих пищей духовной. Однако жизненный опыт отца Георгия тихонечко подсказывал ему, что с годами вера не укрепляется, а слабеет, когда человек начинает вдумываться в догматы веры, вынужденный отвечать на вопросы людей и вынужденный увидеть то, что от него скрывали в семинарии, что затушевывали отцы педагоги со всем искусством риториков, на какое были способны.

Долго после этого разговора он и сам-то не может представить себя сосудом божьим, из которого можно утолить чью-то жажду. Невольно лезут в голову какие-то дрянные мысли, позорные мысли о тряпках, о вещах, которые давно хотелось иметь, но которые невозможно было иметь в его бухгалтерском бытии с зарплатой по системе «не до жиру, быть бы живу» и которые сейчас можно, наконец, приобрести, — все-таки тут...

Все-таки как развращает душу эта бездонная, неиссякаемая касса, может быть — величайшее чудо, которое действительно сотворила церковь, сказав однажды простые слова: «Рука дающая да не оскудеет!»

Молитвы не идут ему на ум.

Боженька горестно глядит на него с высокого неба. «Отец Георгий! Отец Георгий! — кричит он, но не может прервать глубокого раздумья попа. — Да отжени ты от себя эти греховные думы-то! Ведь к тебе люди с чистою верою идут!» Ключарь Петр криво усмехается: «Идут, конечно, боже... на грош пятаков купить!» Отец Георгий посматривает на небо. Ой, кажется, услышал! Тут бы его священным-то писанием бы и трахнуть. «Подумай о душе, подумай о малых сих!» Сказано в священном писании... Ох, кто их знает, что там сказано! Сказано так много, что концы с концами не свяжешь! Хорошо попам — уж их там, в семинариях да академиях, учили, учили, учили!.. А я — необразованный!» — боженька сокрушенно качает головой. «Учили! — сердито думает Петр. — Из церковной кружки в карман!» — «Ох и нехорошие нынче попы пошли!» — горюет боженька. «А раньше-то они другими были? Ах, боже, боже, вы как малое дитя, вам покажи палец, скажи «карандаш» — а вы и поверите!.. Оставьте их! Они же о вас не думают!»

— Парит сегодня!.. Какая духота! — говорит отец Георгий и стаскивает с себя рясу.

7

На небе ни одного облачка.

Висит оно над головой нежно-голубым плафоном одной большой лампы, которая и светит и греет вволю. И светит и греет! Но — уже в тени не только прохлада, а и холодок. Стоит зайти в тень, постоять немного, любуясь погожим днем, а уже вдруг овеет тело легонькая дрожь, как бы и от ничего: даже ветра нет вокруг, а если и дует, то ласковый, деликатный.

«Осень! Осыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтые по ветру летят. Лишь вдали красуются, там, на дне долин, кисти ярко-красные вянущих рябин», «Осень! Небо хмурится. Лужи у крыльца. Дождик так и льется, льется без конца!» — нет, эти приметы не для моего города и не для моего края. Здесь все по-иному, и осень здесь не вызывает чувства грусти расставания с красотой лета. Потому, что на смену одной красоте идет другая — и по-карнавальному праздничными становятся окрестности. И кажется, что округа и должна быть именно такой, как сейчас, а не такой, какою была она летом — однообразного зеленого цвета, пусть и были в этом потоке зелени многие тона — от нежнейшего зелено-серебристого цвета листьев бархатного дерева до густо-зеленого, почти черного, цвета листьев маньчжурского ореха, от изумрудной зелени хвои лиственницы до темно-зе-

леного оттенка иголок сосны. Здесь, под эти небом, уживаются ведь деревья разных широт, непохожие друг на друга дети одного доброго гнезда — природы.

Осень — красавица, осень — любимица, осень — праздник!

Исчезает томительная летняя жара, оглушающая, обессиливающая, обезволивающая жара, не спадающая и ночью, когда воздух нагревается землей, прокаленной солнцем за долгий день, когда даже купанье не освежает — вода в царственной великой реке тепла, когда свежесть охватывает тело, лишь пока ты в воде да пока она обсыхает на теле, если ты вышел на солнце. И воцаряется ласковое тепло, не обременяющее, но желанное. И окна раскрыты настежь, и двери, и сердца — нельзя быть злым в такую погоду, не стоит спорить, не стоит сердиться, не стоит сводить счеты! И каждую свободную минуту хочется быть на этом великолепном празднике, ежегодном празднике, который растягивается на два-три месяца. Этот праздник души больше даже мусульманского байрама, не говоря о христианских коротких праздниках...

Если бы я был живописцем, я с самой весны готовил бы краски этой золотой осени: стронциановую, светлую, темную и золотистую охры, кармин, лак-рубин, киновари всех теплых и горячих тонов и радовался бы тому, как прекрасно уживаются на моей палитре эти добрые, отзывчивые, живые тона с цветами лета — зеленые всех оттенков, которые можно только вообразить себе! И я понимаю художника, однофамильца одного великого передвижника, который живет на самом крутом берегу в этом городе и которому Амур словно бы шлет по утрам привет в самые окна, когда он, едва Дальний Восток начинает надевать свой осенний убор, исчезает в тайге на недели, взяв с собой пудовый запас красок, кисти, этюдник и немного еды. Если бы он не делал этого — пусть нечего есть, пусть надо покупать какие-то вещи жене, дочке и себе! — он чувствовал бы себя тягчайшим преступником, потому что как же не писать, до изнеможения, до сердечных припадков, до того, что не разогнуться и не разжать уже судорожно скрюченных пальцев с кистью, если вокруг тебя — такой разгул красок, такие именины сердца, такая вечная хвала вечной жизни! У него нет больших полотен, у этого художника, но у него есть большое сердце, в котором живет большая, очень большая любовь к искусству, к жизни, к краю. И когда снега трехметровой толщиной укутают эту землю, когда зимние сумасшедшие, озверевшие ветры будут неделями выдувать тепло из домов и свирепо хватать людей за носы и уши, — вы взглянете на его небольшие картины, и они согреют вас живым сердечным теплом этого удивительного праздника — золотой осени, — который сохранили для вас его острые светлые глаза под сивыми волосами, свиса-

ющими на лоб, его умные маленькие, словно девичьи, руки, его сердце, навсегда влюбленное в красоту...

...Генка почти не бывает дома.

Если с трудолюбивого вола семь шкур дерут, то с бездельника Генки уже сошло семьдесят семь шкур. Ему никогда не хватало благоразумия. Он никогда не мог вовремя уйти из-под обжигающих лучей солнца, а потому кожа на его плечах, спине и на лице часто, казалось, вскипает, как вскипает и пузырится молоко на огне. Семьдесят семь раз ободраный — он загорает в семьдесят восьмой раз.

Его снедает честолюбивая мечта — загореть так, как загорает Гринька. Талантливый друг Генки, бог знает почему привязавшийся к сыну Стрельца и Марса больше, чем к другим своим сверстникам или к другим таким же салагам, как Генка, выглядит так, что невольно к его фигуре притягивает внимание всех. Он неплохо сложен — широкие плечи и узкий таз, стройные ноги и короткий торс, мускулистые руки и развитая грудь. Он — темно-коричневого цвета с замечательным африканским отливом, загар — ровный, будто это настоящий цвет Гавроша, и даже самые тайные уголки его тела приняли этот цвет. Только копна светло-горчичных волос выглядит странной нашлепкой на этой фигуре. Когда Гринька таращит свои светлые глаза и свирепо вращает ими — он кажется натуральным негром. «Эх, черный бы волос мне!» — иногда вздыхает Гринька мечтательно.

Ободраный Генка думает про себя, что, не будь на свете его, дурака, Гринька не мог бы приобрести этот удивительный загар. Гринька, лежа на песке в чем мать родила, только поворачивался с боку на бок. Но Генка был обязан следить за тем, чтобы кожа у Гриньки не перегревалась, и через каждые пять минут бежал к реке с консервной баночкой, чтобы осторожно полить, смочить бронзовое тело своего бога, должен был следить, чтобы лучи солнца равномерно ложились на это тело и доставали всюду, должен был следить и за движением солнца, чтобы Гринька лежал наиболее удобно. Если к этому добавить, что на левый берег Амура Гриньку отвозил тот же Генка, оказываясь утром бедной больной спиной на набирающем силу солнце, а к вечеру подставляя солнцу свое ободранное лицо, то нельзя не признать некоторые соображения Генки имеющими под собой основание.

Гринька — почти мужчина. За лето на его груди выросли волосы и низ живота густо зарос. Он позволяет Генке рассматривать свое естество и даже прикасаться. «Интересно, да?» — говорит он снисходительно и ежится. Генка наблюдает за чудом, которое происходит на его глазах. «Тебе бы сейчас сюда рыженькую, да?» — спрашивает он, замирая. Но Гаврош хмурится, отчего его светлые брови сходятся в одну кудель-

ную линию. «Ты ее брось! — говорит он как-то нехотя, но сердито. — Я с ней по-хорошему хочу! Она, знаешь, такая! Я ее любить буду! Знаешь, как любовь бывает? Ни черта ты не знаешь! Любить!» Генка сначала хихикает, но, видя, что Гаврош серьезен, умолкает и задумывается.

Перед ними раскинулась река и другой берег.

Амур немного обмелел после огромного августовского половодья. Широкие отмели, сверкающие золотом на щедром солнце, слепят глаза. Спокойная вода лучится, испускает снопы искр на изломах маленькой волны, на приплеске. Высокий берег с его песчаными и каменными кручами — весь светится, словно сделанный из драгоценностей. Распадок затона, где стоит судоремонтный завод, пуская из своих труб слоистый дымок, стал рыжим — трава, еще крепкая, стоячая, сильная, приняла оттенок волос Гриньки. На северных склонах холмов — еще сочная зелень, лишь кое-где тронутая осенними красками, на южных и восточных — буйное цветение теплых красок, от светло-желтого цвета клена до кровавого наряда дубнячка, который простоит таким всю зиму, в этой красной рубахе. Кое-где в затишке, под защитой высоких деревьев, отдает холодком почти весенняя зелень молоднячка. Вдоль шоссе, ведущего на юг, в Приморье, все перемешалось в осеннем хороводе, уже нельзя сказать, какое дерево каким цветом наряжено, и глаз только так и манят переходы этих красок, то плавные, то резкие... А дальше — туда, где стоят отроги гор, которые пронзает серая лента шоссе, начинается игра синего, серого, голубого. Волнами стелются сопки, одна за другой, и все нежнее и слабее становятся их очертания. Но и в этой голубизне и синеве теперь вкраплены теплые тона золотой осени, и эта голубизна принимает такой оттенок, что только глубокие вздохи распирают грудь, в которой бьется взволнованное, восхищенное сердце...

Генка не умеет передать своих ощущений, но и в его голове бродят какие-то мысли, какие-то хорошие мысли, колышимые сменой настроений, как колышет на этом берегу высокую, никем не кошенную траву, уже клонящуюся к земле нарядными метелками, изредка набегающий ветерок. По какой-то странной ассоциации он думает о матери, которой нет дела до него: «В кино денег жалеет! А у самой — в сберкассе! — полные ящики!» Он думает о том, что боится посмотреть в глаза Вихрову: «А может, знает уже? Эти пальто и плащи в передней!.. Сволочи! Развешали везде! Будто мало места в квартире!» Таким образом вина перекладывается на Вихровых, и Генка немного успокаивается.

— Заснул! — недовольно говорит Гаврош. — Я тебе сказал, когда солнце до той отметки дойдет, надо искупаться, а потом на тот берег!

Они полощутся в воде. Плавают. Гринька исподволь выучил Генку плавать кролем. И они, попеременно зарываясь в воду то одним ухом, то другим и вдыхая воздух из-под тугой волны, идущей от головы, плывут. Генка устает. Гринька плывет дальше...

Облака на небе делаются красными, земля темнеет, и осенний праздник закрывается на ночь. С низин затопляемого берега тянет влагой. Откуда-то наносит горький дымок — это в деревне сжигают картофельную ботву. Генка вылезает на берег. Где-то, в какой-то заводи, плещется Гринька и гулко шлепает по воде, от чего раздается словно пушечный выстрел. Он орет, погружаясь в воду, и этот крик страшен. Генке становится скучно. Он трогает свое тело руками — не выросли ли у него волосы на груди и везде? Ка-ак ему хочется быть похожим на Гавроша! Но хмурится: сходства пока нет...

Фыркая, тняя за собою пенистый след, Гринька мчится к берегу. Быстро одевается. Кивает Генке головой — давай, салага, давай!

Лодка режет волну. Генка работает не за страх, а за совесть.

— В парк пойдем! — говорит Гаврош. — Может, Рыжик придет на танцы!

И — вот они в парке. Гринька купил билет у входа и вошел как все люди. Гена лезет через забор в самом темном месте, натываясь головой на чьи-то ноги, свисающие с забора. «Подсади!» — слышит он голос с забора. Всегда есть кто-то, кому Генка нужен. Генка тужится, подтягивая чужие ноги повыше. Ноги перемахивают через забор. Генка пыхтит, мостится и в одиночку кое-как перелезает в парк.

Гринька идет на танцплощадку, как все люди, садится на скамеечку и наслаждается зрелищем танцующих. Генка наслаждается тем же зрелищем, но снизу, с земли, через ноги Гриньки, — его на площадку не пускают даже за деньги. Генка трогает друга за штаны. Гаврош наклоняется, чуть не переламываясь, и лицо его наливается кровью, теперь оно совсем черное. «Чего тебе?» — спрашивает он. «Дай закурить!» — говорит Генка, думая, что Гринька, быть может, и есть негр, только замаскировавшийся. Гринька сует ему в протянутую руку папироску и спичку. «Кто это?» — спрашивают Гриньку парни, что сидят на скамье. «Кореш!» — отвечает Гринька. «Подпольщик!» — смеются парни и разглядывают Генку таким же манером...

Рыженькая не пришла. Гаврош опечален, и его ничто не может развеять — даже кино, куда он проводит Генку за свои деньги, хотя Генка и вынимает из кармана три рубля — из то-

го же источника! «Плохо лежали?» — спрашивает Сарептская Горчица, кидая на Генку взгляд. Генка ухмыляется...

Они уходят, когда Гринька предлагает пройтись.

Они идут на горушку, к госпиталю, по темной — хоть глаз выколи! — улице, названной именем одного писателя, который, прожив почти всю свою жизнь во Франции, создал непревзойденные образцы русской литературы... И шаги гулко отдаются в вечернем воздухе. До них доносятся звуки духового оркестра, который играет в парке задумчивый вальс. Гриньке становится грустно. Отчего — кто знает, кто поймет все извивы человеческой души... Генка не спрашивает, куда они идут, — он уже знает, что они дойдут до того места, откуда виден Арсенал. Он знает уже, что Гринька остановится, будет долго смотреть на отблески рыжего пламени в горячих цехах завода, будет вздыхать о своей рыженькой. Он страдает — так называется это душевное состояние, входящее в понятие влюбленности...

Но на этот раз они не доходят до привычной отметки.

Впереди оказывается какая-то фигура. Это женщина, она торопится. Но все же ее шаги слишком малы, чтобы она могла идти быстро, и Гринька с Генкой нагоняют ее. Гриньке хочется развеять свою грусть от несостоявшегося свидания с Танюшкой. Он делает Генке знак — не топай давай! — и сам идет почти неслышно. «Попугаем девочку!» — говорит он тоном заговорщика, шепотом. «А как?» — спрашивает Генка.

Они догоняют женщину.

Гринька вдруг тычет ее в спину выставленным указательным пальцем и произносит зловещим, хрипящим голосом: — «Черная кошка!» Ни слова! Деньги! Кошелек или жизнь!

Эффект этого заклинания превосходит все ожидания Гриньки.

Женщина вдруг оборачивается. Даже во тьме видно, как бледно ее лицо. Она кидает Гриньке свою сумочку, которую до сих пор держала под мышкой. Короткий стон вырывается при этом из ее груди: «Возьмите!» Вслед за тем она кидается вперед, бежит по тротуару, и ребята слышат стук ее каблучков. Потом раздается крик, жалкий и слабый: «Спасите! Помогите!» Женщина кидается с тротуара к домам и изо всех сил колотит в чье-то окно, закрытое ставней. Грохот ставни, кажется, разносится по всему городу.

Гринька не сразу понимает, что это кричит ограбленная им женщина. Он же хотел подшутить, только подшутить! «Гражданка, возьмите вашу сумочку!» — наверное, надо крик-

нуть это. Но кто поверит ему?! И Гринька, побелев не меньше этой женщины, что кричала теперь во весь голос, крикнул Генке:

— Давай, салага, раз такое дело выходит! Ноги в руки!

И они побежали что есть силы. Влетели в какой-то двор, пролезли в какой-то пролом в чьем-то заборе, оказались на другой улице. До них долетела трель милицейского свистка, и Гринька, покрывшись холодным потом, сообразил, что все это произошло в двух шагах от постового милиционера, что находился на Верхней улице за углом. «Н-да!» — сказал он, представив себе возможный исход этой шутки. Генку трясла дрожь, у него даже зубы застучали. Он задышался. Сердце у него колотилось так, что, кажется, ребра не выдерживали больше.

— Гринь! Брось, а! — сказал Генка.

— Брошу! — ответил Гринька. Он открыл сумочку, пошарил в ней рукой, нащупал шуршащие бумажки, переложил себе в карман, а сумку бросил в сторону, через забор, широко размахнувшись, как Генка когда-то бросил своего горящего галчонка.

— Гринь! Не надо...

— Чего не надо? Думаешь, в этой сумочке деньги останутся? Не я, так другой возьмет! Вот дура чертова, и чему только их учат! — сказал Гаврош с досадою. — Ведь видела, идиотка, что перед ней мальчишки! А сразу же — на, возьми! Дура! Ну и дура!

Бумажки одинаковые. Гринька делит их пополам с Генкой — это плата за страх. Они выходят на улицу, идут, лениво перебирая ногами. Гринькино страдание испорчено сегодня услужливостью подвергшейся нападению «Черной кошки».

Вспомнив про «Черную кошку», Генка фыркает:

— Гринь! А! Гринь!

— Чего?

— Вот это и есть «Черная кошка»-то? А? «Черная»...

Они оба хохочут, видя во всем происшествии только его смешную сторону. Им в общем-то и невесело, но страх, испытанный ими, требует разрядки...

Огромная оранжевая луна нехотя вылезает из-за Бархатного перевала. На ней синие пятна. Она похожа на раскаленный камень, на котором неровная поверхность меняет тона. Луна лезет вверх с какой-то подозрительной поспешностью, точно исправляя служебное упущение — ай-я-яй! Улицы города темны, ни зги не видно, как бы дурные мысли не привели кое-каких людей к неуместным шуткам и к неуместным и дурным поступкам...

Марченко входит в кабинет Воробьева.

Он сам понимает, что он не та персона, из-за которой краевой работник может выйти из-за стола и пойти навстречу. Он на минуту останавливается у дверей, словно не веря себе, что он допущен пред светлые очи Воробьева. Останавливается ровно на столько времени, чтобы Воробьев мог взглянуть на него и сказать с той восхитительной простотой, так украшающей некоторых начальников, которая является признаком демократичности их в допустимых пределах: «Ну чего ты там стал, товарищ?..»

— Ну, чего ты там стал, товарищ...

— Марченко! — подсказал с удивительной скромностью капитан.

— Помню, помню, товарищ Марченко. Не беспамятный! — сказал Воробьев. — Разговаривал я с товарищами. Обменивались мнениями. Кадры нам нужны. Особенно опытные. А у тебя стаж! Плюс служба в армии. На защите, так сказать. Опытные руководители, со стажем руководящей... так сказать! — он протягивает Марченко руку из-за стола.

Марченко очень быстро пересекает кабинет, не бежит, нет, — это произвело бы нехорошее впечатление, а именно пересекает кабинет, спеша ровно настолько, чтобы Воробьев мог видеть, что для него рукопожатие краевого работника — не рядовое событие, не пустяк! Он пожимает руку Воробьева ровно настолько сильно, чтобы Воробьев мог судить о его чувствах, но не настолько, чтобы обеспокоить эти пять сосисок, бессильно висящих в воздухе, сращенных с колбасой большой, которая в свою очередь приделана к колбасе уникальной, имеющей пять крупных отростков, в том числе один — с глазами, смотрящими из-под набрякших век холодно и строго. Но на лице Воробьева — слабое подобие улыбки, и Марченко улыбается Воробьеву ответно — широко и простодушно: вот я весь на виду, какой есть, хотите — казните, хотите — милуйте!

Но Воробьев намерен миловать.

С некоторым недоумением он глядит на портфель из крокодиловой кожи, что Марченко кладет на стол прямо перед Воробьевым. Портфель четырехспальный, с ремнями, как на чемодане кругосветного путешественника, с замками, замочками и замочечками, с молниями, с рамочкой из кожи и целлофановой закладочкой для визитной карточки. Не портфель, а мечта! Из такого портфеля необыкновенно приятно вынимать важные бумаги. В такой портфель может войти что угодно, даже если машина свернет с городской дороги и помчится по загородному шоссе туда, где ответственный

товарищ может себе позволить быть человеком, подверженным невинным страстям.

— В одном магазине предложили в Маньчжурии! — говорит Марченко. — И не мог удержаться, взял. Мне-то, конечно, незачем. Ранг не тот, да я и не привык с портфелем-то... Но — подумал! — почему не взять. Есть же у нас люди, которым вещь эта подойдет, и по должности и по комплекции.

Кровь приливает к толстым щекам Воробьева.

— Всего тридцать рублей на наши деньги! — небрежно говорит Марченко. — А вещь полезная. У нас таких и не делают...

— А-а! — тянет Воробьев раздумчиво, а глаза его не могут оторваться от чудо-портфеля, от портфеля-мечты. — Недорого, конечно! — Он чуть-чуть хриловатым голосом добавляет: — Я бы, пожалуй, охотно купил. Вещь безусловно полезная. Необходимая, так сказать. Особенно при масштабном... Охотно!

— А, боже мой! — вскрикивает Марченко. — Уж кому-кому, а вам-то я его уступлю с великим удовольствием! — Он принимает от Воробьева деньги с таким видом, как будто Воробьев оказал ему большую услугу. Марченко уступает портфель тем более охотно, что долго размышлял в Харбине — чем можно пронять Воробьева, в руках которого была возможность приискать место Марченко на гражданской работе, и как он ни оценивал Воробьева со всех сторон — все приходил к одной оценке. «Бюрократ! Хлебом не корми — дай позаседать, дай посидеть за председательским местом, дай постучать по столу карандашом, чтобы не слишком забывались те, кем он руководил! Дай показать свою власть! Дай распечь за ошибки! Дай возможность вынести решение — конечно, о чужой работе! Тут он строг! Ему портфель — наслаждение!»

Воробьев тотчас же примеряет к портфелю свои бумаги. Отлично умещаются! Отлично! Воробьев сует туда целую кучу бумаг. Портфель набухает, наполняется, худые бока его тучнеют, и он приобретает вид именно тот, который должен иметь. Воробьев пробует взять его в руку. Оглядывает себя с портфелем. Как хорошо гармонирует крокодиловая кожа с его желтыми дорогими ботинками, с его великолепными штанами! Ого!

Марченко может быть спокоен за свою судьбу.

Воробьев любит портфель, как ребенок игрушечной железной дорогой. Глаза его блестят. И улыбка раздвигает его жирные щеки. Он поглаживает портфель рукою, не в силах удержаться, — ничто человеческое ему не чуждо, хочется сказать, видя его чистую радость.

Секретарь соединяет его с Дементьевым.

— Воробьев тебя беспокоит! — говорит счастливец фразу, которая так принята между некоторыми работниками номенклатур и должна показывать их воспитанность, вежливость и умение разговаривать с людьми. — Слушай, как у нас в городе с кадрами? Я имею в виду номенклатурные... Руководителей, так сказать, в масштабе... Ну, директора, начальники, заведующие? Для кого? Есть один товарищ...

Марченко сидит тихо, как бы не заинтересованный в разговоре.

Воробьев достаивает его взглядом, который можно истолковать лишь как заверение в том, что все будет хорошо — подыщем!

— Директор хлебозавода...

Марченко осторожно покачивает головой.

— Директор банно-прачечного треста... Заведующий баней... Начальник городского автогужевого транспорта... Председатель артели «Игрушка»... Директор завода — не пойдет! Ах, пивного!.. Директор треста предприятий общественного питания...

Марченко очень деликатно склоняет голову.

— Тогда, значит, договорились, товарищ Дементьев! Нет, что ты, мы не подменяем. Мы ре-ко-мен-дуем! Надо бы знать... Подходящий товарищ. С опытом руководящей... В армии служил. Награды имеет. Честно, понимаешь, воевал за нашу советскую... Надежный, так сказать... Ну, пока, товарищ Дементьев!

Он кладет трубку телефона.

— Вот так! В таком разрезе, значит... Зайдете в исполком.

Когда Марченко выходит, Воробьев, не в силах сдержаться, берет свою новую игрушку в руки и ходит по кабинету, примеряясь к размеру и тяжести портфеля. Нет, в самом деле это хорошо, просто хорошо! Хорошо!

9

Любовь Федоровна, зареванная, несчастная, прибегает к Вихровой.

— Галина Ивановна! Он нашелся. Ранен. Лежит в госпитале!

— Куда ранен? — обеспокоенно спрашивает Вихрова.

— В голову. Милая, помогите мне, ради бога! Пойдемте со мною к нему. Одна я не могу, не могу, не могу! Я буду реветь, я ему сделаю хуже! Ведь раненных в голову нельзя волновать, нельзя беспокоить!

— А я не помешаю вам? — осторожно спрашивает Вихрова.

— Господи! Нет же! Только вы не давайте мне плакать! Вихрова улыбается:

— Как же это я вам не дам плакать?

— Ну... вы мне скажете: «Не надо!» Я послушная! Мне только своей воли не хватает, а я послушная...

Вихров с шутливым недоумением глядит на Милованову.

— Век живи — век учись! — говорит он, стараясь развеять Милованову. — Да вас, строгого завуча, вся школа боится как огня, как... А вы говорите — своей воли не хватает. Да вы всех на советах в бараний рог сгибаете!

— Это от страха, чтобы меня не сочли слишком мягкой! — через силу улыбаясь, говорит Милованова.

— Жалко, что я раньше этого не знал! — говорит Вихров с искренним сожалением, вспоминая заседание последнего совета, где так неладно была решена судьба Генки. Действительно, стоило, быть может, настоять на своем, чуть заупрямиться. Вряд ли Генка, оставшись на второй год, найдет в себе силу и охоту учиться по-настоящему...

Школа еще занята под госпиталь.

Ее обещают освободить через неделю-другую, но еще то и дело из порта подходят санитарные машины и раненые — своим ходом, поддерживаемые санитарками или на носилках — все поднимаются и поднимаются на ее этажи, где еще недавно звучали неуверенные голоса: «Мальчик купил три карандаша за девяносто копеек. Первый карандаш стоил сорок копеек, второй...» или ломающиеся баски: «Аксиомой называется истина, не требующая доказательств»...

Истиной, не требующей доказательств, является то, что школу не освободили к началу учебного года и школа — в понимании педагогический и ученический коллектив! — ютится на положении бедных родственников в чужом помещении, где занимается в третью смену.

Как ни встревожена Любовь Федоровна, как ни бьет ее страх за мужа, по пути в палату, где он лежит — четвертый А класс, — она заглядывает в двери и что-то бурчит про себя: в ней пробуждается к тому же завуч, страдающий от ненормальных условий работы ее родной школы. «Честное слово, эти военные очень о себе воображают! Госпиталь полупустой. Ну, честное слово, он мог уместиться в одной половине здания: мы заняли бы два верхних этажа и открыли бы черны ход, а они — в двух нижних, с выходом на парадное крыльцо. Ну, мы учились бы в две смены, но не в три же!»

Майор Гошка лежит на высоких подушках. Голова у него забинтована, но — ей-богу! — он чувствует себя совсем не-

плохо. У него смеющиеся глаза и хорошая усмешка на губах. Как видно, рана не очень беспокоит его, или все уже миновало?!

Любовь Федоровна, она же Любенька майора Гошки, готова закричать и броситься к койке майора, чтобы стать перед нею на колени, но останавливается, сдерживая рвущийся из груди крик. Майор не один! Вы только подумайте! Он не один. У его койки сидит на табуретке какая-то рыженькая девица — точно костер пылает в палате! — она заботливо наклонилась к нему, кладет руку на одеяло. Она спрашивает майора Гошку:

— Хотите, я почитаю вам? Вот интересная книга, я сама только что прочитала и, знаете, вся под впечатлением хожу, не могу опомниться! Очень хорошая книга! «Как закалялась сталь» называется. Вот, знаете, если ослабеваешь, то прямо лучше ничего не придумаешь, как эту книгу почитать!..

Майор улыбается, но мотает отрицательно головой.

Рыженькая кротко говорит:

— У вас родственники есть где-нибудь? Хотите, я под вашу диктовку напишу письмо! — Рыженькая Танюшка непременно хочет сделать что-нибудь для майора, не для майора, а для раненого. Комсомольский коллектив Арсенала взял шефство над номерным госпиталем, а рыженькая ничего не умеет делать вполонину, кое-как, как бог на душу положит. Она трогает лоб раненого: нет ли у него температуры? — ведь у раненых всегда бывает температура!

— Есть у меня родственники! — говорит вдруг майор и поднимается, краснея превыше всякой возможности.

Милованова бледнеет и краснеет. Вихрова тихонько, забавляясь, говорит:

— Любовь Федоровна! Не на-до!

— Лежите, лежите, раненый! — говорит рыженькая, пугаясь.

— Есть у меня родственники! — говорит майор весело, но глаза его покрываются предательской влагой. — Вон бегут мои родственники, милая девушка! Спасибо вам, спасибо, но...

— Гошка! Гошка! — кричит Любенька и летит к нему.

«Ну, бешеная!» — с усмешкой думает мама Галя и машет рукой Милованову, понимая, что вряд ли его шальной и славной жене потребуются теперь критические взгляды Вихровой. Рыженькая отстраняется от койки, передавая майора с рук на руки его жене. «Какая хорошенькая!» — думает она, глядя на Милованову без зависти, но с некоторой грустью. Она взглядывает на майора и невольно думает: «Как он ее любит! Вот счастливые!» Толстая санитарка, шедшая куда-то с ведром в руках, останавливается и исподлобья, впадая в не-

вольную задумчивость, долго глядит на майора Гошку и завуча Любеньку. «Молодые, что ли? — думает она. — Да нет, он-то, пожалуй, в летах. Ну, да это как раз хорошо — крепче любить будет!» Таня отходит от своего раненого, замечает санитарку и ее долгий взгляд. «Тетенька Арефьева! — говорит Таня санитарке. — Не надо смотреть на них, не хорошо. Вы их смущаете!» Санитарка смеется: «Смутишь их, как же! Да они, голубки, теперь никого не видят и не слышат. А мне хоть посмотреть бы на чужую любовь, девонька. Меня-то уж никто не полюбит! Это тебе на чужую любовь глядеть зазорно — свою займай! Скольких, поди, с ума-то свела! Рыжий-красный — человек опасный!» Таня краснеет и выходит из палаты...

— Не плачь, детка! — доносится до нее голос майора. — Рана пустяковая. Уже почти все зажило. Понимаешь, под Цзямусами какой-то сумасшедший резервист разрядил в меня целую обойму. Хорошо, что у него руки тряслись! — и он смеется, очень довольный тем, что у резервиста тряслись руки и что руки Любеньки лежат на его плечах и крепко сжимают его в объятиях.

Утренние часы Таня проводит в госпитале. Работает во вторую смену. Ей пора идти. И через минуту она уже на улице. Времени в обрез, и Таня чуть не бегом поднимается в гору.

— Здравствуйте, Таня! — слышит она и оборачивается, удивленная: кто может звать ее здесь, в другой части города? И встречает смущенный взгляд Гавроша, который смотрит на нее таким взором, будто готов сквозь землю провалиться. Он, однако, храбро добавляет: — Можно, я вас провожу?

Сердце Тани всегда открыто людям, и чистая душа чужда жеманства и кокетства. Она коротким взором окидывает Гавроша и охотно соглашается, предупреждая, что торопится, боясь опоздать к смене.

— О, я умею ходить быстро! — говорит Гаврош и доказывает это. И они шагают в ногу, будто всегда, с детства, ходили так — и в детский сад, и в школу, и на дежурства МПВО, да мало ли куда. Гаврош проговаривается: — Я знаю, где вы живете!

Это интересно! Каким же образом? Ах, наблюдал? Наблюдал? Зачем? Ах, так хотел! Часто? И шел следом? Вот странное дело! Ах, ничего странного, если... Что, если? Ах, хочется человека видеть? Почему? Как неважно!.. А все-таки?

И вдруг краска заливает щеки Тани. Пылают на солнце ее волосы. Пылают ее щеки. Пожар! Пожар! Берегись, Гаврош, как бы это пламя не перекинулось на тебя! Сторишь ведь! А может быть, ты — виновник этого пожара? Или — она? Кто зас разберет, где поджигатель, где костер...

Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, не так — надо считать до двадцати пяти, чтобы унять волнение, так некстати вспыхнувшее в груди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять...

— А где вы работаете? — спрашивает Таня своего кавалера.

— Не работаю я! — неохотно отвечает Гринька.

— Ну как же это? — строго говорит Таня. — Все должны работать! У нас, например, не хватает рабочих! Правда, к нам трудно поступить — оборонное все-таки предприятие, но... Поступают же!

Не молчи, Таня! Говори, говори, — все, что ты скажешь, ляжет сегодня не в уши, а на сердце! Говори, и голос твой, негромкий, мягкий, какой-то стелющийся, врежется в память. Говори, и слова твои пробудят отклик в душе человека. У тебя легкий шаг и ясные глаза и в твоей жизни нет пыльных чердаков, загроможденных ненужным старым хламом, и нет сырых, темных подвалов, откуда тянет плесенью и где растут какие-то химерические бледные растения — поганки, и где живут какие-то противные, бледные существа — мокрицы... Говори, Таня! Шагай, Таня! Вот взять бы тебя за руку и шагать вместе...

10

Предложением называется группа слов, выражающих какую-либо мысль. Вот пример предложения — Генка учит уроки. В этом предложении каждое слово что-нибудь да значит. «Генка» — отвечает на вопрос, «кто, что?» — это подлежащее. «Учит» — отвечает на вопрос «что делает?» — это сказуемое. «Уроки» — отвечает на вопрос «кого, что?» — это дополнение. Кто учит уроки — Генка. Что делает Генка — учит. Что он учит — уроки. Предложения бывают простые и сложные. Генка учит уроки — это предложение простое, а вот пример предложения сложного: Генка учит уроки, хотя ему очень хочется плюнуть на это занятие!

Он сидит на сундучке. На его лице решимость страсто-терпца, способного лежать на горячих угольях, способного быть пронзенным копьями, способного быть распятым живым на кресте. Вокруг него рассеяны простые и сложные предложения — в саду растут березы и елки, березки уже сбросили свой лист, а елки стоят по-прежнему зеленые, хотя эта зелень пожухла немного и запылчилась оттого, что, играя во дворе, ребята неимоверно пылят. Шурик сидит на своем крыльце. Он не обращает внимания на Индуса. А умный пес посажен в десяти шагах от Шурика. Ему сказано: «Тихо! Сидеть!» Он косится немного обиженно на своего хозяина: «То-

же мне приличное занятие — торчать на солнцепеке, когда надоедливые стрекозы так и вьются вокруг носа! Сделать бы так: га-ав! — и стрекозы нет!» Но «тихо!» — это команда, а Индус — сторожевая собака. Его, наверное, скоро возьмут служить на границе. И Индус сидит, не шелохнется, хотя вокруг рассеяны искушения — вьется возле мокрого черного носа стрекоза, застывая в воздухе вертолетом, подманивают чем-то вкусным близняшки, и Наташка шепотком подговаривает его: «Индусик! Há! Há!», и у Индуса трепещут ноздри от соблазнительного запаха. Шурик вдруг встает и уходит, не взглянув на пса. Это самое тяжелое испытание! Индус беспокойно моргает и провожает Шурика взглядом: «Куда ты, хозяин? Ты забыл обо мне? Я тоже хочу походить, побегать, полаять во все горло!»

Генка откладывает учебник в сторону.

И миру возвращается его подлинная суть. Теперь вокруг Генки — не простые и сложные предложения, а люди, деревья, собака — а не подлежащее! — Индус, балериночка Ирочка, которая тоже заинтересована исходом тяжелого собачьего искусства — выдержит ли Индус? Ирочке хочется, чтобы пес высиел смирно до возвращения брата — она гордится Индусом не меньше брата. Но ее так и подмывает — позвать Индуса и испортить Шурику все дело — очень уж он задается последнее время! Но Шурик возвращается. Не глядя на собаку, он говорит: «Ко мне! Ти-хо!» Индус улыбается, подмигивает Шурику, подходит к нему степенным шагом и, сдерживая рвущийся из широкой его груди гулкий лай, тычется мокрым носом в руку Шурика, и Шурик ласкает его — гладит, треплет за пышный воротник, почесывает за ушами.

Генка бурчит: «Воспитатель! Сторожевых собак нельзя баловать!» Все-таки и у него есть опыт в воспитании служебных собак, как ни говорите...

Он держит учебник перед глазами, не глядя в текст. Необходимая маскировка, потому что, увидев из открытого окна, что Генка вдруг отложил книгу, мать начинает швыряться чем-то и громко говорит: «Ученик! Холера бы тебя взяла!»

У матери дурное настроение. Она только что вернулась от бабки Агаты, которую ходила проведать, и расстроилась совсем — бабка явно намерена была произвести полный расчет с этим греховным миром, дышала на ладан. «Отец Георгий был, бабенка?» — спросила Фрося, с жалостью глядя на прозрачное лицо бабки и на ее ручки-плети. «Собирается!» — чуть слышно ответила бабка Агата, и Фросе почудилась какая-то болезненная усмешка на ее бескровных губах и недоверие к Фросе. Бабка Агата думала, что Фрося не передала ее просьбу попу, поленилась, или забыла, или просто не захо-

тела встретиться с ним. «Обещал выкроить время!» — сказала беспомощно Фрося. Но отец Георгий, как видно, не выкроил ничего, а бабка Агата думала: если бы его уведомили как следует, то уж к кому-кому, а к ней поп пришел бы! Ей и в голову не приходило, что отец Георгий не хотел прийти... Фрося ушла от бабки злая. «Ну, схожу я к этому черту долгогривому, уж я ему скажу так скажу...»

Словно для того, чтобы еще подбавить ей перцу, перед самым домом Фросе перебежал дорогу большой, жирный, лоснящийся, холеный черный кот. Не только перебежал дорогу, но еще и обернулся на нее, вылупив свои желтые глаза-плошки: «Ага! Вот тебе!» Пересечь ему дорогу, чтобы парализовать влияние дурной приметы, было невозможно — он летел стремглав от одного забора к другому, а обойти квартал, чтобы достигнуть своего дома с другой стороны, — это значило сделать лишний километр. Тяжело вздохнув и заранее примеряясь к тому, откуда могла грозить неприятность в результате этого враждебного кошачьего выпада, Фрося доплелась до дому туча тучей...

Увидев, что Генка рисовал в тетрадке каких-то уродливых человечков, она сказала ворчливо, не задав сыну ни одного вопроса, не спросив, что это за уродцы и как надо их понимать:

— Другие дети уроки учат... Смотри, на третий год в школе не оставят!

Тогда Генка и занял свое место на веранде, откуда открывался великолепный мир реальности, казавшийся таким ярким по сравнению с миром грамматических абстракций, что были запиханы в учебник русского языка и расставлены в том порядке, в каком сочли возможным расставить их академики, не спросив у ребят, какими бы они хотели видеть свои учебники...

Подлежащим называется член предложения, обозначающий какой-либо предмет. Березка — это подлежащее. Учебник тоже. Калитка тоже. Два гражданина тоже подлежащее. Березка качается. Качается — сказуемое. Сказуемым называется член предложения, обозначающий действие предмета. Учебник скучный. Нет, это не сказуемое, это определение, член предложения, обозначающий качество, свойство предмета. Входят, оглядываются, спрашивают — все это сказуемые, обозначающие действия предметов, то есть двух граждан, которые вошли во двор. Спрашивают — сказуемое. Что они спрашивают?

— Мальчик! Лунина здесь живет? — спрашивают два подлежащих, делая сказуемое вверх по лестнице.

— Здесь! — отвечает Генка рассеянно.

Подлежащие проходят в коридор. Стучат в дверь Луниной.

— Войдите! — слышит Генка голос матери.

— Вы Лунина? — следует вопрос. — Евфросинья Романовна? Ваш паспорт, пожалуйста!

Что-то эти подлежащие, вернее — их сказуемое не нравится Генке. Он прислушивается. Оглядывается на окно. И сквозь окно видит, как Фрося дает свой паспорт пришедшим и как у нее делается очень беспокойное лицо. Вслед за тем Генка слышит то, что поражает его словно громом:

— Мы из уголовного розыска. Вот ордер на производство у вас обыска. Сейчас пригласим понятого. Ваши соседи дома?

Бледная до синевы, Фрося кивает головой.

Она думает о черном коте, который перебежал ее дорожку. А Генка вспоминает о «Черной кошке», и горячая испарина выступает у него на лбу, и капельки пота усеивают его вздернутый нос. Ужас на минуту пригвождает его к месту. «Пошутили!» — проносится в его голове паническая мысль. Но в следующую секунду он срывается с места и бежит с крыльца на тротуар. Сбивает с ног Наташку, которая тарасится на Генкину квартиру — что за люди пришли, ей до всего есть дело, ее всегда раздражает любопытство. Выскакивает за калитку и бежит, куда — неизвестно! — он сейчас не думает, он действует инстинктивно, в припадке страха, охватившего его, чтобы оказаться как можно дальше от комнаты, в которой два подлежащих будут делать такое страшное, такое чудовищное сказуемое...

Ветер шелестит на верандочке страницами Генкиного учебника — так и листает, так и листает, сначала в одну сторону, потом обратно, точно ища нужное место, точно собираясь держать испытания за третий класс по русскому языку, чего теперь, конечно, не сделает Генка, хотя такое желание и было у него. Не без нажима со стороны Вихрова, Миловановой, и др., и пр., и т. д., и т. п., — так весь мир, кажется, был заинтересован в том, чтобы Генка учился, чтобы Генка переходил из класса в класс...

Генке хочется скрыться. Куда? Все равно. Если бы он был чуточку поначитаннее, если бы он привык к речевым стандартам литературного плана, он сказал бы, что он думает начать новую жизнь на новом месте, лишь бы только избежать расплаты, на этот раз заслуженной, за «Черную кошку». Он человек справедливый и понимает, что виноват. Что из того, что они шутили, когда Сарептская Горчица ткнул ту гражданочку в спину вытянутым указательным пальцем! Они уже не шутили, когда Гринька освободил ее сумочку от эквивалента труда — денег, заработанных гражданочкой. Они не

шутили, когда в Особгастрономе была куплена дорогая колбаса, дорогие папиросы и вино. Они не шутили, когда вся эта снедь была уничтожена на чердаке — штаб-квартире Гриньки, который так молниеносно и непостижимо стал «Черной кошкой», — и когда Гринька сказал, что это был настоящий Луковый пир, имея в виду древнеримского патриция, который в мировую историю вошел из-за своего сластолюбия и чревоугодия, как Герострат из-за одного пожара, при отсутствии других доблестей, которые могли бы прославить их в веках. Правда, Генка думал только об этом случае, не вспоминая о Максиме Петровиче: что для него значили семьдесят пять рублей, когда в его карманах топырились и топорщились, выпирали и торчали шесть тысяч рублей — цена жизни Любавы! Может, в сумочке гражданочки была вся ее зарплата. И это заслуживало внимания. Генка не знал еще, что украденный рубль в глазах закона равен украденному миллиону, — и то и другое есть присвоение чужой собственности, преднамеренное хищение, как выразился бы юрист...

Сердце Генки перестало колотиться, когда он отошел от своего дома достаточно далеко. Но разные мысли теснились в его голове. Вот двор, где живет Воробьев, — ему-то не надо кланчить у матери на кино, поди, ни одной картины не пропускает! Вот городской Совет — здесь сидит тот Иван Николаевич, который, как выразился Вихров, принял личное участие в судьбе Луниной, этому, наверное, все в городе дают бесплатно! Вот сберегательная касса, где работает мать, — вот если бы взять отсюда все деньги да раздать бы всем поровну! Вот стройплощадка — растет огромный красивый дом, поди, тут одни начальники будут жить! Вот управление дороги, но Генка отворачивается от палевого дома, ну ее, дорогу, там на каждом шагу люди в форме... Вот Научная библиотека, а зачем она? Генка не переступал ее порога никогда, но он с уважением косится на ее стрельчатые окна: сидят, понимаешь, тут ученые и порох, понимаешь, выдумывают. Ученые, учиться — мысли Генки ставят эти понятия в закономерную связь. Учиться! Вихров говорит, что и артиллерист должен учиться, чтобы не стать отстающим. Отстающий остается один. Это тот, кто не хочет идти со всеми в ногу. А в одиночку жить нельзя — хороший майор на границе очень серьезно сказал, что жить в одиночку, жить только для себя, нельзя. Нечем жить! — сказал он. Хорошо взрослым — они всегда все знают...

А если Вихрову или майору рассказать о «Черной кошке»?..

Не убьют же за это!

Посадят, наверное, в тюрьму.

В сознании Генки оживает страшная ночь в камере на границе. А ведь это еще не тюрьма! Тюрьма-то, знаешь, — это ого-го! Генка ежится и прибавляет шагу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — говорит он себе, не зная, кто, когда, где и по какому поводу сказал это и как это надо понимать, но он немного приободряется. Ему кажется, что, убежав от подлежащих, он вроде готов умереть стоя...

Он идет туда, где легче всего затеряться в толпе, — на Нижний рынок, толкается там, среди прилавков, среди рядов, среди покупающих и продающих. Покупает пирожок, не потому, что хочет есть, а потому, что надо чем-то заняться. Взгляд его падает на Плюснинку, вдоль которой, подальше от базара, идут небольшие домики, развалюшки или хорошенькие. В одном из таких хорошеньких домиков живет тетя Зина. Может быть, пойти к ней и рассказать все? Она хорошая. Впрочем, Генка не знает, хорошая она или плохая, но знает, что она красивая. А разве красивый человек может быть плохим? Ах, Генка! Зина и сама не знает, хорошая она или плохая. Все, видимо, зависит от того, какое направление принимают ее мысли, от того, с кем она дружит. Ведь не напрасно есть народная поговорка — с кем поведешься, от того и наберешься! Кабы знать-то, с кем можно водиться, с кем не надо!..

Густой, протяжный, сильный, басистый гудок парохода прерывает занятие Генки. Генка узнает этот гудок — сигналит любимец всех городских мальчишек теплоход «Маяковский» — трехпалубный, белый, просторный, с косой трубой и сильно откинутыми назад мачтами... Он словно зовет Генку. И, не в силах отказать от этого зова, Генка идет на пристань.

«Маяковский» заканчивает погрузку.

Есть ли на свете более манящее зрелище, чем корабль, идущий в плавание? Поезд, отправляющийся в путь, слишком прозаичен. Самолет, взмывающий ввысь, слишком стремителен — он не оставляет времени на размышления. А корабль! — все детали его отправления на виду, вы видите все: и палубы его, и иллюминаторы, и окна, и переборки, и надпалубные постройки, и капитанский мостик, и пассажиров, и команду, и суету людей, и силу машины, и у вас есть время подумать и поглядеть, насладиться и зрелищем и беседой, пока не упадут в воду чалки и корабль медленно, словно не желая расставаться с вами, станет отваливать от стенки, показывая вам всю свою красоту, набирая скорость, вспенивая воду винтами и бросая на берег, как прощальный привет, высокую волну...

У Генки нет страха перед неизвестным. У него есть только страх перед известным — «Черная кошка» гонит его из

родного города. Поэтому он, улучив какой-то момент, переступает один шаг, отделяющий борт «Маяковского» от стенки, и оказывается сначала на веревочном грубом кранце, свисающем с борта теплохода, а потом и на борту. Точно во сне, он видит на секунду под собой черно-красный борт теплохода, обомшелую, зеленую кранечную обшивку причала, амурскую воду между ними, на которой плавают радужные пятна нефти, слышит плеск воды, делает один прыжок вверх, переносит ногу через фальшборт и... оказывается на палубе «Маяковского».

У Генки есть свое счастье — оно сделало его незаметным для чужих глаз, как если бы он надел на свою бедовую голову шапку-невидимку. В суматохе, без которой не может обойтись ни одно отправление в путь, на какое-то мгновение опустел бакборт, и Генка сиганул сюда. Он постоял-постоял, шныряя глазами туда-сюда, влево-вправо. Сделал несколько шагов к корме. Сразу же за углом кают, окна которых были затянуты белыми занавесками, впритык к белоснежной переборке, лежал какой-то груз, занайтовленный и покрытый брезентом. Генка потянул за брезент, край его легко отогнулся. Под брезентом лежали носилки. Генка всунулся под брезент. Там было темно, пахло холстиной и черным лаком, которым были покрыты ножки новехоньких носилок. Генка лег и затаился...

Громом показался ему отвальный троекратный гудок. Потом он услышал, как забегали матросы. «Отдай кормовой!» Услышал плеск чалок, упавших в воду. Почувствовал, как задрожал весь корпус, когда носовая лебедка выбирала якорь, как, сделав глубокий вздох, заработали машины, выводя теплоход на фарватер, как задвигались цепи руль-машины, со стуком, лязгом и шорохом ползя в своих стальных кожухах.

Вот и все!

И подлежащие, и Гринька, и «Черная кошка», и все прочее перестало существовать для Генки. Будущего он не боялся. Его страшило только минувшее...

11

Нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Фросе пришлось познать силу этого афоризма, записанного в той толстой книге, к которой питала такое почтение бабка Агата и в которой отец Георгий черпал свою мудрость.

Упрямый лейтенант Федя, очень чтивший память фронтовых товарищей и очень любивший свою Дашеньку, привел в движение большую и сложную машину ряда государственных

ных органов, призванных охранять права граждан — живых или мертвых — от посягательств людей, зараженных пережитками прошлого в своем сознании. Его заявление в прокуратуру, направленное против отвратительной фифы, какой Федя считал контролершу Валю, решив вырвать ее с корнем, задало много работы многим людям.

Инспекторы милиции консультировались с работниками государственного кредита. Работники уголовного розыска интересовались сотрудниками сберегательной кассы. Графологическая экспертиза изучала оригинал сертификата брата Дашеньки и сличала его с подложной копией его. Прокуратура санкционировала производство дознания и обыска у подозреваемых лиц. Следователи работали в поте лица своего, добывая хлеб свой. Руководители Управления сберкасс и Госкредита отстранили подозреваемых лиц от работы впредь до окончания следствия. Материалы следствия доказывали возможность и необходимость передачи дела в суд. Ходили люди, ездили машины, стрекотали пишущие машинки, скрипели перья автоматических ручек, хлопали двери учреждений и сейфов, фотографии снимали подозреваемых лиц в профиль и в фас, с номерами на груди, технический отдел перерывал картотеки и сносился с другими городами, ища — не совершали ли подозреваемые лица также и других преступлений. Все это нужно было для того, чтобы лиц подозреваемых переqualифицировать в обвиняемых, а это совсем другое дело!

Все шло заведенным порядком, без каких-либо осложнений, если не считать того, что подозреваемая Лунина Евфросинья Романовна созналась в совершенном преступлении сразу же, при обыске, подозреваемая Быкова Зинаида Петровна не отрицала своей вины, но отказывалась объяснять мотивы, побудившие ее к совершению преступления, а также того, что сотрудник технического отдела, фотографировавший подозреваемую Быкову, испортил несколько негативов и казался растерянным во время этой съемки, с какой-то обидой и болью глядя на подозреваемую. «Наша работа не дает права нервничать!» — сделали ему замечание те, кто имел право делать замечания, и добавили: «У нас не художественная фотография, пора бы знать!»

Переqualифицировать же подозреваемых в обвиняемых было необходимо: подозреваемых нельзя ни судить, ни осудить, а обвиняемых не только можно, но и нужно судить...

А «Черная кошка» была тут совсем ни при чем, как и черный кот.

Правда, весь город обошли слухи о том, как в двух шагах от ничего не подозревавшего постового милиционера два бандита ограбили одинокую женщину и, не будучи в состо-

янии снять с ее руки кольцо, отрезали его вместе с пальцем, и как они долго отстреливались от храброго милиционера, проявившего твердость духа и понимание долга...

Предварительной мерой пресечения в отношении обеих обвиняемых была избрана подписка о невыезде, которую отобрали от Луниной Евфросиньи Романовны и Быковой Зинаиды Петровны.

Дав эту подписку, Фрося совсем упала духом.

— Это все она, это все Зинка! — рыдая, говорила Фрося, считая теперь Зину виновной во всем и забыв совершенно о том добром, что делала ей Зина, о помощи ее в работе, о сочувствии и внимании к ней, о постоянной готовности пойти Фросе навстречу во всем, забыв о том, что Зина как-то исподволь приохотила Фросю к хорошему крою платья, к уходу за собой, отчего Фрося немало выиграла. Но теперь во всех действиях Зины Фрося видела злой умысел, рассчитанное желание запутать ее, связать по рукам и ногам, чтобы использовать в своих целях. — Это все она! Мне ничего не нужно было! Я черный бы хлеб ела, на воде сидела бы, а не попользовалась бы ничем!.. Это все она!

— А как израсходовали вы деньги, полученные доказанным обманном путем? — спрашивал ее следователь и смотрел на гипюровую кофточку Фроси. — Вот, например, какие вещи вы приобрели на эти деньги?

— Это все она, все Зинка! — твердила Фрося, объятая стремлением отделить себя в этом деле от подруги: разве бы она могла сделать так же?

— Бросьте, Лунина, вводить следствие в заблуждение! — сказал ей раздраженный следователь, которому надоело видеть перед собой заплаканное лицо Фроси с покрасневшим носом и заплывшими от слез глазами. — Вы не только знали о преступлении, вы оказались соучастницей его! Вы не только не сообщили администрации вашего учреждения или органам милиции об этом преступлении, но воспользовались его плодами! Так? Так! И бросьте лить крокодиловы слезы!

— Что же теперь я с детьми делать буду? — задавала Фрося вопрос то ли себе, то ли следователю.

— Об этом надо было думать раньше! — был ответ.

Раньше. Раньше...

Фрося даже обрадовалась исчезновению сына — хоть он не видит этого. И ее не взволновала и не обрадовала телеграмма с борта «Маяковского» о том, что Лунин Геннадий, обнаруженный на борту плавучего госпиталя, будет отправлен со встречным судном, как только это будет возможно, и что он здоров.

«Черта ему сделается!» — подумала Фрося, а потом с мрачным отчаянием подумала, что теперь ей долго не уви-

деть своих детей — ни шкодливого Генку, ни ее радость Зоечку, если ее упрячут в тюрьму. Уже знала она, что есть на свете такой закон от седьмого августа 1941 года, по которому лиц, виновных в расхищении социалистической собственности, могли осудить на двадцать пять лет. Подумать только — двадцать пять лет! Прикинула: если так, то она выйдет из тюрьмы старухой. «Так тебе и надо!» — с озлоблением подумала она о себе. И еще подумала, что она мало внимания уделяла детям, тому же Генке: ох, отказать легче, чем дать, когда ребенок просит, ох, легче отругать, чем похвалить, когда что-то ребенок делает, то есть легче заметить его промах, чем что-то хорошее. «Господи боже мой! — взмолилась Фрося. — Уж я буду совсем не такой, какой была, если удастся как-то выкрутиться из этой истории! А как выкрутиться?»

Она пошла к Зине.

Уже не думая о том, что ожидает ее подругу, она сказала:

— Зина! В ножки поклонюсь — прими все на себя! Ты бездетная, безмужняя, некому о тебе плакать! Все одно отвечать-то придется! Ты ведь это все придумала! Тебе мысль об этом в голову пришла! Прими на себя...

Зина молча смотрела на нее.

Даже несчастье, обрушившееся на нее, ничего не могло сделать с ее красотой, даже угроза, нависшая над ней, ничего не изменила в этом лице, ничего не сделала с этим телом. Правда, темные круги легли вокруг ее прекрасных глаз, но они, эти отметины, лишь ярче сделали их блеск, лишь оттенили эти глаза. Она по-прежнему была тщательно одета, причесана и аккуратна, все на ней было выглажено и чистенькое, не в пример Фросе, которая так сразу и махнула рукой на свою жизнь и которой не хотелось теперь и причесаться-то.

— В ножки поклонюсь! — повторила Фрося, понимая, что это ненужные слова, но желая обозначить для Зины всю силу своей возможной благодарности.

Зина усмехнулась.

— Мне кланяться не надо! — сказала она. — Я и виновата. А ты в этом деле просто...

— Жертва! — живенько подсказала Фрося.

— Умойся поди! — молвила Зина, не обратив внимания на Фросину подсказку. — Приведи себя в порядок. На тебя смотреть страшно. Нельзя же так! Надо иметь мужество... Ну, следствие, ну, суд, а все-таки...

— Ты скажи им, что я не хотела, Зиночка, что я тебя останавливала. Может, какое ни на есть снисхождение будет...

— Может, и будет! — опять усмехнулась Зина.

Ох, как Фросе хотелось отлгать Зину по-настоящему, в голос — за эти усмешки, в которых Фросе чудилось превосходство Зины и сейчас, отлгать так, чтобы отлились ей все Фросины слезы и страхи — и тогда, и сейчас! Но она, заручившись молчаливым согласием подруги выгораживать, не хотела сейчас раздражать ее. Ладно, со злобой подумала она, пусть усмехается. В тюрьме или в лагере кровавыми слезами еще наплачется, когда придется ей землю рыть, камень бить, сквозь вечную мерзлоту пробиваться на Колыме! Пусть пока усмехается...

А Зина усмехалась вовсе не потому, что ее забавляла или ей была жалка Фрося. Она вспоминала свой разговор с Марченко, происшедший накануне.

...Он впервые явился к ней в гражданском платье — в осеннем пальто хорошего покроя, темно-сером костюме из дорогой ткани, в башмаках на каучуковой подошве, с портфелем из крокодиловой кожи, с замками, замочками, замочечками, с молниями, с кашеткой для визитной карточки, с ремнями, как на чемодане кругосветного путешественника. Он раскланялся, не выпуская из рук портфеля — родного брата подаренного Воробьеву, не заметив ни ее озабоченности, ни грусти, искренне наслаждаясь впечатлением, которое он производил своим видом на Зину, как бы ни была она удручена грозой, сбиравшейся над ее бедной головой.

— Имею честь представиться! — сказал он. — Марченко, директор треста предприятий общественного питания...

Он был до того переполнен сознанием собственной значительности и важен, что Зина не отказала себе в удовольствии сбить его с ног. Она сделала такой же поклон в его сторону и, следя за выражением его лица, сказала:

— Имею честь представиться: Быкова Зинаида Петровна, обвиняемая по делу о расхищении социалистической собственности!

Лицо Марченко, полное, веселое, лоснящееся лицо самоуверенного, сытого, самодовольного человека, мигом посерело, точно его смыли, как смывают изображение на фотографии раствором красной кровяной соли. Он хрипло сказал:

— Брось шутки шутить, знаешь...

— Я не шучу, Марченко. Это именно так. И скоро вы сможете присутствовать на суде, где прокурор скажет: «Пока защитники родины, не щадя своей жизни, дрались с озверевшим врагом за свободу и независимость нашей державы, отдельные люди в это время устраивали свои личные дела в тылу, присосавшись к телу народа, как болотные пиявки!» Он не будет говорить о сертификатах, Марченко. Он будет гово-

ритель о патриотизме, о долге, о чувствах, о доверии, о людях, отдавших жизнь за нас с вами, Марченко...

Она смотрела на Марченко и невольно улыбнулась перемене его — он будто отделил себя от нее глубокой пропастью, но, даже почти не видя, все же соображал: не может ли она, падая, как-то увлечь его за собой в эту пропасть? Глаза его были холодны и настороженны — ни следа влюбленности или дружбы. Вся фигура его в дорогой одежде, с роскошным портфелем — мечтой бюрократа — хранила печать отчужденности.

— Государство внакладе никогда не останется! — повторила Зина фразу Марченко, сказанную на утесе, чтобы напомнить ему о чем-то...

И Марченко вспомнил. Он прищурился:

— Прошу заметить, что я не знаю, какие операции вы производили на своей работе. Я никогда не касался этой темы. Я никогда..

Зина, улыбаясь, сказала вдруг:

— Может, погасим лампу, Марченко?..

Марченко испуганным движением поднес свой портфель к груди, словно защищаясь от удара. Он сказал поспешно:

— Извините, мне надо идти...

— Да? — спросила Зина. — А если я скажу, что получила от вас выписку из приказа о выплате пенсий и пособий семьям погибших, выписку из приказа о снятии с военного учета... с вашими пометками о наличии сертификатов в присланных вам документах...

— Ах, так! — Марченко посмотрел на Зину. Страх его как рукой сняло. Он трезвым, обычным голосом сказал: — Ты меня не достанешь, Зина! Не советую путать меня в это дело. Я буду защищаться — и тогда не пеняй на меня! Понятно?

— Вполне! — молвила Зина устало. — Я и не думала вас запутывать, Марченко! Вы поторопились от меня отмежеваться. Мы могли провести последний вечер вместе, как знакомые, если не как друзья — вы никогда не были мне другом! — и не как любовники — вам не дано возвысить женщину своей близостью, вы можете ее только унижить! Мне хотелось только измерить глубину вашей... природы! Теперь вижу: глупо-ко!.. Идите, Марченко, вам надо идти. И не бойтесь ничего пока... пока вас не поймут на чем-то более крупном...

— Я вас не понимаю! — сказал Марченко.

— Понимаете! — Зина закрыла глаза, чтобы не видеть его. — Идите, Марченко. Я прошу вас. Мне надо остаться одной.

Марченко вышел, беззвучно ступая в своих ботинках на каучуковой подошве. Исчез, как тень. Зина опустила на тахту и с вниманием стала разглядывать свое гнездо. Здесь жил с нею Мишка-медведь когда-то. Здесь любила она Вихрова. Здесь отказалась она от своей любви, чтобы не ломать чужие жизни. Это было честное гнездо, где не было ни лжи, ни порока, где все чувства были искренними и сильными, пока... Это «пока» было связано с появлением здесь капитана Марченко. Но в чем можно его обвинить? В том, что он исподволь приучил Зину к хорошим вещам? В том, что он поселил в ней жажду обладания всем? В том, что не прямо, а какими-то намеками, полуфразами, больше умолчаниями, чем разговорами, он привел Зину к мысли о возможности удовлетворения своих желаний безопасными неблагоприятными путями? В том, что... Но Зина остановила свои рассуждения так же решительно, как она умела поступать. «Сама виновата!» — сказала она себе. В эту минуту ей страшно захотелось увидеть Вихрова — он не бросил бы ее в беде, он нашел бы в себе силу, чтобы успокоить ее, разделить с нею всю силу ее отчаяния, которое бушевало в ее душе, но которому она не давала выхода, чтобы сохранить остатки уважения к себе. Он не мог бы подтолкнуть падающего человека. Ну, Зина оступилась — бывает же так! — но нельзя, не нужно уничтожить ее совсем!

Она встала и открыла окна настежь.

Но оттуда пахнуло холодом. С Амура тянулся белый, плотный туман. Он давно уже закрыл весь берег, словно здесь и не было земли, скрыл от глаз людей речушку Плюсинку, полз по ее руслу, карабкался по скатам оврага, застлал все дома, что стояли на улицах повыше. Зина смотрела за тем, как все плотнее становилась его пелена, как все сокращался и сокращался тот кусок земли с уже завядшей травой, который был виден из окна, как туман придвинулся вплотную к дому Зины и скрыл от нее последний кусок тверди, как тяжелая сырость стала наполнять ее жилище...

Серое море было вокруг. Корабль Зины шел ко дну...

12

Когда Вихрова вызвали в суд как народного заседателя, он поморщился — вот еще не было печали! — но все-таки пошел.

Он не знал, что за дело назначено к слушанию сегодня.

Секретарь суда, довольно милостивая девушка с несколько грубоватыми манерами, сильно портившими ее, сунула ему для ознакомления дело. Кровь хлынула ему в лицо и за-

тем отлила куда-то, когда он понял, что сегодня слушается дело по обвинению Луниной Евфросиньи Романовны и Быковой Зинаиды Петровны в расхищении социалистической собственности и что значившиеся в деле Быкова и Лунина — это и есть Фрося и Зина. Его Зина!

Прошел уже месяц с того дня, как Зина осталась одна на необитаемом острове. Но она и до сих пор была его Зиной — как он мог назвать ее иначе! Как он не догадался позвонить в суд, чтобы узнать, на рассмотрении какого дела ему предстоит быть? Ах, как все это нехорошо! Что же делать теперь?

Он подошел к секретарю и робко сказал, что сегодня он чувствует себя очень плохо и что поэтому...

— Вот так мы и работаем! — резко сказала секретарь, даже не маскируя никак свое недовольство. — Когда выдвигают нас в заседатели, то пожалуйста! А как участвовать в заседаниях суда, все нездоровы! Соглашались, товарищ, — отговариваться поздно! Ведь мы не начнем, если вы уйдете. Где мне сейчас искать другого заседателя? — она сморщила лоб и нос, словно от зубной боли, и готова была, казалось, прибить Вихрова за его недостойное поведение. — Надо же и судей и подсудимых пожалеть! — Тут она перешла на дружеский тон и успокоительно сказала: — Да вы не беспокойтесь, дело ясное. Сегодня судья товарищ Иванов. За два часа пройдет. У товарища Иванова много не разговаривают. По-военному. Высший срок — и никаких гвоздей, никакого бюрократизма!..

Вихров ахнул, вспомнив разговор у Ивана Николаевича, который с такой опаской упоминал о судьбе, прославившемся своими приговорами. Этот живоглот и будет судить сегодня?! Что он за человек? Что грозит подсудимым? Подсудимые — какое ужасное слово! И вообще — что это за место? С точки зрения секретарши, «никаких гвоздей» — это хорошо. Почему? Потому что быстро! Без бюрократизма. Значит — бюрократизм, с ее точки зрения, это — внимательное разбирательство. А высший срок, с ее точки зрения, это — высшая справедливость? Не потому ли все это так, что и у судьи Иванова и у секретаря суда есть только одно представление о суде как о карательном органе и их задача — «воткнуть» виновным как можно больше, чтобы было неповадно шкодить другой раз, а чтобы возможности шкодить не представилось — изолировать, если не до конца жизни, то на многие годы? Невольно этот вопрос возник у Вихрова, как возник бы он у него неизменно, столкнусь он с судом раньше, даже не по делу Луниной и Быковой...

Судья Иванов внешне был привлекателен, что как-то разрушало уже сложившееся о нем мнение Вихрова. Был он очень молод — лет двадцати шести, очень аккуратен — все на

нем было как-то по-военному пригнуто, не хватало только портупей, все же остальное представляло собой офицерскую форму, без погон, и этой формой, как и знаком крупного ранения, как и орденской колодкой, он кокетничал вовсю. Впрочем, кокетничал он и подчеркнутой выправкой и дисциплиной. Когда он вошел, секретарь суда поднялась, как солдат перед старшим по званию. Он посмотрел на часы, сказал: «Начнем в двенадцать ноль-ноль. Закончим в четырнадцать ноль-ноль. Надеюсь, у товарищей заседателей вопросов нет?» Почему он надеялся, что вопросов нет?» Вихров заметил, что ему кажется странным, что можно заранее определить продолжительность заседания суда. «Отработка!» — сказал Иванов и холодно посмотрел на Вихрова своими голубыми глазами и чуть поднял вверх голову, ладно посаженную на его узенькие плечи, и раздул ноздри маленького горбатенького носа, похожего на клюв. Вихров не понял. Судья, повернувшись на каблуках и выходя куда-то, сказал секретарю: «Объясните товарищу народному заседателю, что такое отработка!» — «Есть!» — ответила секретарь, не очень довольная поручением. И Вихров узнал, что когда известно, сколько времени займет обвинительное заключение, сколько времени потребуется прокурору, сколько времени отнимет защитник, оглашение приговора, который уже составлен, известно, сколько вопросов будет задано свидетелям и обвиняемым — то нетрудно планировать время, потребное на заседание. Он узнал также, что судья, прокурор и защитник делают одно дело и очень будет плохо, если они не смогут договориться и будут тратить зря время... И заседатели тоже не должны слишком уж влезать в дело, когда все и так ясно! — сказала секретарь. Врагов народа надо карать! А не раскисливать с ними...

Со странным чувством выслушал все это Вихров. По сути дела, оказывается, заседатели были нужны судье Иванову только как штампель на бумаге, без которого бумага недействительна.

Секретарь суда уже посматривала на Вихрова с неприязнью: вот, понимаете, воображает о себе что-то, вопросы задает, сует нос во все. Однако Вихров узнал от нее, что Иванов уволен из армии в звании старшего лейтенанта по тяжелому ранению — у него ампутирована левая рука, что он окончил юридические курсы, шестимесячные, что в армии был политруком и что он, очевидно, тут секретарша приметно вздохнула, перейдет скоро в прокуратуру.

С тяжелым сердцем Вихров стал рассматривать обвинительное заключение, уже как-то не думая, что на скамье подсудимых он увидит свою соседку и Зину. Зину! Пожалуй, то, что судить будут Зину, уже как-то отходило в сторону, и в ду-

ше Вихрова назревал протест против всего того, что так восхищало секретаря суда — трибунальная ясность всего предстоящего, сжатые сроки, согласованные действия всех деталей судебного механизма, не заинтересованного в судьбах людей, выполняющих только функцию дамоклова меча. Он читал выборку из показаний обвиняемых, чтобы понять, что случилось с Фросей и Зиной. И по мере того как он знакомился с материалами, перед ним вставала очень простая, жизненная, житейская драма, в которой ему тем более легко было разобраться, что жизнь одной из обвиняемых проходила на его глазах, а вторую он тоже как-то знал, хотя судьба открыла ему эту вторую с самой обаятельной стороны...

Как могла Зина решиться на этот подлог? Вихров, не веря своим глазам, однако, говорил себе: вот полное признание обеих обвиняемых. Насколько он мог судить, это было чистосердечное признание, без запирательства, без запутывания в дело других людей, без желания свалить вину друг на друга. Сделали, попались — признались. Так не поступают те, кто давно идет преступным путем. Это первое преступление каждой из привлекаемых к дознанию по этому делу. Первое! И последнее? Врагов народа надо карать, сказала секретарь. Фрося — враг народа? Зина — враг народа? Значит, для судьи Иванова не существовала категория людей оступившихся, пошатнувшихся, заблудившихся, ошибающихся — так, что ли?!

Вихрову почему-то представилось, что во время войны Иванов как-то присутствовал на заседании военного трибунала — перед ним предстал, может быть, дезертир, подставивший под удар своих товарищей, не ожидавших вероломства, может быть, диверсант, схваченный за руку, может быть, предатель, руки которого были обагрены кровью советских людей, и суд был коротким, скорым и суровым, точно молния, летящая с неба и испепеляющая дерево. Может быть, зрелище этого справедливого приговора и немедленное исполнение его поселили в душе молоденького офицера трепет и восхищение, а когда ранение заставило его уйти из армии, он пошел в юридическую школу, видя себя карающим мечом революции и невольно во всех своих действиях следуя тому образцу, который так поразил его воображение? Но трибунал — особый вид суда! И участковый суд не трибунал...

Однако Вихров отогнал от себя эти мысли. Бог с ним, с Ивановым, с тем, какие условия определили его облик как судьи! Дело в том, что обвинительное заключение было, видимо, составлено двойником Иванова, чьи идеалы правосудия сложились на том же заседании трибунала, которое вообразил себе Вихров. Оно не учитывало чистосердечного признания обвиняемых. Это — первое. Оно отвергало воспитательную функцию суда. Это — второе. Оно требовало обвинения

подсудимых по закону от седьмого августа 1941 года — закону военного времени, имевшему целью охрану народного достоинства от враждебных действий диверсантов и их пособников в тылу и на фронте. Но является ли личная собственность граждан, в том числе и облигации, принадлежавшие им, социалистической собственностью, то есть общенародной? Это третья! Как сказала секретарь суда? Воткнуть!..

У народного заседателя учителя Вихрова были вопросы.

— Вы что-нибудь понимаете во всем этом? — спросил его пожилой мастер судоремонтного завода Трофим Григорьевич Лозовой, приглашенный на это заседание так же, как и Вихров. — Что-то, знаете, у меня туман в голове пошел. Чего-то я недопонимаю! Что же они похитили, эти бабки: ржаное поле, склад готовой продукции, угнали за границу теплоход «Маяковский»? А ежели бы они взяли эти облигации у меня из кармана, скажем, — статья останется та же, или нет...

Когда судья Иванов вернулся, как видно готовый ринуться в бой на защиту революционной законности, Вихров спросил его:

— Разрешите задать вам один вопрос чисто теоретического плана, имеющий отношение к сегодняшнему заседанию! Можно ли считать социалистической собственностью личную собственность гражданина, находящуюся на сохранении в государственном учреждении? Перестает ли она поэтому быть собственностью личной?

Судья Иванов посмотрел на Вихрова с обидной снисходительностью и, щеголяя мгновенной реакцией на внешние раздражения, ответил быстро, как быстро делал все:

— Социалистическая собственность — это собственность, принадлежащая общественной организации, государственной, кооперативной, колхозной! Личная собственность — это собственность, находящаяся в личном распоряжении, пользовании личности, гражданина, человека. Отвечаю — личная собственность, находящаяся на сохранении в государственном учреждении, не перестает быть личной собственностью, хотя это учреждение и несет ответственность за сохранность ее. Пример — личные вклады граждан своих сбережений и ценных бумаг в сберегательные кассы не делают эти вклады собственностью государства! За исключением истечения срока давности, когда этот вклад может быть передан государству, как бесхозное имущество...

— Благодарю вас! — сказал Вихров и показал судье копию обвинительного заключения по обвинению Луниной и Быковой.

Лицо Иванова потемнело — так густо прилила к его щекам краска. Он почти враждебно посмотрел на народного заседателя Вихрова и сказал:

— Если вы юрист, то ваше место за столом судьи! Не хотите руки пачкать? Не хотите брать на себя тяжелую, черную работу?

— Я учитель! — ответил Вихров и с невольным раздражением добавил: — А белоручкой я никогда не был, товарищ судья!..

Он ударил Иванова в больное место своим вопросом.

Судья утратил свою беспредельную ясность зрения. Какая-то тень легла на это непреклонное лицо. Какая-то назойливая мысль омрачила этот чистый лоб... Чертов учитель был прав!..

13

Оказавшись на судебном заседании в качестве свидетеля, лейтенант Федя чуть не потерял сознание, когда увидел ненавистное лицо контролерши Вали, которую он хотел стереть с лица земли, рядом с собой — на местах свидетелей, а на скамье подсудимых — Зину, которая не могла не нравиться ему, как нравилась всем мужчинам, хотя сердце лейтенанта и было занято навсегда Дашенькой Нечаевой. Как, разве виновата не эта белесая фифа? Он переводил взгляд с Фроси, у которой он познакомился со своей любимой, на Зину, которая пленила его тогда своей и простотой и красотой, на Валю, которая, оказываясь, немало способствовала раскрытию преступления, на Дашеньку, которая, сидя почти рядом, не глядела на Федю и поздоровалась с ним очень сухо, едва вскинув на него мимолетный взгляд. Кажется, знай он, какой оборот примет дело, он не подал бы свое роковое заявление! Или — подал бы, все равно подал бы?

Дашенька сидела, едва сдерживая слезы, — ей жалко было памяти брата, но она не могла не думать и о тех двух людях, что — во имя искупления своей вины перед мертвым! — должны были быть осуждены. Она никогда не любила Зину, считая ее слишком резкой и какой-то замкнутой, слишком обособленной, а над ее трагедией до сих пор она как-то не задумывалась, хотя именно здесь она вдруг вспомнила о гибели Мишки и о том, как охладела Зина к людям после его смерти. Но ей было противно представить себе Зину в тюрьме. Неужели нет других средств наказать провинившегося человека? Ей было жалко Фросю, и вместе с тем она была оскорблена в своих лучших чувствах — ей стыдными казались теперь все ее хлопоты по устройству Фроси и ее детей. Ее детей? Что теперь с ними будет? Если Фросю осудят, детей ждет детский дом до совершеннолетия или до выхода Фроси из тюрьмы. Ох, не было бы этих проклятых облига-

ций, и Даша могла бы по-прежнему верить всем людям без оговорок, без оглядок, как верила в те дни, когда рекомендовала Фросю на свое бывшее место в сберегательной кассе. Может быть, впервые Дашенька задумалась о сложности жизни и взаимоотношениях людей, каждый из которых не похож на другого, у каждого из которых была своя жизнь, свои взгляды, свои представления о хорошем и о плохом, у которых были свои тайные уголки в душе, где вдруг мог случиться обвал, крушение, катастрофа, готовые погубить человека. Как-то впервые для нее ходячая фраза — пережитки прошлого в сознании людей! — обрела конкретное, жизненное содержание. Жить за счет других — это и обозначало пресловутые пережитки прошлого, где жить за счет других было законом жизни. А Фрося и Зина хотели сделать именно это самое — за счет других...

Заведующий сберегательной кассой сидел, ссутулясь, не глядя ни на кого. Разиня, болван, чурка с глазами, либерал, шляпа, дурень, растяпа, размазня, слепой котенок! — примерно к этим энергичным и хлестким наименованиям сводились все его мысли о данном процессе и подсудимых: черт его дернул тогда доверить сверку сертификатов и вскрытие сейфов этому идиоту — председателю профкома. Было же все до сих пор в ажуре! Почему? Потому, что сам за всем следил! Вот и все! Надо не этих баб судить, а его! Впрочем, заплатит по счету и он: либо перевод в районную кассу, либо на рядовую работу — с его опытом, в его годы!..

Что касается идиота, то он сидел на свидетельских местах, как на местах президиума торжественного собрания, — высясь всей своей тушей, как монумент, как скала, как гранитный утес, чувствуя себя опорой правосудия, которая не позволит этому правосудию схлюздить, снизить меру наказания, — только самую высшую кару, какую можно присудить по этому делу! Так обмануть его! Да за одно это уже надо судить и судить!..

У Фроси все лицо запухло от слез, она стала просто неузнаваемой. Не помогли и ни прическа, ни пудра, которыми Фрося, по дружескому совету Зины, хотела как-то прикрыть свое горе и отчаяние, свой страх и полную растерянность, — пудра лежала неровно, красные пятна проступали через ее слой, и Фрося стала пятнисто-розовой. Она почти ничего не видела. Все расплывалось в ее глазах. Увидев Вихрова за столом суда, она удивилась и решила почему-то, что теперь все дело пропало! Вытирая слезы, она с надеждою глядела на молодого, привлекательного судью с такими живыми глазами, с такой парубоческой прической, что то и дело пряди длинных темных волос падали ему на лоб и застилали эти глаза. Она горько пожалела о том, что не была достаточно

хороша с Вихровым, — теперь учитель на ней отыграется: что может он сказать судье, кроме радости?

Зина выглядела как всегда. Если не считать того, что ее щеки осунулись и она немного побледнела. «Голубка моя! Что ты наделала!» — хотелось крикнуть Вихрову при виде Зины, но этого нельзя было сделать! Вся фигурка ее стала тоньше, еще стройнее, лицо было словно прозрачным. Она еще больше побледнела, увидев Вихрова, закрыла было глаза, но потом овладела собой. И взглянула вверх, на стол для членов суда. Она взглянула на Иванова, и ей стало как-то зябко — так вот этот грозный судья, о котором рассказывают легенды, что он видел в жизни, что испытал, что он знает о людях, мальчишка, потерявший руку, но приобретший страшную власть именем закона. Она взглянула и на Вихрова, не задерживаясь на нем, но и не опустив глаз, когда он тоже взглянул на Зину, почувствовав, что она смотрит на него. Ее взор был спокойным — она словно говорила ему: «Прости! Я оступилась, но я приму любое наказание! Не презирай меня. Я и так упала! Не забывай меня — там, где я буду, мне очень нужна будет уверенность в том, что я осталась для тебя Зиной, а не обвиняемой, не подсудимой, не заключенной, а просто Зиной, которая тебя любила и любит!» О-о, как много можно сказать одним взглядом, если он встретит отзвук, отголосок в другом взгляде!..

14

В распланированном заранее распорядке судебного заседания сразу же после зачтения обвинительного заключения произошла какая-то заминка. Народные заседатели — «какой неудачный состав!» — невольно подумала секретарь суда и подняла извиняющиеся глаза на судью Иванова, чтобы встретить его сердитый молчаливый выговор глазами же, — народные заседатели проявили слишком большой интерес к делу...

Заседатель Лозовой вдруг стал спрашивать о семейном положении подсудимых. На эти вопросы Быкова отвечала: была замужем, муж погиб на фронте в 1942 году. Лунина ответила: вдова, муж погиб на фронте в 1945 году. В 1945-м? Да! Похоронку получила в самый День Победы!

Озадаченный активностью заседателя, судья написал ему записку: «Товарищ заседатель! Я думаю, затягивать процесс не следует. Со всеми анкетными данными можно ознакомиться в судейском помещении, во время перерыва! Ив.»

Однако Лозовой прочитал записку и опять спросил:

— Можно вопрос к Быковой?.. Были ли у вас какие-либо проступки в прошлом? Нет... Так... Вопрос к свидетелю...

извините, забыл фамилию... заведующему сберкассой: вы можете это подтвердить? На каком счету была Быкова в рабочем коллективе?.. На хорошем. Так.

Судья Иванов, не меняя своего положения,— а сидел он, откинув назад голову и развернув узенькие плечи как можно шире,— вдруг поднес к губам правую руку и принялся нервно обкусывать ногти. Эта поза, этот профиль, это движение вдруг что-то смутно напомнили Вихрову — и он готов был поклясться, что где-то уже видел этого молодого человека, и видел в затруднительном положении. Он стал возиться на полочках своей памяти, перебирая какие-то очень уж давние воспоминания, покрытые толстым слоем пыли. Что-то так и вертелось в его памяти, но он никак не мог возбудить в себе никакой ассоциации, связанной с таким же покусыванием ногтей. Кто же так покусывал ногти? Именно за это однажды Вихров кому-то когда-то делал замечание...

А Лозовой спрашивал уже у Луниной:

— Сколько времени вы работали на этой работе? Так — девять месяцев. А на какой работе вы были раньше? Так — кассиршей катка... Так...

— Я предупреждаю народного заседателя товарища Лозового: задавайте вопросы по существу дела! — не выдержал судья, обменявшись взглядом с прокурором, который неодобрительно поглядывал на Лозового и пожал плечами в адрес Иванова — чего ты их распустил, судья?

— А я по существу! — вежливо сказал Лозовой. — Больше вопросов не имею!

Но теперь вопросы были у народного заседателя Вихрова:

— Были ли поощрения и выговоры у обвиняемых?

— Пользовались ли доверием обвиняемые в коллективе?

— Почему к вскрытию сейфов были допущены лица, не компетентные в сберегательном деле, в частности председатель местного комитета?

— Есть ли дети у Луниной и сколько? Есть ли у нее родственники?

— Откуда, от кого обвиняемая Быкова получила сведения о погибших?

И судья со все нарастающим раздражением слушал, что до момента совершения преступления обвиняемые были на хорошем счету в коллективе — взысканий не имели, поощрения получали, что председатель месткома оказался у сейфа из-за халатности заведующего, который хотел облегчить себе работу, что у Луниной есть двое детей — сын Геннадий, двенадцати лет, и дочь Зоя, двух лет, и что родственников у нее

нет, кроме несовершеннолетних детей, что Быкова использовала слухи о погибших...

«Слушай, дружище! Что это ты комедию устраиваешь? — написал прокурор судье. — Я тебя не узнаю!»

Секретарь суда кидала на Вихрова откровенно сердитые взгляды — дело явно затягивалось: приходилось оставить надежды на то, чтобы сходить сегодня после заседания в кино, а после кино прогуляться по берегу реки...

Вихров чувствовал это настороженное, предвзятое отношение к себе, но гнул свою линию. Речь сейчас шла не о Зине и Фросе! Он чувствовал себя вправе быть и внимательным и строгим, он должен был не только сам разобраться в существе вопроса, но и что-то объяснить судье и заседателю — на скамье подсудимых сидели не преступники, а споткнувшиеся люди, на скамье подсудимых сидели не чужие люди, от которых общество стремилось избавиться, а свои, но преступившие закон, на скамье подсудимых сидели не агенты и пособники врага.

Уже смеркалось, когда закончились прения сторон.

Вихров почти не слышал речи обвинителя — она целиком повторяла обвинительное заключение, с которым он уже ознакомился дважды, и прокурор был сбит с удара — у него были свои планы на остаток дня. Он сказал то, что должен был сказать. Но и защитник вышел из игры, все правила которой были нарушены резвостью заседателей, — он говорил много и много раз повторял слова «классово не чуждые!», каждый раз обращаясь к Фросе и Зине. Зина все видела и со знавала. Она чувствовала, что с Ивановым что-то происходит, что, быть может, в их судьбе что-то может измениться, но уже не надеялась ни на что, боясь надеяться!

Когда было предоставлено последнее слово подсудимым, Фрося заревела белугой, не будучи в состоянии что-либо понять и уже прощаясь с жизнью. Ей дали воды, успокоили, и она сказала, что виновата, что ее надо казнить! Так и брякнула — казнить! В публике произошло движение, кто-то рассмеялся, кто-то всхлипнул — кажется, Людмила Михайловна Аннушкина, у которой в доме приютилась на время суда Зойка. Зина сказала, что она полностью признает себя виновной не только в подлоге, но и в том, что вовлекла в преступление свою подругу.

Как она посмотрела на Вихрова!

Она прощалась с ним! И как же измученно было ее лицо!

Когда суд удалялся на совещание, Иванов прошел вперед в комнату совещаний, не взглянув ни на кого, сел за столик, лицом к окну, за которым уже была вечерняя темень, налил себе в стакан нарзана и залпом выпил. Он даже отстегнул

нервным движением верхнюю пуговицу военной гимнастерки. Это движение небольшой руки, на темном фоне окна, вдруг напомнило Вихрову классную комнату, и черную доску, и это лицо. Это было лет шесть назад! Ах, это же Костя Иванов, который не придавал в девятом классе значения русскому языку! Вот так встреча.

— Простите, товарищ Иванов! — сказал Вихров. — Вы не учились в тридцать девятом году в школе номер десять?

— Учился! — ответил Иванов и тоже узнал Вихрова, хотя на его голове уже не было светло-золотистых волос, что так привлекали учениц старших классов в преподавателе литературы, на груди которого были такие славные значки — ГТО, парашютиста и ворошиловского стрелка. Иванов вспомнил и взволнованную речь учителя, огорченного его сочинением, написанным с многими ошибками. Это сочинение было зажато в одной его руке, а сложенными пальцами второй он легонько постукивал по трубочке, в которую превратилось его сочинение. Кажется, эта речь запомнилась ему, как запоминаются стихи:

«В своем «Предисловии к Грамматике Российской» Ломоносов написал: «Карл Пятый, король Гишпанский, говаривал, что Гишпанским Языком — с Богом, Италианским — с женским полом, Французским — с друзьями, Немецким — с неприятельми изъясняться пристойно. Но, ежели бы он изрядно Языку Российскому был обучен, то к сему присовокупил бы, что им со всеми оными пристойно изъясняться, ибо нашел бы в нем нежную прелесть Эллинского и сильную в выражениях краткость Латинского, и что приятное Вергилиево витийство, и красноречие Цицероново имеют в нем выражение достойное. И, если чего выразить не сумеем, не Языку нашему, а недостаточному в нем искусству приписывать долженствуем!.. Кто от часу все далее в него углубляется, тот видит пред собою безмерное поле, а — вернее сказать — море, пределов не имеющее!» Вот так, друзья! Над этим стоит подумать!..»

— А вы почти не изменились! — сказал Иванов.

И Вихров не понял, что хотел сказать этим судья, в свои двадцать шесть лет завоевавший репутацию Страшного Судьи...

Давно секретарь суда не видела таких заседаний.

До сих пор они проходили просто. Судья зачитывал уже написанный приговор, заседатели подписывались. Потом у состава суда было время немного посидеть, отдохнуть, пере-

кинуться кое-какими замечаниями по поводу погоды, по поводу каких-то личных дел. Дел же подсудимых никто не касался — все было сказано в обвинительном заключении, а затем в приговоре. Может быть, никто не касался этой темы и потому, что неизменно приговоры, выносившиеся Ивановым, были суровыми — он шел на все требования обвинения, не раздумывая над ними. С его точки зрения — обвинение всегда было право, а задачей суда, как он думал, было узаконение этого обвинения. Таким образом достигалась удивительная гармония между Ивановым и прокуратурой. Однако заседателям не всегда нравилось чувствовать себя только палкой, которая больно бьет. Но так как судья обрывал все сомнения и размышления в самом начале, то говорить об этом было невозможно, значит, оставалось время на личные разговоры... Сомнения в справедливости приговора приходили заседателям позже, когда над ними не висел авторитет Иванова, дома, в постели...

Едва Вихров, по известным уже соображениям, потребовал переквалификации преступления, — грянула буря.

У Иванова налилось кровью лицо и стала подергиваться правая щека — следствие контузии или ранения. Он сказал тихим, низким голосом, на который секретарь суда обернулась обеспокоенно и даже с некоторым испугом:

— Собрались, понимаете, какие-то судьи, какие-то следователи, какие-то прокуроры, ничего, понимаете, не смыслят в криминалистике, в судопроизводстве, в законах!! Да? Ну, поучите, поучите нас, как надо карать, как надо расследовать преступления, как надо квалифицировать преступления, как надо соблюдать революционную законность!! Да? — голос его все крепчал и становился выше с каждым словом. Кончил он криком. Казалось, его охватит сейчас истерика. Он рывком расстегнул воротник гимнастерки. — Мы на фронтах кровь проливали, жизни своей не щадя, а в тылу разные fifы да отсидевшиеся от войны господа жиры копили, как сыр в масле катались... И мы их щадить будем?! Нет, заседатель Вихров, мы их щадить не будем! Не будем!

Секретарь суда с сочувствием, и страхом, и с жалостью смотрела на Иванова. Она налила в стакан нарзану, но не решилась протянуть стакан судье и так и стояла со стаканом в руке.

Но по мере того как накаливался Иванов, Вихров стал спокоен. Истерика Иванова показывала только то, что он сознает правоту Вихрова, но унижен в своем достоинстве, оскорблен в своем детском доверии следствию и прокуратуре и, в общем, очень слаб в судебном разбирательстве, сводя его к утверждению того, что было зафиксировано в обвинительном заключении, и не заботясь о выяснении полной картины

преступления на суде и, тем более, того, что за люди предстали перед ним... Он наслаждался властью и своей, в общем некрасивой, репутацией, сомнительной для советского судьи...

— Не надо демагогии, товарищ Иванов! — сказал Вихров тихо.

Секретарь суда посмотрела на него с ненавистью:

— Вы больно много себе позволяете... гражданин! Черт знает что такое! Товарищ Иванов! Надо проверить, кто этот заседатель? Надо проверить! Я выражаю ему недоверие, товарищ Иванов!

Иванов посмотрел на нее:

— Не валяйте дурака!

Лозовой, несколько удивленно посмотрев на Иванова, как-то очень просто, буднично сказал ему:

— Вы бросьте, товарищ, характер показывать! Дело идет о судьбе людей, а не об игре в шашки. Тут каждое слово вес имеет, а вы — законники! — трах с верхней полки, понимаете...

Иванов опять налился было кровью и раскрыл рот. Но Лозовой взял стакан с нарзаном из рук остолбеневшей секретарши и подал судье, махнув рукой: «Не волнуйся, не кипиться!» Он тоже хорошо понял судью — тому казалось потерей марки, потерей престижа, может быть, и потерей чутья отложить в сторону обвинительное заключение и придать делу, которое так раздуло следствие, не любящее пустяков, — каждому здесь, естественно, хотелось отличиться! — характер обычного служебного уголовного преступления, не сулящего никаких лавров ни следователям, ни прокурору, ни судье...

Оба заседателя были против готового приговора! Орлиный полет судьи-карателя, кажется, обрывался. Беспрецедентный случай. Это был скандал, и Иванов понимал это. Есть, конечно, выход — перерыв до завтра, завтра возобновление судебного заседания с новыми заседателями. Но и это — скандал. Можно записать особое мнение заседателей, но приговор огласить. Это нарушение Конституции — то есть тоже скандал! Иванов криво усмехнулся и впервые подумал, что, кажется, напрасно он принимает на веру наметки обвинения, автоматически соглашаясь на его квалификацию преступлений. Что он, собственно, этим достигает, — задал он себе вопрос, — только то, что укрепляет авторитет непогрешимой прокуратуры: значит, работали хорошо, если суд выносит приговор в полном соответствии с предложенными статьями обвинения! Он сказал:

— А если я не соглашусь переqualифицировать преступление?

Вихров спокойно сказал:

— Тогда я обращусь в судебный надзор с жалобой на неправомерные действия судьи. Мне кажется, и товарищ Лозовой меня поддержит...

Лозовой помялся-помялся, сделал несколько глубоких затяжек папиросы, выпустил дым, окутавшись облаком, помедлил, но затем со вздохом вымолвил:

— По справедливости, конечно...

— Это черт знает что такое! — опять сказала секретарь суда, совершенно сбита с привычных представлений. Это был бунт, давление на судью! — Я буду звонить в прокуратуру! — сказала она.

— Сядьте! — резко сказал Иванов, и секретарь села. Иванов спросил Вихрова: — Что вы предлагаете?

— Вы мне разъяснили, что личная собственность граждан, находящаяся на сохранении в государственном учреждении, не становится собственностью государственной, то есть социалистической. Значит, преступление совершено против личной собственности?

— Допустим!

— Обвиняемые имели доступ к сейфам, в которых хранилась эта личная собственность, находящаяся под защитой государства. Значит, они, кроме кражи, совершили служебное преступление, используя свое положение?

— Допустим!

— Это статьи, отягощающие вину обвиняемых. Но есть обстоятельства, облегчающие их вину...

— Бывает и так!

— Чистосердечное раскаяние и признание обеими обвиняемыми своей вины полностью. Отсутствие в прошлом каких-либо проступков. Семейное положение одной из обвиняемых, которая была вовлечена в преступление и не являлась инициатором его, а соучастником, — осуждение матери заставит детей потерять семью. Может все это иметь значение при вынесении приговора?

— Может...

— И последнее: степень вины подсудимых различна. Один разработал план и осуществил его. Второй помогал. Может это иметь значение при вынесении приговора?

Иванов вдруг усмехнулся. Вихров заметил, что по мере этого разговора судья все с большим вниманием присматривался к нему, и почувствовал себя неловко: вот как подберет сейчас строгий судья к нему статью — за оскорбление суда, что ли, наверное есть такая! Но теперь ему уже было все равно — он ощутил вдруг такую усталость, что с трудом сидел на стуле... И, как всегда бывало это с ним в таких случаях, у него стали сами собой закрываться глаза и сильная головная боль ударила в виски.

— Карл Пятый, король Гишпанский! — сказал Иванов с непередаваемым выражением и опять усмехнулся чему-то, отвечая каким-то своим мыслям.

— Вы не забыли? — слабым голосом спросил Вихров.

— А вы забыли про подлог! — Иванов отошел к окну и повторил: — Подлог! Отягощающее вину обстоятельство! — Он долго молчал, глядя в окно. Потом добавил: — Подлог есть доказательство заранее обдуманного намерения...

В комнате нависла тишина.

Лозовой сосредоточенно курил. Секретарь рисовала на бланке какие-то черточки, кружочки, линии, не зная, как отнестись ко всему тому, что здесь только что произошло, не зная, как поведет себя Иванов — Строгий Судья. Вихров облокотился на стол и стал пощипывать переносицу, но это стародавнее азиатское средство от головной боли не действовало — голова просто раскалывалась на куски. Иванов посмотрел на часы — без двадцати двенадцать ночи! — и покачал головой. Прежней бодрой, щегольской походкой он прошелся по комнате, вздернул вверх свой орлиный клюв и сказал обычным своим тоном — тоном приказа:

— Товарищ секретарь! Пишите: «При-го-вор. Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики народный суд первого участка Н-ского района города Н, рассмотрев дело по обвинению Быковой Зинаиды Петровны (далее анкетные данные) и Луниной Ефросиньи Романовны (далее анкетные данные) в совершении преступления, предусмотренного статьями...»

16

Дороги Фроси и Зины разошлись в ту минуту, когда был вынесен приговор. «Восемь лет заключения!» Зина услышала только это; все остальное, что содержалось в оглашенном приговоре, не доходило до нее, связь слов распадалась, они витали в воздухе, как крупные хлопья первого снега, — пять часов ушло на совещание суда, все это время Фрося и Зина сидели в томительном ожидании, не разговаривая ни с кем и не видя друг друга, голодные и жаждущие. Фрося же вообще ничего не поняла. Смысл приговора дошел до нее только тогда, когда из-за стола суда все куда-то исчезли, Зина встала и, простившись с ней кивком головы, на который Фрося и не ответила, ушла, но не одна, а под охраной милиционера, который повел ее в карету, которую знали в городе под романтическим названием «Черный ворон» или под более игривым — «Я тебя вижу, ты меня — нет». А к Фросе подошла

Людмила Михайловна Аннушкина с заспанной Зойкой на руках. Суд учел тяжелое семейное положение Фроси, ее неразвитость, ее подчиненность Быковой в некрасивом деле и вынес ей условный приговор на три года, с запрещением работать в кредитных учреждениях.

Фрося судорожно схватила Зойку и, словно боясь, что ее вернут сюда, чуть не бегом полетела домой. Домой! Она вслух сказала это слово и поразилась его смыслу. Домой, а не в тюрьму!

Тут она вдруг вспомнила Зину и сообразила, что ее бывшую подругу везут сейчас в тюрьму. И вся злость Фроси против Зины вдруг угасла, и она подумала невольно: «Надо бы передачку ей сообразить!»

Вихров замешкался немного возле здания суда, чтобы хоть одним глазом увидеть Зину. Он не считал своей заслугой, что страшный приговор миновал Зину, — будь на месте знакомых Вихрову людей другие, он все равно сделал бы то, что сделал: ведь речь шла о справедливости не в отношении Зины, а о справедливости вообще, как принципе. Но он опоздал. За Зиной уже захлопывалась дверца кареты с решетчатым окном. Вихров увидел лишь плечо Зины, ее бледную щеку с ушком, за которое были заправлены темные волосы. Милиционер уже стоял на ступеньках трапа и торопил привычно и равнодушно: «Давай! Давай! Чего стала? Не международный вагон, знаешь!» Очевидно, осужденного можно было называть на «ты», и — очевидно — с ним не надо было держиваться каких-то норм вежливого человеческого обращения...

— Вам в какую сторону? — спросил его Иванов, незаметно подошедший к Вихрову, и взял его под руку.

Он услышал вдруг хриплое, трудное дыхание заседателя, какие-то сипы, какую-то музыку в его груди. Вихров низко опустил голову, прижимая подбородок к ключицам. Глаза его обметало враз темными кругами. Ноздри с силой вдыхали воздух. Плечи были подняты, чтобы как-то облегчить сильное удушье. Он выглядел несчастным и больным — словно не он, а его младший брат час тому назад готов был воевать с целым светом за справедливость.

— Вам плохо? Чем я могу помочь?

Вихров только помотал головой еле заметно: «Спасибо, спасибо, мне ничего не нужно, я сам, я привык, мне недалеко до дома». Все это разумелось, и все это Вихров не сказал вслух. Вслух же он сказал только то, что было очень важным и для него, и для Иванова:

— Вы вынесли очень справедливый приговор, товарищ Иванов!

Иванов усмехнулся своей несколько обидной усмешкой и кивнул головой. Может быть! Может быть! Он и сам думал так. И был бы доволен, если бы в тот самый момент, когда он готовился уйти из зала суда, ему не позвонил прокурор, который раздраженно и недоуменно сказал Иванову:

— Слышал вынесенный вами приговор! Из вас выйдет неплохой заведующий детским садом, товарищ Иванов! Буду ходатайствовать, как только место станет вакантным!

Очень возможно, что Иванов и не перейдет в прокуратуру после этого короткого разговора...

Темная ночь нависла над городом. Плотные белые облака укутали небо. Где-то за их толстой пеленой бродила луна и не находила дороги к городу — лишь чуть-чуть начинал брезжить ее свет неясным пятнышком где-то наверху, но тотчас же там опять все затягивало.

Останавливаясь, держась за железные оградки тополей на улицах, унимая бешено колотящееся сердце, томительно долго выдыхая воздух, который распирает его грудную клетку, согнувшись столетним стариком, Вихров долго добирался до дома. Как ни храбрился он перед Ивановым, ему, конечно, была нужна помощь. Но он не любил, когда ему помогают: у каждого барона своя фантазия...

В окнах Фроси было темно. Она, видимо, как пришла, так и повалилась на постель, может быть даже не раздевшись, измученная нравственно и физически.

У Вихрова не стало сил подняться по лестнице.

Он привалился к перилам, скрестив руки на брусках, положил голову на руки и боялся шевельнуться, чтобы не усилить приступ. Покой! Полный покой! Надо выключить сознание! Ни о чем не думать! Дышать очень маленькими порциями воздуха... Как колотится проклятое сердце, словно хочет выскочить из груди...

Он не слышал, как открылась дверь и на веранду вышла мама Галя. Скорее почувствовав, чем увидев папу Диму у крыльца, в горестной позе многострадального Иова, она сказала насмешливо:

— Засиделся у любимого местечка, папа Дима?

И тут услышала, как он дышит.

— Э-э-э! — сказала она. — Уговору такого не было, папа Дима! Что же это ты выдумал? — Она, неслышно ступая босыми ногами по лестнице, подошла к нему, положила его руки, разняв их, себе на пояс, чтобы он мог не разгибаться, и сказала: — Поехали! Тише едешь — дальше будешь. Ну! Раз, два — взяли... Топай, топай ножками... Сейчас я медсестру вызову... С чего это ты? Разволновался, что ли?

— М-гм! — сказал папа Дима и вдруг сел на ступеньки. — Я не могу идти. Посижу. Пройдет. Иди. Я тут. Побуду...

Мама Галя оставила его на ступеньках и пошла звонить в поликлинику.

Вихров сидел один. Ему было очень тяжело. Не физически, — хотя бронхиальная астма не сахар! — а душевно. Он вспоминал суд с первой до последней минуты, все, что было сказано, все, что было сделано. И все это привело Зину к восьми годам лишения свободы. Восемь лет...

Он глядел вокруг, и тьма казалась ему красноватой от сильного прилива крови. Красная мгла и ничего больше — ни домов, ни двора, ни тротуара, ни забора, ни ворот, ни калитки, ни деревьев. Впрочем, деревья были тут, рядом. Их кроны раскачивались, их листва шумела все сильнее и сильнее. С Амура прибежал ветер, дунул, привел в движение листву, и траву, и какие-то мусорные бумажки, зашуршавшие по ступенькам и траве, и усилился и зашумел сам с каждой минутой слышнее...

Глава четырнадцатая

СЫН СТРЕЛЬЦА И МАРСА

1

Послевоенный мир выглядел не так, как представляли его себе те, кто воевал за мир во всем мире, воевал за то, чтобы больше не было войн...

Однако от капиталистического мира откололся большой кусок.

Режимы народной демократии в Польше, Румынии, Чехословакии, Болгарии, Венгрии укреплялись, и всем было видно — Советский Союз уже не одинокий остров в капиталистическом море, хотя кое-кто и мечтал и кое-что и предпринимал затем, чтобы вернуть эти страны к прежнему.

Не везде восторжествовала народная демократия там, где народы хотели этого.

Наши союзники везли в своих обозах правителей из ряда «Что прикажете?». И ряд государств был разделен — в одной их части народные вожди, прислушиваясь к мечтам народа, закладывали фундамент нового строя — без эксплуататоров, в другой — импортные вожди, прислушиваясь к голосу своего хозяина, возвращали старые порядки и старых эксплуататоров. Новые границы пролегли в этих странах — границы между идеологиями.

Престарелый Конрад Аденауэр возглавил Западную Германию и немедленно привлек к участию в строительстве «Новой Германии», пока тайно, старых немецких заправил — Тиссенев и Круппов. По тридцать восьмой параллели пролегла эта граница в Корее: престарелый Ли Сын Ман, воспитанный и выросший в США, поддержанный американскими друзьями, установил в Южной Корее режим ничем не лучше японского, но тем более горший, что народ жаждал свободы, а не рабства, хотя бы и под руководством заокеанского соотечественника. Эта граница пролегла и в джунглях Вьетнама, который сбросил с себя французскую вывеску — Аннам, и Нго Динь Дьем взял на себя грязную работу — ввергнуть свою страну в ярмо нового рабства. В Лаосе возникла зона свободы — Патет-Лао. В Камбодже кипела политическая борьба. Голландские колонизаторы мертвой хваткой вцепились в Западный Ириан, если уж не удавалось удержать всю Индонезию. На Кипре епископ Макариос возглавил борьбу Сопротивления, на этот раз не против немцев, а против англичан. Йемен, Иордания, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Тунис, Алжир, Кения, Родезия — бродили, как в котле.

Идея национальной независимости овладевала умами африканцев, на каком бы языке они ни говорили. И недалек был час, когда к единственному независимому африканскому государству Либерии, образованному более ста лет назад неграми, выходцами из Америки, вернувшимися на землю своих отцов, могли прибавиться новые государства — вопреки Франции, Англии, Голландии, Португалии, Испании, которые черпали богатства Африки, как из собственного кармана, многие десятилетия удерживая коренное население ее на уровне позднего дикарства. В Китае престарелый Чан Кай-ши, теперь один из четырех мультимиллионеров, державших в кулаке всю экономику, все хозяйство великой страны, нарушил перемирие и развязал гражданскую войну против нового Китая.

И опять лилась кровь.

Битвы, где умирали люди, проливая эту кровь, буржуазная печать именовала изящно «локальными конфликтами», если драку начинали американские выкорымыши, или «происками международного коммунизма», если народы восставали против этих выкорымышей. И неизменно, как тень, за всеми этими локальными конфликтами торчала долговязая фигура дядюшки из-за океана, который все больше и больше входил во вкус залезания в чужие дела — везде, где представлялся для этого самомалейший повод.

Аппетит приходит во время еды! — мир получил возможность убедиться в справедливости этой поговорки во всемирном масштабе.

Но даже американское оружие, «лучшее в мире», даже американские советники, «самые осведомленные из всех советников», даже американские генералы, «самые победительные из всех генералов», ничего не могли сделать против народов, которые устали от междоусобиц и от грабежа иностранными и своими кровососами...

Марс отложил в сторону свой длинный меч, но коротким продолжал ворошить мир то здесь, то там...

2

Сколько Генка пролежал под брезентом, он не знал. Он мог бы лежать там, наверное, долго, — так силен был его страх перед теми подлежащими, что посетили квартиру Фроси, как думал Генка, по поводу «Черной кошки». Он готов был не только лежать — он готов был провалиться сквозь землю, вжаться в доски палубы, раствориться в воздухе, лишь бы оказаться подальше от дома.

Он был еще достаточно наивен, чтобы надеяться убежать. Но от себя не убежишь, и Генка вновь переживал их с Гринькой шутку, вспоминал, как сначала смешно, а потом страшно кричала та дура, которую не научили в школе, что нужно делать, когда раздается возглас — кошелек или жизнь! — просто бить головой в живот или ногами по коленкам или сказать: «Чур меня не в счет!» Вот и все! А теперь вот изволь корчиться под этим гадким брезентом, который к вечеру что-то слишком нахолодал, изволь слушать, как бурчит в пустом брюхе, изволь терпеть, когда мочевой пузырь так и распирает...

Равномерно шумели винты машины, чуть дрожал корпус корабля. Где-то ходили, разговаривали люди. Откуда-то донесся стук тарелок, веселый смех, понесло запахом пищи: вот, понимаешь, едят, и им наплевать на то, что тут, под боком, человек начинает помирать с голоду! Вот люди! Разве это люди, понимаешь!

Генка довольно благополучно освободился от жидкости, примерившись выпустить ее как можно дальше из-под брезента. Но тут его еще больше стал мучить голод. Ему приходилось слышать, что в подобных случаях потерпевшие кораблекрушение, или попавшие в плен к дикарям, или занесенные обвалом — питаются кожей поясов или обуви и таким образом спасают жизнь. Он потянул в рот свой кожаный ремень. Пожевал-пожевал — горько. Сильно запахло дубите-

лем. Он сплюнул длинную желтую слюну. Черт их знает, этих попавших в плен к дикарям, как они едят эти ремни?

Так он добрался до Ленинского.

Как ни хотелось ему вылезть, услышав шум машин, сигналы автомобилей, звон склянок военных кораблей, стоявших на рейде в Ленинском, переговоры в мегафон с мостика «Маяковского» с кем-то на берегу, он затаился еще крепче. Покажись только, сейчас — в тюрьму! У них это просто: раз, два — и готово! У кого у них? Сейчас «они» — были все, кроме Генки: от дуры с злополучной сумочкой до первого же матроса теплохода.

Но теплоход не бросил якоря. Скоро шум берега стал утихать. И опять Генка слышал только покряхтывание цепей руль-машины, да глухой гул судового двигателя. Понемногу стихала жизнь и на борту. Все реже слышались шаги. Все реже слышались голоса.

Настала ночь. Генка продрог. У него зуб не попадал на зуб от ночной и речной прохлады. «Замерзну я тут!» — с чувством глубокой жалости к своей преждевременно угасшей жизни подумал он. И живо представил себе, как его обертывают брезентом, как привязывают к ногам колосники и бросают за борт. Именно так хоронят тех, кто умер на борту судна. Генка немного задумался над тем, что такое колосники? Он знал, что колосники имеются в топке печи, для тяги из поддувала. «Ну, да привяжут, конечно, если помер. Пусть только не привяжут! Раз положено — значит, привяжут! А как же печка? Она же топиться не будет, без колосников...» Тут было что-то не вмещавшееся в сознание Генки, и он оставил заботу о печке — пусть думает над этим команда теплохода! Найдут что-нибудь взамен... А необходимость в печке Генка явно ощущал, еще большую, чем в колосниках, — его трясла дрожь.

Часы проходили за часами. Пребывание под брезентом становилось нестерпимым. И Генка вылез.

Черная ночь обнимала землю. Все слилось в этом мраке — река, берега, теплоход, небо. Генка пошарил в небе глазами и ничего не увидел — кромешная тьма или, как сказала бы бабка Агата, тьма египетская. Не было огней и на теплоходе — в Маньчжурии до сих пор не было снято военное положение, а теплоход уже шел в водах Сунгари — осторожно, словно на ощупь. Вода, поднявшаяся в августе так высоко, что советские суда с глубокой осадкой свободно поднимались по Сунгари вплоть до Чаньчуня, — такого паводка не было ни разу за последние семьдесят пять лет, — эта полая вода стала спадать. Течение было сильным, появилась опасность обмеления, и капитаны строго придерживались фарватера. Генка услышал чей-то монотонный голос, доносившийся с носа. По

борту, крадучись, чтобы не быть замеченным, Генка пошел вперед. Кроме голода его разбирало и острое любопытство — ведь он впервые оказался на крупном судне, — как и что тут?

Впереди что-то зачернело.

Пригнувшись к борту, Генка увидел, что неподалеку от него у самого борта со снятыми ограждениями стоит матрос. Он кидает в воду какой-то шест на веревке. Вынимает его и, чуть освещая маленьким фонариком, осматривает. И раздается его монотонный голос: «Сто двадцать пять! Про-онос!», «Сто десять! Про-онос!» — и так до бесконечности. Кто-то наверху сказал очень ясно: «Тут должен быть знак по лощии! Дайте прожектор вперед и влево!» Кто-то наверху переступил с ноги на ногу, кашлянул, сплюнув за борт. Генка опасливо поднял голову вверх. Нет, на него никто не смотрел, хотя Генка угадал, что там, на капитанском мостике, стоит не один человек. Кто-то даже облокотился на парусиновый фальшборт и постукивал по нему пальцами с внешней стороны.

Яркий сноп света с мостика ударил в низкий берег, мгновенно выхватив из мрака песчаный приплеск, черную воду, бледно-зеленые деревья, полуразрушенную фанзу с решетчатыми окнами, упал на воду, заставив ее засветиться изнутри, метнулся влево-вправо, застыл на каком-то полосатом столбе со ступеньками, что валялся на берегу. «Сняли!» — сказал кто-то вверху. «Что бы это значило?» — спросил другой. Луч погас. Погасло все вокруг, и на мгновение Генка перестал видеть, будто ослеп. Он инстинктивно закрыл глаза рукой, чтобы вернуть себе способность видеть. «Один двадцать!» — вдруг звонче закричал матрос с шестом, и в голосе его послышалось предупреждение. «Дайте самый малый!» — сказали наверху, и Генка услышал мелодичный перезвон судового телеграфа. «Морзянку на берег — где знаки, как держать?» — опять сказал первый. И тут над головой Генки замигали, заплясали огоньки. И Генка ясно увидел мальчишеское лицо матроса в американской штормовой курточке с «молнией» и капюшоном, который чем-то щелкал в руках, открывая и закрывая свет сильного электрического фонаря. Едва он кончил передачу, как на берегу тоже замигали, заиграли такие же огоньки. «Подмыло знаки, ведем восстановительные работы. Держите строго по фарватеру. Через триста метров — левее, на одиночное дерево, затем правее — на кумирню. Дальше — по фарватеру, по знакам. Сильных изменений фарватера нет. Вахтенный старшина второй статьи Божок», — прочитал сигнальщик.

Как ни интересно было все это — Генку трясло, как в лихорадке, потому что от воды так и несло холодом, да и над

водой веял вовсе не теплый ветер. Генка прижался к какой-то переборке, теплой на ощупь — может быть, это был камбуз? — но почти рядом хлопнула дверь, кто-то вышел на палубу и застучал каблуками, то ли радуясь чему-то и приплясывая, то ли тоже продрогнув. Генка опрометью кинулся в свое укрытие. Человек повернулся и пошел в ту же сторону. Генка забился как можно глубже, страх пересилил в нем все иные чувства и побуждения.

И едва он улегся между стенкой и носилками, как по всему корпусу разнесся глухой удар, скрежет металла о камни, громкий звонок телеграфа, не менее громкое чертыханье с мостика, потом во всех помещениях раздался звонок аврала, и теплоход стал.

Носилки сдвинулись от толчка с места, рухнули вниз и придавили Генку. Что-то его двинуло сильно по черепу, отчего у него уже не фигурально посыпались искры из глаз. Ноги его зажало между носилками и чуть не вывернуло на сторону. Грудную клетку сдавило так, что он чуть не потерял сознание. Кажется, сыну Марса и Стрельца приходил каюк...

— А-а-а! А-а-а! — закричал Генка, не в состоянии издать ни одного членораздельного звука и только крича — дико, несообразно, в паническом ужасе не от воображаемой, а от возможной гибели.

3

...Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Так начинается известная сказка. А кончается она такими словами: и сидит старуха у своей покосившейся избушки, а перед нею — разбитое корыто. Невольно на ум Фросе приходили эти слова, когда она вспоминала все случившееся — ее возвышение, то, как она словно бы становилась барыней, и как пробуждались в ней все новые и новые желания, по мере того как разгорались ее аппетиты, и то, какой гром грянул и как море разбушевалось вокруг нее. В волнах этого разбушеванного моря исчезла Зина. А Фрося осталась перед разбитым корытом...

С работы ее уволили — постановление суда ясно говорило о том, что оставлять Фросю в сберкассе нельзя. А как только уволили ее с работы — тотчас же уволили и Зойку из детского сада, спасибо, что додержали ее там до конца месяца... Вот так! Видно, сколько веревочке не виться, а все кончится...

Суд не предусматривал конфискации имущества подсудимых, и у Фроси остались хорошая комната и в комнате все, что она смогла приобрести за время работы в сберегательной

кассе. Только теперь Фрося по-настоящему оценила свое — увы! — бывшее место, когда пришлось ей бегать и искать новое место.

Связь ее со сберкассой кончилась на том, что ей в последний раз привезли дрова, коль скоро деньги она внесла раньше. Правда, и тут ей пришлось пережить — ее предупредили, что деньги ей вернут, раз она не работает уже. Тогда она побежала в сберкассу. С трепетом переступила она порог операционного зала, не зная, как держаться. Кое-кто не ответил ей на кивок головы, считая ее как бы прокаженной после того, как ее судили. Однако совершенно неожиданно к ней вышла Валя. Поздоровавшись, как всегда, хотя и не очень тепло, она спросила: «Ну, как живете? Где устроились?» И Фросе почудилось, что вопросы эти Валя задает с некоторым даже сочувствием, и удивилась этому — невольно раньше она глядела на Валю глазами Зины, а между обеими контролерами были какие-то то ли нелады, то ли счеты, и она не считала Валю человеком, с которым стоит говорить. Тут же у нее несколько оттаяло сердце, и она робко сказала, что если ей не дадут дров, то она останется на зиму без топлива...

Валя подумала-подумала, потом сказала:

— Пойдемте-ка к Венедикту Ильичу! Если он согласится...

И они предстали перед Основанием Треугольника. Фрося с удивлением увидела, что председатель местного комитета потерял весь свой привычный облик — он будто слинял, усы его не топорщились, щеки не лоснились, руки не упирались в боки, он даже назвал Фросю по фамилии, не исказив ее, хотя и воздержался от слова «товарищ», видимо считая Фросю недостойной этого или еще не решив для себя, применимо ли это слово к человеку, побывавшему под судом и осужденному, хотя бы и условно. Он сидел в своем кресле, как на чужом стуле, в чужом кабинете...

«Что это с ним? — невольно подумала Фрося, и сердце ее упало: ни за что Фуфырь не станет ей помогать, отстранится и ручки вытрет, чтобы не осталось следа. — Будто не меня, а его осудили! Будто в воду опущенный!»

Валя сказала, что Фрося выплатила все деньги за дрова.

Фуфырь задумался, выслушав Валю. Потом как-то робко спросил:

— А вы как думаете?

— Что же тут думать! Надо помочь. Где она теперь дрова возьмет? А у нее двое детишек!..

В Фуфыре на секунду проснулся прежний начальник, он даже распрямил плечи и выпятил грудь, но этого пыла его не хватило надолго и он снова увял, как мимоза от холода, сказав:

— Значит, так и решили...

Валя попросила список записавшихся на дрова, проверила, не вычеркнута ли фамилия Луниной, и, убедившись, что все в порядке, спросила с удивлением:

— Почему же вы до сих пор не подписали, Венедикт Ильич?

Фуфырь съезжился еще больше и отвел глаза от Вали...

— Подпишу, подпишу! — сказал он торопливо и невольно выдал себя следующей фразой: — Подписать-то и недолго, да как бы чего не вышло...

— Подпишите сейчас! — решительно сказала Валя.

И Фуфырь поставил свою подпись, маленькими-маленькими буквами, и даже вздохнул с печалью, убедившись: что написано пером, того не вырубишь топором. Валя взяла бумажку. И Фуфырь проводил сомневающимся взглядом эту бумажку — а ну как и она его подведет?! Когда Валя стала складывать список в свою сумочку — она была секретарем профкома! — Фуфырь поспешно сказал ей, даже руки немного расторырив, словно насадка над цыплятами:

— Минуточку, минуточку! Подпишите и вы, так лучше будет!

Валя без усмешки, спокойно подписалась, показала свою подпись Фуфырю, но и это не уняло беспокойного блеска в его глазах.

Она проводила Фросю до двери.

— Не унывайте, Лунина! И не связывайтесь с денежной работой. Человек вы податливый. Долго ли до беды!.. Но и так нельзя, как Венедикт Ильич, — напугался до того, что боится расписаться в ведомости на выдачу заработной платы, не говоря о прочем! А ведь какой орел был — шапка с головы упадет на него снизу глядеть. Воевода! Впрочем, он у нас не будет работать. Только до отчетно-выборного собрания. А что он умеет делать? Одно — ничего...

4

Генка кричал и плакал. Он пытался уменьшить, умерить тяжесть, навалившуюся на него, но это было выше его сил. Руки его совсем ослабели, и он с ужасом чувствовал, что, как только он перестанет сдерживать эту тяжесть, его раздавит.

Теплоход наскочил на каменистую мель. Машинам дали задний ход, но под кормой было маловато воды, и возникла опасность сломать винты. Тотчас же на воду спустили шлюпку, на шлюпку смайнали якорь и матросы завезли якорь на берег. Машины заработали опять, носовая лебедка натянула стропы. Теплоход развернулся. По дну заскребли камни, точ-

но закричал водяной, которому жалко было выпускать такой хороший теплоход с такой хорошей мели. Потом скрежет прекратился. «Маяковский» так и рванулся вперед, как застоявшийся конь. Опять зазвенел судовой телеграф. Опять заскрипели цепи руль-машины. «Самый малый! — сказал капитан в машину. — Одерживай! Одерживай! — заметил он штурвальному. — Проме-ер!» — скомандовал он матросу с рейкой. Шлюпка вернула якорь. Лебедка сделала свое дело. Шлюпка закачалась на таях. И «Маяковский» пошел вперед, как малый ребенок, что едва держится на ногах и останавливается то и дело, боясь упасть...

С точки зрения капитана и команды вся эта операция была проведена по-военному быстро и четко, да это и на самом деле было так. А когда аврал кончился и на палубе и на мостике остались только вахтенные, капитан с раздражением сказал: «Какой черт там кричит? Что за паника? Заткните ему глотку!» И тут все, кто был на мостике, услышали жалкий Генкин крик. «Котенок?» — неуверенно сказал дежурный врач, который, за отсутствием других дел, выглядывал с мостика на темные берега, пытаясь тщетно представить себе, как она выглядит, эта Маньчжурия. «Ребенок!» — сказал капитан. «Откуда здесь дети?» — «Не знаю! У меня двое хлопцев — так слух у меня натренированный! Мальчишка орет!» Он распорядился отыскать источник этого крика. И по палубе застучали кабуки матросов и зашарили огоньки электрических фонариков.

Светлые пятнышки забегали по брезенту. Брезент полетел в сторону. Фонарь осветил носилки, свалившиеся к переборке, а под носилками — Генкины ноги. Носилки разобрали. Генку вынули из его преждевременного погребения. Но он уже потерял сознание, скорее от ужаса, чем от физических повреждений.

...Очнулся он в госпитальной каюте. Руки, ноги его ныли. Болела и голова, надежно забинтованная. А когда Генка потрогал тут и там, то даже охнул от боли. Под белой чалмой, которая сделала его похожим на благочестивого хаджи, посетившего священный город Мекку, была довольно глубокая рана, которую нанесли ему металлические ножки носилок, свалившихся сверху первыми.

— Ну, не пропала охота зайцем ездить? — вдруг спросил его кто-то не сердито, но строго.

Генка огляделся и увидел знакомое лицо.

Он не сразу узнал, кто это, но, подумав, сообразил, что это жена учителя Прошина, которую он видел у Вихровых. Да, конечно, те же самые веснушки на длинноватом носу, те же близко посаженные глаза, та же озорноватая и насмешливая улыбка и те же веселые глаза, те же волосы медного от-

лива, заколотые узлом на затылке, но победно развевающиеся вокруг лица. Положительно, нельзя было и шагу ступить никуда, чтобы не наткнуться на знакомых. Мир оказывался тесным, несмотря на всю его пространственность! Генка нахмурился и сделал самую поганую гримасу, которую мог изобразить на своем лице, хотя повязка на голове и не давала развернуться способностям Генки полностью. Не хватало еще, чтобы его узнали тут!

Прошина присмотрелась к нему и с какой-то грустной задумчивостью во взоре и меланхолией в голосе сказала:

— Эх ты, Монтигомо Ястребиный Коготь! До чего же вы все похожи друг на друга... Поколения меняются, а мальчишество остается прежним... Мой тоже чуть не убежал. С вокзала вернули!..

Генка не очень понял эту сентенцию, но обрадовался: не узнала, вишь, как чудно называет! Однако вслед за тем Прошина сказала:

— Не подумал, что мать будет беспокоиться? Не подумал, что в беду мог попасть? Ну ладно, матери телеграмму придется дать, чтобы не волновалась. А вот что с тобой делать?

— Я с вами! — живо сказал Генка.

— Два раза! — сказала Прошина насмешливо, и Генка перевел это сразу на свой язык — фигушка с маслом! Он затуманился, а Прошина добавила: — Со встречным отправим назад...

— Не-е! — протянул Генка, соображая, не улизнуть ли ему на берег под покровом ночи, как пишут в толстых романах.

— Приказ капитана! — сказала Прошина и пожала плечами, из чего следовало, что она и не против бы нахождения на борту теплохода Генки — может быть, даже он и стал бы ей нужен! — но...

«Ни чик!» — подумал Генка. Только бы дождаться темноты.

А вокруг было доброе утро.

Расстилались воды широкой реки, которая стремительно несла свои воды в Амур. Покатые берега ее были покрыты чуть пожелтевшей травой. Всюду, куда простирался взгляд, лежали возделанные поля, уже засеянные озимыми, кое-где щетинилась стерня. Далеко слева синели какие-то горы. Ночной холодок сменился ласковым солнечным теплом. На небе не было ни одного облачка. Кое-где на берегу лежали, перевернутые вверх дном, корытообразные лодки. По-над берегом сиротливо маячила одна такая же. Гребец стоял в лодке в рост, лицом к носу и греб стоя, сильно переkreщивая длинные, грубые весла с набитыми лопастями, на высоте гуди.

Лодка двигалась еле-еле. Стоявший в лодке китаец был черен — такой загар покрывал его лицо и жилистые руки с широкой и грубой кистью рыбака. Легкая одежонка — куртка из дабы, прямокроенные штаны, соломенная шляпа, сдвинутая на затылок, — все было очень ветхим. Заметив, что на него смотрят с русского теплохода, он на секунду остановился, придержал весла, заулыбался и крикнул, помахивая рукой:

— Эй, Арсея! Лайла-а!

Это следовало понимать так: «Россия! Здравствуй!»

На мостике рассмеялись. Капитан сказал:

— Простота покоряющая! Когда мы первый раз вошли в эти воды — на борту не было отбоя от огородников и рыбаков, заваливали продуктами. Бери сколько хочешь! Деньги не надо — моя тебе подари! А политические проблемы формулировали с идеальной простотой: «Ваша Арсея — тама, наша Арсея — чэга, игоян — братка, тунчжи!»

Прошина посмотрела на капитана, все лицо которого смеялось — глаза, морщинки сухой, продубленной ветром и солнцем кожи, крепкие губы, подбородок, который вдруг задыгался, как у Паташона, отчего у него сделались забавные ямочки, и даже уши, которые заметно отошли вместе с кожей чуточку назад. На лице ее было несколько недоумевающее выражение. Капитан посмотрел на нее:

— Не понимаете? Перевожу: «Ваша Россия — там, наша Россия — здесь, все равно — братья, товарищи!» Это и не китайский и не русский языки, а понятно. Видно, рыбак бывал раньше в Хабаровске или во Владивостоке. Почти вся Маньчжурия владеет этим жаргоном. До тридцать шестого года весной и осенью на полевые работы в Россию шло до полутора миллионов китайцев и корейцев — от безденежья, от безземелья — на заработки. Так что, как видите, и верно — игоян братка!

Левый берег повышался заметно, и впереди к самой воде подступал высокий отрог, словно огромный каравай подового хлеба. На безлесной его вершине вонзался в небо высокий столб электрической передачи высокого напряжения, а от ажурных его ферм простой и прочной конструкции на этот берег шли провода. Пролет от столба на горе до столба в низине был невероятно велик — километра три. Провода эти гудели, точно пели, от напора воздуха в этой вышине. И когда их нити проходили над теплоходом, плывя назад, Генка испугался — а ну как упадут эти провода на палубу, тогда — пиши пропало! Сгорит все синим огнем!

— Из Мукдена идет ток! Там у японцев была крупная энергетическая база.

А на берегах то и дело, неподалеку друг от друга, стояли китайские деревушки из двадцати — тридцати домов. Дерев-

ни эти были обнесены толстыми глинобитными стенами с воротами из брусчатки на железных клепках, с наблюдательными башенками над воротными створами...

На залитых солнцем полях брели в налыгачах серые буйволы. Их мышцы так и переливались под тугой кожей. Напряженные выи были склонены книзу, и серповидные длинные рога словно резали воздух, напоенный осенней лаской, светящийся от золотых паутинок, что плыли в нем — одна за другой, одна за другой... Дедовские сохи взрыхляли черную землю, тянясь за буйволами. Пахари оборачивались на теплоход, пенивший встречное течение, что-то кричали и размахивали своими широкополыми шляпами. Из ворот крепости выбегали мальчишки и девочки, иной раз, по малолетству, без одежки. И до чего же были хороши эти китайские Адамы и Евы, не вкусившие еще плодов от древа познания добра и зла, со своими пучками затейливо выстриженных на головах черных как смоль волос, с красными, черными, желтыми бусами-амулетами на тонких шейках! До чего хороши! У Прошиной невольно выступили слезы умиления на глазах — она была человеком чувствительным и склонным к размышлениям. «Какая прелесть!» — шептала она и жадно вглядывалась во все, на что падал ее взгляд. Ведь еще два месяца назад она ничего не знала об этой стране — красивой и рабской! — и вот теперь она перед ее глазами, красивая и распрямляющая плечи!.. А вслед за ребятами из ворот выбегали взрослые. Как видно, не все были заняты полевыми работами, у кого-то было время выскочить, бросив все домашние заботы, чтобы поглазеть еще и еще раз на луса — русских, которые, словно ураганным ветром ворвавшись на просторы Маньчжурии, смели начисто японских захватчиков — тех словно и не бывало: вновь возвращались в свои дома, в свои деревни, в свои поселки согнанные с земли отцов китайцы, место которых занимали японские резервисты! Луса! Луса! Наши игоян братка!

И чуть не от деревни до деревни по берегу, вместе с теплоходом, текли по берегам эти синие потоки крестьян, одетых в дабу. Первыми отставали женщины с маленькими ножками — деревенские франтихи, бинтовавшие ноги с детства, они не могли долго идти, потом старики останавливались и присаживались, провожая теплоход взглядами слезившихся глаз. Потом хозяйки помоложе, которые не бинтовали ноги, спохватывались и возвращались, чуть не бегом, к своим неотложным делам. Потом отставали мужчины. И последними оставляли далеких друзей мальчишки в возрасте Генки. Но уже из соседней деревни бежали навстречу другие такие же доброжелатели, такие же тунчжи — товарищи... И почти не исчезали с берега, на всем пути «Маяковского», эти фигурки

в синей одежде, с бумажными цветами в руках — знак приветствия добрым луса...

Генка глазел и глазел на все, уже тупея от этого беспре-
рывного мелькания в глазах. Лучились на солнце мелкие кру-
тые волны Сунгари, заставляя щурить глаза. Тянулись и тяну-
лись берега, с золотящимся приплеском, пламенели на солн-
це крепостные стены деревень, сверкали лемеха, точно зерка-
ла, когда пахарь выворачивал соху. Мелькали синие фигурки.
Мелькали розовые, красные, желтые цветы в их руках. Генку
стал одолевать сон от этого праздника. И вдруг над ним раз-
дался гром, и праздник сразу же прекратился. Этот гром из-
рек страшные слова:

— А почему заяц на борту ничем не занят? Каждый дол-
жен отработать свой проезд! А ну, на камбуз его, картошку
чистить.

Это сказал капитан. А слова капитана — приказ.

И Генка оказался в камбузе. Конечно, здесь было тепло,
конечно, здесь витали в воздухе аппетитные запахи, конечно,
здесь на плите шипело, шкварчало, жарилось, парилось, пу-
зырилось, выходило из себя, испускало запахи и пар, сипело
и трещало, стреляло жиром, переворачивалось с боку на бок,
кипело и томилось — далеко не самое плохое на свете!
Но — праздник кончился...

Картошка, которая оказалась в руках у Генки, была такой
же картошкой, какую видел Генка дома, — неровная, со сле-
дами земли на шершавых боках, с тугой кожицей, с белым
влажным мясом. Генка вздохнул и взялся за нож. Толстые
очистки посыпались из-под ножа. Толстый кок с распарен-
ным лицом, в белом колпаке, в фартуке, уже захватанном
пальцами, с длинным ножом и металлическим отбоем на ре-
мешках у пояса, посмотрел на Генку. Он постучал шумовкой
по краю какой-то кастрюли, порождавшей монбланы пара, и,
выглядывая из его облаков, как со снежных вершин, голосом
Зевса-громовержца сказал:

— Вот это называется так — переводить добро на дерьмо!

Он подошел к Генке, презрительно сморщившись, взял
из его рук нож и картофель, приспособился, и вдруг с Генки-
ной картошки стала скатываться тоненькая, чуть не прозрач-
ная, кожурка.

— Так держать! — сказал кок голосом капитана.

Генка только вздохнул.

В камбузе был открыт иллюминатор. В ярком кружочке
его мимо теплохода все плыли и плыли берега Сунгари. И то
и дело появлялись в этом кружочке люди в синем с цветами.
Праздник продолжался, но волей вышних сил Генка был ис-
торгнут из этого праздника и ввергнут в самую преиспод-
нюю, где его, как грешника на сковороде, с одной стороны
припекало солнце, с другой — поджаривал огонь из раскры-
той дверцы камбуза. А что делать?..

Худая слава, говорят, по свету бежит, а добрая на печи лежит.

Куда ни приходила Фрося наниматься, с ней разговаривали по-хорошему, пока не узнавали, что она была уволена из сберегательной кассы. А как доходило до этого, все места оказывались занятыми. Ей все было ясно — люди не хотели иметь дело с человеком, осужденным на подлог. Она злилась, но, если бы ей самой пришлось нанимать кого-то, будь она сама начальником, она тоже была бы осторожной. А помимо этого, из армии увольнялись люди — сотни тысяч! — о них была особая забота, и им всюду оказывали предпочтение перед опороченной Фросей.

Вернулись худые дни, пережитые Фросей в своем старом подвале. Она осталась одна опять — по своей вине.

— И сказано: «Выйдут из моря семь коров тощих и пожрут семь коров тучных». И сказано: «Будет семь лет урожайных, полных изобилия, и будет семь лет неурожайных, которые поглотят все запасы!» Так толковал сон мудрый... — сказала Фросе бабка Агата, едва живая от своей затянувшейся болезни, которую никто из врачей не мог определить, что это такое.

— Вот уж верно так верно! — горестно соглашалась Фрося с бабкиным прогнозом. Тощие коровы пожрали если не все семь тучных Фросиных коров, то уж по крайней мере от трех тучных оставались рожки да ножки — из комнаты Фроси стали уходить вещи, приобретенные за последний год, и конца этому не было видно...

Положение у нее было трудное. Очень сильно мешала Зойка.

Научившись кое-как болтать, она обещала заткнуть за пояс всех болтунов на свете. Пока она ограничивалась кругом ближних представлений: «баба», «мама», «конька», «му-у» и так далее. Но ей нужны были собеседники, — едва Фрося намеревалась отправиться куда-то по делу, дочь поднимала такой крик, что сердце разрывалось у матери на мелкие клочья...

Вот если бы бабка Агата была чуть поздоровее! Но бабка Агата все лежала и лежала, все усыхала и усыхала, становилась все меньше, все тоньше. Казалось, она истает на своем жалком ложе вовсе, просто исчезнет в одно прекрасное утро — и все: была и нету — живьем улетит на небо, безгрешная! Ее и сейчас мог унести ветер, случись бабке выйти на улицу...

Несколько раз Фрося просила Вихрову последить за дочкой.

Та соглашалась. Но — и это Фросе не понравилось! — когда Лунина возвращалась домой, там все выглядело как-то не по ее, неприлично. Вдруг стол оказался переставленным, стулья расположились вокруг него, словно пришедшие гости, тогда как Фрося обычно ставила их у стен. «За своей хатой смотри лучше!» — с недовольством подумала она, хотя втайне и завидовала тому, как живут Вихровы. «У вас так, а у нас так!» — сказала она себе и вернула вещи на старое место, хотя это было и менее удобно и больше занимало места. А когда однажды Вихрова сказала Фросе: «Зачем вы этих лебедей купили, Фрося? Очень уж они...» — посмотрела на Фросин коврик, откровенно смеясь, Фрося обиделась и стала, уходя, оставлять Зойку в комнате на замке. Комната и Зойка не стали от этого лучше, но Фросино душевное равновесие было восстановлено: «Моя квартира! Моя дочка! Мои вещи! Мой вкус! Мой ответ за все!» А Зойка стучалась в запертую дверь, пускала лужи, и ныла, и плакала, и пела, и опять плакала — одна как перст в отсутствие матери...

Однако в Голубиной книге было написано, что Фросе еще не суждено пропасть совсем. Где-то было и ее счастье, хотя шло оно к Фросе очень уж длинной дорогой.

На этот раз счастье Фроси приняло облик Марченко. Столкнулась она с Марченко на улице.

Еще издали она заметила его фигуру. Да трудно было не заметить Марченко. В дорогом пальто, в красивых ботинках, в велюровой шляпе, выгодно подчеркивавшей его состоятельность, с великолепным портфелем в одной руке и с перчаткой в другой, он вызывал косые взгляды мужчин, у которых не было такого вида, и внимательные взоры женщин, говоривших себе: «Ишь какой хороший дядька идет!» Шел он по улице как хозяин — чисто выбритый, плотный, с розовым лицом сытого и довольного жизнью человека. Гроза, промчавшаяся над Зиной и Фросей, миновала его — Зина, верная своему слову, даже не упомянула его имени во время следствия и суда. Фрося, правда, подозревала Марченко в чем-то, но в чем — и сама не могла сказать: Марченко оставался на законных дорожках, хотя и подходил к самому краю их.

Марченко узнал ее, когда Фрося, не уверенная захочет ли бывший кавалер Зины говорить с нею, поздоровалась с ним загодя. Он даже остановился, чем очень удивил Фросю.

— Ну, здравствуй, Фрося! — сказал Марченко и повел на нее своими розоватыми белками и тугой шеей, которой было тесновато в чесучовой рубашке с галстуком в тон. — Как живешь? Что подделываешь? Где работаешь?

Было несколько странно, что Марченко называет ее на «ты» — до сих пор друзьями они не были, как помнит чита-

тель. Но, в нынешнем положении, Фросе не приходилось привередничать и выбирать себе знакомых. Она проглотила обиду и подумала, что Марченко теперь — большой начальник, видно, по-иному разговаривать и не хочет и не может... Было бы на Фросе такое богатое платье!

Она беспечно, с показным равнодушием к произносимому, даже пожав как-то плечом, как это делала Зина, ответила:

— Да нет, пока не подыскала ничего! Предлагают, да все не то! Что-то хочется получше...

Она лгала, но Марченко не обманывал ее показной тон, и Фрося понимала, что он чувствовал эту ложь. А как ее было скрыть? Неудача ее была написана на ее лице, в выражении ее беспокойных глаз, в торопливости, в готовности улыбнуться другому — не потому, что этот другой нравился Фросе, а потому, чтобы заранее расположить его к себе, может быть, и пригодится: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

Марченко сказал сытым голосом:

— Рыба ищет, где лучше, а человек — где... глубже...

Он густо засмеялся, довольный тем, как удачно переврал народную поговорку. Впрочем, эта острота не была его находкой в эту минуту — он только делал вид, что нашел ее сейчас, а на самом деле пользовался ею часто... Фросе не было смешно, но она тоже засмеялась тоненьким голоском, благодарно взглянув на Марченко: он не только остановился с ней, но и шутил, как старый приятель. Это надо было оценить по-настоящему, и Фрося оценила. «Хороший мужик! — подумала она. — За таким — как за каменной горой! Дура Зинка, что отваживала его! Может, и не сидела бы теперь в кутузке-то, а ходила бы павою по улицам да морскою царевною поглядывала бы на всех на прочих!»

Марченко перестал смеяться. Во взоре его появилась покровительственность. Он как-то очень уж внимательно поглядел на Фросю, как-то уж очень откровенно, что у нее даже румянец на щеках заиграл от этого оценивающего взгляда, хотя она и сделала вид, что этот взгляд ее не смутил. Марченко доверительно тронул ее за плечо одним пальцем, и Фрося подивилась тому, какая барская манера появилась у него! Вот тронет тебя такой, а у тебя и язык прилип к нёбу: трогает, — значит, имеет право!

— У нас в тресте набирают продавщиц в киоски для торговли прохладительными напитками! — сказал он. — Ну, и пивом, наверное, будем торговать. Зайди в отдел кадров...

— Да я боюсь! — невольно сказала Фрося, памятуя про свои три года, пока условные, которые могли вдруг принять

форму тюремных решеток, ежели что. Ведь ей запретили работать в кредитных учреждениях!

— А ты не бойсь! — сказал Марченко. — Если мы будем смотреть, кого судили, кого не судили, мы штатов не выберем! — он опять густо захохотал, сочтя сказанное шуткой, достойной оценки. Тут он уже довольно чувствительно, точно щупая, осталось ли на костях Фроси какое-нибудь мясо, взял ее за плечо. — Заходи. Считай, что работаешь у меня! Я скажу — зачислят... Ну, будь здорова, Фрося!

— Ой, спасибо вам! — чуть не заревела Фрося от радости и даже схватила Марченко за руку, собираясь от души пожать ее. — Ну, спасибо! Не знаю, как вас и благодарить!

Марченко кивнул головой и сунул руку в карман.

— Ладно! — сказал он с выражением добродушия на лице и добавил, почему-то подмигнув: — Зайду как-нибудь! Угостишь?

— Да, господи, о чем речь...

— Ну, пока!

Он опять оценивающим взглядом прошелся по Фросе. И хотя этот взгляд Фросе не очень понравился, но она приободрилась и даже с каким-то кокетством и, может быть, с женским обаянием махнула ему рукой. Марченко смыл со своих уст улыбку и, надувшись опять, пошел дальше, важно помахивая чудо-портфелем. А Фрося, не зная, верить ли своим ушам и глазам, не могла сойти с места и долго следила за грузной, важной фигурой Марченко, который так сильно выделялся из толпы своей степенностью, своей значительной неторопливостью...

6

Вихрову дорого обошелся суд над Зиной.

Он был совершенно потрясен, узнав неожиданно о таком трагическом повороте в ее судьбе. Схватка с судьей Ивановым, тоже потребовавшая от Вихрова и смелости, и настойчивости, и напряжения всех духовных сил во имя справедливости, немало добавила к тому волнению, в котором он находился. А все вместе это оказалось выше запаса прочности папы Димы, спровоцировав сильное обострение его болезни.

Целыми сутками теперь сидел он на своей кровати. Сидел, потому что лежать не мог — астматик может только мечтать об этом положении, так характерном для всех больных. Он сидел сложив ноги по-монгольски — эта привычка сохранилась у него еще с детства, проведенного с отцом — акцизным контролером, служившим на китайской границе и немало поколесившим по Бурятии и Монголии. Голова его

была склонена вниз, корпус согнут, чтобы возможно больше сократить жизненную емкость легких, которые очень раздражал ток воздуха. Иной раз он даже клал локти перед ногами, согнувшись, как говорится, в три погибели, чтобы облегчить мучившее его удушье. Но все это помогало не много. И пришлось Вихрову опять — в который раз! — проделывать курс лечения алоэ, и колоться, колоться, колоться, чтобы купировать приступы. Но он панически боялся привыкнуть к этим снадобьям и терпел мучительные боли, чтобы лишний раз не вызывать медсестру. Про него можно было сказать теперь, что он жил по часам. Мама Галя перебралась к Игорю, чтобы иметь возможность как-то отдохнуть, хотя бы ночью, чтобы не слышать того, как хрипит и клокочет что-то в груди мужа, чтобы не видеть его мученических глаз, обведенных темными кругами, не думать о том, чтобы это свистящее дыхание не прервалось совсем... И теперь в спальне все время — день и ночь! — слышались два звука: свист и клекот Вихрова и тиканье часов, которые он поставил так, чтобы всегда видеть их. Часы шли и шли, отсчитывая время, стрелки их передвигались по циферблату, а Вихров, следя за их кругами, тужился и терпел: вот еще полчаса, вот еще час, вот еще полчаса, вот еще час, не желая видеть надоевшие ему иглы шприцев и щадя жену, которой каждую ночь приходилось вставать и звонить по телефону.

У Вихрова было время подумать обо всем происшедшем.

Он встречал теперь и ночь и утро, видя, как гаснет заря вечерняя, как воцаряется ночь, как бледнеет ночная темь и на небе начинает играть заря утренняя. Он почти не спал, забываясь на минуты тяжелым, переполненным какими-то суматошными, беспорядочными видениями и толкотней сном не сном, а беспокойной дремотой.

Народная мудрость гласит: чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. Пуда соли с Зиной Вихров не съел, но — пусть он знал ее немного времени! — она раскрылась перед ним так бездумно и щедро, что Вихров мог сказать, что он ее знает по-настоящему. Он был уверен в ее духовной силе, в ее неиспорченности, он знал ее страстность, он знал ее искренность и глубоко уважал ее. Он понимал и разделял ее горячий порыв, который бросил их в объятия друг друга, подарив много счастливых минут ему и освободив ее от тяжелых душевных пут, в которых она находилась с момента гибели мужа. Он понимал также, хотя это и причинило ему глубокую боль, ее решение, когда Зина отказалась от него, любя его, — этого нельзя было скрыть, да Зина и не скрывала от него этого неожиданно сильного чувства, охватившего ее: гордая и сильная, она не хотела строить свое счастье на развалинах чужого! Наконец, он знал, что Зина заслуживает сво-

его счастья и может принести настоящее счастье своему избраннику. Если бы не было мамы Гали, Зина сделала бы счастливым его, так же, как был с нею безмерно счастлив Мишка-медведь, и по-другому — ведь ничто в мире не повторяется! Но она видела маму Галю и понимала, что настоящая любовь Вихрова принадлежит — неизменная, постоянная, прочная, навсегда! — этой женщине с милым лицом и каштановыми волосами, женщине со стройной фигурой и звонким смехом, женщине, родившей ему сына. И она решительно оборвала свою связь, почувяв, что заходит слишком далеко сама и что чувство Вихрова начинает разгораться, как костер в ветренный день... Все это было так, и все это говорило о Зине как о сильной натуре, способной на высокие чувства и решения. Но как можно было сочетать все это с тем, что произошло? Что ты наделала, Зина? Что ты наделала? Неужели ты сознательно, без чьей-то злой воли, пошла на этот шаг, низкий и подлый! И вот — исковеркана вся жизнь!

Он вспоминал невольно часы, проведенные вместе с Зиной. И вспоминал о той перчатке, что дал Зине в газогенераторной машине. И вспоминал случайно увиденную наготу Зины на левом берегу. И шторм, во время которого Вихров уже поставил крест на своем будущем. И то, как предстала Зина перед ним в своем гнезде. И тепло ее тела, и запах ее тела, и руки ее, и волосы, и глаза, удивительные глаза, от которых нельзя было оторваться, в которые хотелось смотреть и смотреть... В глаза эти сейчас смотрят тюремные надзиратели! И удушье терзало его все сильнее.

Боли становились нестерпимыми. Стоны вырывались из его судорожно сжатой глотки. Он клал лицо в подушку, чтобы заглушить эти стоны, чтобы заглушить эту отвратительную музыку в груди, которая всю комнату превращала в гнездо умирающих... Нервы его были напряжены до предела — и от удушья, которое казалось бесконечным, и от отсутствия сна, и оттого, что пища не шла Вихрову в горло, и от страдания, причиненного ему поступком Зины, и от жалости к себе он начинал плакать. Все, все, все было плохо! Ах, как плохо!..

А мама Галя уже стояла в дверях спальни, неслышно приходя из детской, и слушала, как страдает он и что-то бормочет сам себе, и корчится в постели, ища какого-то такого положения, чтобы хоть один разок вздохнуть по-человечески, полной грудью, и не мог этого сделать... Она подходила к нему, клала осторожно горячую руку ему на плечо, присаживалась так, чтобы не стеснить его хоть немного, и говорила:

— Ну, почему ты не крикнул мне, не постучал ложечкой о стакан — я бы услышала... Вызвать врача или сестру?

А он не хотел сказать, что ему было жалко будить ее, и храбрился, и хорохорился, и хотел показать, что он еще молодец, что он может терпеть еще сколько угодно. Но уже мама Галя шла к телефону в столовой, и звонила, и опять возвращалась к нему, тонкая, как тростинка, как девочка-подросток, в своей длинной, прозрачной ночной рубашке, со спутанными от сна волосами, и охватывала по-детски свои плечики сложенными на груди руками, чуть ежась от прохлады. И, пытаясь развеять его, пытаясь отвлечь его от боли, насмешливо говорила:

— Будешь еще судить людей, папа Дима? Видишь, как это вредно тебе! Пусть уж лучше тебя судят, а?

Он делал гримасу вместо улыбки, благодарный ей за ее попытки. Горячая нежность к ней охватывала его. Он клал ей свою бедную голову на колени и дышал ее теплом, и казалось, боли становились менее мучительными. Горячими губами он начинал тихонько целовать ее бедра. Но мама Галя вдруг терлась носом о его заросшую волосами шею и говорила:

— Стучат, папа Дима! Сестра пришла...

Но она хитрила. Своим обострившимся за время болезни слухом Вихров улавливал — через все двери, через весь дом! — как стучат по тротуару, а затем по лестнице каблучки сестры. Его трудно было обмануть. Это была уловка мамы Гали, потому что папе Диме надо было избегать волнения. Всякого.

А жизнь продолжала идти своим чередом.

То и дело всплески ее потока долетали до скорбного леща Вихрова. Пришла однажды счастливая Милованова и сказала маме Гале, что ее Гошку увольняют в запас, что он останется в городе, будет работать в педагогическом институте, что он уже зачислен в штат, но имеет право на трехмесячный отпуск и они поедут в Крым — отдыхать. В Крым! Вы понимаете это? Аж в самый Крым! Мечта! Они хотели сделать это в свой медовый месяц, накануне войны. Но они все-таки сделают это, хотя бы и на четыре года позже. Медовый месяц!

«Я так люблю Гошку!» — сказала Милованова и звучно поцеловала маму Галю, которая разговаривала с нею в столовой вполголоса, притворив дверь спальни, чтобы не слишком беспокоить Вихрова. «Почему вы расходуете имущество Гошки? — спросила мама Галя, смеясь. — Ведь все ваши поцелуи принадлежат Гошке!» — «Ничего, вас можно! И даже Вихрова можно!» — сказала Милованова и влетела в спальню. Ее неприятно поразил вид Вихрова. Но она справилась с собой и все-таки поцеловала Вихрова в небритую щеку, сказав: «Вот вам излишки моего счастья! Мы с Гошкой едем в Крым!

А вы поднимайтесь скорее и будете завучем вместо меня. Хорошо?»

Она исчезла быстрее, чем Вихров успел собраться с мыслями и хотя бы поздравить ее с радостью. Вот заполошная! Что делает с людьми любовь! И это строгая заведующая учебной частью школы товарищ Милованова Любовь Федоровна? Нет, это Любенька — жена майора Гошки...

Вихров слушал и слушал, коль скоро ему не оставалось ничего иного. Иногда приходил к нему Игорь. «Ты болеешь, папа Дима? — спрашивал он и приговаривал, точь-в-точь как приговаривал детский врач, который приходил как-то по вызову к Игорю: «Нехорошо, нехорошо вы себя ведете, молодой человек! Болеть — это самое последнее дело! Надо быть здоровеньким!» Вихров смеялся серьезности Игорешки Лягушонка, который намеревался разыграть из себя врача, и удивлялся — смотрите, какой стал разговорчивый парень! Уже исчезло у него и это разделение слов, которое стало уже привычным для всех домашних. Уже и ноги его выровнялись. «Дай я тебя послушаю! — говорил Игорь. — Ну, дай! Тебе легче будет! Мне всегда бывает легче от этого!» — «Ну, послушай!» — говорил Вихров и легонько прижимал голову Маугли к своей груди и чувствовал, что у него что-то промокают глаза при нехорошей мысли: а вдруг вот-вот настанет день — и он уже не сможет услышать голос Лягушонка, и когда сынишка прижмется к нему, он уже ничего не ощутит — ни боли, ни тепла сына...

«У тебя там что-то сидит!» — говорит Игорь, и лицо его становится печальным: очень плохо, когда что-то сидит внутри. «Говорящий галчонок!» — смеется папа Дима, делая вид, что ему весело. «Игорешка! Тебя близняшки зовут играть во что-то интересное!» — говорила мама Галя. «А во что?» — «Иди, сам узнаешь!» — был ответ. И Игорь уходил, оборачиваясь с порога, чтобы посмотреть на отца. И видел только сгорбленную спину...

Приходил Прошин, и его небольшие ноги так и топали по всему дому — туда, сюда; он не любил сидеть, а во время разговора все расхаживал и расхаживал. «Слушай, Вихров! — сказал он. — У меня есть одно конструктивное предложение. Моя жена Женька все никак не может с Маньчжурией расстаться. То раненых возила, то теперь военнопленных возит. Давай я буду жениться на Галочке, а ты выходи замуж за Женьку. Она тебя будет на своем плавучем госпитале возить, а мы с Галиной — на суше жить! Здорово я придумал, а?» И он смеялся, скрывая свою озабоченность и скуку по жене. Мама Галя говорила: «Вы от меня сбежите, Андрей!» — «Нет, я упрямый! Я не сбегу!» — «Но я другому отдаю и буду век ему верна!» — говорила мама Галя. Прошин с

показной досадой махал рукой и говорил: «В кои веки человеку приходит хорошая мысль — и ту нельзя воплотить в жизнь из-за проклятых условностей. Ну, я побегу себе дру- гую жену искать! А вы тут не болейте!» И убегал, с тревогой думая, что Вихров выглядит куда хуже, чем он ожидал...

Приходил Сурен Рамазанов. Его шаги, тяжелые шаги грузного, рослого мужчины, Вихров узнал еще на лестнице. Потом он услышал шепот в коридоре. Мама Галя явно не пу- скала Сурена к Вихрову. «Галенька! — крикнул Вихров. — По- чему Сурен не заходит ко мне? О чем вы там шепче- тесь?» — «Сейчас разденется и зайдет!» — отвечала мама Галя не очень-то радушно. «Разволнуется!» — сказала она Сурену, и тот, красный от смущения, горбясь от сочувствия к больному Вихрову, ступая на цыпочках, словно это могло сделать его менее громоздким и большим, придав лицу такое выраже- ние, с каким верующие сидят на похоронах близких, вошел в комнату. И Вихров ахнул — Сурен был в военной форме, с погонами капитана, в скрипучих солдатских сапогах. «Ви- дал? — сказала мама Галя. — У Сурена все не как у людей! Лю- ди — из армии, Сурен — в армию! Не понимаю, как вас взяли, когда сейчас увольняют чуть не весь офицерский корпус!» Су- рен опять покраснел и сказал: «Вы меня не выдавайте, това- рищи, дома я сказал, что меня призвали, а вообще-то я сам напросился!» — «Зачем, чудо вы из чудес?» — «Да, понимаете, такие события! У нас сейчас множество японских военно- пленных. Для них созданы лагеря. Но они не должны чув- ствовать себя в плену и лишенными прав. У них организуется что-то вроде самоуправления, различные кружки, понимаете, самообразование, политическое просвещение! Ведь они должны понять, что случилось! — Сурен округлял свои и без того большие, светлые, навывкате глаза, подчеркивая особую значительность всего сказанного. Его рот растворялся в ши- рокой улыбке, и подбородок совсем отвисал. — Многие из них уже сейчас заявляют, что хотят учиться русскому языку! Вы понимаете это, друзья? Я надеюсь, все значение этого не ускользает от вас... И вот я призван, чтобы не стоять в сторо- не от этого! Очень соблазнительно проникнуть в мир их представлений, в их психологию. Я всегда признавал за ази- атами особенность их исторического и психологического раз- вития! Полон сил и уверенности, что мне удастся многое сде- лать для будущего их! Для будущего!» И Сурен выпячивал еще больше свою мощную грудь, раздувался от надежд, как кузнечный мех, и перед его мысленным взором рисовались какие-то необыкновенные сцены, которых он не мог выра- зить и только глубоко вздыхал, и кивал головой, и потирал руки...

Какое-то движение жизни наметилось и у Фроси.

Однажды, кроме привычных голосов Зойки и Фроси, к которым Вихров привык уже так, что просто не замечал, он услышал густой низкий голос в комнате Фроси. Фрося, явно обрадовавшись, заахала, что-то быстро заговорила, засуетилась. Потом звякнули тарелки, вилки, ножи, рюмки, задвигались стулья. Мужской голос все гудел и гудел. Что-то говорила требовательно и настойчиво Зойка, немножко поплакала и успокоилась. Потом Фрося стала вскрикивать и ненатурально смеяться. Потом вдруг все стихло на какое-то время. Вихровские часы отсчитывали минуты, в комнате Фроси было тихо. А потом опять загудел, уже в другой тональности, тот же голос, послышался какой-то сытый, утробный смех: «Ну, пока! Скоро зайду опять!» Хлопнули двери — из комнаты Фроси и входная. Все стихло опять. А когда Фрося вернулась, проводив своего гостя, она вдруг запела не очень уверенным голосом. И Вихров услышал, как она выводила: «Сто-онет сизый го-олубо-очек!» Как видно, у Фроси после долгого поста наступило разговенье и разрешение вина и елтя... А что ей одной-то жить? Сколько можно?

Но какое дело было Вихрову до всех забот и утех Фроси!

Спросить бы у нее, как там Зина, где она, не надо ли ей чего? Но это было желание бесплодное — что мог сделать для Зины Вихров сейчас, прикованный к постели? Он даже скрипнул зубами от горестного сознания своего бессилия.

Жизнь продолжалась.

И однажды Вихров услышал, что по лестнице затопали двое: один — подросток, который едва двигал ногами, шаркая подошвами и шмыгая носом, второй — кто-то очень легкий на ногу, эти шаги были знакомы Вихрову очень слабо, но он уже где-то слышал их. Захлопали двери. «А-а, явился!» — сказала Фрося, и в голосе ее послышалось многое — раздражение, страх, злость, смущение, радость — все сразу. «Генку привезли!» — понял Вихров. Потом Генка вышел на веранду и все кашлял там и все кашлял, видно простудившись в Маньчжурии.

Фрося с кем-то разговаривала вполголоса, очень извиняющимся и очень тихим голосом. Она только однажды вскрикнула: «Дашенька, милая! Да что мне с ним делать? У меня сейчас голова кругом идет!» Но знакомый Вихрову голос сухо ответил Луниной: «Товарищ Лунина! Я вам не Дашенька, а начальник детской комнаты милиции! Я разговариваю с вами официально. Понимаете?» Потом, уже на пороге, этот голос сказал: «Мы договорились со школой, что его допустят к занятиям в четвертом классе. Он дал слово — учиться! Я не знаю, что мы еще можем сделать для вас!»

«Дашенька Нечаева! Вот посмотреть бы ее в милицеевской-то форме! — подумал Вихров. — Смешная, наверное!»

Да, Генку приняли в четвертый класс, хотя Рогов сделал такие губы, дав на это согласие, что было ясно — он не верит Лунину Геннадию ни на грош и просто делает опыт. Пе-да-го-ги-чес-кий опыт! Все хотят быть Макаренками. Ничего не попишешь — время идет к тому, чтобы коммунистическое сознание возобладало в людях над пережитками. Попробуем поверить! А главную роль в этом сыграла Милованова, которая так горячо ручалась за Лунина, что Рогов, взглянув на ее лицо, сказал: «Я вас не узнаю, Любовь Федоровна!» На что Милованова непоследовательно и бездоказательно сказала в ответ: «Ах, Николай Михайлович! Я и сама себя не узнаю!» Ей перед отъездом в Крым хотелось быть хорошей. Кроме того, она дала обещание начальнику детской комнаты.

На Генку сильно подействовало известие о том, что случилось с матерью, и о том, что красивая тетя Зина — в тюрьме. Он весь как-то сжался, услышав об этом. Словно темная грозовая туча прошла перед его глазами, и его овеяло холодом: рядом с его беспечальным жизненным путем шло что-то очень серьезное и страшноватое, что могло по-своему изменить всю его жизнь.

Да, он обещал Дашеньке Нечаевой учиться.

Это произошло еще до возвращения Генки в родной город.

С «Маяковского» его передали на транспорт, шедший на Амур. И хотя ему не нравилась перспектива возвращения, пришлось подчиниться. Его не взяли на борт теплохода «Киров» — плавучего госпиталя. Его не взяли на борт теплохода «Николай Островский», который вез военнопленных. Генка впервые увидел японцев в их одежде цвета осенней травы, желто-зеленой, обожженной солнцем и первыми заморозками. Пока шел разговор между капитанами по поводу Генки, машины работали на самом малом ходу, и Генка мог глазеть на японцев сколько влезет. Это был на редкость отборный народец — плотные, коренастые, очень подвижные. Кое-кто из них был в форме, в кепи с разрезом на затылке, затянутом шнурком по размеру, в просторных мундирах без погон, в галифе, искривлявших и без того не очень стройные ноги солдат, в обмотках и башмаках на черной резиновой подошве. Но многие были обнажены по пояс, прогреваясь напоследок на своем родном солнышке, ласковом и щедром, какого, как говорили им, в Сибири не бывает, потому что Сибири — это вечно холодное место, покрытое круглый год толстым слоем снега. Они довольно свободно располагались на палубах, где всюду виднелись военные ранцы, котелки, одеяла и даже шубы — им было оставлено все вещевое довольствие, которое

было положено иметь солдату Квантунской армии. Нельзя сказать, чтобы у них было легко на душе, — плен есть плен, и хотя из небольшого опыта общения с советскими людьми они уже знали, что ничто страшное их не ожидает в этой легендарной Сибири, и что климат там такой же, как в Маньчжурии, и что их не ожидает ни смерть, ни каторжные работы, им было невесело.

Особого оживления встречный теплоход у них не вызвал.

Однако когда кто-то из солдат увидел на борту «Маковского» Генку, тотчас же они стали оборачиваться и сгрудились вокруг того солдата, который первым увидел Генку и теперь показывал на него пальцем и кричал: «Вот это марчик есть! Вот это росскэ марчик есть!» Значит, в страшном Сибири есть не только снега, но и мальчишки? Японцы глядели на Генку и вдруг заулыбались и закивали головами дружески и доверительно.

Встревоженный офицер охраны перегнулся с мостика, на котором находился пулеметный расчет, через фальшборт, рассматривая, что это могло вызвать такое оживление у военнопленных, увидел Генку и сказал ему громко:

— Эй! Ты! Хлопец! Проведи с ними политбеседу!

— Не-е! — сказал Генка и попятился.

— Вот дурной! — сказал офицер. — Ты скажи им, что росскэ ероси аримас!

Генка заухмылялся, ничего не поняв. Зато японцы, услышав то, что сказал офицер, расхохотались, зашевелились, заглядывали на мостик. «Россия хорошо есть!» — сказал офицер, и это все поняли. Тут кто-то из военнопленных вдруг сказал по-русски: «Ву гостях хоросо, дома есе ручше! Там хоросо, где нас нету!» И они опять засмеялись...

— Вот черти! — сказал вахтенный. — Здорово по-русски болтают!

С борта «Николая Островского» крикнули:

— Бортай-бортай нету! Говори есть! Так? Да? Хоросо...

Теплоходы дали сигналы и разошлись...

А вслед за этим «Маяковский» засигналил буксирному, черному, закопченному и запыленному пароходу, который тащил за собой несколько груженных барж, где на грузах, крытых брезентом, виднелись палатки, а у палаток — солдаты с винтовками. И Генку отвезли на шлюпке к буксиру.

Два дня и тут Генка чистил картошку и выносил ведра из камбуза, два дня он забрасывал ведра на веревке за борт, когда была нужна вода. Его тут не баловали. «Я тебе побегаю! — сказал капитан буксира. — Тебе небо с овчинку покажется! Путешественник нашелся!» Небо с овчинку Генке не показалось, но мозоли он себе натер о мокрую веревку и уто-

пил одно ведро, за что кок дал ему такого подзатыльника, с которым могла только сравниться та педагогическая кочерга, которая отправила его из родительского дома в первое общеобразовательное путешествие. Как ни крепился Генка, а захныкал все-таки и отревелся на корме, под буксирным канатом, который все время двигался по металлической оттяжке, уже изрядно источенной за годы беспорочной службы. Трудно было сравнить этот номерной буксир, не имевший даже имени, с тем великолепным доказательством прогресса в речном судостроении, каким являлся «Маяковский»...

А в Ленинском его сдали милиции.

Тут-то Генка и увидел Дашеньку. Когда буксир швартовался у причала временной пристани, капитан крикнул в мегафон:

— Товарищ лейтенант милиции! Заберите ваше имущество!

О Генке уже знали здесь. Ладная девушка в милицеевской форме подошла к причалу, козырнула деловито капитану и сказала Генке:

— Пошли!

— Тетя Даша! — сказал обрадованно Генка.

Но Дашенька взглянула на него очень холодно, и восторг Генки угас. Ночь он провел в холодном арестном помещении районной милиции, где Дашеньке все время козыряли местные милиционеры, с одной стороны покоренные ее внешностью, с другой — видевшие в ней представителя краевой власти. Только под утро невыспавшегося Генку усадили в крытую милицеевскую машину, и он отправился в родной город. Дорога была дальняя, ухабистая. Шофер в форме был молчалив. Даша села рядом с Генкой. И по дороге они как-то неожиданно хорошо разговорились. Тут-то Генка и обещал Даше взяться за ум. Оба они были голодны. И Даша пожалела, что у нее ничего нет с собою. Шофер вдруг заулыбался и вынул из-под сиденья довольно большой пакет. «Чтобы на службе да не накормить человека, это — позор! — сказал он и развернул сверток. — Товарищи позаботились! По личному распоряжению начальника районной милиции!» И они здорово закусили, после чего Генка заснул, приткнувшись в плечо Даши Нечаевой, как к самому родному человеку. Ему даже пригрезилось, что его качает на руках мать, напевая: «Баю-баюшки-баю! Колотушек надаю! Колотушек двадцать пять, будет Гека милый спать!» Очень хорошая колыбельная! Одна из самых прелестных, когда-либо слышанных мною в жизни!

За уроки-то он взялся!

Да тут с самого начала стали делаться какие-то странные вещи — и известные уже из опыта прошлого, и новые, неизведанные и бог его знает что таящие в себе. Во-первых, ему

пришлось возиться с Зойкой. Но тут у него уже был известный опыт. И он довольно часто напевал Зойке ту самую колыбельную песенку, что пригрезилась ему на плече Дашеньки Нечаевой, сопровождая наглядными иллюстрациями высокоинтеллектуальное содержание этой песенки. И Зойка очень быстро поняла, что если Генка говорит: «Нет!», «Нельзя!», «Не тронь!», «Замолчи!» — то, как бы это ни звучало, все это было эквивалентно выражению «Я тебе дам!», а на руку Генка был так же скор, как и мать. Увы, Зойке приходилось проделывать путь, уже пройденный ее братом несколько раньше. Во-вторых, мать уже не работала в сберегательной кассе, а работала в киоске прохладительных напитков, которые, чем дальше худел календарь, постепенно заменялись пивом, и она была добрая: то есть, когда бы Генка ни подбегал к ней, она давала ему стакан газированной воды с сиропом, который не сэкономила. В-третьих, к матери стал часто заходить дядя Петя, превратившийся из капитана Марченко в очень толстого, красного, важного гражданского товарища, который говорил матери: «Я только на минуту зашел. Есть тут одно дело!» И дядя Петя тоже был добрый. Он говорил Генке, если тот сидел с учебниками на веранде или в комнате: «Ты, верно, Гена, в кино хочешь?» — «Не-е!» — мялся Генка, понимая, что быть в кино и учить уроки одновременно — не в его силах. «А вот по глазам вижу — хочешь в кино!» — говорил дядя Петя. Фрося нерешительно возражала: «Да, Петр Иванович! Он и так отстающий!» — «Ничего! — говорил дядя Петя. — Не всю же жизнь будет отстающий! Ан выйдет и в передовые как-никак! На, держи монету! Сам был маленьким!» И Генка шел в кино. Не жизнь, а малина — так сказал бы Сарептская Горчица. Но в кино Генка ходил один. Кто знает почему — ему никого не хотелось посвящать в свои переживания, когда он сидел в кино. Впрочем, «сидел» не то выражение — Генка «жил» в кино! И такой пресной была настоящая жизнь.

Надо ли говорить о том, что школьные дела от этого у Генки не пошли лучше?.. Как известно из элементарной физики — одно тело не может занимать одновременно два места в пространстве, а так как тело Генки предпочитало занимать место в кино, то оно не могло одновременно сидеть за столом и учить уроки. Непреложные законы природы незримо властвовали над судьбою Генки...

Дядя Петя приходил не каждый день.

А культурные потребности Генки все росли. И он обратился к вешалке, которая уже выручала его не раз, давая займы и не требуя возврата...

И однажды Вихров, сидя на своей постели и выдувая из себя воздух через двенадцать трубок, пиццавших на разные

голоса, увидел через приотворенную дверь в прихожую, как протянулась Генкина рука в карманы висевших на вешалке пальто, как привычно обшарила их и вынула нечто, имевшее цвет и форму кредитных билетов, которыми государство вознаграждало труд работника Министерства народного просвещения РСФСР товарища Вихрова.

Товарищ Вихров вытаращил глаза на это видение и попытался оценить его по существу. Тем временем рука Генки исчезла. И тело Генки пошло занимать другое место в пространстве, потеряв интерес к данному.

«Вот сукин кот! — сказал себе Вихров. — А я-то думаю: куда у меня вечно рубли уходят? Грехом уж маму Галю заподозрил в мелочной опеке, да все не было случая заговорить на эту тему! Вот бы она мне холку-то намылила за это подозрение! И правильно! Ах ты сукин кот!» Но тут усилилось его удушье. Он с трудом поглядел на часы: увидел, что уже вытерпел шесть часов мучений, которых врагу бы своему не пожелал, и принялся стучать ложечкой по стакану. Это был сигнал маме Гале: СОС! СОС! СОС! Ах, как нужна была эта помощь!..

8

Фрося не знала, хорошо или плохо складываются ее дела.

Все будто миновало. Никого на новом месте работы не интересовало ее прошлое! Подумаешь, была под судом, но села же в тюрьму не она, а Зина. Значит, дура была. Примерно такие комментарии слышала Фрося, если ей приходилось разговаривать на эту тему с другими киоскершами. А после каждого дня работы в ее кассе оказывались лишние деньги — пять, шесть рублей, а то и больше. Не всегда у нее оказывалась мелочь, чтобы дать сразу необходимую сдачу, а жаждущие — особенно пива! — были либо слишком торопливы, либо слишком добры — особенно если пиво было хорошее, а также если его потребление одной единицей, стоявшей у киоска, превышало три кружки. «А-а! Что мне тут целый день стоять, что ли!» — с досадой говорили первые и, чертыхнувшись, уходили. «Да ладно уж! Потом рассчитаемся!» — говорили другие. «Оставьте на приварок!» — говорили третьи иронически и тоже не дожидались сдачи. Сначала Фрося краснела и начинала лихорадочно искать мелочь в кассе, на прилавке, где лежала в пивных лужах металлическая монета, в карманах, говоря: «Мне вашего не нужно, гражданин. Свои зарабатываем!» Однако никто из пользовавшихся ее услугами не верил в ее честность, уже подходя к киоску.

Но — странное дело — все относились с усмешкой к возможному обману. Случалось и так, что, когда Фрося набирала копейки для какого-нибудь очень точного гражданина, у которого денюга счет любила, стоявшие в очереди принимались так издеваться над бережливым потребителем, что он становился красным, как бурлак. «Дайте ему деньги обратно!» — кричали одни. «Товарищ хочет получить сдачу — ноль целых, ноль-ноль сотых, как в аптеке на весах!» — усмехались другие. «Экономия! — с видимым сочувствием, как бы поддерживая справедливые притязания потребителя, замечали третьи и добавляли ядовито: — В уборную пошел, бумажку употребил, на солнышке высушил — и опять в дело!» Все хохотали над экономным... Все были добрые. Странные люди!

Потом Фрося научилась отшучиваться или намеренно долго не давать сдачу, в расчете на то, что человек торопится. Она научилась улыбаться, научилась многозначительно поглядывать на потребителей пива, говорить какими-то намеками, которые черт его знает что содержали в себе, но создавали у тех, кто готов был из-за кружки пива стоять в очереди хоть час, какое-то усмешливое, панибратское отношение к Фросе и желание не видеть, в общем довольно заметных, уловок Фроси.

Все считали, что копейки — мелочь, пустяк, не стоит из-за копейки шум поднимать, а из этих копеек делались рубли, и скоро приварок у Фроси и верно стал ежедневным. Она могла себе позволить иной раз просто угостить постоянных клиентов, добродушно махнув рукой, если у них не хватало денег на вторую кружку. В долгу перед Фросей не оставались. И все были довольны. А Фрося стала забывать о своем условном приговоре. «Черт меня дернул поступить в сберкасу!» — как-то подумала она с горьким сожалением о потраченном времени и об ответственности, которая висела над ней на ее высоком кресле.

Однажды к ее киоску подошел Фуфырь.

Фрося заметалась было, не очень желая видеть человека, который, давая показания на суде, все время чувствовал себя прокурором и все сбивался на обвинительную речь — вместо того, чтобы объяснить по-человечески, почему он спал, когда надо было контролировать работу с сохранными свидетельствами. «Если все будут хищать, — говорил он, — то мы никогда, понимаете, коммунизм не построим! Каленым железом надо выжигать, понимаете, тех, кто хищает! Поганой метлой, понимаете!» Но Фуфырь встал у прилавка и сказал Фросе:

— Кружку пива, товарищ Лунина!

— Здравствуйте, Венедикт Ильич! — пролепетала Фрося и налила свежего пива.

Фуфырь долго, с наслаждением макал свои моржовые усы в пенящееся пиво. Взял вторую кружку, хотя было заметно, что бог Бахус уже изрядно увил его своею волшебной лозой. Опять умакнул усы в кружку и осоловелыми глазами разглядывал Фросю, ее пополневшие руки и грудь.

— А вы поправились! — сказал он вдруг.

— На таком деле стоим! — пошутила Фрося, от души желая, чтобы Фуфырь провалился сквозь землю: кому интересно видеть палку, которой тебя били! Она показала на плакат: — Как тут не поправиться!

Фуфырь воззрился на плакат: «Пейте пиво!» На плакате сообщалось, что пиво — это жидкий хлеб, что один литр пива содержит столько калорий, сколько нужно для питания взрослого человека в сутки, что оно имеет приятный вкус, что оно готовится из ячменя высшего качества, что оно производит освежающий эффект, что оно утоляет жажду. Фуфырь усмехнулся:

— Здорово сочинили! Значит, три литра в сутки — и сыт!

Фрося хихикнула. Плакат и в самом деле был смешон. Над ним неизменно издевались жаждущие освежения, часто говоря вместо «Дайте кружку пива!» — «Дайте кружку калорий!». На других киосках эти плакаты давно сорвали, но Фрося, не без умысла, оставила его, и плакат работал на нее.

Но вслед за усмешкой Фуфырь вытащил из потрепанного портфелика бумажку и сунул Фросе. В бумажке значилось, что Фуфырь контролер треста предприятий общественного питания и что все лица, организации и учреждения должны оказывать ему содействие в выполнении возложенных на него поручений по инспектированию точек этого треста.

Точка, как известно, является знаком препинания, после которого надо сделать паузу. Фрося сделала паузу, и сердце ее, не удержавшись в ее пополневшей груди, провалилось куда-то очень глубоко. Она повесила на створках окна надпись: «Закрыто», и Фуфырь стал выполнять возложенное на него поручение.

Он выверил остаток в пивных бочках, подсчитал кассу.

— Н-да! — сказал он глубокомысленно.

На прилавке лежали лишние деньги — это был приварок Фроси. То, что прилипало к этому прилавку, где торговали жидким хлебом. Фрося позеленела, и в глазах ее поплыли оранжевые круги. «Ну, все!» — подумала она, холодея.

— Н-да! — повторил Фуфырь. Подумал-подумал и добавил: — Свои деньги надо держать в сумке, товарищ Лунина. А то могут посчитать за излишнюю выручку! — Он неторопливо сгреб все лишнее и кинул в Фросину сумку. — Вот так.

Он поглядел на Фросю, которая не знала, как отнестись ко всему происшедшему, и боялась: не скрывается ли за всем этим какой-то крупный подвох? Во взоре его отразилось явное благоволение к Фросе. Он сказал:

— В одной системе работаем. У товарища Марченко. Ка-леги! Ежели таскать не перетаскать, то где работников брать?

Он игриво потрепал Фросю по ее пополневшему плечу и ушел. Не заплатив за выпитое пиво. То ли Фуфырь заметно подешевел, то ли он находился под воздействием жидкого хлеба, растоплявшего его сердце и делавшего его добрым, но Фрося подумала, что есть на свете бог, который благоволит к сиротам.

Тут она вспомнила еще об одной сироте — бабке Агате.

«Надо бы навестить ее да какой ни на есть гостинчик принести!» — сказала себе Фрося. И когда, опорожнив бочки чуть не досуха и переместив весь жидкий хлеб в иные вместилыща, крайне ненадежные, она закрыла свой киоск, ее потянуло к бабке Агате. Она забежала в «Гастроном», купила сыру, белого хлеба, творогу с изюмом и легкими ногами помчалась на свою старую квартиру.

Дверь в комнату бабки Агаты была открыта.

В комнате и на лестнице толпились люди. Любопытные ребятишки, раздираемые страхом и интересом, торчали у дверей, то и дело заглядывая в комнату.

У Фроси екнуло сердце. Она протиснулась в комнату и увидела бабушку Агату. Та лежала, вытянувшись, на своем ветхом и тощем ложе, и ей ничего не нужно было больше — ни белого хлеба, ни творогу с изюмом, ни сыру, хотя она и любила, грешница, все это. Но теперь она уже не была бабушкой Агатой — кожа да кости. Кости тонкие и хрупкие, как у дитяти, кожа желтоватая, шероховатая, как на дамской пуховке. «Она умерла!» — так сказали Фросе ребята у двери. «Отмучилась!» — услышала Фрося от соседки, которая вытирала головным платком слезы, струящиеся по ее щекам. «Преставилась сестра Агата!» — сказала, набожно перекрестившись, одна из тех старушек, которых бабушка Агата могла бы назвать своими друзьями, подругами, если бы не была уверена, что есть у нее только одна опора в жизни — не в суетном мире. Сама бабушка Агата сказала бы о себе, что ее позвал бог. Как будто бабушка Агата была очень нужна богу.

— Отец Георгий приходил? — спросила Фрося.

— Где там! Все ждала-ждала, да и перекинулась... До последнего часа на двери глядела. А потом сказала: «Бог ему судья!» Глаза закрыла и уже не открывала...

— А я ей творогу с изюмом принесла! — глупо и растерянно сказала Фрося, глядя на неживую бабушку не то с сожалением, не то со страхом.

Богомольная старушка протянула руку к пакету, что Фрося держала в руках, деловито открыла его, понюхала с видимым удовольствием и сказала:

— Всякое даяние благо... На кутью сгодится...

Тут же она сказала Фросе:

— Дочка! Ты не дашь ли сколько-нибудь на погребение сестры Агаты? Ведь ни копейки у нее за душой нету. На что хоронить будем? Была у нее книжка, сама знаю, на похороны копила! А нету! Все уже обыскали... И на отпевание надо, и могильщикам, и туды-сюды! Вот уж истинно гол как сокол... В церковь-то без денег, как в «Гастроном», не пойдешь. За божьи труды...

Около кровати бабки Агаты стоял стул. На стуле виднелась тарелка с отбитым краем. На тарелке лежали деньги — живые помогали мертвому переселиться в иное пристанище. Фрося кинула в тарелку десятку и вышла, не сдержав слез...

— Пришел бы сюда отец Георгий, отпел бы — то-то душенька ее порадовалась бы! — сказала старушка, дав направление мыслям Фроси.

«Ты у меня к бабке Агате сходишь, кабан долгогривый!» — поклялась себе Фрося перед трупом бабки Агаты.

Разъяренная, она помчалась к попу.

Ей хотелось пристыдить его, напомнить о том, что бабка Агата чуть ли не умерла-то оттого, что слишком многое отдала церкви. Напомнить о боге, который все видит, все слышит и все знает, напомнить ему об обещании выкроить время, чтобы сходить к бабке Агате. Все кипело в ее душе.

Однако весь ее пыл улетучился, когда ее впустили в квартиру отца Георгия, где царствовала тишина, где тикали на стене большие часы с боем, напоминавшим звон большого соборного колокола, где в красном углу висел иконостас, с десятком образов, где теплилась лампада темно-вишневого цвета, освещенная изнутри живым огоньком, бросавшим блики на темные изображения святых и богов, отчего иногда выражения их менялись и они словно подмигивали Фросе. Тут же стоял и домашний аналой. На нем лежала библия и еще какая-то книга. Библия была заложена толстым серебряным наперсным крестом, которого отец Георгий дома не носил. Длинная серебряная цепочка свисала до половины аналая. Кроме тишины тут царствовал достаток, печать которого лежала на всем. В этой комнате даже был радиоприемник — запрещение пользоваться ими было уже отменено, но в городских магазинах еще их не было в продаже, значит, радиоприемник привезли либо из Москвы, либо из Маньчжурии. Зеленый глазок радиоприемника мирно светился, и тихая музыка — не наша! — изливалась волнами в комнату из эфира. Мо-

жет быть, именно этот радиоприемник подействовал на Фросю умиротворяюще. Однако и слова матушки о том, что отец Георгий правит вечернюю молитву, заставили Фросю сначала умерить свой гнев, а потом и вовсе остыть...

Отец Георгий молился очень усердно. Он вышел с совершенно заплавленными глазами, весь какой-то размягченный, чем-то похожий на плюшевого медвежонка. Он тотчас же узнал Фросю и вспомнил, с какой просьбой Фрося к нему обращалась. Покачивая сокрушенно головой, он сказал:

— Виноват перед вами и бабушкой Агатой! Виноват! Одолели и дела и немощи. Однако на завтра наметил себе — посетить несчастную болящую...

В голосе его слышались искреннее сожаление и раскаяние. Фрося была обезоружена совсем. Она даже не сразу нашлась, как сообщить попу о происшедшем. Отец же Георгий все покачивал головой и бранил себя за невнимание и за физические недомогания.

— И рад бы послужить на ниве божией, да бывает так, что после службы пластом валяюсь. С сердцем неважно. И возраст, и пережитое — все сказывается сейчас, все навалилось так, что иногда невольно и взропщешь: камо взыскуешь, господи?

— Умерла бабушка Агата! — сказала Фрося с чувством недовольства. — Я насчет того, чтобы отпеть ее да к могилке проводить!

Отец Георгий перекрестился:

— Отец наш небесный, прими чистую душу рабы божьей Агаты!

Он встал, подошел к аналою, вынул крест из Библии, надел его цепь на полную, розовую шею и поднял глаза на иконы. Потом закрыл глаза. Фрося невольно тоже встала. Отец Георгий молился за упокой души бабушки Агаты, и Фрося от души пожалела, что сама бабушка не может видеть сейчас вдохновенное и сосредоточенное лицо своего духовного пастыря, — оно все сияло и светилось подлинной святостью, как-то сразу похорошев, точно все земное покинуло отца Георгия и божья благодать осенила его в самом деле:

— Житие ее было житием великомученицы Агапии! И алкала, и жаждала, и мор и гонения испытала, и ввержена во узилище была, и мрак, и дождь, и хлад, и ужас смущали душу ее и смутить не могли, ибо припадала к ногам господина и живот свой не щадила во имя Бога Живого! И светлой вере предана была, и по морю житейскому, яко посуху, провел ее перст божий, указуя праведные пути. Неправедным путем не шла, ложью уст своих не оскверняла, корысти бытия не предавалась, земных утех не жаждала, пия Источник Вечный. И чистою, как голубица, пред лицом Господа предстала!

И Фрося наревелась, слушая эту импровизированную молитву отца Георгия — вот уж все правда чистая, от слова до слова. Да, не зря на отца Георгия такую надежду возлагала бабка Агата!

— Извините меня! — сказал отец Георгий, повертываясь к Фросе. — Я очень взволнован смертью сестры Агаты. Ни о чем говорить не могу. До свиданья. А обо всем остальном вы договоритесь с матушкой... Матушка! — крикнул он в кухню, не обращая туда своего утомленного лица.

Он вышел в соседнюю комнату, как могла судить Фрося — спальню. Тотчас же из кухни пришла матушка, вся ласковая и благостная, источая со своего полного, доброго лица почти такое же сияние святости и высоты духа, какое было написано на лице молившегося отца Георгия.

Это выражение не сходило с ее лица во время всего последующего разговора, в котором речь шла о том, чтобы отпеть тело бабки Агаты на квартире, в церкви и на кладбище. «А машина у вас есть?» — спросила матушка, обливая Фросю теплотою своего взгляда. Машины у Фроси не было. «А трех раз не много ли будет?» И оказалось, что трех раз многовато. «А на кладбище ехать — легковую машину достанете? Нет. Ничего не получится, голубушка! — вздохнула попадья с искренним сокрушением. — В грузовике с покойником — не положено, а на кладбище — девять километров топать, не выдержит батюшка. Сам на ладан дышит. Ночами я засыпать боюсь, как бы его Господь не взял. Едва ходит! Очень уж нервный стал — все к сердцу принимает!.. Значит, так — в церковь привезете, чтобы батюшка отпел ее, как следует. А на кладбище слово скажет отец дьякон — придется попросить его по-хорошему!»

Фрося выложила матушке, чтобы закрепить договоренность, триста рублей — за все и вышла, чувствуя, что отдала свой долг бабке Агате за всю ее доброту и за помощь. Она даже не подумала над тем, что эти триста — ее припек от жидкого хлеба за целый месяц. Вот то-то обрадуется бабка Агата на небе, что ее похоронят с попом, по церковному обряду, и над ее брэнной оболочкой будут витать ладанные облачка!

Едва она вышла, матушка позвала:

— Егорушка! Поди-ка сюда! Дай-ка твои записи! Мне кажется, что теперь уже хватит на машину-то, а?

Отец Георгий укоризненно покачал головой, глядя на свою матушку: «Ох, вводишь ты меня в грех стяжательства!» — стал что-то подсчитывать, вынув из аналоя счеты и записную книжку. Пальцы его привычно бегали по костяшкам, сдвигая их с насиженных мест, и костяшки звучно щелкали, стучаясь друг о друга...

«Не стыдно тебе, отец Георгий? — спросил его боженька, заглядывая в комнату. Он помолчал-помолчал немного, потом с грустью сказал: — В святой храм пошел, на ниве божьей трудиться до отхода в жизнь вечную, а что вышло — мамон тешишь, благополучие земное строишь себе! Сына родного отринул! Чревоугодничаешь, стяжательствуешь! Сукин ты сын, а не отец Георгий! Тьфу на тебя, да и только! Вот как попалю я тебя огнем небесным, как пошлю на тебя мор, и глад, и скрежет зубовный, и муку вечную, ка-ак ввергну в геенну!»

— Сколько раз я тебе говорил, матушка! — сказал с досадою отец Георгий, отрываясь от своего грессбуха. — Закрывай окна, закрывай окна — мухи налетают. Они тепло любят...

— Закрыто! — сказала матушка. — Да и какие теперь мухи...

— А вот жужжит же где-то! Жужжит и жужжит. В кухне, наверное. Ты вечно кастрюли держишь открытыми. Вот они на запахи летят. Поди хоть дверь прикрой!

И матушка закрыла дверь в кухню.

9

Каждый из нас немного Шерлок Холмс.

Во всяком случае, каждый мужчина полагает, что если бы он взялся за раскрытие того или иного преступления, то дело пошло бы прекрасно. Мы ведь всегда недовольны органами юстиции, которые никак не могут навсегда покончить с преступностью. Стоит ли удивляться тому, что Вихров, удивленный и испуганный тем, что он увидел неожиданно в прихожей, я бы даже сказал — униженный тем, что Генка шарит по карманам, потому что этот акт сводил на нет усилия школы, а стало быть, и Вихрова в деле воспитания из Генки полезного члена общества, решился на некоторое неправомерное действие. Почему-то вспомнил изречение Игнатия Лойолы: «Цель оправдывает средства!»

Он поднялся с кровати и, задыхаясь и останавливаясь на каждом шагу, придерживаясь за стенки и притолоки, вышел в прихожую, выждав, когда жена ушла куда-то по своим многочисленным делам, а у Фроси тоже было тихо. Он вынул из карманов всю мелочь. Это было правильно — зачем было подвергать сына Марса и Стрельца излишнему искушению. Но он положил в один карман сторублевку. Это было неправильно. Но Шерлоки Холмсы всегда наделены большей дозой воображения, чем это свойственно ординарным людям.

А затем он снова занял свое место в кровати, теперь превратившейся в наблюдательный пункт зрячей, но сипящей, хрипящей, страдающей, но бдительной Фемиды.

Вероятно, судья Иванов мог бы поступить так же...

Но Вихров не думал в этот момент о судьбе Иванове. Может быть, потому, что в ряде жизненных случаев всегда есть не одна, а две мерки. Одна — это сделал я. Вторая — это сделал он. Обычно все, что сделал я, — это более или менее хорошо. А все, что сделал он, может быть подвергнуто беспощадной критике. Но эта же критика кажется несправедливой, если обращается вдруг на меня, с той же меркой, но с точки зрения другого человека, применяющего ту же систему оценки реальности...

На ловца и зверь бежит — скоро Генка вернулся из школы.

Он должен был забрать Зойку, которую Фрося оставляла часто у Людмилы Михайловны, уходя на работу. Генка честно приволок сестренку, хотя она и отбивалась всеми четырьмя конечностями и бурно протестовала против ущемления ее желаний и стремлений к общественной жизни. Он накормил Зойку, дал ей какие-то игрушки, поел сам и сел за уроки и голосом зубрилы-мученика стал излагать почерпнутое из учебника. И Вихров узнал, что число, которое нам надо разделить на другое — меньшее — число, называется делимым, что число, на которое мы делим другое — большее — число, называется делителем и что число, которое получается в результате деления одного числа на другое, называется частным...

Генку раздирала зевота, которая неизменно возникала у него, едва стоило ему взять учебник в руки. Может, это наследственное: отец тоже, если начинал перелистывать какую-нибудь книгу, контрабандой принесенную домой Фросей, вдруг раскрывал свой большой рот, с тридцатью двумя зубами стальной прочности, и зевал — долго, с наслаждением, до слез из глаз, до фонтанчика слюны из раскрытого рта...

— Де-еле-ение бы-ыва-ает по-олно-ое и не-епо-олно-ое... — пел Генка нудным, скрипучим голосом, испытывая мучительное наслаждение от зевоты, одолевающей его.

Потом он играл с Зойкой. «Гоп-а! Гоп-а!» — покрикивал он на сестренку. И Зойка смеялась и прыгала. Чуть вздрагивала матица от ее тяжеленьких прыжков, — дом был старый, и каждого ее прыжка Вихров ждал, внутренне сжимаясь, так как вздрагивала и его кровать вместе с полом. Потом она приземлилась после очередного прыжка, как видно, на голову, потому что раздался горький рев, и Зойка кричала на брата: «Бу-у! Ты плохой!» и жаловалась ему же: «Ту-ут вава! Тут

вава! Пожалей!» И Генка жалел и приговаривал: «Ну, вот и ничего! Только шишечка будет маленькая! Хочешь шишечку?» — «Хочу! — отвечала Зойка и, несколько успокоившись, требовала от брата: — Ка-зю! Ка-зю!» И Генка заводил утробным голосом: «И-и-идет ка-аза ра-агатая!» И Зойка вскрикивала и смеялась.

Вихров и хмурился и смеялся, слушая все это и очень ясно представляя себе все, что творилось за стеной. Но потом Зойка попросила: «Ба-бай! Бай!» И Генка уложил ее спать.

После этого Генка произвел очень важное для прогресса человечества открытие, что неполное деление называется также делением с остатком. Потом помолчал, поскрипел стулом, полистал учебники, пошуршал тетрадками. Ему стало нестерпимо скучно.

Потом тихо скрипнула дверь.

Кот Васька, что намеревался спеть Вихрову свою уютную песню, для чего прыгнул с дивана в столовой и, тенью скользя по ковровому линолеуму, пошел к папе Диме, вдруг шархнул, вздыбил спину, шерсть и хвост и зашипел на дверь в переднюю.

И папа Дима увидел, как тонкая рука Генки нырнула в карман его пальто, вытащила положенную туда кредитку, испуганно сунулась было обратно, поняв, какая уйма денег заключена в этой бумажке, но заколебалась, пошевелилась-пошевелилась и, судорожно сжав ее, исчезла из поля зрения Вихрова. Вслед за тем хлопнула входная дверь. Генка вышел. И вошел опять. Он что-то спросил у сонной Зойки, не ожидая ответа, что-то запел, и в его голосе были совсем другие нотки, чем во время исполнения арии об арифметическом действии, которое называется делением.

— Гена! — позвал его Вихров.

Генка помолчал, прислушиваясь. Вихров опять позвал его.

Генка появился в дверях.

— Вы меня? — спросил он, глядя чистыми глазами на учителя.

— Тебя! — ответил Вихров.

— Вам что-нибудь нужно сделать? — с готовностью услужить спросил сын Стрельца и Марса, не подозревая, что уличен и что Фемида уже положила его на свои весы, чтобы определить, что с ним делать дальше. Положила на обе лопатки!

— Я тебе вот что хочу сказать, Гена! — глядя на него исподлобья, не будучи в состоянии поднять как следует голову, сказал тихо Вихров. — Вот ты взял сейчас из кармана моего пальто сто рублей...

— Я не брал! — сказал Генка горячо, не сводя с учителя абсолютно невинных глаз, хотя уши у него тотчас же порозовели, а ноги предательски обмякли.

— Эти деньги принадлежат другому. Эти деньги заработал я. На эти деньги живут трое людей — я, мама Галя, Игорь. Каждый рубль в нашей семье рассчитан и идет по своему назначению! — не обращая внимания на оправдания Генки, который лепетал, что он никогда себе не позволит ничего подобного, что Вихров ошибся, что он не берет чужого, продолжал Вихров. — Представь себе, что я взял бы у твоей матери деньги, которые она получила, и она не смогла бы купить Зое молока, а тебе ботинки. А ведь у нее нелегкая работа — целый день на ногах, испытывая боязнь обсчитаться, в жару и в холод! Представь себе, что все люди воруют друг у друга и боятся друг друга! Что за жизнь тогда настанет? Скажем, ты накопил деньги для того, чтобы купить себе лыжи и, быть может, стать чемпионом мира по прыжкам с трамплина. Пришел домой, а денег нет, украли! Или, представь себе, твоя мать накопила деньги для того, чтобы полечиться, поехать в санаторий! Хвать, а денег нет, украли! Представь себе...

— Нет у меня ваших денег! — сказал Генка и сморщился. — Нету! — Он вдруг вывернул все свои карманы, отчего из них посыпалась всякая дрянь — перочистка, шурупы, раздавленная конфета, фантики, огрызок карандаша, крошки, носовой платок, грязный, как половая тряпка, старинная пуговица с орлом. Вид у него был несчастный, воплощение оскорбленной невинности! — Нету у меня ваших...

Вихров глядел на вывернутые карманы. Генка был искренен — денег не было, и в голосе его звучала неподдельная обида: вот пристали к человеку! На секунду Вихров усомнился в своих чувствах, но отступить он уже не мог, и он стал трибуналом с задачей схватить, уличить, вынудить к признанию, судить, вынести приговор и привести его в исполнение. Ясно было, что в данный момент деньги были в другом месте! Согнувшись от боли, Вихров встал и медленными шагами пошел в прихожую. «Три часа назад я положил сюда сто рублей! Теперь их нет! Никто сюда не приходил, кроме тебя! — сказал он, выворачивая карман своего пальто. — Взяв деньги, ты в комнату не входил, и здесь их не мог спрятать, некуда! — Он осмотрелся. — Ты вышел на веранду, как только взял деньги! Пошли!» — и они пошли на веранду, где стоял Фросин сундучок, который таил в себе склонность стать ящиком Пандоры для Фроси. «Открой!» Генка открыл. «Ищи!» И Генка, нехотя порывшись в баракле, чувствуя себя схваченным за горло, извлек смятую его пальцами бумажку и отдал Вихрову. «Ну! Что ты скажешь теперь?»

Генка молчал с угрюмым видом, побледнев от внутренней дрожи, сотрясавшей все его тело. О чем было говорить, когда он схвачен с поличным. Отпираться? Генка вдруг потерял охоту отнекиваться, изворачиваться, лгать. Какое-то чувство тупого отчаяния овладело им. Это не был просто страх, уже много раз в жизни испытанный Генкой, как ни коротка была его жизнь. Это было что-то совсем другое — точно что-то порвалось у него внутри, раскочилось и не могло соединиться. И, пожалуй, впервые в жизни Генка оказался беззащитным, потому что у него не стало охоты защищаться — ни плачем, ни нахальством, ни бегством...

— Не знаю, видел ли ты когда-нибудь людей, лишенных всех прав состояния! — сказал Вихров. — Но тот, кто становится на такой путь, лишается права жить среди людей. Такие, как волки, живут стаями! А люди — живут среди людей, не боясь друг друга, честно глядя в глаза друг другу, готовые помочь другому и знающие, что, как бы плохо им ни пришлось, всегда они смогут опереться на руку друга... А волки — едят друг друга, когда нечего есть!

Почему-то Генке припомнился тот, в отсеке арестного помещения пограничного отряда, и его равнодушный, тяжелый взгляд. Генка вздохнул. И опять промолчал. Ему нечего было сказать. Какие-то слова бродили у него в сознании, но он не мог ухватить их и выразить ими свое состояние...

— Тот, кто становится на такой путь, живет в одиночку, Гена. А тяжелее одиночества нет ничего на свете. Неужели ты хочешь так жить?

Генка молчал. Мучительная дрожь била его. Ему казалось, что даже кишки его трясутся от этой дрожи. Он передернул плечами, не в силах больше сдержаться. Губы его задрожали. И лицо покрыла зеленая бледность.

Вихров совсем задохнулся тоже. Где же найти слова, которые вошли бы в сознание этого парнишки, потрясли бы его до глубины души, растопили бы ее, смыли бы все наносное, вредное, от чего в душе заводится плесень, пробудили бы в ней честь и совесть, достоинство и гордость? Не в силах больше стоять и чувствуя, что без укола ему сейчас не обойтись, а сам не в состоянии сделать это, он сказал Генке:

— Подумай над этим!

Генка смотрел в сторону.

Вихров сказал ему:

— Будь добр, позвони в поликлинику, попроси послать ко мне сестру — мне совсем, понимаешь, худо...

— Я лучше схожу! — сказал Генка чужим голосом. — По телефону я не умею. Я лучше схожу. Я знаю, где поликлиника...

Не глядя на Вихрова, в том же угрюмом настроении, он спустился с лестницы. Вихров стоял, держась за дверь. Генка спросил:

— Вы маме скажете?

— Пока нет. Пусть это останется между нами! — ответил Вихров. — Я от тебя не требую ничего. Но ты подумай... подумай...

Возле калитки Генка столкнулся с Иваном Николаевичем.

Дементьеву доложила Марья Васильевна, что Вихров опять свалился. «Хм! — сказал Иван Николаевич. — И что это люди все болеют да болеют? Износились, что ли, Марья Васильевна?» — «Может быть, и так, Иван Николаевич!» — «Да. Вот бы придумали медики так: изнашился орган — сейчас его долой, а взамен изношенного подключили новый, и давай, товарищ, шагай дальше». — «Как бы вам первому не пришлось что-нибудь подключать, Иван Николаевич!» — сказала Марья Васильевна, видевшая, что Дементьев все чаще прислушивается к своему сердцу. «Ну, о нас речь пойдет позже, мы еще попрыгаем!» — ответил Дементьев весело и, вызвав машину, подъехал к дому Вихрова. Он грузно поднялся по лестнице, вошел в коридор, окликнул громко: «Есть тут кто-нибудь живой?» Вихров отозвался, и Иван Николаевич оказался у его постели.

— Те-те-те, батенька! — сказал Дементьев укоризненно. — Что это ты надумал? Смотрите-ка, больной, да и по-настоящему, как я вижу.

Вихров обрадовался посетителю: вот, выкроил же время, чтобы поведать, — и был недоволен тем, что оказывается перед Иваном Николаевичем в самом неприглядном виде, тогда как меньше всего именно перед этим человеком, которого он уважал, может быть, больше других в городе, ему и хотелось бы показывать свою немощь.

— Лечат тебя? Кто? Как? Что прописывают? А врачи бывают? Ты бы с профессором посоветовался. Почему не придет? Придет! Мы попросим. Да, кстати, ты новое чешское средство против астмы пробовал? Как оно называется, погоди, у меня где-то записано! Ага, вот! Ант-аст-ман! И не слышал? Ладно, услышишь. Его еще трудно достать, но можно при желании...

Иван Николаевич засыпал Вихрова вопросами, почти не слушая его ответов и уже очень ясно представляя себе, что надо для Вихрова сделать. Он сказал Вихрову, что политические новости очень интересны, что народно-революционные войска вступили в Маньчжурию, разгромив наголову у Шанхайгуаня чанкайшистский заслон, и что дело теперь пойдет.

Он пошутил, что теперь весь амурский флот придется, несмотря на угрозу ледостава, поставить на вывозку в Маньчжурию продовольствия и снаряжения, взятого у Квантунской армии как трофейное, новому хозяину — Четвертой и Восьмой Народно-Революционным армиям, занявшим свою базу. «Слава богу! — сказал Иван Николаевич. — Теперь у нас граница будет, наконец, с друзьями. Дожил я все-таки до этого!» Он спросил:

— Ну как твоя соседка? Не ссоритесь вы с ней? Да, кстати, это не она проштрафилась в сберегательной кассе?

— Она! — сказал Вихров с некоторым чувством неловкости.

— Да! Кабы знать, где упасть, так соломки бы подостлать! — сказал Дементьев, поняв смущение Вихрова. — Бывает и так, что и палец стреляет! Мне тоже за это дело досталось. Есть у меня такой друг — Воробьев, так он меня обвинил, что я свил себе гнездо среди расхитителей и пригрел на груди змею... А вообще-то надо кончать с последствиями войны. На темных улицах пошаливают, хулиганье развелось! Не хочешь ли принять участие в одной экспедиции — интересно будет. Старый чоновец Рогов идет, готовится, как на выемку семеновских банд. Я ему говорю: «Куда ты, хромой барин, пойдешь? Тебя куренок с ног свалит». — «Нет, говорит, старая гвардия не сдастся!»

Иван Николаевич потрепал дружески Вихрова по плечу:

— Ну, давай договоримся так — не сдаваться! А?

— Да я не сдаюсь, Иван Николаевич! — храбро сказал Вихров.

— Вот это то, что я хотел от тебя услышать! — усмехнулся Дементьев, встал и быстрой, хотя и грузной, походкой, кивнув на прощание Вихрову своей большой головой, вышел. Заскрипели под его тяжестью ступеньки, послышался сигнал машины, потом все стихло.

Утомленный Вихров уткнулся в ладони и сжал горячие виски.

10

В глубокой задумчивости Генка брел по улицам.

В душе его что-то было неладно. Как-то привычное вдруг опостылело, желанное разонравилось. Сначала он побрел к вокзальному киоску, где работала мать. Но едва он увидел этот киоск, у него пропало желание пить газированную воду с сиропом. Он побрел на станцию, не ощущая же-

лания бежать, которое всегда возникало у него при жизненных осложнениях.

Прошел московский поезд. Генка без интереса заглядывал в широкие зеркальные окна его, в которых видны были фигуры и лица пассажиров, намотавшихся, уставших за девять суток пути от Москвы и жаждавших, чтобы последние сутки — до Владивостока — прошли как можно скорее, а они, именно эти последние сутки, казались нескончаемыми.

На подножке мягкого вагона стояла нарядная девочка Генкиных лет. Она повисала на поручне, но не сходила на перрон, побаиваясь, как бы поезд не ушел без нее. Взглянув на Генку, она спросила:

— Мальчик! Ты здешний? Это большой город?

— Большой! — ответил Генка без выражения.

— Хороший?

— Хороший! — отозвался Генка так же бесстрастно и задумался. Город, в самом деле, был и большой и хороший, а видел ли его Генка толком? И что он в нем испытал? Много! А чего больше — хорошего или плохого? Он не смог бы ответить на этот вопрос. Очень трудно бывает иногда отвечать на некоторые вопросы. А кому он в этом городе сделал хорошо? Кому сделал плохо?

— У вас все такие разговорчивые? — спросила девочка.

— А ну тебя! — сказал Генка и пошел прочь, вдоль путей, думая выйти к авторемонтному заводу, откуда в город шла хорошая шоссейная дорога.

Замелькали просмоленные шпалы под его ногами, зашуршал гравий, попадались какие-то заржавевшие донельзя гайки и шайбы, которые всегда валяются возле железнодорожных путей. Генка шагал, угадывая на каждую третью шпалу. Чуть посторонился, когда московский пролетел мимо него и обдал сухим мусором, который взвихрился вслед поезду...

Возле товарных пакгаузов он увидел сидящих прямо на деревянной платформе женщин, одетых по-разному, кто в чем — кто в зимнем, кто в летнем. Одежда их была измята и попачкана, хотя кое-какие вещи были и дорогими. Возле них виднелись пожитки: чемоданы, свертки, узлы. Они сидели молча, как бы потеряв интерес друг к другу и ко всему прочему, что их окружало, сложив руки на коленях, похожие одинаковым выражением, написанным на их лицах — молодых или пожилых. Пятерка солдат внутренних войск стояла возле. Они стояли вместе, покуривая, о чем-то переговариваясь между собой, неторопливо пуская в воздух сизые папиросные дымки. По путям, чуть дальше, маневровый паровоз толкал к платформе два товарных вагона с решетками на

окнах. Солдаты почти не глядели на арестованных, занятые своим разговором. Но вокруг женщин сидели овчарки, то и дело поводя по сторонам своими остроухими головами и внимательно поглядывая на женщин своими золотыми глазами, когда кто-нибудь из них шевелился, меняя положение.

Генка понял, что перед ним арестованные — может быть, из числа тех, кто запятнал себя сотрудничеством с фашистами.

Он лениво поднял с земли сухой собачий помет и кинул в женщин, крикнув:

— Немецкие подстилки!

Одна из женщин, услышав его голос, вдруг встрепенулась, обернулась и даже привстала со своего места. Она посмотрела на Генку и с каким-то всхлипом крикнула ему:

— Гена!

Это была Зина. Но Генка не ответил ей. Он отвернулся.

Сторожевая собака глухо зарычала, подавшись всем телом к Зине. И она опять уселась на платформу, не сводя своих красивых глаз с Генки, который опять шел, стараясь ступать на каждую третью шпалу. «Не узнал, что ли?» — спросила Зина и все хотела, чтобы он обернулся, чтобы он помахал ей, неожиданный вестник из мира ее прошлого. Но он шел все дальше, а подошедший состав и совсем закрыл его фигуру.

— На посадку! По-одымайсь! — звонким, молодым голосом скомандовал старший конвойного наряда.

Солдаты взяли собак на поводки. Женщины встали. С грохотом раскатились двери вагона перед Зиной, обнажив внутренность его — с двойными нарами по обе стороны прохода, где стояли, сбитые из нестроганных досок, длинный стол и скамейки, с жестяным унитазом возле двери.

11

Ничто человеческое не было чуждо Фросе.

Она стиралась в присутствии своей красивой подруги Зины. И жила в течение всего времени дружбы с нею как бы освещенная отраженным светом красоты Зины. Она, не знавшая мужчин, кроме своего Николая Ивановича, была младенцем в женской науке прельщать, быть желанной, нравиться, одеться к лицу. Зина же с ее развитым эстетическим чувством многое преподавала Фросе — исподволь, незаметно, в форме совета, или пожелания, или шутки. Если она видела на Фросе вязанную шапочку зеленого цвета, а шарфик на шее красного — Фрося смотрела на качество и необходимость! — она говорила: «Фросечка! Что-то ты такая красивая,

прямо глаза разбегаются! Ты бы покрасила их в один цвет — будет лучше. Шапочка на голове, а шарфик, пусть чуть виден, а в тон. Совсем по-другому выглядеть станет. Как это ты не понимаешь? Вот смотри, клиентка пришла! Вон та! Видишь, и не дорого, а красиво! Если мы сами не будем об этом заботиться — торговая сеть о нас и не подумает!» И у Зины хватало терпения найти краску, где-то достать рецепт и заставить Фросю — боясь, что теперь пропадут и шапочка и шарфик! — добиться нужного цвета. А когда Фрося появлялась обновленная, Зина одобрительно осматривала ее и говорила: «А ты боялась! Поглядишь в зеркало!» А что там было глядеться, Фрося уже и сама знала, что стало лучше. Нельзя сказать, чтобы Фрося вовсе была лишена эстетического восприятия — просто никто не дал ей толчка раньше или не разбудил в ней критическое отношение к вещам. Зина сделала это, и теперь Фрося думала сама о своей внешности, и придирчиво приглядывалась к себе, и уже не покупала вещи, руководствуясь принципом Николая Ивановича: «Хорошая вещь! Вишь сколько стоит!» — а, раздражая продавцов, все примерялась и примерялась к вещам, пока вдруг не обнаруживала тот загадочный «ансамбль», о котором говорила Зина.

Она, конечно, была влюблена в Зину, но то, что Зина, как бы почти не делая усилий для этого, всегда была одета к лицу, то, что Зине всегда было обеспечено внимание со стороны не только мужчин, но и женщин, то, что Зина была так хороша собой, — кроме чувства естественного восхищения, возбуждало в Фросе и чувство зависти. Она в соответствии с природой своей была даже чуточку рада, что у ее красивой приятельницы жизнь вовсе не устроена и тоже нет мужа, как и у некрасивой Фроси. В присутствии Зины она смеялась громче, чем ей хотелось, говорила больше, чем стоило, двигалась чаще, чем это следовало, — для того чтобы совсем не потеряться в тени рожденной под Венерой подруги своей.

И вот она осталась одна, но со всем тем, что почерпнула от Зины, с тем, что в ней самой теперь требовало выхода: с желанием нравиться, со стремлением не быть хуже других и — что греха таить! — нуждаясь в ласке мужчины и загадывая несмело о новом муже, коль скоро Николая Ивановича не вернешь. Плохо в доме без мужчины! Дети, конечно, поглощают много времени и сил. Работа, конечно, всегда не сахар и отнимает полжизни. Но это — все для других. А для себя? Хочется ведь не только заботиться о детях, которым ты нужна, и не о начальниках, репутация которых зависит и от тебя, от твоего умения работать, но чтобы кто-то позаботился и о тебе, чтобы кто-то подумал и о тебе не как о матери и не как о работнике!

И вот ей показалось, что жизнь ее — накануне большого перелома. Марченко и раньше как-то вскользь поглядывал на нее. Фрося хорошо помнила тот праздничный день, когда капитан вдруг принялся гладить ее. Пусть он был пьяноват, а все же, значит, она могла привлечь его внимание, хотя — по всему судя! — он принадлежал Зине. С блестящей подругой трудно было конкурировать, но — чем черт не шутит, когда бог спит, гласит поговорка, чем черт не шутит! Может, Зина и хороша, и красива, и весела, и умна, и начитанна, а вдруг в ней нет того, что есть в Фросе? А вдруг? Мы всегда относимся к себе пристрастно — охотно иронизируем над чужими недостатками, видим малейший изъян в других, разбираем придирчиво их поступки, приклеиваем к ним ярлычки, с которыми так удобно обозначать пороки: морда, дура, урод, ни кожи ни рожи, кошка драная, туша, отворотясь не насмотришься, поглядела бы в зеркало, тумба, рояльные ножки, нос на семерых рос — одной достался и так далее. А делается это по принципу: в чужом глазу соломинку мы видим, в своем — не видим и бревна! Значит, естественно, что Фрося — в своих глазах! — была совсем не похожа на ту Фросю, которую видела Зина. Женщина остается женщиной, независимо от того, наворожила ли ей бабушка красоту, как Зине, или дала обыкновенное, ничем не примечательное лицо. Недаром, как видно, возникла пословица: «С лица не воду пить!» А Фрося не была уродом. Просто ей не хватало красок. А это с успехом восполняется изделиями рук человеческих. Немного кармина на губы, чуть тронуть тушью ресницы, темным карандашом брови, да пустить в ход пуховку, да привести ногти в порядок, да быть чистой и одетой к лицу. А в этом Фрося оказалась талантливой ученицей своей красивой подруги.

И когда Марченко не только поздоровался с нею на улице, но и остановился, чтобы поболтать, когда он предложил ей работу и намекнул, что не прочь зайти к ней в гости, она радостно встрепенулась, какие-то птицы запели в ее душе, пока несмело и вразброд, какая-то музыка заиграла — пока неясно, что именно, какая-то радуга перекинулась от ее прежней жизни с Николаем Ивановичем к нынешней, одинокой, исполненной надежд и томлений, соединяя что-то. «Хороший мужик! — подумала тогда Фрося. — За таким как за каменной стеной!» Да, ей и была нужна каменная стена — она не стыдилась сознаться в этом себе!

В этом состоянии, чем-то напомнившем Фросе то, в котором она пребывала, будучи две недели невестой Николая Ивановича — такой срок был ему нужен для покупки кровати на двоих! — она и приняла Марченко.

В радостном возбуждении, благодарная Марченко за работу и доверие, но, кроме этого, предвидя какие-то и другие изменения в своей судьбе, вернее — надеясь на них, она была очень внимательна к своему гостю. Он понял это, как может понять мужчина. И когда Фрося опьянела — не столько от выпитого, сколько от наплыва всевозможных чувств, — он овладел Фросей. Быстро, грубо, просто, почти задавив ее не только физически, но и морально. Он ни разу не поцеловал ее в губы, как целуют желанных. Он принял близость Фроси за такую же благодарность, какую она однажды приняла от него в сберкассе.

Ошеломленная Фрося поднялась с кушетки, куда он бросил ее, едва отодвинувшись от стола. В ее душе больше не пели птицы, — может быть, хрипели их птенцы, смятые этим волосатым, грубым Амуром, которому пристало больше работать в кузнице тяжелым молотом, чем чаровать, музыка умолкла, и радуга больше не играла на небе. Да, Зина была права — Марченко не дано было возвышать людей.

Он не понял ее состояния, не увидел того, что она оскорблена и унижена. Он потрепал ее по щеке, больно сжал ее грудь, сыто засмеялся и сказал: «Вот так! В таком разрезе!» Но расстроенного лица Фроси он не мог не заметить и спросил с некоторой озабоченностью: «Что это ты ровно пришибленная какая-то!» — «Да так просто. Голова болит!» — ответила Фрося. «Огуречный рассол надо пить!» — посоветовал Марченко. Он сказал, что будет к ней приходить, как выдастся время, и что ревизоров она пусть не боится. Он надел галстук. Долго рассматривал свое лицо в зеркало, озабоченный маленьким прыщиком, что сел у него возле носа. Потом обнял Фросю, похлопал ее тяжелой рукой и ушел.

«Может, еще полюбит! — сказала себе Фрося, боясь признаться в том, что ее надежды разбиты и что Марченко в своем тресте, среди зависимых от него продавщиц, как петух в стае кур. — Может, полюбит! А не полюбит, так привыкнет!» От Зины она знала, что Марченко хотел разводиться со своей старой женой, которой он был моложе на семь лет.

Эта надежда удерживала Фросю и заставляла ее подчиниться своему неожиданному любовнику, хотя опять все это было и буднично и утомительно. «Видно, все такие!» — подумала Фрося, сравнив Петра Ивановича со своим Николаем Ивановичем. Последний, пожалуй, был и сердечнее и милее при всей своей молчаливости и неразвитости. И Фрося, подчиняясь какому-то горькому порыву, сняла портрет Лунина со стены и, всплакнув немного, положила его в комод, как будто для того, чтобы Николай Иванович не видел своего такого бесцеремонного соперника...

Он брал Фросю, как голодный человек съедает хлеб, не думая о его вкусе и форме. Он был нетерпелив. Он шел напрямик в своих желаниях. И в доме Фроси все подчинялось теперь этому желанию: Зойка отправлялась к Людмиле Михайловне или укачивалась в неположенное время. Генка отправлялся в кино, даже если не выучил уроков, и радовался тому, какая лафа наступила для него, — он не пропускал почти ни одной картины и завоевал симпатии всего двора своими неограниченными возможностями и своей способностью подолгу рассказывать об увиденном, иной раз прихватывая что-то из одного сюжета в другой, а то и просто придумывая ходы, которые устраивали его больше, чем те, которые придумал режиссер того или иного фильма.

И однажды произошло то, чего со страхом ожидала Фрося, не видевшая возможности как-то умерить пыл и регламентировать потребности Петра Ивановича.

Марченко дал деньги Генке и отправил того в кино.

Но Генку не пустили в кино. Фильм был из тех, после названия которых то ли из соображений педагогических, то ли из соображений кассовых пишут: «Дети до шестнадцати лет не допускаются!» Я, правда, в этих фильмах ни разу не видел ничего такого, что не могли бы увидеть ребята в ежедневной своей жизни, торча на глазах у взрослых, как они торчали на глазах у детей, но нравственный заряд того или иного фильма определяется такой авторитетной комиссией, таким представительным коллегиальным органом, что я не в состоянии критиковать его решения. Важно то, что Генке не продали билета на один из таких фильмов, который детям до шестнадцати лет не показывали.

На улице было холодно. День заметно сокращался, и в час, когда Генка должен был погрузиться в мир волшебных переживаний с помощью изобретения господина Люмьера, было уже довольно темно. Волшебное погружение не состоялось. На улице делать было явно нечего, и Генке пришла неожиданная, но конструктивная мысль: «Пойду-ка я домой, да ка-ак приготовлю на завтра уроки! Вот и будет всем фига с маслом!» И он даже зашпешил — настолько привлекательной оказалась эта мысль.

В окнах их комнаты не было света.

Генка подсадовал, но все же постучал в дверь.

Никто не отозвался на его стук. Матери, видно, не было дома, а Зойка либо спала, либо отбыла вместе с матерью куда-то. Тогда Генка вышел на веранду, сел на ящик Пандоры, уже не таящий в себе никаких бед, так как все несчастья уже случились, и стал припоминать: что такое меридианы и что такое параллели? которые из них идут вверх, а которые по-

перек глобуса? Он уже был близок к решению этой трудной задачи, как заметил сбоку какое-то движение. В окне. Он обернулся. Приподняв занавеску, из окна выглядывала мать с всклокоченными волосами. Она смотрела, кто стучал, не видя, что Генка сидит на сундучке, и думая, что стучавший пошел к калитке. Потом она перевела невольно глаза и встретила взгляд Генки, изображавший любопытство и недоумение. Лицо ее исказилось. Она поспешно задернула занавеску и скрылась. Оказывается, она дома! Вот хорошо! Пока не остыло желание, надо было хвататься за учебники, ибо это желание не так уж часто посещало Генку, как вы уже знаете...

Дверь открылась с некоторой задержкой, отчего Генка постучал еще и еще раз. Когда дверь открылась, в комнате было светло, мать включила свет. Но она была не одна. У стола, как-то уж очень прямо, дымя папиросой, как паровоз, сидел дядя Петя. Лицо его было красно. Мать была ненатурально суетлива. И Генка понял, что она просто не хочет или не может глядеть на сына. «Вот хорошо, что пришел! Сейчас мы чаю попьем, потом мы за уроки сядем! Зюечка тоже скоро проснется! Вот и хорошо!»

Дядя Петя, не скрывая своего недовольства, спросил:

— Что, уже кончилась картина? Быстро, понимаешь...

— До шестнадцати лет не допускают! — сказал Генка нехотя и отвернулся. Ему не хотелось глядеть на доброго дядю Петю. Секрет его щедрости раскрывался очень просто и обретал неблагоприятную внешность. Как ни мал был Генка, а и его житейского просвещения было достаточно, чтобы представить себе далеко не волшебную картину времяпрепровождения дяди Пети с матерью. Кое о чем он был наслышан, хотя и не смотрел картин, на которые добродетельная и нравственная коллегия не допускала детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Недовольство и ложь звучали в голосе дяди Пети, испуг и ложь звучали в голосе матери. И Генке стало тяжело и от этого недовольства, и от этого испуга, и от этой лжи.

Тяжесть на его сердце еще более увеличилась, когда он увидел вдруг исчезновение портрета отца. Хотя про Генку и можно было сказать, что он прошел огонь, и воду, и медные трубы, и собачьи зубы, всегда в нем жила какая-то гордость за то, что отец его погиб за нашу советскую родину, а не как-нибудь по-другому...

Чайник вскипел, на столе появились чашки вместо тех недопитых стаканов с вином, которые Генка увидел, входя в комнату.

— Ну, попьем чайку! — сказала мать.

Генка забрал свои учебники и молча двинулся к выходу.

— Куда ты, Геночка? — с притворной лаской, по-прежнему не глядя на сына, спросила Фрося. — А чай?

— Не хочу! — сказал угрюмо Генка. — Пойду к другу, будем уроки учить...

— Пусть идет! — сказал с чувством облегчения дядя Гетья. — Вдвоем всегда способнее!..

И он каким-то особым взглядом посмотрел на мать. Может быть, в картинах, какие запрещено смотреть детям, мужчины глядят на женщин такими взорами?

«Хозяин нашелся! — сказал себе Генка, которому почему-то было стыдно, а чего — он и сам не знал. — Вот как-как дать бы по зубам-то, то-то бы дров много было!»

И он вышел, даже не сказав дяде Пете до свидания, хотя мать и сказала ему вдогонку: «Что же ты с дядей Петей не попрощался, Геночка!» «А ну вас всех! — подумал он, тяжелыми ногами ступая по лестнице. — Зойке, наверное, водки дали, чтобы спала!» — подумал он со злобой и с тоской...

Никуда ему не хотелось идти. Все люди были ненавистны.

И он пошел в штаб-квартиру Гавроша, на чердак. Там не было уюта. Но там не было и лжи, все было честно и откровенно и никто никого не обманывал.

Однако на этот раз ему не понравилось у Гавроша.

Кроме Гриньки на чердаке были еще двое каких-то парнишек и одна девчонка. На бумажной коробке стояла бутылка водки, пиво, на бумаге — разрезанная колбаса и вскрытые рыбные консервы. «Я не хочу толстолоба! — говорила девчонка и визгливо смеялась и ковырялась в банке вилкой с погнутыми жалами. — Я хочу знаете чего!» И она проглатывала какое-то слово, что не обманывало мальчишек, так как они не менее визгливо, давась смехом и чувствуя себя совершенно взрослыми, хохотали и матерились. «Дура ты! — говорил Гринька девчонке. — Вот задрать тебе подол да и всыпать двадцать пять горячих!» — добавлял он. «Ты только на словах мастер!» — пренебрежительно кричала девчонка и кривилась — ее поташнивало.

— Чего пришел? — спросил Гаврош у Генки.

— А ну их всех! — иносказательно ответил Генка, разумея, что ему надоел ложный мир взрослых.

Но Гринька понял его и по этому восклицанию. Он вздохнул и показал Генке на место рядом, ткнул пальцем в бутылку: наливай, мол, пей, казак, и — будешь счастлив! Но Генка, может быть, потому, что это окружение Гавроша и эта обстановка живо напомнили ему о матери и дяде Пете, отрицательно замотал головой:

— Не-е...

— Они непьющие! — сказала девчонка глупо, и мальчишки заржали опять.

— Ты, Розка, заткнись! — сказал Гаврош.

Мальчишки затеяли возню с Розкой. Она хихикала, они стали красны. Гаврош спросил Генку, кивая головой на книги:

— Интересные?

— Учебники! — сказал Генка, понимая, как дико звучит здесь это простое слово.

— Пустите Дуньку в Европу! — закричала девчонка, издеваясь над Генкой и отгалкивая от себя наглеющих мальчишек и вместе с тем наслаждаясь их притязаниями. — Профессор, снимите очки-велосипед! Хотите, я вам что-то покажу...

— Учиться хочешь? — спросил Гаврош Генку, не обращая внимания на возню в углу. Он опять вздохнул. Задумался. Но Генка понял, что Гаврош не будет смеяться над ним, и у него отлегло от сердца. Вот это человек, вот это друг! Вдруг Гаврош тихо спросил, словно о чем-то стыдном: — Хочешь, я тебе помогать буду? Не все забыл, у меня память знаешь какая — как у слона. Если бы я хотел, так я бы, знаешь...

— Хочу, Гриня! — сказал Генка осипшим голосом, и на душе у него сразу потеплело. — Да ведь тебе не до этого...

— А что? — спросил Гринька каким-то звонким голосом. — Ты меня еще не знаешь! Эй, вы, сопляки! — крикнул он мальчишкам, которые боролись с Розкой и все опрокидывали ее на спину. — Нельзя ли вам выйти вон! А ну, кому я сказал! — Он стал подниматься, видя, что мальчишки не хотят слушаться и что Розка совсем расхулиганилась. Едва он стал на ноги, возня прекратилась, и теперь все трое ребят, разгоряченные и недовольные, стояли перед ним.

— Ты не очень-то! — сказала Розка, сбывчившись.

— Поговори! — бросил Гринька жестко, и Розка захлопнула рот. — Давайте катитесь отсюда — колбаской по Малой Спасской! А ты, Генка, садись сюда. Поближе к свечке!

Почувствовав, что ребята переминаются с ноги на ногу в темноте за его спиной, он сказал:

— Не слышали, да? Марш отсюда!

И вдруг чердак озарился ярким светом электрических фонарей. Обитатели штаб-квартиры Гавроша зажмурили глаза, ошеломленные неожиданностью. Розка ахнула. Мальчишки подались было в глубину чердака, но застыли на месте, услышав повелительный голос, привыкший отдавать приказания:

— Всем стоять на месте! Если есть оружие — вынуть и положить на пол! Считаю до трех.

Один из мальчишек вытащил из кармана большой складной нож и, сгорбясь, отчего спина его выгнулась, как у щенка, который вычесывает блох, стоя на трех ногах, положил нож на пол.

— Засыпались, Гавря! — сказала Розка.

Гаврош сплюнул, показывая свое философское отношение ко всему происходящему в мире, и полуобнял Генку:

— Ни чик! Не бойся, салага, это моя милиция меня бережет!

12

Две недели потратил Иван Николаевич на подготовку облавы.

Вся милиция, студенты трех вузов, войска внутренней охраны, курсанты военных училищ, все офицеры, находившиеся в распоряжении отдела кадров фронта и ждавшие увольнения из армии или перевода в другие части, вся комсомольская организация города, добровольцы — старые рабочие, которым надоело и хулиганство, и поножовщина, и грабежи, и прочие бесчинства, приняли участие в этой операции.

Целая армия была приведена в движение для того, чтобы удержать Генку на краю пропасти, по которому он ходил, как по острию ножа.

Правда, может быть, в эту пропасть Генке не дал упасть один из тех, кто сам в ней находился, — Гаврош, он же Сарептская Горчица, он же Гринька...

Фамилию его Генка узнал, когда вся компания, взятая на чердаке, оказалась на просторном дворе милиции.

— Григорий Томилин! — сказал Гринька, когда подошел к офицеру, который составлял список задержанных.

— То-ми-лин? — спросил Гриньку майор милиции, словно фамилия Гавроша была ему знакома.

— Да, представьте себе, То-ми-лин! — с вызовом обернулся к нему Гринька. — Был отец — Иннокентий Томилин, а есть его сын Григорий Томилин... Существует...

— Верно, что существует! — с каким-то странным выражением буркнул майор.

Он отошел от Гриньки, занятый своими делами: на двор милиции все прибывали и прибывали новые группы задержанных генок — обоих полов и всех возрастов. Можно было считать операцию удавшейся, но майор был предельно озабочен — срочно надо было изыскивать помещение для арестованных, и хотя многих задержанных просто из-за отсутствия

документов при себе, опросив, отпускали, все же скапливалась тут изрядная, разношерстная, разномастная, разноголо- сая и нечистая толпа явно подозрительных людей: крикливо одетые, ярко раскрашенные девицы, нахальством маскиру- ющие свой испуг или плачущие в приступе страха и злости, по-всякому одетые молодые люди, которые либо возмущен- но кричали что-то вроде «Не имеете права!», либо лихорадоч- но курили папиросу за папиросой, либо искоса, изучающе по- глядывали на все окружающее, словно примеряясь к тому, чем все это может для них обернуться. Это были и жители города, давно бывшие на примете у милиции, и разные при- блудные — без постоянного места жительства, без прописки, без семьи, без роду, без племени, иваны, не помнящие родст- ва, бежавшие из лагерей или еще не попавшие туда, хотя по многим уже скучала тюремная решетка, люди без чувства и без закона, вольные птицы без крыльев, рыцари удачи, чер- павшие из чужого кармана, как из своего, и способные на то, чтобы из-за копейки выпустить душу из человека. И оборван- цы, махнувшие на свою жизнь рукой, и те, для кого хорошая одежда была профессионально необходима. Молодые и ста- рые. Начинающие и кончающие свою жизнь. Те, кого толк- нули на улицу сложные и не всегда подчиняющиеся пропи- сям жизненные обстоятельства, и те, кто годами ходил тем- ной дорогой, избегая громкой славы судебных процессов и государственного обеспечения в соответствующих, приспособ- ленных для этого, помещениях.

Перед Генкой предстал вдруг тот мир, на который намекал ему майор, начальник пограничной заставы, о ко- тором говорил ему Вихров, о котором говорила Дашенька Нечаева.

И Генке стало страшно при взгляде на этот мир. Он, как затравленный собаками котенок, что взлетает на дерево одним махом и видит под собой собачьи морды, смотрел и смотрел вокруг на эти лица, понурые, злые, брезгливые, на- хальные, равнодушные, помятые и гладкие, но одинаково чем-то похожие друг на друга. Пожалуй, роднило их выра- жение досады и страха — не повезло, попались! Сколько, вид- но, по кромке ни ходи, а все одно — скатишься...

Вместе с задержанными во двор входили и добровольцы из комсомольских отрядов, которым на эту ночь выдали ору- жие. Они сдавали своих подшефных, затем шли сдавать ору- жие. И вдруг словно пламя полыхнуло в воротах — копна золотисто-рыжих, оттенка красной меди, пышных волос, простенькое лицо, ватная курточка, на одном плече ремень винтовки, щеки, горящие румянцем возбуждения, глаза, в ко- торые так хотелось Гриньке глядеть и глядеть! Это была Та-

нюшка Бойко! И Гринька, увидев ее издали, побледнел как смерть и вдруг сел на землю и заслонился от Тани Генкой.

— Эй, ты! — крикнул ему один из охранников. — Встань давай!

И Гринька вдруг сказал каким-то беспомощным, ломающимся голосом, совсем по-детски:

— Ой, можно я посижу — рыженькая выйдет, я встану, а?

Охранник то ли нахмурился, то ли усмехнулся — трудно было разобрать выражение его лица в этой сумятице метавшихся по всему двору теней и бликов от передвижения людей, от вспышек электрических фонариков.

— Совесть-то, значит, еще имеется! — сказал он.

Но рыженькая не увидела ни Генку, который тоже смертельно боялся попасться ей на глаза, ни тем более Гриньку. Она ушла в помещение, вернулась без винтовки и, спросив, который час, — а было уже четыре утра! — побежала из ворот, на ходу стягивая со своего рукава красную повязку дружинника.

Арестованных стали рассортировывать. Майор милиции вдруг как-то приятно удивился, увидев прилично одетого молодого человека, который стоял, с напряженным вниманием оглядывая каждую новую группу: «А-а! Козырь! Взяли все-таки». — «Взяли, товарищ начальник!» — «Но-но!» — сказал майор. «Виноват, гражданин начальник!» — поправился Козырь. «При прочесывании взяли или на деле?» — поинтересовался майор. «На деле! — вздохнул Козырь. — В железнодорожном магазине. Кича верная, на три года!» Он вдруг беспокойно спросил майора: «А что это я Чирка здесь не вижу, гражданин начальник? Это, выходит, я сяду, а он гулять будет, что ли?» — «А где он?» Козырь сморщился и махнул рукой: «А-а, мелочь! У марухи именины, так он пошел в парфюмерный киоск — духи «Манон» она обожает. С Ванюшкой Петушком!» — «Возьмут!» — успокоил его майор. «А большая облава?» — с интересом спросил Козырь. «На всех хватит!» — рассмеялся майор.

Тут за воротами засигналила машина. Майор подтянулся, поправил ремень и почти бегом устремился навстречу входившим в ворота. Это было начальство — генерал, полковник, еще какие-то гражданские люди и среди них Иван Николаевич.

Иван Николаевич сказал генералу:

— Меня, товарищ генерал, интересуют малолетние! А взрослые — это по вашей линии. С профессионалами мне говорить почти не о чем. Пусть с ними закон разговаривает...

— Хорошо, Иван Николаевич. Вам виднее.

Приехавшие пошли к крыльцу.

Генерал спросил майора:

— В вашем секторе без чрезвычайных происшествий?

Майор немного померк:

— Есть одно, товарищ генерал. Подкололи у нас товарища Рогова. Глупо получилось, но его отправили в клинику.

— Рогова? — ахнул Иван Николаевич.

— Кто? Как? — спросил полковник.

— На Вокзальной парни хулиганили — заставляли через палисадник прыгать туда-сюда. Ну, ножом угрожали. Тут мы их и накрыли. Ну, товарищ Рогов погорячился, подошел близко. А тут один из хулиганов отмахнулся, задел сильно ножом. Думал, Рогов один, хотел уйти...

— Кто такой? — спросил полковник строго.

Майор вдруг замялся, оглянулся, понизил голос:

— Воробьева сынишка... Он давно уже пошаливает. Не знаю, как быть. Воробьев уже звонил. Велел отпустить — сказал, сам разберется в этом деле.

— Как это «сам»? Как это «велел»? — сказал генерал хмуро.

— Да я распорядился отпустить! — совсем понурился майор.

— Блюстители закона! — плюнул полковник. — Ну да ладно. Разберемся потом... Воробьев перед партией ответит, я думаю...

Генка и Гринька стали в затылок друг другу в очереди малолетних задержанных, которая потянулась в помещение. Генка продрог. Гринька время от времени клал сзади на плечи Генке руки, то ли для того, чтобы ободрить, то ли для того, чтобы согреть, но и сам был и хмур, и бледен, и словно стал ростом меньше. Взглядом он подбадривал Генку, но говорить ему не хотелось, и он то и дело впадал в мрачную задумчивость... Вот так, Гринька!.. Рыженькая твоя любовь была сегодня с винтовкой, а ты — с кем был ты сегодня? С Розкой, которая сквернословила и похабничала, с сопляками, в которых желания опережали возможности, с Генкой, который сильно заблудился! Рыженькая была с винтовкой. А ты мог оказаться с ножом, Гринька! Винтовка — это оружие. Но и нож тоже оружие. Только чье это оружие? Рыженькая была сегодня солдатом! А ты, Гриня?

За столом в большой комнате сидел майор.

Неподалеку от него на подоконнике примостился Иван Николаевич, со вниманием смотря на подростков и юношей, задержанных во время облавы. Их было человек пятьдесят. Они тоже были юностью его города. Что же заставляло их быть не такими, как те, кто сейчас уже собирался в утрен-

ную смену на заводы, или досыпал последние сны перед тем, как бежать в школу, или, по путевке комсомола получив оружие для сегодняшней — или уже вчерашней? — операции, сейчас сдавал его куда следует?

— Фамилия, имя, адрес? — спросил Генку майор. — Мать есть?

— Лунин Генка! — ответил сын Марса и Стрельца, едва живой от того, что увидел он этой ночью. — Есть... Улица Полководца...

Иван Николаевич прищурил глаза. Эта фамилия была ему знакома. Он вспомнил и согнувшегося Вихрова, который так ратовал за семью солдата Лунина, и Дашеньку, которая была так озабочена судьбой этой семьи, и Воробьева, который бранил его за гнездо воров в сберегательной кассе, и многое другое, в том числе и Рогова — надо бы проведать его в больнице, старого товарища! — к которому Генка имел прямое отношение, хотя и не он виноват в том, что Рогова в эту ночь отвезли в клинику с ножевой ранюю...

— Как учишься? — спросил он у Генки.

— Плохо! — сказал Генка.

— Не можешь себя заставить?

— Не могу...

— А мать?

— Да ей то некогда, то сама не знает...

Иван Николаевич прошелся по комнате:

— А будешь учиться?

Генка беспомощно пожал плечами, хотя, по всему судя, надо было ответить: «Хочу!» Да, было у него такое желание... Но разве можно было рассказать обо всем, что сейчас бродило в душе Генки? Разве можно было рассказать о дяде Пете, например?.. И на лице его отразились боль и смятение, которые раздирали его. Иван Николаевич тоже задумался, глядя на Генку: надо парнишке помочь! Это было ясно председателю исполкома. Он сказал майору:

— Товарищ майор! Я думаю, что этого надо отпустить домой. Я его знаю. А фамилию его запишите. Скоро мы открываем интернат-школу для таких вот ребят, которыми некому заняться. А пока я поговорю в исполкоме, — может, куда-нибудь его учеником устроим, до интерната. Смысла нет оставлять его в прежнем положении...

— Иди, Лунин! — сказал майор.

Генка вышел в другую дверь, откуда тянуло холодком. В конце коридора виднелась открытая дверь. Генка обернулся и сказал Гаврошу, который держал за поясом Генкины учебники:

— Дай, Гринь! Я тебя подожду...

— Что это? — спросил Иван Николаевич и протянул руку за книгами. Он перелистал их, перелистал и спросил у Гриньки опять: — Что это?

— Да вот пацан просил помочь! Дома ему не с кем разобратся!

— Учитель! — хмыкнул майор. — Ты научишь.

Генке вернули учебники, и он потопал по коридору на волю.

— Фамилия, имя, адрес? — спросил майор Гриньку.

— Томилин Григорий Иннокентьевич! — сказал Гринька.

— Как? — спросил Иван Николаевич, встрепенувшись.

— Как слышите! — резко ответил Гринька.

Майор что-то шепнул Ивану Николаевичу. Тот нахмурился и вопросительно поглядел на Гавроша. Гаврош угрюмо сказал:

— Чего смотрите?.. Отец мой — враг народа, и мне туда же дорога. Небось вспомнили. Бывало, в гости ходили. До тридцать седьмого года! А потом дорогу забыли!.. А вот — встретились же! Припоминаете?

— Припоминаю! — сказал Иван Николаевич и нахмурился, вспомнив тот проклятый год, когда каждое утро недосчитывался то одного, то другого товарища и сам готов был ко всему, вспомнил, как узнал, что Иннокентий Томилин — бывший партизан, потом заместитель председателя краевого исполнительного комитета — был арестован, как отмежевалась от него жена, порывая с ним всякую связь как с врагом народа, как прочитал он фамилию Томилина в списке расстрелянных. Многое вспомнил Иван Николаевич. Так вот это тот самый Гринька, которого когда-то он держал на руках, радуясь продолжению рода партизанского, радуясь тому, что семья Томилиных будет жить и жить!..

Майор вопросительно посмотрел на Дементьева: «Если столько времени мы будем заниматься с каждым из этой братии, то не кончим и через сутки!»

Иван Николаевич вдруг пересохшими губами сказал:

— Товарищ майор! У вас есть какие-нибудь материалы на него? Привлекался ли он, имел ли приводы?

— Нет! — сказал майор. — Только безнадзорничество да, может быть, по мелочи что-то, а так даже и на рояле не играл ни разу. Хотя сейчас, пожалуй, придется все-таки отпечатки снять... Я думаю, не помешает...

— А я думаю, помешает! — сказал Дементьев. — Нет ли у вас какой-нибудь комнатки? Я хочу с Томилиным поговорить малость!

Майор кивнул на соседнюю комнату.

Гринька нехотя пошел туда, шагая стопудовыми ногами.

Иван Николаевич прикрыл дверь.

Он вынул портсигар, спросил:

— Куришь?

— Балуюсь! — ответил Гаврош. И взял папироску.

Иван Николаевич долго глядел на него. «Вылитый отец! И упрямство то же! И сила та же! Беда, если все это не в ту сторону будет нацелено! И себе и людям худа наделает хлопца!»

— Нехорошо ты разговариваешь! — сказал он после неимоверно затянувшейся паузы.

— А с чего мне хорошо разговаривать! — недобро усмехнулся Гринька. — Отца расстреляли. Мать... продаст и меня так же, как продала отца.

— Нельзя так говорить о матери. Она не могла поступить по-другому. По крайней мере она так думала. Ты этого не поймешь сейчас. Речь идет о таких вещах, что, может быть, много времени потребуется, чтобы уразуметь, что к чему...

Гринька исподлобья поглядел на Дементьева.

— А вы уразумели... сами-то?

Иван Николаевич сосредоточенно поглаживал папиросой нижнюю губу. Сизый дымок тянулся от папиросы и прерывался, когда Дементьев двигал рукою. Лицо его потемнело. Видно было, что ему не хотелось отвечать на этот вопрос. Но он пересилил себя и сказал:

— Не все... Одно я тебе скажу, Григорий: не мог твой отец быть врагом народа. Не мог! Я, когда узнал о его расстреле — я был на учебе в Москве в том году, — чуть сам не помешался...

— А расстреляли же! — так и подался к Дементьеву Гринька. Ноздри его раздулись, глаза требовательно смотрели на Ивана Николаевича. Он весь напрягся. То, что сказал ему Иван Николаевич, так и ударило Гриньку по нервам: ведь именно так об этом и думал сам Гринька. «Не мог! Не мог!»

— Эх, Гринька! — с болью сказал Иван Николаевич, видя, какое значение для Гриньки имеет этот разговор. — Многого я сам не понимаю, а верю — настанет час для того, чтобы понять, что произошло... Вот я в парнях и уголь рубал, и плотничал с отцом — дома строил. Балка однажды упала — одного хлопца пришибло. Дом выстроили. А парня похоронили... Вот ты мне и скажи, кто тут виноват!

— Кто плохо балку держал, тот и виноват! — угрюмо сказал Томилин, приглядываясь к Дементьеву. Он помнил его с тех пор. Но теперь видел, как изменился за прошедшие годы Иван Николаевич: пополнел, обрюзг, поседел — точно

густой солью посыпана была его голова с черными жесткими прямыми волосами, прожитые годы — один за другим — вреза́ли в его лицо морщины, за каждой из которых стояло многое, и, может быть, самой глубокой была морщина между бровей, которая появилась в том году, когда имя отца Гриньки оказалось в хронике на четвертой странице газеты.

Иван Николаевич оглянулся на окно, за которым уже занялся веселый день, удивился тому, как прошла эта ночь — быстро и бесследно ли? — и обернулся к Гриньке. Он бросил в пепельницу погасшую папиросу, примял ее пальцем и грустно улыбнулся:

— В шестнадцать лет на вопросы легче отвечать, Гринька, чем в пятьдесят три! Думаешь меньше!.. Ты мне вот скажи: видел, кого сегодня в облаву взяли? Хорошо видел?

— Не слепой! — сказал Томилин.

— Так вот, отвечай: с ними пойдешь или... с нами?

— Хитрый вы! — сказал Гринька без усмешки. — Решай, Гринька, сам, да? А мы ручки умоем: сам выбирал, сам кайся! Так?

— Не дерзи! — сказал Иван Николаевич строго. — А кто должен за тебя решать? Ты решай, а мы поможем! Не трехлетний. Усы, смотри, растут... Теперь тебе каждый божий день придется самому решать. Работать пойдешь?

Томилин насупился. Он понимал, что сейчас решается нечто большее, чем вопрос о том, будет ли Гаврош работать или останется в недостроенном слоне на городской площади — приюте обиды и злобы. Рыженькая на берегу — точно солнечный лучик, Арсенал — чьи дымы над городом стлались по небу, чердак — с его сопливым и откровенным похабством, опять рыженькая — с винтовкой на ремне, многолика и одинаковая шпана — тут, за стеной, в ожидании решения своей участи, отягощенная прошлым и замышлявшая новые правонарушения, — все это смешалось в голове Гриньки, перепуталось, замелькало, завертелось. «Каждый божий день теперь придется самому решать!» Придется самому решать. Либо — в стаю волков, где звери едят друг друга, либо — к людям, которые могут ошибаться, но готовы исправить ошибки, которые всегда — вольно или невольно, таков закон жизни — подставят локоть, чтобы можно было опереться на руку друга, пусть неведомы тебе его имя и род занятий, пусть, оказавшись в минуту помощи возле тебя, он навсегда потом исчезнет из поля твоего зрения! «Настанет час, чтобы понять, что произошло!» Настанет ли, Иван Николаевич? Нет, в шестнадцать лет на вопросы отвечать тоже тяжело, очень тяжело, когда на душе лежит такой камень, какой лежал у Гриньки уже восемь лет из его шестнадцати...

— Я бы на Арсенал пошел работать! — сказал Гринька и затаил дыхание.

Иван Николаевич взглянул на Томила.

— Оборонное предприятие, Гриня! — сказал он, несколько смущенный заявлением Томила, и представил себе те взгляды, которые придется ему претерпеть, когда он заведет речь о приеме Гриньки на работу именно в Арсенал. Гринька насупился и готов был сказать что-то очень оскорбительное, что-то такое, после чего уже невозможен бы стал дальнейший разговор. Инстинктивным движением Иван Николаевич поднял руку и не дал Гриньке сказать то, что так и рвалось из его груди: — Помолчи, порох! Говорят, перед тем как сказать что-нибудь важное, надо до двадцати пяти сосчитать!

— Вот вы и сосчитайте! — сказал Томилин и словно съжился весь, будто и ростом стал меньше: он устал от всего и жаждал, чтобы его оставили в покое — хотя бы и в волчьей стае!

— Сосчитал! — не без улыбки сказал Дементьев. — А что тебя туда так тянет? Почему только в Арсенал? Может, скажешь?

— Любовь! — сказал Гринька, прислушиваясь к слову — то ли оно или, может быть, не то. Но слово было именно то, что надо. — Она с винтовкой сегодня была! — сказал он и улыбнулся невольно, поймав себя на мысли, что ему очень хотелось пройти с рыженькой в ногу, слушая счет сердца, и чтобы у него, как у Тани, была винтовка на плече.

— Даю слово! — сказал Иван Николаевич. — Причина серьезная!

...Когда Гринька Томилин вышел из здания краевой милиции, солнечный день был в разгаре и свежий ветер с Амурского гнал по асфальту желтые листья, листья, листья, которые, шурша, катились и катились куда-то. Золотая осень кончалась...

Золотая осень кончалась...

Уже тополя на улицах города стояли обнаженными, простирая в холодно-голубое небо свои черные длинные ветви, и ветер свистел в этих ветвях. Перед окнами Вихрова качались и качались на ветру тополя, березки и маньчжурская вишня в саду, что развел возле своего дома отец Шурика и Ирочки-балерины. И Вихров смотрел и смотрел на эти кача-

ющиеся ветви, которые словно хотели куда-то сорваться и улететь вместе с последними листьями.

Вихров задышался и кашлял, кашлял и задышался, и Фрося в своей комнате то и дело с недовольством поглядывала на стенку, за которой сосед все никак не мог надышаться и таял на глазах.

Однажды она постучалась и вошла в квартиру Вихровых.

— Галина Ивановна дома? — спросила она, хотя и сама видела, что Вихрова час назад вышла из дома с Игорем, укутанным уже по-зимнему, гулять, пока светит щедрое солнышко.

— Нет, она ушла с сыном! — сказал Вихров, принимая несколько более удобное положение. — Что передать? Они должны скоро вернуться!

Фрося помялась, потом с невольной улыбкой сказала:

— Да мне, собственно, она и не нужна. Я к вам...

Вихров удивленно поднял брови, но тотчас же опустил их — он не чувствовал ни интереса, ни любопытства, слишком измотала его болезнь. Он молча глядел на Фросю, осунувшийся, с бледностью на лице, с темными кругами под глазами, небритый...

— Ой, как вы постарели! — сказала Фрося неделикатно.

— Да. Я не мальчик уже давно! — отозвался Вихров с бледной улыбкой на усталом лице.

Фрося огляделась с видом заговорщика и вынула из-под шерстяной жакетки какой-то серый, некрасивый конверт. Она подошла к самой кровати и шепотом сказала:

— Вам письмо. От Зины. Ну, знаете, от какой...

Еще бы Вихров не знал, от какой! От его Зины, конечно. Он поднял голову. Фрося сунула ему в руки конверт и, почему-то подмигнув, убралась восвояси. Вихров, взяв конверт, над которым кто-то явно потрудился до него, раскрыл его и вынул письмо, написанное на листке простой бумаги, сложенной пополам, — неожиданная весть из того мира, где отныне должна была жить Зина, которую в официальных документах теперь называют «заключенная» или, в целях быстроты и экономии, проще — «зека»!

«Дядя Митя!

Я не смею написать — дорогой мой или милый мой, хотя вы и дороги мне и милы, как прежде, и, верно, навсегда. Простите меня за то, что я пользуюсь не совсем надежным способом сообщения, через Фросю, но у меня нет другого выхода. Писать вам на квартиру я не могу. Слишком дороги вы мне для того, чтобы я могла ставить вас под удар.

На скромность и на такт Фроси я не надеюсь. Боюсь, что первой читательницей этого письма станет она, а не вы. И все-таки пишу. Это первое и последнее письмо. Из него она не почерпнет ничего, потому что это письмо для вас, а не для нее. И если она не утерпит и вскроет это письмо, пусть ей, как сказала бы бабушка Агата, бог простит...

Тюрьма не отгорожена китайской стеной от внешнего мира. И как ни строги здесь порядки — здесь не детский сад! — многое из происходящего в вашем мире, дядя Митя, доходит сюда. Я узнала о том, как боролись вы за справедливый приговор. Я понимаю, что вы не сделали бы этого только ради меня. Но — бесконечно благодарна! У меня была страшная ночь перед судом, от которого ждала вынесения беспощадного приговора. В эту ночь у меня появилась мысль — уйти из жизни самой, до того, как я захирею в практически вечном заключении. А потом стало стыдно — уйти в кусты, как только меня схватили за руку! Это было бы уж очень непорядочно — Фрося понесла бы ответственность одна за все.

Здесьние законники, — а, как я теперь вижу, подлинные знатоки уголовного кодекса находятся не в здании суда или прокуратуры, а именно здесь, — были потрясены тем, что Иванов вынес такой мягкий и справедливый приговор, хотя считали, что он мог бы ограничиться и пятью годами для меня. Мнения их разошлись. Одни сказали, что судья растаял перед моей красотой. Но другие решили, что у него проснулась совесть или ответственность перед законом и что красота на него не действовала, вернее, еще больше его ожесточала, и приводили примеры — очень доказательные. Ну бог с ними — и с судьями и с законниками за решеткой!

Я — виновата и, как ни тяжело мне здесь, искуплю свою вину.

Через восемь лет, когда я выйду из заключения, мне будет тридцать пять лет. Тридцать пять лет! Когда я иной раз чувствовала себя старухой в двадцать пять! Тридцать пять лет — умирать еще рано, а начинать новую жизнь — слишком поздно. Только теперь я понимаю, что я наделала! Счастье, что Фрося не прошла через это. Но — будет то, что будет. Иного утешения у меня нет.

Впрочем, я клевету и на себя и на жизнь. Утешение есть, и оно в том, что я вас все-таки люблю, дядя Митя, и счастлива, что второй раз познала в жизни радость истинного чувства, не имеющего границ, чувства, на которое не может повлиять ничто — ни время, ни обстоятельства.

Не думайте обо мне плохо. Обещаю также вам — мне ведь некому больше обещать, я одна в целом мире! — что я

не буду ни хныкать, ни подличать, что я не унижу себя ничем и вы не станете сожалеть ни о чем и не будете стыдиться того, что были близки с бедной Зиной, которая только оступилась, дядя Митя, только оступилась...

Я — всегда с вами.

Хочу в воспоминании о вас черпать твердость и веру в людей.

Прощайте, мой дорогой, самый близкий во всем мире человек, несмотря ни на что, наперекор всему.

Пусть все у вас будет хорошо!

Зина».

Вихров сидел, скомкав письмо в руке. Слезы застлали его взор. И теперь вместо тополиных и березовых ветвей в саду соседа была какая-то тушевая размывка, в которой не видно было никаких определенных очертаний, так себе, какая-то клякса. Он не сразу сообразил, что опять перед ним стоит Фрося, не сразу понял, о чем она говорит. А Фрося говорила:

— Я с Зиной перед этапом виделась. Ну, она спрашивала: как, мол, вы? Я сказала, что вы болеете. Так она просила меня: когда вы это письмо прочитаете, чтобы я взяла его и сожгла, а то где вы там будете шариться, Галина Ивановна женщина внимательная! Ну, давайте же!

Вихров отдал письмо и проводил Фросю отчаянным взглядом.

«Бывает же на свете смертельная любовь! Ох, счастливая Зина!» — сказала себе Фрося, перечитывая второй раз это письмо, над которым она уже наплакалась вволю, разрывая листок на мелкие части и кидая обрывки в только что растопленную печь.

В печи полыхало жаркое пламя. Сухие дрова горели, как напоказ. Обрывки письма на секунду белыми снежными хлопьями ложились на рыжий огонь, вспыхивали и тотчас же обращались в чёрный пепел, который тяга выдувала в трубу. А в трубе гудело и гудело, и печь становилась все теплее и теплее.

14

И опять мимо Фроси проходило какое-то большое чувство.

И она задумывалась над простым вопросом — а где же ее собственное счастье и что такое счастье вообще. «Счастливая

Зина!» — говорила она себе, завидуя ее любви, такой красивой, как красива была ее подруга, а потом вспоминала — они разговаривали с Зиной последний раз через загородку, перед которой с одной стороны стояли заключенные, с другой — посетители, и было шумно и бестолково, как на вокзале, в предотъездной суматохе. Какое же счастье — оказаться в тюрьме в двадцать семь лет?! И все-таки Фрося завидовала бывшей подруге... Любит она! Любят ее!

Встречи с Марченко все больше претили ей. Но теперь она боялась своего начальника. Чутьем она угадывала, что у него мстительный и низкий характер, а порвать с ним — не могла: все-таки вроде и у Фроси есть какая-то жизнь, есть мужик, которого надо встретить, приветить, для которого надо приодеться, которого надо ждать, для которого надо выкраивать время, с которым надо посидеть. Как жаль, что он ничего этого не ценил, быстро подводя все ее ухищрения к одному знаменателю. «Любишь?» — как-то спросила Фрося, уступая его нетерпеливому понуждению. «Чего-чего?» — удивленно спросил Марченко. И Фрося не повторила своего вопроса...

Между тем Венедикт Ильич все чаще подходил к киоску Фроси.

Ей не очень нравилось, что он всегда чуть навеселе. «Опять наинспектировался!» — недовольно думала она, наливая ему кружку пива. Но он улыбался и жмурился на нее, как кот на солнышко, и Фрося привыкала к нему все больше. Венедикт Ильич не был разговорчив, но Фрося говорила за двоих, вознаграждая себя за вынужденное молчание с Марченко.

Инспектор однажды, неожиданно заплатив за две кружки пива, чем и удивил и испугал Фросю, сказал ей доверительно:

— Вы одна! Так? Так!.. И я один! Так? Так!

Недоумевающая Фрося спросила его:

— Что вы хотите этим сказать?

Венедикт Ильич заулыбался, принялся расчесывать свои моржовые усы, для чего-то трубно высморкался, опять расплылся в улыбке. Он поднял вверх указательный палец и сказал:

— Вот именно что! Вот именно! Один да один — два! Так?

Тут он церемонно поклонился Фросе, приподняв свою серую барашковую шапку пирожком, и ушел. Надо было все сказанное считать намеком на какие-то серьезные намерения инспектора. И у Фроси радостно дрогнуло сердце. Она хотела было окликнуть его и выяснить все сразу до конца. Но боялась испортить дело... Как видно, ему надо было время

для того, чтобы на что-то решиться. Фрося попыталась было критически оценить его, но потом сама себя сердито оборвала: «А чего еще надо? Солидный! Вежливый! Собою видный! Обходительный, а не то что сразу, как бес...»

15

К великой радости Ивана Николаевича, в высших инстанциях утвердили тот генеральный план реконструкции и развития города, который в годы войны казался далекой мечтой, чем-то вроде утопии Роберта Оуэна...

Но верха шли дальше, чем мыслил и мог мечтать Иван Николаевич. Предстоял огромный скачок в промышленности, жилищном строительстве, сельском хозяйстве. Надо было глядеть вперед на десятилетия. Вот уж именно, штаны начинали трещать в шагу!.. Новые заводы, новые города, расширение старых, новые совхозы — об этом надо было думать и это надо планировать уже сейчас, сегодня, не медля. И в системе краевого исполкома возник трест геодезической съемки, которому надлежало выполнить такой объем работы, какого не было сделано за предыдущие двадцать лет!..

Нас это интересует с многих точек зрения, но об одном аспекте этой работы мне хочется сказать особо: в этой работе нашлось дело и Генке Лунину. Иван Николаевич рассудил, что подростка надо занять чем-то таким, чтобы он чувствовал себя не последней спицей в колеснице в жизни родного города, и настал день, когда Генка, взвалив себе на плечи рейку с красно-белыми делениями, на манер той, которой с борта «Маяковского» измеряли глубину вод Сунгари в бытность Геннадия Лунина в его заграничном путешествии, вышел на улице не как пенкосниматель и прожигатель жизни, а как полноправный член бригады геодезической съемки. Бригадир, правда, посмотрел на Генку вначале очень скептически.

— Эй, рабочий класс! — сказал он Генке, щурясь. — Ты тут есть или тебя тут нету? Больно ты малой!

— Вырасту! — сказал Генка хмуро. Он был недоволен тем, что его рост вызывает насмешки, но не был намерен эти насмешки поощрять. Он прищурился, как бригадир, задрал вверх голову и дерзко сказал: — Не то беда, что колокольня велика, а то диво, как нагнули да шишку вверх воткнули!

Бригадир хотел было обидеться, но потом хлопнул Генку по плечу:

— Правильно, рабочий класс! Не давай себя в обиду... Я думаю, у нас дело с тобой пойдет! Может, вызовем других на социалистическое соревнование? Как ты смотришь на это?

— Надо — так надо! — сказал Генка простодушно, не очень-то понимая, что это за штука — социалистическое соревнование.

— Сурьезный ты человек, рабочий класс! — сказал бригадир.

Целыми днями ходил теперь Генка под еще горячим солнцем с рейкой на плечах и на весь город глядел теперь через ее красно-белые деления и уже видел не только те дома, что стояли сейчас на улицах, а и те, что будут стоять. Он смотрел на улицы с точки зрения тех линий, которые на схематических картах определяли будущий облик города. Плечи его ныли — рейка была не так легка, когда ее носишь, вышагивая усталыми ногами километры и километры! — Но он не жаловался на усталость. Впрочем, когда невольно от этой усталости его немудрящее лицо искажалось, бригадир вдруг говорил, вытирая потный лоб:

— Ну, рабочий класс, я с тобой тягаться не могу! Ты дву-жилый, что ли? Смотри-ка, у меня ноги не ходят, а ты все, как воробей, прыг да прыг!

И тогда воробей со вздохом верблюда, преодолевшего за один перегон всю пустыню Каракумы, снимал рейку с плеча и ставил ее вприслон куда-нибудь, чтобы не пачкать, не царапать, а бригадир, наблюдая за всеми действиями Генки, приговаривал:

— Молодец, рабочий класс! Хорошего сына воспитал твой отец, понимаешь! Инструмент беречь надо! Молодец!

И Генка расцветал, хотя все тело его ныло и ныло и, казалось, гудело от усталости, как телеграфный столб в ветреный день. И хотя можно было инструмент оставить в складе, Генка тащил его домой — то рейку, то рулетки, то металлические колышки, а один раз притащил домой теодолит, избив об острые углы его ящика все свои бедные коленки.

Мать рассматривала его как совершенно новое существо, а не своего сына Генку, которого и била, и отчитывала, который был ее несчастьем и наказанием божьим, а стал рабочим геодезического отряда, и ел, приходя домой, с жадностью, но как-то по-иному, уже не по-детски, и с Зойкой шутил и играл, как взрослый, и засыпал, как некогда его отец, Николай Иванович Лунин, — сразу же, едва его голова касалась подушки, сунув правую руку под щеку, и спал, почти не перевертываясь, до самого утра, когда надо было собираться на работу.

Выходили они из дому вместе.

И Фрося не могла уже разговаривать с ним по-прежнему, когда ей легче было отказать Генке, чем что-то дать, когда ей больше бросались в глаза его промахи, чем то, что он

мог сделать и делал хорошо. И она спрашивала его теперь: «Когда ты домой придешь?» — вместо того чтобы сказать, как бывало раньше: «Если к обеду опоздаешь, голову оторву!»

На углу Главной улицы они расставались: она шла налево, к своему киоску, а он — направо, к месту работ отряда, который сейчас производил съемку территории Плюснинки и Чердымовки, где по генеральному плану должны были раскинуться скверы и на скамеечках рассестся парочки, как это было нарисовано на одном проекте, который видел Генка в управлении треста и что он считал как бы обязательством города перед местом, которое сейчас было если не позорищем города, то его постоянной, привычной неприятностью. Пока на рисунке, но пресловутым «двум дырам» из известной шуточной поговорки о Генкином городе приходил явный конец.

И Генка стоял на берегу Плюснинки, держал рейку, которая казалась ему самым важным инструментом из всех существующих в мире инструментов, и смотрел через нее на своего бригадира, который, сверяясь со своей схемой, кричал Генке: «Право-право! Левей! Так! Перенос!» — и глядел на Генку и на рейку через окуляр теодолита. И однажды линия — воображаемая! — протянувшаяся от окуляра к рейке, пересекла пополам дом, в котором жила когда-то Зина. Дом этот был еще хорош, в нем жили еще люди, соседи Зины, но квартиру Зины никому уже не отдали — дом был обречен на слом, и незачем было селить людей в эту маленькую квартирку, когда всему дому приговор уже был вынесен и обжалованию не подлежал. Генка присмотрелся к дому, узнал его. Он вспомнил последнюю свою встречу с Зиной — там, у товарных пакгаузов, вспомнил, как летел брошенный им в людей собачий катышек, и пожалел, что сделал это...

И вот прошел день, другой, третий, прошла неделя, вторая.

И Генка получил аванс. Первые заработанные им деньги. Он постоял у кассы, осваивая непривычное ощущение — он получал свои, свои деньги. Где-то смутно в его мозгу пронеслась неясная картина: разбитый киоск, промокший ватник молочника, отвисшие его карманы и торчащие из них денежные билеты, эта картина сменилась другой — полутемный коридор, на вешалке висят чужие пальто, а чья-то рука, трепеща, лезет в их карманы, и третьей — при лунном свете двое парнишек лихорадочно вынимают деньги из дамской сумочки, а сумочка летит через забор, как говорящий Генкин галчонок. Ни одна из этих картин не вызывает никакого отзвука в душе Генки. Кто-то тронул его вдруг за плечо. Задумавшийся Генка вздрогнул. Перед ним стоял бригадир.

— Ну что, рабочий класс, получил заработную плату? Знатно! Смотри, какую сумму отхватил! Не стой здесь, давай до дому! Давай, давай — шагай домой! Да не потеряй деньги-то!

Генка только усмехнулся: «Я-то не потеряю!»

И опять перед его мысленным взором возникла картина: бравый артиллерист шагает по плацу, и стучат, печатая шаг, его сапоги. Кто это такой? Ах, это Геннадий Николаевич Лунин! Известный в Советской Армии человек. Когда-то он работал в пикетажной съемке, кончил школу, был призван, учился и стал командиром Советской Армии, его орудие сбило самолет вражеского лазутчика, который, прикрываясь огромной высотой, производил фотографическую разведку военных объектов Советского Союза. А что это у него на груди? Орден за отличное выполнение приказов командования по охране свободы и независимости нашей родины!..

От этих видений Генка очнулся только на толкучем рынке.

Вот такие сапоги нужны Генке! Вот именно такие! Военные!

— А-а! Сынок, здорово! — говорит Генке очень постаревший, еще более мохнатый, еще более похожий на лешего Максим Петрович. — Ай сапоги пришел покупать? Купи! Не сапоги — золото! Сапоги-самоходы! Надел — и хоть вокруг света! Мой Ондрей в них до Болгарии дошел, понимаешь. А вот продаю! Самому-то уж, видно, не сносить! — Он стучит корявым, грубым, потрескавшимся согнутым большим пальцем по подошве. — Видал? Чистый кожи-мит! Чистый! Сносу нету! — Он треплет и мнет руками пупыристые, шероховатые верха сапог. — Видал, какой товар! Кирза, понимаешь! Чистая кирза! Сам не износишь — внуки дотаскают...

Генка снимает свои ботинки и надевает чистый кожмит с чистой кирзой на свои ноги в грязноватых носках, с проношенными пятками. Сапоги великоваты Генке, но в них ноги Генки кажутся большими, толстыми, как у того артиллериста из чистых видений о будущем. Свои ботинки он молча заворачивает в принесенную с собой газету. Сверток сует под мышку. С достоинством кивает головой Максиму Петровичу, который смотрит на него слезящимися глазами и прячет усмешку в лешачьих усах. «Пока!» — говорит Генка — рабочий класс. «Христос с тобой!» — отвечает Максим Петрович.

Раз, два, левой! Раз, два, левой!

С глухим, мягким стуком ударяют об землю широкие каблуки. С мягким шорохом трутся друг о друга кирзовые голенища. И Генка шагает, шагает, шагает. Он готов идти, кажется, всю жизнь, с жадностью вслушиваясь в собственные

шаги и смотря на то, как его ноги, попеременно то одна, то другая, выносят вперед его сапоги. Вот так: «Раз, два, левой! Раз, два, левой!» Вот как! Но бесконечных дорог нет, особенно в городе, и вот уже Генка на лестнице своего дома. Услышав необычный топот, Фрося выглядывает в окно. Сегодня сильно примораживает. Ступени крыльца покрыты крутым инеем. Генка, чуть ежась в своем ватнике, поднимается по лестнице, стуча сапогами. На ступеньках его следы. Да Генка ли это? Это идет кто-то большой, взрослый, сильный, мужественный. На белом инее черные следы большой ноги.

Генка отдает деньги матери.

Он молча ест. Мать смотрит на него, подперев щеки ладонями.

Наевшись, Генка сидит за столом, отдыхая. Он смотрит в окно. В воздухе что-то мелькает, что-то кружится и все сильнее застилает округу. Это первый снег в этом году. Вот и настала опять зима!

Генка молча смотрит в окно. Какая-то мысль зреет в его голове. Она становится все яснее и яснее, пока не принимает совершенно определенную форму. Генка говорит, не поворачивая голову к матери:

— А дяде Пете скажи, пусть он к нам не ходит.

Мать вздрагивает, точно от удара. Она долго молчит. Потом тоном человека, находящегося в глубоком раздумье, говорит:

— Знаешь что, Гена! Сватается ко мне Венедикт Ильич! Дак я и не знаю, что ему сказать. Человек он порядочный, хороший, вежливый. С пониманием...

Она глядит на Генку. Генка вздыхает: беда с этими женщинами, кто их знает, что им надо! Неужели же плохо жить одной? Никто, понимаешь, не прибьет, не заругает, не пошлет никуда — сама себе голова, а вот поди же... Вслух он, однако, говорит:

— Ну пусть зайдет к нам. Познакомиться же надо...

Что такое счастье? Трудно ответить на этот вопрос, когда речь идет об устройстве жизни человека, которому не нужно звездных миров, а нужно что-то такое, чтобы душа была спокойна и надежда на лучшее все вела и вела бы его вперед по этой жизни, как по дальней дороге, один конец которой всегда скрывается в тумане и которая с каждым шагом открывает что-то новое, рождающее новые чувства, и новые надежды, и новые желания. Может быть, счастье заключается в том, чтобы идти по этой дороге в ногу с другими — плечом к плечу, рука с рукой, сердцем к сердцу...

Вот эти люди!

Вот идет по улице невысокая женщина, одетая так, как одеваются все женщины с малым достатком, которые каждую вещь приобретают лишь после долгих совещаний со своим кошельком — выдержит ли он эту трату? Она зябко передергивает плечами и оправляет манжеты своего пальто. Она и немолода и некрасива. Может статься, будь ее заработок побольше, а жизнь подешевле, она выглядела бы моложе своих лет и тогда ваш взгляд задержался бы на ней подольше — у нее почти девичья фигура и на ее лице и теперь заметны следы если не красоты, то былого задора.

Навстречу ей шагает подросток. Он громко топает слишком большими для его ног сапогами с кирзовым верхом и кожемитовой подошвой. Портные не тратили на него свое драгоценное время, занятые другими заказчиками. Все на нем торчит и топорщится. Не только одежда, но и уши, слишком большие для его головы, отчего он странно похож на насто-рожившегося щенка. Он шмыгает носом, но во всем его облике написано такое достоинство, а во взоре небольших остреньких глаз и вздернутом коротком носе — такая независимость, что вы невольно уступите ему дорогу...

Вот идет немолодой мужчина с усталым взглядом серо-голубых глаз и следами какой-то тяжелой болезни, обметавшей темными кругами эти глаза. Под мышками он тащит книги и, кажется, стопку ученических тетрадей, заботливо обернутых газетой.

Вот в толпе показывается очень молодая, очень хорошенькая девушка в милицейской форме. Она быстро и легко ступает по земле, словно летит. Кто в двадцать два не ходил так, тот уже никогда не обретет этой походки. Девушку эту невольно хочется сравнить с ласточкой, когда та взмывает вверх и вы слышите нежный свист ее крыльев и испытываете желание, вот так же легко оттолкнувшись от земли, взлететь вверх.

Из-за угла выворачивается рыжеватый мужчина в дорогом пальто, стоящем на нем коробом, в дорогих ботинках, в мерлушковой шапке, с лицом, налитым жаркой, душной кровью, и плотной фигурой, в которой наиболее приметной частью является, пожалуй, живот. Я никогда не видел лабазников, но мужчина этот почему-то вызывает у меня представление о лабазнике.

И девушка и женщина улыбаются подростку, который топает своими большими сапогами на всю улицу. И подросток, как ни хочет сохранить серьезность и свою великолеп-

ную важность, улыбается им так, как только могут мальчишки, — во весь рот, до ушей...

Вот эти люди. Среди них нет знаменитых, прославленных людей, таких, о которых знает каждый. Они ничем не выделяются из толпы. Говоря о них, обычно употребляют выражение «простые люди». Но это вовсе не значит, что они просты, что чувства их несложны, что переживания их неинтересны, а души примитивны и что с ними не случается ничего примечательного. Малоприметное для тысячи других людей событие, которое важно только для них, вызывает чувства большие и сильные. Надо только увидеть их.

Они походят на тысячи других, таких же. И вы не остановите на них взгляда, если я не покажу вам на них: вот они!

Не надо ехать за тридевять земель для того, чтобы увидеть их. Они живут рядом с вами и встречаются вам каждый день — то на улице, то в парке, то в кино, то в магазине, то на берегу реки, куда тянет вас после рабочего дня.

Вот эти люди!

Рига — Москва — Дубулты
1957—1961

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Глава первая.</i> Вот эти люди!	3
<i>Глава вторая.</i> Под знаком Марса	23
<i>Глава третья.</i> Вчера, сегодня, завтра...	58
<i>Глава четвертая.</i> Март — апрель. Утро	90
<i>Глава пятая.</i> Март — апрель. День	110
<i>Глава шестая.</i> Ледоход	138
<i>Глава седьмая.</i> Прелюд	169
<i>Глава восьмая.</i> Маэстозо	207
<i>Глава девятая.</i> Реквием	234
<i>Глава десятая.</i> Земля продолжает свой бег...	266
<i>Глава одиннадцатая.</i> Августовские грозы	307
<i>Глава двенадцатая.</i> «Встает рассвет, ленив и хмур...»	353
<i>Глава тринадцатая.</i> Кораблекрушение	407
<i>Глава четырнадцатая.</i> Сын Стрельца и Марса	472

Нагишкин Д.

Н 16 Созвездие Стрельца.— М: Правда, 1987.—544 с.

Д. Д. Нагишкин (1909—1961) известен читателю как автор книги «Сердце Бонивура», на которой воспитывалось не одно поколение советской молодежи. Роман «Созвездие Стрельца», представленный в настоящем издании, рассказывает о судьбах нескольких семей в последние дни Великой Отечественной войны и в первые послевоенные месяцы, о героической судьбе далекого тылового города. Писатель раскрывает величие каждодневного подвига советских людей, работавших в тылу.

Н $\frac{4702010200-1378}{080(02)-87}$ 1378—87

84 Р 7

Редактор
С. А. Суркова

Художественный редактор
И. С. Захаров

Оформление
А. И. Неровного

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 1378

Сдано в набор 26.03.86. Подписано к печати 12.09.86.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,77. Уч.-изд. л. 35,43.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—100 000).
Заказ 2938. Цена 3 руб.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
издательства ЦК КПСС «Правда» имени В. И. Ленина.
125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Волжская коммуна»,
г. Куйбышев, проспект Карла Маркса, 201.